

Якуб Колас

На росстанях

Трилогія

Книга первая. В полесской глуши

Книга вторая. В глубине Полесья

Часть первая. В родных краях

Часть вторая. На новом месте

Книга третья. На расстанях

Часть первая. Верхань

Часть вторая. На перепутье

КНИГА ПЕРВАЯ В ПОЛЕССКОЙ ГЛУШИ

I

- А, это ты, бабка! Ну, присядь, поговорим немного!
- Я постою, паничок... У вас так тихо, я думала, вы уже спите, а вы все с этой книжкой, - сказала, присаживаясь, бабка. - Простите, паничок, я пришла спросить - болит еще у вас голова или перестала?
- Перестала, бабка, перестала! - сказал молодой учитель, притрагиваясь рукой к голове и как бы прислушиваясь к тому, что в ней происходит. - Забыл даже, что она и болела!
- Ну, паничок, мой родной, как себе хотите, хотите - верьте, хотите - не верьте, а я вам, ей-богу, заговор шептала!
- Ты и мне шептала? - удивился учитель. - Когда же это ты умудрилась пошептать? Я даже и не заметил.
- Вы здесь сидели, читали, а я из кухни, через дверь шептала... Не гневайтесь, ей богу, шептала!
- Высокая, худощавая, темноволосая женщина - она работала в школе сторожихой - необычайно оживилась; глаза и все ее лицо говорили, что она глубоко убеждена в силе своего искусства.
- Верно, это ты мне помогла, бабка, - сказал учитель, усмехнувшись.
- Ой, паничок, вы все смеетесь, не верите мне, старой!
- О нет, бабка, верю, верю! О твоём знахарстве везде говорят: в Хатовичах, в Малковичах, в Ганцевичах - всюду!
- Гэ-э-э, паничок, из-под самого Пинска приходят и приезжают к старой Марье! - с гордостью проговорила бабка.
- И как это ты, бабка, шептать научилась?
- Научилась, паничок, научилась!
- Кто же тебя научил?
- Ой, паничок, вы все хотите знать!
- А что же, бабка, научился бы - и ко мне ходили бы люди и я помогал бы им.
- Неможно это, паничок.
- Почему нельзя? Разве грех?
- Неможно!
- Должно быть, бабка, ты с нечистой силой знаешься?
- Бог с вами, паничок, что вы сказали на ночь глядя! Пусть бог милует! И не вспоминайте вы про нее! Во имя отца, и сына, и святого духа!
- Старая полешучка, знахарка Марья, подняв глаза на образ, набожно перекрестилась.
- А что же она мне сделает, эта нечистая сила? Я не боюсь ее, потому что ее, бабка, вообще нету.
- Гэ, паничок, вы еще молоденький, мало на свете жили.
- Но вот ты, бабка, слава богу, пожила на свете, а скажи: видела ли хоть раз нечистую силу?
- Не на каждого, паничок, она попадает, - уклонилась бабка от прямого ответа.
- А я тебе, бабка, скажу, на кого она попадает. Насколько я знаю, она больше всего привязывается к пьяным, темным людям, да и то ночью.
- Сторожиha покачала головой, не согласившись с учителем. А учитель, еще совсем молодой человек, недавно приехавший в свою первую школу, еле заметно усмехнулся про себя, уверенный, что бабка обязательно расскажет про какой-нибудь случай с нечистой силой. Ему очень нравились такие разговоры с этими простыми людьми, жителями глухой полесской деревни, которые еще так недалеко ушли от верований и представлений времен первобытной человеческой культуры.

- Я вам, паничок, не буду много говорить, ведь вы все равно не верите или хотя и верите часом, но говорите, что не верите. Но если моему слову веры нет, то послушайте, пусть вам расскажет мой Михалка. Вы же знаете моего Михалку? А если и ему не поверите, спросите людей. Михалка тогда еще парнем был. Шел он из Сельца, и ночь была не очень темная. Слыхали, может, Сельцо недалеко от нашей деревни, верста, не более. Это выселки из нашей же деревни, дворов десять. Он и женку оттуда взял. Так вот, паничок, был он там, на вечерки туда ходил, пока не женился. На полдороге между Сельцом и деревней старая корчма стоит, как раз напротив кладбища. Там еще небольшое болотце есть, и речка оттуда начинается, малюсенькая, и соединяется с другой речкой, что у нас Телешевым дубом зовется. И вот как только миновал он корчму, так на него что-то и набросилось - и не зверь и не человек. Так прямо и налетает на него. Хочет Михалка словить его - а не может: что-то голое и скользкое, ни шерсти, ни одежды. Михалка отбросит его рукой, а оно снова, а оно снова... И вот, не поверите, паничок, разорвало на хлопце новую свитку до самого воротника. Обессилел, бедный, почти без памяти в хату появился. Скажете - пьяный был, так ведь сроду не пьет Михалка, в рот горелки не берет. И пролежал он после этого в горячке три месяца, насилу на ноги поднялся.

Лобанович - так звали молодого учителя - слушал рассказ с большим интересом. Вначале ему было немного смешно, но по мере того как сама рассказчица все более увлекалась историей с Михалкой, лицо учителя становилось серьезным и даже хмурым.

Если сторожиху захватывала загадочность происшествий, то Лобановича заинтересовало другое, а именно - непосредственная и крепкая вера людей в существование таинственного, темного сплетения злых сил. Миллионы и более лет живет эта вера, зачатки ее затеряны в темном омуте прошлого, и до сих пор человеческий разум не сумел освободиться из-под власти этого дурмана.

"Интересно! Надо будет подумать об этом", - заметил про себя учитель. Но, как видно, его занимала еще и другая мысль, и он неожиданно для самого себя спросил:

- Бабка! А твой Михалка мог и помереть от этого?

- Гэ, паничок милый! Чуть-чуть не помер! Насилу отходили!

- И подумать только, из-за какой глупости может умереть человек! - проговорил молодой учитель, обращаясь скорее к самому себе, чем к своей собеседнице, и задумался. Голова его немного склонилась набок, темные глаза, в которых светилась какая-то затаенная мысль, устремились, не мигая, в угол комнатки, но ничего не видели: они как бы обращены были к той мысли, которая в эту минуту ворошилась у него в голове.

Старая бабка с каким-то страхом и любопытством поглядывала на своего "панича".

- О чем вы, паничок, так задумались?

Лобанович вскинул на нее глаза и засмеялся.

- Знаешь, бабка, хочешь, я скажу тебе, о чем ты теперь думаешь?

Бабка удивилась еще более, а учитель, не ожидая ответа, проговорил:

- Ты, бабка, смотрела на меня и думала: "Если этот панич еще не сошел с ума, то скоро сойдет".

Сторожиха изумленно смотрела ему в глаза, а Лобанович, придав важное выражение своему лицу, сказал:

- Ты, бабка, не думай, не одна ты знахарка. Я, может, еще лучший знахарь, чем ты.

- А что ж, паничок, все может быть, - словно с какой-то обидой ответила бабка.

- Ты плюнь, бабка, на это, потому что все это глупости, а лучше скажи: зачем мы на свете живем?

Бабка не знала, какой тон ей взять, чтобы не ошибиться.

- Гэ, паничок, что это вы обо всем спрашиваете? Гляжу я на вас и удивляюсь: сидит себе, словно монашек, и все в книжки смотрит. Поглядели бы немного - и хватит. А то, когда ни придешь, вы все в книги глядите. Разве можно так долго смотреть в них? - И, помолчав, добавила: - Сушат они, и больше ничего.

- Так ты, бабка, не знаешь, зачем мы на свете живем?

- Нет, паничок, не знаю! Если бы вы спросили дерево, зачем оно растет, разве оно ответило бы? Так и я не могу ответить вам. Живем, пока живется, - ведь живым в землю не полезешь, а придет смерть, тогда похоронят.

- Да, бабка, ты говоришь правду, не знаем мы, зачем на свете живем.

- А зачем, паничок, и знать? Живет человек и живет, пока ему бог предназначает. А придет время умереть - умрет.

- А плохо, бабка, что надо умирать!

- Что вы, паничок, все про смерть говорите! Чудной вы, ей-богу! Вот тот панич, который был здесь до вас, бывало, пойдет куда-нибудь - либо к пану подловчему, либо к Курульчуку на чугулку. Там паненка была, ой пригожая паненка! Ее теперь дома нет, а вот приедет - сами увидите!

- А разве здесь и паненки есть? - заинтересовался Лобанович.

- Ой, паничок, почему же по быть!

Бабка начала перечислять и расхваливать паненок. Прежде всего у волостного писаря их целых четыре. Правда, волость отсюда в пятнадцати верстах. Но есть паненки и поближе. Верстах в семи от Тельшина живет дочка землемера. Все паничи в округе влюблены в нее. Есть еще паненка на хуторе, до которого рукой подать - версты три, не более.

- Да зачем нам лучше, паничок, - у пана подловчего дочки есть. Одна еще совсем молоденькая, а другая постарше. Она уже спрашивала: "Ну как, бабка, твой панич?"

- А ты что ей сказала?

- Ой, говорю, панич! Хороший панич!

- Разве же я хороший?

- А почему же не хороший?

- Ну, а которая из паненок самая лучшая?

- Все хорошие. Как по мне, так все хорошие.

- Не думаешь ли ты, бабка, женить меня?

- Сами, паничок, женитесь... А к пану подловчему вам нужно зайти. Бывало, тот, прежний панич, как вечер, так уже и там. А вы все сидите над этими книгами. Сушат они человека.

- А ты, бабка, пошепчи, чтобы я от них отвернулся.

Старуха несколько минут смотрела на учителя, а затем засмеялась долгим-долгим смехом.

- О панич, вы все шутите!

Бабка встала, зевнула и посмотрела в окно. А там лежала темная-темная ноябрьская ночь.

- Только у пана подловчего еще окна светятся, - заметила бабка.

- Посиди еще немного.

- Нет, паничок, поздно.

И старуха медленно побрела в свою кухню.

II

Сторожиха уже слегка похрапывала в кухне на печке, а Лобанович все еще не ложился. На столе горела лампа под светлым абажуром и лежала развернутая книга. На этот раз чтение что-то не ладилось, и Лобанович часто отрывался от книги, ходил по комнате и думал. Новое место, новые люди и та работа в школе, которую нужно было начинать на этих днях и к которой он так долго готовился, - все это занимало его мысли, и ему было легко и хорошо: ведь так много нового и интересного надеялся он встретить на открывшейся перед ним дороге самостоятельного общественного труда.

Ему по душе был и этот глухой уголок Полесья, о котором он еще дома так много интересного слышал от одного старого объездчика, и этот народ с его особым говором и обычаями, так не похожими на говор и обычаи тех беларусов, из гущи которых вышел Лобанович, этот нетронутый край старины, которая на каждом шагу бросалась ему в глаза и привлекала к себе внимание, и даже вид самой местности, общий тон которой не

мог еще уловить Лобанович, но в которой также много было интересного и, на его взгляд, привлекательного.

Что ни говори, а жизнь сама по себе радость, великое счастье, бесценный дар. Есть две важные части, из которых складывается жизнь и которые придают ей глубокий смысл и красоту, - человек и природа. Никогда не утратит для нас интереса человек, ибо проявления его ума безграничны, пути его неизведанны, формы его жизни и его отношений с другими людьми бесконечно разнообразны, окончательно не определились и никогда не могут стать окончательными. А природа! Сколько великой радости дает нам она! Ведь природа - интереснейшая книга, раскрытая перед глазами каждого из нас. Читать эту книгу, уметь разгадывать ее таинственные письма - разве это не есть счастье?! Жаль только, что наша жизнь несоизмеримо мала, чтобы начитать этой книгой.

С такими мыслями Лобанович остановился возле окна. Со двора глядела глухая, черная ночь. Небо, обложенное низкими тучами, казалось, все тяжелее нависало над оголенной землей. Непроглядный мрак и сырой туман совсем поглотили эту заброшенную среди болот и лесов небольшую деревеньку.

"Какая тьма!" - ужаснулся молодой учитель. Ему было приятно чувствовать, что он в теплой и уютной комнатке, где приветливо горит лампа под белым абажуром, где все так тихо и спокойно, ничто не нарушает хода его мыслей. И тут же посочувствовал он тем путникам, которым так или иначе приходится ехать или идти в это глухое время ночи по темным и грязным дорогам, через броды и гати, среди лесов и болот.

Лобанович снова подошел к столу и взялся за книгу. Но мысли его так разгулялись, разошлись, что он вынужден был закрыть книгу и снова начал ходить по комнате и думать.

Завтра надо будет заказать старосте подводу и поехать в волость забрать школьные принадлежности; надо познакомиться с тамошним учителем и посоветоваться с ним по разным вопросам, связанным со школой; нужно также зайти и к батюшке и пригласить его приехать сюда отслужить молебен перед началом занятий в школе. Да, это надо сделать, ведь уже давно пора приниматься за обучение детей. Его назначили сюда поздно, и надо быстрее начинать занятия, иначе он не сумеет выполнить программу.

Часы на стене делали свое дело. Размеренно, однообразно качался маятник в стеклянной горенке и, казалось, был очень доволен своей работой, что он и подтверждал коротким "так-так", "так-так". Перед тем как пробить, часы несколько минут трещали, скрипели, как колодезный журавль на морозе, и после такого вступления звенели приятным металлическим звоном.

"А ведь уже поздно", - заметил про себя Лобанович.

Часы пробили полночь. Учитель перенес лампу в другую, еще меньшую, комнатку, где стояла его простенькая деревянная кровать, лег в постель и начал читать "Звездные миры и их обитатели".

Широкая картина недостижимых миров открывалась перед взором молодого учителя во всей своей таинственности и безграничности. И чем сильнее захватывали воображение эти неисчислимые миры, разбросанные среди бездонных глубин, таких страшных, таких привлекательных, земля и ее гордый властелин - человек становились все менее и менее значительными, становились такими ничтожными. Земля терялась среди беспредельных пространств, словно крохотная песчинка. И каким незначительным, неприметным представлялся человек со своими заботами, со своими повседневными мелочами жизни! Вызванные чтением мысли и настроения все сильнее овладевали молодым учителем. Но эти мысли вмиг разлетелись, как воробьи, когда в их веселую стайку бросит камешек какой-нибудь мальчуган-озорник: страшный и отвратительный образ смерти мелькнул среди этих мыслей молодого учителя и разогнал их. На мгновение жизнь в нем как бы остановилась, по его телу пробежала дрожь, - ведь этот образ смерти возник совсем неожиданно.

"Я умру! - подумал учитель. - Придет такое время, когда я стану мертвецом, трупом!"

На короткий миг он словно отделился от самого себя и взглянул на себя со стороны, как посторонний, другой человек, и живо представил себе то мгновение, когда он станет мертвым, недвижимым.

"Фу! Как это гадко и неприятно! А хуже всего то, что перед лицом смерти мы беспомощны и бессильны и не имеем средств избежать ее или хотя бы отдалить ее приход. От нее не отмолишься, от нее не откупишься ничем. Я умру. Молодым, пожилым или старым, но умру, потому что я, как и все, что несет в себе зачатки жизни, подвержен смерти, потому что все на свете, едва зародившись, уже таит в себе признаки и печать смерти. И люди свыклись с этим, и никому даже в голову не приходит высказать свой протест против смерти и вести с нею борьбу, словно все они уже давным-давно условились признать над собою ее власть, считать эту власть справедливой и законной. А она, смерть, каждый день ходит вокруг, каждую минуту уничтожает и молоденькие и старые формы жизни. И мы не обращаем на это внимания, и только тогда она производит сильное впечатление, когда умирает кто-нибудь близкий либо когда нападёт мор и люди начинают гибнуть массами. Тогда человека охватывает ужас и он теряет голову. И вот что интересно: когда нарушаются мелкие права человека, он готов драться за них и кусаться зубами, там же, где уничтожается сама основа, он покорно склоняет голову и молча подставляет ее под обух.

Фу! Какая мерзость! - продолжал размышлять молодой учитель. - Живешь, строишь планы, чего-то ищешь, чего-то добиваешься, надеешься, а придет время - и ты будешь труп, гниль, пожива червей".

Эти мысли нарушили покой Лобановича и оставили у него в душе неприятное и горькое чувство.

Он свернул папироску, стараясь не думать о смерти, закурил, чтобы отвлечься от горьких мыслей. Это ему немного и удалось, так как Лобанович был хлопец здоровый, крепко сросся с землей и жизнью, любил жизнь, на пороге которой он стоял и рассвет которой для него только начинался.

"Почему я начал думать о смерти? Откуда взялась эта мысль?" - спросил себя Лобанович и начал доискиваться связи между мыслью о смерти и теми мыслями, которые так или иначе были причиной ее возникновения.

Припомнив весь ход своих размышлений, учитель никак не мог обнаружить этой связи, и это обстоятельство его немного удивило и заинтересовало.

"Я чего-то не принял во внимание, какой-то образ или какая-то мысль просто улетучились из памяти, и оттого этот факт мне кажется немного непонятным и странным, хотя, вообще говоря, на свете ничего удивительного нет".

А часы на стене безостановочно делали свое дело: размеренно качался непоседа маятник и каждый свой шаг отмечал коротким "так-так"; часы все так же скрипели, перед тем как пробить, и в свой срок мелодично звонили.

Лобанович погасил лампу.

Мрак и тишина заполнили маленькую комнатку. Со двора в окно глядели черная ночь и закрытое густыми тучами-волоками темное небо. Было тихо и глухо. Через несколько минут возле двери в кухню заскребла мышка. Как видно, она нашла где-то корочку хлеба и барабанила ею по полу.

Лобанович старался уснуть, но ему не спалось. Только он закрыл глаза - перед ним словно живая встала картина дороги, по которой он ехал от станции: нескончаемые болота и целые стада стожков на них, гати, броды, старые сосны, гордо возносившие свои верхушки над лесом, - словом, вся эта местность, полная своей особой красоты и невыразимой прелести. "Когда больной человек начинает думать о большой дороге, это считается признаком того, что этот человек не выздоровеет", - припомнилась неизвестно когда и кем высказанная мысль.

"Все это глупости", - подумал учитель и повернулся на другой бок.

III

В воскресенье раненько, едва только заиграл багрянец на востоке, Лобанович сидел уже на сене в телеге и выезжал из деревни. Небольшая деревенька, в одну улицу, выглядела неприветливо и неуютно. На всем лежала печать небрежения и какой-то незавершенности, словно здешние хозяева строились на скорую руку и все делали временно и еще не успели навести тот порядок, которым обычно отличается беларусская деревня. Улица была ровная и широкая. Почти возле каждой хаты грудami лежали и гнили бревна, но никому не приходило в голову положить деревянные кладки, хотя бы против своей хаты, чтобы можно было пройти через грязь, в которой утопала улица. А грязь была густая, черная как деготь, глубоко размешенная лаптями полешуков, копытами коров и лошадей. Но полешуки свыклись и сжились с этой грязью и не обращали на нее внимания. Хаты были большей частью новые, построенные из толстых и гладких бревен. В расположении хозяйственных построек во дворах также не было порядка и системы, а все громоздилось как попало.

Одним словом, жители этой деревни представляли собой настоящих детей леса, которые, казалось, совсем еще недавно обосновались здесь и только начали переходить от одной формы жизни к другой. Все они были занятыми охотниками и отличными стрелками, приходили в волнение от одного только вида ружья. Крестьян других деревень, которые жили преимущественно среди полей, они называли полянами и тем самым как бы отличали их от себя, жителей лесов. А лесов и болот здесь был непочатый край. Сама деревня стояла на небольшой полянке среди леса и кустарников, и Лобанович все эти дни чувствовал себя так, словно что-то связывало его, словно на нем было надето тесное платье, - так давили со всех сторон на эту деревню плотные стены пуши, наседали с угрозой, будто она покушалась нарушить ее законные права. Край полянки прорезала железная дорога. Она проходила возле самой деревни, захватывая даже один конец улицы. Сразу же за переездом начинался лес.

Низкое солнце еле пробилось сквозь макушки деревьев. Небо прояснялось, начинал дуть восточный ветер; легкий морозец затягивал лужицы тонкой пеленой льда. Висевший все эти дни туман развеялся, всюду посветлело и повеселело. Даже этот угрюмый лес немного прояснился и выглядел более приветливо.

- Го, подмораживать начало! - весело проговорил полешук Степан Рылка и, соскочив с телеги, выломал хворостину и хлестнул ею своего худого, но довольно резвого коня.

- Эх, и лесу же у вас много! - сказал учитель, чтобы заговорить с полешуком и познакомиться с ним поближе.

- О, лесу у нас много! - подтвердил Степан и повернулся к учителю. - Это вот теперь, когда провели здесь железную дорогу, его сводить начали, а прежде лес совсем не такой был. И зверья было много. Возле нашей деревни медведи водились. Еще батка нашего старосты, - знаешь, может? - старый Рыгор, старинного закала человек, живого медвежонка из лесу принес, у медведицы отнял!

- Как же это он?

- А бог его знает. Смелый. Да и здоровый, как дуб. Даром что ему теперь семьдесят лет, а когда забушует часом в хате Роман, его сын, староста наш, так старик, случается, не выдержит, возьмет его на руки, как ребенка, и сейчас же утихомирит, хотя Роман и не из слабых. Вот как! И отвезли того медвежонка графу Потоцкому. За это дозвол дали Рыгору охотиться в графских лесах, еще и пороху и дрови выдали.

- А теперь медведей здесь нет?

- Нету, перевелись. Туда дальше, под Татарку, ушли, где места глуше и лесу больше и куда реже заглядывает око людское... Запрещать начали по лесу с ружьем ходить, лесников поставили, законы строгие пошли. Но и лес уничтожается и зверь выводится.

- А я слыхал, что здесь еще много зверья.

- Есть, правда, но разве столько, как прежде? Бобры здесь когда-то водились, еще и теперь кое-где можно видеть следы их построек... На все пошел упадок, - с какой-то грустью заключил полешук и замолчал, о чем-то задумавшись.

- Да, дядька Степан, жизнь не стоит на месте, и все на свете меняется. Вот у вас чугунок провели, заработков прибавилось, торговля быстрее пошла, новые люди появились. Еще три года назад у вас и школы не было, теперь построили школу, ваши дети учиться будут, грамотными станут, будут книги, журналы читать, научатся, как лучше землю обрабатывать, чтобы пользы от нее больше было, - ведь все-таки улучшение в жизни от науки идет. Наверно, и вы, дядька Степан, имеете деток, которых надо в школе учить?

- Есть. Иван и Пятрук - самые школяры, - вздохнул полешук.

В его ответе учитель почувствовал нотку недовольства, что его хлопцам приходится идти в школу.

Учитель с любопытством наблюдал за полешуком. Ему нравилась характерная для Полесья одежда Степана: черная выцветшая суконная свитка, сшитая в талию, широкий с красными полосками домотканый пояс и шапка-кучемка своего производства. Длинные, как у попа, темно-русые волосы, светло-серые глаза, средний рост, широкие плечи, медлительность движений и какая-то серьезность выражения лица как нельзя лучше гармонировали с общей картиной полесской природы.

Дорога все время шла лесом. Лес изредка перемежался небольшими полянками, на которых зеленели всходы ржи, а по краям кое-где виднелись могучие древние сосны, пышно разросшиеся на просторе, либо развесистые толстые дубы, словно зажиточные старосветские хозяева; на этих дубах полешуки-бортники устраивали большие пчельники, втаскивая туда по десятку ульев. Полянки снова сменялись лесом, то стройным борovým, то низким болотным. Высокие тонкие березы чередовались с серыми стволами сосен и придавали печальный и задумчивый вид всей картине. Лес снова расступался, открывая место безгранично широким болотам. Они тянулись далеко-далеко и снова замыкались лесом, еле чернеющим ровной полоской на горизонте. Целое море высокой порывевшей травы осталось зимовать здесь, потому что сюда не забредет ни скотина, ни человек с косой. Бесчисленные кочки, низкорослые елочки на них, почерневшие суковатые пни давно погибших деревьев. Среди этих кочек блестящими лентами извивались порой полосы воды, чистые, гладкие, как стекло. Неведомо с каких времен, как свечки, торчали над ними засохшие, сломанные комли старых, истлевших ольх и печально глядели в небо. От болот веяло какой-то невыразимой печалью; тихую грусть навевали однотонные картины полесских уголков, где жизнь все же создавала своеобразные, неповторимые формы и, несмотря ни на что, имела свою прелесть и красоту. Но эти картины утомляли глаза и печалили сердце, и человек невольно старался отыскать что-то такое, на чем можно было бы отдохнуть и успокоиться.

Глядя на пустынные полесские болота, Лобанович порой чувствовал какую-то оторванность от жизни, от всего света, словно этот свет сошелся здесь клином, и тоска о том, с чем он разлучился, начинала овладевать его душой.

"Что чувствует, о чем думает этот дядька Степан? Как отражаются на нем образы глухого Полесья и какой след оставляют они в его душе?" - думал учитель, и ему хотелось хоть на мгновение стать тем самым полешуком, который сидел рядом с ним, чтобы взглянуть вокруг его глазами и понять его внутренний мир, его надежды, желания.

Болота кончились, дорога пошла на горку, колеса мягко покатались по желтенькому песочку, и лес принял обычный свой вид. Версты через две лес с одной стороны дороги снова расступился, образуя веселую полянку, которую он огибал красивой извилистой линией. На этой полянке, за полверсты от дороги, раскинулась чья-то усадьба, напоминающая средней руки фольварк, с различными хозяйственными строениями, садом и просторным двором.

- Чья эта усадьба? Кто живет здесь? - спросил учитель.

- Это? Да здесь пан землемер живет. Завитанками хутор называют. Отсюда как раз половина дороги до волости, - ответил Рылка.

"А-а, это и есть тот землемер, в чью дочь все здешние кавалеры влюблены. Так вот где живет она, эта красуня!"

Лобанович припомнил разговор со своей сторожихой и с любопытством еще раз взглянул на усадьбу. Послушное и услужливое воображение уже рисовало ему чудесную девушку, этот нежный и красивый цветок, взращенный в глухих полесских лесах. Слово "девушка" всегда вызывало в душе Лобановича прекрасный и чистый образ, на который можно смотреть, которым можно любоваться только издали. И теперь он припомнил два или три случая в своей жизни, когда образ девушки глубоко западал в его сердце, но он и намеками не сказал никому об этом. А раз в дочь землемера все влюблены, то она, несомненно, верх красоты. Еще не видя ее, учитель почувствовал, что она уже имеет над ним какую-то власть. Ему хотелось хоть взглянуть на нее, и на протяжении всего остального пути он думал о дочери землемера, он уже встречался с нею, заинтересовал ее и чуть ли не заслонил собой всех ее кавалеров.

IV

Последний раз расступился лес, и глазам учителя открылась широкая, круглая полянка, веселая и приветливая. Лобанович вздохнул с облегчением, словно с его плеч свалилась какая-то тяжесть, - тряская, покрытая корнями дорога и глухой лес все же надокучили ему. Тем приятнее было увидеть крыши человеческих строений и трубы домов, над которыми кое-где курился еще синеватый дымок.

Довольно большая деревня вытянулась в одну линию, и только возле церкви, на пригорке, хаты расположились гуще и шире. Слева, в конце деревни, стоял дом волостного правления с двумя высокими красными трубами над почерневшей крышей. Напротив, на другой стороне улицы, виднелась школа с белыми ставнями и с двумя или тремя развесистыми вязами возле нее. У въезда в деревню, немного на отшибе, печально ютилась старенькая деревянная церковка. Теперь она стояла одинокая, заброшенная, забытая, и только богобоязненный путник, проходя мимо нее, останавливался и крестился, набожно склонив голову. По одну и по другую стороны деревни стояли ветряные мельницы, как страшилища, широко раскинув свои крылья. Одни мельницы были в живом движении, весело поднимали и опускали крылья, а другие стояли молча, недвижимо и имели такой вид, словно были чем-то удивлены и спрашивали: "А почему же мы стоим без работы?"

Проехав небольшую гать, телега покатила по широкой улице. Народ расходился из церкви. Старые полешуки при встрече почтительно кланялись, а молодые девчата и проворные молодницы, нарядные, словно маки в огороде, подталкивали одна другую, перемигивались и бросали смешливые взгляды в сторону молодого учителя, который впервые появился здесь.

Подъехав к школе, Лобанович соскочил с телеги и взобрался на крыльцо. Дверь была заперта, Лобанович постучал. В глубине квартиры тотчас же стукнул отодвигаемый стул и послышались шаги. Дверь открылась.

- Простите. Дома учитель?

- Вот я. Заходите, пожалуйста.

Лобанович пошел за хозяином, неуклюже ступая онемевшими ногами.

- Разрешите познакомиться: ваш коллега и сосед Лобанович, - назвал себя гость.

- Соханюк, здешний педагог. Будьте добры, снимайте пальто, садитесь.

Гость и хозяин сели возле стола.

- Вы новенький и в наших краях впервые?

- Новоиспеченный и в ваших трущобах имею честь быть впервые, - сказал с усмешкой Лобанович.

- Ну как, нравится вам ваше место?

- Лучшего места я и не ждал. Тихое, глухое, ничто не мешает вести работу, - проговорил Лобанович.

Соханюк звонко засмеялся.

- Ах вы, идеалисты, идеалисты! Надолго ли хватит вам этого идеализма?.. И тем не менее впервые вижу человека, который так высоко ставит глушь, да еще такую, как ваша.

- У вас здесь, извините, еще большая глушь.

- Как так? - удивился Соханюк. - У нас волость, общество: батюшка, писарь, фельдшер, урядник, псаломщик, да и со стороны люди чаще наведываются.

- И, вероятно, из Завитанок сюда кое-кто заглядывает, - шутливо, в тон хозяину, проговорил Лобанович и бросил на него пристальный взгляд.

Хозяин немного смутился, так как и он смотрел завистливым оком на дочь пана землемера и сразу понял, куда метит его сосед.

- А вы разве были в Завитанках? - спросил Соханюк.

- О нет, - проговорил Лобанович, - я считаю, что у завитанской чаровницы и так большой штат кавалеров и мое присутствие несколько не увеличит ее успеха.

- Если у вас, коллега, такой взгляд на вещи, - скапал повеселевший Соханюк, - скажу вам: не будете и вы иметь успеха у здешних паненок.

- А мне все равно... Впрочем, не ошибаетесь ли вы, коллега? Но это между прочим. Я хотел бы просить вас, коллега, познакомить меня с вашим обществом, ведь надо же, как говорится, отдать кесарю кесарево. Если вы будете любезны пойти со мной к писарю, да и к батюшке тоже, а может, и еще к кому-нибудь, если того требуют обычаи вашего общества, то я буду вам очень благодарен. Это было бы и быстрее и проще, потому что мне еще никогда не приходилось выступать в роли визитера.

- А вы почему так торопитесь? Разумеется, я с вами пойду, тем более что и мне нужно зайти кое к кому, но отослали бы вы свою подводу домой, а сами остались бы здесь ночевать.

- Нет, я еще не приступал к работе в школе. Вы, наверно, уже многое успели сделать, и я не догоню вас за всю зиму. Мне хотелось бы и поучиться у вас кое-чему, ведь вы уже набили, как говорится, руку и имеете опыт.

Дверь из другой комнаты открылась, и на пороге показалась немолодая женщина. Это была сторожиха. Она сначала внимательно посмотрела на незнакомого учителя, а затем обратилась к Соханюку на диалекте полешуков:

- Да вас, панычу, там маладыцы прышлы - лыст на-пысаць хочуць [К вам, паничок, молодницы пришли - письмо написать хотят].

- А сало принесли?

- Ны відаю, панычыку [Не знаю, паничок].

- Извините, - сказал Соханюк гостю, - я отправлю этих молодicc.

И Соханюк вышел в кухню.

Сторожиха Матрена, еще раз оглядев гостя, также направилась туда. Ясно, кто-то дал ей наказ как можно лучше разглядеть Лобановича, чтобы навести затем о нем основательные справки. И, как видно, наказ этот был дан кем-то живущим поблизости, потому что, выждав минуты две, Матрена метнулась через улицу, прямо к квартире писаря.

Оставшись один, Лобанович окинул взглядом комнату. Квартира Соханюка была гораздо лучше, чем его собственная. Видно, Соханюк жил неплохо, просидев в этой школе лет пять. И вообще он был человеком практического склада. Каким-то образом умудрился за эти пять лет, получая двадцать рублей жалованья в месяц, собрать капитал в пять-шесть сотен и имел свое хозяйство. "Ухватистый человек ты, братец, - подумал Лобанович. - Даже за то, чтобы написать письмо, не стесняешься брать сало". На столике лежали школьные журналы. Перелистав их, Лобанович пришел к заключению, что Соханюк не так далеко ушел со своими учениками, что в его лице он не будет иметь для себя

наставника, и тут же отметил, что общего между ними очень мало и близкими друзьями они никогда не станут.

- Ну, теперь я свободен, можем идти, - сказал, вернувшись, Соханюк. Он подошел к зеркальцу, посмотрел в него, подправил рыжеватые усы, провел рукой по щекам - хорошо ли побрит - и прицепил большой франтоватый галстук.

Худошавый, выше среднего роста, Соханюк имел довольно красивое лицо, но маловыразительные желтовато-карие глаза его немного портили общее впечатление. Был у него и еще один недостаток - недостаток произношения: он не мог выговорить чисто "р", а как-то скрадывал его и говорил "и": "Ты Мат'ена, если я не п'иду, оставь обед на ужин".

Учителя вышли.

- Куда же сначала пойдем?

- А давайте начнем по порядку, чтоб никому не было обидно, - ответил Лобанович.

Сделав несколько шагов, Лобанович и Соханюк взошли на крыльцо волостного правления.

- Зайдем в канцелярию, - предложил Лобанович. - Заодно надо взять тетради и все учебные принадлежности.

Учителя переступили порог и очутились в "сборной" - просторном, как скотный двор, помещении. В противоположном конце "сборной", на возвышении, за оградой из точеных столбиков, стоял огромный стол, обитый зеленым сукном, а за столом в широком кресле восседал сам писарь. Это был уже старый человек, с полуседой широкой бородой. Держался он необычайно важно. Смотрел на всех слегка прищурясь, словно он только что понюхал табаку и собирается чихнуть. Несмотря на то что в канцелярии было тепло, писарь сидел в валенках, так как страдал ревматизмом. Болезненное лицо его носило на себе следы когда-то веселой жизни и пьянства, в котором писарь не имел себе равных в волости. С горелкой он никогда не разлучался. В канцелярии, в шкафу, среди "гражданских и уголовных дел", стояла бутылка с "царскими слезами", как называли тогда горелку, к которой часто прикладывался Петр Осипович и в часы своих служебных занятий в волости. Правда, таких часов у него было не так уж много, он приходил сюда только в случаях редких и важных; всю же работу по волости вел его помощник Дубейка, который уже считался кандидатом на должность писаря. По этой причине Дубейка также держался очень важно, носил манишку и манжеты и считал себя самым видным кавалером; старательно причесанные волосы и частое заглядывание в зеркальце свидетельствовали о том, что и ему в сердце запала завитанская паненка.

V

- Позвольте познакомиться, - сказал Соханюк, подводя Лобановича к писарю, - тельшинский учитель.

- А! - проговорил писарь, оглядывая Лобановича прищуренными глазами и подавая ему руку. - Просвещать, значит, приехали? - спросил он, чтобы хоть что-нибудь сказать, и еще раз окинул взглядом Лобановича. - Ну, ну, дело нужное, - важно заметил он, после чего перестал интересоваться Лобановичем.

Как человек практичный, он с первого взгляда понял, что для писарского дома польза от нового учителя небольшая.

Зато Дубейка выказал много внимания и признаков благородного тона, знакомясь с Лобановичем.

- О! - воскликнул он. - Нашего полку прибывает! Весьма приятно, когда круг интеллигенции увеличивается. - И тут же спросил: - А это употребляете? - он запрокинул голову и щелкнул пальцем по челюсти.

Лобанович удивленно взглянул на Дубейку. Этот вопрос для него был совсем неожиданным, и он не знал, что ответить.

- Ну, разумеется, не так, чтобы с ног валиться, - поправился помощник, - а в компании, после того как пулечку сыграешь либо стукалку, пропустить чарочку-другую. Играете в картишки?

- Нет, не играю.

Дубейка в свою очередь удивился, и выражение его лица, казалось, говорило: "Какой же ты после этого интеллигент?"

- Ну, ничего, - успокоил Дубейка, - поживете - научитесь. Только почаще к нам наведывайтесь, ведь у вас там глушь, человека не увидишь и, кроме подловчего, зайти там не к кому.

- Это не беда, - ответил Лобанович, - люди везде есть. Чем не люди те же самые полешуки? Разве к ним нельзя зайти? Я считаю, что среди них можно очень приятно провести свободное время и встретить не только интересное, но и разумное, чего никогда не найдешь ни за чаркою, ни за пулькою.

- Не понимаю вас, - ответил Дубейка. - Что интересного можно найти среди полешуков? Если и можно там встретить что-нибудь интересное, так разве только молодницу-солдатку.

- При этом Дубейка многозначительно глянул на Соханюка и засмеялся.

- Коллега - монах. Он любит глушь и одиночество и хочет жить отшельником.

- Знаем мы этих отшельников! - снова подмигнул Дубейка. - В тихом омуте черти водятся. Первое впечатление от знакомства у Лобановича было не очень благоприятным, и он, попросив выдать посылки с книгами и тетрадами для его школы, простился с новыми знакомыми.

Выйдя из "сборной", Лобанович направился к двери, ведущей на улицу, но Соханюк задержал его.

- Нет, коллега, надо познакомиться с писарьянками. Если вы не зайдете к ним, это будет такая обида, которая вам никогда не простится - ни в этой жизни, ни на том свете.

Соханюк взял Лобановича под руку и повел в квартиру писаря.

Просторная и светлая гостиная была прибрана чистенько и аккуратно, на мещанский лад. Столы и столики были застланы белоснежными скатертями и скатерками, стулья расставлены в порядке. На стенах висели разные картинки в красивых рамках. В углах гостиной стояли круглые столики под белыми кружевами, на столиках лежали альбомы для фотографий. На окнах - вазоны разных видов. Одним словом, на всем видна была печать девичьего присмотра и аккуратности.

Маня, старшая дочь писаря, уже немолодая девушка, лет за двадцать пять, по всему видно было, подготовилась встретить учителей. Придав своему лицу выражение, которое, как подсказало ей зеркало, более всего шло к ней, она с невинным видом сидела за столом, словно ничего не знала о приходе гостей, и разглядывала "Ниву". Она была черная, как цыганка, с довольно красивым лицом, но вместе с тем было в ее лице и нечто такое, что делало его сердитым, злым, - вероятно, сказалось долгое ожидание суженого, которого где-то задержали черти. Соханюк галантно подвел Лобановыми к дочери писаря.

- Лобанович, тельшинский педагог.

- Очень приятно, - сказала Мария Петровна. - Садитесь, пожалуйста.

Лобановичу показалось, что она кем-то разгневана. "Не Соханюком ли, который ищет своего счастья не здесь, вблизи, а где-то за семь верст? Что-то она с ним не очень ласкова", - подумал Лобанович.

- Ну как вам нравятся наши места? - спросила Маня.

- Ничего, место очень хорошее. Мне вообще нравится Полесье.

- А вот вашему коллеге оно нравится мало.

- Не скажите, - ответил Соханюк. - Если бы это было так, пять лет я не высидел бы здесь.

- Когда-то нравилось, - сказала Маня и слегка вздохнула.

Вошла дочь писаря Саша, совсем не похожая на сестру. Она была счастливее ее, так как имела жениха в лице местного урядника. Сразу же за ней вошла и третья сестра, Нина. Самая младшая, Ольга, училась в городе, и ее теперь не было дома.

Лобановичу было не по себе в компании девушек, ему не удавалось поддерживать с ними разговор. Он только отвечал на их вопросы, отвечал серьезно, что не нравится подобным барышням, привыкшим, чтобы их забавляли, шутили с ними, болтали о разных пустяках, лишь бы смешно было.

- А вы поете? - спросила его Саша.

- Нет, пою неважно, - ответил Лобанович, и в его глазах блеснул едва заметный смех. - За практический урок пения мне в семинарии наш Косточка еле три с минусом поставил.

- Какая косточка? - удивилась старшая дочь писаря.

- Простите, не какая косточка, а какой Косточка, - поправил ее Лобанович. - Был у нас такой учитель в семинарии, по фамилии Косточка, который преподавал пение.

- Нет, - сказала Саша, - я не о таком пении спрашиваю. Вы могли неудачно провести урок, но это не может помешать вам самим спеть, ну, например, романс.

- Избавь меня боже, - засмеялся Лобанович, - чтобы я еще романсы пел! И сам не пою и не люблю, когда кто-нибудь их поет. Другое дело - послушать хороший хор.

После такого ответа дальнейшие расспросы о певческих способностях Лобановича прекратились; замолчали паненки, молчал и он.

Между паненками и Соханюком начался разговор другого содержания - об их знакомых, о погоде, словом, началось переливание из пустого в порожнее.

Некоторое время Лобанович слушал, а затем поднялся, извинился и стал прощаться. Его не задерживали, хотя из вежливости попросили заходить.

"Дудки, - сказал сам себе Лобанович, выходя от паненок, - не скоро я здесь буду".

Вместе с ним вышел и Соханюк.

- Ну, как вам, коллега, понравились паненки?

- Ну что ж, девчата как девчата. А то, что я не понравился им, так это ясно.

- Почему вы так думаете?

- Тут и думать нечего. Прежде всего - не говорил комплиментов и не умею говорить их. Может, и придумал бы, но не осмеливаюсь произнести. Далее - не похвалил ничего из их рукоделья, не спел ни одного романса и вообще ничего не сумел сказать им в тон.

И он не ошибался. Как только учителя сошли с крыльца, Саша сказала:

- Ну и мешок! Для Тельшина лучшего, пожалуй, и не подберешь.

- Совсем неотесанный: так и виден семинарист, готовый кашлянуть и затянуть: "Благослови, душе моя, господу", - отозвалась Маня.

Учителя тем временем шли к батюшке. По дороге Соханюк показывал, кто где живет и чем кто примечателен. Вот в этом дворике живет фельдшер Горошка, вдовец, сошелся с одной полешучкой и сам стал настоящим полешуком. Сын его Максим учился во всех школах Пинска, но ни одной не окончил, а из последней, из духовного училища, просто сбежал. Теперь он сидит на отцовской шее. Бросил же он учиться по той причине, что в школах не учат ничему такому, что отвечало бы его широкой натуре, которая нашла удовлетворение в горелке, картах и других забавах деревенского лоботряса. Теперь он берет курс на дьячка либо на помощника волостного писаря. Но пока что это только благие намерения. Батюшка, еще молодой, немного болезненный, никуда не ходит, но любит, если к нему заходят. Матушка была прежде учительницей, женщина веселая и добрая, очень любит поиграть в стукалку. Вот этот дом, с садом, первый от церкви, и есть резиденция батюшки.

Так незаметно учителя подошли к калитке двора священника.

VI

- Милости просим, милости просим, - проговорил отец Кирилл.

Быстрыми шагами он потрусил к двери навстречу гостям и стал помогать им раздеваться; сам первый поздоровался с Лобановичем, попросил учителей садиться, сам подставлял им

стулья и вообще проявил очень много приветливости и внимания, даже радости и доброты.

Отец Кирилл был человек еще молодой, низенького роста, шупленький, с реденькой темной бородкой и живыми, немного беспокойными темно-серыми глазами. Печать какого-то страдания лежала на его худом лице. Говорил отец Кирилл громко и быстро, часто смеялся, но радости от этого смеха в нем не чувствовалось. И стоило хоть на минуту ему умолкнуть, чтобы тотчас же тень печали легла на его лицо.

- Давно вы приехали в Тельшино? - спросил Лобановича отец Кирилл.

- Да вот уже скоро неделя будет, отец Кирилл.

- Что, не думали, верно, попасть в такую глушь? - снова спросил священник и громко засмеялся.

- А вы знаете, отец Кирилл, - сказал Соханюк, - коллега находит, что у нас здесь большая глушь, чем Тельшино.

- И правду говорит, чистую правду! - убежденно промолвил отец Кирилл. - Тут у нас такая яма, такая, извините, помойка, что другой такой на свете нет.

- Когда я говорил, что у вас, коллега, большая глушь, то имел в виду, что вы живете дальше от железной дороги. Какая бы ни была сама по себе глушь, но когда ты слышишь гудок паровоза, стук вагонных колес и видишь эти ровные либо красиво закругленные полосы железа на шпалах, то не так тоскливо ощущаешь оторванность от людей и культуры, железная дорога является как бы живым образом неразрывной связи с людьми.

- Когда же вы думаете начинать работу в школе?

- А вот я и хочу просить вас, отец Кирилл, приехать на этих днях в мою школу на молебен. Со вторника бы и начал.

- Не торопитесь, - махнул рукой отец Кирилл. - Вы думаете, они, эти скоты, поймут, что вы для них будете стараться, учить их? Вы не знаете мужика: сделай ему добро - он отплатит тебе самой черной неблагодарностью. Мужик - лодырь, вор, пьяница, только и смотрит, как бы ободрать тебя, обмануть. Никакой веры нет ему. Он готов тебя утопить, продать за чарку горелки. Их надо держать во! - отец Кирилл сжал кулаки и потряс ими, показывая, как надо держать мужика.

Лобанович никак не ожидал, чтобы отец Кирилл мог до такой степени не любить крестьян и вообще чтобы в таком маленьком попике могло вмещаться столько ненависти.

- Вы попробуйте купить у мужика кусок хлеба или стакан молока. Разве он продаст вам? Никогда! Торговцу продаст, вам - ни за какие деньги!

Лобанович нетерпеливо ждал, когда окончит изливать свою злобу отец Кирилл, чтобы заступиться за мужика. Молодой учитель был оскорблен как мужицкий сын. Давно ли ему самому, когда он учился в семинарии, кричали мещанские сынки: "Лемец! Лемец! На какой березе лапти повесил?"

- Розгами его надо сечь! - кончил отец Кирилл и гневно блеснул глазами.

- Я не могу согласиться с тем, что вы сказали, отец Кирилл. Даже в том случае, если бы все это было правда, - начал Лобанович, - и тогда нельзя так судить мужика. Вы говорите - мужик скорей продаст торговцу, чем пану, потому что под понятие "пан" у мужика часто подходит каждый, кто носит кокарду либо черное пальто. Торговца он знает, с торговцем он живет, порой и ругает его и в морду ему плюет. На мужика привыкли смотреть как на пчелу либо на какую-то машину, которая должна все производить, всех кормить и еще при этом кланяться и приговаривать: "Спасибо, что берете". И все так или иначе берут от мужика: берут силой, берут хитростью, берут обманом. А мужику много дали? Уважают мужика? Кто виноват, что мужик неотесанный, что мужик темный и живет по-свински? В святом писании сказано: "Какою мерою мерите вы, такою отмерится и вам".

Отец Кирилл слушал опустив глаза и постукивал пальцами по столу.

- Мало вы еще знаете мужика, - спокойно ответил он. - Что бы вы мне ни говорили, я буду твердить свое: мало били мужика!

- Вы совсем не то говорите, что думаете. Просто вы за что-то разозлились на мужика, - сказал Лобанович, смеясь.

Соханюк молчал.

- А вы знаете, - проговорил он наконец, - наших здешних крестьян никто нигде ночевать не пускает.

- Кто не пускает?

- Другие мужики.

- Ну и что же? Не спору, ваши мужики могут быть и плохими, но из этого не следует, что и все мужики никуда не годятся. Та же самая панщина, о которой жалеет отец Кирилл, портила их, потому что, как подтверждают факты, были такие паны, которые гнали своих мужиков и подбивали их на кражу у своих соседей панов.

Вошла матушка. На лице у нее светилась приветливая улыбка. Поздоровалась, села и, обратившись к Лобановичу, спросила:

- Были у писаря? Ну, как вы находите его дочерей?

- Признаться, я и не разглядел их, мы очень мало были там.

- А правда, Саша хорошенькая?

Отец Кирилл поморщился и махнул рукой. Лобанович ответил:

- Ничего себе девушка.

- Вот видите! Жалко только, что вы от нас далеко, а то зачастили бы к Алеське.

- Разве здесь некому этим делом заняться? Вот мой коллега, например.

Соханюк и батюшка засмеялись.

- Нет, я уж совсем не пользуюсь там благосклонностью, слава богу.

Отец Кирилл засмеялся еще громче.

- Наш учитель говорит: "Не на такого простака напали!" - сказал он.

- Кроме того, я слышал, что у нее есть жених.

- Мало ли на свете дураков, - снова добавил отец Кирилл.

Матушка гнула свою линию.

- Ну так что же? Разве женихам свинью не подкладывают?

- Это было бы не по-христиански.

- Зато по-кавалерски.

- С полицией иметь дело небезопасно, - заметил отец Кирилл.

- Глушь там у вас, наставничек!

- Все вы, господа, в глуши живете, а глуши боитесь. И в глуши люди живут. Мне, матушка, даже нравится такая глушь.

- Правда, у пана подловчего дочки подрастают, - продолжала матушка все о своем, - и, говорят, старшая очень красивая, уже совсем барышней выглядит.

- Не знаю, не был у них.

- Что это вы так мало паненками интересуетесь? О, хитрите вы, наставничек!

- Есть чем интересоваться, - снова буркнул отец Кирилл.

Матушка встала, взяла папиросы, сама закурила и предложила гостям. Отец Кирилл не курил, но любил набивать папиросы и теперь взялся за эту работу.

В комнату вошла служанка-полешучка, крепкая, краснощекая девушка.

- К вам, батюшка, Апанас Коваль пришел, просит больную причастить.

- Кто у него болен?

- Женка.

- Скажи, сейчас иду, - сказал отец Кирилл. - Я скоро вернусь, здесь близко, а вы, пожалуйста, обождите меня, - обратился он к гостям.

Отец Кирилл надел теплую рясу, взял крест и все необходимые вещи и вышел.

- Эх, поповская служба! - вздохнула матушка. - Даже и отдохнуть некогда. А он слабый, больной, еле ноги таскает. Народ у нас, наставничек, грубый, дикий. Вот ваши, наставничек (слово "наставничек" матушка произносила как ласкательное от "наставник" - учитель), тельшинцы совсем другие люди. А наших вам никто не похвалит. Вы знаете, что

у нас произошло? Отец Кирилл - это уже года два тому назад - был на сенокосе. Раскидал сено, сушит. А мимо едет один наш - есть здесь такой грубиян - прямо по батюшкиному сену. Отец Кирилл и говорит: "Или тебе дороги нет, или не можешь объехать, что ты по сену с конем прешься?" А тот, ни слова не говоря, схватил батюшку за волосы и давай таскать! Приходит мой батюшка, как глянула на него, - а у него космы повыдраны! Так и лезут, так и лезут!

Матушка рассказывала об этом просто, даже с каким-то юмором.

- Народ наш, надо сказать правду, грубый, дикий. Одного только урядника и боятся, одного его и уважают. А кто уж лучше может угодить им, как не отец Кирилл? - продолжала матушка. - И землю им отдал, и сенокос, и лекарства дает, и добрым словом помогает. Никогда ни в чем им не отказывает.

Через полчаса вернулся отец Кирилл, усталый и хмурый.

- Ну как же их, гадов, не ругать! - гневно проговорил он. - Черт знает чем кормят больную. И говоришь им, приказываешь - нет, свое делают! А грязь!.. Свиньи, свиньи!

Немного успокоившись, отец Кирилл сказал тихонько матушке:

- Пошли ты ей с Параской чего-нибудь.

- А все-таки, отец Кирилл, вы намного лучше тех, кто говорит о народе высокие слова.

Отец Кирилл махнул рукою.

- Вот что, други, будем обедать.

VII

Деревянная стена отделяла квартиру Лобановича от классной комнаты, и, чтоб попасть в нее, нужно было только открыть низенькую дверь. Как только рассвело и взошло солнце, начали собираться ученики. Каждый их шаг, каждое движение и слово слышны были в квартире учителя.

Еще вчера прошел староста Роман Круглый по деревне, приказывая крестьянам посылать в школу детей. То одному, то другому, встретившись на улице, староста говорил:

- Посылайте завтра детей в школу!

При этом он делал важную мину и принимал начальнический вид. Его красный кожух с широким, как заслонка, воротником появлялся в разных мостах улицы. В тех случаях, когда нужные старосте лица не встречались, он подходил к окну, стучал пальцами в стекло.

- Гей, Кондрат! Поди-ка сюда!

Если Кондрата в хате не было, староста подзывал Алену либо Параску и так же строго говорил:

- Посылайте завтра детей в школу!

Выполнив свою обязанность, Роман зашел в школу.

- Дома панич? - тихо спросил он сторожиху.

- Дома, староста, дома! - немного нараспев проговорила бабка.

Лобанович услышал этот разговор.

- Заходите, староста, заходите!

Староста раза два затрубил носом - высморкался. Дверь, соединявшая квартиру учителя с кухней, скрипнула. Одна половина ее открылась, а другая задрожала от натиска широкого плеча старосты.

Сделав лишь два-три шага, Роман прошел всю комнатку-спальню и очутился на пороге другой. Каждый его шаг отпечатывался на полу мокрым пятном - на огромных лаптях он нес столько грязи, что хорошему хозяину и навозными вилами не взять за один раз.

- Ну, как живете, староста?

- Слава богу. Как здоровье панича?

- Вот что, староста: не называйте меня паничом, потому что я не панич и батька мой такой же мужик, как и вы.

Лобанович попросил старосту присесть на кушетку, - убогие стулья, которых здесь было всего только два, вряд ли выдержали бы его дебелое, сбитое тело.

Староста, по обычаю всех полешуков, носил длинные волосы. Рыжая борода, узкая и длинная, и немного хмурый взгляд исподлобья делали старосту похожим на бубнового короля. Глядя на его богатырское сложение, на широкую, видневшуюся из-под расстегнутой рубашки грудь с явственными следами летнего загара, Лобанович невольно вспомнил его отца Рыгора, который, как рассказывал Степан Рылка, поджимал старосту на руках, словно ребенка.

"Крепкий народ, хоть и живет в болотах", - подумал Лобанович.

- Значит, учить будете?

- Да, староста, надо начинать.

- Ну, а я уже наказал, чтобы посылали хлопцев в школу.

- Почему же только хлопцев? Надо, чтоб и девчатки ходили.

- Разве они пойдут? - махнул рукой староста. - Скажи им про школу, так будут смеяться, очень чудным это покажется им. Хотя бы хлопчики все пошли...

Лобанович, как только мог, объяснил старосте, что и девчаткам тоже надо учиться, и доказывал, почему это нужно.

Староста слушал, прижмурив глаза, и только поддакивал:

- Это так, паничок...

- Это вы справедливо говорите.

- Известно, так.

- Что правда, то правда.

Но учитель видел по лицу старосты, что никакие аргументы не могли убедить его в том, что девочкам нужна наука. Что наука нужна мужчинам (а науку староста понимал как умение читать, писание же - лихо его бери, без него легче обойтись!), староста не спорил. Служебные Дела вынуждали его ходить в волость, а там напихают ему в сумку целую кучу бумаг и приказов. То повестки на суд нужно доставить по принадлежности, то недоимку взыскать с кого-нибудь, то письма передать.

В этих случаях у старосты был свой особый порядок. Он клал повестки с повестками, письма с письмами, недоимки с недоимками. И здесь голове его приходилось поработать немало. Он расспрашивал в волости, кому повестки, и здесь же складывал их в таком порядке, в каком их следовало передать, в зависимости от того, кто где живет. Скажем, повестка для Микиты Телушки, который жил в этом конце улицы, клалась первою, за ней шла другая, третья и т. д. После этого староста запоминал тех лиц, кому повестки предназначались. Таким же образом поступал он и с недоимками. Для писем был у него другой порядок. Прежде всего их было немного, и конверты были разные и по цвету и по величине. Вот это, в синем конверте, надо отдать Гавриле Железному, в белом - Язепу Нырку, а это, помятое и засаленное, - вдове Текле. Ну, а если и перепутаешь их, не велика беда - сами разберутся, когда будут читать поклоны. Это уж лучше сумеют сделать бабы.

Забрав все бумаги, староста несколько минут стоял и размышлял, словно сам себе сдавал экзамен. Можно было сорок раз окликнуть его или выстрелить в нескольких тагах от него - все равно ничего не слышал тогда староста. Сдав экзамен, Роман сразу делался веселее, с лица сходила напряженность, в которой часто чувствовалось страдание, и уже обыкновенным человеком шел он, куда ему нужно было. А если в его памяти утрачивалась какая-нибудь деталь, староста внезапно останавливался посреди улицы, смотрел на бумаги, смотрел долго и напряженно. При этом он покачивал головой и часто терял надежду отыскать эту пропавшую деталь. Тогда он снова брел в волость и нес на своем лице явственную печаль.

Детские голоса все звонче и сильнее доносились в квартиру учителя. Лобанович ощущал легкое волнение: в этот день лицом к лицу встретится он с теми детьми, которые поручаются ему и моральную ответственность за которых он должен взять на себя. Разные мысли о школе занимали Лобановича и прежде, теперь они захватили его еще с

большой силой. Простое выполнение школьной программы не могло удовлетворить его, и свое главное назначение как учителя Лобанович определял так: пробудить в своих учениках и вызвать к деятельности критическую мысль, чтобы к каждому явлению и факту она подходила с вопросами - как возникли они, в чем их причины. И вообще, чтобы ко всему подходили сознательно. В этом пробуждении критической мысли Лобанович видел зачатки великого социального сдвига, залог того, что народ сумеет проложить себе просторную дорогу к новым формам жизни. Если человек начнет размышлять, доискиваться причин положения, в котором он находится, то, вероятно, не примирится со своей судьбой и будет стараться отвоевать себе лучшее место на свете. И если у человека откроются глаза, он сам себе выберет дорогу и сам за себя будет держать ответ. Навязывать же людям свою волю, требовать от них, чтобы они поступали именно так, а не иначе, мы не имеем права: кто может поручиться за то, что мы не ошибаемся? Не случайно разные главари, вожаки масс, которые увлекали силой и жаром своей убежденности человеческую толпу и вели ее за собой, - вели только до того рубежа, за которым начинались серьезные препятствия. Толпа не понимала этих препятствий, преодолевать их у нее не было охоты. Руководитель-пророк с горечью в сердце восклицал: "О слепая, ничтожная толпа, стадо скота!" А толпа кричала: "Ты обманщик! Побить тебя камнями!"

Уже несколько раз посматривал учитель на часы: не пора ли ему в класс?

Правда, сегодня только начало, только сбор детворы; он пока что познакомится с ребятами и запишет их в журнал. Все же на сердце станет спокойнее: сделаны определенные, хоть и первые, шаги.

А дети, немного освоившись с обстановкой, начинали гудеть смелее и веселее. Порой слышались их смех и крики, беготня по скамейкам. Некоторые тихонько подходили к двери, ведущей в квартиру учителя, и с величайшим любопытством заглядывали в щели. Время от времени забегали они и в кухню, будто бы напиться воды. Робко топтались, озирались, а некоторые тихонько спрашивали у сторожихи:

- А что, бабка, он сердитый?

И когда Лобанович показался в кухне, они, как мыши, завидевшие кота, бросились наутек. Сторожиха залилась веселым долгим смехом: ее очень насмешили дети и их страх перед учителем. Она рассказала Лобановичу, как расспрашивали о нем ученики, потирая свои уши, словно заранее примирившись с тем, что их будут крутить и драть.

В классной комнате учеников было десятка два. Как только появился Лобанович, они теснее сбились в кучу, словно испуганные овечки, и поглядывали на своего учителя как на какое-то диво. Подавляющее большинство их были новички. Все ученики были обуты в лапти, носили, как и старые полешуки, суконные свитки, черные либо светлые. Рубахи на груди, как и у родителей, были расстегнуты.

Учитель поздоровался, на приветствие ответили только несколько мальчиков, которые уже учились в школе.

- Что же вас так мало? - спросил их Лобанович.

- Еще придут, - ответил один из старших.

- Завтра будет больше, - добавил второй.

- А вы, детки, первый раз пришли в школу? - мягко спросил учитель маленьких.

Те опустили глаза, и только один, самый храбрый, коротко ответил:

- Да.

VIII

Поговорив с учениками и немного развеяв их страх, Лобанович принес журнал и начал делать записи. Дети смелее подходили к своему учителю и отвечали на его вопросы. При этом часто проявлялись простота и непосредственность детской натуры, которые очень забавляли учителя и всех учеников, вызывая взрывы смеха.

- Скажи-ка ты, голубок, - обратился Лобанович к одному мальчику, подошедшему записываться, - как тебя звать?

Мальчик молчал и смотрел на учителя своими ясными глазками. Очевидно, в этом вопросе ему почудилось что-то подозрительное: нет ли здесь какой хитрости, как бы не попасть впросак... Вопрос учителя, с его точки зрения, был совсем нелепым и лишним: кто же не знает, как его зовут? Но учитель не отступал и снова спросил, как его звать.

- А разве ты не знаешь? - в свою очередь спросил мальчик.

- Нет, не знаю. Если бы знал, не спрашивал бы.

- Ну как же! Иван, да и все! - громко проговорил мальчик с оттенком легкого раздражения.

- А тебя как звать? - спросил учитель другого мальчика.

- Лариен, - весело ответил тот.

- А как зовут твоего отца?

- Кондрат.

- А как твоя фамилия?

Мальчик закрыл руками лицо и начал смеяться.

- Почему же ты, Ларион, смеешься?

- Не знаю, что говорить.

А один маленький полешук, сидевший все время молча, спросил учителя:

- Почему ты все спрашиваешь, как нас зовут?

Молодой учитель старался насколько мог ближе подойти к детской душе, заслужить доверие учеников. Их порой грубоватые выходки или словечки, обращенные непосредственно к нему, он пропускал мимо ушей, зная ту грубую среду, из которой они вышли, и имея в виду, что со временем все это сгладится незаметно, само собой, под влиянием школьных порядков, которые будут зависеть главным образом от него самого. Все их ошибки в этом смысле он старался исправить и отметить так, чтобы не обидеть и не оскорбить чуткое детское сердце. Первые шаги были сделаны. Дети расшевелились, повеселели и вышли из того состояния замкнутости, в котором они еще так недавно находились. Лобанович, немного поговорив, отпустил их на перемену. А тем временем приехал и отец Кирилл. Зашли в комнатку учителя, поговорили о том о сем, пока собрались дети. Отец Кирилл тотчас же приготовился и вместе с учителем пошел в класс. Там он, но задерживаясь, отслужил короткий молебен, сказал небольшую проповедь детям, в которой призывал их к науке, к послушанию, и, пожелав здоровья и разума, дал поцеловать крест и окропил их святой водой.

После молебна учитель велел ученикам передать своим товарищам, чтобы завтра все приходили в школу, и отпустил их домой.

С веселым шумом и криком выбежали дети на улицу, наполняя ее звонкими голосами, и рассыпались по хатам. На своем собственном опыте почувствовали они, что школа и учитель далеко не такие страшные, как это им представлялось.

Отец Кирилл отказался остаться выпить чаю: ведь день короткий, а дорога плохая. На прощание он попросил Лобановича преподавать закон божий, так как ему далеко ездить сюда.

- А насчет... жалованья мы сговоримся, поделим его без обиды.

Учитель, хоть и неохотно, согласился.

- Приезжайте к нам, будем очень рады, - сказал отец Кирилл, уже сидя в тележке.

Лобанович остался один. В комнате стало так тихо, что он невольно обратил на это внимание. И была в этой тишине тоска, которую он ощутил здесь впервые. Его потянуло на свежий воздух, на простор. Он припомнил, что сын самого близкого его соседа, пана подловчего, хоть и должен ходить в школу, не пришел. И не пришел, вероятно, по той причине, что подловчий не считал "шляхетным" посылать сына, не повидавшись в не поговорив с учителем, человеком здесь новым, незнакомым. Сам же подловчий не принадлежал к тому местному населению, нужды которого обслуживала эта школа.

После обеда учитель вышел прогуляться. На улице было столько грязи, что перейти ее у Лобановича не хватило отваги, и он повернул в поле, где стояли две ветряные мельницы, и сразу же вышел на узкую стежку, которая вела к железной дороге. Это было единственное место, где можно было ходить, не боясь грязи.

Взойдя на железнодорожную насыпь, учитель остановился, словно раздумывая, в какую сторону отправиться. Вокруг было тихо. Далеко бежали вдоль дороги высокие телеграфные столбы с белыми "чашечками" и ровно натянутой проволокой. Ветра не было, но проволока непрерывно гудела приятным звоном, тихим, однотонным и жалобным, как сказка этих угрюмых лесов и болот Полесья. В той стороне, где был разъезд, железная дорога, тянувшаяся сначала ровненькой полоской, делала изгиб и терялась где-то в лесу. В противоположной стороне дорога тянулась ровно, докуда достигал глаз. Было даже видно, как выступал из мгlistой дали домик третьей будки. Там едва заметно передвигалась человеческая фигура. И трудно было определить, куда она движется - сюда или в другую сторону. Эта маленькая фигура, казалось, одна оживляла угрюмый и тихий ландшафт, где все словно исчезало или притаилось.

"Пойду навстречу", - решил Лобанович.

Фигурка была так далеко, что имела вид тоненького маленького столбика. Она приближалась, но трудно было угадать, кто это - мужчина или женщина. Расстояние между Лобановичем и фигуркой постепенно уменьшалось.

Миновав еще несколько столбов, учитель смог разобрать, что это была женщина, и он перестал ею интересоваться, а начал разглядывать лес и болота возле дороги, мостики, ручейки и все, что более или менее бросалось в глаза. Учитель совсем забыл о том, что вначале его так заинтересовало, обратив опять внимание на приближавшуюся фигурку лишь тогда, когда между ним и тем, кто шел ему навстречу, осталось расстояние только в два столба. Теперь он заметил, что это была высокая, стройная девушка, очень хорошо, даже со вкусом одетая.

Девушка издали несколько раз окинула внимательным взглядом незнакомого молодого парня, а подойдя ближе, опустила глаза. Лобанович также не считал деликатным разглядывать ее. Но, поравнявшись, они одновременно взглянули друг на друга, и взгляды их встретились. Незнакомая девушка, словно испугавшись, снова быстро опустила свои черные как смоль глаза. Лобанович, вблизи увидев ее лицо с блестящими удлинненными глазами, слегка вздрогнул: девушка была необычайно красива. Пройдя шага три-четыре, Лобанович обернулся, чтобы еще раз взглянуть на нее. То же самое сделала и заинтересовавшая его девушка. Она, должно быть, не рассчитывала выдать себя таким образом, и на губах ее появилась приятная, милая улыбка, после чего дев, ушка пошла быстрее и уже не оглядывалась.

Лобанович как зачарованный стоял несколько минут и все смотрел ей вслед. Ему было приятно глядеть на нее, какая-то безотчетная радость охватила его. Он пошел дальше, думая об этой незнакомой девушке. Ее черные глаза, белое лицо и эта чарующая улыбка так и стояли перед ним как нарисованные.

"Кто бы это могла быть такая?" - спрашивал он себя. Вероятно, из будки, та девушка, о которой говорила ему бабка. Видно, она шла в деревню к лавочнику, чтобы купить чего-нибудь. "Надо было, - думал он, - познакомиться и проводить ее до деревни". Он начинал упрекать себя за свою робость. Другой на его месте нашел бы двадцать предлогов, чтобы обратиться к ней вежливо и просто и таким образом познакомиться, против чего она, вероятно, ничего не имела бы.

Взвесив все "за" и "против", Лобанович пришел к выводу, что он хорошо сделал, не затронув девушку. А вот если он снова встретит ее, как сегодня, с глазу на глаз, тогда обязательно поздоровается, - ведь они уже как бы немного знакомы. Дойдя до третьей будки, Лобанович вернулся обратно в надежде, что он снова встретит девушку. Он миновал одну будку и другую, миновал уже и переезд возле своего села, но девушки

нигде не встретил. Не пошла ли она на разъезд, собравшись куда-нибудь поехать? А может, она совсем нездешняя и больше никогда не появится тут? Но в его душе надолго останется этот чарующий образ девичьей красоты. Лобановичу стало чего-то жаль, словно он что-то утратил.

В лесу и в полях начинало темнеть, серый осенний вечер быстро опускался на землю; вместе с ним и какая-то печаль ложилась на эти потемневшие дали. Вся местность изменила свой вид, словно замкнулась в себе самой, отдавшись исключительно своим мыслям и своему настроению, а все иное стало для нее чужим и неинтересным. Лобанович дошел до тропинки возле ветряных мельниц и направился в школу.

IX

Пан подловчий был родом откуда-то из Гораденщины и происходил, как он сам говорил, из старого дворянского рода. Местное население считало его поляком, сам же пан подловчий с этим не соглашался.

- Я литвин, - с какой-то гордостью заявлял пан подловчий и свою принадлежность к литвинам доказывал, между прочим, и тем, что его фамилия - Баранкевич - имела окончание на "ич", тогда как чисто польские фамилии оканчиваются на "ский": Жулавский, Домбровский, Галонский.

Узнав, что фамилия нового учителя Лобанович, подловчий при встрече с ним шумно выразил свое удовлетворение, как это бывает, когда на чужбине человек вдруг встретится с земляком.

- Значит, и пан литвин! - весело сказал он молодому учителю и похлопал его по плечу. Свое литовское происхождение он подчеркивал при каждом удобном случае, говоря: "Мы, литвины, любим пить гладко!"

Лобановичу, когда в его чарке оставалась недопитая горелка, он обычно говорил:

- А еще литвин! Ну какой же ты после этого литвин! - Пан подловчий с укоризной смотрел в глаза учителю. - Не порти ты мне, братец, компании!

Когда же этот аргумент не помогал, пан Баранкевич приводил другой:

- Ты лучше, братец, обмани мою жену, но не обманывай меня за чаркой горелки.

Третий аргумент, самый сильный и уже самый последний, был такой:

- Пей! Пей, говорю, не то, ей-богу, вылью за воротник!

Говорил подловчий Баранкевич чаще всего хорошим беларусским языком. И следует отметить, что он ни в коем случае не был пьяницей, он просто любил выпить "с хорошими людьми", а в одиночестве и чарки не выпивал. Но и в компании "добрых людей" никогда "не перебирал меры". Существовала определенная граница, которой он никогда не переступал и за которую его нельзя было вывести никакими силами. Что же касается его литвинолюбства, то оно еще выражалось и в том, что он очень любил литовские колдуны [Колдуны - пельмени]. И этих колдунов, как уверял подловчий, он съел однажды сто сорок штук.

- Разумеется, с водкой, - добавлял при этом пан Баранкевич.

Первый раз Лобанович зашел к подловчему вечером того самого дня, когда ходил гулять на железную дорогу.

Баранкевич встретил соседа-учителя приветливо и повел его в чистую половину дома, где он обычно принимал гостей. В просторной, аккуратно выбеленной комнате возле одной стены стоял диван и рядом с ним большой простой стол, застланный белой скатертью. На небольшом столике, недалеко от дивана, стоял ящичек - музыкальный инструмент, который подловчий и пускал в ход, чтобы позабавить гостей. Кроме еще одного диванчика возле другой стены и нескольких простых стульев, в этой комнате ничего не было, и она выглядела пустоватой.

- Садитесь, паночку, - пригласил Баранкевич учителя и угостил его крепкой папиросой.

Хозяин и гость разговорились, причем подловчий был первым здесь человеком, от которого Лобанович услышал доброе слово об этой местности, имевшей тот большой козырь, что лежала она возле железной дороги. Пройдясь несколько раз по комнате, пан подловчий крикнул, повернувшись к другой половине дома:

- Габрынька!

- Сейчас, папа! - откликнулся из глубины дома звонкий девичий голосок.

Послышались легкие, частые шаги, и в комнату вошла младшая дочь пана подловчего. Такими же быстрыми шагами подошла она к гостю, протянула ему свою еще детскую руку, сделав приседание, которое Лобанович видел в первый раз. Он даже испугался: ему показалось, что эта маленькая паненочка присела оттого, что он нечаянно наступил ей на ногу.

- Чэсю! - снова крикнул подловчий.

Вскоре, шаркая сапогами, в комнату вошел младший сын Баранкевича, мальчик лет девяти, довольно угрюмого вида, с большой курчавой головой и красивым лицом. Поздоровавшись с гостем, Чэсь молча сел возле кафельной печи и оттуда, как волчонок, поглядывал на учителя.

Извинившись, подловчий вышел куда-то, оставив Лобановича с дочерью и сыном.

Панна Габрыня, смуглая, строгая и серьезная девочка-подросток, обратилась к Лобановичу с приветливой улыбкой:

- Пан любит музыку?

- Очень люблю, - проговорил Лобанович.

Габрыня подошла к музыкальному ящику, выбрала металлический "кружок", приладила его к ящику, который завела затем и пустила.

Мягкие, ласковые звуки полились по комнате, наполняя ее приятным звоном и навевая какие-то добрые, тихие чары. Неясные образы возникали сами собой, о чем-то говорили и звали неведомо куда, а на сердце оставалось чувство утраты чего-то далекого, чего-то такого, что уже не вернешь никогда и о чем можно только вспоминать. Все мелочи жизни, все будничные заботы, муть души - все это исчезало, отступало перед обаянием музыки. Откуда же эта печаль? О чем она? Не о той ли красоте жизни, которая так безжалостно, так грубо попирается ногами, о красоте, которая поднимает человека над болотом людской суеты?

Через несколько минут вернулся пан подловчий, а затем пришла пани подловчая, вторая его жена. Это была женщина тихая, забитая, - пан Баранкевич, как узнал Лобанович впоследствии, в семейной жизни был человеком суровым, жестоким.

Габрыня сразу же вышла и вскоре вернулась с сестрой, стройной, смуглой девушкой лет шестнадцати, с тонкими, красиво очерченными бровями. Выражение ее темных больших глаз часто менялось: то в них искрился веселый, задорный смех, то светилась какая-то грусть и та серьезность, которая создавала впечатление, будто девушка много передумала и пережила.

Разговор вели главным образом подловчий с учителем, а все остальные слушали и только изредка вставляли свое слово. Было видно, что присутствие подловчего сдерживало их, заставляло не выходить за определенные границы, явившиеся результатом опыта совместной жизни.

Баранкевич с большой симпатией вспоминал учителя, которого сменил Лобанович.

- Что мне нравится в пане Турсевиче, так это то, что он умел поставить себя в каждом кругу общества и всегда сохранял собственное достоинство, - сказал подловчий.

- Турсевич мой учитель и мой земляк, из одной волости. Я считаю его одним из выдающихся учителей и работников. Он не только хорошо ведет дело в школе, но и много работает над собой. Человек много читал и много думал. Это один из тех моих друзей, которых я очень ценю и уважаю.

- Как же, паночку, он был вашим учителем? Сдается, разница в ваших годах не такая большая? - спросил Баранкевич.

- Он старше меня года на четыре. Когда он окончил начальную школу, я еще только начинал учиться. Он целую зиму был моим директором [В старой, дореволюционной Беларуси за недостатком школ некоторые крестьяне, желая научить своих детей читать и писать, брали в дом грамотного подростка, окончившего сельскую школу. Этих кочующих из дома в дом маленьких учителей называли "директорами"], моим и моих братьев.

- А, разве что так.

- Так вы хорошо знаете Турсевича? - спросила пани подловчая. - Ах, какой это был редкий человек! - добавила она и взглянула на мужа, словно желая прочесть на его лице, хорошо ли она сказала.

- Пан Турсевич в школе был строгий, - отозвался маленький Чэсь, стоя у кафельной печи. Баранкевич повернул голову в сторону сына и смеясь проговорил:

- А что с вами иначе сделаешь? Дай вам волю, так вы и школу перевернете и толку из вас никакого не будет.

Барышни засмеялись.

- Я вот буду просить пана учителя, чтобы тебя чаще на колени ставил да еще гречихи подсыпал.

- У пана учителя и гречихи нет, - сказала Ядвися и вскинула на Лобановича свои веселые, смешливые глаза.

Лобанович взглянул на нее. "Славная девчонка", - подумал он.

- Ну, тогда я пришлю ему целую осьмину, - сказал подловчий.

- Чэсь будет у меня таким хорошим учеником, что до гречихи у нас не дойдет. Правда, Чэсю?

Сестры снова засмеялись. Чэся они знали лучше, чем их гость, и относительно гречихи, как видно, склонялись к точке зрения отца.

Чэсь опустил голову, видимо не совсем уверенный в том, что дело может для него обойтись без гречихи.

- Ну, как там чай? - спросил Баранкевич жену.

Та сразу же встала, кивнула Габрыне и вышла вместе с нею.

Стол застлали, принесли тарелки с ветчиной, которую умеют так хорошо готовить в Беларуси, и сели пить чай. Лобанович чувствовал себя хорошо и свободно и все время вел разговор то с хозяевами, то с барышнями. Подловчий, выпив стакан, поднялся, попросил прощения, что не может дольше оставаться, так как вынужден уехать по служебным делам, и вышел.

После его ухода паненки почувствовали себя свободнее. Они смеялись, шутили, расспрашивали учителя обо всем - был ли он в волости, с кем там познакомился и кого как находит.

- А вы не знаете панны Марины? - спросила учителя Ядвися.

- А кто она такая? - спросил Лобанович. - Живет здесь у будочника одна панна.

- Я сегодня встретил одну очень красивую девушку Как раз на железной дороге. Может быть, это и есть панна Марина?

- Да, это она, - проговорила Ядвися, расспросив, как она выглядит.

Паненки на прощание несколько раз напоминали Лобановичу, чтобы он чаще заходил к ним.

Х

Как раз за день до введения пресвятой богородицы, праздника, который приходится на 21 ноября, перед жителями деревни Тельшино встал очень важный вопрос: когда праздновать этот праздник - сегодня или завтра? И возник этот вопрос, как возникают обычно все важные вопросы, случайно.

Старая Лукашиха, Авгения, пришла к своей соседке Югасе занять подситок просеять муки. Пришла она как раз в ту утреннюю пору, когда нужно уже тушить в хате огонь. Авгения сразу же обратила внимание на то, что в хате соседки налицо все признаки праздника: самопрядки вынесены вон, мужчины еще не все обуты, а сама Югася подбивает тесто на оладьи и печки не затапливает.

- Что это у вас, девка, никак праздник?

В Тельшине существовал обычай, когда одна старая женщина обращалась к другой, говорить ей "девка".

- А разве не праздник? - промолвила Югася и глянула на соседку.

- Как праздник? Что ты, девка, говоришь?

- А так, что праздник! - твердо и уверенно ответила Югася.

- Ах, боженька милый! А я-то думала, что завтра! - всплеснула руками Авгения. - Лукаш мой давно пошел в клуню молотить гречиху! И сама я все утро пряла! А-а, как же это я думала, что праздник завтра? Ах, матушки мои родимые!

Авгения повернулась и быстренько вышла из хаты, даже и подситок забыла взять. Выйдя на улицу, она на минутку остановилась, а затем заторопилась к Нупрею Бобку.

- Я прибежала у вас узнать: сегодня праздник или завтра? - спросила Авгения и окинула глазами хату.

Нупрей еще не поднимался, лежал на печке и грелся, как кот, скорчив длинные ноги, потому что они, хотя печь и была просторная, не могли на ней поместиться.

- А верно, сегодня, - ответил он с печи.

Правда, голос Нупрея нигде большого авторитета вообще не имел, а в таких вопросах тем более, - ведь Нупрей Бобок ничего не имел против того, чтобы праздновать и в будние дни. Но и Маланья, жена его, также подтвердила, что праздник сегодня.

- Ах, матушки! - снова всплеснула руками Авгения. - Все люди празднуют, одна я, дурная баба, суечусь, ни праздника, ни покоя не вижу... - И она выскочила из хаты и чуть не бегом бросилась домой.

Хорошо знакомые звуки глухих ударов, доносившихся из хаты Миколки Стукача, остановили Авгению: если сегодня праздник, почему же у Стукача толкут ячмень?

Недолго думая, Авгения бросилась к Стукачам. Первое, что она там увидела, были ступа и две молодницы, невестки деда Стукача, - молодницы стояли друг против друга с толкачами и дружно толкли ячмень для кутьи. Миколка Стукач, лысый дед с седой бородкой, подплетал лапоть. Бабка Стукачиха пряла кудель. Стук толкачей глухо отдавался в углах хаты, и после каждого удара что-то дребезжало на полке, где стояли миски с ложками.

Удивленная Авгения остановилась на пороге.

- Разве сегодня не праздник? - спросила она.

- Какой праздник? - сердито глянул на нее дед Миколка.

- Вот, скажите, мои милые, будто кто туману напустил, - промолвила Авгения, сбита с толку. - Одни празднуют, другие говорят, что праздника нет.

- Кто празднует? - спросила бабка Татьяна.

- Я и сама думала, что праздник должен быть завтра, ан прихожу к Рамковым - празднуют, Югася оладьи подбивает. Зашла к Бобковым - и там празднуют. Прихожу к вам - у вас будний день. Кому же верить?

- А может, и сегодня праздник, - уже другим тоном начал рассуждать дед Стукач.

Молодицы прекратили работу. Одна оперлась на толкач, не вынимая его из ступы, а другая держала толкач в руке. Они также задумались.

- Введение празднуют на восьмой неделе после покрова, - высчитывала бабка Татьяна. - Сколько же это недель после покрова?

- Ну как раз восьмая неделя и пошла, - сказала Авгения.

- Должно быть, праздник все же сегодня, - после раздумья промолвил дед Стукач, бросив на пол лапоть и почесав голову ниже лысины.

- Мама! А когда это к нам Шпак из будки приходил? - спросила одна молодница свою свекровь, бабушку Татьяну. - Тогда говорили, что до этого праздника осталось одиннадцать дней.

Дед Стукач, бабушка Татьяна, невестки и старший сын Стукача Апанас начали высчитывать, когда у них был Шпак из будки. Выходило, что одиннадцать дней как раз прошло. Бабушка Татьяна вынесла свою прялку, Марьяна сказала, что кутья давно уже столклась; крупу выбрали, а ступу выкатили в сени. Раз праздник, так праздник.

Авгения пошла домой, уверенная в том, что сегодня праздник. Не заходя в хату, она забежала к Лукашу в клуню и накричала на него, что он не празднует и ее сбил с толку, ввел в грех.

- Ты послушай, старый пенёк, молотит ли кто?

Югасю в свою очередь взволновала старая Лукашиха: а может, и правда, что праздник завтра? Набросив на плечи кожих, она пошла к своей куме Насте. Настя твердо вела подсчет праздникам и строго следила за лунными четвертями - "квадрами".

- Я уже слыхала, что некоторые собираются праздновать сегодня, но праздник, я наверное знаю, завтра. Пилиповы хлопцы уже давно поехали в лес с топорами.

Не прошло и четверти часа, как по всей деревне только и было разговору, что о празднике, при этом явственно обозначались два лагеря - праздничный и будничный. Каждый лагерь насчитывал в своих рядах весьма уважаемых представителей своего направления, что никоим образом не могло привести к соглашению: каждая сторона имела очень крепкие доказательства, на которых основывались ее суждения относительно праздника.

Особенно усилилось волнение, когда начало всходить солнце. Вдоль всей улицы то там, то здесь стояли кучки полешуков и полешучек, и в каждой кучке шел спор о празднике. Все тельшинские законники и законницы сошлись здесь и горячо судили взгляды противоположного лагеря.

Микита Тарпак, приведя все доводы в пользу завтрашнего дня и нисколько не повливав на стойкость взглядов своих противников, сердито плюнул, повернулся и пошел к своему двору. Его решительная походка и выражение лица ясно говорили о том, что он надумал сделать нечто такое, что должно произвести сильное впечатление и унижить тех, кто был не согласен с ним. Он вытащил телегу, положил на нее доски и стал наваливать навоз, хотя незадолго перед тем и не думал его вывозить в такое время. Нагрузив телегу навозом, запряг коня и важно поехал вдоль улицы, высоко воткнув в навоз вилы. Приблизившись к той кучке народа, где он недавно вел напрасный спор, Микита остановился и начал поправлять хомут, не обращая ни на кого внимания, словно он занимался своим обычным делом. Как только Микита повернул с улицы в поле, тотчас же с той стороны, откуда он выехал, возле колодца послышались два женских крикливых голоса. Они звучали все громче и все с большей злостью. Это ругалась Авдоля Лотачиха с женой Никиты Акулей. Они давно уже были не в ладах, теперь же этот праздник послужил поводом для того, чтобы дать волю языкам. Лотачиха сыпала словами, как горохом. Должно быть, не раз практиковалась она мысленно, готовясь к этой перебранке. Казалось, она только открыла рот, а слова сами, как из мешка, сыпались и сыпались. Акуля не поддавалась. Женщины кричали то по очереди, то одновременно. Проругавшись с полчаса возле колодца, они разошлись: одна пошла в один конец улицы, другая - в другой, так как им надоело ругаться и это не давало никаких результатов. И чтоб сильнее допечь друг друга, они пошли по деревне поносить одна другую перед людьми. Каждой хотелось острее поддеть своего врага.

- Ах ты чертова шлюндра! Пошла по улице зубами звонить, языком молотить, чтоб он у тебя почернел да высох! - кричала Акуля. - Иди, иди, так вот и поверят тебе, брехухе! Думаешь, не знают люди, как ты к Михалке в сарай бегала, га? Знают люди, за что тебя Крупенич с разезда горелкой угощает, чтоб тебя вожжами угощали... Знают, не сомневайся! Ты думаешь, не знают, как ты с дорожным мастером по ночам гуляешь, как

ты у него десять рублей подцепила? Копач ты из-под темной тучи, хлеба замесить не умеешь, хаты никогда, как люди, не подметешь, чтоб тебе глаза замело!

Авдоля, в свою очередь, идя в другой конец улицы, вела свой сказ. Женщины изредка прислушивались друг к другу и таким образом получали материал для дальнейшей ругани.

- На меня люди глядят, потому что я хорошая, а на тебя и собаки глядеть не хотят. Завидно тебе? А ты забыла, как тебя бабка Татьяна на своем дворе поймала? Зачем же ты ходила туда? Чужих курей выслеживать? А тыквы с грядок у Рамковых кто таскал, чтоб из тебя кишки повываскивали? А кто, если не твой Микита, у деда Андрея баранинку крал? Этого, может, не знают люди, так пускай же знают...

Полешуки стояли, как строгие и справедливые судьи, но серьезные лица их часто делались веселыми, и дружные раскаты смеха наполняли улицу. При этом полешуки, как по команде, запрокидывали головы и выпячивали животы. Но это было только в тех случаях, когда какая-нибудь из женщин, перейдя всякие границы женской стыдливости, отпускала что-нибудь очень жизненное и сочное. И все же деревня не пришла к согласию. Одни праздновали в тот день, другие - на следующий. А некоторые, чтобы не ошибиться, праздновали два дня.

Этот неясный вопрос о празднике отразился и на школьных занятиях. Лобанович, придя в класс, заметил, что половины учеников нет.

- Почему же вас так мало пришло?

Дети рассказали историю спора о празднике, а вместе с тем и о причине отсутствия учеников.

XI

Занятия в школе наладились.

Молодой учитель вкладывал в них свою душу и сердце. Короткие зимние дни проходили незаметно, их не хватало для того, чтобы как следует провести работу. Как только становилось светло и можно было начинать занятия, Лобанович шел в школу, распределив свою работу среди четырех групп.

Много требовалось умения для того, чтобы каждая группа была занята и не сидела без работы. Много нужно было энергии и старания, чтобы каждая группа была заинтересована в своей работе, чтобы все время поддерживать в классе определенное настроение. Днем школьники распускались на полтора часа для обеда, затем уроки снова шли до самого вечера, пока не стемнеет. Часто со старшими учениками занятия велись и вечерами, при лампе. Потом учитель еще долго сидел над тетрадями и правил их. Молодых сил было много, казалось, никогда не исчерпаешь их, и расходовались они так, как расходует с осени зажиточный, но малоопытный и непрактичный хозяин богатый сбор со своей нивы.

Но в своей работе черпал молодой учитель и полную чашу высокого удовлетворения, наблюдая, как дети овладевали знаниями, легко осиливали то, что еще вчера казалось им непонятным и трудным. Более толковых и способных любил он той любовью, какая может быть только у наставника к своим воспитанникам. Им и дозволялось многое из того, чего не должны были делать обыкновенные ученики, - у Лобановича в школе вообще был строгий порядок. Хоть потворствование было и вредно с педагогической точки зрения и Лобанович это знал, но преодолеть свою слабость не мог. С другой стороны, надо сказать, что с лучших учеников больше и спрашивалось. И радостно становилось на сердце у молодого учителя, когда он смотрел на этих маленьких сообразительных полешуков.

Окончив занятия и проверив работы учеников, Лобанович часто подводил итоги дня; при этом раздумывал он и о том, как обойти ошибки и промахи, которые так трудно бывает избежать в школе молодому, малоопытному учителю. Все известные ему способы и

приемы, так гладко и просто описанные в методиках, часто оказывались совсем неподходящими, не отвечали условиям школы. Нужно было что-то придумывать самому. А сколько времени приходилось тратить на то, чтобы приспособить язык детей к книжному языку! И сколько смешных и нежелательных недоразумений возникало на уроках в результате того, что родной язык в школе унижался и подавлялся!

Иногда Лобановичу казалось, что школа отстает, что результаты достигнуты незначительные и что вообще он неважный учитель. Нужно применить здесь что-то новое, нужно оживить школу, так как методы его занятий устарели и, вероятно, перестали быть интересными для детей. В такие минуты настроение его падало, ему становилось не по себе.

"Надо будет наведаться к Турсевичу и посмотреть, как он ведет свое дело", - подумал Лобанович и твердо решил в первый же праздник поехать к своему старому учителю.

Он обдумал маршрут. Правда, маршрут этот простой: пойти на разъезд, как-нибудь сесть на товарный поезд и поехать. От станции его приятель жил версты за две, а езды полстанции. Если же не удастся поехать поездом, то у него молодые ноги, к ходьбе привычные. Разрешив, вопрос таким образом, Лобанович успокоился и хотел засесть за книгу.

Как раз в эту минуту вошла бабка.

- А что, паничок, чай пить будете?

- Чай? - спросил учитель и запел:

Чай, чай,

Примечай,

Куда чайки летят!

Бабка, обхватив руками щеки, начала смеяться.

- Смешной вы, паничок, ей-богу... Ах, пускай бы вы здоровеньки были!

- А знаешь, бабка, что я надумал?

- Бог вас знает, паничок.

- В это воскресенье, бабка... Там никого нет? - тихо и таинственно кивнул наставник в сторону кухни.

- Нету, паничок! - тихо ответила бабка, приготовившись услышать что-то весьма интересное.

- Так вот, бабка, даже не в воскресенье, а в субботу на ночь надумал я поехать в гости к тому паничу!

- А я, паничок, думала, что вы скажете о другом, - сказала, смеясь, бабка. - Почему же, паничок, не поехать? Известно, соберетесь...

Дверь в кухню стукнула, и туда кто-то вошел.

- Это, должно быть, бабка, к тебе кто-то лечиться пришел.

Бабка быстро повернулась и в дверях встретила с Чэсем.

- Папка просил, чтобы вы зашли к нам, - проговорил Чэсь Лобановичу.

- Хорошо, Чэсь, я сейчас приду. У вас там, может, кто-нибудь есть?

- Пан Суховаров с разъезда.

- Ах, Чэсь! Как же это ты такую штуку мне в школе отколол? - вспомнил Лобанович, как Чэсь, сидя на уроке славянского языка, скрутил бумажку трубочкой и засунул ее в ухо Кондрату Круглому.

Чэсь опустил голову в знак признания своей вины и стоял так, понурившись.

- Не делай ты, братец, так никогда.

Чэсь вышел. Немного обождав, вышел и Лобанович.

За столом у подлочевого сидел помощник начальника разъезда Суховаров, неженатый, еще молодой хлопец, одетый в парадный мундир; он покручивал свои черные усики. На диване против него сидела Ядвися в красивой красной кофточке, которая очень ей шла. Ее

черные пышные волосы были перехвачены красной лентой. Ядвися выглядела очень интересной. Темные глаза ее с длинными ресницами словно рассыпали лучи, искрились неподдельным весельем.

Лобанович подошел к ней и поздоровался. Ядвися познакомила его с помощником и спросила:

- Что это вас не видно?

- А я, видите ли, немного закопался в школе...

- Представляю, какое это удовольствие сидеть весь день с деревенской детворой! Натаскают лаптями грязи, дух тяжелый, - проговорил Суховаров.

- Пан Лобанович влюблен в свою школу, - сказала Ядвися.

- А может быть, в вас, панна Ядвига? - спросил помощник и вскинул на нее свои оловянные глаза.

Видно было, что помощник хотел один завладеть вниманием Ядвисы, а учителя оттереть. Он считал себя очень интересным кавалером, с которым учителю тягаться никоим образом нельзя.

- О нет! У пана Лобановича есть более счастливая, чем я.

Одно мгновение Ядвися помолчала, как бы сильно опечаленная, но из глаз у нее так и сыпались искры смеха.

- Пан Лобанович отдал сердце своей бабке!

Сказала и залилась самым веселым, сердечным смехом. Смеялись также и маленькая Габрынька и Суховаров. Смеялся и пан подловчий, вошедший в этот момент к гостям.

А Ядвися еще добавила:

- Сядут с бабкой возле стола и воркуют до самой полуночи.

"Однако же ты охотница посмеяться", - подумал учитель и также шутливо ответил:

- Ну что ж, любить молодую и красивую каждый сумеет, а вот влюбиться в старую - это уже другое дело.

- Так, так, - сказал Суховаров, - для этого надо иметь особый талант.

- У пана Лобановича и есть этот особый талант, - промолвила Ядвися.

- Что это, паночку, она к вам прицепилась? - спросил подловчий.

- Не знаю, - ответил Лобанович. - На свете, дорогой сосед, так бывает: кто кого любит, тот того и чубит.

- Ха-ха-ха! - засмеялся пан подловчий. - Что, Ядвиська, получила?

А Ядвися как ни в чем не бывало спокойно, даже серьезно, спросила:

- А разве бабка таскает вас за чуб, пане учитель?

- Браво! Браво! - захолопал в ладоши помощник.

Баранкевич громко засмеялся.

- Так вас, пане учитель, бабка за чуб таскает? - спросил он, не переставая смеяться.

Общий смех не дал Лобановичу возможности ответить, и верх остался за Ядвисею.

Разговор пошел в другом направлении, и говорил теперь больше помощник. Говорил он гладко и остро и часто вызывал веселый смех своих слушателей и слушательниц. Панна Ядвися часто поднимала на него темные выразительные глаза из-под тонких дужек бровей. Лобанович молчал. У него было такое ощущение, будто он чем-то задет и обижен. А пан Суховаров очень заинтересовал Ядвисю рассказами о Вильне и театрах. Сам он немного пел, но только под гитару. В следующий раз обещал он прийти с гитарой, о чем панна Ядвися его очень просила. За все это время она ни разу не взглянула на своего соседа Лобановича.

- А ты, Ядвиська, пожалуйста, спой, - обратился пан подловчий к дочери.

- Пан Суховаров смеяться будет, - проговорила Ядвися, опустив глаза, а затем вскинув их на помощника.

- Что вы! Что вы! - запротестовал Суховаров, прося ее спеть.

Ядвися стала в уголке возле кафельной печи и запела:

Ці я ў полі не калінаю была?

Голос у нее был молодой, свежий, сочный. Пела она с неподдельным чувством. Лобанович слушал, и какая-то печаль охватила его. Ему хотелось подойти к девушке и спросить ее: "Скажите, какое горе у вас на сердце?"

Суховаров много и долго хвалил панну Ядвися; она стояла, опустив глаза, и, кажется, ждала слова от Лобановича. Учитель намеренно не сказал ничего.

Прощаясь после ужина, панна Ядвися была серьезна и не попросила соседа заходить к ним вечерами.

XII

Лобанович почувствовал, что на душе у него беспокойно. Что привело его в такое состояние, он и сам не мог бы определить. Не было у него теперь и прежнего ощущения полноты жизни и душевной ясности. То одно, то другое начинало угнетать его душу, отвлекать и рассеивать его внимание, и он словно разделился на части, не имевшие тесной связи между собой. Чувство какой-то неудовлетворенности портило ему настроение.

Лобанович долго ходил по комнатке, обдумывал тот более или менее твердый и четкий распорядок своей жизни, который он считал необходимым установить. Нужно глубже заглянуть в самого себя и заняться чем-нибудь значительным и серьезным, не тратить времени на такие пустяки, как вечера в компании лиц вроде Суховарова, который даже ничего хорошего не видит в его школьной работе. Суховаров ему не понравился. "Хлюст, - мысленно назвал его учитель, представив себе его облик, масляные глаза, которыми он оглядывал Ядвися, немного отвисшую губу. - Грош ему цена!"

Учитель долго ходил по комнатке. Когда приближался к лампе или отдалялся от нее, тень его то удлинялась, то укорачивалась, а на стыках стены и потолка быстро переламывалась и пробегала по потолку. Несколько раз невольно глаза учителя поднимались на окна Баранкевича. Все еще думал он и о панне Ядвисе. Может быть, и Суховарова невзлюбил за то, что она отдавала явное предпочтение ему...

"Э, глупости! - прервал учитель свои мысли. - Нужно обязательно поехать к приятелю, немного проветриться и выбросить мусор, который понемногу начинает уже накапливаться в голове".

Но задуманную поездку пришлось отложить. На другой же день к Лобановичу зашел артельный староста Бабинич, познакомился с ним и очень просил к себе в гости на четвертую будку. Староста Бабинич собирался послать в школу к Лобановичу своих детей - сына и дочку. А ученики с железной дороги были платные и составляли, таким образом, доход учителя. Жалованье учителя было слишком маленькое, и каждый ученик со стороны был значительным подспорьем в денежных делах. Никакие уверения Лобановича, что он должен поехать к приятелю, Бабинич не принимал во внимание.

- Успеете побывать и у приятеля. Побудете у меня, а вечером и к дружку поедете, тем более что праздников насобиралось много.

Бабинич принадлежал к тем людям, которые не так-то легко отказываются от своих планов. Он до тех пор не отставал от Лобановича, пока не взял с него слова быть в гостях. Как только Бабинич вышел, в комнатку вошла сторожиха.

- Наверное, паничок, артельный в гости приглашал? - спросила она.

- Откуда ты это, бабка, знаешь?

- А как же, паничок, он будет своих детей к вам отдавать. Мне женка его уже говорила об этом. А староста такой человек, что любит отблагодарить. И угостит, и заплатит...

Бабка знала всех будочников по одну и по другую сторону разъезда и очень советовала погостить у Бабинича.

- Очень хорошие люди, - говорила она.

- Что ж, ничего не поделаешь, бабка, надо пострадать - пойду.

- Какое же это страдание? Э, панич! И выпьете, и закусите...

- А ты, бабка, любишь выпить?

- А кто же не любит, паничок? Если случается, почему и не выпить!

В первый праздничный денек вышел Лобанович на знакомую ему стежку возле двух ветряных мельниц и пошел на железную дорогу. Это место ему очень нравилось, и хотя он делал изрядный круг, идя здесь, времени оставалось еще много, спешить ему было некуда. Подойдя к железной дороге, он остановился. Хотелось пойти в сторону разъезда, идти долго-долго по маслянистым, потемневшим шпалам среди зарослей лозы и камыша, среди кустарника и леса.

Было совсем тихо. Распогодилось. Низко стояло осеннее солнце. Какой-то неизъяснимой грустью веяло от узких, тесных полянок, от заброшенной среди болот и лесов деревеньки. Коротко и отрывисто прогудел паровоз на разъезде, тихонько вздрогнули рельсы, легкий, еле слышный шорох пробежал по ним, будто они о чем-то переговаривались между собой. И тотчас же на изгибе дороги вырвался огромный клуб беловатого дыма, за ним взлетели другие клубки, вслед за тем показался паровоз курьерского поезда. Хвост густого белесого дыма с каждым мигом удлинялся, становился шире и, казалось, неподвижно застыл в морозном воздухе, в то время как голова его все вытягивалась, будто из своего собственного туловища. Было что-то величественное, могучее и захватывающее в стремительном беге поезда. Невольно хотелось склонить голову перед гением человеческого ума, одержавшего верх над бесконечными пространствами. Поезд промчался, как змей, обдал учителя вихрем пыли и дыма, отхватывая за минуту целую версту.

Лобанович тронулся с места и пошел в ту сторону, куда полетел и где сразу же исчез курьерский поезд. Учитель шел на четвертую будку, к Бабиничу. За второй будкой начинался высокий бор, и место было более сухое и веселое. Здесь недавно встретился Лобанович с незнакомой девушкой. Он часто думал о ней, но ни у кого не спрашивал про нее, - ведь некоторые люди в таких случаях всегда склонны бросить хоть маленький комочек грязи в то, что для тебя является святым и неприкосновенным. Только с панной Ядвисей, и то между прочим, был о ней разговор. Сегодня он, вероятно, что-нибудь узнает о незнакомке. А может, она тоже будет в гостях? А вдруг это совсем не та девушка?

Проходя возле третьей будки, где жил Курульчук, Лобанович бросил на нее внимательный взгляд, но на крылечке и во дворике было тихо, никого не видно. Следующая будка, четвертая от села, была не более чем в полуверсте от третьей.

- Милости просим! Милости просим! - встретил староста учителя на крылечке и повел его в будку.

Маленькая снаружи, будка внутри была довольно вместительной. В ней была кухня, проходная комнатка и еще две комнатки, более просторные, светлые и чистые.

В домике Лобановича встретила хозяйка, низенькая, полная женщина. Глядя на нее, сразу трудно было определить, что в ней преобладает, толщина или рост.

Гостей было человек восемь - трое мужчин и женщины. Рядом с комодом возле оконца сидела девушка, с которой встретился Лобанович, гуляя по полотну железной дороги. Здороваясь с гостями, учитель, увидя панну Марину - это была она, - невольно на мгновение задержался перед ней: необычайно красивое лицо девушки словно приворожило его. Разглядев панну Марину вблизи, Лобанович нашел, что такой славной девушки он еще никогда не видел. Темные чистые глаза, казалось подернутые легкой печалью, смотрели так приветливо и с такой добротой, что от их взгляда становилось легко на сердце. На высокий белый лоб нависали черные-черные волосы и придавали ее лицу еще больше красоты. Тонкие, сомкнутые губы делали лицо девушки немного строгим и серьезным.

- Кажется, это с вами я встретился однажды? - спросил Лобанович, поздоровавшись с девушкой.

Панна Марина усмехнулась.

- Да, это я шла в вашу деревню.

- Ну и молодежь! - сказал Бабинич. - Как быстро они умеют встречаться!

Бабинич, видимо, успел уже хватить несколько чарок, язык его, вообще распушенный, не знал удержу и начинал плести такое, от чего краснели не только девушки и женщины, но часто и мужчины опускали глаза либо покатывались со смеху. Бабинич в этом смысле был известный чудак и никак не мог обойтись без того, чтобы не ляпнуть чего-нибудь при женщинах, особенно если он хорошенько выпил.

Через несколько минут Бабинич и его жена-кадушка пригласили гостей за стол. На столе было много закуски, а еще больше водки. Хозяйка приглашала гостей очень деликатно, а хозяин просто толкал их, угрожая поддать коленом, если кто-нибудь не очень быстро занимал место за столом.

- А ты чего стоишь и топчешься, как толкач в ступе? - набросился он на будочника Лобука.

- Садись, Лобук, садись! - смеялся высокий, широкоплечий Курульчук, шурин панны Марины.

Гости живо уселись за стол.

Окинув взглядом компанию и стоявшую на столе водку, Лобанович твердо решил не пить. Какое-то чувство осторожности подсказало ему это решение. Когда первая чарка дошла до него, он поблагодарил хозяина и передал чарку соседке, жене вокзального жандарма.

На лице Бабинича изобразилось необычайное удивление.

- Разве вы не пьете? - понизив голос чуть не до шепота, проговорил староста.

- Не пью, - солгал учитель.

- Ни единственной чарочки?

- Совсем не пью.

- Господи боже, твоя воля! Как же это может быть, чтобы человек не пил? Ну что же с вами делать?

- Ой, господин учитель, у нас нельзя, чтобы горелки не пить, - огорчилась и хозяйка. - Вы хоть немножечко, а выпейте.

- Нет, нет! - загудели женщины. - Как это не выпить?

Учитель стоял на своем и не поддавался ни на какие уговоры.

- Панна Марина, попросите вы. Может, на вашу просьбу гость обратит внимание, - обратилась к девушке жена жандарма, краснощекая добродушная женщина.

Панна Марина усмехнулась и показала свои белые, как рождественский снег, зубы.

- А зачем приневоливать человека? - сказала она и взглянула на учителя.

- Большое вам спасибо! - поклонился ей Лобанович.

- Эх, панна Марина, панна Марина! - укоризненно покачала головой жена жандарма и выпила чарку горелки.

После этой заминки чарка уже не знала покоя. Курульчук через полчаса начал свою песню, одну из тех, какие он знал и пел, дойдя до определенного состояния:

Ходил себе с топориком пан Ян...

Женщины разругались, словно пироги под пасху у хорошей хозяйки. Бабинич совсем осоловел, глаза его пожелтели и ворочались, как точило в руках неумелого кузнеца. Его нескромная болтовня уже не производила большого впечатления: к ней прислушались и притерпелись, и она как бы получила здесь права гражданства. На это, видимо, обратил внимание и сам Бабинич, - в его болтовне начался перелом, с каждым разом он заходил все дальше и дальше. Несколько раз жена закрывала ему рукой рот и сама хохотала. Подгулявшие женщины запели какую-то песню, а Бабинич закричал на всю комнату, требуя к себе внимания. Все замолчали, ожидая, что он скажет. Бабинич отпустил такие словечки об их пении, что и привычные женщины повскакивали с мест.

Панна Марина куда-то спряталась, а ее сестра, жена Курульчука, разгневалась и сказала:

- Нет, куманек, не приду я больше к вам.

- Ну, не буду, не буду! - давясь дымом махорки, смехом и кашлем, проговорил Бабинич. - Не буду, пускай вас холера задушит!

Лобановичу наконец опротивели эта пьяная гулянка и эта грязная болтовня. Его только очень удивляло, как могла быть в такой компании панна Марина. Ему было стыдно и за себя и за нее. Встать и уйти, что он уже несколько раз порывался сделать, Лобанович не решился, не желая обидеть хозяина и гостей. Он должен был досидеть до вечера, пока Бабинич не встал, шатаясь, и не исчез надолго за дверью.

Вместе с Курульчуками и панной Мариной вышел учитель от Бабинича. Курульчуки и панна Марина просили его быть с ними знакомыми и заходить к ним.

ХІІІ

- А вас здесь паненка спрашивала, - доложила бабка учителю, как только он вернулся из гостей. - "Где же, говорит, бабка, твой панич?" - "Пошел, говорю, паненочка, куда-то на чугунку". - "А я, говорит, хотела попросить книг у панича".

- Хорошо, бабка, книги я подберу.

Лобанович покопался в своих книгах и отобрал две: томик рассказов Короленко и небольшую повесть Сельмы Лагерлеф "Легенда одного дома".

Лобановичу хотелось самому передать книги, и панна Ядвися, как догадывался учитель, вероятно, рассчитывала, что он сам принесет их. Книги здесь были только предлогом. Но Лобанович вдруг заупрямился. "Нет, не пойду", - сказал он себе.

- Вот, бабушка, книги, отнеси их, пожалуйста, паненке.

- Хорошо, паничок.

Бабка немного постояла, раздумывая о чем-то, но ничего не сказала и вышла.

Лобанович, сказать правду, сердился на Ядвисю после того вечера, когда у пана подловчего был в гостях Суховаров, и решил не показываться там. Кроме того, другая девушка сильно заинтересовала его и частично заслонила собой Ядвисю.

Невольно Лобанович сравнивал этих двух девушек. Панна Марина тихая, серьезная, вероятно с очень доброй душой. Ядвися, бесспорно, уступала ей в красоте, но дочь подловчего привлекала учителя тем, что это была натура яркая, более богатая и многосторонняя, более живая, хотя характер ее и не вполне еще сложился.

Лобанович усмехнулся. Ему припомнилась сказка про осла. Голодный осел очутился меж двух стогов сена. Он стоял и рассуждал, к какому стогу ему направиться. Рассуждал до тех пор, пока не протянул ноги.

В конце концов Лобанович пришел к заключению, что достоинства этих двух девушек предохраняют его от того, чтобы влюбиться в одну из них, и ему стало весело.

- Занесла, паничок, ваши книги. Барышня просила передать вам спасибо. "А почему, говорит, панич не пришел?" - сказала, возвратясь, сторожиха.

По правде говоря, учителю хотелось повидать Ядвисю, тем более что после того, как в гостях у подловчего был Суховаров, они не встречались. И как ни хитрил Лобанович сам с собой, чем ни объяснял свое душевное состояние, но одного не мог побороть в себе - постоянной потребности думать о панне Ядвисе. И что бы он ни делал, чем бы ни были заняты его мысли, нет-нет и встанет перед ним Ядвися. И чем ближе был он к ней, тем сильнее чувствовал власть этой девушки над собой. В гостях, видя перед собой другую девушку, он ни разу не вспомнил о своей соседке. Теперь же, словно в отместку за это, образ панны Ядвисы неотступно был у него перед глазами, дразнил его, куда-то звал и смеялся. А дом пана подловчего светился ярким, манящим светом. Сейчас там, наверно, одна панна Ядвися с сестрой; ведь пан подловчий целыми днями разъезжает по округе - принимает сено от полешуков для графа Потоцкого; паненки, вероятно, рассматривают, а может, читают его книги. Дом пана подловчего выглядел так, словно хотел сказать учителю: "Неправда! Ты все же ко мне придешь!"

"Что за наваждение? - проговорил про себя Лобанович. - Или у меня нет сил взять себя в руки? Еловые шишки! Сказал сегодня: горелки пить не буду - и не пил. Сказал: не пойду к Ядвиге, - значит, так тому и быть!"

Учитель снял со стены скрипку, настроил кое-как струны и начал водить по ним смычком. Играл он совсем слабо, но взялся за скрипку, чтобы разогнать ненужные мысли. Он даже пытался выразить игрой свое настроение, но из этого ничего не вышло. Скрипка, как заметил сам музыкант, ревела, словно голодная корова, завидевшая своего хозяина. Он бросил скрипку на стол, свернул папиросу и, подумав мгновение, оделся, взял палку и вышел.

В кухне возле печки стояла сторожиха, а на скамеечке за столом сидела ее приятельница Настя.

- Куда же это вы, паничок? - спросила старуха.

- Пойду, бабушка, ловить того черта, который твоего Михалку напугал, - серьезно ответил Лобанович и вышел во двор.

Уже давно стемнело, и в хатах везде светились огни.

В одном конце села, возле переезда, пели деревенские девчата, и отголоски их однотонной песни доносились сюда волнами мягких, печальных звуков. Простая мелодия, слегка смягченная расстоянием, волновала молодого учителя, как смутный, неясный призыв, и вместе с тем углубляла его грусть. Темный лес, стоявший невдалеке за деревней, смотрел хмуро, словно говорил: "Не слушай ты этих песен - в них твоя отравка. Беги отсюда - здесь все пропитано сердечной отравой". Но учитель стоял и слушал девичьи песни.

"Почему они такие печальные? Почему мало разнообразия в их мотивах, так мало, что трудно сказать, о чем поют девчата, о грусти или радости, - ведь когда ни слышишь их напевы, они всегда невеселые... Не однотонность ли здешней природы, не эти ли кривые бесконечные дороги среди лесов и болот наложили на них свой отпечаток?"

В нескольких шагах от Лобановича бесшумно, словно тень, вынырнула из темноты женская фигура. Поравнявшись с оградой школы, женщина замедлила шаг, вглядываясь в освещенные окна квартиры учителя, - уходя, учитель забыл погасить лампу.

Заметив учителя или только догадываясь о том, что это он, женщина пошла быстрее, незаметно поворачивая в ту сторону, где стоял Лобанович, затем прямо направилась к нему.

- Вам, должно быть, скучно одному? - спросила она тихо молодым, грудным голосом, в котором слышался затаенный призывный смех.

Лобанович почувствовал, как голова его закружилась, будто во хмелю, и по всему телу пробежали искры. Он был уже немного предупрежден и знал, что в глухих деревнях Полесья, в связи с проникновением туда так называемой "культуры", попадают такие молодницы, которые набиваются сами на компанию. Целый вихрь разнообразных чувств охватил молодого парня. Но он пересилил себя и грубо ответил:

- Не думаешь ли ты, что мне будет весело с тобой?

Молодица, видимо, не ждала такого ответа. Ее женское самолюбие было сильно задето, но она не показала этого.

- Ха-ха-ха! - игриво засмеялась она. - Разве вы святой или калека? - И уже другим, явно презрительным тоном добавила: - Вы, может, думаете, что я шла для того, чтобы вас веселить?

Лобанович, занявший уже определенную позицию и почувствовавший себя также задетым, не мог переменить тон и с внезапной злостью, дрожа, крикнул:

- Нечего тебе тут скалить зубы, я Их все равно не вижу и видеть не хочу!

Лобанович чувствовал, что он готов подскочить к своей искусительнице, чтобы прогнать ее. Не ручался он и за то, что эта встреча не примет иного оборота, и, чтобы дальше быть от соблазна и сохранить чистым свое имя учителя, он быстрыми шагами пошел через улицу, направляясь в ту сторону, где стояла старая корчма, как раз по пути в Сельцо.

Молодица хихикнула ему вслед, и до слуха Лобановича донеслись слова:

- Вот так мужчина: от бабы убежал... Недоносок! Стоптанный лапоть!

Учитель шел и дрожал как в лихорадке. Это происшествие сильно его взволновало. Как только улеглось возмущение, он начал раскаиваться в своей грубости с этой незнакомой женщиной. Разве она виновата, что ее сделали такую разные прохвосты, отребья культуры? Разве нельзя было отделаться от нее более деликатным способом, объяснив ей всю грязь и мерзость такого легкого заработка? Теперь она смеется и не стесняется в разных обидных кличках по его адресу. И она имеет право насмехаться над ним: ведь это право дала ей его грубость. Ну что же, в другой раз нужно быть более уважительным к человеку, кто бы он ни был.

Размышляя так, Лобанович подошел к корчме, построенной еще в давнее время, когда о монополиях никому и не снилось. Теперь эта корчма доживала вместе со своим хозяином, старым Абрамом, последние дни. Не было нужды заново отстраивать корчму, и некому было занять место старого шинкаря: сыновей Абрам не имел, а дочери повыходили замуж.

Пришедшая в упадок корчма, с покосившимися стенами и полупровалившейся крышей, как нельзя лучше гармонировала с этим глухим и пустынным местом, которое всякий раз, когда учитель проходил здесь, производило на него одно и то же впечатление. Из чего складывалось оно, сказать было трудно, но возникало это впечатление, видимо, потому, что в самой этой местности было нечто враждебное человеческой натуре, неприветливое и угрюмое. Любопытно, что никто из крестьян не строился здесь, несмотря на то, что место это во многих отношениях было очень удобным. Старая корчма и ее хозяин как бы ступили уже одной ногой на край могилы.

Миновав старую корчму, Лобанович припомнил фразу, слетевшую у него с языка, когда он выходил из кухни: "Иду, бабка, ловить того черта, который твоего Михалку напугал". Он как раз и был на том месте, где, по словам бабки, с Михалкой произошел случай, после которого он едва не умер. То, что он пришел именно сюда, хотя у него и в мыслях этого не было, удивило и заинтересовало Лобановича.

"Куда же я иду и зачем иду?" - спросил он себя и остановился.

Вокруг было тихо, глухо и пусто, и только в корчме светился огонь. Лобанович неожиданно ощутил какой-то страх. Ему припомнился рассказ бабки. Разумеется, это глупости, Михалку мог напугать какой-нибудь парень, мстивший за девушку, к которой ходил Михалка. Но интересно, вообще откуда берутся эти страхи? Вот он, учитель, не верит ни в какую таинственную враждебную силу, существующую независимо от человека, однако и он ощущает на себе влияние нелепого страха. Если он придет сюда днем, ничего этого по будет. Но дело здесь не в ночном мраке, а в том, что мраком покрыты еще многие стороны психической жизни человека.

И все же Лобанович чувствовал, что ему страшно, что у него не хватает сил преодолеть этот страх. "Призови к себе нечистую силу", - говорил ему какой-то голос, но учитель притворился, что не слышит его, и вместе с тем ощущал еще больший страх. "Если у тебя не хватает на это смелости, прислушайся: ты что-то услышишь", - преследовала его неотвязная мысль. "Ну что же, - проговорил про себя Лобанович, - и буду слушать!" И он внимательно начал прислушиваться. Все та же тишина, та же глушь.

- Черти! Черти! Покажитесь! - тихонько позвал он и снова стал прислушиваться.

Все было тихо, никто не откликался, не показывался. Нервы учителя были сильно напряжены, и он чувствовал, что если сойдет с какой-то точки, на которой он еле-еле держался, то попадет в полную власть страхов и пустится бежать с этого места. Он повернул назад, к корчме, и пошел, прибавляя шаг. Возле корчмы остановился, подумал и повернул к старому Абраму. Там он присел за столик, попросил бутылку пива и, немного успокоившись, пошел в школу.

Накануне николина дня собрался Лобанович к своему другу Турсевичу и пошел на разъезд. Дежурил как раз Суховаров. Он уверил учителя, что через полчаса придет товарный поезд, с которым можно будет поехать. Суховаров расспросил, как здоровье панны Ядвиси, как живет сам учитель, как часто видится он с паненками. И тут же похвастался, как на днях залучил он к себе одну молодницу. Лобанович припомнил свою не очень давнюю встречу на улице с незнакомой женщиной, и ему стало неприятно слушать эту грязную исповедь.

- Простите, - остановил его Лобанович, - зачем вы все это выкладываете?

- А разве вы не любите слушать такие вещи?

- А что же тут может быть интересного?

- Почему? - удивился Суховаров и взглянул на учителя своими серыми масляными глазами с явной насмешкой.

Учитель в свою очередь поглядел ему в глаза. Не нравилось ему это самодовольное лицо самца и эти отвисшие мокрые губы с закрученными кверху черными усиками.

- Как вам сказать?.. Гадость все это, и похвалиться этим человеку интеллигентному никак не пристало.

- Эх вы, застенчивая девушка! - промолвил Суховаров несколько пренебрежительно.

Тем временем подошел товарный поезд. Суховаров и учитель вышли на платформу. Приостановив поезд, Суховаров посадил учителя в теплушку и простился с ним. Лобанович почувствовал себя легко, сидел и размышлял о том, как встретит он своего друга.

Как только поезд пришел на станцию, Лобанович живо выскочил из теплушки, на всякий случай заглянул в здание станции - ведь могло статься, что его друг зашел туда. Но там никого не было, и Лобанович отправился к деревне по полотну железной дороги.

Вечер был темный и тихий. Вдоль железной дороги тянулся высокий старый лес, таинственный, угрюмый и величественный. На станции шумел паровоз, тихо и ровно, словно боясь нарушить покой леса. Обложенное белесыми тучами небо, казалось, ниже нависло над землей, и пушистые снежинки спокойно падали на неподвижные деревья, на дорогу. Было что-то необычайно приятное в легком кружении белых и чистых пушинок, которые так нежно, тихо опускались на землю, на шапку учителя. Чуткий слух, казалось, улавливал их тихий шелест, их милый разговор.

Лобанович шел быстро. Ему было легко, хотелось бежать, гоняться за белыми пушинками, словно они были живые, ведь он сам был еще дитя.

С правой стороны дороги лес кончился. Лобанович тел и вглядывался в темноту, боясь пропустить большак, который должен где-то здесь пересечь железную дорогу. Вот он, этот старинный шлях, вот они, старые березы на его обочинах! На большаке, в версте от железной дороги, стояла хата казенного лесника Лукаша. Там помещалась школа, в которой жил и учил детей Турсевич.

Лобанович быстро прошел эту версту, издавелека увидев синеватый свет в окне своего друга. Возле самой хаты он остановился. Окно, выходившее на улицу, было завешено простенькой занавеской. Турсевич ходил по комнате с таким видом, словно он сам себе пересказывал урок. Лобанович тихонько подошел к окошку, постучал пальцем по стеклу и спрятался.

Турсевич отдернул занавесочку и, заслонившись руками от света лампы, начал вглядываться. Никого нет. Едва он отошел от окна, Лобанович снова постучал в стекло и быстренько отскочил в темноту.

Турсевич решительно подошел к окну и громко спросил:

- Кто там?

Лобанович не откликнулся.

- Что за черт? - услышал Лобанович сердитый голос друга.

Выждав еще с минуту, Лобанович снова постучал. Турсеви́ч сердито сорвался с места и направился к двери. Лобанович спрятался за толстую березу. Турсеви́ч приоткрыл дверь, высунул голову и стал смотреть. Нигде никого нет. Как только он закрыл дверь и запер ее на задвижку, Лобанович прыгнул на крыльцо.

- Кто? - спросил Турсеви́ч, не открывая двери.

- Не скажу! - ответил Лобанович.

- Ах ты медведь тельшинский! - радостно крикнул Турсеви́ч. - Ну, иди, иди, брат... Ах ты фрукт этакий! - весело проговорил он и распахнул настежь дверь в свое жилище, чтобы осветить путь гостю.

Турсеви́ч немного отступил в глубь комнаты и приготовился встретить друга, которому был очень рад. Бойкие серые глаза его впились в Лобановича, из них так и сыпались искры смеха.

Лобанович остановился возле двери.

Мгновение друзья оглядывали друг друга, а лица их светились веселым смехом.

- Пусть не падет на тебя тень березы, под которой сидел грек! - важно и высокопарно проговорил Лобанович.

- Да не очутишься ты в положении собаки, которая сидит на заборе! - ответил хозяин.

Обменявшись шутливыми приветствиями, друзья обнялись и сердечно поцеловались.

Турсеви́ч возбужденно тряс друга за плечи, громко смеялся.

- Ну и молодчина! Ей-богу, молодец! Я, правду сказать, так и думал, что ты должен проведать меня... Ну, садись!

Турсеви́ч собрал со стола книги, аккуратно сложил их и убрал на полку. Его комната отличалась самым строгим порядком и чистотой. Вся квартира его состояла из одной клетушки - крестьянской хаты, но он умел придать ей какой-то особый уют. Убирая комнату, Турсеви́ч ни на минуту не умолкал, торопливо забрасывая друга вопросами, говорил и за себя и за него.

- Ну вот что, Лобуня, сейчас закажу хозяйке самовар. Будем сидеть, пить чай и говорить. Люблю я, знаешь, этак с приятелем за чаем посидеть! Эх, что ж это я? Стой, брат! - прервал Турсеви́ч себя. - Мы прежде всего закусим. У меня, брат, очень славное сало есть... Ну, знаешь, чувствовала душа, что ты приедешь: был на станции и сала купил. Обожди-ка, брат! У нас есть совсем другая музыка!

- Такие разумные вещи не каждое ухо услышит, - ответил Лобанович. - Одним словом, голова твоя министерская! И дозволю тебе, великий пустынный и мой учитель, сказать несколько слов по этому случаю.

- Валяй!

Лобанович поднялся, соорудил важную мину и начал:

Люблю посуды стук урочный
И песню терки слушать рад,
Люблю шипенье шкварок сочных,
Приятен мне их аромат.
Пуškai клянет отец духовный,
Пуškai сулит мне пекло он,
Милее мне, чем звон церковный,
Скороды веселый звон!

- Ха-ха-ха! - захохотал Турсеви́ч. - Ах ты богохульник! Только в Тельшине и можно додуматься до этого:

Милее мне, чем звон церковный,
Скороды веселый звон!

Ловко, ей-богу, ловко! Ну, я сейчас!

Турсевич выбежал в сени, а оттуда к хозяйке, приказал ей приготовить ужин и сейчас же вернулся.

- А знаешь, Лобанок, - таинственно проговорил Турсевич, понизив голос, - может, ты выпил бы чарку?

- Милый ты мой друг! Мало того, что голова твоя министерская, так ты еще и чародей, одним словом - кудесник, - с воодушевлением проговорил Лобанович. - Почему же не выпить, как говорит моя бабка!

- Так, говоришь, хорошо было бы выпить? - спросил с нарочитой серьезностью Турсевич.

- А какой же дурень осмелится сказать, что нехорошо?

- Так ведь нечего пить, братец.

Лицо Лобановича немного вытянулось.

- Ха-ха-ха! - даже присел от смеха Турсевич, потом вскочил, не переставая смеяться и показывая на друга пальцем.

- Убил ты меня этим, - проговорил Лобанович, упав духом.

- На то я и кудесник, - не переставал смеяться Турсевич. Он подошел к шкафику, покопался в нем и важно вытащил оттуда полбутылки водки.

- Не журишь, брат, - сказал он и потряс бутылкой.

Пока жарились шкварки, Турсевич приготовил стол к ужину.

- Ну что, может быть, твоя бабка сумеет так сделать? - спросил Турсевич друга, как только Лукашиха принесла ужин.

- Зато моя бабка шептать умеет.

- Шептать-то она умеет, но шей как следует не сварит. Знаю твою бабку.

Друзья сели за стол. Выпили по чарке.

- Ну, закусывай, брат!

Веселая, оживленная беседа не прерывалась ни на минуту. Говорил главным образом Турсевич. Он обладал тонкой наблюдательностью, способностью нарисовать и живо представить тот или иной персонаж. Ни одна черточка, типичная мелочь не могла укрыться от его глаза.

Турсевича очень насмешило одно происшествие на железной дороге, и об этом рассказывал он теперь Лобановичу.

Дело касалось железнодорожного контролера, очень преданного служаки. Захотелось ему поймать одного старосту на чугунке. А тот, надо сказать, был жулик, приписывал лишних рабочих, чтобы их жалованье положить себе в карман. Налетает этот контролер. Старосты возле рабочих не было - где-то в будке сидел. Пересчитал контролер рабочих и хотел неожиданно на старосту налететь, проверить его книжку. Но случайно оказалась здесь дочь старосты. Девушка бросилась в будку предупредить отца, а чтобы контролер не догадался, она побежала низом, вдоль насыпи. Контролер сразу смекнул, в чем дело, и за девушкой. Девушка бежит впереди, подняв подол, а за нею, как гончая за зайцем, контролер чешет. Почти одновременно подбежали они к будке. "Показывай записную книжку! - загремел контролер на старосту, а сам никак отдышаться не может. - Я отдам тебя под суд!" - "А я на вас подам в суд, - спокойно ответил староста. - Вы гонялись за моей дочерью, хотели ее изнасиловать". Контролер вытаращил глаза, словно его долбней огрели. "И увидим, кому от этого будет горше, - продолжал все так же спокойно староста. - Я десять свидетелей поставлю, и каждый подтвердит, зачем вы за девушкой гонялись".

XV

Друзья, веселые, возбужденные, вспоминали разные смешные истории, давая волю безудержному смеху.

- У нас сегодня день не пропал даром, потому что мы много смеялись, - заметил Лобанович. - Ницше устами своего Заратустры говорил: "Тот день, когда вы не смеетесь, пропадает для вас".

- В таком случае у нас, брат, много пропадает дней, - уже серьезно ответил Турсевиц. - Бывало, сидишь один долгим осенним вечером. За окно глянешь - тьма. Дождь. Струйки воды стекают с крыши с таким плеском, хлюпаньем, будто плачет кто-то. И какие-то особенные мысли начинают овладевать тобой. Заметь, друг: именно особенные. Сдается, они исходят не из твоей головы, а на тебя их насылают кто-то, кого нет, но чье присутствие ты как бы ощущаешь. И вот залезут в голову такие мысли и бог знает до чего доведут тебя! А еще когда березы возле хаты начнут шуметь! Знаешь, брат, человек, скажем, привыкает к животным. Хозяину часто жалко разлучаться с конем или с коровой либо с собакой не потому, что ему от них польза, а просто по привычке. Но можно привыкнуть не только к животному, а и к дереву, как я, например, привык к этим старым березам, что стоят на большаке возле хаты. И вот, знаешь ли, когда зашумят они своими голыми ветками, я чувствую какую-то грусть. Мне кажется, что они о чем-то печалются и жалуются на что-то и что они также что-то чувствуют, именно чувствуют. И в такие вечера уже не засмеешься... Много у нас таких вечеров! - последние слова Турсевиц произнес с какой-то грустью.

Лобанович внимательно слушал приятеля. Такую тонкую чувствительность с налетом легкого мистицизма он впервые наблюдал в нем, считая его до сих пор человеком преимущественно реалистического склада.

- Твою мысль о березах я хотел бы расширить и углубить. Я хочу спросить тебя, задумывался ли ты когда-нибудь над тем или хотя бы бросалось тебе в глаза, что природа вокруг нас... я не знаю, как выразить свою мысль... Ну, что у нее есть какая-то своя сознательная жизнь. Какая она, я не знаю. Может, это просто пережиток детства, но я никак не могу отделаться от чувства, что и природа живет какой-то своей сознательной жизнью. Есть такие места, их я нахожу везде, к которым меня не влечет, я не могу с ними сжиться, привыкнуть к ним. Я обращал внимание на то, что есть места, где птицы не хотят гнездиться и петь.

- Есть, брат, что-то такое, - сказал Турсевиц.

- И вот, как начнешь наедине с самим собой думать, черт знает до чего додумаешься. Взвинтишь свои нервы так, что начинает страх прошибать. И все эти загадки, вероятно, не более и не менее как результат туго натянутых нервов.

- Мы привыкли, дорогой, - мягко сказал Турсевиц, - отделяться общими фразами в тех случаях, когда наш разум не может преодолеть, перешагнуть какие-то порожки, отделяющие от него то, чего мы не знаем. И в одних случаях мы говорим: "Это нервы", в других - "Это общепринятый закон, значит здесь нужно приостановить, сдержать свой разум", либо "Это стечение обстоятельств", "Под такой планетой родился" и много других глупостей. И часто какой-нибудь непонятный факт мы объясняем еще более непонятным сочетанием слов и думаем, что сказали что-то очень умное, а другие соглашаются с этим и успокаиваются. А между тем все эти пустые, общие фразы весьма вредны - они связывают пытливую мысль человека, успокаивают и убаюкивают ее, словно беспокойного ребенка, и не дают ей хода там, где нужно всю развернуть, чтобы найти причину явления. И таким образом, в семье, а затем и в школе наш ум приучается пассивно воспринимать такие явления, которые еще далеко не исследованы и не объяснены. Детей часто обрывают старшие, когда они пристают с вопросами или слишком наивными, или порой слишком замысловатыми. А неопытные учителя в школах также убивают в детях все то, что не укладывается в рамки учебников либо выходит за пределы знаний самих педагогов. В результате мы подпадаем под власть слов и не имеем достаточно силы воли, чтобы протестовать против насилия над нашим разумом.

Лобанович слушал друга, соглашался с ним; ему казалось, будто Турсевиц выражает его собственные мысли. И постепенно какое-то тоскливое чувство закрадывалось ему в душу.

- Знаешь, брат, - сказал он, - очень хорошо хоть изредка встречаться с живым человеком, поговорить, отвести душу. А то живешь в глуши один и живого слова не слышишь. Порой интересные мысли приходят, промелькнут в голове, как тень на земле от легкой тучки, и забудутся, бесследно исчезнут. А эти мелкие заботы повседневной жизни, неинтересной, часто пустой и ничтожной, принижают тебя, убивают в тебе наиболее ценное. И вот теперь, когда я немного отдалился от своего Тельшина и взглянул на него со стороны, глушь, которая интересовала меня вначале, начинает казаться враждебной и начинаешь видеть в ней неприятеля. Чем больше я живу в Тельшине, тем сильнее чувствую, что задержаться там на долгое время не хватит сил.

Лобанович замолчал и задумался. Глаза его стали неподвижными и смотрели в одну точку. Перед ним встал образ панны Ядвиси. "Нет, брат, не знаешь ты, чем мила мне эта глушь, но я тебе об этом не скажу", - думал Лобанович.

Турсевич, заложив руки за спину, ходил от стены к стене и также о чем-то думал.

- Да, брат, там тяжело. По себе знаю, какая там глушь, - проговорил Турсевич. - Вот поди ты, какие-нибудь двадцать верст разделяют наши места, а какая разница! Тут совсем иное, даже природа иначе выглядит. Мы завтра пройдемся, посмотрим... Никак, брат, нельзя равнять Случчину с Пинщиной, И дети в школе не те. У них больше сердечности, больше, знаешь, этой... человечности, а твои полешуки - просто зверьки.

Далеко за полночь сидели друзья. Много разных вопросов было поднято и обсуждено ими. Все, о чем думалось в одиночестве, что так или иначе занимало или интересовало их, все это выплывало теперь на поверхность и давало много материала для разговора. Но не хватило и долгой осенней ночи, чтобы поговорить обо всем.

- Скажи ты мне, братец Максим, - спрашивал друга Лобанович, уже лежа в постели, - для чего человек на свете живет? С некоторого времени меня интересует этот вопрос. Об этом я спрашивал даже и свою бабуку.

- Ну, для чего же он живет? А черт его знает, для чего он живет, - проговорил Турсевич.

Друзья громко рассмеялись.

- Здесь уж, брат, какая-то философия. Я думаю, что немцу, например, такой вопрос и в голову не придет.

- Почему?

- Да потому, что немец человек практичный, решение же этого вопроса не дает никакого практического результата.

- Значит, немец не знает, зачем он на свете живет? - спросил Лобанович.

- Ну, чтобы такой колбасник да не знал!

Друзья снова засмеялись.

- Человек живет для добра, для служения правде, чтобы создавать какие-то ценности жизни и быть полезным для других, - сказал Турсевич.

- Это, брат, он должен так жить. Но мы видим, что живут люди совсем не по этому правилу и плевать они хотят на добро либо на какую-то там пользу. А дело тут обстоит совсем просто, и в этом смысле есть только одна мерка, которая подойдет к каждому. Живет человек для того, чтобы в жизни как можно больше выудить полезного и приятного для себя.

- Постой, брат, ты, кажется, несешь какую-то ересь. Что же, по-твоему, выуживает какой-нибудь истинный христианин, который отрекся от земли со всеми ее дарами и благами и уходит от людей, чтобы оставаться наедине с богом? Как приложишь ты к нему свою мерку?

- О, христиане - люди весьма практичные и в то же время с большим размахом и с большим аппетитом. К ним еще лучше подходит эта мерка. Они, видишь ли, очень многого хотят. Их не удовлетворяет земля и вообще этот свет, хотя и землею они также не брезгают. Им подавай рай, вечное спасение, бесконечную радость и благополучие. А на земную жизнь они смотрят как на способ вернее обеспечить себе банкет на том свете.

- Ты слишком обнажаешь смысл жизни, - сказал Турсевиц, - и тем самым уничтожаешь человека. Есть люди, которые живут идеями всеобщего добра. За свои идеи они идут в тюрьмы, на каторгу; за эти идеи их распинали, давали им яд, жгли на кострах. Здесь есть нечто большее, чем личная выгода и выживание пользы для себя. И нельзя выводить из одного принципа деятельность какого-нибудь жулика и деятельность человека, который трудится всю жизнь для других.

- Это только так кажется на первый взгляд, - стоял на своем Лобанович. - Принцип один для всех. Дело только в том, какие употреблять средства, какими путями идти и как понимать этот принцип. Но кого ты ни возьмешь: будь это ученый, открывающий новые законы жизни и прокладывающий новые пути в науке, или какой-нибудь изобретатель Эдисон, или поэт, или художник, или проповедник нового учения, или самоотверженный деятель, всю жизнь живущий только для других, - все они исходят из одного и того же принципа. Не нужно только смешивать цель с теми путями, которыми эта цель достигается.

- А я все же с тобой не согласен.

- А когда же в спорах соглашаются? согласишься, когда об этом хорошенько подумаешь. А теперь давай, пожалуй, спать, кажется, начинает уже светать.

XVI

Широкий, ровный большак с двумя рядами старых берез спускался с горки и убегал прямо на запад. И чем дальше, тем, казалось, гуще стояли эти развесистые, толстые деревья, все более и более низкими становились они, затем сливались в одну сплошную линию и скрывались за горизонтом.

Есть что-то необычайно красивое в этих привольных старинных большаках Беларуси. Широко и размашисто пролегают они от деревни к деревне, от местечек к городам, соединяя уезды, губернии и целые края. Сколько красоты и приманчивой прелести в их синеватых далях! Сколько новых картин, свежих наблюдений и таинственных приключений обещают они глазам и сердцу путника! С какой необычайной силой влекут к себе и как крепко задевают они струны души! Что же это за могучая сила заложена в просторах необъятных родных шляхов и почему они имеют такую власть над тобой, беспокойный, вечно озабоченный путник? Может, тебя волнует извечная, никем не рассказанная сказка их, которая складывалась долгими веками и записывалась огневыми буквами человеческой кривды в сердцах миллионов путников, что шли и ехали по этим шляхам и думали свои думы? Не она ли, эта летопись времен, так глубоко западает в твою душу, чтобы зажечь в ней тот грозный пламень, который молнией прорежет темную ночь неволи, нависшей над краем? Или, может быть, ощущение глухой и страшной бесконечности человеческих скитаний по свету, символом которых являются эти шляхи, вызывает в твоей душе невыразимое волнение? Не слышится ли тебе в шуме придорожных берез неясный ропот вечно неудовлетворенной человеческой души, таинственный призыв к поискам иных форм жизни, к поискам лучшей доли? Не вызывает ли в тебе вид широких, бесконечных дорог стремление порвать связывающие тебя путы и вырваться на беспредельные просторы еще нигде не существующей свободы?

Эх, дороги, родные дороги! Кто расскажет нам вашу повесть, ваши сказки, собранные и записанные временем на стволах ваших деревьев?

- Посмотри, ты посмотри, какая красота! - говорил Турсевиц другу, показывая рукой с крыльца своей школы на ровный большак и на всю картину, которая открылась их взорам.

- Какой размах, какой простор! Какой веселый тон картины и сколько в ней разнообразия! А эти березы возле моей хаты, посмотри, какие они славные!

- Я одного не понимаю, - сказал Лобанович, любовно оглядывая окрестности, - у нас столько красоты, такое богатство форм и красок, край наш большой и разнообразный, а мы не видим, не хотим этого видеть. О нашем крае сложилось мнение как об очень

бедном, находящемся в упадке. И нигде ты в учебниках географии не найдешь более или менее серьезного описания Беларуси. Что такое наша Беларусь? А это, видишь ли, западная окраина России. Чем она славится? Ничем. Вот болота есть, да еще на весь мир известная хвороба - колтун. И мы с этим легкомысленно соглашаемся, мы все это принимаем на веру, потому что, как ты правильно сказал, над нами властвует шаблон, шаблон пустых слов, пустых фраз, властвуют чужие формы мыслей и чужое содержание их. Исходя из этого, мы отворачиваемся от всего родного, не уважаем его, мы стыдимся его!

На слове "стыдимся" Лобанович сделал ударение, при этом выражение его лица изменилось, в глазах у него загорелся злой огонек. В нем вспыхнуло чувство протеста против унижения и угнетения народа, и он, как сын этого народа, с которым чувствовал тесную связь, встал на его защиту.

- Каждый народ имеет свою гордость. Англичанин перед всем миром гордо заявляет: "Я - англичанин!" То же самое скажет француз, немец, австриец, русский и другие представители разных наций. А мы, беларусы, не отваживаемся признаться в том, что мы беларусы. Ведь на голову беларусского парода, как известно, вылиты много помоев, достоинство его принижено, и язык его осмеян, у него нет имени, нет лица. А отсюда происходит то, что беларус-интеллигент отрекается не только от своего народа, но и от родителей своих. Мы знаем такой случай с одним нашим знакомым учителем, к которому приехала из дому мать. У него были гости. Он при гостях не посмел признать свою мать: "Иди, говорит, бабка, на кухню, там тебя покормят".

- Это свинство! - с возмущением отозвался Турсевич и презрительно плюнул. - Боялся мужиком показаться и показал свое полное хамство.

Друзья некоторое время шли большаком, а потом свернули на узкую проселочную дорогу, гладко укатанную крестьянскими санями, и пошли в сторону железной дороги.

- Я хочу показать тебе старинное кладбище, - сказал Турсевич и повел друга в небольшой лесок на пригорке недалеко от дороги.

То здесь, то там на кладбище торчали остатки крестов, угрюмо наклонившихся над землей, и небольшие холмики, покрытые снегом. Среди высоких деревьев стояла деревянная часовенка с разбитыми окнами. Она была построена в особом стиле и имела любопытный, оригинальный вид. Еще и теперь в глухих уголках Случчины, вероятно, сохранились такие часовенки. Часовенка, казалось, еле держалась и готова была каждую минуту развалиться. Деревянная крыша ее прогнила и зияла черными дырами. Ухватившись за выступ подоконника, Лобанович заглянул внутрь часовенки. С полотен старых образов на него глянули выпцветшие лики святых. Внутри часовенка имела еще довольно крепкий вид, но все в ней было мрачным и страшным, и сами стены, казалось, сурово спрашивали: "Чего тебе нужно здесь? Какое ты имеешь право ради праздного любопытства нарушать наш покой?"

- Если бы я умел рисовать, - сказал Лобанович, - я перенес бы ее на бумагу.

- Интересная часовенка, - согласился Турсевич. - Вот я и привел тебя сюда, чтобы показать ее. Знаешь, какое здесь было недавно происшествие? Охотился в пуще один местный обыватель из шляхты. Собака выгнала лису. Лиса спряталась под алтарь часовенки. Охотник начал копать под алтарем и убил лисичку. Об этом узнал батюшка, подал в суд за оскорбление святыни. Одним словом, завязалось громкое дело.

- А знаешь, и мне не жалко, что на этого охотника в суд подали, - ответил Лобанович. - Разумеется, дело не в оскорблении святыни, но сам по себе этот случай невольно трогает душу: бедный зверок думал найти себе здесь спасение.

Друзья молча шли с кладбища. Видно было, что каждого из них занимали свои мысли. Лобанович ощущал какую-то неудовлетворенность, тоску. Возможно, здесь имело значение и то обстоятельство, что, как ему казалось, Турсевич лучше вел свою школьную работу и вообще его школа производила впечатление более успевающей. А может, тому

причиной была их скорая разлука - ведь теперь они шли на станцию, откуда ему придется поехать в свою глушь.

- Что, брат, притих? - спросил его Турсевич. - Чего зажурился?

- Не всегда же веселым быть, - ответил Лобанович. - Знаешь, брат, как увидел я твою школу, твои занятия, сразу понял, что моя школа в сравнении с твоей никуда не годится.

- Ха-ха-ха! - засмеялся Турсевич. - Никогда твоя школа не будет отставать, раз ты ею крепко интересуешься и работу в ней принимаешь близко к сердцу. Это у тебя еще с непривычки, первый год. А я убежден, что твоя школа гораздо лучше многих.

- Что я тебе хотел сказать, - проговорил Лобанович, - давай весной, когда окончатся занятия в школах, походим по Беларуси, познакомимся с ною поближе. А свои наблюдения запишем, соберем богатый материал. Привлечем в свою компанию какого-нибудь фотографа, снимков интересных наделаем... Кроме шуток. Этот план, разумеется, разработать надо, я только мысль подаю.

- А что ты думаешь? Это было бы интересно. Об этом надо, брат, подумать серьезно, право слово!

- Ты знаешь, - с жаром подхватил Лобанович, ободренный поддержкой друга, - это была бы интереснейшая вещь! Мы обошли бы многие школы, ближе познакомились с учительством, пробудили бы в них интерес к своему краю. А самое главное - мы потревожили бы сонное болото нашего учительства. Ведь жить так, как живем мы, оторванные друг от друга, жить без настоящей живой идеи, знать только одну свою школу и тратить время на карты и попойки, что обычно делает наш брат, - так жить нельзя, ведь для этого нужно сначала задушить в себе голос совести, голос долга перед народом.

- Учиться нам, брат, еще надо много, - заметил Турсевич. - Я, например, думаю в учительский институт подаваться.

- И я чувствую, что надо учиться, но сердце мое никак не лежит к институту. Ведь что такое институт? Это та же самая казарма-семинария. Разница только в том, что институт окончательно убьет все более или менее живое в нашей душе, что еще не убила семинария, и из учителя сделает сухого кашея-чиновника.

Лобанович в глубине души почувствовал какую-то неприязнь к другу; ему показалось, Турсевич задумал нечто не согласное с теми взглядами, в которых, как все время считал Лобанович, они не расходятся.

И уже до самой станции друзья шли молча, поглощенные своими мыслями. Распрощались они сердечно.

- Не забывай же меня, - сказал на прощание Турсевич.

- Теперь, брат, твоя очередь навестить свое старое место службы.

XVII

- Ну, как же вам, паничок, гостилось?- спрашивала Лобановича сторожиха.

- Ой, бабка, хорошо гостилось! "Было што піты і есты, але прынукі ны было" ["Было что пить и есть, но понуждения не было", то есть всего было вдоволь, но недостаточно настойчиво приглашали есть и пить], - ответил учитель поговоркой полешуков.

- У меня, паничок, щи от обеда остались, может, вы похлебали бы немного?

- Нет, бабка, есть я не хочу.

- Так, должно быть, вас тот панич хорошо угощал?

- А как же! Угостил на славу.

- Ну вот и хорошо, паничок.

К бабке кто-то пришел. Она тотчас же вышла в кухню, а Лобанович сел за ученические тетради. Просмотрел, положил их на место и несколько раз прошелся по комнате. Все это время он чувствовал, что ему чего-то не хватает. Чего? Известное дело, ему нужно повидать панну Ядвисю. Нет, это не так. Ему просто хочется повидать ее. Какая же тут нужда? Разве он хочет сказать ей что-нибудь? А почему же нет? Разве это будет неправда,

если он придет к ней и скажет: "Я пришел к тебе потому, что хочу видеть тебя, хочу слышать твой голос: он звучит для меня, как весна; хочу услышать твой смех, потому что он, как луч солнца, освещает мне душу. Я пришел к тебе потому, что привело меня сердце".

"Нет, дудки, брат, ты этого не посмеешь сказать ей. Так может сказать Суховаров, потому что у него слова не от сердца и ни к чему не обязывают его, - говорил себе Лобанович. - Чем меньше думать, тем лучше. Просто захотел пойти и пойду".

Минуту или две спустя Лобанович быстро перескочил через невысокий забор, отделявший школьный двор от двора подлповчего, и постучал в дверь. Никто не шел открывать: то ли не слышали стука, то ли никого не было дома.

Он постучал сильнее. Послышались чьи-то шаги. Дверь стукнула и открылась.

- Есть кто дома? - спросил учитель служанку подлповчего.

- Пан с панею поехали в Хатовичи, дома паненки и Чэсь.

- Просим, просим! - подбежала Габрынька и пригласила Лобановича заходить.

Маленькая смуглянка, казалось, была очень рада гостю. Живые глазки ее так и светились радостью.

- Пожалуйста, прошу в комнату!

Габрынька взяла лампу и повела гостя в просторную комнату.

- Садитесь, пожалуйста.

- Я, возможно, не вовремя пришел и помешал вам работать? - спросил Лобанович.

- Помилуй боже! Какая у нас работа! Вы так редко к нам заходите...

- ...что имею право иногда и прервать вашу работу, особенно если она неприятная.

- Всей работы, пане учитель, никогда не переделаешь.

- Это верно.

- Нельзя ли узнать, что верно? - раздался веселый голос Ядвиси. - Добрый вечер, пане Лобанович!

Ядвися протянула руку, вскинула на учителя свои чистые темные глаза и задержала на нем взгляд, будто читая что-то на его лице.

- Что это вас не видно нигде? - проговорила она. - И к нам не заходите...

- Если бы я к вам часто заходил, то, вероятно, не заметил бы, как вы похорошели, - засмеялся в ответ Лобанович.

Ядвися на мгновение опустила глаза.

- Теперь я вас понимаю, - сказала она. - Вы ждали, пока я похорошею, потому что такую, какой вы знали меня до сих пор, вам неприятно было видеть? Правда?

- А панна Габрыня за это время постарела, - не отвечая на вопрос панны Ядвиси, проговорил Лобанович.

- Ну, что это вы! Будто сговорились! - запротестовала маленькая Габрынька. - И папка называет меня старенькой, и вы то же говорите.

- А вы мне не ответили, - стояла на своем Ядвися. - Я от вас не отстану, пока не ответите.

- Ну, в таком случае я никогда не отвечу вам: ведь мне будет очень тяжело, если вы отстанете от меня.

Ядвися притворилась рассерженной и нетерпеливо топнула ножкой.

- От вас никак нельзя правды добиться. А вот же я отстану: хочу посмотреть, как вам будет тяжело.

Ядвися отошла в сторонку и села на диван.

Лобанович забился в темный угол комнаты.

- Куда же вы спрятались? - спросила Габрынька.

- Я не хочу, чтобы ваша сестра видела, как мне тяжело.

Девушки залились веселым смехом. Ядвися сняла с лампы абажур и подошла к Лобановичу.

- Дайте посмотреть, как вам тяжело.

- А теперь мне совсем легко! - засмеялся Лобанович.

- У вас семь пятниц на неделе! - сказала Ядвися и попросила его ближе к лампе. Учитель и девушки сели возле стола.

- Где же вы были и кого видели, пока мы здесь старели и хорошели? - не выдержала панна Ядвися, чтобы не засмеяться.

Лобанович смотрел на ее веселое и действительно похорошевшее лицо, на тонкие, красиво изогнутые брови. Ему так приятно было в компании этих двух милых девушек.

- Прежде всего прошу прощения, что не передал вам поклонов от Суховарова и Турсевича.

- Ну, как живет пан Турсевич?

- А почему вы сначала не спросили, как живет Суховаров? - спросил Лобанович и внимательно посмотрел на Ядвисю.

Ядвися и Габрыня переглянулись, и лица их осветились улыбками. Как видно, у них был разговор о Суховарове, и они нашли в нем что-то такое, над чем теперь смеялись.

- Вы не слыхали, как пан Суховаров играет на гитаре? - спросила Габрыня, не выдержала и залилась смехом.

Ядвися сдерживалась, поглядывая на учителя, а потом и она засмеялась, да так заразительно, что и Лобанович хохотал, глядя на нее, даже маленький Чэсь, который все время сидел молча возле печи, не мог не засмеяться.

- Если разрешите, я скажу причину вашего смеха.

Сестры сразу перестали смеяться.

- Ну, скажите! - разом проговорили они.

- У вас шел разговор о Суховарове. Вы представили себе, какой вид имели бы губы пана Суховарова, если бы он начал играть на гитаре и сам себе подпевать.

Ядвися опустила голову. Однако, взглянув затем на Габрыньку, она не могла удержаться от смеха и дала ему полную волю.

Лобанович догадался, что правильно понял причину их смеха.

- Что, правда?

- Вы не мастер отгадывать, - ответила Ядвися. - Все это вы сами выдумали.

- Панна Габрыня, наверно, скажет правду.

Габрыня взглянула на Лобановича, потом на Ядвисю. Девушки снова засмеялись.

- Вы правдивы или нет? - неожиданно спросила учителя Ядвися.

- Почему вы об этом спрашиваете? - слегка удивился Лобанович, глядя ей в глаза.

- Просто мне интересно знать.

- Что бы я вам ни ответил, все равно не поверите.

- Почему вы думаете, что я вам не поверю?

- Если бы вы мне верили, то, я думаю, не стали бы спрашивать у меня о правдивости.

- Но вы не знаете, верю ли я вам или нет, не знаете, считаю ли вас правдивым. Мне просто хочется от вас услышать, что вы думаете о себе.

- Значит, вы сами обо мне уже думали? - усмехнувшись, спросил учитель.

Ядвися немного смутилась, и едва заметный румянец выступил на ее щеках.

- Если вы встречаете человека, то не можете о нем не подумать, - серьезно проговорила она.

Лобанович на минуту задумался.

- Признаться, я никогда не интересовался этим вопросом. Здесь, на Полесье, где людей встречаешь мало, может быть, и подумаешь о каждом человеке, который пройдет перед твоими глазами. Но в городе, где не успеваешь более или менее основательно заметить лицо каждого встречного, я думаю, это просто невозможно. Может, где-нибудь в мозгу подобный процесс и происходит, но в нашем сознании он по-настоящему не отражается.

- Я в городах не была, - ответила Ядвися, слегка нахмурившись.

- Ах, Ядвиська! Что же это мы, и не поблагодарили пана учителя за книги?

- Простите, я и забыла. Очень благодарны вам, - проговорила Ядвися.

- А вы прочитали их?

- Давно прочитали, - ответили девушки.
- Я еще принесу, если книги понравились.
- Служанка принесла самовар. Сели пить чай.
- Ну, а как все же вам понравились книги? - спросил Лобанович девушек за чаем.
- Очень интересные книги! - сказала Габрынька. - Мы их читали целыми вечерами.
- Действительно ли все это было в жизни, что там написано? - спросила Ядвися.
- Каждый самый правдивый рассказ, разумеется, не есть фотография, но в его основе лежит правда. И каждое обыкновенное явление жизни, если облечь его в красивую форму и осветить тем или иным мировоззрением, да к тому же еще показать внутренние, часто незаметные, скрытые пружины, движущие поступками человека, может стать темой очень интересного рассказа. Взять хотя бы для примера вас. Можно было бы, - если, разумеется, нашелся бы настоящий художник, - интересно написать, как в глухом Полесье воспитывались и росли две красуни сестры. Эти девушки хотят вырваться на широкий простор жизни, потому что их убивает и губит гнилой воздух полесских болот и грязь разных подонков "культуры". Вот вам основа рассказа, драмы или чего хотите... Для писателя здесь открываются широкие возможности.
- Хоть бы вы не смеялись над нами, пане Лобанович, - грустно ответила Ядвися.
- Лобанович почувствовал, что он затронул какие-то больные струны в душе девушки.
- А вы взяли бы да и написали повесть о двух сестрах, - лукаво улыбнувшись, сказала Габрынька. - Написали бы о том, что у них был старый пес Негрусь, у которого всегда текла изо рта слюна...
- Габрынька не могла продолжать из-за смеха. Этот смех заразил и Ядвисю и Лобановича: ведь Негрусь считал своей обязанностью полаять на него и вообще был смешным псом.
- А я вам чего-то не сказала, - говорила Ядвися на прощание учителю.
- Ну, скажите!
- Нет, скажу в другой раз.

XVIII

Этот вечер прошел очень быстро.

В ту минуту, когда Лобанович возвратился от пана подловчего, часы, пошумев и поскрипев, сколько им нужно было, пробили ровно полночь. Учитель зажег лампу, взял книгу, - он любил читать перед тем, как уснуть. Но с каждой строчки на него смотрела Ядвися, и потому он читал совершенно машинально, не вникая в прочитанное, просто переводил глаза со строчки на строчку, от слова к слову и думал о Ядвисе.

"Нет, из этого чтения ничего не выходит", - спохватился Лобанович.

Он закрыл глаза и несколько минут лежал неподвижно. Чувство радости наполняло его: в этот вечер он заметил, что панна Ядвися им очень интересуется. Взгляд ее темных глаз задерживался на нем часто и долго, то радостный, ясно-спокойный, то немного как бы опечаленный, глубоко западал ему в сердце. Все сказанное ею в этот вечер приобретало теперь особенное значение, делало образ девушки еще более привлекательным в глазах молодого учителя...

И вместе с тем его одолевали сомнения. Что, если Ядвися, эта нежная, еще не совсем расцветшая девушка, полюбит его со всей силой первой любви, доверит ему свое сердце, и молодость, и всю свою жизнь, что тогда? Мысль Лобановича начала работать в ином направлении. Неужели у него хватит отваги связать ее судьбу с судьбой скромного, малоприметного учителя? А что будет с ним? Не закроет ли он себе путь к желанной, заветной цели? Его манили неведомые просторы человеческой жизни, вольный, творческий труд. Хотелось расширить свой кругозор, приобрести знания, которых ему так не доставало. Впереди безграничная, хотя и туманная даль, поиски большого, настоящего дела, радость свершений. И вот на его пути уже встала одна преграда...

Но так ли это? Почему преграда? Разве его чувство к Ядвисе не украшает жизнь? Если ко всем жизненным явлениям подходить так, как подходит он, жизнь утратит свою красоту, свою прелесть. Если бы так рассуждала пчела, она, может быть, и не задержалась бы возле цветка. Не всегда следует ломать голову над вопросами: а что из этого выйдет? чем это кончится?

Эти мысли немного успокоили учителя, а Ядвися все стояла у него в глазах, словно смеясь над его рассуждениями.

От бабки-сторожихи Лобанович довольно подробно знал семейную жизнь подловчего.

- Добран душа эта паненка, - говорила бабка я вздыхала. - Вся в мать пошла. Не дал ей бог пожить еще немного, деток вырастить...

- Отчего же она так рано умерла? - спрашивал бабку учитель.

- Умерла, паничок... На все воля божья...

Понизив голос, словно боясь, что ее услышит кто-нибудь, бабка продолжала:

- Ой, паничок, тяжело ей жилось с паном! Бил ее пан! Да как еще бил! У покойницы пани были пышные волосы. Как распустит, бывало, черные косы, так они чуть не до земли свесятся... Ой, была женщина, пускай со святыми упокоит бог ее душеньку! Сама я однажды видела, как бил ее пан. Взял за косы, да еще на руку накрутил, и вел через двор в комнату. А что он там делал с нею, в комнате, того люди не видели.

- За что же он бил ее?

- Ой, паничок, характер у пана тяжелый! Ой, тяжелый характер! Если сдвинутся брови и усы обвиснут, ну, тогда добра не жди. Словно найдет на него что-то. А так человек он неплохой. И поговорить любит, и пошутит, и посмеется. Попросишь чего - никогда не откажет. И знаете, паничок, часто бедная пани в селянских хатах пряталась, когда разъярится пан. А дети притихнут, будто птички в гнезде, когда над ними коршун летает... Не дал бог доли бедной женщине. Старшей паненке тогда только десятый годок пошел. А без матери, паничок, сами знаете, тяжело жить. Через год женился пан второй раз. Добрая пани, что и говорить, паничок, но для детей не родная мать.

Тяжелые условия семейной жизни болезненно отзывались на детях, особенно на мягкой натуре панны Ядвисы, но она девушка скрытная, характер имела замкнутый и не жаловалась на свою судьбу. Да и кому здесь было жаловаться? И печаль своего детства она глубоко затаила в сердце, чтобы о ней даже не догадывались люди, - при всей мягкости своей натуры панна Ядвися была гордая девушка. И, только оставаясь одна, давала волю своим невеселым мыслям. О чем же тогда думала она? Вероятно, были у нее те же мысли, какие бывают и у невольника за каменными стенами, которому так призывно улыбается воля. Разница только в том, что эта воля хорошо известна ему, тогда как жизнь за пределами угрюмых лесов и вечно молчаливых болот Полесья была для Ядвисы почти совсем неведомой и, стало быть, еще более привлекательной и красивой.

Но как бы там ни было, панна Ядвися иногда забегала на несколько минут к старой Марье, не для того, чтобы излить ей свою печаль, а просто чтобы поговорить с нею. Забегала она в те часы, когда Лобанович был на занятиях, и то украдкой, стараясь не встретиться с учителем. Бабка была женщина добрая, чуткая, отзывчивая на чужое горе и умела найти простые, живые слова, которые западали в душу, успокаивали, заживляли душевные раны. Эти встречи долгое время происходили втайне от учителя, и бабка, какая она ни была разговорчивая, никогда не рассказывала о них "паничу", хотя также была сильно предана ему.

Что же влекло панну Ядвисю к этой простой женщине? Старая полешучка, ласковая, сердечная, своим простым умом хорошо понимала, чего недостает молодой девушке, так рано утратившей родную мать. Чужое горе находило в ее сердце живой отклик, - ведь и сама она извела немало страданий на своем веку, рано оставшись вдовою с малыми детьми. И вообще надо отметить, что никто, как простая наша крестьянка, не умеет находить те добрые слова и выражения, которые своей чудодейственной, целебной силой успокаивают, облегчают боль другого сердца. Откуда же этот дар, что породило эти

свойства души? Вероятно, собственное горе, тяжелая борьба за человеческие права, за свое человеческое достоинство и цельность наивной веры в справедливость расплаты на том свете за все страдания на земле.

Ядвися охотно заходила к бабке Марье еще и потому, "что ей интересно было послушать, как вел свою работу в школе учитель, как он иногда побрякивал на учеников, сердясь на их непонятливость либо на поднятый не в меру шум, чтобы потом удивить его рассказом о том, что делал он в школе и как вел себя с детьми. Тонкая стена между кухней и классом позволяла слышать все, что делалось в школе. Ядвися часто прерывала разговор со сторожихой и прислушивалась. Как только кончались занятия и школа оглашалась веселым шумом, Ядвися, сделав бабке знак молчать, как вспугнутая дикая птичка, бросалась в дверь и исчезала среди строений своего двора, откуда часто доносился ее молодой, звонкий голос. А бабка, глядя ей вслед, покачивала головой и смеялась долгим тихим смехом.

- Смешная, веселая паненка! - говорила бабка.

Рассказ сторожихи о семье пана подловчего произвел сильное впечатление на молодого учителя. Образ несчастной пани с черными пышными волосами живо рисовался его воображению, и пытливая мысль стремилась угадать все скрытые подробности этой человеческой драмы. И сама Ядвися, и трагическая история ее матери в представлении Лобановича были неотделимы от темной полесской глуши, которая, казалось, каким-то таинственным образом влияла на судьбы живущих здесь людей.

Оставаясь наедине с самим собой, Лобанович часто думал о Ядвисе, даже мысленно разговаривал с нею. И этот разговор был таким простым, искренним, потому что шел от сердца! Ядвися смотрела на него милым, немного хитроватым взглядом и смеялась. На душе у Лобановича становилось легко и покойно. Он чувствовал, как вливается ему в грудь какое-то приятное тепло и греет его сердце. Но при встрече с Ядвисей он никогда не высказывал того, что говорил ей без нее. Не то стыдливость еще чистого сердца, не то какая-то осторожность мешали ему высказать ей все, что было на душе.

XIX

Вскоре после того как Лобанович вернулся от Турсевича, к нему приехал Соханюк. Лобанович удивился, увидя на пороге высокую, худощавую фигуру хатовичского учителя. Он никак не ожидал его приезда, особенно в будний день.

- Зд'ястуйте! - проговорил Соханюк, при этом губы и глаза его смеялись веселым смехом.

- Что, не ожидали меня? - спросил он, поздоровавшись.

- Никак не ожидал. Ну, тем приятнее видеть вас здесь. Заходите, пожалуйста, в квартиру, а я сейчас закончу урок и отпущу ребят на обед... А может быть, вам интересно познакомиться с моей школой, то милости прошу.

Соханюк, видимо, только из вежливости прошелся между ученических скамеек, заглядывая в грифельные доски и в тетради учеников, а затем остановился возле шкафа с книгами и слушал, как Лобанович вел занятия и как отвечали ученики.

Лобанович старался не ударить в грязь лицом перед Соханюком и показать свою школу с наилучшей стороны. Вопросы так и сыпались один за другим. Все школьники, которых вызывал Лобанович, отвечали довольно хорошо.

- Может быть, проэкзаменуете моих учеников? - спросил Лобанович Соханюка.

Соханюк махнул рукой, давая этим понять, что он не имеет никаких вопросов.

- Спрячьте книги! - обратился Лобанович к ученикам.

Дети быстро попрятали книги и доски.

- Молитву!

Ученики хором пропели предобеденную молитву. С шумом ринулись они на улицу и заполнили ее своими звонкими голосами.

- Ну, как вам нравится моя школа?

- Ничего, хорошо! Хорошо!.. Вы, видно, много работаете?
- Работать-то приходится. Только мне все кажется, что в моей работе чего-то не хватает и что я работаю не так, как нужно.
- Учителя вошли в комнату.
- Эх, плюньте вы на это! - проговорил Соханюк. - Научили читать, писать и задачки решать - и шабаш! Вы думаете, медаль заслужите? Или мир перевернете? Инспектор найдет к чему прицепиться. В самом лучшем случае благодарность напишет, а дирекция вам десять рублей вышлет. Но свое здоровье дороже.
- А как же вы свою школу оставили?
- А куда она денется? В лес не убежит, - засмеялся Соханюк.
- "Видно, брат, ты не зря сюда приехал", - подумал Лобанович.
- Должно быть, у вас есть какое-то важное дело здесь, если так. Может, в сваты приехали к кому-нибудь? - меняя тон разговора, шутливо спросил Лобанович.
- Что же, сватайте. Гулять будем.
- Видите ли, я плохой сват. Как бы вдруг из-за девушки не поссорились.
- Чтобы из-за девушки да еще ссориться! Мало ли этою добра на свете! Хватит на наш век!.. Между прочим, вами интересуется одна паненка.
- Паненка? Какая?
- Такая, что все отдай - и мало!
- Но кто она?
- Говорит: хотела бы познакомиться с тельшинским учителем.
- Может быть, завитанская чаровница?
- Она, коллега, она! Как это вы отгадали?
- А у меня бабка знахарка, я у нее уроки беру.
- А все же интересно: как вы догадались, что это она?
- Очень просто. Все кавалеры - семь пар чистых и семь пар нечистых, и вы в том числе, - влюбились в панну Людмилу. У нее даже голова закружилась от радости и дух занялся. Но ее огорчает одно: почему не все кавалеры отдают дань ее красоте? Я, если хотите, тот горбун из сказки "Царевна Красный цветок", который не поклонился царевне. И не буду ей кланяться.
- Вот вы какой! - сказал Соханюк и засмеялся.
- А что же вы думали!
- И не познакомитесь с нею?
- Во всяком случае сам к ней не пойду.
- Почему?
- Просто не пойду - и все.
- Соханюк болтал о том о сем, порой смеялся, но Лобановичу казалось, что о чем-то самом главном он умалчивает, - ведь не может быть, чтобы он приехал сюда только для того, чтобы сообщить, что дочь землемера хочет познакомиться с тельшинским учителем!
- Извините, я сейчас вернусь.
- Лобанович вышел в кухню.
- На тебе, бабка, полтинник, принеси горелки.
- Вы его угощать хотите? - шепотом спросила бабка.
- А что?
- Не стоит, паничок! Это же он приехал гарнцы собирать.
- Какие гарнцы?
- Ссыпку с нашего общества на школу.
- Кому ссыпку?
- Себе, паничок! - говоря это, бабка даже задыхалась от возмущения.
- Лобанович с удивлением слушал ее. Все это дело было для него непонятным, хотя в значительной степени проливалось свет на приезд Соханюка.
- Ну, бабка, принеси горелки, выпьем, тогда, может быть, пойдем.

Бабка сердито накинула на себя свитку, громко стукнула дверью и направилась к Лявону Секачу.

Лобанович возвратился к гостю. Еще ничего не понимая, он взглянул на Соханюка.

- Знаете, что говорит моя бабка: будто вы приехали собирать какую-то ссыпку. Что вы на это скажете?

Соханюк опустил глаза, как бы почувствовав некоторую неловкость, а затем вскинул их на Лобановича.

- Да, мне принадлежит ссыпка от вашей деревни, - проговорил он спокойно.

- Вы не шутите? - удивился Лобанович.

- Нет, говорю совершенно серьезно.

- Ха-ха-ха! - Лобанович так и покатился со смеху.

Соханюк смотрел на него, также усмехаясь.

- Что вы находите здесь смешного? - спросил он.

- Ну как же не смеяться! Вы приехали ко мне отнимать мой хлеб. Я буду учить, а вы будете гарницы брать.

- Обождите! - загорячился Соханюк. - На волостном сходе было принято постановление, чтобы на хатовичскую школу давали ссыпку. От вашей деревни мне причитается двенадцать пудов тридцать фунтов ржи. Ну? Я и имею полное право взять свое.

- Простите, а когда было принято такое постановление? Наверно, тогда, когда Тельшино не имело своей школы? А раз эта школа теперь есть, то было бы по меньшей мере смешно отнимать ссыпку от своей школы и отдавать ее в чужую. И вообще это дело такое простое и очевидное, что и ребенок поймет всю нелепость вашего домогательства.

Соханюк несколько не обиделся.

- Я основываюсь на циркуляре дирекции народных училищ, в котором сказано, что раз имеется постановление волостного схода давать ссыпку, то ваша деревня не имеет права ее отнять. Вот почему я и приехал забрать эту ссыпку.

- Но вы ее не получите.

- Получу!

- Нет, не получите!

Несколько минут хозяин и гость молча смотрели друг на друга. В желтоватых глазах Соханюка блуждала невинная улыбка.

- Знаете что, - проговорил Лобанович. - Мне не жалко этой ссыпки, бог с нею. Но если уж на то пошло, могу вас не только заверить, но и перезаверить, что вы отсюда не возьмете ни одного зернышка.

- Ну, увидим! - сказал Соханюк.

- Ничего вы не увидите!

В самый разгар спора скрипнула кухонная дверь. Сторожиха просунула голову в комнату учителя.

- Вот ваши деньги. Нигде не достала! Была и у Лявона и у Губаревых - нету.

- Ну, тогда давайте пообедаем.

Соханюк отказался обедать. Он приехал сюда с Дубейкой и условился с ним заехать по дороге на званный обед. Куда заехать, Соханюк не сказал. Ему уже пора ехать, Дубейка у старосты, вероятно, ждет его.

Соханюк простился с Лобановичем, приглашая его к себе в гости.

- Благодарю, но, коллега, имейте в виду, что ссыпки вы не получите.

- Буду судиться, - не отступал Соханюк. - Вот приеду и земскому жалобу подам на вашего старосту.

Под вечер того же самого дня староста собрал гарницы и привез их Лобановичу.

- Как это мы, паничок, отдадим ему ссыпку, если у нас есть свой учитель?! С ума он сошел, что ли?

У старосты был важный, начальнический вид. Сознание выполненного долга перед школой и учителем наполняло его гордостью.

- Хоть бы он постыдился! - возмущалась сторожиха. - Как это можно забрать ссыпку из чужой школы?

Бабка была заинтересована в этой ссыпке: ведь и ей Полагалась некоторая часть гарнцев.

XX

Панна Ядвися была в необычайно веселом настроении. Она и маленькая Габрынька пойдут завтра на разъезд, сядут в поезд и поедут в гости. На Гораденщине у них были родственники, и отец разрешил поехать к ним недели на две погостить. Габрынька вертелась возле мачехи, шутила, смеялась таким веселым детским смехом, что даже пани подловчая, обычно грустная и озабоченная, глядя на нее, не могла сдержать улыбки.

- Отстань, отстань! Ты уже не ребенок.

Жене подловчего, казалось, было немного неловко, что Габрынька так дурачится при чужом человеке. Этим чужим человеком был Лобанович.

Но Габрынька не обращала на это внимания. Она придумала коротенький стишок и время от времени декламировала его своей мачехе:

Мама - цветик алый,
Только вид усталый.

- Вот баловница! - укоризненно качала головой пани подловчая.

- Я буду писательницей. Хочу написать повесть, как на Полесье жили две красуни панны и что из этого вышло, - смеялась Габрынька.

- Что же из этого вышло? - любопытствовал Лобанович.

- Вышло то, чего никто не ожидал! Эти две красавицы полюбили одного молодого панича и бросились ему на шею. А он, бедняга, с горя пошел и утопился в Телешевом дубе.

- Габрынька, постыдись! - умоляюще проговорила пани подловчая.

А Габрынька вся ходуном ходила от смеха. Смеялась также и Ядвися, немного смущенная такой непосредственностью, простотой и смелостью шуток своей сестры.

- У вас, как видно, есть способности писательницы, - смеялся и Лобанович. - Но почему же он, ваш панич, топиться пошел?

Габрынька лукаво взглянула на сестру. Ядвися, очевидно, заинтересовалась ее шуткой и смеясь ответила:

- Должно быть, этот панич испугался своего счастья.

Сестры переглядывались и перебрасывались шутками. Им, видимо, было очень весело, их увлекала и радовала предстоящая поездка, смена впечатлений, новые места, новые знакомства.

Лобанович почувствовал какую-то грусть. Откуда она - он не знал и сам. Не оттого ли, что панна Ядвися так радуется? Как видно, ее ничто не привязывает здесь, никто не интересуется, и она с легким сердцем готова сменить эту глушь Полесья на любое новое место. Ведь сердце ее свободно. А может быть, оно ищет другое сердце, чтобы забиться с ним в лад? А может, это сердце уже найдено где-то там?

Чувство одиночества вдруг охватило учителя. Он здесь чужой и лишний. И смешными казались теперь те мысли, которые еще так недавно наполняли радостью его молодое сердце.

Жена подловчего вышла из комнаты. Девушки по-прежнему весело болтали, сыпали шутками. Возле печи, под кушеткой, лежал старый Негрусь и лениво повиливал хвостом, когда мимо него проходила Ядвися.

- Я ни разу не видел вас в таком хорошем настроении, - сказал ей Лобанович. - Вы сегодня веселы, как никогда.

- А вы хотели бы, чтобы я плакала? - спросила она.

- Нет, я этого совсем не хотел бы. Но, как я замечаю, у вас здесь нет ничего такого, о чем вы могли бы пожалеть. И если бы вам представился случай уехать отсюда навсегда, вы несколько об этом не пожалели бы.

- О нет! - промолвила Ядвися.

На минутку она задумалась. Лицо ее стало серьезным. Но в мгновение ока выражение его переменилось, в глазах заблестели искорки смеха и лукавства.

- О нет! Вы ошибаетесь! - сказала она. - У меня есть некто, кого мне очень тяжело покинуть и о ком тревожится мое сердце.

Лобанович замер в сладком и вместе с тем тревожном ожидании. Ядвися окинула его внимательным взглядом, затем неожиданно вскочила и направилась к Негрусью.

- Негрусь, милый мой Негрусь! - ласкала она собаку, прижимаясь к ее морде своей щекой.

- Мы расстанемся с тобой на целые две недели!

- Тем приятнее будет минута встречи после разлуки, - сказал Лобанович и поднялся. - Ну, желаю вам всего наилучшего. Счастливо доехать, весело гулять и легко перенести разлуку с тем, о ком так тревожится ваше сердце.

Говоря это, Лобанович, как ни силился, не мог скрыть обиду, она отражалась на его лице.

- Куда же вы? - спросила Ядвися.

- У меня, видите ли, есть одна работа. А вам нужно собираться в дорогу, не буду вам мешать... Бывайте здоровы!

Ядвися ничего не ответила. Она только виновато и, казалось, испуганно заглядывала ему в глаза. Может быть, она сожалела о своей грубоватой шутке, но признаться в этом почему-то не хотела.

- А может, вы завтра прогуляетесь с нами на разъезд? - спросила Габрынька.

- Зачем беспокоить пана учителя? - проговорила Ядвися. - Папа всегда посылает с нами лесника Рыгора.

- Что это? Новое оскорбление? Или панна Ядвися просто избегает его общества? Может быть, она не желает иметь свидетеля своей встречи с Суховаровым?

Веселое настроение покинуло Ядвисю, она сделалась молчаливой, замкнутой.

- Конечно, - сказал Лобанович, - панне Ядвисе будет гораздо приятнее пойти в компании Рыгора и Негруся, который, вероятно, сам напросится в провожатые.

Услыхав свое имя, Негрусь радостно вильнул хвостом.

Лобанович простился и вышел. На душе у него было тоскливо. Ясно, Ядвися насмехается над ним. А если она и обращала на него внимание, так только потому, что здесь глушь, живого человека нет. А он, как неразумное дитя, не видит ничего. Он сам напускал на себя приятный туман самообмана, сам убаюкивал себя розовыми надеждами и сладкими мечтами. Ну что ж, нужно в чем-то другом искать источник радости. И вообще нужно взять себя в руки. Пора ему выбросить все это из головы и сердца, пока образ девушки не запал в них чересчур глубоко. Пусть не подумает она, что ему без нее свет закрыт.

Лобанович несколько раз прошелся по своей комнатке.

"Нет, - думал он, - так дальше жить нельзя. Кроме школы и чисто личных интересов есть еще и другие, более высокие, общественные обязанности. Надо ближе стать к народу, присмотреться, как и чем он живет. Нужно расширить рамки своей работы, выйти за пределы школьных занятий".

Лобанович вошел в классную комнату, открыл книжный шкаф.

На одной полочке стояло несколько десятков щупленьких книжечек, предназначенных специально для народа. Это были преимущественно книжечки, изданные разными комитетами и кружками трезвости либо святейшим синодом. Пересмотрев всю эту библиотечку, учитель не нашел в ней ничего интересного, особенно для здешнего населения, и решил избрать более важную, на его взгляд, тему для беседы с полешуками. О чем же говорить? Надо обратить внимание на крестьянский быт, рассказать крестьянам, как живут другие люди и как они добились лучших условий жизни.

Лобанович все больше и больше увлекался своей темой. Быстро сложился план речи, в памяти всплывали все новые и новые факты. Он закрыл шкаф, пошел в свою комнатку и сел за стол, чтобы сделать набросок речи.

В это время вошла сторожиха.

- А вы, паничок, все пишете?

- Пишу, бабка.

- А вы не слыхали, паничок, что Курульчука от нас переводят?

- Переводят? - спросил Лобанович. - Почему же его переводят?

Лобанович задумался. Ему стало жалко чего-то. Чувство одиночества сильнее охватило его, и этот тесный уголок Полесья, казалось, еще сузился и стал еще более тесным.

- Нелады у них с дорожным мастером, - объяснила сторожиха причину отъезда Курульчука.

XXI

Прошло некоторое время.

Молодой учитель много пережил, много передумал. Целые вечера просиживал он в крестьянских хатах, присматриваясь к жизни полешуков. Его здесь принимали и встречали приветливо и радушно, охотно поддерживали разговор о разных делах. Но всякий раз беседа не выходила за пределы тех вопросов, которые затрагивал сам учитель. Ведь полешуки - люди рассудительные, степенные, осторожные, не сразу и не каждому открывают они свою душу, - должно быть, сама природа Полесья наложила на них свой отпечаток. Бесконечные болота учили их мудрому размышлению, море лесов воспитывало в них осторожность: ведь здесь на каждом шагу подстерегает их опасность - можно на зверя набрести, заблудиться либо попасть в руки злых лесников графа Потоцкого. И только случайно удавалось услышать какое-нибудь нечаянно оброненное сочное слово, присказку или интересное сравнение. Старые, украшенные сединой, морщинами и почтенными лысынями деды - живая тельшинская летопись за многие десятки лет - пришлись по душе Лобановичу. Это были главные носители традиций крестьянской старины, самоучки агрономы, толкователи разных явлений жизни. Они знали, в какой день, в какой даже час нужно выезжать с сохой в поле, при каких условиях нужно сеять те или иные хлебные злаки. Им достаточно увидеть первый клин улетающих на юг журавлей, чтобы сказать, какой будет овес. В зависимости от высоты полета находился и рост овса: высоко летят журавли - высокий вырастет и овес. Каждый дед - это особый, характерный тип.

Вот хотя бы дед Микита. Седой как лунь. Острый, пронизывающий взгляд колючих глаз. Старость согнула его крепкий стан и набросила на его лицо и на высокий лоб целую сетку морщин. Но что за дока был дед Микита в молодости! Не было в селе равного ему. Такие штуки выкидывал, каких теперь никто не сумеет проделать, - ведь разве теперь такой народ? Да что там молодые годы! Даже и сейчас, несмотря на свои восемьдесят лет, дед Микита молодого за пояс заткнет. Вот пусть только подгуляет, пусть оживет в нем его молодая бунтарская кровь, - не вытерпит дед, просунет руки в круглые отверстия тяжелых каменных жерновов и пойдет с этими жерновами, как с легкими деревянными кружками, вприсядку по хате. И теперь еще боятся деда Микиты: ведь он знахарь-колдун, хотя знахарством не занимается, но если кто прогневит деда, тот узнает силу дедовых чар. Микита - человек нелюдимый, днем его почти и не встретишь на людях, и живет он один, как волк, давно похоронив свою старуху и отбившись от детей.

Дед Микита и другие родоначальники Тельшина добровольно уступили свои права более молодым и здоровым, сами же стояли в стороне от общественных дел: ведь они уже внесли свой вклад в общественное строительство; к тому же, хотя деревенская жизнь изменялась и очень медленно, незаметно, старые представители ее, деды-полешуки,

находили в ней теперь много такого, что не отвечало их взглядам. И только уж в самых важных чрезвычайных делах принимали они участие.

Так, когда возникало какое-нибудь запутанное дело общедеревенского характера, слезал с печи совсем уже старый дед Микодым, выходил на улицу и громко заявлял:

- Вы не думайте, что все так обойдется. Правда не шкварка, с кашею не съешь. Выйдет наверх она, родная. Ведь даже сама земля присягала небу не оставлять ему темных дел, которые не будут распутаны здесь.

Обычно все деды сидели дома либо копались во дворе. В церковь они почти никогда не ходили, да в Тельшине церкви, если не считать часовенки на кладбище, не было. А дома молиться богу - больше нагресишь, чем намолишься. Кроме того, молиться их не учили. И вообще никто в Тельшине не умел молиться как следует. Каждый молился так, как ему вздумается. Один раз в год, на благовещенье, приезжал сюда батюшка из Малевич. Тогда все тельшинцы несли свои грехи еще более грешному отцу Модесту, который был завзятым пьяницей и сквернословом. Вероятно, за это и покарал святой Илья малевичскую церковь, разбив молнией ее колокольню. А может, и другой грех отца Модеста навлек на эту церковь такую кару: ведь он сушил жито за царскими воротами, а в святое воскресенье перед богослужением обычно ходил на болото трясти бучи [Бучи - рыболовный снаряд из ивовых прутьев] с рыбою своих прихожан.

Однажды, бродя по болоту, он провалился в трясину до самого пояса. Церковный староста, ходивший вместе с батюшкой на добычу, стоял и спокойно взирал, как отец Модест барахтался в грязи и не мог вытащить из нее ног.

- Чего смотришь, падаль, зараза? Тащи меня!

Тогда только подошел староста и вызволил из болота отца Модеста.

В это воскресенье отец Модест устроил забастовку и не пошел служить обедню.

- Что, батюшка, может, время звонить к обедне? - спрашивал его староста.

- Даже не думай! - крикнул отец Модест. - Как бог ко мне, так и я к богу!

И все же тельшинцы считали необходимым, так или иначе, иметь связь с небом и церковью, хотя эта связь была в значительной степени формальной и поверхностной.

Лобанович долго не мог забыть одного случая, когда особенно ярко проявилось своеобразное отношение тельшинцев к религиозным обрядам.

Было раннее утро, только что рассвело. Учитель спал еще сладким сном. В кухне, рядом с комнаткой учителя, где он спал, стоял глухой шум от множества голосов жителей Тельшина. Этот шум порой становился гуще и усиливался, что вызывало сердитые окрики сторожихи, не хотевшей тревожить "панича". Лобанович проснулся и начал прислушиваться. Дверь во двор то открывалась, то закрывалась. В кухне топали, толклись люди; стучали жбаны, кувшины и бутылки, и весь этот шум время от времени покрывался и заглушался шумом воды. Вода лилась из ведер в кадку.

Учитель оделся. Открыв дверь, он увидел полную кухню полешуков и полешучек, девчат, молодых и старых женщин. Все они протискивались к кадке и брали оттуда воду. Сторожиха руководила всем этим делом и подливала в кадку воду. Увидев учителя, собравшиеся встретили его приветливыми улыбками.

- Что это ты, бабка, тут делаешь?

- Воду святую раздаю, паничок.

- Ах, правда! - проговорил учитель. - Сегодня же водосвятие. Разве батюшка святил?

- Нет, паничок. Помните, приезжал хатовичский батюшка служить молебен в школе? От молебна осталась вода. Я перелила ее в бутылочку, а теперь, видите, мы разбавили ее, и люди берут святую воду.

- Так ведь это же нужно в церковь поехать да на иордан пойти и оттуда воды набрать.

- Далеко, паничок, ездить, - авторитетно проговорил староста.

- И там так же, - махнул рукою Степан Рылка, тот самый, который когда-то возил учителя в волость.

В течение часа вся деревня набрала себе "святой воды". Бабка в этот день чувствовала себя самым важным лицом в деревне.

Несколько раз зазывал Лобанович тельшинцев в школу. Во все хаты ученики разносили весть, что в такой-то вечер учитель приглашает жителей в школу, где он будет говорить и читать.

В первый вечер народу пришло столько, что даже мест не хватило. Как-никак, это все-таки было интересно для полешуков. Полешуки, главным образом пожилые люди, важно уселись на скамейках, а девчата и молодые хлопцы сбились в кучу возле дверей, пощипывая друг друга и пересмеиваясь.

Когда все собрались и заняли места, пришел учитель. Коротко объяснил он слушателям, с какой целью собрал Их. Каждый человек, говорил учитель, должен стремиться к тому, чтобы жизнь стала хорошей и разумной. Он говорил о том, каким образом улучшить жизнь и что нужно делать, чтобы это улучшение было настоящим и значительным. Стараясь заинтересовать слушателей, учитель приводил примеры из их собственной жизни, правдивые, простые и понятные. Он хорошо подготовился к беседе, говорил гладко, порой вдохновенно. Но Лобановича очень удивило, что девчата совсем не слушали и больше интересовались своими кавалерами, чем его речью. Старые полешуки хотя и слушали, но то один, то другой широко открывал рот и зевал. А в конце речи Максим Телушка заметил:

- Все это правда, паничок. Но куда уж нам учиться! Пусть уж они учатся, а мы и так доживем.

При слове "они" Максим показал рукой на учеников.

XXII

Попытавшись еще раз-другой собрать крестьян и заметив, что число слушателей все уменьшается, Лобанович махнул рукой на свою затею. И все же перед ним снова встал вопрос: что делать и чем ему заняться? В будние дни с утра до вечера он был в школе. Но наступали долгие зимние вечера. Куда девать свободное время? Он садился за чтение, зубрил на всякий случай разные учебники, писал письма друзьям, также заброшенным в глухие уголки Беларуси; даже начал вести дневник, в котором пытался запечатлеть свои мысли, настроения и переживания. Вначале этот дневник его сильно увлек, и Лобанович просиживал над ним многие часы. Разумеется, в дневнике самое видное место отводилось одной девушке. Боязнь, что тетрадь попадет кому-нибудь в руки и откроет тайну его души, заставляла прибегать к замысловатым оборотам речи и приемам записи, употреблять разные аллегории. Но через неделю дневник был заброшен, так как самому автору он показался очень наивным и смешным.

А что же эта девушка, так сильно нарушившая покой молодого учителя, о чем думала она? Ядвися загостилась в Гораденщине и, как видно, не очень торопилась домой. Такое невнимание с ее стороны обижало и оскорбляло Лобановича. Ему хотелось, чтобы она скорее вернулась в Тельшино, не потому, что он намеревался тотчас же одеться и побежать к ней. Нет, совсем нет! Он твердо решил показать полное равнодушие к ее особе. Он даже несколько раз в день пройдет мимо ее окон, но и головы не повернет в ее сторону и виду не подаст, что она интересуется его, что ему без нее тяжело и грустно. Он только насладится своей местью, но и слова не скажет ей о своих переживаниях.

В праздничные дни Лобановичу приходилось еще хуже: больше было свободного времени. Его тянуло на люди, но он твердо решил никуда не ходить. Да и куда пойдешь? Курульчука нет, на Припять перебрался. Лобанович очень жалел об этом. О Марине остались одни только чистые и приятные воспоминания. Порой молодой учитель упрекал себя в том, что не познакомился с нею ближе. Такая милая и славная девушка, и, вероятно, у нее прекраснейшее сердце. Что же мешало ему стать ближе к Марине?.. "Эх, - сказал он сам себе, - так лучше". К пану подловчему также не хотелось заходить, хотя он

приглашает, и прежде Лобанович никогда не отказывался сесть с ним за стол, чтобы хорошо выпить и закусить знаменитыми литовскими колдунами.

Подвыпив, подловчий обычно приходил в хорошее настроение, вспоминал свои молодые, холостяцкие годы, свой живой и горячий нрав, свою ловкость в обращении с паненками.

- Я не знаю, что теперь за кавалеры, - презрительно говорил пан Баранкевич, - ни рыба ни мясо. Я, бывало, на голове ходил. Подойдешь к паненке и так и этак. Бывало, в морду тебе даст - ну и ничего. Разве это позор для кавалера, если порой заработаешь от паненки по морде... Нет, надо тебе, пане профессор, с панною Людмилой познакомиться, а то сидишь ты здесь, как пень на дороге... Как-нибудь мы поедем с паном в Завитанки, надо же немного расшевелиться да поучиться за паненками ухаживать.

- Куда уж мне соваться к завитанской красавице, - сказал Лобанович, - возле нее и без того толкучка.

- Так что же? Гэ! Бывало, только и лезешь туда, где кавалеры кишат. Вот в том-то и весь интерес, чтобы их оттереть, носы им всем натянуть и к себе паненку привадить.

Подловчий не упускал случая поведать о каком-нибудь эпизоде, где ему самому приходилось выступать в качестве удачливого кавалера, который брал верх над всеми другими.

Пани подловчая, довольная и счастливая, слушала рассказы о необыкновенных успехах своего грозного мужа и, словно не веря, говорила:

- Ну, ты уж скажешь!

- А мне что? - важно продолжал Баранкевич. Он был глубоко убежден в достоверности своих рассказов и в правильности своей линии в любовных делах. - Я не любил возле паненок киселем сидеть.

Потом подловчий подходил к музыкальному ящику, заводил те "кружки", которые ему особенно нравились, и подпевал басом, размахивая в такт мелодии рукой. Некоторые "кружки" заводились специально для того, чтобы отдаться иным, грустным воспоминаниям далекого прошлого. Пан подловчий сидел тогда хмурый, тяжело сопел и о чем-то думал. Посидев немного, он поднимался и шел в свою комнату на покой.

Лобанович обычно сидел еще несколько минут и выслушивал жену подловчего. Она порывалась сказать очень многое, хотела открыть свою душу, излить всю тоску, всю грусть свою, но никак не могла найти нужные слова, соответствовавшие ее мыслям и чувствам. Сколько раз подчеркивала пани подловчая, что она очень уважает Лобановича и считает его как бы за родного! Нескладно и запинаясь говорила она о непослушании, своеволие Чэся, подчеркивая, что ей, как мачехе, очень трудно с ним справиться, но она терпеливо несет свой крест и незаслуженно терпит из-за мальчугана.

Говорила пани подловчая" тихо, задыхаясь и бросая боязливые взгляды в ту сторону, куда пошел пан Баранкевич. В нескладных, болезненных и робких словах было много недосказанного; в них чувствовался страх и стыд за эту исповедь перед чужим человеком, чувствовалось смятение ее души, недовольство тем положением, которое она занимала в семье подловчего. По ее мнению, "происхождение и воспитание" давали ей право рассчитывать на лучшее.

Лобановичу неприятно было слушать эти жалобы, которые как бы ставили его в положение судьи и вынуждали так или иначе вмешиваться в чужую жизнь, а этого ему не хотелось. С другой стороны, ему жалко было эту женщину, - очевидно, ей было здесь тяжело. Но вместе с тем какое-то враждебное чувство по отношению к жене подловчего поднималось в душе Лобановича. Для него было непонятно, почему она так покорно, без всякой борьбы, примирилась со своей судьбой и не находит сил сбросить с себя этот "крест жизни".

- А скажите, пожалуйста, - не удержался однажды Лобанович, - что связывает вас с семьей подловчего? Вы здесь, как говорится, вольная птичка. Тяжело вам, вы чувствуете несправедливость - что же вам мешает бросить эту жизнь и стать свободным человеком?

На лице жены подловчего отразился ужас. Такая мысль, как видно, ни разу не приходила ей в голову. Неподвижная и молчаливая, сидела она за столом, сжав руками голову. Потом улыбнулась какой-то кислой улыбкой, словно желая сказать, что все это глупости и что об этом не стоило и разговор начинать, а жить на свете вообще тяжело и надо мириться со своей судьбой. Лобанович сказал тогда ей несколько ободряющих, сочувственных слов, желая рассеять тяжелое настроение, простился и ушел из дома Баранкевича.

Еще один случай припомнился учителю.

Вскоре после описанного выше разговора зашла жена подловчего вечером к нему. Она была сильно взволнована и заплакана.

- Простите, пожалуйста, что я зашла к вам, - проговорила она, - но я вас очень уважаю и считаю вас за родного... Боже мой! Что мне делать? Что делать? Нет больше сил терпеть! Лобанович догадывался, что подловчий Баранкевич поднял в доме бурю, но не стал расспрашивать свою гостью, а сама пани подловчая почему-то ничего не говорила о том, что ее так расстроило, ни в чем не обвиняла мужа, а только повторяла, что ей тяжело вообще.

- Что же вам посоветовать? - спросил Лобанович. - Если у вас есть куда поехать, то что же, поезжайте. Я на вашем месте не примирился бы с такой жизнью. Какая же это жизнь!

- Вы знаете характер пана подловчего?

- Я слышал. Ну что же поделаешь, если у человека такой характер.

- Ох, мой паночку! Как трудно ему угодить! Ну, пускай я негодная, но ведь он и первую жену в могилу вогнал, и меня вгонит. - Пани подловчая плакала, - И все я виновата. Чэсь плохо ведет себя - я в ответе. То одно не так, то другое не этак... Что бы ни произошло, все я виновата.

Лобанович не знал, что сказать, какой дать совет. Пани подловчая выплакалась, излила всю свою печаль и горе и немного успокоилась. Улыбаясь сквозь слезы, она просила Лобановича ничего и никому не говорить. Она еще раз повторила, что только с ним поговорила откровенно, поделилась своим горем, потому что считает его очень добрым, совсем родным человеком, простилась и ушла, прося прощения.

Лобанович вздохнул с облегчением, - ему очень тяжело было слушать эту исповедь, тем более что он не мог ей ничем помочь.

"И вот будет терпеть и никуда не поедет, - думал Лобанович. - В самом деле, что привязывает ее здесь?"

Лобанович задумался. А ведь была же у людей молодость, были светлые надежды и мечты. По своему вкусу строили они свое счастье, переживали начало какой-то красивой сказки - и чем кончилась эта сказка? И не слагает ли и он, Лобанович, теперь свою сказку? Снова вспомнилась панна Ядвися. Ему стало ясно, почему она так стремилась вырваться отсюда хотя бы на несколько недель, лишь бы забыть обо всем и отдалиться от этой грязи жизни, от отравы домашнего быта.

XXIII

В этот вечер у Лобановича было какое-то особенное настроение. Что явилось его главной причиной, он и сам не мог бы сказать. Недовольство собой, сознание бессмысленности той жизни, которой он живет, чувство одиночества овладевали им. Учитель чувствовал, что ему чего-то не хватает, нужно что-то сделать, чем-то заняться. Чем? Он раздумывал, ломал голову, но удовлетворительного ответа на этот вопрос не находил.

Нет, надо куда-нибудь пойти, просто подняться с "места и пойти. Но куда? К кому? Учитель перебрал в памяти всех своих здешних знакомых. Все равно куда ни направиться! Он взял табакерку, подложил табаку, чтобы закурить во время пути, и стал собираться, не зная, куда пойдет. Хорошо было бы наведаться в какую-нибудь ближнюю

школу, но ближе чем за пятнадцать верст школы не было. Он оделся и совсем уже собрался выйти.

- Вам письмо, паничок, принесли от старосты, - промолвила сторожиха, войдя в комнатку. Взглянув на конверт, Лобанович узнал почерк своего близкого друга, разделся и начал читать.

Сторожиха стояла, подперев щеку рукой, и наблюдала за выражением лица учителя. Между прочим друг писал, как его подпоили и хотели женить на одной девушке, родственнице какого-то дьякона, как ему пришлось спасти независимость своей особы и он сбежал самым неожиданным образом и в самую решительную минуту.

Веселая улыбка освещала лицо Лобановича. Глядя на него, смеялась и сторожиха.

- От кого же, паничок, такое письмо? - спросила любопытная старуха.

- А это, бабка, пишет одна паненка. Пишет, что если" приеду к ней свататься, то пойдет за меня сразу, - ответил он.

- Так что же, паничок, думать? Лишь бы девчина была хорошая, - слегка обидевшись, заметила бабка.

В конце письма приятель сделал приписку. Он сообщал о смерти друга, который вместе с ними окончил семинарию. Это известие поразило Лобановича. Неужто это правда? Андрей Лабузька, тот самый Лабузька, чья фамилия стояла рядом с его фамилией в списке семинаристов, неужто он умер? Может ли это быть?

И образ молодого парня, крепкого, полного сил, встал как живой перед Лобановичем. Ему вспомнился один пустой, незначительный случай, когда он, шутливо предсказывая судьбу своих друзей, сказал весной прошлого года: "Ты, Лабузька, недолго проживешь на свете!" Это было сказано в шутку - слишком уж не вязалась мысль о смерти Лабузьки с самим Лабузькой, так много было в нем здоровья и жизни.

Опустив голову, Лобанович долго сидел не шевелясь, погруженный в раздумье. Недавнее неопределенно-тоскливое настроение сменилось еще более мрачным. Весть о смерти Андрея вызвала в нем мысли о непрочности и ничтожности человеческого счастья. Образ всемогущей и неотвратимой смерти, как злой призрак, снова встал перед ним и не давал ему покоя.

Несколько минут Лобанович смотрел в одну точку не мигая. Растревоженное воображение живо рисовало ему мертвого Андрея. Неподвижен. Сквозь синеватые веки виднеются погасшие очи. Губы плотно сжаты, смерть наложила на них свою печать. Мертвенная бледность и желтизна разлиты по лицу... И это - человек! Вернее, та изменчивая форма, которая прежде называлась человеком, Андреем Лабузькой. Где же все его былые порывы, стремления? Где они? И где сам хозяин? Что есть там, по ту сторону?..

Лобановича охватил страх. У него было такое ощущение, будто кто-то неотвратимый, грозный и неумолимый замахнулся над ним тяжелой булавой и вот-вот опустит ее на его голову. А он такой слабый, такой ничтожный, что даже слово протеста не может сорваться с его уст.

Бабка испуганно смотрела на учителя: такая внезапная и резкая перемена произошла с "паничком", такой странный у него вид...

Она медленно отступила к двери, не сводя с учителя глаз, покачала головой и тихонько вышла из комнаты. Стоя в кухне, сторожиха несколько минут прислушивалась к тому, что происходит за дверью. Но там все было тихо. Бабка немного успокоилась.

Лобанович встал и прошелся по комнате. Мысль о неотвратимости смерти не покидала его, глубоко засела у него в мозгу.

"Если бы я сказал кому-нибудь: "Остерегайтесь меня, я ношу в себе смерть", - вероятно, на меня посмотрели бы как на сумасшедшего и, во всяком случае, испугались бы меня, - подумал Лобанович. - И тем не менее это так. Но почему же люди об этом не думают? А может, и думают, и наверное думают, только мысли эти держат при себе: зачем говорить о них тому, кого ждет такая же судьба?"

Образы, сравнения, не раз волновавшие Лобановича, снова пришли ему в голову.

"...Порой идешь по дороге. Дорога трудная, ноги болят, а дом еще далеко. И думает путник: "Наступит же мгновение, когда я ступлю на порог своего дома и окончится мой путь". Точно так же наступит мгновение, - рассуждал Лобанович, - когда я сделаю последний шаг на дороге жизни, а там - смерть, там конец!.. А дальше что? Дальше темная и жуткая ночь небытия. А если это так, стоит ли вообще жить? Жить, чтоб умереть?"

Задав себе такой вопрос, Лобанович задумался. Он никак не мог примириться с мыслью о смерти. В эту минуту она была для него самым страшным врагом на свете и как бы заслонила собой все, сдавила его, заперла в какой-то темный и тесный круг.

Никто не хочет умирать, никто. Ему вспомнилась панна Ядвися. Сколько раз слышал он от нее, что она очень хотела бы умереть! Лобанович никогда не принимал ее слов всерьез, он твердо был убежден в том, что каждому хочется жить, как бы ему тяжело ни жилось на свете. Даже глубокая старость не хочет уходить из жизни. И предания, легенды народа подтверждают это. В глубине веков родилась евангельская притча о Мафусаиле, который жил больше всех на свете. В час смерти явился ему бог и спросил:

"- Вот ты прожил многие годы. Скажи мне, долгой ли показалась тебе жизнь?"

- Мне кажется, будто я вошел в одну дверь дома, прошел через него и вышел в другую, - такой представляется мне моя жизнь.

- Ну, а хотел бы ты еще жить?

- Хотел бы, господи.

Подумав, Мафусаил спросил:

- Боже! А нужно ли умирать второй раз?

- Нужно, - ответил бог.

- Если так, я не хочу второй жизни".

Человеческая мудрость, таким образом, отмечает, что страх смерти сильнее желания жить, сильнее самой смерти. А самоубийцы? В жизни можно найти немало примеров, когда люди сами накладывают на себя руки. Как это понять?

Если человек любит жизнь, то что же заставляет его добровольно расстаться с нею? Говорят, у человека слабый характер, ему не хватает сил бороться с невзгодами жизни. Но если и действительно у такого человека характер слабый, откуда же берется сила побороть страх смерти и поднять на себя руку? Какая-то нелепость. Одно противоречит другому.

Лобановичу хотелось представить себя на месте человека, кончающего самоубийством, посмотреть его глазами на дело жизни и смерти. Интересно здесь и еще одно обстоятельство: каждый самоубийца имеет склонность к тому или иному способу самоубийства - одни стреляются, другие вешаются, третьи топят, бросаются под поезд, отравляются, режутся бритвой, но все они стремятся выбрать наиболее легкий способ расчета с жизнью. Некоторые из них оставляют перед смертью записки, коротенькие, а иногда и длинные. Лобанович недавно читал в газете записку одного самоубийцы. Он писал: "Чтоб не так страшно было умирать, немножко выпил".

Неожиданно для самого себя Лобанович все больше и больше углубился в думы о самоубийцах и самоубийстве, незаметно начал входить в роль самоубийцы.

"Что такое смерть? Мгновение - и всему конец. Тогда и думать о смерти не придется и ничего человеку не нужно будет", - рассуждал он.

Ничего не помня и не отдавая себе ясного отчета в том, что он делает, не зная, что он будет делать дальше, Лобанович открыл ящик стола. В самом конце ящика, заваленный бумагами и книгами, лежал револьвер, простенький шестизарядный револьверчик. Иногда ходил Лобанович в лес, чтобы пострелять из него в цель.

Теперь вид револьвера вызвал в нем совсем другие, чем обычно, мысли и ощущения. Взяв его в руки, учитель заглянул в дуло.

"Вот только приставить к виску, взвести курок, нажать - и боли не почувствуешь!.. Нет, боль, вероятно, будет, но все это произойдет так быстро, что мозг не успеет ничего осознать".

Болезненные, преступные мысли, казалось, заморозили Лобановича. Словно туману напустил кто-то на молодого парня.

Он снова взял револьвер, который приобрел теперь над ним непонятную власть. Его притягивала к себе и эта пуля, черневшая в стволе, как головка змеи. Уже несколько раз посматривал он на нее. Вдруг будто светлый солнечный луч блеснул у него в голове. Лобанович отбросил от себя револьвер. Холодный пот выступил у него на лбу. Только теперь заметил Лобанович, что руки его дрожали, словно какой-то страшный вихрь пронесся у него в душе. Он почувствовал огромное облегчение, как после тяжелой болезни, и все то, что недавно произошло с ним, казалось кошмарным сном.

- Паничок! - окликнула Лобановича сторожиха, входя в комнатку. - Должно быть, вы, паничок, нехорошее письмо получили?

- Почему ты, бабка, об этом спрашиваешь? - удивился учитель.

- Видно было, паничок, по вас, - проговорила она, окинув учителя внимательным взглядом. - И знаете, паничок, - таинственно проговорила бабка, - я вам опять заговор шептала! Шептала, ей-богу, шептала! Вы любите смеяться надо мной и над моим шептаньем, а я все же шептала вам, так мне вас стало жалко.

- Против чего же ты мне шептала? - спросил, заинтересовавшись, учитель.

Сторожиха несколько минут молча глядела на него.

- Чтоб отвязались от вас недобрые мысли, - тихо проговорила она, глядя учителю в глаза, словно желая что-то разгадать в них.

Лобанович почувствовал себя так, будто его уличили в чем-то нехорошем. Неприятно было и то, что в эту минуту он чувствовал превосходство сторожихи над собой.

"Любопытно", - подумал учитель.

Вихрь чувств, вызванных в его душе известием о кончине друга, улегся, ушли и мысли о смерти.

"На свете, должно быть, все гораздо проще, чем нам иногда это кажется", - заключил он свои мысли о смерти.

XXIV

Полные света, ласковые, словно улыбка весны, порой вставали в памяти Лобановича, волновали, согревали его, озаряли лучами радости картины и образы не так давно минувшего детства. Они возникали неожиданно, о чем-то говорили и куда-то звали, оставляли в душе легкую печаль. О чем? О невозвратимой утрате, о том, что стало сокровищем, драгоценным сокровищем памяти. Он видел дубы на берегу Немана, величественные, могучие дубы с развесистыми, пышными кронами, с толстыми, дуплистыми комлями, на которых оставили свою печать многие десятки и сотни лет. Ему улыбалось светло-синее небо и озаряло своим блеском родные далекие образы - душистый луг, ровные скаты холмов, окутанные синеватой дымкой, старую сосну с гнездом аиста... Сверкающий день, таинственный грохот в надземных просторах - призывный гомон-клич заслонивших небо грозowych туч с клубами светло-розовых облаков по краям... Нет! Не расскажешь о них словами, но ими живет-горит душа!

Радостно взволнованный воспоминаниями детства, Лобанович медленно шел по лесной дороге. Чувство крепкой связи с окружающим миром, с жизнью наполняло его бодростью. Ему по душе были и этот неподвижный, глухой лес и безлюдная дорога, по которой он шел. Куда? Да никуда. Ему просто приятно было побродить по лесу, посмотреть на славные одинокие сосны, на древние дубы, окружавшие полянку. Удивительно! Сколько раз ходил он здесь и не обращал внимания на те картины, которые видел перед собой теперь. Вокруг было тихо и глухо. Всюду лежал снег, но в воздухе уже веяло чем-то

новым, чувствовалась близкая весна. Лобанович присел на гладкий пенек, сидел и о чем-то думал. Но разве это были мысли? Нет, перед ним проходили образы за образами, целые вереницы их проплывали в его воображении. Так сидел он, пока не услышал глухой конский топот и легкий скрип и посвистывание узких, кованных железом полозьев. Он поднял голову. Бойкая лошадка, бежавшая ровной рысью, вынырнула из-под нависших елей на просторную полянку. Она быстро мчала легкие, красивые санки, в каких обычно ездят зажиточные шляхтичи либо средней руки помещики. На высоком сиденье, ловко, как заправский возница, натянув ременные вожжи, сидела девушка. На ней была легкая крытая шубка; зимняя шапочка, надетая слегка набок, очень шла ей. Крепкий зимний холодок раздурманил ей щеки. От стройной фигурки так и веяло здоровьем и жизнью. Девушка бросила любопытный взгляд на незнакомого парня. Видимо, ее удивила эта встреча, а может, и немного испугала: зачем сидит зимой на дороге этот человек? Она быстрее погнала коня. Через несколько минут возок исчез на повороте, снова нырнув под навес косматых елей и сосен. Но Лобанович успел рассмотреть и запомнить лицо девушки: тонкие брови, бойкие синеватые глаза, пухлые, красиво очерченные губы. Девушка показалась ему довольно красивой.

"Наверно, это и есть та краля, за которой так увиваются хатовичские кавалеры, - подумал Лобанович. - Ну, не такая уж она интересная, как можно было ожидать".

Он встал и двинулся в ту сторону, куда поехала девушка, но совсем не потому, что его потянуло за ней, - он просто пошел домой. Все же, если говорить правду, где-то в глубине его сознания таилась мысль: а вдруг он встретится с нею... Интересно было посмотреть на нее еще раз, разглядеть получше. Только бы не дать ей, если уж на то пошло, ни малейшего повода подумать, что он ищет встречи или знакомства с нею. Нет, пусть уж она его извинит, он постарается сделать так, чтобы это получилось совсем случайно. Миновав Сельцо, Лобанович надумал зайти к старому Абраму, выпить бутылку пива и немного отдохнуть.

У Абрама была одна чистая каморка, куда заходили иногда более важные гости, чем простые тельшинцы, которые до сих пор, по старой привычке, сохранившейся еще с того времени, когда Абрам держал шинок, толклись обычно в общем помещении - корчме. Войдя в эту каморку, Лобанович от неожиданности остановился: за столиком сидела девушка, которая недавно встретила его в лесу и о которой он все же думал сейчас. Она проверяла поданные ей старым шинкарем счета. Лобанович никак не ожидал встретить ее здесь и пришел в такое смущение, что не знал, как ему быть: идти дальше или вернуться обратно? Панне Людмиле - это была она, - как видно, понравились его робость и смущение. Она вскинула на него свои синие глаза. Легкая улыбка мелькнула на ее лице. И эта улыбка как бы говорила: "Я знала, что ты придешь ко мне". Дочь землемера была немного избалована местными кавалерами, все они считали своим долгом отдавать ей дань своего внимания и восхищения. Один только Лобанович уклонялся от этого и упорно не желал знакомиться с нею.

"Наверно, решила, что я ишу встречи", - подумал учитель и еще сильнее смутился.

- Простите! - промолвил он, круто повернулся и вышел из каморки.

"Как нескладно и глупо вышло все это! - рассуждал сам с собой Лобанович. - Получилось так, будто я испугался ее и сбежал. Фактически так оно и есть. И она, вероятно, смеется надо мной. И другим еще расскажет". Лобанович был очень недоволен собой: ведь он вел себя как школьник в присутствии девушки, которая хотя и не знакома с ним, но хорошо знает его, как знает и он ее. А панна Людмила, оставшись одна, искренне пожалела о том, что этот чудак так неожиданно исчез, как неожиданно и появился. Ей любопытно было посмотреть на этого дикаря и отшельника, который до сих пор еще не был в Завитанках. Вместе с тем она чувствовала себя в какой-то степени обиженной таким невниманием к ее особе: ведь ни один молодой человек не сделал бы того, что сделал этот отшельник, как мысленно называла панна Людмила тельшинского учителя.

Очутившись на улице, Лобанович услышал необычайный крик и брань. Возле хаты старосты стояла толпа крестьян. В центре ее, схватив друг друга за грудь, дрались два полешука. И по мере того, как они передвигались, толпа расступалась, уступая им место. Лобанович прибавил шаг и приблизился к толпе. Первым бросился ему в глаза Лявон Шкурат, бледный, без шапки, с окровавленной щекой. Он крепко держал за грудь своего противника Кондрата Куксу, двоюродного брата старосты. Тут же в качестве зрителя стоял и сам староста.

- Как вам не стыдно, мужчины, - обратился Лобанович к толпе. - Стоите и смотрите, как люди избивают друг друга до крови! Разнимите их!

Кое-кто из крестьян приветливо улыбнулся учителю, кое-кто подал ему руку. Многие же были так увлечены дракой, что не обратили на Лобановича никакого внимания. А Шкурат и Кукса продолжали избивать друг друга и не хотели ничего знать. Староста, как и все зрители, соблюдал строгий нейтралитет.

- Староста! Какой же вы начальник? - набросился Лобанович на Романа. - Как же это вы допускаете, чтобы люди на ваших глазах калечили друг друга?

Староста вытер рукавом нос, соорудил свою обычную кислую мину и важно проговорил:

- Не надо, паничок, вмешиваться. Пусть они себе повозятся - сами разойдутся. Вмешайся - хуже будет.

- Господи! Что вы за люди такие?

Лобанович, протиснувшись сквозь толпу, очутился рядом с дерущимися.

- Что вы делаете, дурни?! - крикнул он разъяренным драчунам и встал между ними.

- Он мою вьюшку украл, черт корявый, да еще драться со мной будет?! - кричал Лявон Шкурат.

- Ты меня вором называешь, помело ты смердючее?! Отойди, панич.

Кондрат Кукса размахнулся. Лобановича и самого начинала разбирать злость. Он толкнул Кондрата в толпу и в тот же миг схватил Лявона и быстро отвел его в противоположную сторону. Полешуки зашевелились, придержали Кондрата.

- За что вы дрались, Лявон? - спросил учитель.

- Вьюшку мою забрал.

- Какая это твоя вьюшка? Если хочешь знать, так это казенная вьюшка: ты ее из школы взял, когда школа строилась, - говорил все еще сердитый Кукса.

- А, чтоб она сгорела, та проклятая вьюшка! - сказал Лобанович. - Ну, подумайте, пошевелите мозгами: стоит ли эта вьюшка того, чтобы из-за нее так сцепиться? Ну, сколько она стоит?

- Рубль я заплатил за нее, - ответил Лявон.

- Украл ты ее, а не рубль заплатил!

- Ну, на тебе рубль, успокойся и иди домой. Ляг на печь и лежи, пока не остынет твоя кровь.

Учитель достал кошелек, вынул серебряный рубль и отдал его Лявону.

Получив рубль, Лявон поспешил в свою хату.

- Взял рубль! - с завистью проговорил Кукса. - А, чтоб тебя, гад, за живот взяло!

Лобанович поспешил к себе в школу, считая, что он сделал очень хорошее дело, и даже гордясь своим поступком.

В тот же день вечером, когда уже было темно, с улицы снова донеслись крики и плач. Бабы плакали и причитали, как над покойником.

- Лявона убили, паничок! - крикнула бабка, вскочив в комнату.

- Кто убил?

- Кукса. Взял полено и подкараулил Лявона. Как только тот показался, стукнул по голове, Лявон даже не пикнул.

Лобанович выбежал на улицу. Там были люди. Среди улицы на грязном снегу лежал неподвижный Лявон. Над ним голосили бабы.

- Не надо было, паничок, вмешиваться, - авторитетно заметил староста. - У нас это не впервой, подерутся и разойдутся. Накопится поганая кровь, надо ее выпустить, а тогда снова все будет тихо и мирно.

Лявон, правда, был только оглушен. Череп полешука оказался достаточно крепким, и Лявон вскоре очнулся и поднялся на ноги.

XXV

Выходило так, что староста говорил правду. Такого мнения придерживались, видимо, и все тельшинские жители... И какой черт дернул его выскочить со своими тремя копейками? Если бы не этот злосчастный рубль, ничего такого не случилось бы. Хорошо еще, что все так окончилось, а ведь мог Лявон и не подняться. И так его на руках в хату отнесли.

Лобанович ходил по комнате и раздумывал над этим неприятным происшествием. Обиднее всего то, что сам он мужик, а не всегда умеет найти правильный подход к мужикам, повлиять на них. Вот и сегодня решил откупиться деньгами... И вообще надо заметить, что он не умеет вести себя. Взять хотя бы его встречу с панной Людмилой. Ему стыдно стало перед самим собой. Он даже начал ругать себя, издеваться и насмехаться над собой: "Дурень ты, брат, дрянь! Думаешь, что ты умный, а вся цена тебе ломаный грош. Кавалер! Тьфу!.." С такими мыслями он остановился возле зеркальца. На него смотрел другой Лобанович, надувшийся и обиженный. "Ух, морда!" - промолвил Лобанович своему отражению и отвернулся. Спустя несколько минут, остановившись во второй раз возле зеркальца, он уже глянул на себя немного ласковее и сочувственно проговорил: "Ничего, брат, не попрекай меня: как-нибудь будем жить на свете". Ему вспомнился один бедный крестьянин, которого он знал, когда был еще маленьким. Этот человек имел привычку разговаривать с самим собой. Он говорил: "Эх, Павлючок! Брось ты попрекать, терзать себя. Или ты один такой на свете?" Мысли учителя приобрели другое направление, и незаметно он примирился с собою. К нему снова вернулось хорошее настроение, и, стоя возле зеркальца, он корчил себе рожи, посмеивался над собой. Если бы кто-нибудь увидел его со стороны, вероятно, подумал бы, что учитель тронулся.

В это мгновение дверь из кухни открылась, и в комнату вошла сторожиха.

- Что, бабка, хорошего скажешь?

- А ничего, паничок... Ожил Лявон.

- Ну, слава богу, а то он меня очень напугал. Я уж думал - не встанет.

- Гэ, паничок, так ли еще дрались! Бывало, как зачнут побоище, все село бьется. Схватят колья и давай чесать друг друга. Просто ужас! А это, паничок, пустяки!

- Из-за чего же дрались так?

- Напьются, паничок, и схватятся. Ну, известно, мужики. Зимой работы мало, надоест сидеть без дела, и начнут биться, колья о головы ломать... - Старуха замолчала и уже другим тоном добавила: - Приехали наши паненки. Только что с разъезда пришли.

Видно было, что ради этой новости она и пришла к учителю.

- А я, бабка, завтра рано-рано в волость пойду.

- А может, вам староста подводу даст?

- Нет, бабка, пойду помаленьку. Теперь масленица, времени достаточно, может, и заночую там.

- Что же, паничок, прогуляйтесь. Только ножек ваших жалко.

Мысль пойти в Хатовичи возникла у Лобановича совершенно неожиданно. Ему нужно было как-то откликнуться на сообщенную сторожихой новость, и он, не думая, сказал, что пойдет в волость, так как, по совести говоря, весть о том, что вернулись соседки, его порядком взволновала. Учителю было приятно, что Ядвися здесь, близко, но он не хотел выдать себя. Более того - ему хотелось показать Ядвисе и даже бабке, да и себе самому,

если уж на то пошло, что Ядвися его и не так уж сильно интересуется. К тому же он еще не забыл обиду, которую нанесла ему панна Ядвися, когда сказала о своей печали по поводу разлуки с Негрусем. Правда, эта обида жила теперь только в его памяти, а не в сердце. Разве можно долго таить обиду на Ядвисю? И какая это обида, если разобраться? Разве Ядвися сказала это умышленно, чтобы оскорбить его? Но все же нужно и характер показать, проявить выдержку и твердость.

Нет! Это он хорошо придумал; что бы там ни было, а в Хатовичи он пойдет.

На этом решении Лобанович остановился окончательно.

Вот только вопрос: как рано он отправится в дорогу? Не лучше ли пойти попозже и тем самым дать возможность Ядвисе убедиться, что он наверняка знает о ее приезде и тем не менее уходит из Тельшина? Он даже постарается выйти из дому тогда, когда она будет стоять возле окна либо выйдет во двор, а он пройдет мимо с таким видом, будто это стоит не она, а какая-нибудь Параска, до которой ему очень мало дела. А если придется и встретиться с нею, то что ж, он скажет: "День добрый!" Даже и поговорит с нею о самых обычных пустяках. Так, только так!.. Ему стало даже почему-то весело.

На следующий день, как только рассвело, Лобанович был уже на ногах. Он часто поглядывал на окна дома подловчего, но там все еще не было видно никаких признаков жизни. Учитель нетерпеливо ходил по комнате и курил одну папиросу за другой, прислушиваясь к звукам, доносившимся со двора подловчего. Он уже совсем собрался в дорогу, взял все необходимое для курения, поставил в уголок свою палку и, выбрав удобный момент, вышел из дому.

Тельшинская школа стояла на скрещении двух улиц. Одна улица, просторная, ровная, широкая, вела к железной дороге; другая, небольшая, уходила в поле. На самом перекрестке возле школы стоял высокий крест. Он всегда привлекал к себе внимание учителя и производил на него сильное впечатление. Этот высокий понурый крест и эта заброшенная среди полесских трущоб школа стояли, словно сироты, и, казалось, тянулись друг к другу, словно у них была одна доля. Лобанович вышел на просторную улицу. С правой стороны к улице примыкал часток двор подловчего. В уголке двора, возле самой улицы, чернел сруб колодца. Сделав несколько шагов, Лобанович увидел хорошо знакомую фигуру Ядвиси. С ведром в руке она быстро шла к колодцу. Внезапный трепет пробежал по жилам учителя, а его сердце взволнованно забилося. Как похорошела она за эти три недели! И как сильно тянуло его к ней! Но он старался быть спокойным и не показать ей того, что чувствовал в эту минуту.

Радость, искренняя радость вспыхнула на лице Ядвиси; эта радость светилась в ее темных глазах, скользила приветливой улыбкой на ее губах, таких милых, таких дорогих. Черт бы вас побрал, девчата! Баламутите вы нашего брата - и только!

Но Лобанович совладал с собою. Даже и тени радости не выказал он при виде девушки, хотя, поравнявшись с нею, - а Ядвися стояла и ждала его, - он довольно приветливо сказал:

- День добрый!

Ядвися сердечно, ласково поздоровалась с ним.

- Ну, как же вам гостилось? - спросил Лобанович, но спросил так, как спрашивают, когда говорят только из вежливости, лишь бы сказать что-нибудь, без всякого чувства и интереса к тому, о чем спрашивал.

- Ох, как было весело! - ответила Ядвися. Она хотела еще что-то сказать, но сдержалась, - А как вы здесь жили?

- Жил очень хорошо: читал, писал, учил, сам учился, ходил гулять и чувствовал себя как нельзя лучше.

- А куда же вы собрались?

- Надумал в волость наведаться.

- И ничего вам здесь не жалко оставлять? - спросила Ядвися, и глаза ее заискрились лукавой улыбкой. Смысл этого вопроса был ясен для них обоих.

Лобанович на мгновение опустил глаза, потом глянул на Ядвисю.

- Вас мне жалко оставлять, - ответил он не то серьезно, не то насмешливо, понимай как хочешь.

Ему теперь совсем не хотелось идти в Хатовичи, но возвращаться домой уже было неудобно.

- Ну, бывайте здоровы! - поклонился он и пошел.

- А вы скоро думаете вернуться? - спросила Ядвися.

- И сам хорошо не знаю. Увижу там, - ответил Лобанович, уже отойдя на несколько шагов. Он еще раз поклонился и зашагал так быстро, будто хотел показать, что ему некогда разговаривать с нею.

Во время разговора с Ядвисей Лобанович чувствовал, что совершает насилие над собой, говорит совсем не то, что думает и чувствует в действительности.

"Зачем я, как вор, таюсь от нее и от людей? - думал, идя улицей, учитель. - Почему не сказать ей, что я так искренне и так сильно полюбил ее? И правда: зачем я так виляю, зачем заметаю свои следы, сбиваю ее с толку? К чему эта ложь? Неужели так поступают и другие? Просто нет у меня смелости. Я боюсь почувствовать себя оскорбленным, если ее сердце не откликнется на зов моего сердца... А все же любовь - это какая-то болезнь, боль и страдание. Она захватывает всего, не дает покоя, порождает какие-то неясные порывы и великую печаль".

В лесу царили тишина и покой. Это спокойствие постепенно передавалось и путнику. Он смотрел на знакомые, засыпанные снегом гати и болота и все думал о Ядвисе. Образ ее, словно живой, стоял в его глазах.

Панна Ядвися заметила, что учитель за время разлуки осунулся и похудел. В его глазах она прочитала новые для нее мысли и затаенную печаль. И сама она задумалась, и тень печали легла на ее молодое и свежее лицо.

Об Андрее так много думала она все эти дни, к нему так сильно рвалась душой...

XXVI

- А-а! Вот и вы! Милости просим! - встретил отец Кирилл Лобановича.

Отец Кирилл, как заметил учитель, осунулся, побледнел, только глаза его стали еще более живыми, беспокойными.

- Что же это вы, наставничек, так зарылись в вашей глуши? - спрашивала его веселая румяная матушка. - Ну, как же вам живется?

- Спасибо, матушка, живу полегоньку да потихоньку.

- Ну, рассказывайте: в кого вы там влюбились?

- Почему вы думаете, что влюбился?

- Ну, разве может быть, чтобы молодой парень не был влюблен!.. Ой, вы все хитрите! - погрозила матушка пальцем. - Там где-то, в Тельшине, нашли вы себе милую... Не говорите ничего: по глазам вижу.

- Правда, матушка, вы не ошиблись.

- Ну, что я говорила! - подхватила матушка. - Кто же ваша милая, скажите?

- Старостиha Алена, - проговорил Лобанович.

Отец Кирилл и сама матушка громко засмеялись.

- А я думаю: не дочь ли это пана подловчего?.. Что же вы глаза опустили?

- Ну, матушка, если буду жениться, непременно вас за сваху возьму, - сказал Лобанович.

- Возьмите, возьмите! Такую сосватаю вам женку - всю жизнь благодарить будете. Вы не знакомы с дочерью землемера?

- С панной Людмилой? Нет, не знаком.

- Она сейчас здесь, у писаря. Вечером у писаря блины будут, вот вы и подкатитесь к ней. Она девушка симпатичная. Хоть нашему учителю ножку подставьте.

- Э, матушка! У панны Людмилы столько кавалеров, что у меня и смелости не хватит ухаживать за нею.

- Эх, наставничек, ничего вы не понимаете! Она так интересуется вами, что будет очень рада, если обратите на нее внимание.

- Что ж, дай боже нашему гороху в панский горшок попасть, - улыбнулся Лобанович.

- Вас крестьяне хвалят, - сказал отец Кирилл, - вы сумели занять надлежащее положение.

- А за что им хвалить или хаять меня? - спросил Лобанович. - У них свое дело, у меня свое. Наши интересы не сталкиваются, и нам не за что даже поссориться, поругаться.

- Вы скромный человек, и это делает вам честь, - ответил отец Кирилл. - Нет, надо сказать правду: Тельшину везет на хороших учителей. Только глушь там, как и вообще все это Полесье.

- Жениться надо, - сказала матушка, - тогда и глушь не такая страшная будет.

- Что жениться! - махнул рукой отец Кирилл. - Жениться каждый сумеет, но что толку из этой женитьбы?

Молодая служанка отца Кирилла, краснощекая полешучка, принесла самовар. Сели пить чай. Матушка все время говорила, сообщала деревенские новости и сплетни, до которых она была большая охотница. Между прочим она начала рассказывать о борьбе за панну Людмилу, разгоревшейся между Соханюком и Дубейкой. Но рассказ не был доведен до конца - в комнату вошел сам Соханюк.

На этот раз Соханюк был необычайно расфранчен, чисто выбрит; манишка, галстук, манжеты - все на нем сияло и сверкало.

- Моему сопернику и коллеге нижайшее почтение, - обратился к Соханюку Лобанович.

- Вот молодец тельшинский учитель! - восхитилась матушка. - Сразу делает вызов нашему учителю!

- Вы меня не так поняли, - заметил Лобанович. - Коллега - мой соперник совсем другого рода, мы боремся с ним за гарнцы.

Отец Кирилл заинтересовался этой историей, и Лобанович рассказал, что за борьба завязалась у них.

Отец Кирилл смеялся, смеялся и сам Соханюк.

- Наш учитель - хозяин, имеет кабанчика и коровку, - заметила матушка.

- Только хозяйки не хватает, - добавил Лобанович. - Так и быть, коллега, женитесь - сделаю вам такой подарок к свадьбе, отдам свою ссыпку.

- И хорошо сделаете, - смеялся Соханюк. - Я человек практичный и отказываться от того, что идет на пользу человеку, считаю неразумным. Если жить, то жить со вкусом, а разбрасывать рубли ради того, чтобы помирить двух буянов мужиков, не вижу смысла.

Соханюк кивнул в сторону Лобановича и засмеялся. История с вьюшкой была здесь уже известна. Лобанович не нашелся что сказать, он немного смутился.

- Да, - подтвердил и отец Кирилл, - наш учитель умеет жить. - Но его симпатия и сочувствие были явно на стороне тельшинского учителя.

- Вот что, коллега, - обратился Соханюк к Лобановичу, - вас приглашают на вечер к писарю, и мне выпала честь сообщить вам об этом. Даже и записку вам передали.

- Кто же это оказал мне такое внимание? - спросил Лобанович, беря записку.

- А дочка землемера там будет? - спросила матушка.

- Н-не знаю, - не сразу ответил Соханюк.

- Идите, идите, наставничек! - уговаривала матушка. - Там панечки будут и в том числе, вероятно, панна Людмила.

- Не хочется мне туда идти, - проговорил Лобанович. - Не люблю бывать в большой компании.

- Больше любите быть в компании одной-единственной, - пошутила матушка.

...Гостиная в доме писаря была ярко освещена двумя лампами. Переступив порог и окинув взглядом гостей, Лобанович в замешательстве остановился: к кому прежде подойти и с кем поздороваться? Он не знал, куда деваться, - так много здесь собралось гостей. Надо

бы начать с хозяина, но хозяин сидел за столиком, держал полную горсть карт и внимательно в них вглядывался. Напротив блестел воротник урядника. Сбоку сидел фельдшер Горошка. Он подгонял писаря:

- Ходи, ходи, кум! Под туза! Под туза ему!

Но писарь не торопился. Он долго вглядывался в свои козыри, и казалось, вот-вот чихнет. Сиделец по фамилии Кляп выказывал все признаки нетерпения, раздраженный такой медлительностью писаря.

- Не пори горячки, ведь и так останешься без одной, а будешь горячку пороть, без двух останешься.

Максим, сын фельдшера Горошки, порхал, как мотылек, от одной паненки к другой. Как видно, в этой деятельности он имел большой опыт. Лобанович был порядочно удивлен, увидев здесь пана подловчего: ведь тот немного брезговал компанией писаря. Дубейка, зажав шею в накрахмаленный тесный воротничок, очень мило и очень красиво, как ему казалось, кивал своей птичьей головой то одной, то другой барышне.

В глубине комнаты в мягком кресле сидела Людмила. Рядом с нею примостился Суховаров. Теперь Лобанович догадался, что пан подловчий вынужден был уступить Суховарову и поехать с ним, чтобы познакомить его с Людмилой, которой также заинтересовался и Суховаров.

- А-а, паночку! - проговорил подловчий. - Смотри, какой он прыткий! Я заходил к нему, чтобы вместе с паном Суховаровым поехать, а он уже здесь!

Подловчий весело поздоровался со своим соседом, взял его под руку и подвел к Людмиле.

- Будьте знакомы: пан Лобанович, профессор больших букв.

Людмила улыбнулась своей приветливой улыбкой и игриво проговорила:

- Мы уже почти знакомы, - и подала свою мягкую ручку.

- Значит, наш профессор гораздо ловчее, чем я думал, - проговорил подловчий.

- В тихом омуте черти водятся, - добавил Суховаров, и на его влажных губах застыла кривая, слегка пренебрежительная улыбка.

Суховаров был одет в парадный мундир с блестящими пуговицами и свысока смотрел на всех местных кавалеров.

Поздоровавшись со всеми, Лобанович выбрал себе наиболее спокойное местечко и начал присматриваться к гостям. Старшая дочь писаря, как хозяйка, часто отлучалась. Молодые люди из вежливости уделяли ей много внимания, чем она была очень польщена.

- Ну, как живете? - спросил Лобановича Дубейка. - У нас, видите, не то, что у вас, - публики много, барышни... Как вам нравится наша Людмила?

- А почему она ваша, а не наша? - спросил Лобанович. - Ну что ж, девушка как девушка.

- Вы посмотрите, как возле нее этот железнодорожник увивается!

- А вам завидно? Почему же вы не увиваетесь?

- Мое от меня не убежит! - гордо заявил Дубейка. Недавно земский начальник обещал ему должность писаря.

Подошел Максим Горошка.

- Что вы так редко у нас бываете? - спросил и он Лобановича.

Максим был вертлявый, низкого роста, но довольно красивый парень с тонкими черными дугами бровей и живыми глазами. Среди паненок он считался интересным кавалером, хоть и невыгодным женихом. Максим любил вести разговоры на общественные темы. Он ничего не делал, нигде не служил. Почему? Да просто потому, что никакая должность его не удовлетворяла и никакая профессия не отвечала его взглядам на жизнь. Он был немного шалопай и распутник, отличался острым языком и любил высмеивать людей.

То тот, то другой из гостей подходил к тельшинскому учителю и что-нибудь говорил ему. Соханюк сыпал шутками в кругу паненок. К Людмиле он не подходил, хотя исподтишка очень внимательно следил за ней.

Панна Людмила несколько раз порывалась подойти к Лобановичу, так как потеряла надежду, что он когда-нибудь подойдет к ней сам. Ей любопытно было узнать, что он за человек. "Ну и бревно какое-то!" - заметила про себя панна Людмила. Тем не менее она попросила у своего кавалера прощения и с милой улыбкой подбежала к Лобановичу.

- Можно возле вас присесть? - спросила она сладким голосом.
 - Прошу, прошу! - проговорил Лобанович и подставил ей стул.
 - Вы как будто за что-то сердитесь на меня. Правда?
 - О нет, сохрани боже! - горячо проговорил счастливый учитель. - Разве на вас можно сердиться? Да и за что?
 - Ну, скажите мне правду: почему вы ни разу к нам не зашли?
 - Я живу далеко от вас, с вами до этого дня не был знаком и вообще не было случая.
 - А еще какие были причины? - допытывалась панна Людмила.
 - Других причин я вам не скажу.
 - А они были?
 - И об этом умолчу.
 - Ну, скажите! Ах, какой вы злой!
 - Что делать, и злые люди живут на свете.
 - Нет, вы добрый! Я слышала, что вы добрый!
 - Мало ли что говорят. Да еще говорят ли?
 - Так вы мне не верите?
 - Я и сам себе не верю.
 - Вот это мило! Как же это вы себе не верите? - спросила панна Людмила.
 - А вот бывает так: думаешь одно, а делаешь другое. Хочешь жить так, а живешь иначе.
 - А почему так получается?
 - А потому и получается, что внутреннее состояние человека очень изменчиво. На него имеет влияние погода, люди, особенно ваш брат...
 - А какое влияние имеет на вас наш брат?
- Лобанович подумал и ответил:
- И хорошее и плохое.
 - Ха-ха-ха! - засмеялась Людмила. - Неужто на вас имеет влияние, как вы говорите, наш брат? Не верится что-то. Вы, простите, действительно какой-то... святой.
 - Я знаю, - с оттенком легкой грусти сказал Лобанович, - что паненкам святые не нравятся, хотя, правда, святым я являюсь с вашей точки зрения...
 - Нет, нет! Вы не обижайтесь, прошу вас. Я только хотела сказать, что вы... ну, совсем не такой, как другие, не такой в лучшем смысле.
 - Очень вам благодарен, но, снявши голову, по волосам не плачут. И обиды здесь никакой нет. Иной человек всю жизнь бьется и ломает голову над тем, как бы стать святым, а мне это легко далось.
 - О! Молодец, профессор больших букв! - шутил подловчий, подойдя к Лобановичу. - Один завладел панной Людмилой!
 - Это я завладела профессором, просто силой взяла его, не спрашивая, рад ли он этому или не рад, - ответила панна Людмила.
 - Простите, - усмехнулся Лобанович и глянул ей в глаза так, будто он знал гораздо больше, чем думала панна Людмила, - а так ли это?
- Девушка на мгновение смутилась, потом вскинула на него свои бойкие глаза.
- Ой, хитрый же вы, хитрый!
 - А как вы думаете, святость и хитрость не мешают друг другу?
 - О нет! Вам они не мешают.
 - Ну, это другое дело. Но можно ли быть святым, оставаясь и хитрым?

- В вопросах святости я ничего не понимаю, - ответила панна Людмила. - Оставим это. Скажите, почему вы так быстро тогда убежали, помните, у Абрама?

- Я никак не ожидал встретить вас там, и мне стало неловко... Скажу вам правду: я не хотел, чтобы вы подумали, будто я зашел туда для того, чтобы увидеть вас.

- А разве вам так неприятно было увидеть меня?

- Вот вы и поймали меня. Теперь выкручивайся как хочешь, - засмеялся Лобанович.

- Вы мне говорите правду, слышите? Чистую правду! - горячо наступала Людмила.

- Я просто не хотел обманывать вас.

- Что это значит? Я ничего не понимаю, - слегка нахмурившись, проговорила панна Людмила. - В чем вы меня могли обмануть?

- Всего знать нельзя: знание часто разрушает наше счастье.

- Теперь я уже совсем не понимаю вас.

- А вы больше разговаривайте с умными людьми, - посоветовал ей Лобанович.

- Чем же я виновата, что вокруг меня дурни?

Лобанович засмеялся.

- Плохого же вы мнения о ваших кавалерах, и я на этот раз очень рад, что не нахожусь в их числе.

- О чем это голубки воркуют? - спросил Суховаров, подходя к ним. Ему было немного не по себе оттого, что панна Людмила оказывала предпочтение Лобановичу.

- Прошу садиться, - указала панна Людмила место возле себя.

Суховаров сел, положив ногу на ногу и покрутив свой черный усик. Но поговорить ему так и не удалось - хозяйка приглашала гостей к столу. Гости вздохнули с облегчением и, неловко толпясь и оказывая друг другу знаки внимания, двинулись в соседнюю комнату. Через весь длинный стол тянулся ряд бутылок с водкой. Лобанович сидел рядом с Максимом Горошкой и Дубейкой. Оба они были хорошие выпивохи и мастера по части закуски. Каждая новая чарка увеличивала оживление за столом. Шум, смех, шутки наполняли комнату. Пили за здоровье писаря, его дочерей, Суховаров поднял чарку за любовь, Дубейка - за панну Людмилу. Гости вставали, чокались, расплескивали водку. Урядник предложил спеть "Боже, царя храни...". Все вынуждены были подняться, рады они были тому или не рады.

Лобанович чем-то понравился Максиму Горошке, и тот, дав волю языку, приставал к своему соседу с пустыми и грязными разговорами.

- К каждой бабе подкатиться можно, - говорил Максим Лобановичу. - Я их натуру хорошо знаю. С виду кажется - "не тронь меня", брыкается, обижается, а кончит тем, что прильнет к тебе.

- Ну, знаете, по нескольким потаскухам нельзя судить о всех, - сказал Лобанович.

- Зачем брать потаскуху? - Максим поднял глаза на соседа. - Пусть это будет между нами. Мне матушка наша жаловалась на своего отца Кирилла: "Такой он, говорит, болезненный, слабенький, ничего не может. Просто жалко его". Ну, я и пожалел нашего батюшку, - проговорил Максим и захихикал.

- Неужели это правда? - спросил Лобанович и поглядел на Максима.

- А вы думали, я - Иосиф Прекрасный? Вы, профессор, как вижу, еще не просвещенный в этом смысле человек, - сказал Максим и засмеялся.

- А разве для этого нужно специальные курсы кончать? - спросил Лобанович.

- Нет, для этого нужно быть мужчиной, - ответил Максим.

- А не просто распущенным человеком?

- При чем здесь распущенность? Природа, брат, требует свое.

- Если пойти за природой, можно оправдать всякие глупости, особенно если при этом начнешь еще потакать себе. Вот вы нигде не служите, отец ваш уже старик, ему приходится содержать вас, а вы скажете: "Природа требует, чтобы он заботился обо мне".

- Разумеется. Разве я просил его, чтобы он пустил меня на свет? А пустил - пускай и кормит, пускай позаботится... Слушай, профессор, давай выпьем на "ты".

Максим налил чарки. Выпили.

- Знаешь, брат, - начал Максим, - я тебе такую молодницу расстараюсь, что с нею ты узнаешь радости рая.

Лобанович начал быстро пьянеть. Ему стало легко и весело. Перед глазами плавал какой-то приятный туман и все окрашивал в розовый цвет. И этот самый Максим, и Дубейка, и Суховаров, и вообще все, собственно говоря, хорошие люди, - думал он. Максим совсем еще молодой, он мальчишка. А что он за бабами гоняется, так кто же этого не делает? Только Максим и другие имеют смелость открыто признаться в этом, а он, Лобанович? Он гораздо хуже их, потому что скрывает свои грязные мысли о женщинах. А мало ли времени занимали у него эти мысли! Он помнит встречу с незнакомой женщиной, которая шла к нему, а он прогнал ее. Разве он хорошо поступил? Сколько раз он жалел об этом, и мысли о ней разжигали его. А кому он об этом сказал? Никому. А почему? Ясно почему: ему, грязному в такой же мере, как и все мужчины, а может, и более того, хотелось показаться чистым, невинным, лучше других. А он... просто обманщик, хитрец, фарисей, притворщик, фальшивомонетчик, так как выдает себя не за то, что он есть. Ха-ха-ха! Это он - отшельник, он - святой!..

Мутным взором обвел Лобанович гостей. В глазах у него все колыхалось и троилось. И неведомо откуда перед ним появился образ панны Ядвиси. "Ядвисенька, милая, славная!" Он склонил голову и о чем-то думал. Потом внезапно повернулся к Максиму.

- Максим Грек! Выпьем, брат?

- Выпьем, профессор.

- За здоровье той молодницы, с которой можно познать радости рая!

- Браво, профессор!

Лобанович совсем опьянел. Правда, трезвых здесь и не было, кроме паненок - они были только веселые - и Соханюка, который водки не пил. Тем не менее Максим и Лобанович выделялись среди этой компании. Они громко разговаривали, жестикулировали, целовались.

Соханюк незаметно подошел к Лобановичу.

- Слушайте, коллега, зайдем на минутку ко мне!

- Зачем? Не пойду. Я еще пить хочу. Хочу похоронить тельшинского педагога, потому что он фальшивый.

- На одну минуточку, коллега! Выйдем.

- Соханюк! Милый мой Соханючок! Ты мой старший брат, я покоряюсь тебе... Но... Стой! Ты, брат, хитер, Соханючок, я знаю, ты хочешь от меня под пьяную руку подписку взять, что я отдаю тебе гарнцы. - Гарнцы ты мне и так отдашь как подарок к свадьбе.

- Правда, брат, правда! - спохватился Лобанович. - Женись, брат! Отдам тебе гарнцы, потому что ты человек, а не еловый пень, как думал я прежде.

Соханюк под руку привел Лобановича в свою квартиру.

- Куда ты меня привел и зачем привел? Я хочу к паненкам пойти. Максим Грек, свинячий ты человек, где ты?

- Пропись, коллега. Ну их! Будут пальцами показывать и трубить на весь уезд, рады на язычок поймать нашего брата.

- Эх, Соханюк, Соханюк! Ты и гарнцы мои берешь, ты и честь нашу учительскую охраняешь. Ты тронул мое сердце. Живи же, Соханюк, многая лета! Женись, брат, плодись, населяй пинские болота и володей ими, - говорил Лобанович с дивана, еле ворочая языком.

Лобанович встречал в Тельшине первую полесскую весну. Казалось, выражение печали, грусти, не сходившее всю зиму с лица этого глухого уголка Полесья, теперь исчезло, - что-то новое и радостное появилось в облике широких пустынных болот и темного, угрюмого леса, стройных сосен, высоко поднимавших свои кудрявые головы, и могучих дубов, одиноко стоявших на опушке леса.

Весна была ранняя, как обычно в Полесье. В лесах на припеке быстро появлялись проталинки, и освобожденная из-под снега земля радостно выглядывала на свет желтовато-серыми пятнами, уже выбивался и прошлогодний брусничник, свежий и сочный, распрямлялись и тихонько покачивались сухие веточки вереска и ягодника. Вдоль железной дороги, где так весело сверкали щедро рассыпанные золотые лучи солнца, под прикрытием зеленых сосенок и красноватого молодого березняка тянулась длинная желтая полоса оттаявшей земли. Она становилась шире с каждым днем, с каждым часом.

А возле железнодорожных мостиков не умолкая звенела дружная капель, стоял веселый гомон оживших речушек и ручейков. Темные маслянистые шпалы, старые, трухлявые пни давно погибших деревьев, гнилые сучья - все выглядывало из-под снега, и все, казалось, радовалось, что не последний раз видело солнце. А лес, освещенный и обогретый солнцем, смотрел так весело! И было что-то необычайно приятное в этом светлом пробуждении жизни, в запахе прелых, прошлогодних листьев, то здесь, то там устилавших землю. В душе пробуждались новые стремления, начинали звучать новые струны, оживленные нежным дыханием весны; они убаюкивали душу тихой, неясной песней, давно слышанной сказкой, полной красоты и очарования, и куда-то манили и звали. Куда? Может, в ту неведомую, неразгаданную, всегда привлекательную даль, закрытую завесой розовых мечтаний, которые еще никогда не сбывались? А может, это просто пробудилась в душе тоска о чем-то таком, мимо чего ты прошел беззаботно и что навек утратил? Или это отзвук вечной неудовлетворенности человека, выделяющей его из круга всех других живых существ и ведущей по дороге исканий лучших форм жизни и ее красоты? Или это стремление раздвинуть границы своего кругозора, познать непознанное, изведать неизведанное? Но вечны загадки жизни и вечно наше стремление их разгадать, - ведь формы жизни ограничены, сама же жизнь не имеет границ.

После вечеринки у писаря Лобанович некоторое время чувствовал себя скверно. Ему было горько и обидно, что он так напился, болтал разные глупости и даже пил за здоровье какой-то молодежи. Проспавшись, он чуть свет вырвался из квартиры Соханюка и почти бежал домой. И вот теперь, на другой день после попойки, немного успокоившись, он бродил по железнодорожной насыпи и сурово клеймил свое поведение человека и учителя. Ему вспомнились первые дни после приезда сюда, его радужные мечты и планы. Они находились сейчас в таком противоречии с действительностью, что о каком-либо моральном удовлетворении не могло быть и речи. На душе у него было тревожно. Ему хотелось бросить здесь все и уйти. Куда? Куда глаза глядят, на новые места, и уже там начинать жить по-иному.

Лобанович окинул взглядом окрестности Тельшина. Тесно, темно и пусто. Только ветряные мельницы, растопырив вверх два крыла, слегка наклоненные в сторону села, имели такой вид, словно их поразила какая-то новость и они, едва успев сказать: "О-о-о!", застыли от изумления. Дом пана подловчего и высокая копильня возле него также выделялись своим немного более веселым видом из серого скопища соломенных крыш крестьянских хат. Неужто ему придется жить здесь хотя бы еще одну зиму, - на лето, когда закончатся занятия в школе, учитель намеревался куда-нибудь поехать...

Дом пана подловчего глянул на Лобановича еще раз и еще. Подчиняясь какому-то тайному чувству, учитель свернул с железной дороги и направился домой, поглядывая то на высокий крест возле школы, то на крышу дома подловчего. Приблизившись к ним, он

пошел медленнее, словно вор, бросая взгляды на окна. Сделав еще несколько шагов, Лобанович остановился: в окне из-за вазонов ему кланялась та головка, которую ему так приятно было видеть. Он просветлел и решительно открыл калитку, ведущую во двор его соседки.

- С того времени, как вы влюбились в панну Людмилу, уж не хотите и зайти к нам, - сказала Ядвися не то в шутку, не то серьезно.

Лобанович глянул ей в глаза, в эти темные и такие милые, приветливые глаза, на ее черные тонкие брови, подобных которым он не видел ни у одной девушки, ни у кого на свете. Кажется, никогда бы не отводил от нее своих глаз! Он подумал: "Никто тебя не видит, никто не знает, какая ты славная, милая, - и добавил: - Дурни они!"

- А, - сказал Лобанович в порыве какой-то радости, а внутри у него все дрожало, - или только свету, что у панны Людмилы? А вы мне вот что скажите: когда вы перестанете хорошеть? Можно было бы уж и остановиться.

Все мысли о мести Ядвисе, все те колючие слова, которые не так давно он собирался бросить ей, - все теперь исчезло, словно эти глаза и брови развеяли их и похоронили навек.

- А когда вы перестанете быть таким угрюмым и злым? - ответила вопросом на вопрос Ядвися.

- С того мгновения, как вы спросили об этом.

- Не люблю я мрачных, - сказала Ядвися. - Все кажется, что они набросятся и бить начнут.

- Что ж делать... Порой человеку так тяжело, навалится на него такое горе, что невольно ляжет черная тень на лицо.

- А какое у вас было горе? - спросила Ядвися.

- Не спрашивайте, никакого у меня не было горя. Разве только вы принесете его мне, но этого я очень не хотел бы.

- Я? Что я для вас значу?

- Все! - ответил учитель.

- Правда? - тихо спросила Ядвися.

- Готов побожиться, об заклад побиться, - начал сыпать Лобанович словами, взяв нарочито шутливый тон, чтобы шутками прикрыть то, что шло от самого сердца.

Ядвися, как козочка, прыгнула к печке, где стояла пустая корзинка. Схватив корзину, она подбежала к Лобановичу.

- Сыпьте в корзину свое красноречие!

Они смеялись, счастливые, как дети.

Вдруг лицо Ядвисы стало серьезным.

- Скажите, - проговорила она, - если бы я вас о чем-нибудь попросила, вы сделали бы это для меня?

- Все, что можно сделать, сделаю.

- Сделаете?

- Сделаю.

Ядвися опустила глаза, потом медленно подняла их на учителя.

- На Гораденщине есть у меня одна знакомая девушка... ну, вам все равно, кто она. Ей нужно выйти замуж. Понимаете? Ей просто необходимо обвенчаться, чтобы в документах иметь другую фамилию. Зачем - это также вам не интересно. Так вот, согласились бы вы обвенчаться с нею?

Ядвися говорила самым серьезным тоном.

Лобанович и верил и не верил. Если все это правда, значит он Ядвисе совсем не нужен. Ему стало горько и тяжело. Он опустил глаза и, помолчав, проговорил с заметной ноткой обиды и недовольства:

- О женитьбе, какая бы она ни была, я думаю столько же, сколько вы думаете о прошлогоднем снеге.

В комнату вошла Габрынька, и разговор о женитьбе на том и закончился.

- Ну, расскажите, как вы гостили? - обратился к ней учитель.

Габрынька с жаром, оживленно рассказывала, как им было хорошо в гостях и как не хотелось ехать домой. Ядвися молчала. Лобанович слушал Габрыньку и старался не смотреть на Ядвисю. А она все время не сводила с него глаз. Затем тихонько вышла из комнаты, ничего не сказав. Она вернулась только тогда, когда Лобанович уже простился с Габрынькой и направился к себе на квартиру.

Настроение у него было самое паршивое. Он просто не мог найти себе места, не знал, за что приняться. Пройдя несколько раз по комнате, он взял бумагу и перо и сел писать письмо своему семинарскому другу Янке Тукале.

"Милый Янка!

"Где ты, милый, белобрысый? Где ты? Отзовися! Как без тебя здесь горюю, приди подивися", - строчками известной песни, слегка изменяя ее текст, начал он свое письмо. - Надоело, брат, мне здесь. Все пригляделось и приелось. Начинается весна. Вместе с нею во мне пробуждается дух бродяжничества. Кажется, взял бы под мышку свои манатки и ушел куда глаза глядят. Кончатся занятия в школе - поеду домой. На следующий год думаю перебраться куда-нибудь дальше, в глубь Полесья. Я начинаю анализировать самого себя и результатами анализа остаюсь недоволен. Та обычная работа, которую мы должны вести в школе, мне кажется недостаточно ценной, и если ею ограничить свою деятельность, значит делать очень мало. Всегда будешь чувствовать, что чего-то не хватает. И тогда останется только на все махнуть рукой, а чтобы весело было, придется обратиться к картам, водке и через несколько лет превратиться в настоящего вахлака, что обычно на каждом шагу и делается. Я чувствую, что у меня нет почвы под ногами, потому что я не наметил себе определенного плана работы. Я, брат, та муха, которая попала под стеклянный колпак: и свет вокруг видать, и возможность есть выбраться из этого колпака, но нет способности найти выход. И не я один такой; шумим, вертимся, а толку мало. Может быть, кому-нибудь случайно и посчастливится найти дорогу из этого колпака, но подавляющее большинство попадает в сыворотку и барахтается в ней, пока не захлебнется. Еще ничего, если всего этого не замечаешь и думаешь, что так и нужно. Но очень тяжело чувствовать, что тебя начинает затягивать болото и ты знаешь, что в этом болоте твоя гражданская смерть. И если бы меня спросил кто-нибудь, что мне прежде всего бросилось в глаза и произвело самое сильное впечатление в первый год учительства, я ответил бы: медленное умирание души и затягивание тебя болотом... Нет, брат Янка, нельзя долго оставаться на одном месте, иначе болото тебя засосет и испоганит. Да здравствуют скитания!

Как я тебе и говорил, во мне с необычайной силой пробудился дух бродяжничества. Я не нахожу себе спокойного места, меня куда-то тянет и влечет. Порой просто хочется зажать себе голову руками и плакать: "Скучно жить на этом свете, господа". Теперь только понял я, какую правду сказал Гоголь".

Написав это письмо, Лобанович прилег на диван и задумался. "А все это я лгу, не в том причина моей неудовлетворенности и тоски". И снова перед ним всплыл образ Ядвиси, и снова о ней, только о ней, начал он думать.

XXIX

- Бабка, дома панич? - спросила панна Ядвися старую Марью.

- Нет, паненочка, куда-то вышел недавно.

Ядвися подошла к двери, прислушалась, словно не веря бабке и боясь быть пойманной. Потом, приоткрыв тихонько дверь, вскочила в комнатку, окинула ее быстрым, любопытным взглядом. Подойдя к письменному столу, она положила на него маленький букетик первых весенних цветов. Взяла ручку, оторвала узенькую полоску бумаги и немного подумала. На ее губах заблуждала улыбка. "Милый... - написала она, поставила

три точки и добавила: - дурень". Бумажку с двумя этими словами положила в развернутую книгу, еще раз оглянулась и выбежала в кухню.

- Смотри же, бабка, не говори паничу, что я здесь была! Боже сохрани, бабка, не говори! - сказала она и бегом бросилась во двор.

Вскоре оттуда послышался ее звонкий голос. Она пела какую-то песню.

Бабка тихонько усмехнулась про себя и проговорила вслух:

- Веселая, хорошая паненка! - И о чем-то задумалась.

Через минуту бабка сама вошла в комнату. Ей хотелось узнать, какую штуку выкинула там паненка.

- Цветочки принесла... Пусть, дескать, вспомнит обо мне.

Бабка взяла в руки букетик, посмотрела на него, поднесла к носу и снова положила на стол. Она почему-то вздохнула и вышла.

Это было на закате солнца.

Когда уже совсем стемнело, пришел Лобанович. Он зажег лампу. При свете заметил цветы.

"Кто же это положил их сюда?" - спросил он себя и начал разглядывать букетик.

Вечер был теплый и тихий. Лобанович подошел к окну и открыл форточку. В окнах комнат подлвочего не было света. Значит, там никого нет, или, может быть, еще рано было. Со двора в комнату учителя доносился шум деревенской улицы. Где-то в конце деревни пиликала скрипка, слышался радостный смех девчат, их крики и визг. Видимо, за девушками гонялись хлопцы, ловили и дурачились с ними. Потом девчата хором пели "веснянки". Звонкие молодые голоса будили покой этого тихого вечера, и отголоски их замирали где-то в сонной тиши болот.

На ясном небе загорались звезды, мерцали, светились разноцветными огоньками, переливались, словно это трепетали алмазными крылышками какие-то дикие мотыльки. И было что-то необычайно торжественное и величественное в далекой красе недостижимых звезд, в молчании темного, бездонного неба, перед беспредельностью и таинственностью которого умолкали мелкие заботы земли.

"Скольким людским поколениям светили эти звезды! - размышлял учитель. - Эти бесчисленные массы людей давно исчезли с лица земли, и ветер давно разрыл их могилы и разнес по свету прах костей их, а они, спокойные звездочки, каждую ясную ночь будут светить своим безмятежным блеском, равнодушные ко всем волнениям и тревогам мятущейся человеческой души. И мы проживем свой век, сколько нам назначено, этот невыразимо короткий миг, крохотное звено в бесконечной цепи жизни, и никакого следа не сохранит после нас безжалостное время. И стоит ли так привязываться к жизни - ничтожному мгновению в безостановочном ходе времен?"

И какая-то безотчетная печаль охватила учителя. О чем? Может быть, о ничтожности и мизерности человеческой судьбы, человеческой жизни. Он опустил голову над столом и сидел неподвижно. Легкий внезапный шорох возле окон заставил его очнуться. Он поднял голову, и в тот же миг на стол упало несколько таких же самых цветочков, какие были и в букете. Некоторые из них, видно, не попали в форточку, а лишь легонько коснулись стекла и остались за окном. Грустные мысли о ничтожности человеческой жизни были, таким образом, неожиданно испугнуты чьей-то рукой, бросившей эти цветы.

Лобанович быстро бросился к форточке, но за окном все было тихо, и только шумливая, многоголосая улица слагала свой гимн этой молодой земной жизни.

"Неужели это Ядвися?" - спросил себя учитель.

- Бабка! - позвал он.

- Что, паничок?

- Ты не спишь еще?

Дверь скрипнула. Вошла сторожиха.

- Не знаешь ли ты, бабка, кто принес сюда цветы?

Сторожиха вначале притворилась, что ничего не знает, а чтобы убедить в этом и учителя, взяла цветы и стала разглядывать их. Но как ни хитрила бабка, учитель прочитал на ее лице, что она притворяется.

- Ой, бабка! Грех тебе, старенькой, обманывать! Не любишь ты меня, не жалеешь. Я уж по одному тому не поверю тебе, что ты знахарка. Ты должна знать.

- Ой, паничок! Ну кто же вам может принести цветочков, как не паненка!

- Какая паненка? И почему паненка, а не какая-нибудь молодлица?

- Кто же их, паничок, знает, кто к вам сильнее льнет, паненки или молодлицы, - все еще хитрила бабка. Но ей самой не терпелось сказать, и она начала смеяться. - Паненка сама сюда заходила и положила их вам. Только она, паничок, просила, чтобы я вам не говорила.

- Поймаю ее когда-нибудь.

- Поймайте, паничок, поймайте! - проговорила бабка, готовая даже помогать своему паничу ловить паненку.

- Почему ты, бабка, не идешь на улицу песни петь?

Старушка посмотрела на учителя, серьезно он говорит или шутит.

- Кончено, паничок! Отпела я уже свое.

- А жаль тебе своей молодости?

- Что ее, паничок, жалеть? Жалей не жалей - не вернется назад.

- А ты хотела бы вернуть ее?

- Э, паничок! Я об этом и не думаю. Ни к кому она не возвращается.

- Значит, нужно, бабка, пользоваться ею и взять от нее все, чем она мила и любя!

- Да, паничок, что теперь потеряешь, того потом не найдешь.

Этот разговор совсем не интересовал бабку, и она несколько раз зевнула. Наконец сказала:

- Поздно уже, паничок. Оставайтесь здоровы!

Сторожиха медленно побрела в кухню на свою печь, откуда слышалось какое-то бормотание - не то она разговаривала сама с собой, не то молилась.

На улице еще долго звучали песни, да где-то со двора доносился лай потревоженной собаки. Запоздалый месяц загорелся золотым пожаром за утрюмым лесом, черневшим невдалеке от железной дороги, и медленно поднимался над притихшей землей. Ночь становилась молчаливее и глуше и все тяжелее опускалась на землю. Учитель долго сидел возле окна, погруженный в раздумье. Спать не хотелось, и он долго ворочался, пока сон не смежил глаза. На столике возле кровати лежал букетик увядших цветов.

...Весна вступала в силу. Снег уже совсем сошел с полей. Ожили болота. Жалобно застонали чибисы, тяжело летая над водой. Высоко в небе звенели жаворонки. Подсохшая земля начинала искриться зеленым бархатом нежной, пахучей травы. То один, то другой из учеников переставали ходить в школу.

- Вот что, дети, - сказал однажды учитель, - сегодня после обеда приходите с лопатами. Будем копать ямки, а завтра все пойдем в лес, принесем молодых деревец и посадим их вокруг школы.

Дети друг перед другом спешили заверить учителя, что они принесут лопаты, и с веселым гомоном, как пчелки из улья, высыпали на улицу, наполняя ее звонкими, счастливыми голосами.

После обеда дети весело спешили с лопатами в школу, прибежали к учителю на квартиру, с удовольствием сообщая ему, что его наказ выполнен. Даже маленький Павлик Рылка, самый младший в школе, гордо нес лопату, сгибаясь под ее тяжестью.

Учитель пришел в школу и повел детей во двор. Вместе с учениками наметил места для ямок, потом дал задание ученикам, разделив их на группы, и сам выкопал первую ямку, чтоб показать детям, как надо это делать.

- Что это вы делаете?

Ядвися незаметно подошла к Лобановичу. Так хорошо знакомый ему голос привел его в какой-то трепет. Сердце забилося сильнее.

- Хочу после себя вам память оставить.
- А разве вы умирать собираетесь? - засмеялась Ядвися.
- Я уже умер, - трагически проговорил Лобанович.
- Так это вас хоронить здесь будут? - шутила она. - Может, побежать позвать баб, чтобы поплакали по вас?
- А вы разве не заплачете обо мне?
- Так вы же все равно слышать не будете.
- Ах, простите! - спохватился Лобанович. - Очень благодарю вас за букетик и за те цветочки, что через форточку влетели.
Ядвися притворилась весьма удивленной, будто ничего не понимала.
- Какой букетик?
- Тот самый, который вы на стол положили.
- Ваша бабка лгунья, и сами вы лгун, - запротестовала Ядвися. - Больше никогда к ней не пойду, и в вашу кухню не ступит моя нога...
- И в мою форточку не полетит ни один цветок?
Ядвися повернулась и бегом бросилась в свой двор, потом остановилась и снова подошла к Лобановичу.
- Слушайте, вы брали книгу, что лежала раскрытой у вас на столе?
- Нет, не брал.
- Вы не обманываете?
- Я, кажется, никому еще в форточку не бросал цветов, чтобы мне обманывать.
Ядвися почему-то засмеялась, ни капельки не обидевшись.
- Хотите, пойдем сегодня гулять?
- Пойдем, пойдем! - подхватил учитель. - Вы, может, не поверите, но у меня, честное слово, была та же самая мысль, только я не отважился предложить вам.
- Тогда заходите к нам.
- Обязательно! С великим удовольствием!
Она снова помчалась в свой двор. Дети шумели, гомонили, спорили, хвалили свои и хаяли чужие ямки.
Лобанович стоял счастливый, о чем-то думал, и едва приметная веселая улыбка блуждала у него в глазах и на губах.
"Почему она спросила про книгу? - подумал Лобанович. - Не положила ли она что-нибудь в нее?"
А тем временем Ядвися, крадучись, с другого хода, пробиралась в квартиру учителя, чтобы тайком вынуть из книги бумажку, на которой она написала вчера: "Милый-дурень", - чего Лобанович не заметил,

XXX

Заперев дверь кухни со двора, Лобанович быстро побежал в свою квартиру другим ходом - через классную комнату. Тихонько ступая, подошел он к двери и только прикоснулся к ней рукой, как в то же мгновение панна Ядвися пулей метнулась в кухню, чтобы выскочить во двор. Но дверь не открывалась. Оглянувшись - на пороге стоял учитель.

Ах, попалась пташка, стой,
Не уйдешь из сети!
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете! -

спокойно декламировал Лобанович, не сводя с Ядвисы глаз, любуясь ею, радостно улыбаясь.

Она и в самом деле выглядела как пойманная пташка. Удивление, испуг, какая-то виноватая улыбка мелькнули на ее лице. Круглые темные глаза смотрели то на дверь, то на учителя. Одна рука ее была сжата, - верно, там была та записочка с двумя словами.

- Зачем вы заперли эту дверь? - с невинным видом спросила она.

- Для того чтобы те самые ножки, которые пришли сюда через школу, не вышли через кухню.

Лобанович подошел к ней совсем близко. Она беспокойно задвигалась.

- Пустите меня!

- Вы моя гостья и пленница. Ни одному охотнику на свете не случилось поймать такую славную дикую козочку, как мне сегодня. Дайте же мне хоть наглядеться на нее!

- Ну, в следующий раз вы не поймаете меня.

- А зачем мне ловить, если я уже поймал?

Она вдруг бросилась ему под руку, чтобы убежать. Но он крепко схватил ее под мышки и не пускал.

- Что вы делаете? - гневно проговорила она. - Не смейте прикасаться ко мне!..

- Вы же сами бросились мне на руки, - сказал учитель и почувствовал, как взбунтовалась в нем кровь.

Он держал ее теперь только за руку. Она снова стала вырываться. Темно-русые волосы рассыпались по ее плечам пышными, волнистыми прядями.

- Нет, милая пленница, ничего не выйдет, не пущу!

С распущенными волосами, с пылающими щеками, она была необычайно красива, и учитель не мог оторвать от нее глаз.

- Ну, послушайте, - просительным тоном проговорила она, - я никак не ожидала, что вы будете меня мучить!

- А вы меня не мучите? - спросил он и глянул ей в глаза. - Выкуп дайте, тогда я отпущу вас.

- Мне нечем платить, - сказала она, одной рукой стараясь поправить свои волосы.

Учитель нарочно снова разбросал их.

- Ах, отстаньте вы!

- Нет, не отстану. Если бы вы знали, какая вы красивая с распущенными волосами, вы всегда ходили бы так.

- У моей мамы тоже были роскошные волосы, но доля ее была несчастливая, - печально проговорила она.

Лобановичу стало жалко ее. Он выпустил ее руку и заглянул ей в глаза.

- Бедная вы, милая, хорошая, славная Ядвисечка!

- У-у, все вы такие ироды, тираны! - с какой-то ненавистью проговорила она.

Лобанович хотел ответить, что она ошибается, но не успел. Девушка внезапно обхватила руками его щеки и, приблизив к себе его голову, поцеловала, а затем с силой оттолкнула его и бросилась за дверь. А он, словно опаленный молнией, стоял несколько мгновений неподвижно. Потом, как дикий зверь, бросился догонять ее. Она же стояла на пороге, держась за щеколду, и была совершенно спокойна.

- Если вы осмелитесь поцеловать меня, клянусь памятью матери, я брошусь под поезд! - И ее темные, глубокие глаза блеснули искрами гнева.

- Милая, родная Ядвисечка! Нет, нет, не буду... А погулять мы пойдем?

- Дурень! - проговорила она.

Потом вскинула на него свои добрые, чистые глаза, улыбнулась и исчезла за дверью, держа в руке узенькую бумажку.

Лобанович возвратился в комнату. Его руки и ноги дрожали. Он присел возле стола на край дивана и сидел, не думая ни о чем. Затем встал, шатаясь пошел в кухню, выпил воды. Внутри у него все кипело от счастья и радости.

"Что за девчина! Что за характер! - несколько раз повторил счастливый учитель. - Она любит меня!.. Разве же "можно не любить ее, эту лучшую, прекраснейшую сказку Полесья! Ядвисечка! Милая! Любая!"

Два старших ученика, которые готовились к экзамену, вошли и сказали учителю, что все ямки выкопаны.

- Соберитесь в классе, я вам скажу несколько слов и отпущу домой.

Веселый, дружный шум ворвался в школу, звонкие, счастливые детские голоса наполнили весь дом.

Учитель вошел в класс, похвалил детей за работу и сказал им:

- Завтра уже не приносите с собой книг. Возьмите несколько лопат, - он назначил старших учеников, - и соберитесь здесь. Пойдем в лес, выкопаем деревца и посадим их в ямки, которые вы сегодня приготовили. А теперь идите домой.

Учитель не выходил никуда весь вечер. Неожиданный случай о "пленнице", поцелуй панны Ядвиси наполнили его счастьем, и ему казалось, что этого счастья хватит надолго. Он без конца вспоминал и снова переживал все подробности последней встречи с Ядвисей. Почему она сказала, что бросится под поезд, если он посмеет поцеловать ее, и даже поклялась памятью матери? Почему обругала его, а потом как бы раскаялась в этом и одарила его такой доброй улыбкой, будто просила простить ее? Он ходил по комнате и все думал о ней. И чем больше думал, тем сильнее хотелось ему снова увидеть свою милую Ядвиську, услышать ее голос, заглянуть ей в глаза, чтобы прочитать в них, что происходит в ее душе. Он часто посматривал в окна, надеясь увидеть ее. Ее имя звучало у него в ушах необычайной музыкой и приобрело для него какой-то особый смысл.

На следующий день Лобанович проснулся позже обычного, так как ночью долго не мог уснуть, проснулся с мыслью о своем счастье, о Ядвисе. Он встал, когда уже в школе слышались детские голоса. Вспомнил, что сегодня суббота перед вербным воскресеньем и что в этот день он заканчивает свою работу в школе, - ведь после пасхи придут заниматься всего три ученика, которым нужно подготовиться к экзаменам.

С веселым шумом шли дети в лес со своим учителем, сбившись вокруг него тесной стайкой.

День был ясный, теплый. Даже на тельшинской улице подсохла грязь. Крестьяне с сохами и севалками, с мешками, наполненными овсом, выезжали в поле. С жалобными криками сновали над залитыми водой болотами чибисы, словно они потеряли что-то очень дорогое и теперь искали и никак не находили. В тихих заводях и лужах тянули свою однотонную, печальную песню зеленые лягушки, а дальше, в болотах, среди леса перекликались бугаи [Бугай - болотная птица, выпь], бухая как в пустые кадушки. Эти глухие звуки далеко вокруг будили леса, придавая общему настроению Полесья какой-то особенный тон. Степенные, важные аисты с необычайной серьезностью шествовали по краям болот либо взлетали на высокие старые сосны и обновляли свои запущенные за зиму палаты. Кое-где на краю леса уже распускались молодые листочки березок. Желтые пушистые сережки свисали с веточек ивняка, купаясь в лучах солнца и приманивая пчел и шмелей. Зеленые цветочки пробились на свет сквозь сухую, выцветшую листву, и чарующий аромат разливалась в воздухе молодая черемуха. Одни только могучие дубы, обогащенные опытом своей долгой жизни, не очень торопились раскрывать свои почки и выпускать из них свежую, молодую листву: ведь дуб мудрое дерево и не идет на приманки неверной вначале весны.

Учитель остановился с учениками на сухом месте в лесу и провел с ними беседу о том, что они видели перед собой, и о значении того дела, ради которого они пришли сюда. Дети рассылались по лесу и огласили его своими криками и щебетом. Лобанович долго искал молодую грушку. Он хотел найти красивенькую грушу и посадить ее на память о своей любимой.

Найдя молодое, крепенькое и стройное деревце, он долго и бережно возился возле него, пока оно не было выкопано вместе с землей. Сам нес его домой, посадил в уголке

школьного двора, где больше всего светило солнце, и дважды в тот день поливал водой. Затем огородил эту грушу высокими кольями, чтобы ее не потоптала и не поломала скотина.

Для каждого дерева выделил он учеников, поручив им уход за саженцами.

- Ну, а теперь, детки, идите обедать. После обеда принесите и сдайте свои книги, - ведь после пасхи вы рассыплетесь по лесам и полям. А кто захочет ходить в школу и после пасхи, тот потом и получит книги.

Приняв после обеда книги от учеников и отпустив их на праздники, Лобанович почувствовал, что ему стало чего-то жаль, хотя, правду сказать, немного надоела за зиму школьная работа по восемь и по десять часов в день.

Выйдя во двор, он обошел посаженные деревья, возле некоторых из них задерживался подольше. Он часто посматривал на двор пана подловчего. Очень хотелось увидеть Ядвисю и показать ей эту славную грушу, которую посадил он в память о ней. Но Ядвися долго не показывалась во дворе. Он подкарауливал ее около часа. И когда заметил, окликнул и попросил ее подойти.

Она подбежала к нему, радостная, веселая.

- Я хочу показать вам грушу.

- А вы не будете ловить меня? - с милой, лукавой улыбкой спросила она.

Он помог ей перелезть через забор и повел к груше.

- Эту грушу я посадил на память о вас.

Она долго разглядывала ее, потом засмеялась и сказала:

- Я вырву ее и выброшу.

- Почему?

- Потому что она такая же колючая и дикая, как я.

- Пойдем гулять сегодня? - спросил он.

- А вы помните, что я вам вчера на это сказала?

- Сделайте то же самое, что вы сделали вчера, и тогда скажите мне хоть десять раз то, что сказали один раз.

Она строго посмотрела на него.

- Больше никогда! Слышите? Ни-ког-да!

XXXI

Вербное воскресенье и благовещение в этом году пришлись на один день. На праздник должен был приехать из Малевич отец Модест с дьячком Тишкевичем; ведь в этот день тельшинцы, по старому обычаю, несли свои грехи попу, после чего становились как бы святые. Правда, в Тельшине было много таких полешуков, как, например, дед Микита, которым святость никак не шла и которые, вместо того чтобы избавиться от старых грехов, сдать их попу, умудрялись надеть немало новых.

Обычно отец Модест приезжал накануне праздника под вечер. Вот и сегодня приехал он довольно рано, когда солнце не успело еще спрятаться за дубом, что высится неподалеку от разъезда. Спустя полчаса из часовенки, стоявшей в зарослях угрюмого и темного кладбища, донесся глухой звон, словно колотили в старый, треснувший чугун. Все же звон этот, такой резкий и необычный для Тельшина, производил сильное впечатление. И каждый, кто слышал его, так или иначе откликался на этот звон.

- Что это? - спрашивал кто-нибудь из тельшинцев. - Звонят, что ли?

- Должно быть, звонят.

И после этого начинались те или иные рассуждения:

- Уже, должно быть, поп приехал: что-то забомкали.

- Исповедоваться будем?

- Должно быть, так.

Но полешуки не очень торопились в церковь. Ведь они народ заботливый и рассудительный. Одному заманчивее улыбалась охота, другой напал на местечко, где шуки еще не перестали нерестоваться.

Тельшинский колокол, как видно, хорошо знал обычаи своих прихожан и не торопился кончать свой призыв. Только через час, когда на паперти скопилось уже довольно много полешуков и полешучек, а со двора Михалки Кугая показывались отец Модест, который шел еще ровно, и дьячок Тишкевич, который все же нес в себе меньше "благодати", а посему уже немного загребал ногами, - только тогда колокол начинал расходиться вовсю, прихватив себе в помощь своих меньших, тонкоголосых братьев.

Часовенка отпиралась. Возле двери обычно стояло несколько молодежи с детьми на руках. Они не смели сами войти в часовенку, потому что были еще "нечистые". У каждой молодежи был свой срок: кому нужно было "вводиться" во храм около семухи, кому - около Петра, кому - на коляды, а кое-кому еще и вовсе не настал срок "введения". Но в Тельшине это не имело значения. Отец Модест выстраивал молодец по обе стороны двери, брал свой требник и читал молитвы, а дьячок Тишкевич пел, слегка пошатываясь из стороны в сторону. Но это не мешало ему надзирать и за "благочинием" в часовне: ведь молодежи, бывали такие случаи, порой толкали друг друга либо слишком выпирали вперед.

- "Елицы во Христе..." - пел Тишкевич.

И тут он замечал, что какая-нибудь молодец нарушала порядок. Тогда он прекращал пение и назидательно говорил молодежи:

- Куда ты прешься? Стой спокойно.

И затем продолжал:

- "Крести-и-ите-ся-а-а!"

Но тут снова кто-нибудь начинал вести себя не так, как подобает в церкви.

- Слышите, что я вам говорю? - уже довольно строго спрашивал молодец Тишкевич и хмурил брови.

Восстановив порядок, он продолжал петь:

- "Во Христа облекостесь!"

Увидев новый беспорядок, Тишкевич решительно прерывал пение и еще более сердито говорил:

- Тыфу! Что это за противная баба! Говори ей или не говори - хоть кол на голове теши.

И, не спуская с молодежи своего грозного взгляда еще несколько минут, Тишкевич кончал петь:

- "Алли-лу-у-ия!.. "

Отец Модест ничем не проявлял своего "я" и давал Тишкевичу полную возможность поучать "паству" - ведь они жили очень дружно. И ни для кого не было ни новостью и ни редкостью, когда они дома, в Малевичах, шли рядом, поддерживая друг друга, ибо очень часто страдали неустойчивостью ног. Шествуя дружной парой, останавливались иногда посреди улицы и проводили короткое совещание: куда пойти? Они поднимали головы, полагаясь в решении этого вопроса главным образом на свои глаза. И если перед глазами стояла школа, они направлялись туда. Взойдя на крыльцо школы, снова останавливались, и здесь временами происходил между ними небольшой спор: как истинные христиане, они уступали первое место друг другу. А исходя из того, что перед богом все равны, они входили разом, одновременно. Отец Модест первым садился на стул и говорил Тишкевичу:

- Садись, дьяче, школа церковная и стулья церковные.

Затем, расстегнув рясу, он вытаскивал из-за пазухи бутылку, сам тянул и давал потянуть дьячку. Учительница не знала, как держать себя с гостями. Но гости были нетребовательные, угощались своей водкой и закусывали своими языками. Немного отдохнув, они пели "Христос воскрес" и спокойно уходили.

"Введя" молодых и немного подержав на руках их детей, отец Модест приступал к исповеди. Полешуки, свалив с себя эту заботу, тотчас же выходили из часовни и шли домой. На следующий день утром также шла исповедь, а потом уже служилась обедница - богослужение, специально созданное для полешуков, с учетом того, что их в церкви долго не удержишь. Небольшая часовенка, могущая вместить не более чем шестую часть тельшинцев, была наполовину пустой, и только когда начиналось причастие, в ней становилось тесно - каждому хотелось поскорее взять причастие. И тут уже без конфликтов никогда не обходилось.

- Что ты мне на ноги влез? - злобно глядел Трахим Буч на Рыгора Качана. - Прется как свинья! - все еще злясь, говорил Буч.

Качан смотрел на Буча, словно раздумывая, что ответить ему на это. Вспомнив, что они идут к причастию и не должны иметь гнев в сердце своем, он укоризненно качал головой, и в голосе его слышалось сокрушение:

- Солодушник ты, чтоб ты захлебнулся! Идешь к святому причастию, а лаешься, как собака, будто ты не в церкви, а в корчме у Абрама!

Напоминание о христианском смирении, сделанное Качаном, производило свое действие. Буч ничего не отвечал и тупо глядел перед собой. А там, возле батюшки с чашею, также волновался народ.

- Чего ты пхаешься? - оглядывается на соседа полешук.

- А сам ты куда прешься? - отвечает сосед по прозвищу Швайка и занимает место впереди, а тот, кто сделал ему замечание, злой, становится за ним: спорить уже некогда, Швайка стоит с разинутым ртом.

Отец Модест ложечкой черпает из чаши.

- Приобщается раб божий... Имя?

- Габрусь! - отвечает Швайка.

Обиженный им сосед добавляет:

- Да еще и Швайка!

Швайка закрывает рот, поворачивается к соседу.

- Да еще и черт толстоносый!

Затем он снова открывает рот, повернувшись к чаше.

Отцу Модесту так же не терпится сказать свое слово; хотя в дела своих прихожан он не вмешивается. Однако если замечает нарушение порядка, то ставит это на вид нарушителю.

Дед Микита только что вернулся с рыбалки. Видно, он торопился, чтобы не опоздать к причастию, задышался и уже в часовне продолжал идти быстрым шагом, которым он шел с болота. Он оттолкнул нескольких женщин и стал впереди них. И вот когда дошла до него очередь, отец Модест, глянув на ноги деда Микиты, заметил, что дед до самого пояса мокрый, а в лаптях у него хлюпает грязь.

- Ты почему же это мокрый сюда пришел? - спросил его отец Модест.

- Промок, потому и мокрый, - ответил дед Микита, отворачивая от батюшки лысую, морщинистую голову.

- Где же ты вымок?

- На болоте, где же еще!

- А почему ты на обеднице не был?

Дед Микита молчит.

- Я тебе причастия не дам! - набросился на него батюшка. - Не мог ты полчаса в церкви побыть, помолиться? Так ты скорей на болото, к чертям побежал, а теперь мокрый, обшарпанный причащаться припер? Не буду причащать! - проговорил отец Модест и отвернулся с чашею в сторону.

- Го! - сказал дед Микита. - Не будет причащать!.. Ну и не надо! Напугаешь ты меня!

Дед Микита, ни на кого не глядя, идет вон из часовни. Отец Модест несколько минут стоит с чашею и глядит вслед деду. Он еще надеется, что дед вернется и будет просить

причастия. Но дед Микита, тот самый дед, что с жерновами танцевал, подходит уже к двери.

- Гэй! Как тебя там? Вернись! Слышишь? - зовет отец Модест.

Дед останавливается, поворачивает голову к батюшке и говорит:

- Не хочу!

- Вернись ты! - кричит отец Модест. - Тебе уж и слова нельзя сказать.

Микита смягчается и, хлюпая грязными лаптями, снова идет к амвону.

Отец Модест причащает его. Дед берет кусочек просфоры, кладет в рот и хочет идти.

- Поймал ты хоть рыбы? - спрашивает отец Модест.

Сердце деда совсем смягчается, он глотает просфору и отвечает уже ласково:

- Где там, у черта! Нету! - протяжно произносит он последнее слово, машет рукой и выходит.

Святая служба кончается. Тишкевич бубнит последние молитвы, отец Модест снимает ризу. Молитвы окончены, книга закрыта.

Отец Модест подходит к Тишкевичу, они перебрасываются несколькими словами и выходят из часовни.

На паперти духовенство останавливается, знакомится с тельшинским учителем.

- А ваши ученики хорошо читают. Вчера дал газету вашему ученику Рылке - такой маленький, а как разбирает! Право слово! - говорит отец Модест.

Тишкевич мрачно слушает, потом поднимает глаза на батюшку.

- Э-э, отец! Хвали ты его или не хвали, а на чай нас все равно не позовет!

- Темный здесь у вас народ! - говорит на прощание отец Модест и медленно идет с Тишкевичем к Михалке Кугаю.

XXXII

На четвертый день пасхи вернулся Лобанович в свою школу. Еще вечером того самого дня, когда тельшинцы сдавали свои грехи отцу Модесту, он надумал поехать домой, немного проветриться и хоть на короткое время выйти из круга своих тельшинских впечатлений и настроений. Но в первые же дни праздников его сильно потянуло в Тельшино - быть близко к Ядвиге и видеть ее хоть изредка стало его потребностью. Едучи обратно, он не спал две ночи, а по пути, кроме того, ему приходилось поздравлять кое-кого со святой пасхой и, разумеется, немного "напоздравляться". Утомленный бессонными ночами и выпивкой, он почувствовал себя очень хорошо, улегшись на своей постели, и сразу же уснул крепким-крепким сном.

Но уже через полчаса, узнав, что сосед вернулся, пан подловчий, примостившись у окна, где спал учитель, барабанил кулаком в раму и кричал:

- Профессор больших букв! О профессор! Слышишь? Вставай пить горелку!

Лобанович спал крепко и ничего не слышал. Подловчий был под хмельком и не отставал, его кулак все чаще и сильнее барабанил по раме. Стекла звенели, а с некоторых из них посыпалась замазка.

Подловчий Баранкевич, заметив это, засмеялся и проговорил сам себе:

- Черт его побери, профессора! Повыбиваю ему окна!

Лобанович на этот раз услышал стук и сквозь сон догадался, что его будит подловчий, но открыть глаза и поднять голову был не в силах. Когда же стук возобновился с новой силой, он громко отозвался:

- Га-а!

- Вставай, профессор! - кричал со двора Баранкевич.

Лобанович поднялся, открыл форточку и начал просить:

- Пане сосед, не спал три ночи, не могу!

- Что за "не могу"! Сейчас же одевайся, не то, ей-богу, приду и потащу в том, в чем ты сейчас есть. А будешь упираться, позову Рыгора и Язепу, и, ей-богу, притащим в том, в чем ты теперь лежишь. А у меня и паненки есть.

Лобанович, видя, что от подловчего не отвяжешься, начал одеваться. Умывшись холодной водой, он немного освежился и пришел в себя. Перебрался через хорошо знакомый ему перелаз и взошел на крыльцо дома подловчего. Негрусь по своей собачьей привычке пролаял раза три, повиливая хвостом, словно желая сказать: "Это я так себе лаю, без злости".

- Ну что? Испугался: пришел-таки! - встретил "профессора" подловчий в своей комнате.

Длинный стол, которого прежде учитель не видел у подловчего, стоял возле стены, плотно прижатый к ней одним своим краем. Весь этот стол был завален пирогами, бабками, мясом всяких сортов и по-всякому приготовленным. Штук шесть стеклянных банок с крепким хреном выглядывали в разных местах стола, три "аиста" - четвертные бутылки водки - поднимали свои головы над горами закусок. Копченые окорока, как подушки, утыканные зеленью, важно высились зелеными холмами.

На крепком стуле старинной работы сидел железнодорожный мастер Григорец, широкоплечий, дубового склада человек, никогда в жизни не знавший страха перед водкой. Он был толстый, крепкий и имел вид огромной шпульки, на которую сверх меры намотали ниток. Рыжая, с лысиной голова его насилу поворачивалась вправо и влево на короткой, необычайно толстой шее. Маленькие глазки его сделались масляными, заблестели, но он не терялся перед чарками и опрокидывал их в себя, как в бочку. Здесь же была и панна Людмила со своим братом Анатоном. Анатолий, едва поздоровавшись с учителем, тотчас же пошел искать пристанища для своей головы, в которой теперь молотила какая-то молотилка. Людмила молча проводила его тревожным взглядом. Она была одета в легкую шелковую блузку, нежно-синюю, как цветочки льна, и выглядела сегодня особенно красивой. Ядвися также была одета со вкусом. На ней была красная атласная кофточка, которая очень шла к ее смуглому лицу, а пышные темно-русые волосы были перехвачены красной же, как пламя, лентой. Габрынька стояла возле музыкального ящика, из которого недавно гремела музыка.

- Тут, пане мой, барышни одни сидят, а он спать завалился! - отчитывал Лобановича веселый подловчий.

Подойдя к Людмиле, Лобанович остановился и сказал ей:

- Почему вы, панна Людмила, не перекрестились, увидев меня?

Ядвися удивленно взглянула на Лобановича, потом на Людмилу. Людмила, осветив свое лицо улыбкой, смотрела на него, что-то припоминая, а затем весело засмеялась.

- Однако же вы злопамятны!

- Совсем нет, - ответил учитель, - я только хотел вам напомнить, что, увидев святого, надо перекреститься.

- Ну, хватит тебе любезничать! - подошел подловчий и взял учителя под руку. - Выпьем!

- Ох, пане сосед, за что вы на меня так прогневались? Из рая в пекло тащите? - плакался Лобанович, глядя на девушек.

- И в пекле паненки есть, да еще такие, каких и в раю не найдешь, - проговорил подловчий и, поклонившись паненкам, извинился, что забирает от них кавалера. - Но ничего, - успокоил он их, - пан профессор будет гораздо интереснее, вернувшись от стола.

Баранкевич налил чарки.

Григорец очень ловко опрокинул свою чарку; казалось, он и не пил совсем, а только вскинул голову, чтобы посмотреть, высок ли потолок в комнате подловчего. Закусывая, Григорец подтолкнул локтем Лобановича и тихо проговорил:

- Ну, как насчет молодичек?

Учитель ничего не успел ответить, так как перед ним уже стояла другая чарка.

- Выпей, тогда будешь закусывать. Мы здесь, пане мой, страдали, а он себе спать улегся!

И хозяин заставил его выпить еще чарку.

Лобанович побежал к паненкам, приглашая их к столу.

- Пойдемте! - просил он их. - Я расскажу историю, как на Полесье такие, как вы, красивые девчата появились.

Девушки заинтересовались и встали. Он взял их под руки и направился вместе с ними к столу. Налил каждой по чарке вина и очень упрасивал выпить, называя их жемчужинами Полесья, божьими мечтательницами. Ему было необычайно весело, он шутил, развлекал паненок; они слушали и смеялись.

- Ну, а историю когда расскажете?

- А вот когда вина выпьете.

Девушки выпили.

- Ну, слушайте. Создал бог Полесье и пошел осматривать болота. Долго ходил бог, и стало ему скучно. И создал он девушку необычайной красоты и сам залюбовался ею. Глаза у нее были как у панны Ядвиси и такие же пышные волосы. Брови... - тут Лобанович взглянул на брови панны Людмилы, а потом на брови Ядвиси.

- Все у нее было как у панны Ядвиси, - лукаво улыбнулась Людмила.

- Нет, не все, брови были как у Габрыньки, губы и рот - как у вас. Долго смотрел на нее бог, а потом сказал: "Нет, нельзя тебя оставлять людям: они будут враждовать, драться из-за тебя". Поставил ее бог на свою руку и дунул три раза. Девушка растаяла и сделалась облачком. "Ты будешь ходить над Полесьем веки вечные, и от тех людей, на которых упадут твои капли, будут рождаться красавицы". И вы, - сказал Лобанович девушкам, - носите в себе те капли и родились для того, чтобы на Полесье не скучали молодые хлопцы.

- Ну, хватит тебе легенды рассказывать, - прервал его подловчий.

Лобанович уже не спорил и пил много. Водка, казалось, перестала действовать на него, он пил сам и подливал другим.

- Послушайте, - спросила Людмила, - почему вы никогда к нам не зайдете?

- Хорошо, что вы спросили сейчас, - ответил учитель, - ведь я только тогда и говорю правду, когда хорошенько выпью. Так слушайте, буду говорить правду. Я потому и не ходил к вам, что боялся вас: мое сердце чувствует, что, если мои ноги переступят порог вашего дома, оно попадет к вам в плен.

- Я очень жалею, - смеясь, проговорила панна Ядвися, - что никогда не слышала вас, когда вы хорошенько выпьете.

- Эх, панна Ядвися, панна Ядвися! - подчеркнуто печальным тоном проговорил учитель. - Когда я говорю с вами, я не только бываю "хорошенько выпивши", но и пьяный, и, стало быть, еще большую правду говорю вам.

- Разве я бочка с горелкой? - засмеялась Ядвися.

- Вы - тот напиток, который пьют только боги.

Одним словом, Лобанович старался развлекать девушек.

Подловчий ходил вдоль стола, и казалось, ему очень тяжело было поднимать ноги. Но он был необычайно весел и, повернувшись к Людмиле, запел:

Ксендз в костеле, - вот чудесно!

Ха-ха-ха-ха!

Видел ангелов прелестных!

Тра-ля-ля-ля!

Но дальше он почему-то не пел, как его ни просили.

- Габрынька! - скомандовал он. - Сыграй что-нибудь.

Под звонкие, мелодичные звуки музыки сорвался с места Григорец и пошел топтать и притопывать. Казалось, что это не человек танцует, а хорошо откормленный кабан вбежал в комнату и в каком-то свиньячем восторге начал выкидывать разные кабаныи коленца. Пошли танцевать и пан подловчий со своей женой. Все дружно хвалили их, и

действительно танцевал Баранкевич очень ловко. На следующий танец он пригласил pannу Людмилу. Григорец, воспользовавшись суматохой, куда-то исчез. Когда заметили, что он пропал, подловчий воскликнул:

- О злодей! Знаю, куда он пошел! - и, как видно, позавидовал ему.

Анатолий, проспавшись, снова вошел в комнату. Это был высокий молодой парень, не похожий на свою сестру. Подсев к столу, Лобанович и Анатолий снова начали пить, да так, словно до того водки и в глаза не видели.

- Толя, не пора ли нам домой? - подошла к брату Людмила.

- Гуляйте! Пасха раз в году бывает, - сказал ей Лобанович.

- Ну, кто вам больше всех нравится из хатовичских молодых людей? - обернулась Людмила к учителю.

- Все славные хлопцы.

- Этим вы еще мало сказали.

- А что мне о них сказать? Я больше интересуюсь девчатами.

- Ну, а кто же вам больше нравится из паненок?

- Если об этом спрашиваете вы, то я должен ответить вам - вы.

- Нет, скажите правду.

- Кто теперь говорит правду? Даже святые и те начинают лгать.

- А я знаю, кто вам не только нравится, но кого вы любите.

Лобанович долго и пристально смотрел ей в глаза. - Да, вы знаете.

- А откуда вы знаете, что я думаю?

- В ваших глазах прочитал.

- О пани! - подхватил подловчий. - Наш профессор шептать и ворожить умеет.

- Ну, поворожите мне! - панна Людмила протянула Лобановичу руку.

- Пани! - ответил за него подловчий. - Наш профессор по коленкам гадает.

Людмила смутилась, вскочила и села на диван. Подловчий покатывался со смеху, поглядывая на "профессора", и глаза его говорили: "Вот как надо с паненками разговаривать!"

Уезжая домой, Людмила долго жала руку учителю, заглядывала ему в глаза.

- Помните: я жду вас в Завитанки.

- На то они и Завитанки, чтобы в них завитать [Игра слов: завитать - навещать, приезжать с поздравлением], - ответил Лобанович и крепко пожал ей руку,

XXXIII

Наутро Лобанович получил пакет. Инспектор уведомлял, когда назначаются экзамены и куда учитель должен прибыть со своими учениками. Экзамены назначались на понедельник после пасхальной недели, а ехать нужно было по железной дороге верст за пятьдесят. В тот же день, когда было получено это уведомление, пришли и ученики. Они условились с учителем, что поедут в субботу вечером, чтобы вдруг не пропустить поезд. Три дня, которые оставались до экзамена, пошли на повторение курса.

Незадолго до прихода учеников Лобанович узнал, что Ядвися собирается выехать из Тельшина, если не навсегда, то во всяком случае на долгое время. Эта весть сильно опечалила учителя. У него было такое ощущение, будто перед ним раскрывается какая-то пустота. Пышные картины зазеленевшего Полесья, пробужденного весною, полного песен, шума и жизни, потускнели в одно мгновение и как бы отдалились от него. Все, казалось ему, имело теперь такой вид, словно хотело сказать: "У тебя горе, но мы в этом не виноваты" - и начинало жить своими заботами, своими интересами, совсем для него чужими, а он оставался один-одинешенек.

Еще одно обстоятельство опечалило его: весть об отъезде услышал он не от самой Ядвиси, а от бабки. Вместе с тем была надежда, что это, может быть, еще и не совсем верно. Он решил сегодня же постараться увидеть Ядвисю и поговорить с нею. Теперь только

почувствовал он, как дорога она ему и какая невыразимая утрата будет, если придется жить здесь без нее. Нет, тогда он не останется здесь! Воображение уже рисовало осиротевший двор и дом подловчего, и он необычайно остро ощутил тоску, какая охватит его, когда уже не будет милой соседки.

Лобанович до самого вечера просидел в школе с учениками. Занятия и мысли о близких экзаменах немного отвлекли его от невеселых дум. Отпустив ребят домой и придя на квартиру, он, взглянув на дом подловчего, увидел на крыльце Ядвисю. Она сидела за столиком, на котором стояла швейная машина. Панна Ядвися что-то шила. "Наверно, готовится в дорогу", - грустно заметил себе учитель.

Лобанович надел фуражку и вышел во двор. Быстро перемахнув через заветный перелаз, он взошел на крыльцо пана подловчего.

Ядвися была серьезная и, казалось, чем-то немного озабоченная. Здесь же сидела и жена подловчего, также с шитьем в руках.

- Что у вас слышно хорошего? - спросила пани подловчая.

Лобанович рассказал ей об экзаменах.

- Когда же вы поедете? - спросила Ядвися и вскинула на него свои темные глаза.

- Уговорились с ребятами ехать в субботу вечером.

Ядвися прервала свою работу и задумчиво куда-то смотрела.

- Люблю я эту станцию, - проговорила она.

Пани подловчая вышла, ее позвали.

Лобанович сидел молча и думал.

Вечер был тихий, ясный и теплый. Тень от дома подловчего медленно закрывала палисадничек и свежие клумбочки с недавно посаженными цветами и подвигалась по улице. Бойкие воробьи чирикали на крыше и шныряли по палисадничку.

- Вы сегодня почему-то не в настроении? - спросила Ядвися и посмотрела на учителя.

- Скажите, правда или нет: я слышал, вы собираетесь куда-то надолго уехать отсюда?

Ядвися ниже наклонила голову. Лобанович почувствовал, что ответ для него будет невеселый. Не поднимая глаз, она тихо сказала:

- Да, собираюсь поехать.

Она вздохнула едва заметно, подняла голову и посмотрела на учителя долгим-долгим взглядом.

- А вы хотели бы, чтоб я не уезжала?

- Я знаю, вам здесь тяжело, - сказал учитель, - и, вероятно, там, где вы собираетесь жить, вам будет лучше. И здесь уж не приходится считаться с тем, что я хотел бы. Но если вы уедете отсюда, то и я здесь больше не останусь.

Едва заметная радость пробежала по лицу Ядвиси. Она быстро вскинула на учителя темные глаза и, смеясь ими, совсем уже весело проговорила:

- И вам не жалко будет панны Людмилы?

Лобанович молчал.

- Скажите, - проговорил он, - как давно решили вы уехать отсюда?

- О, я уже давно об этом думаю! Еще и вас здесь не было.

- А почему вы со мной никогда об этом не говорили?

- Зачем мне было говорить? - сказала она. - Вы и так смеялись над многим из того, что я говорила.

- Когда же вы думаете ехать? - спросил он.

- Я и сама не знаю. Это будет зависеть от отца. Запряжет коня, скажет ехать, тогда и поеду.

- И может статься так, что я вернусь с экзаменов, а ласточка уже улетела?.. Скажите, почему ласточка весной собирается в отлет?

- Что же, как приходится! - проговорила она. - Почему вы сегодня так повесили нос, словно у вас за пазухой свечка, которую вы должны дать мне при кончине? Я советовала бы вам пойти к панне Людмиле. Правда, она интересная панна?

- Плохое о ней грех сказать, славная девушка!.. Почему вы советуете мне сходить к ней?
- Почему? Сами знаете почему: как только ваши ноги переступят порог ее дома, душа ваша попадет к ней в плен.

Лобанович усмехнулся.

- Вы даже и это помните?
- Кто вам рассказал легенду о полесских красивых девушках? - спросила Ядвися, положила свою работу на стол и глянула на учителя.
- Горелка пана подловчего, с одной стороны...
- И панна Людмила, с другой, - подсказала Ядвися.
- Что вы меня все панной Людмилой попрекаете?
- Я не попрекаю и не думаю даже, но панне Людмиле очень понравилась эта легенда.
- А вам она понравилась?
- Если бы она для меня была рассказана, тогда и мне понравилась бы, а чужое любить - только сердце травить.
- Ну, вы меня, панна Ядвися, хотите рассердить, но вам это не удастся. А пока что до свидания.

Лобанович задержал ее руку в своей и с едва скрытой просьбой в голосе сказал ей:

- Вы не уедете, пока я не вернусь?
- Когда я поеду, я и сама не знаю. Может быть, и совсем не поеду.
- А вы под поезд не будете бросаться? - тихо Спросил он усмехаясь.
- Не буду, - еще тише проговорила она, оглянулась и опустила глаза.

Он мгновенно наклонился к ней и поцеловал крепко-крепко. И, пьяный от этого поцелуя, быстро вышел из палисадника. А Ядвися сидела, наклонив голову, и о чем-то глубоко-глубоко задумалась.

В воскресенье утром, на восходе солнца, учитель со своими учениками, проведя ночь на станции, сидел в вагон. Пробило три звонка, громко и отрывисто отозвался паровоз, нарушая утренний покой бесконечных болот, и поезд сдвинулся с места. С шумным шипением выпуская пар, все быстрее и быстрее бежал паровоз, и в какую-то своеобразную, глухую музыку сливался топот тяжелых ног поезда.

Лобанович стоял возле открытого окна. Приятно и радостно волновали его сердце новые картины Полесья и размашистый бег поезда. Быстро уходила назад станция с высокой водокачкой, скрываясь за свежей зеленью деревьев. Рассыпая сноп золотых стрел, выплывало солнце из-за края земли над просторами зеленого полесского моря. Быстро возникали и убегали все новые и новые картины этого зачарованного края. Болота с густыми зарослями лозняка, жерухи и молодой осоки расстилались широкими круглыми равнинами, по краям которых еле виднелись зубчатые темные полосы лесов. Болота кончались, вдоль дороги вставали высокие стены бора, дремучий бор сменялся веселыми полянками; то здесь, то там виднелись на них человеческие жилища, и бревна строений, освещенные солнцем, казались морщинами на чьей-то многодумной голове. Почти все полянки были окружены венком пышно-зеленого сосняка на желтеньком песочке. Уютом, лаской, покоем веяло от этих сочных сосенок, от этих людских строений. А как заманчиво и красиво извивались и бежали в сосняк колеи деревенских дорожек и тропинок, по которым лишь изредка прокатится крестьянская телега! А сколько самобытной красоты в этих одиноких развесистых дубах, разбросанных по краям леса, и в этих пышно разросшихся соснах в поле! Чем-то родным, милым, давно знакомым веяло от бархатных скатертей молодого жита и от нежных бледно-зеленых всходов ранних овсов.

Лобанович стоял возле окна как зачарованный и не мог оторвать глаз от самобытных картин Полесья, полных невыразимой красоты и жизни, стоял до тех пор, пока поезд не стал приближаться к той станции, где нужно было выходить.

Вышли из вагона и пошли искать школу. Она была не очень далеко от станции, и искать ее пришлось недолго. Три ученика и учитель взойшли на крыльцо школы и остановились.

Школа была заперта. Лобанович постучал, обождал немного, но никто не отзывался. Постучал еще раз. Снова никто не откликнулся. Наконец Лобанович заметил звонок, позвонил. Где-то внутри здания открылась дверь, и слышались шаги, довольно решительные, и из-за двери чей-то голос строго спросил:

- Кто?

- Тельшинская школа.

Дверь сразу же открылась, показалась фигура хозяина - учителя. Трофим Петрович Гринько, мужчина лет тридцати пяти, только что умылся. Волосы его были причесаны набок, одна дуговидная прядь волос торчала над лбом и придавала Трофиму Петровичу вид ученого человека, а редкие длинные усы - вид строгого учителя.

- Что же это так рано? - спросил Гринько, познакомившись и поздоровавшись с Лобановичем.

- Пускай ребята осмотрятся и познакомятся со школой. Времени у нас хватает, - ответил Лобанович.

- И то правда, - уже более мягко проговорил Гринько. Как видно, в этом ходе молодого учителя Гринько признал некоторую долю педагогической стратегии и сразу проникся к нему уважением.

Учеников ввели в школу.

- Вот здесь можете сидеть, ходить и спать, - сказали им учителя, а сами пошли в комнату Гринько.

Квартира здешнего учителя обращала на себя внимание своей чистотой и убранством. Висевшие на стенах фотографии, картинки в красивых рамках, мягкая, обитая красным плюшем мебель, коврик возле стола, красивая скатерть - все говорило о том, что Гринько жил паном. У него было целое хозяйство: десятины три огорода, столько же сенокоса, корова, свиньи, по двору ходила разная птица под внимательным и заботливым наблюдением хозяйки. Лобанович в сравнении с Гринько был горький пролетарий. Ознакомившись с его квартирой, Лобанович уже без уважения посмотрел на свой сюртук, который он купил у Курульчука за два рубля с полтиной и в котором очень смахивал на местечкового раввина, особенно сзади.

XXXIV

Около восьми часов утра начали съезжаться ученики других школ. То один, то другой учитель с кучкой своих воспитанников всходил на крыльцо и шумно вводил их в школьный зал. Здесь он давал разные инструкции и заканчивал их обычно так:

- Только не надо труса праздновать. Гляди смело, отвечай храбро, руби плеча - храбрость города берет!

Поддав таким образом жару, учитель заходил к Трофиму Петровичу, еще сохраняя на своем лице следы той отваги и решительности, которыми он только что начинал своих учеников.

Другие учителя, наоборот, долго оставались в школе возле учеников и объясняли им, где, в каких случаях нужно ставить тот или иной знак препинания, и вели даже предварительный экзамен. Оставшись одни, ученики понемногу начинали расшевеливаться, знакомиться друг с другом - часто при помощи кулаков, пинков, высмеивания одних другими и придумывания кличек, прозвищ.

Обычно на экзамены собиралось пять-шесть школ. Лобановичу интересно было наблюдать учителей разных типов. Они отличались друг от друга и по своему внешнему виду. Тут можно было встретить прилизанного франта, ловкого и галантного кавалера; были и относившиеся с явным пренебрежением к разным условностям общественного приличия - носившие длинные волосы, щеголявшие показным нигилизмом в знак протеста против своего бесправия и ничтожного положения в обществе. Были и такие, что все осмеивали, на все смотрели свысока и, прочитав Дрепера или Бокля, считали себя в

высшей степени образованными и начитанными и на волостного писаря смотрели уже так, как ученый на какого-нибудь микроба. Люди же пожилые, женатые интересовались больше хозяйством и куском хлеба, чем школами и науками; это были люди покорные, считавшие своей обязанностью лишний раз поклониться начальству.

Само начальство - инспектор Христицкий - приехало час тому назад, но в школу еще не пришло. Христицкий остановился у священника-"академика" Прожорича, так как и сам он окончил духовную академию; у местного учителя инспектор ночевал только тогда, когда не было где приютиться.

Учителя сидели в кабинете Трофима Петровича и говорили о том о сем, преимущественно об экзаменах и об инспекторе. Одни считали его человеком, с которым еще жить можно, другие доказывали, что он придира, из каждого пустяка делает целое дело и вообще страшный бюрократ. Эти оценки в значительной степени зависели от того, какие были у того или иного учителя отношения с инспектором. Бросалась в глаза одна черта, общая для всех учителей, - это особый бледно-землистый цвет лица, который можно наблюдать только у тех, кто вынужден жить в подвалах и острогах. Делала их похожими друг на друга и специфическая семинарская закваска, которая с таким трудом выдыхается из учителя - воспитанника семинарии.

- Идет! - кто-то из учителей увидел в окно инспектора.

Все слегка вздрогнули, поправили манишки и галстуки, а Лобанович даже вскинул плечи, чтобы поднять свой "лапсердак", как успели назвать этот важный "официальный" род платья. Действительно, к одежде молодого учителя больше подходило слово "лапсердак", чем "сюртук", так как сшита она была на человека шириной с аршин в плечах и на полторы, а то и на целые две головы более высокого, чем Лобанович. Кроме того, на сюртуке виднелись кое-какие пятна, происхождение которых можно было бы объяснить неосторожно упавшими каплями верещаки [Верещака - беларусское национальное кушанье]. Тем не менее даже и такой "лапсердак" с чрезмерно низко опущенной талией все же больше соответствовал важности момента, чем какой-нибудь задрипанный пиджак деревенского учителя.

Среди учителей произошло некоторое движение. Здесь уже многое надлежало принять во внимание: нужно было не показать своего страха перед инспектором, не поздороваться так, чтобы другим бросилось в глаза, что он заискивает перед начальством, угождает начальству, но угодить хоть немножечко все же нужно было и вместе с тем не уронить и собственного достоинства.

Инспектор вошел, как царь, важный, строгий и с таким видом, словно он держал в руках вожжи и следил, чтобы вдруг не понесла, как испуганная лошадь, неразумная планета, на которой мы живем. На лице у инспектора отражалась необычайная озабоченность, мысль его была так сильно занята каким-то важным делом, что он даже не имел времени посмотреть на того, кому подавал руку. Не успев присесть, он сразу же обратился к Трофиму Петровичу с чисто деловыми вопросами: имеются ли письменные принадлежности, все ли подготовлено в школе, повешены ли на стене карты? Стало тихо и торжественно, ни у кого не хватало смелости нарушить работу мысли начальства.

- Все съехались? - спросил инспектор. - Ну, пойдете!

Начальство поднялось и направилось к двери. За инспектором шествовал Гринько, а затем уж остальные двинулись как попало. Лобанович в своем "лапсердаке" шел последним, стараясь, чтобы его одежда не так уж бросалась в глаза.

Процессия была очень торжественная. Эполеты и блестящие пуговицы инспектора совершенно ослепили маленьких полешуков, испуганно таращивших на него глаза. Их рассадили, дали бумагу. Они должны были написать первое слово: "Экзаменационная". Дети мучились, ошибались, некоторые плакали, когда писали это слово. Потом начальство само начало диктовать, не доверяя учителям.

Учитель Филюк, из села Кожанова, стал поодаль от своих учеников с таким видом, словно был очень спокоен за их подготовку и знания. Но в тот момент, когда ученики должны

были поставить запятую, он брал себя за кончик уха и покручивал его, впери́в взор куда-то в пространство, словно поглощенный какой-то мыслью. Когда нужно было поставить двоеточие, Филюк протирал глаза, словно в них попала пыль. Точка и запятая - почесывался глаз и кончик носа. А если нужно было поставить восклицательный знак, то, подняв палец вверх, Филюк чесал им бровь. Кем-то был придуман целый ряд условных знаков, и не один раз проводились проверочные диктовки, чтобы лучше усвоить эту хитрую сигнализацию.

Кончилась диктовка, давалась другая работа - пересказ. За пересказом шла письменная задача. И все эти работы выполнялись под наблюдением самого начальства. Помучив детей часа два, их отпустили на перемену, пока проверялись ученические работы. Затем начался устный экзамен.

На устный экзамен пришел священник Прожорич. Это был необычайно мрачный чернобородый человек. Он редко кому смотрел в глаза и почти никогда не смеялся. А когда здоровался и подавал руку учителям, в особенности бедно одетым, то в ту минуту искренне жалел, что у него есть руки.

На первое место сел инспектор, он и был председателем комиссии, на второе - Прожорич. Третьим членом комиссии был тот учитель, чьи ученики экзаменовались. Ученики же чувствовали себя не намного лучше телят, загнанных на бойню.

Ученические тетради складываются и передаются инспектору. Он по списку вызывает учеников. Ученик дрожа подходит к столу.

- Что нужно написать в слове "телега" после "л"? - спрашивает ученика инспектор.

- Надо написать "ять", - отвечает ученик.

- Почему же ты написал "е"?

- Испугался, - отвечает ученик.

- Ну, читай здесь. - Инспектор дает ученику книгу, а сам, грозно насупив брови, обращается к учителю: - Почему вы подчеркнули "не смотря"? Какая же здесь ошибка?

Молодой учитель смотрит в ученическую тетрадь, потом на инспектора, и в его взгляде видна решимость.

- "Несмотря", господин инспектор, нужно писать вместе.

- Вы сами слабо знаете грамматику, - отвечает громко инспектор.

- Простите, господин инспектор, "несмотря" пишется вместе, - стоит на своем учитель. - По Гроту "несмотря" пишется вместе.

Как ни велика начальническая самоуверенность инспектора, но при слове "Грот" он перестает спорить, хотя легко сдаваться не хочет.

- Трофим Петрович, - обращается он к Гринько, - принесите сюда Грота.

Трофим Петрович говорит:

- Да, господин инспектор, "несмотря" пишется вместе, - но идет и приносит из шкафа Грота.

В то время Грот сидел необычайно крепко на своем троне. И если ты говорил своему оппоненту, что по Гроту пишется так, а не иначе, то уже никакие доводы человеческого разума не могли сдвинуть тебя с позиции. Если сказал Грот, значит аминь. Это уже конец, предел, и дальше идти некуда.

Очередь доходит до учеников Филюка. Инспектор разглядывает диктанты.

- Ваши написали хорошо, но по синтаксису они значительно сильнее, чем по этимологии, - замечает инспектор.

- Не налажена сигнализация по этимологии, - тихонько замечает Гринько на ухо Лобановичу.

Филюк как ни в чем не бывало отвечает инспектору:

- Я вообще на грамматику обращаю внимание.

- Это и видно, - хвалит его инспектор.

Ученические мучения кончаются, ребят отпускают, а инспектор делает замечания то одному, то другому учителю, очень важно раскланивается с ними и идет с попом Прожоричем обедать.

Учителя остаются на некоторое время в школе, обедают с выпивкой, поздравляют друг друга с окончанием учебного года и расползаются по своим трущобам.

- А вы, коллега, может быть, переночуете? - сказал Гринько Лобановичу.

- Нет, коллега, я и так одну лишнюю ночь провел в дороге, надо ехать.

Лобанович давно уже скучал по Тельшину и очень рад был, когда окончились экзамены. Он еще целый час ждал на станции, пока пришел поезд. Поздно ночью он выехал домой.

XXXV

"Это мой последний вечер в Тельшине, - говорила себе Ядвися, - и я не увижу его!"

Она задумалась, прислушиваясь к своим мыслям. Неужто так и не увидит его? Никогда не увидит? И зачем она обманула его? Она ведь и тогда, во время их последней встречи, уже знала о том, что завтра, в понедельник, уедет, а ему сказала, что не знает, когда будет выезжать. Ядвися взглянула на окна квартиры учителя. Там темно и страшно, потому что пусто. Дом только тогда живет, когда в нем живет хозяин, ведь хозяин - душа своего дома. Как тоскливо, печально смотрят эти стеклянные глаза пустой и мертвой квартиры! Напрасно этот молодой блестящий месяц старается оживить погасшие очи - они светятся, а жизни в них нет.

Ей даже страшно. Она ни за что теперь не подойдет к ним, как подходила прежде, когда эти окна жили и так приветливо глядели на их двор, освещенные светло-зеленым светом. О, тогда ей было весело и ее тянуло, как ночного мотылька, к этим светящимся окнам. Она тихонько поднималась на забор перед школой и долго смотрела в заветное оконце. Счастливая улыбка пробегала по ее губам, а он, ничего не подозревая, сидел как раз напротив, склонив голову над книгой, и изредка проводил рукой по своим темным, совсем еще молодым усикам. Смешной он, когда поднимает свои глаза, такие добрые и задумчивые, и смотрит в окно. И эти глаза, вероятно, ищут ее. Но хотя она здесь, рядом, его глаза не видят ее. И ей смешно и радостно. Но он этого не знает...

"Нет! Он многого не знает и никогда не будет знать!"

И зачем она солгала ему? Ну, зачем? А может, завтра не ехать? Все зависит от нее. Отец ведь не гонит ее. Он теперь такой добрый с нею! "Поголуй, говорит, Ядвиська, ведь у тебя там не горит!" Ее отец добрый, но почему-то она боится его. Ей страшно, когда он приходит домой, а глаза его смотрят куда-то далеко-далеко, словно они сошли с его лица, а эти грозные, жесткие усы, как тучи в грозу, опустятся вниз.

Зачем она солгала ему? Ей хочется увидеть его. Эх, кабы ей крылья! Поднялась бы сейчас и полетела к нему, чтобы посмотреть на него еще раз, как смотрела здесь, когда он даже и не знал об этом...

Нет, это ее последний вечер в Тельшине.

Тонкие, длинные, темные дужки-брови Ядвиси немного сдвигаются и хмурятся, и лицо ее становится строгим. Да, это ее последний здесь вечер!

Она снова смотрит на окна. А что, если пойти туда? Сесть за стол, за которым еще совсем недавно сидел он и поглаживал рукой свои молодые темные усики? Но сейчас там неприятно, страшно, кто-то другой, неласковый и враждебный, притаился в покинутой комнатке. И, вероятно, она, войдя в эту комнату, услышала бы какой-то чужой, недобрый голос, а может быть, и смех, таинственный и жуткий смех, и это навсегда убило бы радость и счастье в ее сердце. Она снова смотрит в темные, пустые окна.

Как жутко хохочут совы возле часовни! Чего смеются они? Не над ней ли? А эти окна! Что в них? Почему они так приковали к себе, словно приворожили, ее взор? "А все же я пойду туда! Возьму и пойду!.. Неужели я пойду?"

Она тихо поднимается на крылечко, оглядывается, идет. Кухня не заперта. Скрипнула дверь, и вот она в кухне.

- Ты здесь, бабушка? - тихо спрашивает Ядвися.

Сторожиха ворочается на печке.

- Здесь, паненочка!

- А почему ты, бабка, дверь не заперла?

- Да вот, паненочка, прилегла, да так и не заперла. Я же не сплю.

- Завтра, бабка, уеду.

- Уедете, паненочка? - спрашивает сторожиха, встает и садится на печи. - И не дождетесь, пока панич вернется? - спрашивает она.

- А разве твой панич со мной поедет?

- Ну как же, паненочка, он печалиться будет, что вы поехали и не простились с ним.

- А почему он будет печалиться? - спрашивает Ядвися.

Ей приятно слышать от бабки, что он будет печалиться.

- Почему же не будет, паненочка? Я ведь видела, какими глазами он смотрит на вас.

- Ну, какими же? Скажи, бабка!

- Добрыми глазами, ласковыми глазами, паненочка, таким взглядом, что от сердца идет, чтобы другому сердцу весть подать.

- А какую весть подать другому сердцу?

- Я уже забыла, паненочка. Куда мне, старуха я, забыла, - с хитрой улыбкой отвечает бабка.

- А кого ты, бабка, больше любишь - меня или панича?

- Я и вас люблю и панича люблю... Эх, паненочка, поженились бы вы с паничом, ей-богу!

- с жаром проговорила бабка, и в ней сразу пробудилась женщина-сваха.

- Мне же, бабка, только шестнадцатый год, мне и замуж нельзя еще.

- О, паненочка, шестнадцатый год! Так ведь не сегодня же и замуж идти.

- А твой панич не хочет меня.

- Ой, паненочка, что вы говорите! Отчего же он ни на кого другого и глядеть не хочет? Почему же он ни разу не сходит к дочке землемера? Все туда ходят, а он нет. Должно быть, возле вас ему милее.

- Просто лентяй твой панич, и больше ничего.

- Нет, не лентяй он, он вас, паненочка, полюбил.

- А разве он тебе говорил?

- Зачем он будет говорить мне? Он вам про это говорил.

- Нет, бабка, никогда не говорил он этого мне.

- Говорил, паненочка, говорил! И еще скажет.

- Ничего ты, бабка, не знаешь!

- Знаю, паненочка, знаю!.. А куда вы, паненочка, уезжаете? - Далеко, бабка, в имение на службу.

- А панич знает?

- Ничего не знает и не будет знать.

- Вы напишете ему, паненочка?

- Ничего я не буду писать ему.

Ядвися подошла к знакомой двери, открыла ее и вошла в комнату Лобановича. Тихо. Темно и пусто.

Ядвися прислушалась.

Между стеной и отставшими от нее обоями прошуршал кусочек известки. Почему он так долго катился? Этот шорох показался ей не случайным. Но ей не страшно, только жаль чего-то. И в сердце безысходная грусть. Глаза ее привыкли к темноте. Из мрака выступили неясные очертания стола. Вот и стул. На том же месте, где обычно сидел Лобанович.

Ядвися снова чутко прислушивается. Нет, это ей только показалось. Девушка тихонько отодвигает стул и садится. Садится так, как сидел, бывало, он, и проводит рукой по своей губке. Это он здесь сидит, а ее нет. Она там, за окном, смотрит на него... Вдруг девушка вздрогнула и боязливо глянула в уголок - там скользнула какая-то тень, тихо, бесшумно. Нет, это белеют на полках его книги. Она встает, кладет в книгу листок бумаги, оглядывает "темные стены - они неприветливые и молчаливые. Они мертвые, душа ушла из этого дома. Ей страшно и жутко и вместе с тем приятно и грустно.

Что подумает обо всем этом бабка? Все равно, сегодня ее последний вечер.

Ядвися еще раз озирается. Ей хочется плакать. Она тихонько снова входит в кухню.

- Ну, бабка, доброй ночи.

- Доброй ночи, паненочка! - отзывается бабка с печи.

Бабка не спит. Она думает свои старческие думы, сухие, как сама старость, простые, как вся ее жизнь, неинтересные, как со доля. Закрыв дверь на задвижку, она смотрит по привычке в окно, зевает и снова лезет на печь и чего-то вздыхает, укладываясь в тесный, темный уголок, отведенный ей жизнью. Но бабка любит этот свой уголок. Тут тихо, темно, и только прусаки шуршат в щелях, но бабка не слышит их, хотя и знает о том, что они здесь живут. Ну что ж, пускай.

Ядвися снова во дворе. Вот она подходит к дикой грушке. Смотрит на нее, о чем-то думая. Затем оглядывается, хватая рукой деревце. Но груша крепко защищает себя и колет Ядвисе руку. "Это же я такая колючая, - думает Ядвися, - ведь я тоже дикая".

Она снова поднимает руку, достает самую вершинку и ломает ее. Зачем она это сделала? Она просто хочет сказать этим, что она злая и нехорошая. Пусть он знает.

Она идет на свой двор. Снова смотрит на темные окна школы. Месяц перестал уже освещать их, ушел от них, потому что они мертвые и их не оживить. Не оживить, ведь душа вышла из этого дома. Ядвися смотрит на окна, и ей не верится, что она была там. Ей просто приснилось это... Лучше бы он не приезжал сюда и не возвращал жизнь этим окнам. Но они оживут, они снова оживут! Только этой жизни она уже не увидит, ведь сегодня ее последний вечер, она сама так захотела. Зачем? Она просто остановила свое счастье и сказала: "Довольно!" Но кто же вырвет из ее сердца это счастье? Никто. Она будет с ним жить, будет жить в ней образ того, кто сидел вон за тем окошком и проводил рукой по своим темным молодым усикам.

Но сердце ей говорит: "Я хочу еще больше изведать счастья! Я хочу выпить чашу до самого дна!" - "Нет, пусть она лучше останется недопитой: ведь на дне ее может оказаться отравка. Так лучше!" - говорит Ядвися своему сердцу, но оно никак не соглашается с нею. Ядвися старается думать о другом - о дороге, о том неведомом, что ждет ее впереди. Но задумчивые, добрые глаза учителя так ласково глядят на нее, будто просят, чтобы о них, только о них думала она. И сердце ей снова говорит: "Зачем ты врала ему?"

Молодой месяц склонился над ветряными мельницами. Его уже не интересует эта девушка и эти окна, которые стремился он оживить. Он еще не окреп. Его влечет край земли, неясный и милый. Идет он туда отдохнуть, чтобы набраться новых сил на завтрашнюю ночь. И он оживит эти окна.

Невидимая рука полночи тихо проводит грань между ночью и днем, и в вечность отходит этот вечер Ядвися.

XXVI

Тихая ночь лежала над Полесьем.

Однотонную песню тянули колеса вагонов. Неисчислимый рой золотых искр рассыпал паровоз, огненной полосой отмечая свой путь. Тихо гудели и содрогались болота рядом с железной дорогой, по которой бежал поезд. Раскатисто и гулко гремели соловьи, их песен не могли заглушить грохот и шум поезда. Местами поднимался беловатый туман и неподвижно повисал над молодой осокой и густым развесистым лозняком. Когда поезд

останавливался на станциях и полустанках и затихал шум колес, с болот наплывали волны необычайно мягких звуков кваканья лягушек. Какой-то невыразимо грустный и вместе с тем приятный гомон стоял над болотами, словно они рассказывали - приносили этой тихой ночи и этим людям, которые не спали, свои извечные жалобы и свою печаль.

Снова шумит поезд, снова заливаются соловьи.

Вот и станция. Путь окончен. Дальше в белый свет побежит поезд.

Лобанович вышел из вагона, немного постоял, подумал и, не заходя на станцию, пошел по полотну железной дороги.

В ушах стоит еще шум вагонных колес, а впечатления от поездки, от недавних экзаменов тускнеют и блекнут. Начинает светать, пробуждается Полесье. Далеко в лесу токует какой-то запоздалый тетерев, словно кто-то набожный читает молитвы. Еще звонче, еще с большим вдохновением правят соловьи свою заутреню. Как дым ароматных смол, возносят к небу болота свои туманы, и, казалось, совершают богослужение окутанные тонкой дымкой леса. Все светлее становится восток, играет, переливается золотисто-багряное, пурпурное чудо - счастливая, радостная улыбка рождающегося дня, чтобы загореться, засверкать алмазной россыпью на свежей листве деревьев, на густых, бескрайних зарослях лозняка, осоки и айра.

Впереди постукивает, погромыхивает, словно пересмеивается и переговаривается с рельсами, дрезина, и этот веселый разговор отражают стены леса, что стоит рядом с железной дорогой. Едут рабочие, полешуки-хлопцы. Они весело перебрасываются шутками и крепко налегают на толстые палки-рычаги, подгоняя дрезину. Где-то в стороне звонко и музыкально выводит трели пастушья труба; болота подхватывают ее голос и несут его далеко-далеко вдоль кромки леса. Золотой пожар солнца заливает верхушки деревьев.

Учитель подходит к переезду и сворачивает на знакомую лесную дорогу. Некоторое время он идет среди молодого сосняка. Вот и круглая полянка, где он когда-то встретил pannу Людмилу. Отсюда уже близко деревня. Но утро такое славное, в лесу так хорошо, что он садится на пенек и слушает, как поют дрозды, как где-то на краю леса кукует кукушка. Он думает, чем займется теперь, когда так много свободного времени, долго ли пробудет еще в школе. Вероятно, долго и во всяком случае не будет спешить, пока здесь остается еще и Ядвися. Чем ближе он к ней, тем ярче встает перед ним образ этой славной девушки. С новой силой оживает в груди все, чем он жил последнее время. Лобанович поднимается и идет дальше.

Дорога выходит из леса на гать. За гатью видны Сельцо, корчма старого Абрама, часовенка, высокие дикие груши. За деревней, подняв неподвижные крылья, все в той же позе неподдельного изумления стоят две ветряные мельницы. Учитель проходит гать, минует корчму и через несколько минут открывает дверь и входит в кухню.

Возле печи с ухватом в руках стоит сторожика, переставляет горшочек.

- День добрый, бабка!

- День добрый, паничок! - приветливо отвечает бабка. - Разве же, паничок, вы пешком пришли?

- Да, бабка, на паре своих приехал.

- Любите вы ходить, паничок. Лучше бы товарного дождались и до разъезда доехали.

Лицо у бабки озабоченное и словно чем-то опечаленное.

- Как же вам там, паничок, бог помогал? - спрашивает она.

- Хорошо, бабка. Хлопцы отлично сдали экзамены. Можно сказать, лучше всех других школ.

Бабка веселеет. Видно, и ей приятна эта новость, и она искренне рада ей. Но вскоре снова ее лицо отчего-то становится грустным, и она тихо вздыхает.

- Что ты, бабка, вроде как зажурилась чего-то?

- Нет, ничего, паничок, - отвечает она.

Лобанович идет в свою комнатку, раздевается. Следом за ним входит туда и бабка.

- Может, вам чайку, паничок, поставить?
 - Поставь, пожалуй, - соглашается учитель.
 - Уехала наша паненка, - уже совсем печально проговорила бабка.
- Лобанович почувствовал, как сжалось его сердце. Несколько мгновений он молча смотрит на бабу. На душе у него становится тяжело-тяжело.
- Уехала, паничок, уехала! Вчера и уехала. Еще сюда забежала. "Кланяйся, говорит, бабка, своему паничу!" Уехала, паничок, - печально повторяет бабка.
 - Ну что же, - стараясь казаться спокойным, говорит Лобанович. - Может, ей там лучше будет.
 - Ну, пойду самовар ставить.

Бабка выходит. Учитель остается один, садится возле стола, сжимает руками голову и крепко задумывается.

Уехала!..

Он повторяет про себя это слово, стараясь вдуматься в его смысл. Обыкновенное, простое слово, а сколько горя и печали для его сердца в этом слове!

Уехала!.. Даже не простилась с ним. А как много хотел он сказать ей в эти последние дни! Почему так случилось?

Он встает и идет в другую свою комнатку, смотрит в окно на дом, на палисадничек пана подловчего, на крыльцо, обвитое диким виноградом. На этом крылечке он видел ее последний раз. А теперь ни там, ни в доме ее нет. Там теперь пусто, и всюду стало пусто. Улица живет своей обычной жизнью. Две женщины-полешушки, одетые по-праздничному, о чем-то разговаривают, остановившись посреди улицы. На завалинке возле дома старосты сидят мужчины с трубками, через улицу перебегают свиньи и вспугивают веселую стайку воробышков. Все это сейчас так неинтересно, так далеко от него и так чуждо ему.

Он ощущает страшное одиночество. Что-то перехватывает ему горло. Тяжело, невыразимо тяжело!

Лобанович подходит к столу, берет бумагу, чернила, склоняется над листиком бумаги и задумывается. Надо написать ей, надо излить всю свою печаль. Он думает, как обратиться к ней, как назвать ее, но не находит соответствующего слова и пишет:

"Вас уже нет. Вы уехали, вместе с собой забрали все, что связывало меня с этим местом, с этим уголком Полесья. Теперь он мертв для меня, ибо все то, что придавало ему красоту и очарование, забрали вы. Я здесь один, все здесь стало немило мне, словно то, что прежде привлекало и манило меня, умерло и исчезло. И только теперь я почувствовал свою великую утрату. Мне так хотелось увидеть вас, услышать ваш голос, смех, глубоко заглянуть в вашу душу и узнать, какое горе лежало в ней. Теперь же, когда я пишу это письмо, я хочу только принести вам благодарность за то, что вы украсили мою жизнь здесь, что вы были той ясной, чистой звездочкой, которая светила мне в этом мраке жизни, радовала меня и спасала от разной грязи, и если во мне сохранилась живая искра, то только благодаря вам..."

Учитель перечитал написанное. "Все не то, все получается не так, как хотелось бы". Он задумался. "А куда посылать?" - спросил он себя и не мог дать ответа.

Бабка принесла самовар.

- Чай готов, паничок, выпейте да отдохните, ведь вы же с дороги.
- Хорошо, бабка, сейчас буду пить.

Он вышел во двор.

Бабка, глядя на него, покачала головой: "По Ядвисе тоскует".

Взглянув на молодую грушу, Лобанович заметил, что верхушка ее сломана и печально склонилась к земле.

"Это она сломала, - подумал учитель. - Зачем она это сделала? Неужто она хочет, чтобы я выкинул ее из сердца?"

Еще сильнее охватила его тоска. Он хотел срезать надломанную верхушку.

- Э, все равно! - проговорил он и отошел от деревца.

Спать в этот день он не ложился. Начал перебирать книги, складывать бумаги, приводить их в порядок. В одной книге нашел небольшую записочку, узнал почерк Ядвиси. Она писала:

"Прощайте. Я нарочно постаралась, чтобы вы меня здесь не застали, хотя мне и хотелось еще хоть раз, последний раз, увидеться с вами. Но я подумала: все равно ехать мне надо, а уезжать, зная, что вы здесь, рядом, мне было бы еще тяжелее... Панна Людмила ждет вас, зайдите к ней".

И это все.

Лобанович молча смотрел на небольшой листок бумаги. Даже не написала, куда едет, и не подписала свое имя...

И почему все так кончилось? Почему? И неужели это конец?

Он еще долго сидел погруженный в раздумья. На глаза набегали слезы. Затем он свернул письмо Ядвиси вместе со своим и положил в карман.

Под вечер пришел староста принять школу. Лобанович объяснял ему, где какие документы и что он сдает. Староста ничего не понимал, но делал вид, будто ему все эти дела хорошо знакомы.

На следующий день Лобанович написал прошение о переводе в другую школу и стал собираться в дорогу. Бабка часто входила в комнату и, как родная мать, подбирала за ним разные вещи.

- Разлетаются мои голубки, - тихо промолвила бабка. - Не вернетесь вы, паничок, сюда! - И она в глубокой печали подперла рукою щеку.

Вечером, провожая учителя, бабка заплакала.

Усаживаясь на подводу со своими двумя чемоданчиками, учитель мысленно проговорил: "Одна глава книги прочитана и закрывается! Ну что ж, двинемся дальше!"

Менск, 1921-1922

КНИГА ВТОРАЯ В ГЛУБИНЕ ПОЛЕСЬЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ В РОДНЫХ КРАЯХ

На простор, на широкий простор!

Я люблю родные просторы, люблю их необозримые розовато-синие дали, полные жизни, бесконечного разнообразия красок земли и неба, где так много раздолья для твоих глаз, где молчаливые дали, окутанные тоненькой синеватой дымкой, думают какую-то извечную свою думу и так сильно влекут, манят заглянуть за светлую завесу их мудрости, познать их тайны. Я люблю эти дали, где ласково-приветливое солнце рассыпает свои улыбки и так нежно проводит метелочкой своих лучей по лицу земли и легкий ветерок колышет на ветвях зеленые листья, расчесывает и путает косы кудрявых сосен и качает над полем серебристо-серую рожь, мгновенно меняя, переливая ее живые, подвижные тени, словно выкатывая из земли дымчато-льняные бесконечные, безостановочные волны. Я люблю родные просторы, где среди полей и лесов разбросаны человеческие селения, небольшие, хозяйственно обставленные дворики, низкие хатки, окруженные вербами, липами, вязами и кленами, где проходит вся жизнь крестьянина с ее тревогами, надеждами, с ее радостями и печалью и где затаенные крестьянские думы сливаются с думами просторов.

Я люблю эти дали, когда над ними расправляет свои крылья грозная туча и катит перед "собой" огромные злато-рунные клубы облаков, гневно отбрасывая тени на грани земли и неба, разливая громы и сотрясая притихшие, словно онемевшие поля и леса.

Будет буря, ударит гроза...

Ласка и гнев, тишина и буря! Я приветствую вас, когда вы приходите в свой срок, выполняя извечную волю жизни.

На простор, на широкий простор!

I

За Сельцом дорога круто поворачивала на гать с мостиком через Телешев дуб и сразу же поднималась на горку в лес.

Вечерело. С болот потянуло теплой сыростью. Над лозняком расстилался белесый туман. В ольшанике, на опушке леса, засвистел соловей. А лес, неподвижно развесив свои ветви, молчаливо слушал этот гимн весне и молодой жизни.

Лобанович в последний раз глянул на Тельшино. Мелькнули высокие груши в белом цвету, часовенка на угрюмом кладбище, однотонно-серые крыши тельшинских строений, школа и рядом с ней высокий крест, дом пана подловчего, а за селом ветряная мельница с поднятыми и застывшими в вечерней тишине крыльями. Казалось, еще большее удивление выражала ее фигура, так хорошо знакомая Лобановичу.

Пусто и неприветливо там.

Сердце молодого учителя болезненно сжалось, а образ панны Ядвиси еще ярче встал перед его глазами.

Она была там - и вокруг цвела жизнь, радость, чувство полноты жизни наполняло его. А теперь ее нет - и все потускнело, как бы замерло...

А почему это произошло? Почему?

А может, оно так и лучше...

И тем не менее обида, печаль оставались в его сердце.

Дорога вошла в лес. Тельшино, школа и дом пана подловчего, заслоненные лесом, остались позади.

Неужто навсегда?

Что-то печально-тоскливое, словно похоронный колокол, почувствовалось в этом немом вопросе.

Лобанович заворочался на телеге, достал папиросу.

- Закурим, дядька Роман, чтоб дома не журились.

Хотелось поговорить, уйти от гнетущих, болезненно печальных мыслей, провести черту под тем, что было.

Дядька Роман, широкий в плечах мужчина, охотно повернулся к учителю и загрубелыми пальцами неловко взял папиросу. Лицо его осветилось приветливой улыбкой.

- А зачем журиться? - отозвался он. - Дома небось рады будут увидеть вас... Вы, пане учитель, на все лето уезжаете от нас?

- Да, на все лето, а может быть, и насовсем.

- Совсем хотите выбираться? Э, пане учитель, надо пожить у нас еще. И дети полюбили вас, и мы к вам привыкли. Да вы еще и не осмотрелись тут. Разве вам не понравилось у нас?

- Вот и хорошо, побыл немного - и дальше: по крайней мере не успеешь людям глаза намозолить. А место ваше мне очень нравится, и народ здешний хороший. Тем лучше по-приятельски с людьми расстаться. Самый лучший гость - тот, кто в гостях не засиживается.

- Э, нет, у вас, видно, есть другая причина, если вы хотите покинуть нас.

- Да я просто, как цыган, не люблю долго на одном месте оставаться.

- Ну конечно, человек ищет, где ему лучше, - тоном легкой укоризны ответил Роман. - А у нас, правда, что может быть для вас интересного? Но мы не пустим вас, всем обществом приговор напишем и не пустим... Но! - погнал он лошадку.

Лошадка весело фыркнула, и быстрее застучали колеса по корням.

Начинало темнеть. Вдоль дороги потянулся молодой, сочный сосняк, а когда он кончился, выехали на веселую полянку. По краям ее стоял редкий сосновый лес. Справа, невдалеке, пробегала железная дорога. Полянка снова сменилась лесом. Окутанный мраком и тишиной, он стоял неподвижно, словно зачарованный. Заблестели первые звезды.

- Минуем Яшукову гору, половина дороги останется, - заговорил дядька Роман.

- А далеко ли до Яшуковой горы?

- Версты три.

- Скажите, почему эта гора Яшуковой называется?

- Да ее у нас давно уже так называют. Рассказывают люди разные басни, а в точности никто не знает. Тут, говорят, похоронен пан Яшук.

- Почему же его похоронили в глухом лесу? - допытывался Лобанович.

- Да так, тут ему помереть пришлось.

- Как же он умер?

Лобанович давно, как только приехал в Тельшино, слышал название этой горы. Но ему не удалось узнать ее историю-легенду, хотя он и не раз расспрашивал о ней у местных крестьян. Теперь же снова пробудилась в нем охота, а вместе с тем и надежда услышать об этой горе.

- Э, пане учитель, не стоит перед ночью и вспоминать о нем. Лихой был это пан, ну, так люди говорят. Да и смерть его тоже не людская была. Вот что старые люди о нем рассказывают. Было здесь когда-то имение, а этот лес и болота принадлежали этому имению. А в имении жили паны. И переходило оно от одного пана к другому. Всякие были паны - и добрые и лихие. Последний из их роду-племени и был пан Яшук, да такой выродок, насильник, что и свет не видел такого. Измывался над людьми, до смерти засекал их плетьюми и такие выделял штуки, что наконец и земле стало тяжело носить его. Люди терпели, думали - если терпеть, легче от этого будет, ну конечно и боялись пана. Но порой и дерево не выдержит и сбросит сук, чтобы пришибить человека. На свете есть мера всему. И на этот раз так было. А пан этот только и делал, что либо людей истязал, либо гулянки устраивал, сгоняя девчат и молодежи, либо на охоте пропадал. Да так

и пропал на одной охоте. Кончилась охота, сбор трубить начали, собрались паны, а пана Яшука нет и нет. Искать начали, народу еще больше согнали. А тут вдруг буря такая поднялась, что лес крошился и стонал. И догадались люди, что пан, верно, повесился, а то с чего же началась бы такая буря? И только на третий день нашли пана. Висел пан Яшук между двух старых осин. Деревья толстенной веревкой из лозы перевиты были, а на этой веревке качал ветер посиневший труп пана Яшука. Тут и похоронили его, и курган над ним насыпали. Над болотом, если заметили, горка такая продолговатая тянется. На этой горке и курган есть небольшой. Вот и стали люди гору эту называть Яшуковой горой. За долгое время многое на свете произошло. А правда это было или нет - не знаю.

- Его повесили или он сам повесился? - спросил учитель.

- Кто ж его знает, давно это было, но так рассказывают старые люди.

Тихая, застывшая ночь, полесская глушь, окутанная мраком, и спокойный, неторопливый рассказ дядьки Романа невольно воскрешали в памяти многочисленные народные легенды и песни, овеванные духом этих лесов и простодушной верой полешука.

Выслушав рассказ Романа, Лобанович немного помолчал, а затем снова спросил:

- Ну, а скажите, здесь, возле этой могилы, никаких таких ужасов не случается?

Роман ответил не сразу. Видимо, ему не хотелось, подъезжая к Яшуковой горе, да к тому же еще ночью, вспоминать разные страхи, и он, чтобы уклониться от прямого ответа, проговорил:

- Всего не переслушаешь, что люди говорят.

И, помолчав, добавил:

- Кто боится, с тем и страхи приключаются... А вот я вам расскажу, пане учитель, такую историю. Есть у нас недалеко от разъезда мостик на железной дороге. Возле этого мостика вот уже несколько человек поездом зарезало, и даже собака одна под машину попала. И часто, кто ни проходит там ночью, что-нибудь покажется... Вот это что значит?

- А что там показывалось?

- Да всякие штуки бывали. Порой там что-то хлупает, словно кто по болоту топчется и зубами щелкает, либо стонать начнет. И со мной там одно приключение было. Шел я на разъезд к своему родичу - вы его знаете, верно, Занька Язеп, стрелочником служит. Время уже позднее было, третий номер прошел. Только это я миновал мостик, ан там, в кустах на болоте, как зашумит, ну, сдается, и листья с кустов все посыпались! И вдруг тихо стало. А ночь была спокойная, тихая, ни ветерка. Так, знаете, мне жутко сделалось.

- Вишь ты, какое приключение, - проговорил Лобанович.

Ему стало немного смешно - такой наивной, детской была вера дядьки Романа во "всякие штуки" и "страхи", - но хотелось слушать его, хотелось войти в мир его мыслей и ощущений и его глазами взглянуть на явления природы.

Дядька Роман молчал, ожидая, что скажет учитель.

- Вы, дядька Роман, очень хорошо сами объяснили, откуда берутся все эти страхи: кто боится, с тем они и приключаются. В их основе лежит наше неведение, наша темнота. Страх и темнота - неразлучные приятели. Пока человек ничего не знает о причине тех или иных явлений и не может объяснить их, до тех пор он будет испытывать перед ними страх. Страх живет в нас самих, мы сами порожаем и передаем его друг другу...

- Вот и Яшукова гора, - проговорил Роман и показал кнутом влево.

Гора очень смутно вырисовывалась из мрака. Дальше за ней сквозь сучья деревьев на фоне ночного неба просвечивало широкое болото. Дорога повернула довольно круто к переезду. Перед самым переездом стоял крутоверхий клен в шапке густой, молодой листвы. Под ним было темно-темно. Миновали клен. Колеса громко застучали по дощатому настилу перед самыми рельсами. С другой стороны железной дороги стояла будка. Темные окна глядели угрюмо. Лобанович почему-то обратил на них внимание, словно желая запечатлеть их в своей памяти. Зачем?.. Да разве спрашивает тень от скользящего по небу облачка, почему пробегает она здесь, а не там?

В лесу стало еще более глухо, тихо и сыро. Хотелось углубиться в самого себя, отдаться течению своих мыслей. Всплывали образы пережитого, неясно возникали новые. Ночь и тишина сонного леса, болот навевали на него покой. Было немного грустно. Сожаление о чем-то закрадывалось в сердце, - может быть, о том, что было, да сплыло и чего назад не вернешь. Но впереди еще так много интересного, неизведанного; ведь это только один рубеж, за которым разворачиваются новые картины жизни, открываются новые дали. А эта ночь и эта дорога - последняя точка рубежа.

II

Заснуть в эту ночь не пришлось.

В вагоне было тесно и душно. Все время Лобанович стоял в коридорчике перед открытым окном. Дружно стучали колеса. Их стук сливался порой в какую-то странную мелодию, и стоило только подобрать подходящие слова, чтобы колеса сразу же выстукали и мотив к ним. Или, наоборот, стук вагонных колес вызывал в сознании эти слова. Одно время, казалось, колеса говорили:

"У-бе-гай!.. У-бе-гай!.. У-бе-гай!.. "

И так без конца, одно и то же слово. Надоело слушать. Лобанович хотел бы не слышать ничего, но это слово упорно лезло в уши: "Убегай! Убегай! Убегай!" Кому говорили это колеса - себе или ему? Он смотрел на придорожные картины, но сквозь завесу черного, неподвижного мрака они вырисовывались очень тускло. Бежали-отступали назад деревья, болота с их неизменными кочками, с густым лозняком и блестящими лентами воды. Заливались каким-то непонятным смехом колеса, пробегая коротенькие мостики, и снова начинали свою песню. Теперь они выстукивали:

"Ди-линь-бом! Купи мак! За три гроша! Либо так!.. "

Одно и то же, одно и то же. Ну прямо словно в насмешку над ним! Только когда поезд подходил к разъезду или к станции, колеса изменяли свой ритм и говорили уже что-то совсем невразумительное.

Вместе с придорожными мелкими картинками полесского края и весь он, этот край, медленно уходил и уходил назад, уступая место более светлым, более веселым пейзажам Беларуси.

Светало.

Ласковой улыбкой озарилось небо на востоке, озарилось и порозовело. Просторы земли ширились, разворачивая свои живые, пленительные картины. И кто не поддастся их чарам! Полесье оставалось где-то позади. Здесь иной край, иные картины. Местами расстилались просторные поймы рек, а сами эти реки причудливо, живописно извивались в своих высоких бережках. Над поймами-долинами поднимались гладко округленные склоны пригорков, украшенные зеленью молодых яровых хлебов. На бархате покрытых всходами полей, на сочной придорожной траве, на листьях кустов, словно бриллианты, сверкали крупные росинки. То здесь, то там крутыми темно-синими стенами возвышались леса.

Повсюду в природе, в каждом уголке этих веселых просторов, чувствовалась радость жизни. В поле виднелись люди с сохами и плугами. В надземных просторах замелькали вольные птички. Вот рядом с поездом летит ворона, словно ей хочется поспорить в быстроте с ним. Летит долго, постепенно отстает, сворачивает куда-то в сторону и исчезает.

День начался.

Лобанович внимательно всматривается в эти дали, в эти все новые и новые картины. Спать ему совсем не хочется. Он чувствует, что чем больше отдаляется от Полесья, тем меньшую власть имеют над ним его чары. То, что так сильно захватило его там, что тревожило его мысли, теперь утихало, словно опускалось, оседало на дно души. У него теперь было такое ощущение, будто он только что начал выздоравливать после какой-то болезни.

"Дорога, путешествие - самое лучшее лекарство от всяких напастей", - замечает сам себе Лобанович и тихонько улыбается.

В одиннадцать часов утра он сошел с поезда со своими двумя чемоданчиками. Несколько местечковых балаголов [Балагол - извозчик] завладели учителем и тянули его каждый на свою подводку, вырывая из рук чемоданы. Но ехать он не хочет: зачем на такие пустяки тратить деньги, если чемоданы можно оставить у сторожа, благо сторож хороший знакомый, а самому пойти пешком? Он так и сделал: будут ехать из дому в местечко - и чемоданы заберут.

Минут через пять пришел встречный пассажирский поезд. Лобанович собирался уже двинуться в дорогу, как вдруг слышит - кто-то окликает его, семинарской кличкой называет:

- Старик! Старик!

Оглянувшись - земляк-однокашник Алесь Садович. Идет-покачивается, чемодан с распертыми боками тащит, а через плечо накидка свешивается. На смуглом лице разливается самый счастливый смех.

Обрадованный, возбужденный, Лобанович быстро пошел ему навстречу. Приятели остановились, посмотрели друг другу в глаза.

- Ха-ха-ха! - басистым смехом загремел на всю станцию Садович.

- Не смейся, Бас, не то дам тумака.

Друзья крепко, сердечно обнялись. Почти год они не виделись и за это время заметно изменились, главным образом изменились тем, что из семинарской кожаной вылизались.

- На лето приехал?

- На лето. А ты?

- Пусть оно сгорит! И я, брат, на лето к батьке... Убежал, можно сказать, - проговорил Садович.

Снова налетели балаголы и начали хватать чемоданы приезжих. Приятели еле отбились от них.

- Пешком пойдем, Алесь, а чемодан - Морозу неси, там и мои лежат:

Отдав чемоданы на хранение сторожу, юноши учителя пустились в дорогу. Всего пути было верст семь-восемь. Шли весело, делились своими впечатлениями, новостями. Беседа друзей часто прерывалась дружным смехом.

Миновали переезд.

- Стой, старина, присядем, друже!

- Давай присядем.

Они свернули с дороги, выбрали славное местечко - зеленый бугорок среди желтого песочка - и остановились. С одной стороны перед ними лежало довольно убогое торфяное болото. Низенькие кустики, чахлые ольхи вперемежку с можжевельником кучками рассыпались по болоту. По ту сторону дороги тянулись песчаные холмы. Покрытые белым мохом кочки, развесистые, низенькие сосенки придавали какой-то унылый, тоскливый вид этому пейзажу.

Садович разостлал свою накидку.

- Ложись, брат, - сказал он и лег на спину, упершись каблуками в песок. - Эх, Старик! Хорошо, брат, растянуться на своей родной земле, лежать и считать, сколько верст до неба.

- Одним словом, хоть на короткое время сделаться Маниловым, - добавил Лобанович.

Минутку полежали молча.

- А я, брат, не спал всю эту ночь.

- Гэ, - загудел басом Алесь, - разве одну ночь не спал я! Пусть оно, брат, провалится!

- Что же ты делал, в карты дул?

- Всякое, брат, бывало: и карты, и выпивка, и всякое лихо. Вот я и убежал от всего этого. Опротивело и осточертело.

В голосе Садовича слышалось недовольство и даже раздражение. Видимо, он успел порядком разочароваться в своей молодой учительской жизни и в той обстановке, которая его окружала.

- Думаю переводиться в другое место и там уж взять себя в руки, а то эти сборища, водка, карты и вся местечковая мерзость затянут совсем. И самое главное - никакой пищи для ума. Не читал ничего и школу запустил... Бесхарактерный я, брат Старик, - с грустью в голосе говорил Садович. - Но вот перееду в другую школу - тогда, брат, шабаш. Я уже наметил себе программу - готовиться буду за курс гимназии.

Садович энергично перевернулся со спины на бок и смело глянул на друга. Глаза его загорелись, все лицо светилось решимостью.

- Ты не пропадешь, Алесь, - подбодрил его Лобанович. - Все мы, братец, за первый год учительства, вероятно, приобрели большой опыт жизни. Самое главное, друг ты мой, - это способность сознавать свои ошибки.

- Правильно, старина, - подхватил Садович. - Надо, брат, найти в жизни нечто такое, что придавало бы ей смысл. Надо прежде всего расширить свой кругозор, выпутаться из паутины, которая мешает начать разумную жизнь.

Друзья увлеклись этой темой. Но их мысль вертелась в замкнутом кругу общих вопросов морали и не шла дальше неясных порывов к "разумной" жизни. Как выйти из этого заколдованного круга, они не знали - труха семинарской пауки и семинарского воспитания еще крепко сидела в них. Они не видели, в чем причина того политического гнета и социального зла, которые душили и глушили жизнь. Нужно было своими силами прокладывать путь, а для этого прежде всего нужно было встать на него.

Эти размышления имели для друзей то значение, что укрепляли их в поисках чего-то нового, осмысленного и поднимали над заплесневелым болотом окружающей жизни; эти размышления поддерживали тот огонь, который не дает человеку опуститься и погибнуть для общественной работы, - одним словом, они были как бы моральной чисткой, которая никогда не вредит человеку.

- Да, брат Алесь, нам нужно тесней объединиться, переписываться, чаще проверять друг друга и время от времени спрашивать себя: "Есть ли еще порох в пороховницах?"

- Есть! - горячо ответил Садович.

Он был настроен очень воинственно и, казалось, окончательно укрепился в решении порвать всякие отношения с местечковой компанией и жить "разумно", а то сопьешься и пропадешь, как щенок.

Вспомнили своих друзей-однокашников, знакомых молодых учителей. О многих из них они не имели вестей.

- Помнишь ли ты нашего Ивана Тарпака? Это ты, кажется, окрестил его Тарпаком? - спросил Садович и весело засмеялся.

- Нет, не слыхал о нем. А что?

- Потешный парень. Прежде всего атеистом сделался. И никого признавать не хочет. Назначили его не то в Опечки, не то в Зарубежье. Там ведь больше никого нет, один как перст. Завел с бабами шашни, гуляк на селе нашел, компанию водит с ними. Захотелось ему однажды выпить, а было не на что. Так он взял да и пропил Иисуса Христа, за квартиру горелки отдал мужику школьную икону. "Если, говорит, он действительно бог, то снова в школу вернется". Вот каков наш Иван!

- Этого от него можно ожидать, - заметил Лобанович.

- А теперь хочет царя с царицей пропить и ехать в Америку.

Разговор о подвигах Ивана Тарпака развеселил молодых учителей. Вспомнили его семинарскую биографию, Это был способный парень, но страшный лентяй, держался со всеми независимо, уроки готовил слабо. А когда его вызывали к доске и он начинал сбиваться, то на замечания учителя обычно отвечал: "Я испугался" - и при этом строил рожу совершенно перепуганного человека.

Тарпак был здоровенный, широкоплечий детина, и его "перепуга" вызывали общий смех. Один из учителей, окинув взглядом его фигуру, сказал: "Чего же тебе пугаться? Ты ведь можешь меня стереть в порошок". И тем не менее с помощью этих "перепугов" Иван Тарпак благополучно добрался до конца семинарского курса.

Солнце свернуло с полудня, было довольно жарко. Садович сидел на своей накидке и глядел на дорогу.

- Что, Старик, может быть, пойдем?

- Давай будем двигаться.

Устроили небольшое совещание, какой дорогой им пойти домой. Дорог было несколько, и каждая имела свои преимущества в сравнении с одними и в чем-нибудь уступала другим.

- Знаешь что, - сказал Лобанович, - давай пойдем через Панямонь. Сделаем там привал...

- Это идея! - подхватил Садович. - И если уж на то пошло, давай зайдем там к Широкому. Он мне, гад, еще со святок остался должен три рубля карточного долга.

- Идет, - отозвался Лобанович.

Друзья поднялись, отряхнули свои костюмы и повернули на Панямонь.

III

Местечко Панямонь - прошу не смешивать его с другой Панямонью - находится в трех верстах от железнодорожной станции, а может, даже и ближе. Это старинное местечко над Неманом, на широком большаке, который идет из Несвижа в Минск. Если вы подниметесь на известковую гору, - а она здесь же, немного на запад от местечка, - и взглянете в сторону Немана, то вам откроется красивейшая панорама. Слева будет железная дорога, мост над рекою. А как чудесно выглядит отсюда Неман!словно огромная серебряная змея с десятками, сотнями, тысячами причудливых колен-поворотов, извивается, поблескивает на солнце старый норовистый Неман в высоких берегах, покрытых лозами и пахучими травами, среди долин-лугов, полей-пригорков с их золотыми или белоснежными песчаными склонами. Смело скажу: редко где найдете вы такую красивую речку, как Неман.

Левее железной дороги другое местечко, побольше, чем Панямонь, хотя и Панямонь местечко не маленькое. А известковая гора! А Синявская роща! Разве только тот не поддастся чарам их красоты, кто в красоте ничего не понимает.

В местечке Панямонь много разных выдающихся зданий и учреждений. Тут есть кирпичная баня, церковь святой Магдалины, две мельницы, две школы, синагога, костел и каменный дом Базыля Трайчанского. Но вы его, вероятно, не все знаете. А жаль, человек он ничего себе, учитель и общественный деятель. Одним словом, местечко весьма выдающееся, и когда, бывало, входил в него, то невольно начинаешь проникаться великим к нему уважением и почтением.

Заслуживают внимания и сама панямонцы. Это все милые и хорошие люди, и много у них деликатности. Если их что-нибудь сильно удивит, то свое удивление, - а говорят они очень быстро, - панямонцы выражают так:

- Ва! Ва!

При этом некоторые добавляют: "Браток ты мой". Но в слове "браток" букву "а" выговаривают как "ы", и таким образом получается:

- Ва! Ва! Брыток ты мой!

Вот в это местечко и направились наши путешественники - Лобанович и Садович.

Прошли железнодорожный мост, спустились с высокой насыпи и пошли берегом. Чистая, прозрачная вода, желтый песок на дне реки, красивый берег - все это так манило и влекло, было так соблазнительно, что молодые учителя вынуждены были остановиться. Сам Неман, казалось, говорил: "А не искупаться ли вам, хлопцы?"

И несмотря на то что время для открытия купального сезона еще не наступило, - ведь конопля еще не были настолько высокими, чтобы в них могла спрятаться ворона [В

народе есть примета: купаться можно только тогда, когда конопля подрастет настолько, что в ней может спрятаться ворона], - учителя с великим удовольствием выкупались, понежили голое тело на горячем прибрежном песке, освежились и почувствовали себя как нельзя лучше, после чего пошли в Панямонь молодцы колодцами.

В то время, когда друзья купались, на крыльце фельдшерского пункта сидел кружок панямонской интеллигенции. Это была группа наиболее деятельных картежников, самых что ни на есть заядлых коноводов. Тут был сам фельдшер Никита Найдус, щеголеватый парень-проныра. Напротив него сидел волостной старшина Брыль Язеп, низенький, кругленький человек, наподобие французской булки, с носом хищника. В кругах картежников он больше был известен под кличкой "Акула" - так окрестил его Тарас Иванович Широкий. Этот "крестный отец" Брыля сидел тут же, рядом с ним. Тарас Широкий - здешний учитель, заведующий двухклассной школой, был широким не только по фамилии, но и по своей фигуре, и по своему характеру, и даже по размаху игры в карты.

Все они изредка перебрасывались короткими фразами. Но видно было по их лицам, что они давно уже пригляделись друг другу и что им чего-то не хватает. Души их находились в состоянии томления и жаждали деятельности, остроты ощущений, но никаких признаков того, что их желания исполнятся, нигде не замечалось. Широкий задумчиво поглядывал куда-то в пространство. Найдус тихонько посвистывал и барабанил пальцами по краю скамейки, а Брыль Язеп поворачивал хищный свой нос направо и налево. Он первый заметил молодых путешественников.

- Кто это такие?

Внимание троих приятелей остановилось на незнакомых путниках. А те в свою очередь смотрели на этих троих и, как видно, еще издали узнали их.

Опытный глаз Широкого сразу отнес гостей к соответствующей категории.

- Учителя! - сказал он, и голос его ожил, снова приобрел жизненную мощь, а глаза еще нетерпеливее впились в молодых хлопцев: хотелось узнать их.

И когда Лобанович и Садович широкими взмахами рук подняли свои фуражки и артистически поклонились компании панямонцев, Широкий ожил еще больше. Он вскочил с места, дебелая фигура его резко колыхнулась, сотрясая крыльцо. Громким голосом приветствовал Широкий молодых учителей:

- А, голубчики, мои! Откуда это вы?

Он размашисто двинулся навстречу гостям, причем живот его заколыхался, как челнок на воде. По очереди обнял он одного и другого гостя. В объятиях Широкого гости на мгновение как бы пропадали, терялись в них.

- Люблю своего брата учителя! Это соль земли! - крикнул он, взглянув на фельдшера и старшину.

Широкий выказывал все признаки шумного и даже буйного восторга, порывистой стихийной радости: встреча с учителями привела его в это необычайное душевное состояние.

- Поклонись им ниже, чучело ты! - набросился Широкий на старшину.

В тот момент, когда старшина здоровался с учителями, Широкий схватил его за шиворот и наклонил его голову.

- Это святые мученики за идею народного просвещения, не то что ты, трубочист темный, только то и делаешь, что за недоимки последнюю коровенку тащишь со двора, либо ты, клистирная душа: мучает человека живот, а ты из него касторкой прошлогоднее выгоняешь.

- Не трогай ты лучше медицины, ничего ты в ней не понимаешь, - заступился фельдшер за свою профессию.

Презрительно глянув на фельдшера, Широкий покачал головой.

- Да разве я против медицины говорю? Трубка ты гуттаперчевая!

Словом, Тарас Иванович Широкий разбушевался на радостях, что встретил товарищей по профессии, учителей, - только в них видел он настоящих людей, с которыми чувствуешь себя, как с братьями.

Появление новых людей внесло в компанию панямонцев значительное оживление. Найдус и Брыль также зашевелились - ведь была надежда перекинуться картами с дорогими гостями.

Оглядев исподтишка молодых учителей, Брыль, казалось, обнюхал их карманы, но это обследование не вызвало в нем больших надежд - учителя были одеты не очень нарядно. Ну да это не так уж важно! Важно было то, что вокруг новых людей можно собрать компанию. Брыль тотчас же поспешил к волости - ведь как раз нужно было отсылать почту и подписывать бумаги. Что бы там ни говорил Широкий, а не подписанная старшиной бумага из волости не пойдет. Он простился со всеми и на прощание перемигнулся с Найдусом и Широким. Смысл этого подмигивания был примерно такой: "Банчок можно считать налаженным. Созывай братию".

Все это было сделано, разумеется, очень быстро, мимоходом, между прочим.

- Зачем же мы топчемся здесь, на крыльце? - снова порывисто заговорил Широкий. - Ты, пиявка, приглашай гостей да за бутылкой посылай.

- Ей-богу, нет денег! - И Найдус несколько раз постучал себя кулаком в грудь.

- Тьфу! - плюнул Широкий и окинул фельдшера презрительным взглядом.

- Да зачем нужна эта горелка?

- Бросьте вы горелку! Посидим немного - и домой...

- Братцы вы мои родные, куда домой? И не думайте даже! Я рад, что своих братьев учителей вижу: хоть душу отвести есть с кем.

- А мы, признаться, и выбрали такую дорогу, чтобы Тараса Ивановича не минуть.

- Молодцы! Ей-ей, молодцы! Пойдем, хлопцы, ко мне!

Широкий встал, словно паровоз сдвинулся с места, взял молодых учителей за руки.

- Пойдем! - позвал он и Найдуса.

- Мне к больному зайти надо.

- А зачем тебе ходить? Пошли касторки - и все.

- Я потом приду.

- Смотри же приходи!

Широкий и два гостя вышли на песчаную улицу.

Немного правее шла еще одна улица. В самом конце ее стоял каменный дом Базыля Трайчанского. Отсюда он почти не был виден - его закрывали хаты, и только крыльцо, остекленное разнообразными цветными стеклами, выступало на улицу и словно говорило, что каменный дом не какая-нибудь пустая мечта, а реальное достижение реальной человека. Строительство этого каменного дома в свое время стало выдающимся событием в жизни Панямони. О нем много говорили в местечке, а сам владелец сравнивался с соседними мелкими помещиками - Плесковицким, Дашкевичем, Лабоцким. Базыль, слушая разговоры о своем доме, только посматривал из-под козырька широковерхой учительской фуражки и добродушно посмеивался. Разумеется, во всех этих разговорах проскальзывала человеческая зависть: ведь никто из панямонцев не отказался бы от такого дома.

Пройдя несколько шагов, учителя повернули влево. Миновали кузницу. Лобанович, идя возле кузницы, невольно задержался на ней взглядом. Ему вспомнилось, что здесь ловкий кузнец Хаим натягивал шины на колеса, что в эту кузницу не раз приходилось ему, Андрею Лобановичу, приезжать и приходить с дядькой Мартином по разным хозяйственным делам. И кузница и само местечко выглядели тогда как-то иначе, производили более внушительное впечатление, может быть потому, что сам он был маленький. И ему стало почему-то грустно, но эта грусть была мимолетной и смутной. Недалеко от кузницы протекала маленькая речка Панямонка, над которой живописно

склонялись хрупкие широковерхие вербы, словно прислушиваясь к шепоту и бульканью крохотных волн.

На протяжении всего короткого пути, минут на пять ходьбы, Широкий не переставал в весьма повышенном тоне рассказывать о затхлости местечковой жизни, о ничтожности интересов панямонской интеллигенции. Он энергично размахивал руками, сопел, жаловался на жару, снимал свою белую фуражку с двумя значками и платочком вытирал коротко остриженную голову.

- И только когда встретишь своего брата учителя, чувствуешь себя так, словно тебе блеснул луч солнца из-за темных туч после затяжной непогоды, - гремел Широкий уже возле двора своей школы.

И, словно до глубины души возмущенный затхлостью панямонской жизни, он с силой толкнул ногою калитку. Она с размаху стукнулась о ворота, и учителя вошли во двор.

Ступив на крыльцо, Широкий с шумом сел на скамейку, вытянул здоровенные, дебелые ноги и погладил свой живот-корыто.

- Го-о-о, братцы мои, устал!

Лобанович с Садовичем, взглянув на живот Тараса Ивановича, не удержались:

- Ну, братец, и живот же у тебя! Должно быть, на десять тысяч учителей другой такой не отыщется.

Вместо ответа Тарас Иванович самодовольно похлопал рукой по животу.

А живот у него был действительно "выдающийся". Недаром он послужил темой для одного неизвестного поэта. Стихотворение, написанное им, не раз читали вслух Широкому в соответствующих случаях жизни. Стихотворение так и называлось "Живот".

Эх, живот, ты живот,
Чтоб ты счастья же знал!
За один только год
Тьму добра ты сожрал:

Бульбы погреб сгноил,
Закром жита ты съел,
А все больше просил,
Еще больше хотел.

Широкий замолчал, сладко потягиваясь, но это молчание продолжалось только одно мгновение. Тарас Иванович вдруг вскочил, как встревоженный орел.

- Жена! Жена! - закричал он на весь школьный двор.

На крик Тараса Ивановича выбежал сын его Леня, мальчик лет четырех. Увидя незнакомых людей, он остановился, уставился на них своими ясными глазенками.

- Узнал меня, Леня? - спросил Лобанович.

Леня приветливо улыбнулся.

- Дядя, лассказы мне сказку!

Вслед за Леней вышла и жена Широкого Ольга Степановна, милая и добрая женщина. Она очень обрадовалась гостям.

- Ты знаешь, что самые лучшие люди на свете - это учителя!

- Знаю, знаю, - сказала Ольга Степановна.

Тарас Иванович снова разошелся и горячо, даже вдохновенно произнес:

- Эх, если бы я не был женат! Весь мир перевернул бы!

- Замолчи уж! - сказала жена. - Плетет невесть что.

- Ничего ты не понимаешь, голубка моя!

Ольга Степановна пригласила гостей в дом.

Входя с гостями в свои апартаменты, Широкий рассказал, как к нему на квартиру зашел недавно жандарм и, увидев комнаты, удивился: "Какая популярность ваших комнат!" Широкий всем рассказывал про этого жандарма и всякий раз заливался задорным смехом. Так было и сейчас.

- Ну, жена, пройдишь немного возле буфета, не найдешь ли там чего?

Такова уж была неугомонная, беспокойная натура Тараса Ивановича. Казалось удивительным, что человек его комплекции способен быть таким подвижным и бурливым. Любимое молодняковское ["Молодняк" - широко известное в Беларуси в 1920 году объединение молодых писателей] словечко "бурнопенистый" подошло бы к нему как нельзя лучше.

Ольга Степановна вышла приготовить стол. Леня уселся на колени к Лобановичу и слушал сказку про бабу-ягу. Сказка необычайно заинтересовала мальчика, особенно когда Лобанович пустился на выдумки и сказал, что баба-яга бывает временами маленькая, как пальчик, а потом снова растет и принимает свой обыкновенный вид. Но в самом интересном месте Тарас Иванович грянул песню:

Три деревни, два села,
Восемь девок, один я -

и заглушил сказку. Сын запротестовал резко и крикливо. Тарас Иванович только повернул голову в его сторону и, размахивая кулаками, отбивал такт и продолжал петь. Сын закричал еще громче, чтобы в свою очередь заглушить отца, но отец, не поддаваясь, поднял голос на несколько тонов выше. Тогда Леня завизжал так, что вошла Ольга Степановна - узнать, что произошло.

- Ну дай же ты ребенку сказку послушать! Хороший отец сам рассказал бы, а он и послушать не дает. Вот сумасшедший!

Тарас Иванович бросил петь, заливаясь богатырским смехом, а потом сказал, обращаясь к сыну:

- Что же из тебя будет, когда ты вырастешь? Теперь уже отцу уступить не хочешь, гад ты печеный! - И, повернув голову к жене, добавил: - Вот и женись в нынешнее время, в гроб готовы положить человека.

Жена окинула взглядом фигуру мужа и не то сердито, не то шутливо проговорила:

- Положишь такого в гроб!

Широкий взглянул на гостей и укоризненно покачал головой.

- Вот как увидела молодых хлопцев, так хочет, чтобы я умер...

Вдруг он перешел на другую тему и рассказал, как неподалеку у одного учителя был в хоре певец, о котором учитель говорил: "Был у меня унисон. Ах, если бы вы знали, что это был за унисон!" И Тарас Иванович снова затрясся от смеха.

Не переставал он тарыхтеть и тогда, когда сели за стол. У Ольги Степановны нашлось по чарке. Вкусная наливка была где-то припрятана так, что Тарас Иванович о ней и не знал. Наливка привела его в состояние самой высшей радости.

- Ты у меня, женка, молодчина!

Подняв чарку, он произнес целую речь о том, какое значение имеет в жизни бедного учителя хорошая жена.

- Пей ты уж, молотилка! - смеясь, отозвалась Ольга Степановна. - Люди ждут выпить, а он мелет.

Выпили.

Тарас Иванович запрокинул голову и, поглаживая рукой то место, где прошла наливка, восхищенно говорил:

- А, братцы мои родненькие! Искры радуги! Бальзам, амброзия божественная! Соловушки в кишках поют!

И Ольга Степановна и гости наконец поддались действию этой шумливой криницы жизни и веселья. Смеялся Тарас Иванович, смеялись и Ольга Степановна, и молодые учителя, и, глядя на них, смеялся и Леня, и время за столом проходило весело, а наливка еще увеличивала веселье.

Незаметно наступил вечер.

Лобанович и его приятель задвигались: не пора ли уже им домой?

- Куда вы так торопитесь? - сказала Ольга Степановна. - Жены вас ждут либо дети плачут? Погостите у нас. Ведь вы еще, должно быть, не знакомы с нашей новой учительницей?

При словах "новая учительница" Тарас Иванович подскочил, как на пружинах, не дав договорить жене.

- Братцы мои родненькие! Посмотрите на нее - и пальчики оближете. Глаза! Что за глаза! Небо Италии светится в них! А брови! А губки! А фигурка! Эх! - выкрикнул Тарас Иванович и сжал зубы. - Все на свете, кажется, отдал бы, чтобы обнять да приласкать ее... Ольга Степановна замахнулась на мужа разливательной ложкой, а Тарас Иванович, спасаясь от нее, круто дернулся в сторону.

- Зачем же ты о ней вспомнила?

- Здесь есть кавалеры, а ты что?

- Я, брат, тоже маху не даю. - И Тарас Иванович снова задрожал от смеха.

- Вот мешок, - сказала ему жена. - Куда тебе! Здесь хлопцы есть неженатые, кавалеры... Она вас в языческую веру приводить будет, - обратилась Ольга Степановна к учителям.

- В какую языческую веру? - спросил Лобанович.

Ольга Степановна засмеялась.

- Оставайтесь - узнаете.

- Так, пожалуй, останемся, Старик? - спросил Садович приятеля.

Лобанович посмотрел на него, вздохнул и покачал головой.

- Алесь, Алесь, не соблазняйся, брат! Тяжко будет жить на воле, если сердце будет в неволе!

- Это вы из собственного опыта знаете? - спросила Ольга Степановна.

Лобанович ответил:

- Он называет меня Стариком. По нраву старика я должен обладать всевозможным опытом и предостеречь мальчишку.

- Го-о-о, братец ты мой! - подхватил Тарас Иванович. - Не в Полесье ли ты оставил свое сердце?

Все засмеялись.

- Мое сердце со мной. Вот же назло вам останусь, в языческую веру не пойду и на "небо Италии" смотреть не буду.

Ольга Степановна хлопала в ладоши; она была рада, что учителя остаются, а Лобановича тут же поставила в пример своему мужу, на что Тарас Иванович отозвался:

- Я обиделся бы на месте Лобановича. Разве ты, брат, не мужчина?

Тем временем приближался вечер. Солнце спряталось за известковую гору, тень от нее закрыла все местечко, но день все еще не хотел уступать место вечеру, и небо долго оставалось ясным и светлым.

В Панямони уже все знали, что к Широкому пришли два учителя, значит сбор сегодня будет у Тараса Ивановича. Найдус и старшина сообщили об этом своим знакомым, которых можно было встретить несколько раз в течение дня. А если бы даже Найдус и старшина никому не сказали о приходе учителей, все равно об этом знали бы все: на то в Панямони и был Есель.

Есель не имел определенной профессии. Это был бедный местечковый парень лет двадцати с лишним, безусый, безбородый, немного заика, немного лодырь и немного придурковатый. А может быть, он просто прикидывался таким, чтобы иметь больше прав на ту роль, которую он выполнял, живя в Панямони. Вся его жизнь проходила возле панямонской "интеллигенции". От нее и кормился он, служа ей и терпя ее насмешки. С

утра до вечера сновал Есель по местечку, незаметно заходил то в один, то в другой дом, так что и увидеть его было трудно. Но стоило только подгулявшему "интеллекту" крикнуть: "Есель!" - он сразу же появлялся, словно вырастая из-под земли. Ему давали поручения сбегать с запиской к тому или иному лицу, принести пива или сходить купить новую колоду карт. При этом, чтобы он двигался живее, ему давали чарку горелки или стакан пива. И Есель весело бежал, куда его посылали, а небольшая сдача являлась его заработком.

Есель хоть и был неграмотный, но вел строгий реестр именин и всяких семейных праздников в Панямони. Дня за два, за три до таких праздников он обходил свой "приход" и напоминал "прихожанам", что такой-то и такой-то тогда-то будет именинником. Ему приказывали явиться в определенный день, чтобы отнести поздравления. Есель приходил аккуратно в назначенный срок и выполнял свои обязанности. На всех вечерах Есель дежурил безотлучно, незаметно стоял в сторонке, чтобы явиться по первому слову в нужную минуту.

Правда, он обладал еще и способностью посмешить, повеселить гостей, когда перед ним ставилась такая задача. Тогда его угощали... ну, разумеется, объедками, и Есель, уплетая свинину, отпускал на сей счет шутки и насмеялся над законами своей веры.

Едва только начало темнеть, Есель уже был как на часах у Тараса Ивановича и ждал приказаний.

Первым пришел Базыль Трайчанский. Его еще звали коротко "База". На лице у него красовалась приятная улыбка, и сам он был человек довольно приятный, хотя немного мешковатый. Разговаривая с кем-нибудь, он слегка наклонял голову набок и глядел как бы снизу вверх, сначала одним глазом, а потом, перегнув голову в другую сторону, другим. В этом отношении он имел сходство с курицей, которая ищет на полу крошки.

Базыль поздоровался с учителями, расспросил их, на все ли лето они приехали, как им жилось во время школьных занятий, собираются ли быть летом на курсах. Каждый ответ молодых учителей Базыль встречал добродушным смехом.

Топот на крыльце свидетельствовал о прибытии новых гостей. Их было двое - сиделец Кузьма Скоромный и панямонский житель Микола Зязульский. Жили они помаленьку на свете и занимали под солнцем определенное место; о них также нужно сказать хотя бы несколько слов. Скоромный был с претензиями на интеллигентность. Любил он собирать грибы и питал страсть к грязным анекдотам; любил еще играть в карты, но побаивался жены. Микола Зязульский был когда-то богатым человеком, любил пустить пыль в глаза и проигрывал целые сотни рублей. О нем говорили с уважением. Но незаметно он сошел на нет, отодвинулся на задний план и утратил былую славу. И только недавно в его жизни произошло событие, которое сделало его чуть ли не героем среди панямонцев: месяц тому назад, когда Зязульскому уже исполнилось пятьдесят три года, у его жены родились близнецы. Этот факт значительно поднял курс Зязульского на бирже панямонской жизни. О нем снова заговорили. Сам Зязульский после этого загордился и говорил кое-кому из панямонцев:

- Ну, куда же вы годитесь!

Панямонцы чесали затылки:

- Вот тебе и Зязульский!

Зязульский пришел уже под хмельком. Худое лицо его было розовым и блестело, как начищенная кастрюля. Генеральские усы делали его важным, даже до некоторой степени грозным, и только низенький рост в значительной степени нарушал это впечатление важности, внушительности.

Он подошел к молодым учителям, крепко пожал им руки и каждому по очереди сказал довольно длинное приветствие, после чего поцеловал одного и другого.

Зязульский подсел к Лобановичу.

- Миленький, гляжу я на тебя и вспоминаю твоего отца, твое лицо мне так напоминает покойного! - Зязульский тяжело вздохнул, горестно свесив старую голову, и словно

застыл в великой печали. - Петрусь, Петрусь! Зачем ты умер? - голосом, в котором звучала безмерная скорбь, воскликнул он и, подняв на Лобановича увлажненные слезами глаза, продолжал: - Это был мой первый приятель, друг. О, сколько раз мы выпивали с ним! - И еще ниже опустил голову. - Эх... - Он не мог больше говорить и только безнадежно махнул рукой.

V

Пока Зязульский изливал перед Лобановичем печаль своего сердца, собралась почти вся компания. Пришел уже известный читателям старшина Брыль Язеп, помощник писаря Савось Коренчик, сухой, как тарань, вертлявый парень, и дьячок из церкви святой Магдалины Моисей Помахайлик. Его еще называли "Место печати". Эта кличка вышла из недр волостного правления, так как там главным образом были бланки с буквами "М.П." на том месте, где ставилась печать. Дьячок, белый как сметана, принадлежал к типу людей, которых обычно называют въедливыми. Он был крикливый, горластый и свои интересы защищал с таким жаром, что только Тарас Иванович Широкий, стукнув кулаком-молотом перед носом Помахайлика, наводил на него страх и заставлял умолкать. Садович и особенно его приятель первое время чувствовали себя немного неловко среди этой компании и ждали, что будет дальше. То один, то другой из гостей перебрасывался с ними двумя-тремя словами, но общей темы для разговора не находилось, словно эти люди случайно сошлись где-то на вокзале в ожидании поезда.

- Что это Найдуса нет? - спросил Тарас Иванович. Он хорошо знал, почему нет Найдуса (фельдшер крутился возле новой учительницы), но надо же было задать тон и как-то приступить к делу.

- Найдус знает, где надо ходить, - фыркнул сиделец.

- Да они сейчас придут, - сказал Коренчик. - Тамара Алексеевна и меня приглашала вместе идти, но я не хотел становиться Найдусу поперек дороги.

- Слышишь, брат Старик, - шепнул Садович приятелю, - давай, брат, ототрем Найдуса.

- Ну что ж, попробуй, - тихо ответил Лобанович.

Садович, еще не видя новой учительницы, кашлянул басом, выпятил грудь, - словом, принял бравый, кавалерский вид.

Коренчик добавил:

- Она услышала, что пришли молодые учителя, и хочет познакомиться с ними, - и показал головой на приятелей.

Садович незаметно подтолкнул локтем Лобановича, а тот тихонько отозвался:

- Почва есть.

- Придут, - убежденно отозвался Скоромный. - Давай, Тарас Иванович, иконки, чтоб не так скучно было ждать счастливой пары.

Сидельца поддержали, и Тарас Иванович, слабо протестуя, вышел и тотчас же вернулся с двумя колодами карт.

Чтобы больше было простора, решили перейти в классную комнату. Тарас Иванович принес туда огромную лампу-"молнию", зажег еще и висячую лампу, и в классе стало светло.

Вокруг карт объединилась сперва небольшая группа гостей. Туда подсел старшина. Все время он молчал и теперь начал присматриваться к картам. Оказалось, что этими картами играть уже нельзя: у одной уголок облупился, на другой подозрительное пятнышко. Одним словом, игра здесь небезопасная. Нет у людей веры в своих ближних. Может, поэтому порой и тяжело бывает человеку.

Тарас Иванович с жаром проговорил:

- И человек со временем облупливается, и паспорт ты меняешь в волости, так диво ли, что карты замасливаются...

Широкого считали игроком не совсем лояльным, но об этом в глаза ему не говорили. Сам же он в тесной компании порой замечал:

- На то и щука в море, чтобы карась не дремал.

Обругав старшину торбой, Тарас Иванович громко крикнул:

- Есель!

В тот же миг где-то в глубине дома затопали ноги, а еще спустя мгновение на пороге стоял Есель.

- На, сбегай к Мане и принеси две колоды карт. Да живо, на одной ноге!

Есель взял деньги, забормотал что-то и, широко шагая, исчез за дверью.

- А-а-а! - сразу ахнуло несколько голосов.

Через ту же дверь под ручку входила пара - Тамара Алексеевна и Найдус. Найдус был прилизанный, в черной тужурке с блестящими пуговицами. Ясно, что была поставлена ставка на уничтожение всех других претендентов на красивую девушку. У Тамары Алексеевны на губах цвела улыбка, да такая очаровательная, что разве только того не могла она тронуть, кто уже высох на девяносто процентов.

Найдус галантно подводил свою даму к гостям, и она, приветливо глядя на них, здоровалась с ними все с той же чарующей улыбкой. Каждый старался сказать ей при этом самый приятный панямонский комплимент или хотя бы, если не находилось такового, ответной и такой же приятной улыбкой выразить свое восхищение ее красотой. Коренчик также расплылся в улыбке, но это очень мало прибавило ему красоты. Он даже намеревался что-то сказать, но с губ сорвалось одно только шиканье.

Тарас Иванович перехватил Тамару Алексеевну у Найдуса, сказав:

- Бросьте вы этого толкача, я вас познакомлю с нашими коллегами, - и сам повел ее к учителям.

Тамара Алексеевна поздоровалась с ними молча, озаряя каждого из друзей все той же обворожительной улыбкой. Походка у нее была плавная, мягкая. Темно-каштановые волосы, завитые ловкой, опытной рукой, спускались бесконечными волнами на верхнюю часть ее лица, служа ему роскошной оправой.

Знакомясь с Садовичем, она прямо-таки осыпала его искрами с "неба Италии", а верхняя губка ее с небольшой ямочкой посередине слегка задрожала под дуновением наиприятнейшей в мире женской улыбки.

- Это светильник Бобруйщины, - отрекомендовал Садовича Тарас Иванович.

"Светильник Бобруйщины" качнулся всей фигурой и только кашлянул басом.

- А это просветитель темного Полесья, великий пустынный, но не кладите ему пальца в рот.

Тамара Алексеевна подала руку "пустыннику", а другой рукой легонько шлепнула по руке Тараса Ивановича и назвала его "златоустом панямонским". Это были ее первые слова.

Широкий, чтобы оправдать славу "златоуста панямонского", кивнул головой в сторону Лобановича и добавил:

- Здесь, на территории, где царствует ваше пригожество, он осмелился заявить, что не будет признавать языческой веры...

- Ой, скажу Ольге Степановне, - пригрозил Лобанович Широкому, - не миновать тебе разливательной ложки!

Тамара Алексеевна укоризненно покачала головой, глядя на Лобановича, а Тарас Иванович с жаром выпалил:

- За Тамару Алексеевну готов под розги лечь и на крест пойти!

Но как раз в эту секунду вошла Ольга Степановна. Широкий осекся и разыграл роль дурашливого школьника в момент появления грозного учителя.

Тамара Алексеевна бросилась к Ольге Степановне и, по женскому обычаю, расцеловалась с нею.

- Кого же вы, Тамара Алексеевна, в языческую веру приводить будете? - спросила хозяйка.

Гости засмеялись, зашумели, а Тамара Алексеевна, крадучись как кошка, направилась к Садовичу. Тот стоял в недоумении и не знал, что будет дальше и как вести себя. А учительница подошла к нему совсем близко и, взяв за ухо, повела его вокруг стола, под громкий смех присутствующих. На полдороге Садович ловко подхватил ее под руку и освободил свое ухо. Потом вдвоем они подошли к Лобановичу. Как только Тамара Алексеевна протянула руку, чтобы и его взять за ухо, он отскочил в сторону.

- Эге! - слышались голоса. - Полешук не дается.

И началась беготня. Лобанович выкручивался всякий раз, когда Тамара Алексеевна, казалось, вот-вот схватит его за ухо. Она гонялась за ним по классу, по школьным партам. То один, то другой из гостей старались помочь учительнице поймать за ухо непокорного, но он выскальзывал, убегал и поддразнивал:

- Руки коротки!

Тогда сам Тарас Иванович пришел ей на помощь. Не надеясь догнать изворотливого полешука, он подкрался сзади, навалился всем своим семипудовым телом на Лобановича и сжал его железными руками. Рванулся бедный парень, но вырваться не смог. Тамара Алексеевна с растрепанными волосами подбежала и хотела уже как следует взять его за уши. Но у Лобановича руки наполовину были свободны, и он схватил молодую учительницу за руки. Вырываясь, Тамара Алексеевна разорвала батистовый рукав.

- Гадкий вы! - сказала она и побежала к Ольге Степановне зашивать блузку.

В то время когда совершался обряд "языческой веры", люди серьезные и солидные, такие, как Скоромный, старшина и дьячок Помахайлик, приводили в порядок принесенные Еселем карты, отбрасывали ненужные, начиная с двоек и кончая шестерками, и проверяли, все ли карты в колодах. Когда шум затих, они вылезли из-за ученических парт, за которыми сидели, и подошли к столу.

- Ну, - сказал Помахайлик, - приступим к богослужению.

- Кто закладывает банк? - спросил сиделец.

Никто первым не назвался. Таков уж был обычай в Панямони. Сначала немного торговались, делали вид, что никому играть в карты не хочется, а кое-кто прямо говорил, что денег нет. Кончали же тем, что тянули карты. У кого оказывалась старшая масть, тот и становился банкометом.

Держать банк выпало Базылю Трайчанскому. Медленно сел он на самое удобное место за столом, обвел взглядом всю компанию, кивнув головой направо и налево, положил на стол два рубля "банка" и начал сдавать карты, спрашивая, сколько кто берет карт. Потом взял другую колоду, долго тасовал ее на все стороны и всеми способами и дал одному из партнеров снять. Снимать нужно было осторожненько, чтобы, сохрани боже, кто-нибудь не подсмотрел карту. С торжественным видом Базыль выложил на стол две карты первого ряда. Они не оплачивались и заменялись другими. Затем банкомет потребовал от партнеров плату. Платили, кто сколько назначал: пятнадцать, двадцать, десять, сорок копеек, в зависимости от величины банка. Банкомет должен выложить пять рядов карт; в четырех рядах было по две карты, а в пятом - одна. Кто брал во втором ряду, тот получал из банка вдвое больше своей ставки, в третьем - втрое и т. д. В девятом ряду выкладывалась только одна карта, и если чья-нибудь карта брала в этом ряду, тот получал в девять раз больше своей ставки. Эта игра называлась тефталем, или девятым валом, и была в почете среди панямонских интеллигентов.

Когда на столе зазвенели гривенники, пятиалтынные, двугривенные и полтинники, Садович тихо сказал Лобановичу:

- Давай, брат, попробуем. А ну!

Лобанович впервые видел такую торжественную, такую важную игру. Соблазнительно было выиграть, да и самый процесс игры был интересен, в особенности когда кто-нибудь из игроков брал "девятый вал".

- Черт его знает. - В тоне ответа Лобановича чувствовалось желание попытать счастья.

Лобановичу вспомнилось Полесье, Тельшино. Как бы из мрака глянули на него глаза Ядвиси, и острая боль кольнула сердце. Печаль, обида отозвались в нем. Где-то в подсознании предостерегающий голос, казалось, говорил, как неразумно, как гадко тратить свое время на такие забавы. А лица партнеров, искаженные жадностью, усиливали тяжелое чувство.

Садович подошел к столу, взял у банкюмета три карты и вынул из кармана свой тощенький кошелек. А Лобанович некоторое время стоял в сторонке, отдавшись своим мыслям о том, что так сильно жило еще в его сердце.

Банкюмет только что намеревался выложить платный ряд, как в комнату вошла Тамара Алексеевна. Она уже зашила рукав и привела в порядок прическу. На губах у нее по-прежнему цвела очаровательная улыбка.

- Тамара Алексеевна, не угодно ли вам карточку? - спросил банкюмет.

Тамара Алексеевна издали протянула руку.

- Пару!

Ей тотчас же дали место за столом, и она уселась возле счастливого Садовича. Заплатила деньги, закурила папиросу. Лобанович хотел подойти к ней и попросить прощения. Но она даже не подняла на него глаз, тихонько переговаривалась с Садовичем и порой смеялась коротким смехом.

Не играл в карты и Зязульский. Он сначала сидел поодаль и пыхтел сигаркой, скрученной из махорки. А чтобы махорочный дым не бил в интеллигентские носы, он разгонял его рукой, так как обладатели этих носов обычно заявляли протест. Вот и теперь Тарас Иванович, фыркнув, проговорил, глядя в сторону Зязульского:

- Эй ты, папаша-двустволка! Опять зачал!

Зязульский швырнул свою соску-сигарку. Она упала в углу на парту и, как ракета, брызнула искрами.

- Ты школу спалишь! - снова набросился на него Широкий.

Зязульский затоптал окурок, подошел к столу и остановился за спинами игроков. Когда банкюмет начал класть карты в ряды, на мгновение стало тихо как в могиле.

Во втором ряду не вышла ничья карта.

- Мост кладет! [Кладет мост - не дать платной карты] - сказал, Найдус и глянул на неверную Тамару Алексеевну.

- Для банка это недобрый знак, - отозвался Базыль.

- Есть! - крикнул Коренчик и выбросил на стол червонного валета.

- Вернул свою ставку, - отозвался Садович и также выбросил карту.

Банкюмет приготовился выкладывать четвертый ряд. Напряжение игроков увеличилось.

- Моя! - сказала Тамара Алексеевна и засмеялась.

Банкюмет заплатил деньги и положил вторую карту четвертого ряда.

- Моя! - еще громче заявила Тамара Алексеевна.

Раздались шумные одобрительные возгласы.

- Ей в любви и в картах везет, - грустно сказал Найдус.

- Ну, ты так даешь, что сейчас игрока потеряешь. Давай девятый ряд! - загремел Тарас Иванович.

Напряжение еще более возросло.

Базыль осторожно подвинул вниз девятую карту, взглянул на ее край, вздохнул, кивнул головой направо и налево, чтобы узнать, чья берет девятый ряд. Приятно улыбнувшись, он ткнул пальцем в карты Садовича.

- Старик! - крикнул Садович. - Девяносто копеек заработал!

Тарас Иванович с шумом швырнул на стол карты.

- Продул шестьдесят копеек, - признался Помахайлик.

- Скупой ты, Базыль, человек, - фыркнул сиделец.

- У него и снега на святках не получишь, - с укором проговорил Широкий.

- Не по-соседски поступаешь, Базыль, - упрекнул его и старшина.

Тамара Алексеевна и Садович похвалили банкмета:

- Молодец, Базыль!

- Для вас всегда готов! - отозвался с приятной улыбкой Базыль. Банк удвоился. Банкومت снова начал тасовать карты.

- Вот везет, как некрещеному: с первой сдачи банк удвоил! - с завистью проговорил Помахайлик.

Игроки тем временем снова полезли в карманы.

- Что же ты, милочка, так сидишь? - спросил Зязульский Лобановича. - Возьми карточку. По пятачку. Много не проиграешь и не выиграешь, а время проведешь приятно... Дай папиросу.

Лобанович и сам порывался присоединиться к играющим. - очень было соблазнительно и интересно.

- Дай нам пару карточек, - сказал Зязульский банкometу.

- Пожалуйста.

- Хорошие карты! - шепнул Зязульский, взглянув на бубновую девятку и крестового короля. Он принял самое живое участие в новой роли Лобановича. - Поставь на девятку десять копеек, а на короля пять... Стой, я еще примажу пять копеек на девятку. - Зязульский пошарил в карманах и вытащил медяк. - Ставь смело!

Игроки все больше входили в азарт. В банке было довольно много денег. Кто проиграл, тому хотелось отыгаться и еще заработать, а кто выиграл, тому хотелось выигрыш свой увеличить. И деньги громче и чаще звенели на столе, плывя в банк.

Коренчик ворожил на пальцах: валет - семерка, валет - семерка. И старался попасть пальцем в палец, разводя руки в стороны и делая ими несколько вращательных движений. И когда выходило, что пальцы сталкивались при слове "валет", то на валета и ставилось больше.

У Помахайлика был другой способ ворожбы. Он клал карты ровненько на край стола и ударял по ним ладонью; та карта, которая отлетала дальше, ценилась выше.

Колдовал и Найдус, но его колдовство было особого порядка. Тут было что-то задумано и загадано. Не одни только деньги принимались во внимание: к нему пришла червонная дама, которая символизировала собой Тамару Алексеевну. Найдус отложил даму и тихонько подсунул под нее полтинник, а потом, подумав, положил сверху еще гривенник и сказал банкometу:

- На карте и под картою.

Банкومت кивнул головой и начал выкладывать ряды, говоря:

- Берите деньги.

- Рано вышла! - сказал Помахайлик, выбрасывая на стол карту.

- Наша возьмет! - подбадривал Зязульский Лобановича.

- Гони сюда! - крикнул Тарас Иванович и отвернул свою карту, под которой лежал рубль.

- Вот угадает поставить! - удивился банкومت, отсчитывая три рубля.

- Я же тебе четыре просадил.

В четвертом ряду взял король Лобановича на пять копеек. Все смеялись, а Зязульский сказал:

- Мы еще девятый ряд возьмем. Пять копеек заработал - и то хорошо.

С замиранием сердца все ждали девятого вала. Банкومت посмотрел в сторону Тараса Ивановича и Найдуса.

- Не дать бы им...

- Нам давай! - кричал Зязульский

- А у вас что?

Лобанович показал девятку.

- Ваша! - радостно крикнул Базыль.

- А что?

И Зязульский начал многозначительно подталкивать локтем Лобановича, а игроки со злостью бросили карты.

Бедный Найдус хотел незаметно взять полтинник из-под своей карты, но банкомет зорко следил за ним.

- Гони, гони! - и забрал полтинник и гривенник.

Тарас Иванович поинтересовался картой, на которую ставил Найдус, хотя тот и очень не хотел выдавать свою тайну.

- Ха-ха-ха! - хохотал Широкий. - Тамара Алексеевна, зачем вы подвели Найдуса? - и показал ей червонную даму.

- Стучу! - кричал банкомет. - Променад!

Это означало, что банк устроился и будет последняя сдача карт.

- Продул, брат, выигрыш и свои пятьдесят копеек, - грустно признался Садович приятелю.

- Спущу еще рубль - и баста... Ты, брат, молодец, девятый вал взял.

- Ведь и ты же взял.

- И еще возьму! - храбрился Садович.

Базыль роздал карты. Банк его увеличился. Найдус покраснел, даже побагровел, - видимо, намеревался поставить высокую ставку. Зязульский тем временем давал Лобановичу советы, сколько и на какую карту ставить. Поставили весь предыдущий выигрыш. Садович также увеличил ставку и вместо рубля поставил два. Тамара Алексеевна казалась совершенно спокойной, но очаровательная улыбка сбежала с ее губ. Только теперь игра достигла высшей степени напряжения.

Тревожно окинул Базыль глазами поле своих противников. В банке было рублей двадцать. Хотелось сохранить этот банк, снять как можно больше. А игроки жадными взглядами окидывали кучу денег, каждому хотелось как можно больше выудить оттуда.

Банкомет закурил. Ему везло, даже девятого ряда никому не дал. Положив последнюю карту, он собрал "мазы" из-под карт и обеими руками придвинул к себе деньги.

- Нахвтал, как жаба грязи! - с завистью проговорил Найдус, хотя он немного отыгрался на этот раз.

Лобанович спустил свой выигрыш, но Зязульский поддавал ему жару:

- Выиграем еще! Ты меня только слушай.

Садович тихонько подошел к Тарасу Ивановичу и напомнил ему о трех рублях долга.

- Братец ты мой родненький! Я же голый остался, семь рублей просадил! Обожди немного.

Если на первый банк банкометов не находилось, то теперь их вызвалось целых три.

- Я держу банк! - загорланил Помахайлик.

- Банк ставлю я! - засуетился старшина.

- Шиш одному и другому! - загремел Тарас Иванович и схватил карты, расчищая место за столом.

- Я первый сказал!

- Поставишь еще, черт тебя не возьмет! - сказал Широкий и положил на стол три рубля.

Помахайлик скривил губы.

- Это черт знает что! Из рук вырывать карты... Бочка! - добавил он, понизив голос.

- Заткнись, кадило... добросмердящее! - Тарас Иванович повернулся к Помахайлику, окинув его грозным взглядом.

- Тише вы, все наиграетесь! - ласково, примирительно проговорил Зязульский.

Широкий начал раздавать карты.

- Тебе сколько дать, масло ты лампадное? - спросил он Помахайлика уже примирительным тоном.

- Не хочу на твой банк карты брать! - Помахайлик сидел надувшись.

- Каяться будешь: карты везучие.

- Ну, давай! - Злость у Помахайлика прошла.

- Пива, горло промочить!

- Базыль, посылай за пивом!

Базыль не спорит. Он ничего не имеет против пива и отсчитывает деньги на дюжину бутылок: ведь он же выиграл.

На сцене появляется Есель, исчезает, а через недолгое время тащит полную корзинку пива.

Банк Тараса Ивановича тянется долго. Деньги приходят и уходят. Садович несколько раз принимается шарить в своих карманах. Зязульский дипломатично отодвинулся подальше от своего ученика: его "учительские" советы оказались напрасными.

- Ну что? - спрашивает Садович приятеля.

- Плохо, брат, - трясет головой Лобанович.

Они отходят от стола, пьют пиво. Вид у них далеко не геройский.

- Знаешь, брат, десять рублей продул. У тебя есть деньги? - спрашивает Садович.

- Слабо, брат.

Выпивают еще.

Пиво дурманит усталые головы, становится немного веселей. Перед глазами стоят фигуры карт, в ушах звенят деньги, а там, где-то внутри, в глубине, что-то ноет, болит, и беспокойные мысли снуют в голове. А голос соблазна шепчет: "Еще все можно поправить, вернуть свои деньги..."

"Эх, вернуть бы свои деньги!"

Садович дымит папиросой. Лобанович присматривается к игрокам. Теперь у них не человеческие лица - хищные, жадные, потемневшие от табачного дыма. Лицо Тамары Алексеевны осунулось, она словно постарела. Лобанович думает, рисует мысленно образ ее в старости... Противно!

За столом шум, ругань.

- Променад! - гремит Тарас Иванович. -

- Одолжи мне рубль, - говорит Садович.

- Знаешь, брат, что, - отзывается Лобанович, - давай втихомолку, как побитые собачонки, пойдем домой.

- Я чувствую, что отыграюсь. Одолжи рубль. Попробуем еще.

Они идут к столу, берут карты. И в самый торжественный момент последней раздачи открывается дверь. На пороге останавливается новый гость, снимает поношенную шляпу, кланяется, и по всем уголкам класса разливается насмешливый голос:

- Добрый вечер, герои зеленого поля!

VI

Местным "интеллигентам" человек, стоявший сейчас возле порога, был хорошо знаком, его появление никого не удивило. На его приветствие никто не отозвался - все были в горячке последней сдачи карт. Новым он был только для молодых учителей. Из сумрака, царившего возле двери, он вышел на середину класса, где было светло.

Лысый, лоб крутой, морщинистый. Сам сутуловатый, приземистый. Одет бедно, но интеллигентно. Сверху темная, на концах рыжеватая, борода его начиналась чуть ля не от самых глаз. Брови нависшие, густые. Лицо в общем угрюмое, но выражение его переменчиво. Глаза беспокойные, порой глядят как-то дико, и их выражение часто меняется. Из ушей торчат целые кусты густых волос. Говорит четко, выразительно, гладко, даже красноречиво. Во время разговора, разгораясь, звонко бьет ладонью о ладонь. На вид ему лет под пятьдесят. Это был не кто иной, как "редактор". Настоящая же его фамилия была Бухберг.

Редактор тоже был учителем. У него вышли нелады с правоверными представителями народа Иеговы, сыном которого он был, и школу пришлось оставить. Он резко нападал на многие нелепые обычаи своего народа, жестоко высмеивал его предрассудки, суеверия и, словно древний библейский пророк, бичевал его косность и консерватизм. Противники

называли его "мисюгинэ", что значит "сумасшедший", и хотели побить камнями. Однажды произошла у него рукопашная стычка с ними, но он разметал их силой и крепостью кулаков своих.

Никто не оказывал ему помощи, и редактору приходилось очень тяжело. Но он гнул свою линию и ни на какие компромиссы не шел. Он стал корреспондентом провинциальной газеты и вскрывал "язвы на общественном теле". Но редактор не удовлетворялся ролью корреспондента. В его голове носилось множество разных идей. Одна из таких идей - приступить к изданию панямонской газеты. Он развивал и пропагандировал эту идею среди панямонской интеллигенции. Но слова его падали на каменистую почву и засыхали, не давая всходов, так как никто на них не откликался. Тогда редактор махнул на всех рукой и взялся за издание газеты сам, один. Его газета называлась "Панямонские ведомости". Вся она, от начала до конца, составлялась самим редактором. Газета выходила раз в две недели. Тираж ее был от десяти до пятнадцати экземпляров. Рассылалась она не по почте, сам редактор приносил ее на квартиры своих подписчиков в рукописном виде. Цена номера значилась: "10 копеек".

Отношения между редактором и подписчиками были довольно странные: подписчики побаивались редактора, а редактор побаивался подписчиков, как бы они вдруг не отказались покупать его газету. Редактору приходилось проявлять необычайную изобретательность, хитрить, пускаться на всякие выдумки, выбирать направление и форму своих произведений в соответствии с панямонской жизнью и с характером самих панямонцев. Редактора часто можно было видеть в разных уголках Панямони. Ходил он серьезный, задумчивый, ко всему присматривался, прислушивался и время от времени что-то записывал в свою потрепанную книжцу, пропитанную потом.

Редактор остановился возле стола, широко развел руками.

- Что я вижу! Борьба на зеленом поле... О, люди, люди! Как далеко ушли вы от законов разумной жизни!

- Да, дорогой редактор, жизнь - это извечная борьба. И горе тем, кто будет побежден! - высокопарно ответил Тарас Иванович. Он даже не повернулся в сторону редактора и не все слышал, что тот сказал: нужно было следить за платою.

Помахайлик добавил:

- В поте лица своего будешь ты есть хлеб свой.

- Не трудящийся да не ест, - вставил и свое замечание Найдус.

Редактор словно не слышал ничего этого и продолжал:

- Там, за этими стенами, великий дом природы. Потолок его - небо, украшенное звездами. Пол - земля, где слышится дыхание трав и цветов. Там простор, не имеющий границ. Там книга извечной мудрости раскрывает свои тайны. Вы, у кого есть уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть! Идите на простор, расправьте крылья мысли, чтобы познать порядок вещей и отряхнуть мусор, грязь и пыль, которыми ослеплены ваши глаза, ибо вы заперлись в тесных стенах, вы пришли в курятник, полный смрада, вы отравили в нем воздух своим дыханием.

- А сам редактор зачем пришел в курятник? - спросил Найдус, не спуская глаз с карт.

- Чудак, чудак, а что-нибудь да сморозит наш редактор! - откликнулся сиделец и засмеялся в усы.

И эти слова редактор пропустил мимо ушей. Он трагически потряс лысой головой.

- Эх, люди, люди! Очерствело сердце ваше, и уши плохо слышат. Как далеко, говорю вам, стоите вы от жизни! И если вы, соль земли, утратили соленость, то что сказать о малых сих? Я вижу трупные тени на ваших лицах. Рука жадности кладет на них свою печать и выпускает зверя из глубины вашего существа. Бессонные ночи записывают на них долг свой, и вы отдадите его преждевременной старостью и болью измученного тела...

Редактор все еще говорил, но его никто не слушал. До ушей игроков долетали только звуки слов, но не значение их: звон серебра и шорох бумажек заглушал их. К этому

бичеванию редактора панямонцы привыкли, считали его обычным явлением, сам же редактор был для них человеком, у которого "не все дома". Что же касается Лобановича, то для него эти слова звучали болезненным укором, он чувствовал их горькую правду. Тарас Иванович уступил место банкету Помахайлику. Он очень удачно устроил банк, после чего пошел пить пиво.

Редактор замолчал. Глаза его погасли, он отвернулся в сторону, опустил голову и задумался, а затем надел порывевшую шляпу и молча вышел, ничего не сказав. В "Хронике панямонской жизни" нужно было сделать кое-какие добавления. Он пошел домой, в свою тесную каморку, зажег огарок свечи и стал просматривать свою газету - наступал срок ее выхода в свет. Перед редактором лежал исписанный лист бумаги. Крупными буквами вверху этого листа было начертано:

ПАНЯМОНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Газета начиналась с передовицы, помеченной:

"Панямонь, 10 мая.

Наше местечко - довольно значительный центр в волости. По переписи 1897 года в нем значится две тысячи восемьсот сорок человек населения. Принимая во внимание естественный прирост, мы не сделаем большой ошибки, если скажем, что теперь Панямонь имеет три с половиной тысячи населения. Между тем в местечке имеются только две начальные школы: двухклассная министерская и одноклассная женская. Само собой разумеется, что эти школы не могут, далеко не могут обслужить интересы населения в смысле удовлетворения его нужд в отношении просвещения. Назрела настоятельная, неотложная потребность в открытии новых школ в Панямони.

Встает вопрос: какую же школу мы должны пропагандировать в Панямони? Какая школа более всего отвечает нуждам и интересам местечка и волости?

Редакция "Панямонских ведомостей" берет на себя смелость заявить и тем самым выразить общее пожелание граждан Панямони, что такой школой может быть только гимназия или прогимназия, но, во всяком случае, не ниже прогимназии.

Как показывают факты, ни в какой другой волости не замечается такой тяги молодежи к науке, как в Панямонской. Чем это объясняется? Волость наша малоземельная, земля неурожайная. Стало быть, в основе этого стремления молодежи к науке лежит экономический фактор. Ну, факторы, разумеется, могут быть разные: Довид Пинхалес также был "фактором" [Игра слов. Здесь фактор - посредник, маклер, торговый агент (евр.)], а теперь он открыл свою лавку... Но мы отклоняемся от нашей темы. Куда же идет наша молодежь? Где находит она удовлетворение своим стремлениям, своему желанию? Широкой волной плывет она в учительские семинарии, в городские училища, плывет за десятки и сотни верст пешком, с лаптями за плечами, без копейки в кармане. Но только немногим счастливицам удается попасть в эти школы, подавляющее большинство молодых людей остается за порогом школы.

Сколько горя, сколько трагедий переживает наша современная молодежь! Отсюда и ясно, что наша Панямонь должна иметь школу повышенного типа, а такой школой может быть гимназия. Надо дать ход нашей молодежи. Шире дорогу в храм науки! Пусть же расцветет Панямонская гимназия!

По волости

Нам сообщают, что на хуторе Прануки было уже два случая кражи лошадей у крестьян. Полиция во главе с нашим бравым уважаемым урядником Тупальским принимает энергичные меры к поимке воров. До сего времени напасть на их след не удалось.

Крестьяне деревни Красный Берег уже давно судятся с администрацией князя Радзивилла за сервигутное пастбище. Последние гроши вытягивают из них разные доморощенные адвокаты, но толку из этого нет. Окружной суд приговорил отнять пастбище у крестьян. Крестьяне переносят дело в судебную палату.

Не мешало бы вспомнить тут всем известную поговорку: "С богатым не судись".

В последние дни в связи с сухой погодой начали гореть радзивилловские леса.

Католическое население волости, администрация князя Радзивилла, мелкие арендаторы, а также и шляхта предпринимают меры к открытию в Панямони костела, закрытого в 1863 году. Как нам удалось узнать, костел будет открыт, уже назначен ксендз Кисля.

По местечку

У Малки Шулькиной позавчера был произведен обыск. Агенты акцизного надзора искали водку был сделан донос, что Шулькина содержит тайный шинок. Найдены полбутылка водки, пять поджаренных тараней, хвост, ребра и голова от селедки. Написан протокол.

На Юрьевской ярмарке произошла упорная драка между нашим панямонским чемпионом Петрусем Моргуном и крестьянами деревни Чихуны. Несмотря на то, что перевес был на стороне чихуновцев, наш чемпион, выхватив из тележки шкворень, разогнал их, и полная победа осталась за нашим чемпионом.

Как видно, мы вступаем в полосу милитаризма: народ сражается шкворнями, а мозг этого народа - интеллигенция упражняется в стратегии на "зеленом поле".

Во всяком случае начальству стоило бы обратить внимание на чемпионов шкворня и "зеленого поля" и выдать им медали за храбрость.

Немного фантастики

Возле подножия известковой горы, неподалеку от кладбища, время от времени появляются таинственные фигуры молодой пары. Многим из жителей случалось встречать их там вечерами. Кузнец Хаим был напуган ими и от страха заболел.

Интересно отметить, что в то время, когда появляются эти фигуры, больные панямонцы не могут достучаться на фельдшерский пункт, касторка остается без употребления, а страдания и болезни без лечения".

Пока редактор дочитывал и поправлял свою газету, огарок свечи совсем догорел. Белое пламя дрожало, качалось, поднималось и падало. Вдруг с неожиданной, последней силой оно снова вспыхнуло и тотчас же в изнеможении поникло.

Редактор перевел глаза на огонь, смотрел на его последнюю, предсмертную вспышку. И было что-то трагическое в этой борьбе жизни и смерти. Редактор смотрел и качал головой. Нет, не подняться тебе со дна жизни, кончились, истощились твои жизненные соки... Фитилек упал на стол, огонь совсем поник, но задержался на мгновение, снова поднялся, осветил напоследок газету и исчез, как бы захлестнутый глухим, враждебным мраком. И тесная каморка редактора, и двор за окном каморки слились в одно темно-серое пятно.

Редактор открыл окно, опустил лысую голову на руки и долго сидел неподвижно. И только когда на востоке засветлело небо, он вздохнул, закрыл окно и лег на свою жесткую постель.

VII

Земля еще нежилась в сонном сумраке весенней ночи и небо едва-едва начинало светлеть на востоке, когда молодые учителя выходили из Панямони. Сумрак скрывал измученные, бледные лица: дорога, бессонные ночи, запоздалое раскаяние и неудачи на "зеленом поле" наложили на них свою печать. Из компании панямонцев друзья ушли тайком, незаметно,

ни с кем не простившись, потерпев жестокое поражение на всех "тефталевских" позициях, вышли из строя полными инвалидами.

Спокойно, равнодушно встретили друзей молчаливые панямонские улицы и дома на этих улицах, и только холодный песок многозначительно и, казалось, сокрушенно шуршал под их ногами.

Некоторое время друзья шли молча. В их карманах была пустота, в голове - молотилка, в глазах мелькали разные фигуры карт, а на душе, как говорится, кошки скребли.

- А, чтоб оно, брат, сгорело! - проговорил наконец Садович. - Не стоило сюда заходить.

- Ну, ничего, брат, бывает хуже, - откликнулся Лобанович: что мог он еще сказать? - Что прошло, того не воротишь, и нечего теперь раскаиваться. Хорошо уж и то, что хоть почувствовали смрад местечкового болота... Тьфу, мерзость! Ну его к черту!

Видно было, что у Лобановича не так спокойно на душе, как он хотел это показать.

- Ты помнишь, Старик, как нам диктовал когда-то Корзун: "Чист кругом я, легок и никому не нужен"? Теперь и мы с тобой такие же - чистые, легкие и никому не нужные.

Садович громко засмеялся. Его басовитый смех подхватили просторы панямонского выгона, понесли под мосты и перебросили на ту сторону Немана.

- Все это еще пустяки, Алесь. Наши капиталы, которые перешли сегодня в чужие карманы, не так велики, чтобы о них сильно горевать. Но дело не в этом - слизняки мы, безвольные люди, без твердой почвы под ногами. Вот где наше слабое место! Меня это мучит гораздо больше, чем поражение на "зеленом поле"... И вот же, знаешь, сознаешь все это и тем не менее делаешь то, от чего потом становишься противен самому себе. Почему это так?

- У человека много таких противоречий, - заметил Садович, - думаешь одно, а делаешь другое. От этого и конфликты возникают с самим собою.

- Ну, а скажи, Алесь, если бы мы с тобой выиграли так рубликов по двадцать, какое было бы у нас самочувствие?

- Го! - басом выкрикнул Алесь. - Тогда, брат, мы бы козырем шли, черт побери! Даже если бы ничего не выиграли и не проиграли, и тогда был бы иной коленкор.

- Значит, все зависит от результатов игры? Стало быть, если бы везло в карты, то играл бы и играл, и никаких тебе самоанализов, угрызений совести и вообще никакого черта?.. Если так, братец, значит швах наше дело!

Садович хотел еще что-то сказать, но внимание его было отвлечено чем-то другим, а может, просто продолжать этот разговор не хотелось. Он вдруг остановился, набрал полную грудь воздуха и закричал во всю силу своих легких, старательно выводя две ноты, даже с претензией на некоторую музыкальность!

- Э-э-э-ву-у!

Сырой утренний воздух всколыхнулся над росистым лугом, подхватил это "э-ву", понес его в лес, стоявший довольно далеко за Неманом. Краем леса прокатилось задорное эхо, притихло, а затем повернуло назад, пробегая вдоль кромки другого крыла леса и, наконец, совсем замерло.

- Хорошо выходит! - забыв все на свете, восхищенный гулкостью и отчетливостью утреннего эха, проговорил Садович и крикнул еще раз.

- А ну, давай крикнем вместе!

Несколько раз они крикнули вместе и, замерев, слушали, как разносилось эхо и будило утренний покой молчаливых окрестностей.

- Вот где, брат, красота! Раздолье! А какой здоровый воздух! Ну прямо будто заново на свет родился. Чувствуешь, как жизнь родником бьет в каждой твоей жилке! - продолжал восхищаться Садович.

Миновав мосты, друзья повернули направо. Разулись, - ведь дорога теперь шла лугом и вдоль нее стояла высокая росистая трава. Босиком зашагали дальше, похваливая и дорогу, и росу, и свежий утренний воздух, наслаждаясь возможностью ступать босыми ногами по мягкой дороге.

Чем дальше они отходили от Панямони, тем спокойное становилось у них на душе и все больше поддавались они очарованию дороги, чудесных картин природы, которые открывались их взорам. Один край луга соприкасался с лесом, врезался в него, образуя дугообразные луки и увеличивая свои травянистые просторы. И вдоль и поперек луг пересекали узкие, длинные и глубокие тони, заросшие аиром, камышом, тростником и мягким, поникшим лозняком, где скрывались разные луговые птицы. Серебряной лентой извивался Неман, то подходя к самому лесу, подмывая корни деревьев, то разливаясь посреди луга, то подступая к пахотному полю, опоясывая блестящим живым поясом его песчаные склоны. То здесь, то там среди луга виднелись холмики-островки, где буйно росли кусты орешника, бересклета, черемухи и крушины, темнел молодой, сочный дубняк, а самая понизь устилалась мягкой луговой конопелькой, которая зацветает летом такими красивыми синенькими цветочками.

Эх, как широки просторы наднеманских лугов! Кое-где над раздольем зеленого моря, как стражи, возвышались могучие фигуры пышных одиноких деревьев, преимущественно дубов, а местами попадались и целые дубовые рощи. Много здесь для них простора и солнца. Есть где развернуться их могучим корням, стволам и ветвям.

Среди этих деревьев особенно бросалась в глаза путнику огромная древняя сосна, стоявшая совсем одиноко на высоком холме неподалеку от Немана. Толстый, гладкий, словно выточенный, ствол с корой наподобие своеобразной черепицы высоко поднимал свою вершину, заломив ее набок под прямым углом; на этом изломе смастерил себе долговечное гнездо аист. От всей этой одинокой сосны, в особенности от ее вершины, склоненной в сторону леса, всякий раз веяло на Лобановича глубокой печалью, словно возложила она какое-то бремя на свои плечи и склонила под ним голову.

На лугу было пусто и безлюдно. Одни только коростели не знали отдыха и не жалели горла. Друг перед другом, спрятавшись в траве, "драли" они свои однозвучные, скрипучие песни, словно весь смысл их жизни состоял в том, чтобы перекричать друг друга.

- Драч-драч! Драч-драч! - и так без конца, без отдыха.

Светало.

Прибрежные кусты все отчетливее вырисовывались, выплывали из утреннего сумрака, все шире разворачивались красивые пейзажи, полные радостного покоя и молчаливой задумчивости.

Дорога повернула влево, пошла холмами, плотнее прижимаясь к Неману, особенно в том месте, где он, описав очень красивую луку, подходил к лесу. Вся эта лука выглядела пышным старинным садом, где вместо плодовых деревьев росли развесистые, дуплистые дубы, украшенные черными шапками аистовых гнезд. Порой эти гнезда, зажатые в развилках высоких оголенных сучьев, высоко поднятых над зеленой кроной дуба, начинавшего сохнуть сверху, казались какими-то странными надвесками над дубами, так как сами высохшие сучья, на которых они держались, были невидимыми на далеком расстоянии и терялись в прозрачных волнах воздуха.

Изогнувшись еще раз возле леса очень красивой дугой, Неман забирал вправо, вытянувшись ровной блестящей лентой между лугами и пахотным полем. Возле одного конца дуги стояли кудрявые, пышные сосны, свесив над водой зеленую бахрому ветвей и оплетая песчаный берег целой сеткой смолистых корней. За ними тянулся молодой, сочный кустарник, перемежаясь со старым лесом. То здесь, то там над зеленым морем молодого сосняка высоко поднимались зонты - верхушки старых сосен, которые словно оглядывали зеленые полчища своей молодой смены, радуясь ее жизненной буйной силе. И этот молодой сосняк, и этот лес, и эти разбросанные среди кустарника старые сосны сливались в одну темно-зеленую стену, которая, причудливо изгибаясь, охватывала полукругом песчаное поле с раскинувшимися на нем молчаливыми пригорками. И надо всем этим лежали тишина и покой раннего утра.

- Стой, брат Алесь, - остановился Лобанович, восхищенный покоем утра и красотой того, что было вокруг. - Ты посмотри, что за любота!

Лобанович показал рукой на восток, где сквозь просветы далекого леса виднелся позолоченный край неба, омытый майскими росами, и выступала целая вереница окутанных синеватой дымкой пригорков.

- Эх, что за места! - начал он и вдруг прервал самого себя: - Слушай, брат, слушай!

Над краешком леса, где начинались желтые пески, зазвенела песня лесного жаворонка, который первым приветствовал приход дня. Звоном какого-то чудесного драгоценного металла разливалась его песня в неподвижном воздухе, в ясно-синих просторах над радостно притихшей землей. Казалось, все вокруг замерло, замороженное чудесными звуками песни этого вольного певца перелесков и песчаных лесных полей. Взлетая высоко в небо, роняла птишка мягкие, ласковые мелодии, сотканые из звона серебряных струн, из бульканья лесных ручейков, из звона пчелиных крылышек, шороха цветов. И - все эти звуки сплетались в песне жаворонка так гармонично и так своеобразно, что она доходила до самых затаенных глубин сердца и затрагивала самые тонкие струны души.

Никакая другая птица, даже прославленный соловей, не может сравниться в пении с лесным жаворонком. Только свои песни он поет в безлюдных местах, где редко бывает человек и мало кто слышит их. Мелодии его песен необычайно богатые, разнообразные, удивительно красивые и такие ясные, такие четкие, выразительные, что их можно положить на ноты, а художник-скрипач, вероятно, смог бы исполнить их на скрипке, но оттенки их тонов, их окраску не сумеет передать никакой музыкальный инструмент.

Лобанович стоял и слушал как зачарованный этот печально-радостный гимн утру, который каким-то странным эхом откликался в его сердце. Казалось, он когда то уже переживал то же самое, что звенело теперь у него в душе, только никак не мог припомнить, когда это было. Или это ему только снилось?

- Из-за одного такого утра стоит не поспать еще одну ночь, - проговорил он наконец и взглянул на Садовича, который уже тянул его за рукав и повторял:

- Пойдем, брат.

И они пошли.

В двух верстах перед ними раскинулось их родное село Микутичи.

- Выспимся, брат Старик, после всех этих огорчений, отдохнем и тогда будем думать, как быть дальше.

- Не вспоминай ты о них. Все это трын-трава. Мало ли что было, и это надо пережить. Для меня вся эта панямонщина словно какой-то скверный сон.

Чем ближе подходили они к Микутичам, тем сильнее овладевали ими думы и настроения родного села, и каждый по-своему переживал их.

- Знаешь, брат, останусь я здесь учителем. Что ты на это скажешь, Старик?

- Почему тебе вдруг пришло это в голову?

- Свое, знаешь ли, село, свои люди. Буду работать для своих.

- А я на твоём месте не остался бы здесь, - заметил Лобанович.

- Почему?

- Да так, мне здесь неинтересно. Все давно знакомо. Я люблю побывать в новых местах, среди новых людей.

- Нет, брат Старик, здесь и дешевле прожить можно. Будешь себе столоваться у отца, можно и копейку припрятать. И тихо, соблазнов нет, а я хочу серьезно взяться за науку.

- Неужто мы, Алесь, такие безвольные, что не можем устоять против этих соблазнов? Ведь это же и есть признание своего бессилия, если ты боишься соблазнов.

- А зачем бороться с ними, если этого можно избежать? Борьба, да еще с неверным результатом, потребует затраты, ненужной затраты энергии и будет всегда мешать той или иной работе над собой. А здесь, в наших Микутичах, никого нет, кто потащит тебя играть в карты, пьянствовать... Нет, брат, это идея! А место здесь как раз освобождается. Подам прошение - и баста.

- Ну, разумеется, и здесь будешь жить. Все это дело вкуса, - примирительным топом ответил Лобанович, спорить ему не хотелось. - Может быть, ты и прав. А если у тебя есть еще и охота жить здесь, тем лучше - будем иметь летом штаб-квартиру.

Живой, горячий человек, Садович быстро увлекался новыми мыслями и планами.

- Знаешь, брат, серьезно: давай, не теряя времени, займемся подготовкой. К нам присоединятся еще хлопцы... Или, знаешь, сговоримся человек пять-шесть, сложимся и наймем репетитора. Что скажешь на это?

- Надо подумать. Может быть, твоими устами глаголет истина.

Садович увлекся новыми планами и весь остаток дороги горячо говорил о них.

VIII

Не доходя немного до села, приятели простились. Садович пошел дальше один, а Лобанович свернул с дороги и направился к маленькому хуторку, одиноко стоявшему в воде неподалеку от Немана. Здесь жили его родные.

Хуторок был построен недавно на арендованной княжеской земле. Три года назад выгорели Микутичи, и тогда дядя Мартин решил построиться здесь, где было просторнее и покойнее. За это время хуторок не успели еще обжить, упорядочить по-настоящему, и он имел довольно убогий и пустынный вид, не было даже ни одного деревца возле хатки, хотя ямки для них и выкопал дядя Мартин.

Сотнями знакомых глаз глянул хуторок на учителя, глянул, казалось, укоризненно: ведь он, Лобанович, забыл об этой бедности, занятый собой, своими мыслями, своей замкнутой личной жизнью, хотя еще в прошлом году мечтали они с дядей Мартином завести здесь садик, а в садике пчельник. Вспомнил Лобанович такие же свои возвращения домой, когда он еще учился в семинарии, и сразу почувствовал, что попал в самый центр домашних забот, жалоб на тяжелую жизнь, на бедность. Радость встречи с родными охлаждалась этими мыслями и чувствами, которые заглохли было, пока он находился за пределами родного угла, уступили место другим. Как-то сама собой пришла на память Панямонь и пустая трата денег, правда небольших, но в такой бедности имеющих большое значение. Это еще понизило и без того упавшее настроение молодого учителя.

На хуторке день только начинался. Ворота гумна были открыты, и оттуда доносилось жадное "хрум-хрум, хрум-хрум". Это дядя Мартин резал сечку на самодельной соломорезке, - видимо, собирался ехать пахать паровое поле.

Первым заметил Лобановича пес Шукай. Сорвавшись с места и бросившись к путнику со злыми намерениями, начав свое собачье приветствие сильным, громким лаем, который обычно предназначается незнакомому человеку, он вдруг оборвал злобный лай, притих на мгновение, чтоб лучше взглянуть в пришельца, завилял хвостом и с радостным визгом бросился встречать гостя. Встреча с одной и с другой стороны была самой сердечной. Шукай визжал, вертелся, прыгал, клал свои лапы на грудь Лобановичу, стараясь лизнуть его в губы, что наконец ему и удалось, - и это усилило его собачью радость.

Дядя Мартин бросил резать сечку и вышел на пригуменье. По визгу Шукай он догадался, что хутор навестил свой человек. Увидев племянника, которого он очень любил, дядя Мартин засветился радостью и заранее развел в стороны усы, чтобы освободить попросторнее местечко для поцелуя, шершавой ладонью вытер губы и, остановившись возле калитки, приготовился как подобает встретить гостя.

- Ну, здравствуй, Андрей!

Дядя и племянник крепко обнялись.

- На все лето приехали? - спросил Мартин, обращаясь к племяннику на "вы".

- На все лето... Ну, как здоровы и что у вас хорошего?

- Ничего, брат, живем понемногу.

- Чемодан я оставил на вокзале, а сам пешком пошел. На станции с Алесем Садовичем встретились и вместе домой шли, - словно оправдывался Лобанович за свой "порожний" вид.

Мать в это время в хлеву заканчивала доить корову. Услыхав лай Шукая, а затем голоса возле калитки, она сразу же подумала, что это их Андрей приехал на лето, - ведь и сон такой приснился ей сегодня. Она торопилась закончить доение и в ту минуту, когда дядя Мартин здоровался с племянником, вышла из хлева с подойником и, прикрыв его фартуком, быстро пошла в сени и тотчас же вернулась, чтобы поздороваться с сыном.

- Сыночек мой!.. Вернулся!

Лобанович поцеловал ей руку.

- А я дою корову, слышу - Шукай забрежал и сразу стих, визжать начал. Так мне и тюкнуло, что это, наверно, ты...

Мать подробно описала свои недавние предчувствия и даже сон рассказала, идя в хату вместе с дядей Мартином и Андреем. На пороге встретились с Юзиком, младшим братом Андрея. С кнутом в руке и с торбой за плечами он шел выгонять в поле коров.

- Здравствуй, Юзик! - поздоровался с ним старший брат.

Юзик улыбнулся, повернув в сторону брата смуглое лицо и обнажая ряд белых зубов. Лицо его казалось немного смущенным.

- Выгоняй, выгоняй, брат, скотину, - заметил дядька Мартин. - Солнце вон уже высоко над лесом стоит.

Хата была еще не прибрана, и не все еще в ней встали.

- В самый беспорядок ты, сыночек, попал, - говорила мать, словно прося прощения у сына.

- Да ведь еще и рано, - отозвался Лобанович.

- Спать привыкли долго, - строго проговорил Мартин и бросил взгляд в угол, где лежали в постелях его племянницы Маня и Настя. - Избаловала их мать, такие, пане мой, барышни! Мане было уже лет шестнадцать, а Настя года на два моложе.

- Ведь им так хочется поспать! - заступилась за дочерей мать. - Молоденькие еще, наработаются за свой век.

Ганна, мать Лобановича, была женщина добрая, работящая, заботливая, все старалась сделать сама, за всех заступалась. Она не раз плакала, когда ей приходилось будить Юзика гнать коров: ведь ему так тяжело было подниматься... Хотя на одну минутку старалась она продлить его сладкий утренний сон, а когда хлопец вставал, стояла возле него, помогала собраться и делала все, чтобы убаготворить его.

- Смолоду надо в работу втягиваться, - стоял на своем Мартин. - Ведь если вырастут лентяями, спасибо тебе за это не скажут.

Говоря так, Мартин подошел к постели. Накрывшись с головой одеялом, спал самый младший племянник и лучший приятель дяди Мартина - Якуб. Наклонившись над ним, дядя начал шептать что-то мальчику на ухо. Якуб недовольно буркнул в ответ, а Мартин залился самым, искренним смехом, после чего сказал:

- Якуб у меня - человек. Это не Юзик. Того надо с музыкой поднимать, а Якуб в один миг поднимается, если надо. Это первый хозяин в доме.

Расхваленный Якуб - ему было лет шесть - показал головку из-под одеяла, блеснул на брата темными глазками, улыбнулся и снова спрятался.

- Мама! Иди сюда, - позвал он мать.

Мальчику нужна была какая-то одежда, он решил вставать, чтобы оправдать свою репутацию хорошего хозяина и работника.

А дядя Мартин рассказал тем временем, как Якуб искал червяков, собираясь удить рыбу, переворачивал гнилые бревнышки и, если под ними червяков не оказывалось, говорил сам себе: "Тут тоже нету".

Случай, казалось бы, ничем не примечательный, но Мартину он почему-то врезался в память, а это "тут тоже нету" вызывало у него всякий раз веселый смех.

Дядя Мартин был еще не старый человек. С утра до позднего вечера трудился он не покладая рук. То в поле, то возле дома возился. В более или менее свободное от полевых работ время плотничал или занимался столярной работой, имевшей непосредственное отношение к хозяйственным делам: то телегу мастерил, то соху чинил, в хлеву или на гумне порядок наводил, не то в хате либо в сенях какие-нибудь полки, подмости делал. Просто что-нибудь изобретал для большего порядка в хозяйстве. Короткие перерывы в работе использовал Мартин для дел рыбацких, благо Неман был, как говорят, под самым боком. А рыбацкая снасть - сетка, нересты, удочки - была у него отличная. В грибную пору, когда зарядит дождь и работа в поле прекратится, дядя Мартин возьмет корзину и, может, полдня проходит, зато принесет таких боровиков, что хоть вези на выставку.

- Ну, братец, отдохни с дороги. Я тебе и полати на гумне смастерил, - сказал дядя гостю, - а я поеду пахать, думаем гречиху под Клинами посеять.

Дядя Мартин уехал в поле. Лобанович некоторое время сидел и слушал новости домашней жизни. Новости нельзя сказать чтобы веселые. Наладить хозяйство так тяжело. Земля пустая, хоть и много ее, разбросана "за белым светом", только и пользы, что от узкой полоски возле дома. И этот кусок пустой, но его хоть унавозить можно. Арендная плата повышена, а платить нечем. Владя, старший брат, вот уже три недели как на плоты, на сплав пошел. А какие заработки на сплаве! Принесет десять рубликов - и то хорошо. Сколько нагорюется, натерпится! И с выпасом плохо. Везде запрет, только ступит где скотина - сейчас же штрафы плати. Ну, словом, чем дальше, тем хуже. Вообще как-то тяжелее стало жить на свете. А тут и девчата подрастают, одежду им надо справлять...

Лобановичу тяжело слушать эту грустную повесть. Он заметил, что мать стала выглядеть хуже - забот много и живется нелегко. И перед этими заботами поблекли его собственные. В глубине души он упрекал себя за то, что ничем еще не помог домашним. Правда, и помочь было трудно, жалованье он получал небольшое, а за два последних месяца и вовсе еще не получал. Тут осенила его мысль - дать знакомому лавочнику Гэсалью из Панямони доверенность на получение этого жалованья. Гэсаль охотно берется за такие дела, и хоть придется ему дать значительный процент, зато без хлопот можно получить рублей тридцать пять. Двадцать рублей он отдаст на хозяйство, а остальное оставит себе. На этой мысли Лобанович и успокоился, заметно повеселел. Да, он обязательно сделает это в ближайшее время. Может, даже завтра сходит к Гэсалью.

- Ты, сынок, вроде немного похудел, - заметила мать, присматриваясь к сыну.

- Нет, мама, это просто с дороги, я две ночи не спал.

- Тогда, сынок, выпей свеженького молочка и иди поспи на гумне.

- Да, надо, пожалуй, немного отдохнуть.

Мать принесла целую кринку молока. Якуб уже встал и смотрел на брата.

- Ну, Якуб, так много ли собрал червей?

- Я теперь знаю, где их надо искать: в дровяном сарае, под щепками, - ответил Якуб.

Вот если Андрей захочет, то он в один миг принесет их полную жестянку. Но рыба теперь лучше берет на овсяников.

- А знаешь, Андрей, где много рыбы?

- Ну, где?

- В Бервянке. Там такой омут, что и шестом дна не достанешь. Там может сосна спрятаться! Вот там и много рыбы.

- Откуда же ты знаешь, что ее там много?

- Я видел, как она там плавает. И плескает, страх как плескает!

Якуб что-то вспомнил и начал смеяться.

- Чего ты смеешься?

- Смешно было так... Дядька удил рыбу, а она как плюхнет! Я говорю: "Дядька, дядя, вон рыба плюхнула!" А дядя говорит: "Вот если бы еще плюхнула одна такая рыба, так и уха была бы!"

- Ну, довольно тебе рассказывать, пусть Андрей отдыхать идет, - сказала Маня. - Я уже постлала тебе на полатах на гумне, - обратилась она к Андрею.

- Пойдем, я тебе покажу полати, - и Якуб повел брата на гумно. - Это мы с дядей их мастерили, - сообщил мальчик. Он все время вертелся возле брата и щебетал своим детским голоском.

- Что же ты теперь будешь делать? - спросил Андрей.

- Пойду сейчас к дяде. Дядя говорил, что научит меня пахать.

- Пойдем, Якубка, пусть Андрей поспит.

Маня позвала словоохотливого Якуба и закрыла ворота.

Лобанович разделся и лег на мягкую постель. Измученное дорогой и бессонными ночами тетю давно требовало отдыха, но уснуть он сразу не мог - слишком много накопилось разных впечатлений. Нервы переутомились, а мысли одна за другой мелькали в голове и не поддавались никакому контролю.

На гумне было довольно прохладно и темновато, хотя из-под крыши сюда врывались лучи весеннего солнца, а сквозь неплотно сложенные стоны светилось ясное небо. С веселым щебетаньем залетела сюда пара ласточек, облюбовавших себе место для гнездышка, и нарушила молчание крестьянского тихого уголка. С поля время от времени доносился голос дяди Мартина, понукавшего лошадь. Возле Немана, - а он был совсем рядом, - слышалась песня Якуба, а затем его же импровизация:

Неман, Неман дорогой,
Бережок золотой,
Потеки назад!

Хорошо Якубу! Ни огорчений, ни забот. Вольный и счастливый, как солнечный ясный луч, как серебряные волны Немана, которыми он сейчас любит.

Порой на гумно врывался легкий ветерок, пошевеливая свисавшие с крыши порожние колоски и искусно сотканную паутину на стропилах. Над крышей зазвенела песенка полевого жаворонка. Знакомые, близкие картины-образы крестьянского быта, родные звуки-шумы деревенской жизни...

"Хорошо, что я дома", - мелькнуло в голове у Лобановича, и он уснул крепким-крепким сном.

IX

Все это лето Лобанович жил дома. Нельзя сказать, чтобы ему было очень хорошо. Неприятным прежде всего было ощущение, что он здесь не такой, как все, и что на него в доме смотрят как на человека иного круга. И как он ни старался стереть всякие границы между собой и родными и целиком слиться с ними, жить одной с ними жизнью, ему это никак не удавалось - сами же родные делали все, чтобы сохранить эти границы. Когда он поднимался утром вместе со всеми, чтобы взяться за какую-нибудь работу, дядя или мать замечали, что он мог бы поспать и подольше и что не его дело тянуть горемычную лямку простых людей.

- Разве же я калека? - спрашивал Лобанович.

- Калека не калека, а равняться с нами тебе нечего. Не для того ты учился, чтобы копаться в этой грязи и навозе.

Мать старалась и еду готовить гостю лучше, не обращая внимания на его протесты. Братья и сестры также держались поодаль от него, как бы чуждались его, скрывали от брата свою жизнь, свои нужды, и он в конце концов примирился с ролью отгороженного от семьи человека. В свою очередь и Андрей замыкался в себе. Один только Якуб был с ним запанибрата и знакомил его с кругом своих интересов, своих забав, со своей детской жизнью, развлекая брата своим неумолчным щебетом.

В первые дни после приезда домой Лобанович часто ходил по полю, которое они арендовали, осматривал посевы ржи, овса. Он радовался, когда видел полосы хорошей ржи или картошки, и не соглашался с оценкой, которую давали им дома, - мать и дядя Мартин, как казалось ему, склонны были преуменьшать действительные размеры возможного урожая.

Неподалеку от хаты раскинулось низкое болотце, на котором росла дикая трава. Пользы от него не было почти никакой - ни для пастбища, ни для сенокоса оно не годилось. Трудно было туда подступиться. Между пахотным полем и болотцем рос густой ольшаник, среди которого попадались малина и смородина. В тени этого ольшаника всегда веяло сыростью. Черная, как деготь, грязь выглядывала из-за высоких кочек.

"Что, если бы этой грязи натаскать на поле? - думал, бродя здесь, Лобанович. - Ведь поле совсем пустое: ковырни ногой - и достанешь желтый песок. Надо будет посоветоваться с дядей Марином".

Он начал раздумывать над тем, как бы улучшить землю. Сил маловато, а если бы перекопать землю да навозить в канавки грязи из ольшаника, наверно земля улучшилась бы и росли бы здесь хлеба, как лес.

Мысль Лобановича продолжала работать в том же направлении. Его хотя и небольшой еще жизненный опыт говорил ему о человеческой нерадивости, о косности и консерватизме деревенской жизни.

Взять хотя бы здешний народ: бедный, еле-еле сводит концы с концами, люди мучаются, бросаются в разные стороны, ища отдушины, но редко кто находит ее. Земли мало, земля неурожайная, голый песок. Все лучшие земли принадлежат князю Радзивиллу. Чувствуется острая нехватка земли, а народу все увеличивается. Чем же можно улучшить его положение? Если бы люди дружно, всем обществом, взялись за работу, они осушили бы болота, свезли песок с полей, а болотный перегной перенесли на песчаное поле - хватило бы и хлеба и сенокоса.

Постепенно мысли Лобановича с реальной почвы унеслись в заманчивый край красивых мечтаний. Он видел себя в роли человека, который сумел поднять общество, всех крестьян округи, на новую, дружную работу. Народ осушает болота, создает новые земли, проводит дороги, обсаживает их плодовыми деревьями, строит мосты, новые дома и начинает жить счастливо и богато.

Оглядывая двор и хозяйство, Андрей остановился возле сарая - под стрехой лежали три толстых обрубка черного дуба. Еще в прошлом году, купаясь, случайно обнаружил он этот дуб в песке на дне Немана. Заинтересовался находкой, принес лопату, стал откапывать. Работа подвигалась быстро, вода сама относила взрытый песок, и тело старого богатыря-исполина все больше и больше выступало из земли. Черный как уголь, толстый, ровный, гладкий дубовый ствол лежал поперек реки. Комель глубоко входил в высокий берег, и откопать его было очень трудно. Лобанович трудился с увлечением. Он ощущал даже какую-то радость, выкапывая на свет этого неизвестно когда похороненного покойника. Наверно, он очень долго лежал на дне Немана: ведь никто не помнит, чтобы здесь росли дубы, никаких следов их не сохранило время. Когда весь ствол был выкопан, принесли пилу. Дядя Мартин также заинтересовался дубом, и вдвоем они начали вытаскивать его. Вытащить дуб целиком им было не под силу, пришлось распилить его на три части. Пропитанный водой, он легко, как морковь, поддавался распиловке. Разрезанные куски выкатили на берег, где они просохли и стали твердыми, как кость.

И эти три толстенных обрубка черного дуба, ровные, гладкие, без единого сучка, лежат под крышей без всякой пользы, не находят себе применения, несмотря на свою высокую ценность. От солнца и ветра они потрескались, порыжели. Лобановичу обидно стало, что дядя Мартин не позаботился распилить на доски и использовать этот дорогой материал. Не дуба жалко было Лобановичу, а обида брала, что не используется то богатство, которое лежит возле нас, что мы не умеем дать ему надлежащий ход.

- Ничего из них уже не будет, братец. Потрескались, подлюки, придется распилить на дрова.

Такой приговор вынес теперь этим дубовым обрубкам дядя Мартин и, как бы оправдываясь, добавил:

- Нужно было сначала положить их на гумно да прикрыть соломкой, чтобы они высыхали постепенно, - тогда и не покололись бы.

Проект же племянника - подвезти черной земли из ольшаника на поле - дядя признал достойным внимания, может быть просто чтобы не обидеть "наставника". Но... здесь нашлось свое "но". Во-первых, для этого дела потребуется много сил, времени и труда. Но это еще ничего, можно было бы попробовать. Другое, более важное обстоятельство мешало такой работе: земля была не их, а арендованная. Неизвестно, что будет дальше с этой арендой, - ведь управление княжеских имений хочет использовать эту землю для обмена с крестьянами на концы деревенских полосок, которые вплотную подходят к княжескому лесу либо вклиниваются в него.

- Вот так и живешь со дня на день и не знаешь, что с тобой будет завтра. Может быть, прикажут сносить отсюда постройки. Тогда хоть возьми да подожги их, а сам надевай суму да иди нищенствовать. Нет, брат, простому человеку ни свободы, ни разгона. Их сила и их право. Служил, служил батька твой весь век, а умор - семья куда хочешь девайся... И когда им, холерам, конец будет? И будет ли? Началась бы война, что ли, или какое другое лихо, - может, людям облегчение пришло бы наконец.

Жаловался дядя Мартин, что всюду "прижим" начался.

Куда ни кинься, все в панские руки попадешь. Свет они весь загородили, а за простого человека никто не заступится.

Тяжело было слушать эти жалобы, ведь в них была неприкрытая и горькая правда. И как примирить все это с тем, что вбивалось в их головы в семинарии? Твердили же там, долбили на каждом шагу о том, как заботится царское правительство, царское начальство и сам царь о народе, как этот народ любит своего батюшку царя, как он всегда находит у него и ласку и милость. "Бог на небе, царь на земле" - вот те киты, на которых держится мир. И эту же "истину" утверждал через школу и он, Лобанович. Откуда же такая неувязка "науки" и жизни?

Лобанович припоминает слово "социалист". Он впервые услышал его в семинарии от одного товарища из Новогрудчины. Произносилось оно тихо, шепотом, а самый смысл его был окутан какой-то таинственностью. О социалистах они только и знали в семинарии, что это те пропащие люди, которые осмеливаются плохо думать о царе и о нынешних порядках.

Так проходили первые дни дома. Лобанович нигде не бывал, слонялся по двору, по полю, порой отправлялся в лес, на свои любимые места, где в грибную пору он так любил собирать грибы, но теперь их еще не было. Ходил он, ходили с ним и его мысли, его мечты и воспоминания. Покой и тишина лесной глухомани так располагают к размышлениям. Во время этих одиноких прогулок неотступно следовал за ним и образ Ядвиси, чистый, недостижимый и бесконечно милый, дорогой. Где-то она теперь? Вспоминает ли о нем? И почему все же она не написала и не сказала, куда поедет? Неужто она не хочет знать о нем ничего? Или, быть может, в Хатовичах, в волости, есть письмо от нее? Он напишет туда. Как хорошо, что такая мысль пришла ему в голову! И в сердце пробуждается надежда, что письмо ждет его в Хатовичах. Придя из леса, он пишет Дубейке и просит, чтобы вся почта пересылалась ему сюда. С этим письмом идет он в Панямонь. Заодно и другое дело можно сделать - дать Гэсалоу доверенность на получение своего жалованья и взять у него ссуду, конечно за хорошие проценты. Возвратясь из Панямони, Лобанович заметно повеселел, да и родных своих порадовал: ведь двадцать рублей деньги для них немалые.

Постепенно Лобанович вошел в колею домашней жизни. Читал, восстанавливал в памяти то, что изучал когда-то, приобретал новые знания. Иногда перед вечером ходил в

Микутичи, чтобы побыть в компании своих товарищей, а летом их здесь всегда было достаточно.

Микутичи - село большое, известное во всей округе. Стоит на песках возле Немана. Народ здесь бедный, малоземельный. Жить с хозяйства трудно, и микутичане вынуждены искать себе заработка на стороне. Но этих заработков мало. Зимой возят бревна, весной и летом ходят на сплав - гоняют плоты. Женщины и девчата собирают летом ягоды и грибы и таким образом немного зарабатывают на мелкие домашние расходы, а молодежь разбредается по свету, чтобы выбиться в люди, найти себе кусок хлеба и родителей поддержать. Выбьется один, за ним тянется другой, помогают друг другу. Железная дорога, телеграф, почта, школы разных видов, начиная от учительских семинарий и кончая высшей школой, имеют представителей из Микутич. Таким образом, в Микутичах есть своя интеллигенция, среди которой самую значительную группу составляют учителя. Нужно сказать, что эта группа наиболее тесно связана с родным селом.

Как только кончалась работа в школах, учителя съезжались на лето к родителям. Это стало уже определенной традицией, к тому же дома прожить дешевле, можно не трогать жалованья за летние месяцы, перебиться на домашнем хлебе и на отцовской каше. В прохладной тени гумен и сенных сараев находили они покой душе и отдых телу. Кто готовился в учительский институт, кто вооружался философией жизни, кто ловил рыбу на лоно природы, кто работал по хозяйству, помогая родителям, а кто просто бил баклуши. Но в горячую пору сенокоса и жатвы все они высыпали на луг, на поле, и только самые важные и солидные, пропитанные "панским духом", упорно сидели под своими крышами. А если кто и выходил в критический момент вязать ячмень, то не иначе как в перчатках, давая этим богатую пищу для шуток веселым микутичанам.

По вечерам, когда спадала дневная жара, отправлялись учителя на прогулку, ходили по улицам, а порой собирались у кого-нибудь и налаживали выпивку. А некоторые украдкой наведывались в каморки и чуланы, где имели свои резиденции избранницы их сердец. Этих избранниц называли в Микутичах "панскими девчатами", и такой порядок вещей считался здесь законным и естественным. Но трудно было сделать хоть бы один шаг по дороге любви, чтобы не стал он известен на следующий день всему населению Микутич.

Среди учительства были свои группы, которые объединялись на почве тех или иных интересов. Учителя более солидные, имевшие уже определенный жизненный опыт и проработавшие в школах несколько лет, держались своей компании и на молодых смотрели немного свысока, как люди более зрелые, более развитые и более зажиточные, если только понятие "зажиточность" вообще можно применить к деревенскому учителю.

Молодые же учителя считали своим долгом время от времени зайти к своим старшим коллегам, поговорить с ними, а иногда поспорить и показать им, что и они не лыком шиты и казенную кашу не даром ели. А в Микутичах знамя науки и репутация "развитого" человека высоко стояли среди учительства.

Первым этапом в борьбе молодежи за право называться "развитыми людьми" обычно было ниспровержение религии и бога. Может быть, в этом проявлялся протест против семинарско-поповского воспитания и славянских текстов Филарета, но кто не читал Бокля, Дарвина и Дрепера, тот просто считался неучем, человеком, который ничего не знает и с которым не о чем говорить. Микутичские гумна и сенные сараи были школой безбожия и вольнодумства.

Из сенных сараев вольнодумство проникало и под крыши крестьянских хат. Степенные люди вначале укоризненно качали головами, услышав о какой-нибудь безбожной выходке того или другого учителя:

- Чему же они детей научат, если сами творят невесть что?

А потом привыкали и говорили:

- А может, и взаправду нет бога.

И, наконец, просто смеялись, как, например, в случае с Иванком Перегудом. Его мать - богобоязненная женщина. Болело ее сердце, что Иванок в церковь не ходит, попа

кудлатым чертом называет, а если его порой спросят о чем-нибудь, то он ответит: "А черт его святой знает".

- Ах, как ты нехорошо говоришь, сынок! Ты же учитель и сам должен знать, что это грех.

- Что значит "грех"? - отвечает Иванок. - Может быть, ты скажешь, что и сало есть в пятницу - грех?

- А ты спроси у батюшки, что он тебе скажет?

Иванок презрительно щурит глаза.

- Буду я спрашивать у этого волосатого остолопа!

- Побойся бога, сынок! Что ты говоришь? Ведь он служка божий.

- Не боюсь я того, чего на свете нет.

- Дух святой с нами, пресвятая богородица!

Мать крестится, пятится назад, а Иванок наступает:

- А ты видела бога? Так скажи, какой он. На кого похож - на коня или на корову?

Мать пятится и тихо шепчет "Отче наш". Она не может забыть этот тяжкий грех сына, втихомолку молится за него богу.

- Сынок, - говорит она спустя некоторое время, - пойди в церковь, помолись. На тебе сороковку [Сороковка - двадцать копеек], поставь, сынок, свечку в церкви.

Иванок пропил эту сороковку в сенном сарае с друзьями, а матери сказал:

- Я тебе, мама, потом пять рублей дам за твою сороковку, но теперь я пропил ее: лучше пропить, чем отдать попу.

Х

Возле самого села, размывая концы улиц, течет Неман. Развесистые, кругловерхие вербы, подняв над водой корни, обступают пологий песчаный берег. На улицах сыпучий песок. Грязи здесь почти не бывает никогда, но, если поднимется ветер, целые облака пыли стоят в воздухе.

Шумно илюдно на берегу Немана. С утра и до вечера голышами возятся, кувыркаются дети то в песке, то в воде. Сотнями отголосков разносится над рекою стук вальков. Подоткнув юбки и оголив икры, колотят полотна женщины и девчата, белят их, расстилают на берегу. В этом месте Неман мелкий и широкий. И ездят, и ходят, и скотину гоняют вброд. Целый день снуют здесь люди, старые и малые, кто за Неман, кто из-за Немана. Перейти же вброд реку летом - одно наслаждение. И если у мужчин, начинающих переход через реку, есть еще кое-какие хлопоты - засучить либо сбросить штаны, когда вода прибудет, то женщины в этом отношении совсем счастливый народ. Поднимут на ходу юбки, сколько надо, и храбро двинутся вброд, не обращая внимания, есть ли поблизости кто или нет, смотрят на них или не смотрят. А некоторые смелые и рискованные особы, особенно когда на берегу есть зрители, нарочно приготовятся брести так, будто здесь очень глубоко и можно подумать, что вода достанет до самых подмышек, хотя выше колен она не доходит. Бывало, и шутками перебросятся в таких случаях по существу дела, а порой какой-нибудь Гилерик, человек солидных лет, и замечание сделает, вынув трубку из зубов: "Опустила бы хоть ниже юбку", - а сам при этом стыдливо в сторону отвернется. А если его задевали насмешками, то, чтобы в долгу не остаться, откликнется:

- Огреть бы бесстыдницу кнутовищем, то береглась бы. Козыряет черт знает чем!

По ту сторону Немана идут луга, а за лугами лес и поле. Версты две будет до поля. Лежит черная гать поперек луга, одним концом к реке подходит, другим в поле упирается. Вот эта гать - беда и горе микутичские. Пока проедешь ее, всю душу из себя вытрясешь и кишки переболтаешь, а в мокрое лето и конь увязнет и сам, как дьявол, в грязи вывалишься. И телеги ломали здесь, и скотину калечили. Поганая гать, чтоб ее люди не знали, въелась она всем в кости...

Когда-то здесь, как рассказывают старые люди, - правда, сами они этого не помнят, - тянулся длинный мост. И теперь еще кое-где по краям гати виднеются остатки свай - торчат они из грязи, как сгнившие зубы в челюсти. Мост этот был уничтожен во время Шведского паленья. Живет еще в памяти людей война со шведами. Даже имя свое сохраняет в устах народа - Шведское паленье. Вот и спалили тогда шведы мост. Большие бои проходили здесь. А над самым Неманом, немного повыше села, есть курган-могила. Размывает река эту неведомую могилу, вымывает человеческие черепа и старинное оружие. И рассказывают матери своим детям легенды-были об этом страшном времени Шведского паленья. Много тогда народу побито было, домов сожжено. Люди в лесах скрывались, и, чтобы выманить их из лесов, пускались шведы на хитрость. Кричали в лесу:

- Татьяна, Марьяна! Выходите из лесу: шведы домой поехали!

И если кто выходил, того забирали и убивали.

Тогда и скотина почти вся перевелась в округе. В Микутичах остался один только бык, а в Сверинове - корова. Соединили люди эту пару и пахали на ней. Но наконец покарал бог шведов за издевательства над людьми, ослепил их, и, собираясь ехать верхом, они садились лицом к конскому задку. Тогда их побили.

Такая легенда связывалась с гатью и с прежним, старым мостом, от которого остались одни обгорелые редкие сваи.

На самом берегу Немана против брода стояла когда-то старая корчма на высоченном фундаменте. Это был омут крестьянской жизни, и не одна микутичская душа захлебнулась в нем. После того как ввели монополю, корчма пришла в упадок, а затем сгорела. Но по старой привычке собирался здесь народ, как на стародавнее вече, где решались крестьянские дела и обсуждались разные вопросы микутичского быта.

Микутичане - народ общественный, любят поговорить о разных разностях: об иностранной политике, о войне, о заработках, о трудностях жизни, о том, что происходит что-то на свете, что-то готовится и должно что-то произойти, ибо дальше так жить нельзя. Жадно прислушивались крестьяне к разным слухам, порой выдумывали их и так разукрашивали, что сами начинали пугаться их, а потом сами же себя допекали смехом. Соберется, бывало, толпа мужиков, а перед нею за Неманом, будто какая-то гадина, лежит проклятая черная гать, вздохнуть свободно не дает. Много было о ней разговоров и споров, когда вставал вопрос о том, чтобы ее починить. Бывало, кое-как и соберутся и подправят кое-где, но такие полумеры мало давали пользы и гать как была, так и оставалась крестьянской бедой.

Правда, не всегда гать с одинаковой силой волновала крестьянские души. Порой о ней даже и совсем забывали, и только во время косьбы и жатвы, когда нужно было ездить с возами, о ней думали, ее проклинали, из-за нее ссорились. Жила эта гать и в мыслях общества и в мыслях отдельных членов его. Жила как заноза в теле.

Лобанович не раз слышал разговоры о гати и жалобы на нее как со стороны дяди Мартина, так и со стороны многих знакомых жителей Микутич. Не раз и сам ходил по ней пешком и ездил. Не раз дрожал он здесь, везя снопы или сено: как бы не опрокинулся воз... Ему вспоминались созданные фантазией напуганного темного человека рассказы о разных невероятных историях, якобы происходивших возле гати. Было на ней, говорили, и страшное место, откуда порой выбегал кто-то в красном, с кнутом в руке и хлестал по ушам того, кто поздно ехал с поля.

Станным казалось Лобановичу, что такое большое село, как Микутичи, не может справиться с гатью. Ну что стоило бы крестьянам потратить неделю-две, чтобы покончить с этим злом? Неужто так тяжело всем обществом выкопать по обеим сторонам гати канавы, поднять ее, привезти песку и камней, насыпать, сровнять, утрамбовать? Песку же кругом, куда ни повернись, целые горы. Камнями завалены межи. Целые груды камней, выброшенных с поля, тянутся вдоль дороги. И рабочих рук хватает, и материал под руками, нет только человека, который поднял бы село на этот общественный труд.

И вот этим летом, когда в голове у Лобановича вызревали разные проекты улучшения человеческой жизни, он поднял однажды вопрос о гати среди учителей своего села. Около десятка молодых "просветителей народа" собралось на гумне Иванка Перегуда. Сам Иванок лежал в своем логове, смяв ногами домотканое одеяло и свалив подушку в какой-то грязный ком. Волосы его, давно не стриженные, разлохматились и, словно кочка, лежали на подушке. Учителя разместились где попало. Возле постели стоял убогий столик, на нем валялись книги, пустая бумажная коробка из-под гильз и два-три окурка.

Иванок Перегуд пользовался славой чудака и философа. Основная формула его философии гласила: "Плюй на все и береги свое здоровье". Правда, в его поведении, манере держаться было много напускного, и он немного форсил своим чудачеством. В общем же был хорошим работником в школе и веселым человеком в компании.

Сошлись здесь разные группы учителей. Старшие задавали тон, а молодые только прислушивались к их речам да подавали реплики.

- И вот что интересно, и это надо отметить, хлопцы, - говорил Михась Лобода, учитель с пятилетним стажем, - среди наших микутичан нет ни одного вора.

Учителя были приятно удивлены. И в самом деле, нет здесь вора!

- Это, братцы, стоит того, чтобы золотыми буквами вписать в историю нашего села, - отозвался приятель Лободы Игнат Курган.

- Да, это редкость, - загудели голоса.

- Это потому, что здесь украсть нечего и микутичская голытьба не способна воспитать вора, - откликнулся из своего логова Иванок.

Все засмеялись.

- Нет, брат, стой! - с жаром выступил Садович. - А Язеп Малюк...

- О ты черт! - напустился на него Курган. - Обедню портишь. Да что Язеп? Он здесь не живет, ни одного гвоздя здесь не украл и, таким образом, не нарушает картины общей честности нашего села.

- Правда! - подхватили учителя.

Язеп Малюк появлялся в Микутичах раза два, а теперь о нем никаких вестей не было.

- Я вам расскажу про Язепа, - начал Курган. - Когда он был здесь в последний раз, поехал с нашими микутичанами в Панямонь. А он человек видный, одет по-городскому, держится как заправский пан. "Чей же это такой?" - удивляются люди. "А это наш, микутичский", - отвечают микутичане. Рады, что их односельчанин такой бойкий, ловкий. Но вот спустя несколько минут попался Язеп в краже. Ведут его. "Кто же это такой? Чей он?" - спрашивают люди. Наши микутичане отвечают: "А черт его знает, чей он там".

Когда разговор зашел о жизни села, Лобанович улучил удобный момент, чтобы заговорить о гати.

- Знаете, хлопцы, что? Вот мы здесь перебираем разные, правда очень интересные, мелочи. А стоило бы гать наладить. Всем она в кости въелась, и все чувствуют, что ее надо наладить, чтобы перестала она быть занозой в жизни села. Давайте поднимем народ на работу!

Он хотел добавить еще, что сделать хорошую гать совсем нетрудно, если дружно взяться всем обществом, но немного стеснялся старших товарищей и чувствовал себя в их компании не очень уверенно.

- Ты что же, хочешь быть Оберлейном? - спросил его Лобода.

- Не вмешивайся в жизнь, - заметил из своей берлоги Иванок, - пусть она идет, как идет. Плюй на все и береги свое здоровье.

- Тут, брат, требуется вмешательство начальства, приказ строгий и серьезный, а тебя никто не слушает, - добавил Курган.

- Важными панами вы стали и не хотите пальцем пошевелить, чтобы сделать доброе дело, - шутливо ответил Лобанович и замолчал.

Разговор перешел на другие темы, но ему было немного обидно за свое выступление. Ну что ж, он сделает все и без них. Он больше уже не затрагивал этого вопроса, - по всему

видно было, что никто здесь не придавал серьезного значения проекту, с которым он так неудачливо выступил.

Каждый, кто захотел бы поговорить с микутичанами, всегда найдет среди них внимательных слушателей, особенно в праздничный день и в хорошую погоду. Стоит только присесть к двум-трем человекам на заваulinке, раскрыть рот и сказать несколько слов, как сейчас же возле тебя начнут собираться люди и через полчаса их соберется не одна сотня. Вот и сегодня возле хаты дядьки Базыля, на горке, с которой так хорошо видны и брод и гать за Неманом, собрались микутичские крестьяне. К ним присоединился и Лобанович. Разговор зашел о Полесье. Лобанович рассказал несколько смешных происшествий из тельшинской жизни - о том, как полешуки праздник потеряли и как они причащались после исповеди.

Микутичане слушали и смеялись.

- Так они, черти, дикие, - заметил дядька Сымон. - Я однажды видел их. В Несвиже лесника-полешука встретил. Волосы длинные, будто у попа. Взяли его да остригли - голова стала как колено. Вот же горевал! Хватался за голову и все говорил: "Што ж мне зробілы? Як жа я покажуся на родыну? Скажучь: таўкач та і ўсэ".

- Но между ними и, скажем, нами, микутичанами, есть много сходного и общего, - заступился Лобанович за полешуков.

- В чем же? - заинтересовался дядька Яхим.

- А вот в чем. Там, в Тельшине, очень мною грязи, не вылезешь, через улицу нельзя перейти в мокрую погоду. Дворы же и улицы бревнами завалены. И никому в голову не приходит положить кладки возле хаты. Говорил я с ними об этом не раз, а они хоть бы что. "Мы, говорят, к этому привыкли, спокон веку так у нас ведется". А вы посмотрите теперь - видите? - Лобанович показал на гать. - Разве у нас не то же самое?

- Верно, брат, - слышатся голоса.

- Так ведь она, холера, большая! Это не то что бревно выкатить со двора на улицу, чтобы положить кладку, - оправдывается дядька Сымон, не желая, видимо, становиться в один ряд с полешуками.

- Но проехать с возом по гати - это не то что пройти пешком по грязной улице.

- Что говорить! Вот где сидит она, эта гать, - дядя Базыль показывает на горло.

- Вот я нарочно и начал с полешуков, чтобы поговорить с вами о гати. В самом деле, как это вы терпите столько времени такое лихо, как наша гать? Такое большое село, столько рук, столько силы! Взялись бы сообща, кто песку подвез бы, кто камней - ими все поле, дороги завалены, - кто вышел бы с лопатой, кто с топором... Неделя времени - и гать была бы как яичко.

- Так ведь это если бы все дружно взялись, - гудит голос.

- Это, брат, не так легко, - выступил старый Семка, краснобай и заядлый курильщик. Он так пропах махоркой, что его можно было за полверсты носом учуять. - Сделай ты самую лучшую гать, а разольется весной вода и снесет ее к чертовой матери.

Поднялся шум. Одни утверждали, что гать можно сделать вечную. Вся беда в том, что народ нерадивый, беззаботный, на работу не поднимаешь. Другие доказывали, что из этой гати толку не будет, здесь мост делать надо, лес возить, мастеров ставить. Порой завязывалась между отдельными крестьянами ссора, перебранка: вот, например, Стецок сколько работал на гати, а Гароним прятался от работы, как собака от мух...

- Вы никогда не принимались за работу дружно, сообща, и не знаете, какая вы сила. Кто же за вас делать будет? И для кого вы будете делать?

- Мы это, брат, знаем, да вот ничего поделывать не можем. Если бы приехал пристав с нагайкой да задал бы перцу, тогда все вышли бы на работу, - говорит старый Гилерик.

Микутичане гудят. Выплывают разные обиды, недоразумения, вспоминаются старые болячки крестьянской жизни, о гати совсем перестают говорить.

Некоторое время Лобанович не показывался в селе - обидно было слушать насмешки друзей.

Кончалось лето.

На лугах уже расстилалась зеленым бархатом нежно-зеленая отава. Порыжели стога. Собирались в отлет аисты. Окутанные синеватой дымкой, сиротливо смотрели поля в ласково-печальном свете августовского солнца.

Начинали разъезжаться с летних вакаций учителя.

"Пожил, брат, и хватит, собирайся на свое место!" В этом голосе осени слышится грусть, сожаление о чем-то, а кажется, еще так недавно звучал другой голос, радостный, свежий голос весны: "Разверни крылья, снимайся с места, лети на простор, живи во всю свою силу, как только ты можешь жить".

Назначил себе день отъезда и Лобанович.

Дубейка переслал ему почту, но того письма, о котором Лобанович так долго думал, которого так жадно ждал и о котором не говорил никому, все не было и не было. И не будет. Лето прошло, прошла и надежда. Ну что ж, пошутила девушка, а теперь время этих шуток прошло; там, в глуши, где, кроме него, никого не было, можно и с ним пошутить, посмеяться над ним, дурнем. Но такой конец, такой вывод покоя не даст, нет, не даст!

Недавно пришел казенный пакет - назначение в выгоновскую школу. Лобанович всматривался в незнакомое название деревни - оно как раз подходит к нему. Даже странно немного: молодой учитель с некоторых пор действительно чувствует себя изгнанником. Простое это слово нашло в его сердце такой неожиданный отзвук!

Он думал и о своей новой школе. Эта школа и эти Выгоны, о которых он никогда прежде не слышал, рисовались его воображению в таких неясно-заманчивых образах, которые обычно, красивые издали, никогда не совпадают с действительностью. Но одних этих поэтических образов было недостаточно. Лобанович отправился в микутичскую школу, чтобы найти на карте свои Выгоны, посмотреть, какие там есть поблизости более значительные населенные пункты. Учителя почти все разъехались, и никто ему не расскажет о новой школе.

Зашел к Садовичу, хотелось поделиться с приятелем новостью. Садович также ждал назначения. Неожиданно Лобанович встретил у него и другого своего товарища по семинарии, Янку Тукалу. Это был довольно замкнутый, скрытный юноша, круглоголовый, белесый, с немного задранным вверх носом и серыми глазами. В семинарии он держался в стороне от своих товарищей и все о чем-то думал. Что занимало его мысли, он никому не говорил. В его душе, видимо, происходил какой-то болезненный процесс, и он переживал все молча, одиноко. Иногда удавалось его расшевелить, и тогда он становился веселым, остроумным, способным всех захватить своими шутками и смеялся так заразительно, что нельзя было не присоединиться к нему.

Случайно Тукала открыл в себе одно свойство. Было это на втором курсе. Тукала был всегда коротко острижен. Его жесткие волосы стояли торчком. Однажды, ложась спать, он снимал свою суконную рубаху. Резко дернув ею по волосам, он услышал какой-то странный треск и заинтересовался. Дернул еще раз, снова послышался такой же треск. "Гей, хлопцы! - крикнул он, накрыв голову рубахой. - Идите сюда! У меня, оказывается, не голова, а машина электрическая". Вокруг Янки сгрудилось человек двадцать семинаристов. Затаив дыхание, слушали они треск в его волосах, когда по ним скользила рубаха, и заливались дружным смехом. "Платите, собачьи дети, деньги", - смеялся и сам Янка, забавляя товарищей.

И вот этот самый Янка Тукала стоял теперь возле гумна, где поселился на лето Садович.

- Янка! Ты откуда ж взялся? - удивился Лобанович и потряс Янке руку.

- Дней моею скитания сто сорок, - в каком-то библейском стиле заговорил Тукала. - Обошел я четыре ветра земли, взвесил человеческую жизнь и нашел, что она подобна коровьим лепешкам, разбросанным по выгону.

- Чтоб ты сгорел со своим выводом, - смеялись его друзья.

- Га-га-га! - хохотал Садович. - Ты знаешь, - обратился он к Лобановичу, - он же святым хотел стать, в Валаам ездил бога искать.

- Не может быть!

Янка виновато улыбался и не возражал. Лобанович и Садович смотрели на него и хохотали.

- Чего вы хохочете, дети Вельзевула?

- Чтоб тебе пусто было, Янка! Святым хотел сделаться!

- Чихать я хочу на святых! Баста! Не нашел я правды и больше искать ее там не буду. А теперь мстить начну. Берегитесь, боги, беднота гуляет! - перефразировал он строчку из стихотворения Никитина. - Жил я, братцы, один, глушь, никого нет, времени свободного много. Начитался я разной душеспасительной дряни, и потянуло меня под церковные стены, в кущи седобородого Иеговы. Пустился, братцы, копить деньги, чтобы на Валаам поехать. А кончил тем, что, возвратясь домой, принес такую жертву святым в лице Николая-угодника, какую ни один жрец на свете не приносил.

И рассказал о непотребстве, которое совершил он перед образом Николая-чудотворца.

- У тебя, брат, все крайности, чтоб ты сгорел, - смеясь, заметил Садович.

- Надо же какой-то итог подвести пройденному кругу и точку поставить, - смеялся в ответ Янка. - Нет, братцы, теперь я хочу жить иначе. Довольно бездельничать! К иным горизонтам обращаю я глаза свои. Прежде всего место переменить нужно, хотя, с другой стороны, не место красит человека, а человек место. Я хочу соседом Баса стать, а еще лучше - в одну школу с кем-нибудь из вас попасть. Если я останусь один, я снова какую-нибудь глупость сделаю, - натура моя такая собачья. Мысли все какие-то в голову лезут.

- А я, хлопцы, переведен на новое место, - перебил Янку Лобанович, - в выгоновскую школу.

- Тебя уже, как какую-то скотину, погнали на выгон, - пошутил Янка.

- Это, наверно, святой Николай ошибся и вместо тебя меня покарал.

- Он еще, смотри, и мне перцу задаст. Черт его, брат, знает.

Друзья пошутили немного, а затем начали говорить о своих школах, перемещениях, о своих отношениях с так называемой интеллигенцией, с которой приходилось жить рядом.

- Может, они счастливее нас, все те, что в карты играют и водку пьют? Им это любо, в этом их радость, и они никаких чертей знать не хотят. А я так и пить не хочу, противно! Карты не привлекают меня, а девчата хоть и влекут, но я со своим "чайничком", - так называл Янка свой нос, - стесняюсь сунуться к ним. Мне все кажется, что они смеются надо мной. Что же мне делать? - спрашивал Янка. Серьезное и шутливое перемешивалось в его словах. - Я начинаю думать, что ко всему надо подходить с какой-то меркой, но этой мерки у меня нет. Сегодня это мерка, а завтра глупость, и я сам отменяю ее своей собственной рукой. Я бросаюсь от одной теории к другой, берусь за одно, хватаюсь за другое и везде отстаю. Читаешь одну книгу, кажется - здесь правда. Возьмешься за другую - и с нею соглашаешься. Теперь вот увлекся Ницше "Так говорил Заратустра", и мне хочется быть "сверхчеловеком", черт возьми! А если строго подумать, то выходит, что ты просто человек с искалеченными семинарским воспитанием мозгами. Я - о вас я не осмеливаюсь говорить это, хотя и вы, вероятно, такие же шаткие, как и я, - я дерево в поле, которое клонит ветви туда, куда ветер дует.

- Ну, это слишком пессимистическое признание, Янка, - отозвался Садович.

- Янка, дорогой! Руку, брат!

- Ты, значит, согласен со мной? - и Янка удивленно посмотрел на Лобановича.

- Ни на йоту! - ответил Лобанович. - Да и в чем с тобой соглашаться? Ни к какому заключению ты не пришел. Ты только показал себя с новой для меня стороны. Но я люблю тебя за страдания твои, как это сказано у Достоевского, за то, что не стоишь ты на месте, мечешься, правды ищешь и "хочешь своей гибели", - ведь так говорил Заратустра? Пусть мы деревья в поле, стоящие на ветру, пусть клонятся ветви в ту

сторону, куда дует ветер, но ведь ветры веют с разных сторон, и ветви клонятся и туда и сюда. Однако здоровое, крепкое дерево будет стоять ровно, а ветви его больше наклонятся в ту сторону, откуда светит солнце. Все дело в том, как нащупать ветвями это солнце.

- Ты уже, я слышал, нащупал "ветвями солнце", когда думал поднять микутичан сделать гать? - спросил смеясь Янка.

- Ты также нащупывал это самое солнце, когда думал найти его в валаамских монастырях!

- заступился Садович за Андрея.

- Поднять село, сделать хорошую гать, по-моему, в тысячу раз важнее, чем блуждать под кущами седобородого Иеговы, как ты говорил. Но я тебя не осуждаю и не смеюсь над тобой. А если не удалось поднять крестьян, чтобы сделать для них полезное дело, то это не значит еще, что их вообще не поднимешь и поднимать не нужно: не поднял теперь - поднимешь потом. Но браться за это, может быть, нужно как-то по-иному. Необходимо считаться с тем, что народ здесь малокультурный, консервативный, не умеет бороться за свои общественные интересы и не привык выступать сообща, коллективом. Но ему нужно об этом говорить, будить его, толкать. И, по-моему, это наша обязанность... Но что говорить о народе, если учителя не понимают этого!

- Правда, брат, - сказал Садович. - Народ наш спит, воля его парализована, у него много нянек, опекунов, из его рун выбита всякая инициатива. Вот где корень его беды... Я, хлопцы, очень доволен, что мы встретились и поговорили. Действительно, мы словно в лесу, ходим ощупью, как слепые. Мы должны прежде всего крепче друг друга держаться, чтобы вместе выбиться на какую-то дорогу, должны подгонять сами себя, чтобы не уснуть и не погрязнуть в болоте. Я твердо решил остаться здесь. Янка будет моим близким соседом. Вот жалко только, что ты, Андрей, забрался в это Полесье.

- С вами я чувствую себя весело и пойду на что хотите, - разошелся Янка. - Богу не поддамся и с царя готов корону сорвать. У меня, братцы, и сны бывают интересные. Я все собираюсь записать их в назидание потомкам.

- Ну что же? Будем писать письма, делиться своими мыслями и не терять друг друга из виду, - прервал Янку Лобанович.

- Так давайте заключим триумвират! - кричал Янка.

- Давайте!

И друзья с жаром пожали друг другу руки в знак своего союза.

На школьной карте Лобанович не нашел своего нового места работы.

"Наверно, еще большая глушь, чем Тельшино", - подумал он.

Достали "Памятную книжку Менской губернии", где, как правило, были указаны все учреждения и школы, в книге значилась и выгоновская школа, что немного утешило и успокоило молодого учителя, но точного адреса школы не было. Одно только узнал Лобанович: нужно ехать в Пинск и уже оттуда добираться до школы.

Накануне отъезда Лобанович пошел в лес, чтобы в последний раз обойти свои заветные грибные места и проститься с ними.

В лесу было совсем тихо. Сквозь ветви высоких сосен пробивались теплые лучи сентябрьского солнца. Пожелтевшие иголки без шума падали на землю, едва зацепишь веточку. Где-то в небе закричали журавли, собираясь в отлет. Лобанович ощутил в своем сердце какую-то тихую грусть, навеянную и тишиной леса и этим осенним умиранием жизни. Неясные, смутные мысли, легкие, как тени сосновых веток, грустные, как курлыканье журавлей в небе, проносились у него в голове.

Было чего-то жаль, словно его постигла какая-то утрата. Думал о своей новой школе, составлял план жизни и работы на новом месте. Вспоминалось Тельшино. Теперь оно как-то отдалилось от него, окуталось мраком, стало пустым и чужим - там не было уже того милого образа, который давал жизнь и радость. Этот образ неотступно следовал за Лобановичем в его скитаниях по лесу и отгонял все другие мысли, заставлял думать о себе. И слова Ядвиси: "Если вы меня поцелуете, то, клянусь памятью матери, я брошусь

под поезд" - снова выплывали в памяти, и сама она как живая стояла все время у него перед глазами.

На другой день на закате солнца запряг дядя Мартин черного конька, которого прозвал за резвость Ножиком, чтобы отвезти племянника на станцию. Вещи заранее были собраны и сложены в небольшой чемодан.

- По-настоящему так и коня запрягать не стоило бы, - говорил Лобанович, взвешивая чемодан в руке.

- Зачем же, сынок, ты будешь трепать ноги? Ничего не станет с конем, ведь он гуляет теперь.

Лобанович оставил себе денег на билет, а остальные, рублей семь, отдал матери.

- Напиши, сынок, как тебе там живется.

Мать поцеловала сына и утерла рукавом слезы.

- Ну, Якуб, бывай, брат, здоров! На следующую зиму заберу тебя к себе. Хорошо?

- Хорошо, - кивнул головой Якуб.

Мать стояла во дворе и провожала глазами подводу, что быстро катилась в сторону леса. Лобанович оглянулся, помахал фуражкой матери и сестрам, кивнул им издали головой. Еще раз оглянулся, когда подъезжали к лесу. Мелькнул хуторок со своим ольшаником, мелькнул и скрылся.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ НА НОВОМ МЕСТЕ

ХII

Поезд подходил к Пинску.

Перед Лобановичем возникали еще не виданные им картины Пинского полесья, залитые лучами сентябрьского солнца, окутанные тонкой синеватой дымкой, полные первобытно-дикой, своеобразной красоты. Они пленяли сердце необычайной мягкостью красок и какой-то грустной задумчивостью. Необъятные, ровные пространства земли сливались с небом или уходили за темно-синие ленты бесконечно далеких лесов. А на этих равнинных просторах мелькали полесские деревни, над крышами строений высоко поднимались вязы, липы и клены, осыпанные золотом осени. Сверкающим серебром извивались речки в низких берегах, расстилались широкие болотистые низины, заросшие дикой травой, айром и камышом. По этим трясиным болотам, где, казалось, и воды не было, медленно двигались на челноках рыбаки-полешуки в своей самобытной одежде и широкополых шляпах. Местами виднелись огромные острова желтых песков, окаймленные кудрявыми молодыми сосенками. Одни картины быстро сменялись другими, новыми, и не было времени задержаться на них взглядом - поезд мчался очень быстро, миновав последний разъезд перед Пинском.

Пассажиров в вагоне было немного, и Лобанович переходил от одного окна к другому, чтобы получше разглядеть эту местность и хоть приблизительно отгадать, где находится его новая школа. В поезде он расспросил о своих Выгонах у местных жителей. Оказалось, что выгоновская школа расположена всего в пяти верстах от Пинска, и это очень обрадовало молодого учителя. И еще он узнал, что волость от школы совсем близко. Ему и совет дали, как добраться до Выгонов. Для этого нужно только попасть на Каралинский рынок, а там, наверно, будут выгоновские крестьяне и за весьма сходную цену, а то и просто даром, довезут учителя до самой школы. Ясный, погожий день, полные поэзии картины Пинского полесья и собранные в дороге сведения о новом месте работы - все это усиливало хорошее настроение, с которым подъезжал Лобанович к Пинску. Его больше не волновала забота найти свою школу, добраться до нее.

С чемоданом в руке медленно двинулся Лобанович на станцию в густом человеческом потоке. Богатый, красивый зал первого класса он прошел с безразличным видом бывшего

человека, для которого вся эта красота и роскошь совсем не в диковину, хотя не мог не обратить внимание на несоответствие своей собственной одежды и своего дешевенького чемоданчика с убранством зала и видом тех шикарных господ, которые так важно сидели за пышными столами. Он чувствовал себя человеком, попавшим не на свое место, его собственная персона казалась ему здесь слишком ничтожной и незначительной. Вот почему он начал быстрее протискиваться к выходу, держась поближе к стене, чтобы не мешать никому, чтобы не вернул его обратно этот высокий и грозный швейцар в блестящих галунах. И, только пройдя весь зал и очутившись в коридоре, он вздохнул с облегчением. Теперь перед ним стояла задача найти Каралинский рынок. Города он не знал, ему никогда не приходилось бывать в нем. В нерешительности остановился на крыльце перед подъездом, где толпились извозчики, стараясь перехватить пассажиров.

"Лучше, пожалуй, взять извозчика", - подумал Лобанович. Он выбрал извозчика победнее и велел ему ехать на Каралинский рынок, в другой конец города.

Проехав несколько улиц и переулков, извозчик остановился - тут и есть Каралинский рынок. Оглядываясь по сторонам, Лобанович медленно шел по рынку. То здесь, то там попадались типичные фигуры полешуков и полешучек, необычайно важных и даже гордых, - они так пренебрежительно смотрели на все, что не было полешуком, и не слишком охотно вступали в разговоры, которые не имели непосредственного отношения к их собственным персонам. По их мнению, кто не полешук, тот босяк либо просто жулик.

- Скажите, будьте ласковы, - обращался учитель к некоторым крестьянам, - не знаете ли вы, где можно найти кого-нибудь из выгоновских?

Спрошенный полешук с глубокомысленным видом поднимал глаза на учителя, осматривал его и отвечал не сразу. Из этого ответа порой не вытекало ничего определенного - буркнет человек, чтобы отвязаться. Но, разглядев Лобановича и что-то обдумав, порой этот же полешук, снова встретив его и узнав, что это учитель, рассказывал уже более подробно, где останавливаются выгоновцы, где их можно найти. Оказалось, что сегодня их тут совсем не было видно.

Потолкавшись по рынку и не найдя никого из Выгонов, Лобанович сторговался за рубль с извозчиком. Хотя плата дорогая, зато ехать будет удобно.

Рессорная повозка, минуя мощенные булыжником улицы, мягко покатила по гладкой пыльной дороге, возле которой попадались порой красивые одинокие липы. Целые купы развесистых вязов темнели вокруг селений, разбросанных довольно густо в стороне от дороги. Лобанович внимательно присматривался ко всему, что попадало в поле его зрения, подмечая каждую мелочь, словно это имело для него какое-то чрезвычайно важное значение. Местность эта ему сразу понравилась. Земля вокруг была хорошая, урожайная, народ, видно, жил здесь зажиточно.

Погода стояла тихая и ясная. Хотя день уже сменился ранним вечером, но было еще довольно жарко. Небо, слегка подернутое тоненькой белесой дымкой, словно шелковой куделькой, казалось, ниже наклонилось над полями, которые нежились в прощальных лучах ласкового солнца.

Миновав придорожный столб с государственным гербом и дощечкой, на которой значилось: "Деревня Выгоны, дворов 73 (причем какой-то шутник стер букву "д" в слове "дворов"), мужчин 269, женщин 284", - извозчик спустился с горки и повернул направо. Сразу же за Выгонами на широкой площади, разделявшей две деревни - Выгоны и Высокое, показалась школа, приветливо белея широко раскрытыми ставнями. Лучшего места для нее, чем здесь, между двумя небольшими деревеньками, кажется, нельзя было найти. Довольно большой пришкольный огород, правда незасеянный и запущенный, примыкал к плетню, окружавшему усадьбу казенного лесничего. Вдоль плетня тянулся целый ряд высоченных вязов, отделявших красивый парк лесничего от школьной площадки. Левее этой площадки раскинулась деревня Высокое - из-за деревьев весело выглядывали аккуратные камышовые крыши крестьянских хат и сараев. Ниже школы, на одной с ней линии, показались из-за сада усадьба дьячка и церковный дом, где жили две

сестры попа, которых обминуло замужество, хотя надежды на него они не теряли. Шагах в ста от школы широкий выгон довольно круто спускался к речке Пине. За рекой раскинулись необозримые болота, где рос густой и необыкновенно высокий тростник. Заречная болотная равнина сливалась с небом и, казалось, не имела конца-края.

Все эти картины промелькнули перед глазами учителя, но не было времени задерживаться на них с тем вниманием, которого они по справедливости заслуживали, - извозчик уже остановился перед просторным школьным крыльцом.

Лобанович соскочил с повозки и взбежал на крыльцо. Дверь была заперта, на стук никто не отозвался, но окна в квартире учителя были распахнуты настежь. Залитая солнцем комнатка выглядела очень приветливо. Оттуда доносился запах свежей краски. Под окнами валялись кучки отбитой штукатурки. Видимо, здесь недавно происходил ремонт и еще не успели навести порядок.

- Обождите немного, - сказал Лобанович извозчику, а сам побежал во двор, чтобы войти в школу с другого хода.

Возле кухонной двери стояла чумазая девочка лет пяти и удивленными глазками смотрела на незнакомого человека. На двери висел замок.

- Где твоя мама? - спросил девочку Лобанович.

Девочка провела под носом грязным рукавом.

- Пошла к паненкам, - кивнула сна головой в сторону поповского дома.

- А мама твоя здесь живет?

- Эге!

- А батька твой где?

Девочка молча смотрела на учителя, не зная, что ответить на этот вопрос.

- Ты, может, позовешь маму?

- Она, должно быть, на село пошла, - проговорила рассудительно девочка.

Видимо, ей не хотелось искать мать или она просто не знала, куда та пошла. Она отвернулась, перестав интересоваться незнакомым человеком или, может быть, желая показать, что говорить здесь больше не о чем, и запела песенку.

Лобанович пошел обратно, раздумывая, что делать дальше. Выйдя со двора школы, он заметил новое лицо. Возле извозчика стоял невзрачный старый человек в поношенном пальто, сшитом на городской лад, длинноволосый, с неряшливой растительностью на лице. Увидя учителя, он зашагал ему навстречу.

- Учитель? - развязно спросил незнакомый человек, усмехаясь и подавая руку.

- Да, я назначен сюда учителем, - сказал Лобанович, здороваясь.

Ладонь и пальцы у незнакомца были как-то неестественно вывернуты и напоминали лапу огромного крота.

- Ну, будем знакомы: ваш сосед, псаломщик Ботяновский.

Нельзя сказать, чтобы Лобанович был очень обрадован таким соседством: дьячок был слишком корявый и запущенный, и в его лице было нечто такое, что не привлекало к этому человеку.

- Как ваша фамилия? - спросил дьячок.

- Лобанович.

- Вы, может быть, из духовных? - продолжал любопытствовать дьячок.

- Нет, я из другой породы.

- Из семинаристов?

- Окончил учительскую семинарию.

- А вы знаете церковное пение?

Эти расспросы начинали злить учителя, тем более что его ждал извозчик и он не выяснил еще, как войти в школу.

- А вот начинайте "Иже херувимы", я вам сразу подтяну, - раздраженно ответил он.

- И ноты знаете? - не отставал дьячок.

- Если нужно, и по нотам спою.

- Вот это хорошо! - обрадовался дьячок. - Отец Николай просил инспектора назначить сюда такого учителя, который мог бы наладить церковный хор.

Это было совсем не по вкусу Лобановичу. К тому же по части церковного пения он чувствовал себя очень слабо, как и вообще в области певческого искусства.

- Скажите, пожалуйста, - прервал он дьячка, который собирался еще о чем-то спросить, - как найти здесь волость?

- Нужно проехать селом на ту сторону, - версты не будет.

- Ну, тогда до свидания!

Лобанович поклонился дьячку и круто повернулся к извозчику.

- Поедем в волость!

Они поехали, а Ботяновский смотрел вслед и качал головой. Видимо, учитель не понравился дьячку, хотя бы уже тем, что осмелился предложить ему, старому человеку, чтобы он затянул тут же, на выгоне, "Иже херувимы". Надо будет поговорить с отцом Николаем.

В свою очередь встреча и разговор с этим заскорузлым дьячком немного испортили учителю его хорошее настроение. Особенно не понравилось ему, что отец Николай просил инспектора назначить сюда певчего. Он подумал об отце Николае: "Что еще за тип такой? И все-таки придется зайти к нему на этих днях".

Но вскоре впечатление от этой встречи сгладилось, и учитель с большим интересом разглядывал дворы здешних крестьян. В селе была только одна улица. Хозяйственные постройки тянулись далеко в глубь дворов.

Миновали церковь и новый поповский дом. Проехали еще несколько дворов и повернули к волостному правлению.

На крыльце перед "сборной" встретил Лобановича волостной сторож, дед Пилип. Это был коренастый, крепкий и подвижной еще старик с длинным красным носом и острыми, пронизательными глазами.

- День добрый, дед!

- День добрый, панич!

- Можно увидеть писаря?

- В канцелярии, панич, сидит. А вы кто же будете? - спросил дед.

- Учитель вашей школы.

- А, так это панич учитель?

Дед Пилип, казалось, обрадовался, что приехал учитель. Он приветливо улыбнулся и, словно какому-то долгожданному гостю, широко открыл дверь.

- Наш панич говорил-таки, что должен скоро приехать новый учитель. Вот вы и приехали. "Интересный дед", - думал Лобанович, разглядывая самобытную фигуру деда Пилипа.

- Дайте ваш чемодан, я отнесу его в комнату для приезжих.

Старик взял чемодан из рук учителя, показав рукой на канцелярию.

ХІІІ

Пройдя просторную "сборную", чисто подметенную, но все же грязную, так как на полу накопилось не менее чем на вершок засохшей грязи, принесенной сюда со всех концов волости, Лобанович открыл дверь в канцелярию. Это была светлая и тоже просторная комната, перегороденная невысоким барьером из круглых точеных столбиков, за которым стоял длинный стол, обитый клеенкой. Над ним со стены надменно склонялись размалеванные цари и царицы в позолоченных рамах. За столом сидели два человека. Помощник писаря был еще совсем молодой, безусый паренек, с маленькими серыми глазками, хитрыми и немного насмешливыми. Белая манишка и прилизанные волосы говорили о его щегольстве, а хитрые глазки и жуликоватая улыбка свидетельствовали об умении выуживать гривенники и двугривенные из карманов полешуков. Другой человек - сам писарь, также молодой, но более солидный. У писаря были черные усы, правда

короткие, и резко очерченное место бороды, заросшее короткой густой щетиной, небольшой вздернутый нос и прижмуренные, близорукие глаза, прикрытые темными очками. Писарь сидел, низко склонив голову к столу, и что-то писал.

Лобанович остановился возле барьера и поздоровался.

Помощник прервал работу, кивнул учителю головой и ждал дальнейшего выяснения дела.

Писарь не отрывался от бумаг.

- Простите, что я прерываю вашу работу, - заговорил Лобанович и отрекомендовался.

- А-о-о! - отозвался писарь, быстро встал и провел учителя за барьер. Он подал стул и попросил Лобановича сесть.

- Школа моя оказалась запертой со всех концов, и я никак не мог в нее проникнуть. Приехал к вам, чтобы навести справки. Где же мне остановиться?

Писарь засмеялся.

- Школа, говорите, есть, а остановиться негде? Ну, ничего, все будет хорошо.

- Если уж приехали к нам, то все равно что к Христу за пазуху попали, - в тон писарю добавил помощник.

- За пазухой не слишком интересно сидеть, - засмеялся Лобанович. - А в школе, кажется, ремонт был?

- Был, был! Я уж постарался отделать вам квартирку на "пять с плюсом".

Писарь, как видно, любил пустить пыль в глаза и все важные мероприятия в волости приписывал лично себе. Разговаривая, он как-то по-особому поджимал губы и слегка потряхивал головой. Бахвальство писаря сразу бросалось в глаза. Чтобы еще больше поощрить его, Лобанович тут же поблагодарил и похвалил его за хорошее отношение к школе, заметив, что таких славных писарей не слишком много на свете.

- Ну, что вы говорите! - Видно было, что писарю поправилась эта похвала. - У нас с учителем всегда были самые лучшие отношения, школа от нас никогда ни в чем не терпела, - важно сказал он и предложил Лобановичу папиросу.

- Дайте уж и мне пустить дым по такому важному случаю, - протянул руку к папиросам писаря помощник, которого обычно писарь избегал угощать папиросами, хотя и был либералом.

Лобанович снова начал разговор:

- При школе, кажется, живет кто-то?

Писарь и помощник взглянули друг на друга и как-то лукаво, двусмысленно улыбнулись.

- Живет там... сторожика.

- Так это, должно быть, ее девочку я видел возле кухни?

Писарь выпускает дым и одновременно издает сквозь поджатые губы какой-то специфический звук "псс", потряхивая головой.

- Да, это ее дочка Юста, а скоро и... сын будет... вероятно, сын, судя по отцу.

Писарь и помощник снова переглядываются и смеются.

- Митрофан Васильевич не должен дать маху, - добавляет помощник, и маленькие глазки его почти совсем закрываются от смеха.

Лобанович смотрит на них, догадывается о какой-то романтической истории. Он чувствует, что эта история станет ему сейчас известна.

- А кто такой Митрофан Васильевич?

- Это ваш предшественник.

- А-а... Ну, теперь я знаю, в чем тут дело.

- Нашкодил, а сам в Пинск удрал. - И писарь снова начал смеяться.

Неинтересно было продолжать разговор в том же тоне и ковыряться в человеческой грязи. Лобанович рад был бы сидеть теперь в своей школе. Хотелось обосноваться там и начать что-то делать, разобравшись в новой обстановке.

Дня три Лобановичу все же пришлось прожить в волости, на квартире у писаря, пока школа приводилась в порядок. Правда, не много потребовалось хлопот, чтобы сделать это,

- прислать женщин помыть пол да прибрать мусор возле школы. Все это обещали сделать

в ближайшие дни. Остановка была только за старостой Бабичем, который должен был послать на работу женщин. Но староста занимался где-то другим делом.

Эти дни Лобанович и столовался у писаря, человека холостого, гостеприимного. С писарем жила его мать-старуха. Родом они были со Случчины и Лобановича считали своим человеком. Кроме того, старший брат писаря был также учителем на Пинщине.

Здание волостного правления стоит на горке над самой Пиной. Отсюда открывается необычайно широкий и красивый вид на заречную часть. Возле самого села река описывает широкую дугу. Ее можно принять скорее за огромный залив, чем за самую реку, потому что вода здесь течет очень медленно. Круглые зеленые листья кувшинок купаются в ней, колышется ряска на тонких длинных нитях-стеблях.

Пологий берег Пины заставлен челнами и чайками-душегубками. Быстро скользят душегубки по зеркальной глади реки под ловкими взмахами весел привычных полешуков и полешучек. Вот из-за речных изгибов vyplывают рыбаки со своими снастями, серьезные, медлительные. Крестьянин-хозяин торопится с того берега, из душегубки свешиваются длинные пучки тростника и вязанки жесткой осоки. Гонит чайку гребец, на другом конце ее сидит охотник с ружьем. Зоркие глаза внимательно всматриваются в прибрежные заросли. А среди этой мелочи челноков и душегубок медленно движется важный дуб с разными товарами и продуктами.

За широкой блестящей лентой реки лежат, как море, необозримые пространства болотных зарослей, где все сглажено, закрыто ровной стеной необычайно высокого тростника с бурными метелками на концах. словно живой ковер висит-колышется над трясиными топами бескрайних болот, где не пройти человеку, где только может с трудом пробраться легкий челн либо чайка-душегубка, вдавливая болотный покров, на который набегает вода. Незнакомому с местными болотами человеку опасно забираться в эти дебри: потеряешь дорогу, закружишься, запутаешься и не сумеешь выбраться отсюда, - ведь, кроме густого тростника да неба над головой, ничего не увидишь. Пропадешь, если не спасут люди. На этих бескрайних болотах попадаются узкие, черные, как расплавленная смола, полосы воды, страшные своим мертвым безмолвием и глубиной. Где-то по ту сторону болотной равнины проходят речки Струмень, Стоход и Стырь.

Лобанович целыми часами просиживает в волости возле открытого окна, любит просторами болот, полными своеобразной красоты.

А погода на удивление тихая, ясная, теплая. Синеватая дымка висит над заречьем. Печально-ласковая улыбка осени озаряет онемелые, как бы уснувшие дали. Далеко-далеко на горизонте появляется беловатый дымок речного парохода. Кажется, он стоит на одном месте - так медленно обозначается линия его движения. И долго нужно всматриваться, чтобы заметить перемещение беловатого дыма над побуревшим от времени камышом.

Одно явление особенно приковало к себе внимание Лобановича. Вдруг то в одном, то в другом месте поднимается серовато-желтое облако дыма, вспыхивает огонь, разбегаясь по кругу. Проходит минута-другая, дым пропадает, исчезает огонь - не под силу ему бороться со стихией болот, не может он развернуть здесь свои горячие крылья. Спустя некоторое время огонь вспыхивает в другом, в третьем месте, а то и в нескольких местах сразу. Это полешуки нарочно поджигают болота, чтобы на выгоревшем месте росла на следующее лето молодая, лучшая трава.

Смотрит Лобанович на эти образы-картины, впитывает их в себя, сливается с ними, чувствует в них что-то невыразимо близкое, родное. Ему хочется еще полнее слиться с ними, раствориться в манящих далях-просторах. В душе возникают какие-то полные очарования, неясные образы, и порой чудится в них что-то давно знакомое, уже виденное, пережитое. Но где и когда? Или это только отзвук его позабытых мечтаний, снов, видений, или действительно он переживал нечто подобное? На мгновение учитель забывает, где он, как бы совсем отрывается от земли и от действительности.

Но слишком громки голоса земли и крепки нити, связывающие человека с действительностью, чтобы можно было надолго забыть о них. В волости только в

некоторые дни и часы бывает затишье, такое затишье, когда даже помощник писаря вылезает из-за стола и на некоторое время исчезает. Обычно же здесь в "сборной" или в канцелярии толчется народ. Приходят люди по своим делам. А дел у них в волости много. Жалобу ли написать на соседа, заключить ли контракт, недоимку внести, льготу сыну выхлопотать, копию получить или просто повидать писаря, шепнуть ему словечко, таинственно кивнуть головой, чтобы вышел в комнату для приезжих, где уже почтительно, притаившись в уголке, стоят готовые к их услугам покорные бутылки пива... С шумом и громом приходит сюда старшина Захар Лемеш. Еще не успеет его нога ступить на крыльцо волостного правления, а в канцелярии уже говорят: "Старшина идет". Зычный голос старшины опережает его самого. Как капитан с солдатом, еще со двора поздоровадается он с дедом Пилипом, а тот ответит ему по-солдатски: "Здравия жылаю, госпадын старшыня", - хотя ни старшина, ни Пилип в солдатах никогда не служили. Если же дед на глаза не попадется, Захар Лемеш обратит свой голос к кому-нибудь в "сборной". А если и в "сборной" пусто, никого нет, он прорежет зычным голосом и эту пустоту: "Братцы мои, никого нет!" Голос у старшины крепкий, он любит свой голос: этот голос как бы возвышает Захара в его собственных глазах. Писарь же и помощник потакают ему. Писарь утверждает, что такого старшины во всем Пинском уезде нет, а помощник не раз говорил: "Нашему бы старшине полицмейстером быть". Все это кружит голову Захару Лемешу. Ведь он же хозяин волости!

Захар Лемеш - видный мужчина. Для старшины он еще совсем молодой, лет под тридцать пять. К тому же он и блондин, а блондины отличаются той особенностью, что выглядят моложе своих лет. Бороды у старшины нет и усы растут слабо, но лицо энергичное и довольно красивое. Правда, губы у него слишком толсты, нередко кривятся, но это уже результат его старшинского важничанья, а не упущение природы. Зеленоватые глаза умеют быть злыми и строгими, хотя сам старшина человек не злой. Войдя в канцелярию, он шумно идет за барьер, громко здоровается с писарем и помощником и важно садится за стол, причем стул под ним скрипит, трещит и шатается, так как старшина мужчина плотный, широкий, как хорошая шула [Шула - толстый столб в стене, от которого начинается новый ряд бревен] на гумне зажиточного хозяина.

- Слушай, писарь, нужно купить нам хороших стульев, а то на этой рунде и сидеть нельзя.
- "Рунда" на языке старшины то же самое, что "ерунда".

Затем старшина переводит глаза на царские портреты и на украшающие их рамы, которые он сам выбирал. Старшина любит царями и особенно царицей. А порой не выдержит и скажет:

- Эх, ядри его кочан! Нарядиться бы так, как царь, да иметь бы себе такую молодницу!

После этого старшина спрашивает у писаря, как идут дела, что сделано, что надо сделать, куда поехать в первую очередь и к кому заехать на обратном пути.

- Ну, дай папиросу, - говорит в заключение старшина.

Если порой помощник писаря протянет ему свои папиросы, Захар Лемеш пренебрежительно махнет рукой и скажет:

- Рунда твои папиросы!

Он знает, что папиросы писаря более дорогие, хотя распознать, определить их качество на свой собственный вкус он не может - старшина не курильщик и курит только при исполнении служебных обязанностей, для большей солидности и важности. Он иногда и сам покупает небольшие пачки папирос - за три копейки пачку, - ведь не всегда же под рукой бывает писарь, да оно еще и солиднее, когда старшина при людях вынимает из своего кармана папиросу.

- При службе, вишь ты, без этого трудно обойтись, - говорит старшина, если кто замечает, что он начал курить.

Сюда же в свободное время заходит и церковный староста Рыгор Крещик, крепыш старик лет шестидесяти с лишним. Он любит компанию высшего полета, любит посидеть, потолковать, посмеяться, - а хохочет он залихватски, - и о церковных делах завести речь:

ведь Крещик больше, чем сам поп, заботится о благополучии церкви. Он тоже любитель выпить пива. Иногда с пивом и приходит сюда, да еще и рыбину в придачу притащит, чтобы мать писаря приготовила закуску. Поговорив о святых делах церковных, он так или иначе свернет разговор и на пригожих молодич. Одним словом, человек-душа.

Сельский староста Бабич тихий человек, ласковый. Сам он говорит мало, а только слушает, как другие болтают, причем на его лице все время цветет добродушнейшая улыбка. Никто так не умеет слушать, как Бабич: внимательно, сочувственно, понимающе. Иногда он громко смеется, махнув рукой и наклонив лысую голову. А если кто отпустит что-нибудь очень сочное, тогда староста замашет обеими руками и смеется, качая головой. Приятно рассказывать такому человеку.

И писарь, и старшина, и оба старосты окружают Лобановича своим вниманием, угощают пивом, подбадривают, стараются развеселить. Они уверены, что нет здесь причины быть невеселым: и молодич хороших много, и паненок хватает - в первую очередь две сестры-поповны и дьячкова Даша, - и все они почти на одном дворе со школой.

Слушает учитель и усмехается, а сам думает: "Скорей бы в свою школу перебраться!"

XIV

Лобанович любит свою новую школу. Она сразу пришлась ему по душе, даже внешний вид ее такой, словно улыбается она приветливой улыбкой. И крылечко такое уютное, простое, без всяких лишних выдумок. Так и тянет порой посидеть на нем, послушать голоса повседневной деревенской жизни, ее извечную песню, что оживляет и наполняет просторы полей и глубоко западает в душу человека. Особенно громко звенит эта песня перед вечером либо утром, когда воздух такой отзывчиво чуткий, когда каждый звук плывет-разливается, расходится далеко вокруг.

Налево от школы, в трех четвертях версты, пролегает железная дорога. Высокие телеграфные столбы с туго натянутыми проводами, словно чудесные музыканты, неустанно слагают гимны человеческому разуму. Победной радостью звенят железные колеса вагонов, вихрь звуков подхватывается заречным камышом и превращается в целую метелицу прерывистого смеха-шелеста. А справа, из глубины заречья, из болотных зарослей, доносится густой короткий гудок парохода, напоминающий рев дикого могучего зверя. Целая симфония гудков, смягченных расстоянием, бежит-плывет сюда из города, дрожит-колышется в воздухе. К этой симфонии фабричных гудков присоединяются скрип и тарахтенье крестьянских телег, гомон рыбаков, стук весел и залиvistый смех веселого человека или ядреная брань обозленного сердца.

Доволен Лобанович и своей квартирой. Ее и сравнивать нельзя с тельшинской. Три светлые, просторные комнатки, аккуратно отремонтированные, побеленные, чистые. Оглядывает их учитель, радуется, улыбается и сам себе говорит: "Хорошую имеешь, братец, квартиру". Особенно по вкусу ему средняя комната. Одно окно выходит на выгон, а другое - на заречье. В этой комнате он и будет обычно проводить время.

В кухне живет сторожиха Ганна, женщина лет за тридцать пять, с маленькой дочерью Юстою. Юста тихонько сидит возле печи, ее совсем не слышно - ведь мать не разрешает ей ни песенку запеть, ни громко заговорить. Ганна так боится нового учителя! Она уверена, что он велит ей выбираться вон из школы. Зачем она ему, такая гадкая, да еще беременная? Кому же охота слушать писк дитяти, а оно будет у нее месяца через три-четыре... Не бывать ей в школе, и люди говорят так.

В кухне происходит великая мука человеческой души. Но кто знает о ней? И кому интересно знать? Люди могут только посочувствовать, но взять на себя часть человеческого горя никто не хочет. Никто не хочет пустить Ганну к себе в хату, а своего пристанища у нее нет. Правда, у Ганны есть муж, пьяница-нищий. Но она уже несколько лет как бросила его; он злой, негодный, бил ее без всякой причины, может, только потому, что на свете жить нелегко. Ганна обосновалась в школе, и жилось ей неплохо. Но вот

повое несчастье... Ганна вспоминает Митрофана Васильевича, учителя, который жил здесь до Лобановича. Ну что она могла поделать? Боялась противиться, чтобы место не потерять, - ведь кто заступится за нее? Но уж лучше было потерять место тогда, с одним ребенком, чем потерять теперь. И Ганна робко прислушивается к каждому движению, к каждому шагу учителя в его комнатах. У нее есть маленькая надежда на старшину, на писаря, на батюшку - к ним обращалась она, чтоб закинули за нее хоть словечко перед учителем. Но ни старшина, ни писарь ничего о ней не говорили Лобановичу, а поп еще и не виделся с ним. Старательно прибрала она кухню, подмела, вытерла каждую пылинку. Два раза перемывала пол в комнатах учителя, насыпала желтого песочку возле кухни. Все, что только можно, сделала она, чтоб чисто было, и теперь со страхом ждала решения своей участи.

Лобанович заходит в кухню. Ему интересно посмотреть на свою сторожиху, чье имя связывалось романтической историей с именем его предшественника, этого самого Митрофана Васильевича.

Испуганно смотрит на него Ганна, и сердце ее колотится.

Лобанович впервые видит такую безобразную, нескладную женщину. Фигура у нее неуклюжая, топорная. Маленькие, заплывшие глазки глубоко западают. Но это все ничего. Нос - вот в чем несчастье бедной женщины. Носа, можно сказать, и нет: нижняя часть его провалилась, торчит возле глаз огрызок носа: Нос, или, вернее, отсутствие носа, делает лицо женщины отвратительным, уродливым, а голос гнусавым. Она родилась такой. Словно проклятие, носит на себе грех своих родителей. Юста сидит на небольшом топчане возле печки и, словно зверек, поглядывает на учителя. Она тоже боится его: девочка слышала от матери, что этот незнакомый, чужой человек может прогнать ее с этого топчана, на котором она спит с матерью.

Учитель здоровается со сторожихой, осматривает кухню, раздумывая, с чего начать разговор.

- Давно вы здесь живете? - спрашивает он Ганну.

- Второй год, паничок, - гнусавит та.

- Умеее подмести школу?

Ганна никак не ожидала такого пустого вопроса, и ей делается смешно.

- Велика ли хитрость? И помыть могу!

- Ну, а сварить обед вы можете или нет?

Ганне становится немного легче.

- Могу, паничок, было бы только из чего! - уже более веселым тоном отвечает она.

- О, это хорошо! - замечает учитель.

Затем он зовет ее к себе, чтобы поговорить с глазу на глаз.

- Вот тебе девять рублей - жалованье за три летних месяца, что полагается из волости. Ты себе оставайся здесь, убирай школу и делай все, что надо сторожу делать. Утром до занятий и вечером после занятий школу надо подмести, принести воды детям, а зимою и печь истопить.

- Да уж буду, паничок, стараться, - говорит счастливая в эту минуту сторожиха.

Лобанович немного замялся, хотел спросить про своего предшественника, как все это могло случиться, но счел, что говорить об этом неловко, и только сказал:

- А дальше вот что. Когда придет время родить, ты заранее подыщи себе другое пристанище на неделю или на две - в школе это не годится, - а потом вернешься и будешь здесь жить. Я за это время из твоего жалованья ничего не буду высчитывать. Найми на свое место кого-нибудь, а заплачу я сам.

Ганна слушала, опустив голову.

- Хорошо, паничок, я ведь это и сама знаю, - и начинает вытирать фартуком глаза.

- Ну вот и все, что я хотел сказать.

Ганна выходит в кухню. Она сидит там некоторое время и плачет. Плачет от радости и горя. Тяжелое бремя, которое так давно носила она, теперь снято с нее. Но впереди

горькая, беспросветная жизнь с малыми детьми, жизнь по чужим углам, среди чужих людей. Слышно, как всхлипывает она и хрипит своим неудачным носом.

Пока не началась работа в школе, свободного времени много. Целыми часами роется Лобанович в школьных книгах, бумагах, приводит в порядок школьное имущество, прочитывает официальные письма инспекторов народных училищ. По этой переписке знакомится с историей своей школы, с учителями и учительницами, которые вели здесь работу до него. Где они теперь? Наверно, кого-нибудь из них и на свете нет, ведь давно они уже были здесь. И невольно становится как-то грустно. Следы этих неведомых ему людей остались в бумагах, а где они сами? И от него останется такой же след, а самого здесь не будет. Ему вспоминается Тельшино. Вот теперь его там нет, а такой же бумажный след остался. И снова целый ряд образов выплывает в памяти помимо его воли, и сердце щемит боль утраты. Эта старая переписка неизвестных людей и эти старые книги, продукт мысли давно умерших авторов, как могильные тени, ложатся на сердце молодого учителя, и ему становится еще грустнее, и он особенно остро ощущает свое одиночество.

Просматривая списки учеников, учитель замечает, что среди них нет девочек. Видимо, здесь не в обычае посылать их в школу. Надо будет, замечает себе учитель, поговорить с крестьянами на сходке, доказать им, что и женщине наука нужна, еще, может, больше, чем мужчине. Его мысли идут в новом направлении.

Лобанович уже из опыта знает, что пока есть работа детям дома, пока не наступит поздняя осень, собрать их в школу трудно. Неаккуратная и неодновременная явка школьников мешает нормальному ходу занятий. Поэтому лучше сначала созвать одних новичков, позаниматься с ними, а немного позже собрать остальных учеников. На двадцатое сентября он назначает сбор новичков, - это, значит, через два дня. В Тельшине занятия в школе начались значительно позже. Значит, теперь у него будет больше времени и он больше успеет сделать. Еще одну заботу надо сбросить с плеч учителю - зайти с визитом к соседям, в первую очередь к отцу Николаю, самой важной в селе персоне, а потом к лесничему, к поповнам и дьячку Ботяновскому, с которым он уже познакомился. Не по душе учителю такая миссия, но пойти надо, того требовал обычай. Не пойдешь - наживешь себе врагов.

Вечером того же самого дня, когда Лобанович обосновался в школе, пошел он к попу.

Отец Николай живет в новом доме неподалеку от церкви. Большой своей заслугой считает он постройку этого дома, и когда говорит о нем, - а говорит он каждому, - то показывает свои руки, на которых еще сохранились следы мозолей. При этом батюшка не забывает привести текст из священного писания: "В поте лица твоего будешь ты есть хлеб твой". Место, где теперь стоят новый дом и все хозяйственные постройки, очень понравилось отцу Николаю, и он решил основать здесь свою усадьбу. Но сама площадка никак не подходила для строительства - неровная, покатая, запущенная. Отец Николай собственноручно ровнял землю, срезал целые горы, как он говорил, и если с чем можно сравнить эти трудности, так только с переходом Суворова через Альпийские горы. А сколько было хлопот!.. Тут отец Николай машет рукой, устремляет глаза куда-то в пространство, и лицо его становится грустным. Но это продолжается только мгновение: ведь его хлопоты, его, можно сказать, страдания щедро окупилась результатом затраченного труда.

В таких случаях отец Николай не скрывает даже того, как весной этого года встречал он с речью в церкви архиерея и немного ошибся. В этой речи говорил он и о трудностях, с которыми приходилось "воздвигать", выполняя заповедь Божию, этот свой новый Иерусалим. Относительно своих хлопот он сказал:

- Я претерпел, как Федор Михайлович Достоевский.

Архиерей тут же заметил:

- Отче! Неужто ты не знаешь примеров страдания и долготерпения из жизни святых угодников Божиих, что ссылаешься на светского писателя?

Ну, ошибся! Отец Николай и сам смеется теперь над этим.

Отец Николай встретил учителя довольно приветливо. Казалось, он рад был видеть его. После нескольких коротких слов он заметил:

- Вы воистину поступили по-христиански.

Лобанович с недоумением глядит в глаза отцу Николаю.

- Вы, знаете ли, произвели наилучшее впечатление на крестьян, - продолжает батюшка.

- Чем же это? - спрашивает Лобанович.

Отец Николай дружески хлопает учителя по плечу, а сам долго смеется мелким смешком, идущим откуда-то снизу, словно кто-то надавливает ему живот.

- Будто бы не знаете! - говорит отец Николай. - Вы приютили бездомного человека, даже жалование за все летние месяцы отдали.

Отец Николай вдруг резко меняет тон.

- И как это Митрофан Васильевич польстился на нее? Вы же видели, какой это выродок... Она просила меня замолвить перед вами словечко, но я не отважился. По совести вам скажу, я не оставил бы ее.

- Жалко выбрасывать человека. Ну куда же ей деваться? И не она виновата в том, что она выродок, что над нею, правду сказать, надругались.

- Да, да, - соглашается отец Николай, и лицо его становится хмурым, а глаза вперяются в неведомые дали. - И все же вы гуманный человек. Вы этим завоевали симпатии крестьян. Затем отец Николай показывает учителю свой дом, следы мозолей на руках от тяжелого труда. Рассказывает о своей речи перед архиереем, о Федоре Михайловиче Достоевском, и его долго сотрясает мелкий утробный смех. Осматривая апартаменты отца Николая, Лобанович невольно чувствует во всем что-то специфически поповское. Ему приходит на память отец Кирилл, то же самое ощущалось и у него в доме - что-то затхлое, мертвое, трупное. Но учитель не может сейчас долго думать об этом - немного чопорная маленькая матушка приглашает на стакан чаю.

XV

Эх, и погода стоит на Полесье!

Только старые люди помнят такие пригожие дни. Теплынь, безветрие, солнце. В синей дымке нежатся дали. Золотисто-красная листва неподвижно свисает с ветвей высоких вязов. Темные ночи полны какого-то торжественного покоя, и небо, кажется, ниже склонилось к земле, чтобы подслушать ее извечные жалобы. А яркие, крупные звезды, словно алмазы, усыпают небо, дрожат, переливаются всеми цветами радуги, о чем-то безмерно великом говорят душе, зовут шире расправить крылья и лететь в далекие просторы, раздвинуть тесные границы омраченной заботами жизни и узнать еще не изведенную радость.

Эх, погода, погода!

Начинают во второй раз зацветать сады. Старые люди говорят, что это к тяжелому году...

Ожила выгоновская школа. Звонят детские голоса. На просторной площадке возле школы детям так славно поиграть во время переменок. Около двадцати новичков записалось в первый же день приема. Но среди них нет ни одной девочки, хотя учитель сделал все, что мог, чтобы привлечь их к учению. Крестьяне находили, что девочкам наука не нужна: и так с бабами трудно сладить, а что из них будет, если еще учеными станут! Хлопцы и те не все ходят в школу. Так пускай девочки сидят дома да куделю прядут.

Беседуя с крестьянами на эту тему, Лобанович узнал от одной молодницы, почему матери не пускают дочерей в школу. Лет пять назад ходила учиться одна девочка, одна на всю школу. И училась хорошо, да заболела как-то зимой и умерла. Наверно, с ученья и болезнь приключилась. Так думают матери, и никто из них после этого не отваживается послать свою дочку в школу.

Теперь у Лобановича уже есть небольшой учительский опыт. Пока что он больше играет с детьми, чем учит их, - пусть привыкают к школе, осваиваются, постепенно втягиваются в свою новую жизнь. И он занимается с ними только до обеда. А среди малышей есть такие славные ребятки, и особенно выделяется из их среды Алесик Грылюк. Алесик выглядит заброшенным и одет беднее всех. Рубашечка у него рваная, немытая, заношенная.

- Почему ты такой грязный? - спрашивает его учитель.

Алесик молчит. За него отвечают мальчики:

- Он сирота, у него мать умерла.

Алесик печально склоняет головку и тихонько перебирает пальчиками по парте.

Жалко малыша.

Лобанович молчит, смотрит на него, потом подходит и ласково говорит:

- А все же, братец, ты уже сам умыться можешь.

Заходит разговор о чистоте. Ведь все мальчишки не безгрешные в этом отношении. Волосы у них длинные, нечесанные, присмотришься - вши ползают. Руки - хоть репу сей.

В школе есть машинка для стрижки. На школьном дворе во время перемены учитель стрижет своих маленьких учеников. Тут же стоит блюдечко с керосином и вата. Острижет - окунет вату в керосин и вытирает вшивые головы. Вши сразу мертвеют. Детям очень интересно смотреть, как срезаются ровными рядами пряди волос, они тычут пальцами в голову, указывают на грязь. Потом под наблюдением учителя моют остриженные головы, лица и уши.

Работа в школе помогает Лобановичу быстрее "пустить корни" на новом месте, глубже ощутить полноту жизни. Пока не все ученики собрались в школу, у него остается свободное время. Он пользуется этим для лучшего ознакомления с Выгонами. За несколько дней он обошел все окрестности, осмотрел дороги и тропинки, - ведь в этом знакомстве всегда есть нечто свежее и интересное. А недавно ездил и в Пинск. Связь с городом простая и легкая - три раза в неделю посылает волость подводу на почту. В Пинске же он и лавку себе облюбывал, где можно брать кое-что в долг, - деньги ведь не всегда бывают в кармане. Для Алесика он купил бумазейную рубашку и пояс, жалко было заброшенного мальчика и хотелось чем-нибудь скрасить его жизнь.

В свободные минуты заходит учитель в волость, где у него появились уже знакомые и можно завести новые знакомства. А на селе порой встретишь веселую и смешную картинку крестьянской жизни.

Недалеко от волости есть пивнушка. Содержит ее Максим Гулейка. В последние дни возле пивнушки заметно необычное движение. Чаше заходит туда и старшина Захар Лемеш. Сам старшина твердо на ногах держится. Видимо, блюдет себя, дело какое-то обдeldывает. У старшины определенная цель. С крестьянами он ласковый, задабривает их и щедро угощает. Лобанович не в курсе дела, остается только обычным зрителем того, что происходит возле пивнушки. А там взад и вперед снуют люди. В пивнушку идут серьезные, со следами житейской заботы на лицах, а выходят из нее раскрасневшись, и ноги их ступают невпопад. Тут уж и песню услышишь, и самую задушевную беседу, и самую ласковую брань, без примеси даже и капли злости. Просто людям весело и хорошо, как, например, вот этому хрому дядьке Есыпу.

Есып уже пожилой человек. Борода его свалалась войлоком, а в самом конце хвостиком закрутилась, как в неводе мотня. Края черной свитки разошлись в стороны из-под широкого домотканого пояса. Белая длинная рубаха расстегнута. Широкая прореха открывает грудь и живот до самого пупа. Старый картуз съехал со своего обычного моста на голове и повернут козырьком в сторону. Все это делает фигуру дядьки Есыпа необычайно потешной. Выражение же его лица самое ласковое, самое добродушное. Двигается Есып как-то вприпрыжку. В этом виновата его хромая нога, а пиво только слегка водит его по сторонам.

Посреди волостного двора дядька Есып останавливается, ворочает головой вправо и влево. Видит учителя, подает руку.

- Здравствуйте, пане учитель. Вот немного выпили, - рассказывает Есып. - Ты свое дело знаешь, а мы свое. И всем нам хорошо! - повышая голос, говорит он. А потом вдруг меняет тон, как бы спохватывается: - Ты учи, учи нас и деток наших, потому что мы глупые. Ой, какие мы глупые!.. Учите, учите, - понижает голос дядька, - я вам не компания... Простите меня!

Есып берется за шапку, намереваясь снять ее, но никак не может нащупать козырек и потихоньку отходит и кланяется, а потом решительно направляется в ворота. Выходит, прихрамывая, на улицу и снова останавливается, оглядывается. На глаза ему попадает церковь. Дядька кивает сам себе головой и заводит:

И-и-и-же хе-е-е-ру-ви-и-мы,
Хе-е-е-ру-ви-и-мы,
Тай-на да та-ай-на обра-зу-ующая...

Пропел немного и бросил, а может быть, Шугай Михалка помешал, идя навстречу.

- Михалка! - останавливает его Есып. - Знаешь, браток, что?

- А что? - спрашивает Михалка.

- Побей ты меня! Побей, браток!

Михалка смотрит на Есыпа и смеется.

- Ты не смейся, а побей меня.

- Как же я, дядька, буду бить вас? За что?

- Не спрашивай, за что, а возьми и побей меня, - стоит на своем дядька Есып.

- Ну, как я буду бить вас? Вы же все-таки старый человек.

- Го! Спрашивает, как будет бить... Дай по морде - и все.

- У меня же и злости на вас нету.

- А ты разозлился, браток, и тресни.

- Не за что бить вас, дядька.

- Брешешь, Михалка, есть за что! Не потакай ты мне. Прошу - побей меня! Если ты меня не побьешь, то я пойду и буду бить свою старуху.

- Не надо, дядька, драться, лучше в согласии жить.

- Так не хочешь бить меня?

- Нет, не хочу.

- Ну, так черт же тебя побери! Найдется и без тебя добрый человек.

Дядька Есып трогается с места и ковыляет дальше по улице. Он чувствует себя в чем-то виноватым. Ему хочется, чтобы его покарали, побили. А может, это только чудачество подвыпившего человека. Он что-то бормочет себе под нос, шарит рукой вокруг картуза, нащупывает козырек и поворачивает картуз козырьком к затылку. Встречая девчат либо молодежи, он подзывает их к себе и просит, чтобы они поцеловались с ним. Молодицы убегают, кто молча, а кто посмеиваясь над ним.

Миновав середину села, Есып встречает Тимоха Жигу. Еще издалека он расставляет руки, чтобы перенять Тимоха.

- Стой! - кричит он.

Тимох останавливается, смотрит на Есыпа.

- Куда идешь, собачий сын?

- Иди, иди! - отзывается Тимох.

- Я иду и пойду, вот оно что! Тимох, хочешь быть человеком - дай мне в морду.

Удивленный Тимох окидывает взглядом дядьку Есыпа. Легкая усмешка мелькает на его лице, и не успел дядька Есып вымолвить слово, как Тимох Жига трах ему по уху. И Есып бряк о землю, дрыгнув в воздухе хромой ногой.

- Ой, трясца твоей матери, Тимох! Как же ловко ты дерешься. Ну и крепко же дал!

- Так ты же просил?

- Просить-то просил, но зачем было так крепко бить?.. Вот злодей! Вот арестант!

Тимох, усмехаясь, идет дальше, а Есып поднимается, кляня его. Люди вокруг смеются, а дядька только говорит:

- Хорошо дал, гад. Разве догнать его да выпить с ним...

От помощника писаря узнал Лобанович о причине необычайного оживления возле пивнушки. Всего несколько дней остается до выборов старшины. Захар Лемеш доживает последние моменты своего старшинского трехлетия. Захару очень хочется остаться старшиной еще на три года. На сей счет у него есть много своих соображений. Во-первых, это льстит его самолюбию: ведь старшина - первая, можно сказать, правительственная особа в волости. Во-вторых, само старшинство имеет в себе много привлекательного, заманчивого. В-третьих, у Захара Лемеша есть тайная мысль прослужить старшиной сразу, без перерыва, три срока. Если ему это удастся, он выслужит почетный кафтан. В Пинском уезде, кажется, есть один только старшина, который заслужил почетный кафтан, и этот старшина - тесть Захара Лемеша. И тесть, и жизненная практика учат, каким способом достигаются те или иные цели. С земским начальником он в хороших отношениях. С земским, конечно, выпивать Лемешу не пришлось, но кое-что перешло из его кармана в карман земского. Теперь же Захар подготавливает себе почву в пределах волости, щедро заливая глотки своих жадных на выпивку выборщиков.

Волость прибрана, вымыта, вычищена с необычайным усердием и старательностью. Дед Пилип, на ходу сунув нюхательного табаку в нос, разрывается на части: и то и это надо подправить, туда и сюда сбегать, сделать то и другое... Захар Лемеш немного нервничает. Состояние души у него теперь точно такое, как у самого доброго христианина перед исповедью. Волнуется немного и писарь. Время от времени они переглядываются со старшиной, кивая друг другу головой, и подмигивают. А "сборная" гудит, дрожит от людского шума.

Вдруг все стихает. Старшина и писарь бледнеют. Старшина сгибается, становится сразу процентов на сорок меньше ростом. Народ расступается, и между стенами человеческого коридора идет земский начальник, идет четкой, быстрой походкой военного, приземистый, коренастый, смуглый. Земский начальник - граф с французской фамилией, бывший кавалерийский офицер. Все его движения изобличают в нем военного.

- Здравствуйте! - звонко бросает земский начальник.

- Здравям жалам, ваше сиятельство! - гудит сход.

Дядька Есып не успел поздороваться вместе со всеми и уже одиноко, когда все стихло, выкрикивает непослушным языком ответные слова на приветствие:

- Здравя жжы-лаю, ваше приятьельство!

Земский начальник сразу же приступает к делу:

- Кого хотите иметь старшиной?

- Захара Лемеша! - гудят голоса.

- Лемеша! Лемеша!

- Ладно! - соглашается земский.

Захар Лемеш, уловив удобную минуту, подмигивает писарю, показав кончик языка.

Земский садится и пишет.

Вдруг дверь с шумом открывается и в канцелярию, как буря, врывается Тимох Жига. Глаза его дико вращаются, волосы взлохмачены.

- Громада! - кричит Тимох. - Уже выбрали? Захара Лемеша? Кого же вы выбрали? Еще мало выпил вашей крови!

Все это произошло совсем неожиданно. Тимох Жига один теперь владеет вниманием сходки.

Не давая никому опомниться, он налетает на Лемеша:

- Старшина! Старшинушка - ты? Га-а! Сто рублей пропил, земскому подсунул... а теперь будешь кровь нашу пить?

- Старшина! - кричит земский начальник. - Посадить его в холодную.

- Десятские! - командует старшина и сам, как хищный зверь, бросается на Тимоха. Жига не дается, ворочает широкими плечами, разбрасывает десятских. Старшина хватается его сзади за плечи. Дед Пилип открывает дверь, и Тимоха вталкивают в черную дыру холодной.

В канцелярии тихо и неловко.

Полешуки переглядываются, чешут затылки. А Тимох кричит, бушует, ругается, не щадя ни старшины, ни земского.

XVI

- Знаете, пане учитель, вся моя беда в том, что я не умею записать того, что думаю. А у меня такие хорошие думки бывают! Вот напишут в волости бумагу, ну, прошение там или жалобу какую, читают тебе ее - нет, чувствую, не так надо написать. И много напишут, и слов всяких накрутят, а того, что надо, нет. Возле правды ходят, но правду съедают: нет ее либо крепко в скорлупу завернута. А если бы я сам умел писать, так я многим нос утер бы. Аксен Каль - крестьянин из Высокого. Он пришел к Лобановичу поговорить. Учитель сам пригласил Аксена, когда познакомился с ним в волости, - у этого человека есть свои мысли, которые его занимают.

Лобанович слушает, всматривается в лицо Аксена. Это еще молодой человек, лет за тридцать. Черты его лица строги, даже холодны, глаза вдумчивые, и вся худощавая и крепкая фигура изобличает в нем человека незаурядного. Короткие черные усы плотно прилегают к самым губам упрямыми завитками и делают лицо его красивым и энергичным.

"Кем бы он мог стать, если бы его натура вовсю развернулась?" - думает учитель. И Аксен встает в его воображении то строгим прокурором, ратующим за общественную справедливость, то удалым атаманом разбойничьей шайки, безжалостным мстителем за крестьянские обиды.

Аксен Каль верит в правду, в ту извечную правду, которую так жадно ждет народ и которая за семью замками спрятана от него. Он не может спокойно смотреть на несправедливости, которые чинятся над людьми, и добивается правды. Его знает волость, знает и земский начальник как человека беспокойного и опасного. А старшина имеет приказ не спускать с него глаз. Об этом знает и сам Аксен и усмехается в черный ус: "Не вам, дурням, защемить меня!"

Не дает Аксен крестьянам погрузиться в спячку, примириться с их бесправной жизнью. Будоражит, будит их общественную мысль, бросает новые мысли, поднимает на борьбу с неправдой, - ведь крестьян обманули, обошли всякие крючкотворы чиновники, панские прислужники. Иначе как могло статься, что помещик Скирмунт из Альбрехтова залез в их дом, прибрал в свои руки из-под носа речные заливы-заводы, где так много рыбы, и сдает эти уголья им же в аренду? Заводы - большое место выгоновских крестьян. Двенадцать лет тянулся суд с паном Скирмунтом. Аксен Каль выступал от общества как доверенное лицо. Ходил по судам, начиная от окружного, и довел дело до сената, где оно и захлебнулось, потому что всюду пан держит руку пана. Так и остались заливы за паном Скирмунтом. А теперь их арендуют пять богатых хозяев из Высокого - старшина Захар Лемеш, церковный староста Рыгор Крещик и еще три хозяина. Им это выгодно, и они радуются, что Аксен Каль проиграл крестьянское дело. Они же о нем и разные слухи распускают как об авантюристе, которому нужны только общественные деньги. Ведь кто же пойдет против закона? Вот почему Аксен так не любит их - не любит как предателей крестьянских интересов и своих личных врагов. Не любит он также панов и чиновников; по его мнению, от них все зло на свете.

Хотя и сенат не признал крестьянского права, но Аксен не хочет успокоиться на этом. У него есть еще думка - подать прошение царю.

- Как вы думаете? - спрашивает Аксен Лобановича относительно прошения царю.

Лобанович опускает глаза, словно что-то соображает.

- Я сказал бы, но только не знаю, как примете вы то, что я скажу, - тихо отзывается он. И, мгновение выждав, добавляет: - Я думаю, что из этого ничего не выйдет.

Учитель едва сдерживается, чтобы не поделиться с Аксеном тем, что вот уже несколько дней тому назад ворвалось в его душу и перевернуло там все вверх ногами, целиком захватив его мысли. Но осторожность и чувство самосохранения берут верх, и он говорит:

- Знаете, Аксен, мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз, поговорим так, чтобы никто не знал. А теперь я хочу сказать вам вот что. Вот вы сожалеете, что не можете записать свои мысли... А давайте попробуем поучиться?

Аксен в свою очередь опускает глаза, а затем усмехается.

- Знаете, голова уже на другое направлена, не тем занята. Хорошо учиться смолоду, а теперь и времени не хватает.

По тону его слов и по выражению лица видно, что Аксен не возражает против обучения.

- Бросьте! Свободную минуту всегда можно найти, была бы только охота. Приходите ко мне по вечерам, когда время будет. На большую науку рассчитывать не будем, а научиться читать и немного писать, я думаю, сумеем.

- Оно... почему бы и нет? Хотя бы только читать да расписываться - и то хорошо.

- Давайте попробуем сейчас.

Лобанович срывается с места, берет бумагу и письменные принадлежности и подсаживается к Аксену.

- Человек вы взрослый, и я буду с вами заниматься не так, как с маленькими. Начнем сразу с письма, в первую очередь с вашей фамилии.

Учитель пишет "Аксен Каль", старательно выводя каждую букву.

- Вот я написал ваше имя и фамилию. Зовут вас Аксеном. Вот вам этот самый Аксен, слово "Аксен", - ведь наша речь складывается из слов, а каждое слово можно записать. А вот и фамилия ваша - "Каль". На ваше счастье, и имя и фамилия короткие. Всмотритесь в них, а я сейчас печатные буквы достану.

Учитель идет к школьному шкафу, берет ящичек с буквами, а Аксен сидит, не сводит глаз с написанных учителем двух слов. Все его внимание направлено на эти слова, но ничего не говорят они ему. Он видит целый ряд странных значков-фигурок из палочек, кружков и крючков, совсем чуждых и незнакомых для его глаза.

Лобанович угадывает его мысли и говорит:

- На первых порах, конечно, эти написанные слова ничего вам не говорят. К ним надо привыкнуть, присмотреться, как присматривается хозяин к своим гусям в стаде и сразу узнает их.

У Лобановича возникает сомнение, правильно ли избран метод обучения, - ведь в школе он пользуется другим, который хорошо знает. Такой же метод тогда не имел распространения и даже не был известен Лобановичу. Но учитель исходил здесь из психологического расчета: собственная подпись должна сильнее заинтересовать его ученика.

- Вы разглядываете написанные слова, а теперь я покажу, как они печатаются в книге. Вот смотрите - эти значки называются буквами. Нам надо составить слово "Аксен". Слушайте, как можно сказать "Аксен".

Учитель произносит слово по буквам:

- А-к-с-е-н.

Несколько раз называя каждую букву, он показывает их Аксену и складывает в один ряд.

Написанные слова и слова, сложенные из печатных букв, Лобанович кладет перед своим случайным учеником, сам увлекается и наконец расшевеливает и Аксена. Он начинает с большим интересом смотреть на слова, слоги и на отдельные значки-буквы. А когда дошли до мягкого знака в слове "Каль" и выяснилось его значение, то фамилия Аксена неожиданно для учителя и ученика приобрела совсем другой смысл и вызвала сначала неловкость, а потом и смех.

Аксен по этому поводу даже заметил:

- Тридцать шесть лет живу, а не знал, что может быть из моей фамилии! Вот что значит наука, провалиться его матери!..

Научившись отличать значки один от другого и сложив несколько раз свои собственные имя и фамилию, Аксен приступил к письму. Загрубелые и неловкие пальцы его с трудом держали ручку, стискивая ее, как клещами. Порой он приходил к убеждению, что ничего из этого не выйдет, не одолеет он премудрости держать как следует ручку, но всякий раз на помощь приходил учитель, разгонял страхи и укреплял его веру в то, что это только на первых порах, а потом пойдет глаже.

Обучение окончилось, учитель дал Аксену карандаш и бумагу, чтобы он время от времени упражнялся дома.

- Вечерком в свободную минуту приходите ко мне, понемногу, незаметно вы научитесь и читать и писать.

Аксен крепко пожал руку учителю и пошел домой, дав обещание учиться.

Провожая Аксена из квартиры, Лобанович вышел во двор. Было уже часов десять вечера. Аксен зашагал в темную улицу и скоро исчез во мраке, а Лобанович стоял на крыльце, прислушиваясь к тишине холодного осеннего вечера. В конце дощатой ограды возле клена зашуршала под чьими-то ногами сухая листва, и чья-то фигура крадучись, осторожно двинулась в сторону реки. Как видно, кто-то стоял под окном и, наверно, смотрел в его комнату.

Порой в окна заглядывали деревенские хлопцы либо даже и молодницы, проходя возле школы, - просто интересно было посмотреть на квартиру учителя, когда там горит яркая лампа под светлым абажуром, а может быть, и на него самого. Лобанович не обращал на это никакого внимания. Теперь же какое-то тревожное чувство шевельнулось в его душе, и те волнующие мысли, которые недавно целиком захватили его, снова вспомнились ему вместе с тем источником, откуда и выплыли они.

Два дня тому назад нашел Лобанович на крыльчке школы странную вещь. Завернутая в газетную бумагу, на скамейке возле стены лежала маленькая книжечка. Учитель вошел в квартиру и начал читать. Слова и буквы замелькали, запрыгали в его глазах, словно в каком-то танце, и вначале он не мог следить за мыслями автора, хотя они были очень простые и ясные, - до того необычным было содержание книжечки.

Все те представления о царе как о помазаннике божием, как о персоне справедливой, беспристрастной, для которой интересы самого последнего бедняка и интересы вельможи совершенно одинаковы, - одним словом, вся та мишура, которой окружалась личность царя, якобы воплощавшего в себе все лучшее, что только может быть в человеке, все это развеивалось здесь самым безжалостным образом, развеивалось в прах. Автор метко бил в этот казенный щит, выставленный перед царской особой, и, изрешетив его, стягивал с царя деликатные покровы, показывал его в настоящем, неприкрашенном, грубом виде - человека-паука, самого большого кровососа на теле народа.

Все мысли автора направлены были к одному, били в одну цель - разрушить веру в царя, показать его действительную сущность. В книжечке изображались так называемые царские реформы в совершенно новом для Лобановича освещении. Здесь же высмеивались царские приказы и мероприятия, направленные будто бы на благо народа, как, например, установление института земских начальников и другие. На деле же получались совсем иные результаты, чем те, о которых твердила казенная царская печать, и все это показывалось на простых примерах. Наряду с этим в брошюре раскрывалась действительная роль политических организаций, на чьих знаменах была написана безжалостная, беспощадная борьба с царизмом за освобождение народа из-под ярма самодержавия, тех организаций, которые вынуждены были скрываться в тайных углах и которые шельмовались и клеймились страшными словами - выродки, преступники, крамольники. "Помни, Николай кровавый: теперь тебе масленица, но придут и постные дни", - так заканчивалась брошюрка.

Первое, что ощутил Лобанович, прочитав книжечку, был страх, словно под ногами заколебалась почва и перед ним раскрылась какая-то бездна. Эта бездна и пугала и притягивала к себе с такой силой, что от нее нельзя было отойти. Первый страх, как спутник крушения определенного, хотя еще и не совсем оформленного и утвердившегося, строя внутренней жизни, в свою очередь, вызывал другой страх: а что, если бы эту книжечку нашли у него и донесли начальству? Зачем ее подбросили ему? Кто подбросил? Какая мысль руководила человеком, подбросившим ему эту опасную книжечку?

Мысли как-то путались, перебивали одна другую, и одно чувство сменялось другим, порождая в душе сумятицу, тревогу. А вместе с тем фигура царя представляла в его воображении в своей страшной двойственности: царь - ласковый, портретный царь и царь, показанный в книжечке, - хищный царь, обманщик, со злобно оскаленными зубами, готовыми грызть человеческое тело. И эта двойственность не давала покоя, требовала сделать выбор, признать какой-нибудь один из этих обликов.

Целый ряд жизненных фактов, которые довелось наблюдать Лобановичу, и то, как относились к простому человеку люди, стоявшие выше его, и весь общественный уклад - все это вместе являлось наглядным подтверждением тех мыслей, которые высказывались в книжечке. Но неужели люди не замечают этого? Неужели все эти чиновники, все учителя с высшим образованием, которые воспитывают людей нового поколения, неужели все они сознательные лгуны и прохвосты? Как могло случиться, что люди умные, высокообразованные одобряют, восхваляют этот политический строй, находят его лучшей формой общественной жизни, которой нужно служить, которую нужно оберегать?

Эта маленькая книжечка произвела целую революцию в мыслях Лобановича, показала положение вещей в совершенно новом для него свете. Книжечку он носил с собой, а вечером, ложась спать, на всякий случай прятал подальше.

Постояв на крыльце, Лобанович идет в квартиру, одевается, берет палку и выходит на выгон. Его заинтересовало, кто бы это мог бродить у него под окнами. Осторожно идет он в сторону реки, присматривается, видит - оттуда кто-то движется. Подходит ближе - старый дьячок Ботяновский.

Неужели это он подсматривал в окна? Не нравится дьячок учителю, вот почему и с визитом к нему не собрался до сих пор. Дьячок медленно плетется на свой двор, а Лобанович идет в сторону железной дороги, чтобы побыть наедине со своими мыслями.

XVII

Дьячок Ботяновский таит обиду на своего соседа Лобановича: кто он такой, что не хочет зайти к нему, к старому, уважаемому человеку, двадцать девять лет прослужившему возле святого алтаря? Еще не было здесь учителя и учительницы, кто бы выказал дьячку такое пренебрежение, обошел его дом. Даже Иван Прокофьевич Белявский, казенный лесничий, - разве можно сравнить такую особу с этим учителем! - зашел с визитом к нему, когда приехал сюда пять лет назад, и теперь навещает, точно так же, как бывает у лесничего и сам он, дьячок Ботяновский. А уж какой образованный, умный человек этот лесничий и какое жалованье получает! Да и с кем вообще не знается дьячок Ботяновский! Люди, можно сказать, с фамилиями на все двенадцатые праздники составляют круг его знакомств: Спасский, Успенский, Рождественский, Благовещенский, Воздвиженский, Введенский, Богоявленский, Сретенский и другие. Это если взять по духовной линии, а если присоединить сюда людей светских... Не считаешь!

И вообще подозрительным кажется ему сосед. То слоняется, прячется по закоулкам, то шушукается с людьми опасными, такими, как этот Аксен Каль, и по ночам бродит, как вор, по пустынным дорогам. Что-то недоброе затаил он в своих мыслях. И дьячок начинает понемногу присматриваться к своему соседу. Время от времени проходит он мимо школы, заглядывая в окна. Порой остановится и ухо к раме приложит, чтобы уловить хоть несколько слов и по ним разгадать смысл беседы, которая ведется там, за

окном. Иногда он тихонько откроет калитку и войдет на школьный двор, заглянет в комнатку, смежную с кухней, и в самую кухню, - ведь у дьячка Ботяновского разные бывают подозрения и догадки. Но таким способом добиться чего-нибудь определенного ему никак не удастся, и учитель по-прежнему остается для него некоторой загадкой. Однако дьячок от своего не отступает. У него есть и другие способы узнать то, что его интересует. Он только не хочет торопиться с этим; никуда учитель не денется, и в священном писании сказано: "Ничего нет тайного, что не станет явным".

Сторожиха Ганна иногда заходит к поповнам, чтобы оказать им кое-какие услуги, и вообще ее нетрудно встретить и поговорить с нею.

- Ну, здорово, Ганна! - остановил однажды ее дьячок.

- Здоровеньки булы! - отвечает сторожиха, немного удивленная вниманием дьячка, и хочет идти дальше.

- Скоро ли ты меня на крестины позовешь? - издалека начинает дипломатический разговор дьячок. Он вообще любит поговорить с женщинами, хотя уже и старый человек. Дьячихи у него нет - умерла.

Ганна усмехается: что сказать на это?

- Не знаю, - отвечает она.

- Как же ты не знаешь? Хороший хозяин знает, когда его корова отелится, а ты своего срока не знаешь! Разве дело такое запутанное или отцов много?

- Отец-то один, но и того пускай холера задушит, - гнусавит Ганна.

- А этот, новенький, к тебе не подкатывается?

- А зачем вам все знать?

Ганна видит никчемность болтовни дьячка, и ей совсем не хочется вести такой разговор. Она быстро поворачивается и идет в школу, а дьячок усмехается, провожает ее глазами. Он немного недоволен результатом разговора - ничего не удалось узнать. Наоборот, теперь он еще больше сбит с толку ее ответом: "А зачем вам все знать?"

Немного поразмыслив, дьячок мотает себе этот ответ на ус и качает головой. Ох, эти скромные, тихие молодые люди! Их подлинную сущность давно определила народная мудрость: "В тихом омуте черти водятся". Этот вывод до некоторой степени удовлетворяет дьячка, но полного успокоения не дает, и он не спускает глаз со своего соседа.

Многое в учителе кажется ему странным. Взять хотя бы историю с этой сторожихой - неужто не мог он найти себе старика сторожа либо молодницу, ну пусть себе и не только для обязанностей сторожихи? Но зачем держать эту безносую? В чем тут причина? Нечистое, видно, дело. Или вот еще - подарки своим ученикам покупает. Никто этого не делает. Какой дурень будет выбрасывать на ветер деньги! Видимо, и здесь есть какой-то свой расчет. С крестьянами зачем-то знакомства заводит. Смотришь - то один, то другой, то сразу несколько на квартиру к нему заходят. И кто заходит? Люди, которые в селе никакого веса не имеют, а если и имеют, то в плохую сторону, как этот Аксен Каль.

Сама собой напрашивается мысль: "Демократ и смутьян!"

При случае дьячок нет-нет и заговорит с кем-нибудь о соседе: интересно знать, как люди смотрят на это?

Когда о всех этих фактах дьячок доложил отцу Николаю, батюшка сначала махнул рукой и засмеялся своим мелким утробным смехом, потом, подумав, устремил глаза в пространство, наконец качнул головой направо и налево и сказал:

- Все может быть.

Примеры, подтверждающие такой вывод, можно было найти в газете "Свет", которую выписывал отец Николай.

Иван Прокофьевич, казенный лесничий, лысый человек лет сорока, блеснув своими быстрыми и острыми глазами, заметил:

- Пустое! Семинарский идеализм еще не совсем выветрился.

А писарь заключил:

- Популярности себе ищет.

Хотя в этих взглядах разных лиц на одного человека не было согласия, тем не менее дьячок не только не отказался от своей мысли, а, наоборот, еще сильнее укрепился в ней: с какой стороны ни взгляни на дело, поведение молодого учителя не совсем обычное. Людям со стороны это не так в глаза бросается, но старого дьячка не проведешь. Нет, к такому соседу надо присматриваться! И нужно быть осторожным, ибо учитель, видать, тоже человек осторожный. Недаром он тогда, проводив Аксена, ходил возле речки, чтобы дознаться, кто был под окном, и встретил его, дьячка. Узнал или нет?

Чтобы не дать повода соседу думать плохое о себе, дьячок решил сам навестить Лобановича.

Однажды вечером он вошел на школьный двор и постучал в кухню. Ганна открыла дверь.

- Добрый вечер, Ганна! - громко поздоровался дьячок. - Дома учитель?

Лобанович высунулся из своей двери.

- Не заходите вы ко мне - так я сам заглянул по-соседски к вам.

- И хорошо сделали. Садитесь, пожалуйста. Вы меня простите, что я до сих пор не зашел к вам. Даже и сегодня собирался, - солгал учитель.

- Ой, правда ли? - спрашивает дьячок и лукаво прижмуренным глазом глядит на соседа.

- Ну, неловко мне и оправдываться, раз я виноват перед вами.

- Похвально, что хоть вину признаете свою.

- Я всегда уважаю людей, которые старше меня.

- А как в святом писании сказано на сей случай? - спрашивает дьячок.

- "Пред лицом седаго восстани и почти лицо старче", - ученически отвечает Лобанович.

- Священное писание знаете, но по священному писанию не поступаете. - В голосе дьячка слышится укоризна.

- А кто живет по священному писанию? Священное писание запрещает таить обиду на кого бы там ни было, а вы на меня обижаетесь.

- Сохрани боже! Никакой обиды на вас не имею. Каждый волен жить, как считает лучше, - говорит дьячок и оглядывает комнату. - А ничего себе квартирка у вас.

Дьячку нужно что-то говорить, и он повторяет:

- Ничего квартирка.

Наступает короткое молчание.

Учитель пытается заговорить, но разговор не клеится. Его выручает дьячок:

- Не скучно вам одному?

Лобанович оживает. Нет, ему совсем не скучно, у него есть работа в школе, а по вечерам он или читает, или готовится к следующему школьному дню.

- А я к вам хотел как-то зайти, но здесь кто-то был, и я не захотел мешать вам.

- Вы мне нисколько не помешали бы. Пожалуйста, заходите, - говорит учитель и тут же думает: "А лучше, чтобы ты не заходил".

Разговор снова прерывается.

- Ну, а как у вас хор? - наконец переходит дьячок на деловую почву.

- Никак.

- Митрофан Васильевич организовал в свое время хор, и ничего себе пели в церкви. Вам бы только поддержать его. Знаете, благочиние церковное от этого во многом зависит.

- О, Митрофан Васильевич выдающийся учитель и память о нем не умрет в выгоновской школе.

Начинают хвалить Митрофана Васильевича, хвалить неискренне и фальшиво.

- А теперь ему повышение дали, - говорит дьячок. - Назначили в городе в приходское училище. А там, знаете, учителя уже и форму свою имеют с блестящими пуговицами, и фуражки с кокардами носят, как чиновники.

- Митрофан Васильевич такую честь заслужил в полной мере! - с еле скрытой насмешкой аттестует своего предшественника Лобанович.

- Умел человек поставить себя, - замечает дьячок.
- Да, это не всем удастся.
- Не зарыл своих талантов в землю.

Нудный, пустой разговор тянется с короткими перерывами, течет, как гнилая вода в грязном ручейке.

Дьячок сидит уже более часа и не собирается домой. Да и что ему делать дома? Не знает дьячок, куда девать свое время. Хозяйство его небольшое, Даша одна справляется с ним.

Даша - молчаливая, угрюмая, замкнутая девушка. О чем она думает, что у нее на сердце, она никому не говорит, даже отцу не открывается. Правда, отец не очень и старается заглянуть в ее сердце. Он знает, что ей давно пора замуж, но где ты возьмешь теперь жениха! А Даша сама надулась на молодых людей, - что же ей еще оставалось делать?

Дьячок сидит, время от времени поглядывает на свои вывернутые пальцы, о чем-то думает, и хитроватая улыбка мелькает в его прищуренных глазах.

Неинтересно сидеть со старым дьячком. Сухой и пустой, как обмолоченный сноп. Какой-то старческий скептицизм сквозит в каждом его слове, затхлостью прошлого отдает его речь, и сам он, пропахший обветшалыми и бездушными церковными канонами, лампадным маслом и воском церковных свечей, кажется неприятным архаизмом, враждебным всему, что свежо и молодо.

Время от времени учитель украдкой бросает взгляд на дьячка: "И был же когда-то человек молодым... Какой он был в юности? - мелькают мысли у него в голове. - Вероятно, были у него тогда какие-то стремления, чего-то ждал от жизни человек. И как он сделался таким заскорузлым, сухим и черствым?"

Дьячок начинает его раздражать, злить, мешать ему. А тот сидит себе, покуривает папиросы соседа, разглядывает свои кротовьи лапы-руки. Лобанович не знает, о чем говорить с ним, как поддержать разговор. Вместе с дьячком и он переводит глаза на его руки, останавливает на них свое внимание. Наконец не выдерживает и спрашивает:

- Отчего это у вас такие руки, Амос Адамович?

Амос Адамович - так зовут дьячка - смотрит на свои странные лапы, растопырив пальцы, усмехается и говорит:

- От старости и от ревматизма. Стареет человек - изменяются и формы его тела. Не красит, милый мой, старость человека... А вы знаете, чем лечусь я от ревматизма?

- Чем?

- Крапивой. И очень помогает.

- Как же вы лечитесь крапивой?

- Рву крапиву и бью его по рукам. Нахлещешь их - и сразу легче становится. А доктора не знают лекарства от ревматизма. Крапива - самое лучшее лекарство.

- А зимой как вы лечитесь крапивой?

- Зимой хуже: не растет крапива. Это хорошо свеженькой.

Дьячок начинает рассуждать о большой ценности крапивы. Чтобы здоровым быть, не мешает иногда всего себя посечь крапивой. От крапивы он переходит к прошлому. В старину люди никаких докторов не знали и были здоровые. Вообще прежде жилось лучше. Продукты были дешевые. За три копейки черт знает чего можно было купить. И люди были лучше.

Ведет разговор Амос Адамович неинтересный, много раз слышанный. Вспоминает какого-то исправника, как тот из сметаны масленку [Масленка - творожистая сыворотка, остающаяся от сметаны после отделения масла] делал.

Бедный учитель то и дело смотрит на часы, а дьячок не замечает этого. Кажется, он никогда не уйдет отсюда.

Так проходит весь вечер.

- Вы, должно быть, поздно спать ложитесь? - спрашивает учитель.

- Как когда, - отвечает дьячок и снова сидит, смотрит на свои вывернутые пальцы.

"Ах, чтобы ты лег и не проснулся больше!" - думает Лобанович и не может дожидаться, когда его гость уйдет.

XVIII

Начало ноября.

Вечер.

Лобанович сидит в своей любимой комнатке. На столе горит лампа под светлым абажуром. В окна глядит густой мрак. Низко свисают седые тучи, сея мелкий дождь. Тихо и глухо. Только из кухни доносится голосок Юсты, поющей песенку, да изредка скажет что-нибудь своей дочери Ганна.

Учитель просматривает бумаги, присланные сегодня с почты через волость. С почтой пришла и газета "Гражданин". Редактор этой газеты - князь Мещерский. Отвратительная черносотенная газетка "сверхпатриотического" содержания. Высылается в школы бесплатно, издается на казенную субсидию для распространения монархических идей. В газете помещаются и соответствующие рисунки. В этом номере также есть рисунок: царь Николай II сидит за столом среди книг и бумаг с пером в руке. Выражение его лица глубокомысленное и озабоченное. А где-то на заднем плане суетится народ, занятый своими делами. Под рисунком подпись: "Народ веселится, а царь работает".

Лобанович смотрит на рисунок, и по его лицу пробегает ироническая улыбка. Потом он хватается газетку и швыряет куда-то в угол.

"Мерзость!"

Возле школьного крыльца со стороны выгона слышатся чьи-то шаги, а затем осторожный стук в дверь.

"Кого это еще нелегкая несет?" - думает учитель и идет к двери, подняв на всякий случай с пола "Гражданина" князя Мещерского.

- Кто? - спрашивает Лобанович.

- Учительница, - слышится за дверью молодой девичий голос.

Визит незнакомой учительницы, да еще в поздний час, его сильно удивляет. Он открывает сначала дверь в свою квартиру, чтобы виднее было, так как в сенях темно, и впускает учительницу.

- Заходите, будьте любезны.

Учительница входит в темноватую комнату и останавливается.

- Проходите дальше - там светлее и теплее.

- Но прежде нужно познакомиться. Ольга Андросова... Не испугала я вас? - спрашивает учительница и смеется.

- Если пугаться учительницы, то лучше пойти и утопиться в Пине.

- Вы простите меня. Еду в свою школу, в Купятичи, и по дороге к вам заехала.

- И очень хорошо сделали. Разденьтесь и немного посидите. У меня как раз и самовар сейчас будет готов.

Ольга Андросова еще совсем молодая девушка. Год, как окончила гимназию. Смуглая, круглолицая, живая и быстрая. Фигурка у нее стройная, складная. Темные волосы подстрижены. Глаза бойкие и смелые.

- Вы еще не были в своей школе?

- Нет, не была. И не знаю, какая она там. А вы уже давно здесь?

- Скоро два месяца будет.

- И работу начали в школе?

- Начал. Второй месяц как занятия идут.

- Охти мне! Как же я отстала от вас!

- Почему же так поздно вас назначили?

- Назначили меня с первого октября. Ну, пока пришло назначение, - а живу я на Смоленщине, - да пока приехала сюда, да в Пинске немного у знакомых побыла, вот и опоздала.

- Ну что ж, лучше поздно, чем никогда.

Андросова - бойкая, общительная девушка. Не прошло и пяти минут, как они разговорились, словно давно уже были знакомы. А когда Ганна принесла самовар, учительница взяла у нее полотенце, стала вытирать стаканы, попросив на это разрешение, и сама налила чаю хозяину и себе. Она пила чай и рассказывала о том, как добиралась сюда. Заговорившись, курила и, видимо, чувствовала себя здесь очень хорошо.

Но в самый разгар чаепития и разговора в окно постучал возчик. О нем здесь и забыли. Возчик этот - крестьянин из Купятич. Ему надоело стоять возле школы, и он забарабанил в окно.

- Скоро поедем?

Ольга Викторовна посмотрела на Лобановича.

- Я и забыла, что мне ехать нужно. Что ж, буду собираться.

- Ольга Викторовна! Отправляйте вы свою подводку домой, а сами ночуйте здесь. Уже ночь, а пока доедете, еще пройдет час. А в школе вашей, наверно, холодно и, возможно, никого нет. Говорю вам, отбросьте всякие церемонии и оставайтесь ночевать. Завтра пойдете в волость, - а в волости вам все равно надо побывать, - возьмете подводку и поедете.

Учительница смотрит на Лобановича.

- А знаете, - говорит она, - вы подаете мне гениальную мысль.

Лобанович выходит во двор.

- Поезжайте домой, - говорит он подводчику. - Учительница здесь останется.

- Здесь так здесь. Но зачем я битый час стоял?

Возчик поворачивает коня, бубнит что-то себе под нос и отъезжает.

Лобанович возвращается в квартиру, а Ольга Викторовна по какой-то аналогии вспоминает один случай из своей жизни и рассказывает о нем.

- Однажды в Смоленске останавливает меня оборванный человек интеллигентного вида: "Дайте мне, барышня, на выпивку". - "Сколько же вам дать?" - спрашиваю. Оборванный человек глубокомысленно приставляет палец ко лбу. "Представьте себе, барышня, впервые в жизни наталкиваюсь на такой вопрос! Ну, дайте, чтобы можно было червяка залить". - "Понятие "залить червяка" - вещь неопределенная и растяжимая: одному и "крючка" достаточно, а для другого "крючок" - капля в море", - замечаю ему. "Совершенно справедливо. Я именно из категории тех, для кого "крючок" - капля в море..."

Ольга Викторовна как бы спохватывается и говорит:

- Может быть, коллега, я вам мешать здесь буду? Бестолковая я!

- Нисколько! - успокаивает ее Лобанович. - Квартира моя просторная, и даже кушетка мягкая есть.

- Да вы буржуй! - смеется Ольга Викторовна.

- Я только пользуюсь, можно сказать, от вашего брата.

- Как так?

- Тут была когда-то учительница, которой симпатизировал инспектор. Это он для нее приобрел такую буржуйскую роскошь. Так что вы на нее имеете большее право, чем я.

- Ну ладно! - соглашается Ольга Викторовна. - Будем считать этот вопрос исчерпанным. А теперь хотела бы я просить, коллега, чтобы вы ввели меня в курс школьного дела, ведь я в нем ни черта не понимаю. Не знаю даже, как и приступить к нему.

- Ну что ж, расскажу вам, как и что. Только с вас за это магарыч, ведь даром, говорят, и коза не прыгает, - шутит Лобанович.

- За этим дело не станет. Приезжайте ко мне, угощу, - смеется учительница.

- Ну, если так, слушайте. Прежде всего вам нужно собрать учеников. Обычно это делается так: вы назначаете день сбора, а староста - можно и через попа - оповещает родителей, чтобы посылали в школу детей. Соберутся дети, вы их запишете в особый журнал... Вот это все я покажу вам...

Лобанович приносит журналы и раскладывает их перед учительницей, показывает, в каком журнале и что надо записать.

- Как видите, журнал сам подсказывает, как и что записывать. Но это пустяки. Самое паршивое в нашей учительской практике то, что одному человеку приходится вести работу с четырьмя группами, а у вас еще и школа многолюдная - около ста детей наберется.

- Что вы говорите! Около ста человек? И четыре группы! Да ведь это же свинство! Что же я буду делать?.. Охти, головонька моя!

Страх и недоумение отражаются на лице Ольги Викторовны. Лобанович смотрит на нее, а затем хохочет.

- Так это же обычное явление в наших школах, - замечает он.

- Но я не могу себе представить, как можно вести работу в таких условиях. И все четыре группы в одной комнате?

- А как же иначе? Страшного здесь ничего нет. Нужно только заранее распределить свою работу таким образом, чтобы у вас всегда была группа, где вы будете вести основную работу, а другие группы тем временем пусть занимаются сами под вашим контролем. Группы вы меняете, чередуете, но ни одну не упускаете из виду, иначе в классе будет шум, беспорядок.

- Невеселые вещи рассказываете вы мне, Андрей Петрович. Если бы знала, не приехала бы к вам... Миленький Андрей Петрович, научите же меня распределить работу так, чтобы удобно было вести ее!

- Вы так хорошо попросили меня, что я должен научить.

Лобанович приносит свое расписание работы в школе. Садятся рядом. Учитель показывает ей расписание и объясняет. Ольга Викторовна присматривается, начинает разбираться и совсем веселеет.

- Ну, я спишу ваше расписание, сдеру его до буквы. Дайте мне, пожалуйста, лист бумаги... Ах, как славно, что я к вам заехала и как умно вы поступили, что не пустили меня!

Она снова оживляется, с жаром принимается за работу. Через четверть часа они окончили переписывание.

- Ну, теперь меня не возьмешь за рубль двадцать! - говорит учительница, пряча расписание.

Речь ее развязная, бойкая. С Лобановичем держится по-товарищески. Лобанович присматривается к ней, раздумывает, к какой категории женщин ее отнести. Она напоминает ему тургеневскую нигилистку.

- Ну, как вы вообще смотрите на свою учительскую миссию? - спрашивает он.

- Ох, скажу вам, нудное это дело! Да я его и не знаю. А вы так напугали меня, хотелось повернуть отсюда и дать драпака. Я только утешаю себя тем, что, к счастью, вы мой сосед, и надеюсь, что вы поможете мне, если я иногда упрусь лбом в стену.

- Видите, Ольга Викторовна, все дело в том, чтобы полюбить свою работу. Если вы полюбите ее и увлечетесь ею, то найдете способ устранить и преодолеть препятствия, когда они встретятся.

- Чтобы полюбить свое дело, нужно еще и верить в его смысл, - замечает Ольга Викторовна. Она опускает глаза, будто веры у нее как раз и не хватает, только сказать она об этом не отваживается.

- Но ведь вы, наверное, верите, если выбрали себе учительскую дорогу.

- Вы думаете, все учителя так увлечены своим делом, что целиком отдаются ему? - вопросом отвечает Ольга Викторовна, видимо уклоняясь от прямого ответа. Потом она

поднимает глаза на Лобановича. - Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, добро вы творите народу или зло, забивая головы детей и их чистые души всякой казенной трухой? "Ах, вот ты какая!" - думает Лобанович и чувствует, как больно уколола его эта странная девушка.

- Тот, кто знает, что он сознательно начиняет детские мозги этой, как вы называете, казенной трухой, тот мерзавец, либо несчастный, безвольный человек, или просто ремесленник, готовый за деньги делать все что хочешь. Но что мешает отбросить эту труху и направить внимание детей в другую сторону?

- Как же это сделать? - спрашивает Ольга Викторовна.

- Вот это и надо обдумать. Я знаю, что такая работа в тайне не останется.

Дальнейший разговор сближает их, рассеивает недоверие и настороженность, которые мешают проявлению искренности и прямоты в отношениях людей, особенно малознакомых.

Ольга Викторовна рассказывает, как летом она жила среди студентов и учителей, какие разговоры велись между ними, как враждебно настроены они против этой "казенной трухи". У нее есть интересные книги, которыми она охотно поделится со своим соседом. Беседа тянется за полночь, пока Лобанович, как хозяин, не вспоминает, что учительница устала с дороги, что ей нужно отдохнуть.

А со двора на них смотрит не одна только черная, молчаливая ночь: дьячок Ботяновский стоит на границе света, падающего из окна учительской квартиры, и густо нависшей над землей тьмы. Он пристально всматривается в молодую пару, ловит каждое движение их мысли на лицах. В его голове копошатся разные предположения, догадки, а когда он убеждается, что эта чернявая стриженная девушка остается здесь ночевать, удивлению и возмущению дьячка нет предела.

XIX

Ольга Викторовна взяла с Лобановича слово, что он в ближайший праздничный день наведется к ней. На этом они и расстались.

А тем временем дьячок Ботяновский не мог удержаться, чтобы не рассказать соседкам-поповнам, отцу Николаю и лесничему о позднем визите учительницы к его соседу и - что еще было интересно - о ее ночевке в его квартире. Дьячок при этом не пожалел красок, чтобы описать все подробно: как они пили чай, как она вытирала стаканы, как он подсаживался к ней и как она наклонялась к нему. И это все дьячок видел случайно, проходя мимо школы.

- Подумайте, что творится на свете! Чему же они могут научить детей? - возмущался дьячок.

Добродетельные поповны выслушали с большим интересом рассказ дьячка. Слушая, они переглядывались, а по их лицам пробежали иронические улыбки.

- А какая она, красивая? - спросила младшая поповна, Антонина, более живая и ехидная.

- Стриженная! - ответил дьячок, и это слово прозвучало в его устах как равнозначное слову "пропащая". - А какая она дальше, одному Вельзевулу, князю тьмы, известно. Блудница содомская!

- На красоту теперь не смотрят, - сокрушенно замечает старшая, Глафира, считающая себя красивой. - А пример тому - безноса Ганна и Митрофан Васильевич. - И она вздыхает. Оставшись вдвоем, поповны долго обсуждали это происшествие и изливали всю горечь своего застарелого девичества. А Ганне учинили допрос, - ведь интересно же узнать еще что-нибудь новенькое!

- И долго они сидели? - спрашивает Антонина.

- Не знаю, паненочка. Я уже легла спать, а они еще сидели.

- И она сама вытирала стаканы?

- А кто ее знает! Взяла у меня полотенце.

Ганна боится сказать что-нибудь лишнее: ведь учителя она уважает и ничего плохого в нем не видит.

- А где она спала? - спрашивает теперь уже Глафира.

- На кушетке.

- А он где спит?

- А он - в этой маленькой комнатке, что возле кухни.

- А ночью не вставал он? Не слыхала?

- Нет, не слыхала. Панич еще с вечера, ложась спать, отдал той паненке ключ, чтобы она заперлась.

- Ключ отдал? Зачем? - интересуется Антонина.

- Должно быть, чтобы она заперлась и спокойно спала.

- И она взяла ключ?

Ганна выказывает нетерпение и нежелание отвечать на такие вопросы.

Отец Николай также выслушал дьячка внимательно. Вначале он сделал удивленные глаза, а затем засмеялся и наконец спросил:

- А какова она собой? Ничего девушка?

Отец Николай человек молодой, и его нет-нет да и смущает порой дьявол и заставляет заглядываться на пригожих молодич. Дьячок это знает.

- Ничего девушка, сочная и фигуристая.

Отец Николай глотает слюну.

- Что же, и ты, Амос Адамович, был молодой. Может, и теперь злой дух искушал тебя, когда остановил возле окна?

Долгий смех снова сотрясает живот отца Николая, а дьячок опускает глаза.

- Спета моя песня, отец Николай, - отзывается он и печально вздыхает.

- Так ли это, Амос Адамович? - спрашивает отец Николай и хлопает дьячка по плечу. - Аврааму было сто лет, когда родился у него Исаак, а тебе до ста, гляди, лет сорок осталось?

Дьячок выпрямляет сгорбленную спину.

- Да оно если бы на то пошло, отец Николай, старый вол борозды не портит.

- Вот видишь! Так-то, Амос Адамович, - добавляет отец Николай, - Мы видим сучок в глазу брата своего, а бревна в своем не замечаем.

Отец Николай немного разочаровал дьячка. Правду сказать, в глубине души он и сам понимал, что в этом происшествии нет ничего необычайного, но какой-то бес не давал ему покоя, восстанавливал его против учителя. Скорее всего, это была просто глухая зависть к своему соседу, зависть немогущей старости к здоровой молодости. Но этому чувству он старался придать иную форму. Как-никак, учитель должен быть примером, а не шашнями заниматься.

И дьячок не может успокоиться. Идет к лесничему. Заводит разговор об учителе.

- Он, видно, серьезный хлопец, - отзывается лесничий, - и работник хороший.

- Гроб беленый! - замечает дьячок и рассказывает про визит учительницы.

Лесничий слушает внимательно. На его губах блуждает улыбка. Он сам далеко не святой по женской части человек. Выслушав дьячка, он говорит:

- На ловца и зверь бежит, если он только сам не дурак. - А затем он еще больше расхолаживает дьячка: - Это пустяки. Я знаю случаи, когда студент и студентка ночуют в одной комнате, на одной постели, и ничего между ними не бывает.

Таким образом, рассказ дьячка не произвел на мужчин того эффекта, на который он рассчитывал. Зато женщинам он дал для пересудов богатый материал, которого им хватило на долгое время.

Вскоре после этого происшествия дьячок появился в школу. На этот раз он пришел сюда в качестве учителя. Отец Николай в связи с хозяйственными или иными делами не мог прийти на "закон божий" и попросил дьячка заменить его.

- Ты, Амос Адамович, живешь там близко, сделай одолжение, займись чем-нибудь с учениками.

- Можно, отец Николай! - согласился дьячок.

В дело преподавания Ботяновский не имел практики. Но она ему и не нужна. Он сам когда-то изучал "закон божий", помнит, как учили в его время. Правда, он многое забыл, но кое-что в памяти еще осталось. Вот о том, что сохранила ему память, он и будет говорить.

Ученики были весьма удивлены, увидев Ботяновского в школе. Многим из них приходилось иметь дело с дьячком, когда они забегали летом к нему в сад и огород, а он гонялся за ними и бранился последними словами.

Дьячок приступил к делу не торопясь. Сперва сообщил, что отец Николай поручил сегодня ему заняться "законом Божиим". Всю школу соединил он в одну группу и приказал детям сидеть тихо, слушать внимательно. А затем начал.

- Ну, ты! - тычет пальцем дьячок в школьника.

Поднимается несколько ребят, так как вывернутый палец дьячка направляется сразу на нескольких учеников.

- Чего вы встали? - кричит дьячок.

Дети начинают хихикать.

- Я вам посмеюсь, бездельники вы! - грозит он. - Ну, вот ты, чернявый, с краю!

Поднимается "чернявый, с краю".

- Как тебя звать?

- Михалка.

- Фамилию твою спрашиваю, дурень!

- Мажейка.

- Это какой Мажейка? Тот, что возле кузницы?

- Эге, - отвечает ученик.

- А как тебя дразнят?

Михалка молчит, а из всех уголков, вначале тихо, а затем сильнее, звучат голоса:

- Латак, Латак!

- Много наделал ты в огороде дырок? - спрашивает дьячок.

- Нет, немного.

- Ну, сколько?

- Может, с десяток морковок и вырвал.

- Ах ты разбойник! Ну, садись.

Под дружный хохот детей Михалка садится, а дьячок топает ногами и машет руками, чтобы успокоить их.

- Хоть вы и учитесь, но ничего не знаете, - начинает дьячок речь, причем говорит он на языке полешуков, которым он владеет лучше, чем русским. - Начнем с конца, вернее - с самого начала, потому что вы дурни и ничего не знаете. Так вот... Вначале ничего не было: ни неба, ни земли, ни наших Пинских болот, ни камыша на них.

- А чем тогда печи топили? - спрашивает кто-то сзади.

- И печей не было, и хат не было, - отвечает дьячок, - ничего не было. Был один только бог... А где живет бог? - прерывает сам себя дьячок, обращаясь к ученикам.

- На небе, - гудят дети.

- Да, на небе. Кое-что вы знаете. Ну, а вот когда неба еще не было, тогда где жил бог?

- Во всяком месте.

- О, шельмы, и это вы знаете! Ну, что бы такое спросить у вас, чего бы вы не знали... Ага! Скажите, сколько лиц у бога?

- Три. Бог отец, бог сын и бог дух святой.

- Вот арестанты, и это вы знаете! Ну, буду рассказывать дальше. Так вот, ничего не было, только дух божий носился над бездной. И замыслил бог создать мир. Отделил бог свет от тьмы и назвал свет - день, а тьму - ночь. Поглядел бог и говорит: "Хорошо вышло". На

второй день бог встал рано и начал мастерить небо. Сделал, посмотрел - хорошо. Если есть небо, то нужно, чтобы и земля была. Сделал бог и землю. Но земля кругом пустая и неустроенная, перемешанная с водой. Но уже было поздно. "Завтра сделаю", - думает бог. На завтра он встал еще раньше. Работы впереди тьма - нужно наделать рек, озер, морей, ну и болота также нужны человеку. Вот это все и сделал бог на четвертый день. А чтоб еще лучше стало, он и украсил небо - солнце, месяц и звезды сделал. В пятницу - это, значит, в пятый день - наделал бог разной рыбы в воде и птиц в воздухе. Весело стало на земле: тут тебе и трава и деревья растут, ветер шумит в листве, птички поют, прямо и в хату не хочется идти. Не хватало еще зверей и человека. В шестой день сотворил бог зверей.

- И человека! - подсказывают дьячку.

- Нет, стой, вперед не забегайте. Перед тем как сотворить человека, совещание произошло промежду богом отцом, духом и сыном. Бог говорит: "Надо создать человека по образу и подобию нашему". Взял бог глины, слепил человека и подул. Как дунул, человек сразу и ожил. Начал он ходить, осматриваться, но подобного себе нигде не видит. Скучно стало Адаму - первый человек назывался Адамом, - нигде места не найдет себе, бедный. Ходит, как после хорошей выпивки, ища, чем бы опохмелиться. Смотрел на него бог, смотрел, да и говорит: "Нехорошо человеку быть одному, надо женить его". Девчат же на свете не было, сватать его не повезешь, надо иной выход найти. Истомился Адам, слоняясь по земле, и крепко уснул. Вот тогда бог взял из него ребро, а из ребра сделал женщину и назвал ее Евой. Проснулся Адам, да как глянул на нее, весь и просиял сразу. А бог смотрит и радуется. "Бери, говорит, ее, пусть она тебе будет за женку. Живите, говорит, в добром согласии, в мире, не ссорьтесь, не деритесь. А ты, Ева, ухаживай за своим мужем. Все, что вы видите кругом, все это ваше. Будьте же хозяевами надо всем, что на земле. Не забывайте бога, в церковь ходите. Попа и дьячка также не забывайте, ведь они за вас меня молят".

Рассказал затем дьячок, как жили в раю Адам с Евой, как им было хорошо, какие там цвели сады и деревья и какую заповедь дал им бог. Но особенно интересно рассказал дьячок о том, как люди согрешили и как бог покарал их за это.

- Послушал Адам свою женку, съел яблоко с запрещенного дерева. А когда съел, сразу познал, что сделал мерзко. Нехорошо ему сделалось, и в первый раз обругал Еву как следует быть. А та молчит, но что ты возьмешь с бабы? Бросил Адам Еву и пошел в дубы. Лег под дубом и лежит. Слышит - бог по раю ходит. Стыдно Адаму в глаза богу глянуть. Лежит, не встает. Слышит - бог с Евой говорит:

"Где твой Адам?"

Опустила глаза Ева, молчит.

"Что же ты молчишь? Где, говорю, Адам?"

"Не знаю".

"Как "не знаю"? А кто же должен знать? - Глядит на нее бог строго. - Это, говорит, моя милая, через тебя свет горит! Я все вижу и знаю. Обожди, говорит, я с тобой еще поговорю! Пойду только этого бездельника поищу. Меня так не хочет слушать, а женку послушал!"

Слышит все это Адам. Страшно ему. Притаился за дубом - и ни гугу. Прошел бог так и этак, смотрит - нету Адама. "Где же он, говорит, девался?" Давай его звать:

"Адам!"

Адам ни гугу.

"Адам!" - еще громче зовет бог.

Адам от страха и голову пригнул. Бог-то знает, где Адам, но хочет, чтоб он хоть немного покаялся и сам попросил бога отпустить ему грех.

"Адам, где ты?"

Не подает Адам голоса.

Тут дьячок входит в роль разгневанного бога и наделяет его всеми своими качествами.

- Разгневался бог да как крикнет: "Адам, лихоманка твоей голове, где ты, гад?!"

Видит Адам, что деваться некуда, вылезает из-за дуба.

"Зачем ты ел то, что я тебе не позволил?"

Вместо того чтобы покаяться, Адам начал оправдываться:

"Жена, которую ты мне сосватал, дала мне, и я ел".

Позвал бог Еву.

"Зачем ты давала Адаму запрещенные плоды?"

"Меня искусил дьявол, уговорил меня".

Поглядел на них бог, покачал головой.

"Будь же ты проклят, дьявол! Ползай на своем чреве, а некогда потомок Евы размножит тебе голову. Ты, Ева, будешь в муках рождать детей, а муж твой будет господином над тобой. А ты, Адам, не забывай, что сделан ты из земли и в землю снова пойдешь. Проклята земля из-за тебя. Будешь ты работать много, а пользы иметь мало, потому что не послушал бога". И выгнал их бог вон из рая.

Так вот, видите, шельмы, какой грех не слушать бога! Делайте то, что вам говорят старшие. И по садам лазить не надо.

XX

Мысли, вызванные нелегальной брошюрой, не давали Лобановичу покоя. Прежние позиции, на которых зиждилось его мировоззрение, оказывались шаткими, построенными на песке. Они не выдерживали напора критической мысли и рассыпались, обнаруживая свою несостоятельность и никчемность.

Казалось, сам воздух насыщен новыми веяниями свежей мысли, хотя охранители устоявшегося веками политического строя твердо стояли на своем посту и заколачивали даже самые маленькие щели, через которые могли бы пробиться на свет белый новые идеи. Но где-то в сокровенных, тайных глубинах жизни что-то бурлило, кипело, поднималось, рвалось вверх. Газеты сообщали о забастовках, которые вспыхивали то здесь, то там в больших городах. Глухо долетали из разных мест грозные отзвуки народного протеста, возмущения. Из придавленных низов выбивались родники новой жизни.

Теперь все эти события рисовались Лобановичу в ином свете. Он ощущал радость познания повой правды, той правды, что, едва осознанная, неясная, веками живет в мужицком сердце, будоража и поднимая людей на восстания, той правды, за которую лучшие дети народа томились в острогах, страдали и гибли в ссылках, на каторге либо в расцвете лет складывали головы в темных подвалах. И все эти мученики за правду вызывали изумление и глубокое сочувствие и с неодолимой силой влекли на тот тернистый путь страдания, по которому шли они.

Вместе с тем Лобанович особенно остро почувствовал двойственность, двусмысленность того положения, в котором он теперь очутился. С одной стороны, он, деревенский учитель, вынужден проводить в жизнь определенные идеи, направленные на укрепление того порядка вещей, в справедливость которых он не верит. Над ним есть око, и это око не дремлет. И не одно, а много таких очей. С другой стороны, выполняя свою роль, он сознательно переходит в ряды врагов народа. Он станет лгуном и просто нечестным человеком, если будет вбивать через школу в детские головы эти казенные идеи.

Пробовал он в своих рассуждениях остановиться на определенном компромиссном решении. Что же, он будет молча обходить все то, что благоприятствует развитию казенных, монархических принципов, наталкивать детей на мысль о несправедливости существующих социальных порядков, пробуждать у них общественную сознательность, будет стремиться посеять в их душах зерно сомнения, действительно ли хорошо все то, что принято считать справедливым.

Лобанович вспоминал свои прежние размышления о роли учителя. Подобные мысли приходили ему в голову еще в Тельшине, но тогда он не знал того, что знает теперь, хотя

многое чувствовал своим социальным чутьем. Теперь эти компромиссы не удовлетворяют его. Учитель считает, что такие мысли исходят от того соглашателя, который живет в самом существе человека.

Нет, дальше мириться с этим невозможно. Надо успокоить свою гражданскую совесть, выполнить свой гражданский долг и выйти из фальшивого положения обманутого человека, того положения, в котором находятся миллионы одураченных людей. И такой выход он находит в лице Аксена Каля.

Аксен Каль заходит к нему вечерами. Обучение хотя медленно, но подвигается вперед. Аксен уже может расписаться, что его очень радует, но это еще не свидетельствует о его грамотности. Читает он с печатного слабо, а с рукописного еще хуже. Расписываться он научился потому, что это наиболее частый вид его упражнений в письме. Дома упражняться ему некогда, да и неудобно. Приходится довольствоваться тем, что приобретешь здесь. Но без практики закрепить достигнутые успехи трудно, и Аксен порой высказывает мысль, что, может быть, науки с него и хватит. Учитель же упорно насаждает на него, уговаривает идти дальше. И они понемногу идут.

Но не эти занятия составляют главное содержание их вечеров, - первое место отводится беседам на темы политического характера. Аксен Каль оказался таким человеком, с которым можно смело поговорить обо всем. Он только удивился немного, услышав от учителя, что самый большой враг народа - сам царь. Аксен всю свою жизнь разделял общую веру в царя, который будто бы стоит выше обычных человеческих интересов, для которого одинаково близки интересы всех сословий, а если над бедным человеком и надругаются и поступают с ним несправедливо, то в этом виноваты царские советчики и все эти босяки - министры, губернаторы, земские начальники, исправники и всякие другие чины, которых даже и не сосчитать. Для Аксена Каля именно теперь и невыгодно было утратить веру в царя, невыгодно с чисто практической стороны: его не покидала надежда отвоевать заливы, захваченные паном Скирмунтом, а для этого оставалось одно только средство - подать прошение на царское имя.

- Но подают же люди прошения царю, и эти прошения он принимает, - пробует возразить Аксен.

- Ну конечно, если бы он не принимал этих прошений, то их не подавали бы. Но какие просьбы удовлетворяет царь? Если у кого-нибудь некрасивая, безобразная фамилия и он хочет переменить ее, такую просьбу царь уважит. Если засудят кого-нибудь, царь может уменьшить кару и даже совсем отменить ее. В таких мелких случаях почему не уступить людям? Царь помогает. Ведь надо же, чтоб люди верили в него. Но там, где затрагиваются интересы дворян, помещиков, царь никогда не станет на сторону крестьян. И в таких случаях говорят: "Министры не показали прошения царю". Выходит так, что хозяин хороший, а виноваты слуги. Чепуха все это, Аксен, и обман! Царь никогда не пойдет против помещиков: ведь сам он прежде всего помещик. Царь Николай Первый так и сказал на собрании дворян и помещиков: "Не забывайте, господа, что я первый среди вас помещик". Я вам, Аксен, скажу больше. Вы знаете случаи, когда царь удовлетворяет просьбы. Но знаете ли вы такие случаи, когда цари высылали крестьянских ходоков в Сибирь? А такие случаи были.

Аксена в эту минуту больше всего занимают заливы-тони.

- Значит, выходит, что наши тони у пана Скирмунта не вырвешь? - спрашивает он.

- Не вырвешь, - подтверждает Лобанович.

- И прошение, говорите, не поможет?

- Нет, не поможет, - уверенно отвечает учитель.

- Ох, лихо его матери!

Злость разбирает Аксена. Перед его глазами встают многочисленные суды, долгая тяжба с паном Скирмунтом и проигрыш дела во всех инстанциях.

- Остается одно, - говорит Аксен, и глаза его поблескивают злобой, - придушить, сгинь его доля!

- И это не поможет: у пана найдутся наследники, а того, кто его придушит, сгноят в остроге.

Аксен хмурит лоб. Видно, он очень близко принимает все это к сердцу. Мысль его усиленно работает, ищет выхода из тупика и не находит, а в сердце поднимается жажда мести и злорадия.

- И неужто вечно будут их сила и право? - как бы обращаясь к самому себе, говорит Аксен.

- Этого не должно быть и не будет, но само ничего не сделается.

- А кто сделает!?

- Должны сделать сами обиженные.

- А как они сделают?

- Вот над этим и надо подумать. Прежде всего надо перестать верить в царя и рассеивать эту пустую веру и в других. Нужно осознать, что все государственное бремя несут на себе горемычные крестьянские спины и мозолистые руки рабочих. На их горбах богатеют и жиреют в городах разные купцы и фабриканты, а на земле - дармоеды помещики. Надо знать, что нами командует ничтожная кучка дворянства и богатых купцов во главе с царем. Нужно понять всю эту музыку, эту хитрую механику, чтобы свалить ее со своих плеч. Но одного только знания мало, надо создавать свои союзы и организации. Чем больше войдет людей туда, в такие организации, тем легче будет вести борьбу за свое право и за свое освобождение.

Аксен слушает, соглашается, иногда качает головой.

- Ой, трудно сделать это с нашим народом! - говорит он и замечает, что народ в разные стороны смотрит, а иному дурню это никак и в голову не вобьешь.

- Сразу, за один день, конечно, не сделаешь этого. Хорошо будет, если сейчас на селе найдется несколько человек, которые будут разделять эти думки и другим о них говорить. Только, Аксен, в этом деле нужно соблюдать большую осторожность.

Такие беседы велись вначале только между учителем и Аксеном. Затем к ним присоединились еще двое крестьян, отец и сын. Это были соседи Лобановича. Старому Безручке лет пятьдесят, а сыну его, Яким, в этом году надо на призыв идти. Безручка называет себя казаком - его предки были казаками на Украине, а потом перебрались на Полесье. В его зубах постоянно торчит трубка. Может быть, эта трубка и является причиной того, что старый Безручка принимает малое участие в беседах. Он больше молчит. Зато лицо его, очень выразительное, отражает все оттенки его мыслей и чувств. Иногда он вынимает изо рта трубку, сплевывает и делает коротенькое замечание. Обычно же говорит больше руками. Особенно многозначительно машет он рукой, когда речь заходит о царе. Поднимает глаза на царский портрет и, не вынимая из зубов трубки, безнадежно махает на него рукой. И этот жест означает: "Пользы, брат, с тебя столько же, как с дырки в мосту".

Оба Безручки люди щуплые и белобрысые. Если старый Безручка скуп на слова, то сын говорит и за себя и за отца.

В то время когда говорит Яким, отец внимательно слушает, но не глядит на сына. И трудно вообще сказать, куда он глядит. Кажется, обдумывает все время какую-то необычайно сложную жизненную задачу, но все слышит, не пропускает ничего.

Говорили здесь о многом: о тяжелом положении народа, о привольной жизни панов и начальства, об издевательствах над простыми людьми, о причинах, породивших такие порядки на свете, о том, что надо делать, чтобы отвоевать свое право, что это за люди - социалисты, чего они хотят, за что страдают, почему их карают строже, чем убийц и конокрадов.

- Но почему нам батюшка об этом никогда ничего не скажет? - спрашивает Яким.

- Как же он тебе скажет, если он с нашей темноты хлеб имеет! Кто пойдет сам против себя? - отвечает Аксен. - Поп, земский начальник, пристав, исправник - это, брат, все одна шайка.

Временами темой их бесед были прокламации. Тем или иным способом попадали они в крестьянские руки. Приедут, бывало, крестьяне с рынка, начнут доставать из телеги покупки и найдут узенькие длинные листочки. Неграмотный крестьянин посмотрит на них, спрячет в карман, чтобы при случае показать человеку грамотному. Поднесут их иногда отцу Николаю, дьячку или лесничему.

Лесничий поглядит-поглядит - и рраз! Порвет прокламацию на мелкие кусочки, а потом выругается крепкими словами и скажет:

- Это все жульнические махинации. Иди и руки вымой. А если поймал этого сукиного сына, что подсовывает такую мерзость, тащи его в полицию. В полицию - и никаких!

- А черт его батьку ведает, что оно тут пишется, - отвечает крестьянин и очень жалеет, что не удалось узнать, о чем говорится в листовках.

Если прокламация попадет в руки попа, он злобно блеснет глазами и спросит:

- Где ты ее взял?

- В соломе на возу нашел.

- Это есть богомерзкое писание, и печать антихриста прибита на нем. Такие вещи надо отдавать в полицию. А еще лучше, если сжечь на месте.

- А что же тут, батюшка, написано? - спрашивает необычайно заинтересованный полешук. Батюшка зажигает спичку, чтобы сжечь прокламацию.

- Если злой дух вознамерится искусить человека, то он обещает ему золотые горы. Вот и здесь он делает то же самое. От этих прохвостов, которые пишут такие листочки, отступился бог, и в безумии своем говорят они: "Нет бога, и не надо царя". Священное же писание нас учит: "Всякая душа пусть слушается начальства, ибо начальство поставлено от бога". - И отец Николай поджигает прокламацию.

А если такая прокламация попадает к дьячку, он забирает ее, прячет в карман.

- Я отдам ее старшине, а старшина передаст по начальству.

В квартире учителя прокламации давали богатый материал для бесед. Говорили и о содержании прокламаций и о тех людях, которые составляют их.

Старика Безручку удивляет ловкость этих неведомых людей, которые так искусно подбрасывают листовки.

- Ну и ловкачи, сгнуть их матери, так подсунут, что и не услышишь!

XXI

Несколько дней подряд лил дождь.

Грязь, непролазная, клейкая грязь затопляет дороги. Колеи залиты водой. В низинах, словно озера, стоят широкие лужи. Ни перейти, ни обминуть их. Холодно, сыро, пусто и глухо. Изнемогшие, притихли, замерли просторы Пинского полесья. Серые крестьянские хаты сиротливо жмутся к скользкой, мокрой земле; тоской веет от мертвых, оголенных деревьев.

Лобанович довольно далеко отошел от села, миновал две ветряные мельницы в поле и остановился перед огромной лужей, - нет, не перейдешь. Глядит по сторонам - не обойти: далеко по бороздам, словно лучи, во все стороны от этой лужи расходится вода. Теперь он видит свою ошибку: надо было сразу направиться на железную дорогу. Идти назад далеко - почти половина пути. Еще полверсты - и переезд, а за переездом гать. Там не будет такой грязи. Стоит, оглядывается, раздумывает. Неужели его остановит эта злосчастная лужа? Уже несколько раз собирался он в эту дорогу, не раз вспоминал Ольгу Викторовну и свое обещание побывать у нее.

Учитель выходит на более сухое место, наклоняется, снимает ботинки, засучивает штанины: "Лихо его бери, льда нет, может быть, ноги не отвалятся, а на переезде обуюсь", - думает он. Раз и два... Ноги погружаются в холодную, как лед, жижу. Жгучий холод, кажется, доходит до самого сердца, но он храбро шагает по грязи. Ему вспоминается, как некогда маленьким бегал он босиком кататься по льду. Местами грязь и вода доходят до

колен. Наконец лужа кончается, и он выходит на более сухое место и сразу пускается бежать, ощущая необычную легкость и желание мчаться как можно быстрее. Бежит, а в ушах звучит украинская песня: "Ой, не ходы, Грицю, та й на вечорницю..." Пока добежал до переезда, ноги сделались красными, словно у аиста. Зато, когда обулся, сразу почувствовал, как хорошо ногам.

Не доходя до села, он сворачивает с дороги и идет пустыми огородами по протоптанной стежке. Школа видна издалека - ее сразу можно узнать по белым ставням и вообще по всему ее виду.

Перебравшись через забор, Лобанович идет школьным огородом, где торчат еще стебли подсолнечников, и заходит в кухню. Сторожиха Маланья в белой вышитой сорочке, чистая и аккуратная молодница, суетится возле печи.

- Дома учительница?

- Дома, дома! - бойко отвечает Маланья, оглядывая учителя живыми, веселыми глазами.

Ольга Викторовна, видимо, услышала и по голосу узнала своего соседа по школе. Послышались ее быстрые, твердые шаги. Мгновение - и она сама показалась на пороге. Лицо у нее веселое, в глазах светятся искры радости.

- Андрей Петрович? Вот молодец! А я уже и надежду потеряла на то, что увижу вас здесь. Ну, милости прошу!

- Если я умру, то перед смертью напишу: "В моей смерти повинна Ольга Викторовна".

- Отчего это вы умирать собираетесь да еще меня причиной своей смерти выставить думаете? Никогда мне в голову не приходило, что из-за меня может человек умереть.

Лобанович рассказывает про страшную лужу, преградившую ему путь.

- Но желание увидеть вас было так велико, что я разулся и перешел вброд.

- Что вы говорите! - на лице Ольги Викторовны отражается изумление. - Так и в самом деле нетрудно заболеть и к Аврааму на пиво попасть. Ох, Андрей Петрович, бить вас некому! Надо же хоть подлечить вас...

Она бежит на кухню, приказывает Маланье подогреть самовар, а затем, как волчок, вертится возле шкафчика.

Лобанович глядит и усмехается: "Неужто у нее горелка есть?" Оказалось, нечто лучшее - бутылочка нетронутого хорошего коньяка.

- Я очень рада, что есть чем подлечить вас. - Она наливает солидную чарку. - Пейте, Андрей Петрович, это первое средство избежать простуды.

- А вы начните сами.

- О нет! Я же босиком не ходила, - смеется она, - и вообще не пью чистого коньяка.

- Ну, так будьте здоровы!

Лобанович хотел уже выпить, но остановился и сказал:

- Пускай же никогда не оскудевает рука, наливающая чарки, и пускай стоят на дорогах лужи!

После такого предисловия он ловко опрокидывает чарку. Посмаковал, посмотрел на учительницу.

- Знаете, Ольга Викторовна, что? - Ну?

- В другой раз я приду к вам босиком.

Учительница смеется.

- Может быть, еще одну?

- Нет, и вся та лужа не стоит этого божьего дара.

Лобанович чувствует, как приятная теплота разливается по телу.

Квартирка Ольги Викторовны старая, темноватая. Давно не беленный потолок весь разрисован рыжими потеками. Пол подгнил, и доски шатаются под ногами. Учительница живет в одной комнатке, аккуратно и чистенько прибранной, как умеет прибрать девичья рука.

- Ну, похвалитесь же, Ольга Викторовна, как живется вам здесь?

- И не спрашивайте, Андрей Петрович! Мечешься, суетишься, а все что-то... не то. Нет... ну, как вам сказать... ну, радости работы...

- Вы еще, вероятно, находитесь в стадии налаживания занятий, а в этой стадии всегда много хлопот и неприятностей, - пробует успокоить и подбодрить ее Лобанович.

Ольга Викторовна словно бы задумывается над его словами, а затем отрицательно качает головой.

- Нет, меня просто работа не удовлетворяет, и вся обстановка для нее какая-то нечеловеческая. Вы видели мою классную комнату?

- Нет, не видел.

- Хотите посмотреть?

- Давайте посмотрим.

Ольга Викторовна ведет его в школу.

- Вот, любуйтесь, - говорит она, открывая дверь.

Классная комната имела очень запущенный и мрачный вид. Штукатурка на стенах грязная, обшарпанная, местами отбита. Всюду на ней чернели следы ученического письма

- долгие годы стены эти выполняли роль промокательной бумаги. Пол во многих местах прогнил и перекосялся.

Лобанович осматривает школу.

- Да, Ольга Викторовна, похвалиться своей школой вы не можете.

- Вы знаете, Андрей Петрович, пробудешь в такой атмосфере несколько часов и выходишь отсюда как отравленная. Просто хоть и на свете не живи.

- Паршивая школа, это правда, - соглашается Лобанович, - сочувствую вам, Ольга Викторовна.

Осмотр школы портит его хорошее настроение. Ему жалко становится Ольгу Викторовну. Хочется сказать что-нибудь хорошее, веселое, ободряющее, но слов таких он не находит.

- Ну что ж, - наконец говорит он, - остается только утешать себя тем, что скоро каникулы, можно будет отдохнуть, а там, смотришь, и зима кончится, придет весна... Эх, Ольга Викторовна! Люблю я весну, особенно то время, когда на березах начинают распускаться листочки. Весной у меня пробуждается дух бродяжничества. Вот так бы, кажется, шел и шел бы в просторы земли.

Мысли о весне и о путешествии увлекают Лобановича. Он забывает душную, гнилую школу Ольги Викторовны и говорит о своем желании попутешествовать в свободное время летних каникул.

- Знаете, Ольга Викторовна, чем хороша жизнь сельского учителя?

- По-моему, ничего в ней нет хорошего, - скептически отвечает Ольга Викторовна.

- Неправда, Ольга Викторовна, есть!

- Ну, что, например?

- Свободное лето. Кончил работу в школе - и иди куда хочешь, делай что пожелаешь.

- Да, здесь вы, пожалуй, правы, - соглашается Ольга Викторовна.

- А, что? Вот видите. Никакая другая служба не дает такого приволья. И знаете, какие у меня есть мысли?

- Кто же может знать ваши мысли?

- Тот, кто полюбопытствует узнать их.

- Ну, тогда расскажите.

- Вот какие мои мысли. Я хочу научиться делать фотографические снимки, хочу купить фотоаппарат. Весной подберу себе компанию вольных скитальцев... В деталях я еще не продумал свой план, а в основных чертах он таков - обойти пешком целый район, описать его, собрать народные песни, легенды и другие виды народного творчества, богато иллюстрировать свое путешествие фотографиями. Хочу собрать целую галерею знахарей, колдунов, шептух и шептунов - ведь этот тип вымирает - и сохранить их таким образом в наизидание потомкам.

- Ваш план мне нравится, - оживляется Ольга Викторовна. - И действительно, в нем есть, если хотите, поэзия и своя красота.

- Поэзии здесь и не оберешься! - подхватывает Лобанович. - Новые места, новые люди, неожиданные приключения, ночлег где-нибудь на лоне природы, костер, темное небо и ясные звезды... И при свете костра вы будете слушать рассказ какого-нибудь сказочника-деда о событиях прошлого, где правда и фантазия переплетаются самым удивительным образом.

- Вы так интересно рассказываете, Андрей Петрович, что мне уже хочется пуститься с вами в дорогу, если примете в свою компанию.

- Об интересных вещах нельзя рассказывать неинтересно, - замечает Лобанович. - А против того, чтобы иметь вас в компании, я абсолютно ничего не имею. Даже больше вам скажу: такой компанией я вполне удовлетворюсь, и если кого приму в компаньоны, то только не своего брата мужчину.

Говоря это, Лобанович заглядывает в глаза Ольге Викторовне с хитровой улыбкой, словно стараясь сказать этим взглядом то, чего не договорил словами.

Ольга Викторовна с притворной укоризной смотрит на соседа и качает головой.

- И все-то вы, мужчины, на одну колодку сделаны! - добавляет она.

Маланья принесла самовар.

- Ну, будем чай пить и поговорим о вашем путешествии.

Ольга Викторовна накрывает стол, изредка перебрасываясь с гостем короткими фразами.

- Знаете, Ольга Викторовна, - говорит Лобанович, сидя за столом, - кроме шуток, я серьезно думаю о своем путешествии. Но я вижу в нем не только одну поэзию, здесь может быть и неинтересная проза. Но дело не в этом. Я хочу ближе присмотреться к тому, как люди живут, чем живут и что они думают. Такое желание появилось у меня недавно. Вы знаете, что я делаю тайком? - тихо спрашивает Лобанович.

Ольга Викторовна смотрит на него.

- Вероятно, пропаганду ведете?

- Именно. Крамольные идеи проповедую.

- Ну?! - Учительница еще более оживляется, и в глазах у нее поблескивают искорки.

- Что вы на это скажете? - спрашивает он.

- Молодец вы, Андрей Петрович! От души желаю вам успеха. Интересно, как вы это делаете?

- Пока что у меня есть три человека, крестьяне, и один из них мужчина весьма серьезный. На него можно положиться, как на каменную стену. По вечерам иногда он заходит ко мне, и я учу его - он неграмотный, - а вместе с тем веду беседы на разные "крамольные" темы. Приходят и еще двое, отец с сыном. Интересные люди!

- А как же вы напали на них, собрали? - спрашивает Ольга Викторовна.

- Да просто присматриваюсь к людям, прислушиваюсь к их словам, испытываю их понемногу.

- И они слушают?

- Очень внимательно. Вообще работать с ними можно. Одно только мешает - нет соответствующей литературы.

Лобанович рассказывает историю с нелегальной книжечкой.

- Кое-что у меня найдется, - говорит учительница.

- Пожалуйста, одолжите мне, - просит Лобанович.

Ольга Викторовна тотчас же встает, роется в своих потайных хранилищах и вынимает несколько тоненьких брошюр.

- Возьмите и используйте, но только верните мне.

Лобанович бегло знакомится с книжечками и прячет их.

- Как вы думаете, Ольга Викторовна, каким образом могла попасть ко мне на крыльцо запретная книжечка?

- В Пинске, наверное, есть революционная организация, и нашелся умный человек, который догадался подбросить вам эту книжечку.

- Наверно, так оно и есть, - соглашается Лобанович.

- Я на этих днях собираюсь в Пинск. У меня там есть знакомые. Через них можно связаться с организацией. Тогда литературы будет достаточно. Вот эту работу я понимаю! Ольга Викторовна совсем оживает. Она только жалеет, что у нее нет пока что таких людей, с которыми можно было бы также заняться чтением нелегальных книг, но утешает себя тем, что войдет в организацию и организация ей поможет. Они долго сидят и разговаривают. Ольга Викторовна показала толстую рукописную тетрадь, в которой переписано много разных революционных песен и стихотворений. Возвращаясь домой, Лобанович всю дорогу думал о своей нелегальной работе и об Ольге Викторовне. В ее лице он впервые видел девушку, открыто мечтающую о революционной работе, и проникся к ней большим уважением.

XXII

За последнее время в Высоком произошли некоторые перемены. Приехал новый писарь Матей Дулеба; прежнего писаря, чернявого Романчика, забрали в солдаты. Когда это стало фактом, старшина Захар Лемеш не на шутку загрустил и даже пришел в отчаяние. Сколько сочувствия и сожаления было высказано здесь Романчику!

- Эх, Федя, Федя, друг ты мой любимый! Не думал я и не гадал разлучиться с тобой. Старшина опускает глаза и грустно склоняет голову, словно вдова, похоронившая мужа. И тогда уже сам писарь выступает в роли утешителя.

- Ничего, Захарка! Приедет другой писарь, будете жить и дело делать. Говоря это, Романчик хлопает старшину по широкому плечу. Но сам он убежден, что другой писарь никогда не будет таким деловым, как он. Романчик хочет услышать это от старшины. И старшина говорит ему:

- Нет, брат Романчик, нет, Федя, не наживу я другого такого писаря, как ты. На некоторое время они умолкают, опускают головы, вместе отдаются грустным чувствам.

- Э-э! Есть о чем горевать, - первым нарушает молчание Романчик и залихватски машет рукой. - Найдутся люди, а мой здесь и след пропадет, и память обо мне умрет. Если бы Романчик был поэтом, он, вероятно, сложил бы самую жалостную элегию самому себе, но он только просто образованный человек, способный глубоко чувствовать. С него достаточно, если он удачно применит соответствующие чужие слова. И он приводит их из священного писания:

- "Человек - яко трава; дни его, яко цвет полевой, тако отцветут".

Старшина не знает, что ответить на это, а ответить что-то нужно. Он сначала причмокивает, а затем с неподдельной горечью говорит:

- Отцветут, отцветут! Рунда, они отцветут!

Дело кончается тем, что писарь посылает деда Пилипа за дюжиной пива. Притащив целую корзинку пива, дед говорит:

- Не нажить нам такого панича, пусть даст вам бог здоровья. И на его долю перепадает не один стакан пива. Тем не менее Романчик уступает место другому писарю, его слова из священного писания оправдались: память о нем оказалась не такой прочной, как можно было думать, принимая во внимание печаль старшины. Захар Лемеш дружно живет и с новым писарем, ведь и поговорка такая есть: "Писарь со старшиной - как муж с женой". А память о Романчике так и заглохла, и только я теперь вспоминаю его, но за эти воспоминания он, может быть, и спасибо не скажет мне. И мало того что заглохла, - Захар Лемеш проявляет до некоторой степени и предательство по отношению к Романчику: не прошло и недели, как приехал сюда Матей Дулеба, а старшина уже говорит:

- О, этот, брат, еще мудрее, чем тот!

Матей Дулеба прежде был учителем, но захотелось ему попробовать хлеба волостного писаря, более вкусного и сытного. С Лобановичем Матей Дулеба чувствовал себя связанным своей недавней учительской профессией, и это послужило причиной того, что он признался Андрею, каким способом добился писарской должности:

- "Катьку", брат, подсунул графу.

Это означало: дал графу, земскому начальнику, сто рублей - на царской сторублевке красовался портрет царицы Екатерины.

Будучи писарем, Дулеба не забывает и некоторых прежних своих учительских привычек. Так, со времени учительства сохраняются у него охота и умение читать в церкви "апостола".

- Вот вы послушайте, как хорошие люди читают "апостола"! - хвалится писарь.

Церковный староста Рыгор Крещик, услышав такую новость из уст самого писаря, проникается к нему необычайным уважением. Круглое, крупное лицо старосты светится, как солнце. Уголивый смех рассыпается горохом. Он не может удержаться, чтоб не развонять повсюду о способностях Дулебы, и усердно подготавливает почву для будущей славы нового писаря, необычайного мастера читать "апостола".

В первый же праздничный день приходит писарь в церковь, занимает место на клиросе рядом с дьячком Ботяновским. К ним присоединяется Кондрат Крещик, сын старосты, и Кондратов сын Пятрук, которого дед хочет выучить на дьячка. И еще двое крестьян протискиваются на клирос, они также пели и порой так выкрикивали "господи, помилуй", что не одна пара глаз поворачивалась в их сторону, а кое-кто говорил:

- О, здорово, лихо его матери!

В особо торжественные дни церковного богослужения составляется самостоятельный хор. Никто им не управляет, поют вразброд, кто как умеет. Дьячок в дела управления хором не вмешивается. Он просто ничего не смыслит в регентском искусстве, но, чтобы оправдать себя, ссылается на слова священного писания: "Хвалите бога на трубах, на органах, на гуслях, на дудках, на цимбалах..." Ну, словом, кто как хочет, лишь бы только хвалил. Таким образом, у каждого певчего вырабатывается своя манера петь. В обычные же дни на клиросе стоит только дьячок и поет один. Поет он всякий раз по-разному. Начнет как человек, а кончит черт знает как - дикой, пискливой фистулой. А то просто среди пения остановится и высморкает нос, если этот певческий "инструмент" так или иначе забастует, неаккуратно выводит носовые ноты.

Не очень внимателен к богослужению и отец Николай, особенно на вечернях, когда народу в церкви мало. Вечерня пропускается быстро. Поп едва откроет рот, чтобы выкрикнуть несколько святых слов, а дьячок подхватывает их на лету либо перебивает попа и тянет свое. Иногда отец Николай, отправляя богослужение, умудряется переговорить с Крещиком о хозяйственных делах. Обычно это делается так.

Отец Николай заводит:

- "Благословенно царство всегда - ныне, и присно, и во веки веков..." "

А дьячок тянет:

- "Аминь..." "

В тот момент, когда сменяет его дьячок, отец Николай говорит:

- Продай мне, Рыгор, свою корову.

Сразу же услышать ответ Рыгора не удастся, так как дьячок уже кончает пение. Тогда отец Николай выкрикивает новые молитвенные слова, чтобы дьячок не оставался безработным. Дьячок поет, а Рыгор в это время говорит:

- Покупай, батюшка.

- Сколько же ты за нее хочешь?

Снова отец Николай не успевает услышать ответ - дьячок кончил петь и выжидающе смотрит на батюшку.

- "О изобилии плодов земных и временех мирных господу помолимся!"

Дьячок поет "господи, помилуй", а Рыгор назначает цену коровы:

- Сорок пять рублей.

- А она у тебя не передойка?

- "О плавающих, путешествующих, страждущих, недугующих и пленных и о спасении их господу помолимся".

Дьячок снова поет, а Рыгор отвечает:

- Нет, погуляла. Около Миколы отелится.

Таким образом совершается богослужение и идут переговоры о покупке коровы.

Теперь же, когда на клиросе стоит писарь Дулеба, на лицах хористов, дьячка и даже батюшки чувствуется некоторая напряженность. Певчие боятся оскандалиться перед новым человеком, да еще волостным писарем, и стараются удержать свои голоса в рамках определенной дисциплины. Сам писарь незаметно входит в роль регента. Вид у него страшный. Хотя он человек молодой - ему только двадцать восемь лет, - но борода у него словно у доброго старовера. Он даже и похож на старовера. С первого взгляда его бороду можно было бы назвать рыжей, но она не рыжая, а так себе, светловатая. Глядя на бороду, растут и брови, грозно нависая над светло-синими колючими, как у деда Пилипа, глазами. От стыка бровей начинается его нос со всеми признаками носа-великана. Если бы голову дятла увеличить раз в двадцать и прицепить к ней светло-русую бороду, то его голова имела бы близкое сходство с писаревой.

Стоя на клиросе, писарь временами "подпускает баса", но не во всю силу: полностью мощь его голоса выявится во время чтения "апостола". Хор прислушивается и тянет за писарем. В тех же случаях, когда в пении хористов слышится определенная фальшь либо кто-нибудь сбивается с тона, писарь трясет головой и машет руками, вынуждая хор подчиниться ему.

Но вот приближается момент чтения "апостола", Писарь нашел уже и соответствующее место в святой книге. Вот он, опустив глаза, выходит на середину церкви, занимает позицию напротив царских врат. Отец Николай подготавливает прихожан к слушанию слов святого "апостола". Наконец между попом и писарем, чтецом "апостола", происходит небольшой диалог, что требуется ритуалом, после чего уже Дулеба приступает к чтению.

- Братие! - начиная с самой низкой басовой ноты, протяжно гудит писарь, как шмель в пустом осиновом дупле.

Начав так низко, что ниже и начать нельзя, писарь постепенно повышает тон. Голос его вначале глухо шумит, потом переходит в гром, дрожит, звенит, воет, с каждым мгновением становится громче, оглушает злобным, отчаянным криком, но движение его вверх все не прекращается. Перед самым концом чтения он забирается на такую высоту, что людям страшно становится за писаря: вот-вот, кажется, не выдержит он, лопнет, рассыплется, либо разорвутся все его жилы и пуп, либо просто он сделает нечто такое, чего в церкви нельзя делать.

Народ затих. Одна молодница заткнула ухо. Рыгор Крещик высунул голову из боковой двери алтаря, на его лице цветет счастливейшая улыбка. А Дулеба становится красным, как бурак, нос-великан все больше и больше задирается вверх. Писарь заканчивает чтение жутким завыванием, не сорвавшись, однако, с общего взятого им тона.

Зачарованный и удивленный, староста восхищенно говорит:

- А-а-а! Вот голос!

Писарский триумф полный, а венец этого триумфа - просфора, которую и подносит ему Крещик в конце обедни на серебряной тарелке по приказу отца Николая.

Таким образом писарь Дулеба сразу завоевывает себе славу, которая покоится на прочной основе: ведь он и учитель, и писарь, и певчий, и очень хороший выпивоха. И с крестьянами он умеет ладить. Если порой, проходя по улице, писарь услышит, что кто-нибудь из крестьян орет на скотину и высказывает пожелание, чтобы ее съели волки, он заметит:

- Зачем ее будут есть волки? Скажи лучше: "Пускай тебя писарь съест!"

Иногда он и проборку сделает кому-нибудь, но сделает умеючи, и на него нельзя обижаться. С людьми сходится быстро и сразу начинает вести себя панибратски. Время от времени он заходит к Лобановичу, чтобы поговорить о школьных делах: ведь они ему не чужды, и учительскую должность он любит, а писарем сделался под влиянием жены, женщины хитрой и практичной.

- Ну, посылай, брат, за пивом, - говорит он.

Писарь любит-таки выпить. На выпивки тратит он не одну ночь, особенно когда поедет в Пинск. Вообще он человек компанейский. Выпив, немного буянит, за что попадает порой в полицию.

Вскоре после приезда нового писаря в школе произошло событие, свидетелем которого стал также и Дулеба.

Было это в середине зимы. Заходит писарь в школу.

- Ну, Андрюша, отпускай детей, поедem в Пинск. Довольно уже тебе томиться здесь.

Поездка эта как раз на руку учителю.

- Пообедаем и поедem.

Заходят в квартиру.

- Ганна! - зовет Лобанович сторожиху.

Ганна не откликается. Учитель заходит в кухню. Юста тихонько сидит возле печи.

- А где мать? - спрашивает учитель.

- В кладовке.

Кладовка тут же, рядом с кухней. Выходит Ганна.

- Давай, Ганна, обед!

Ганна достает из печи горшок, ставит его на стол, а сама снова исчезает.

Кушанье оказалось невкусным. Гость и хозяин поболтали немножко ложками и забраковали его.

- Брось! - говорит писарь. - Заедem к Карамблюму, рыбки съедим с пивком.

- Нет, брат, постой, может быть, второе будет лучше, - говорит Лобанович. Ему немного неловко перед писарем за неудачное блюдо. - Ганна! - кричит он.

Ганны не слышно.

Лобанович снова идет в кухню.

- Куда девалась мать?

- В кладовке, - отвечает Юста.

- Что она делает там? - злится учитель.

Юста опускает глазки. Может, она знает что-нибудь, а может, ничего не понимает.

- Не знаю, - слышится ответ.

Только собрался Лобанович позвать Ганну и вдруг остановился - из кладовки доносится: "Куга! Куга!"

Все это произошло как-то быстро и совсем неожиданно для учителя; он был уверен, что Ганна уйдет на это время к кому-нибудь из крестьян. На первых порах он приходит в замешательство. На дворе зима, а в кладовке ненамного теплее, чем на улице...

Лобанович бежит в свою комнатку, где его ждет писарь.

- Знаешь, брат Матей, что!

- Ну?

- Ганна в кладовке разрешилась!

- Что ты говоришь? - И писарь усмехается в бороду.

- Надо что-то предпринять!

- Чтоб она провалилась, - говорит писарь, - сколько хлопот наделала! Околет еще там!

Вдвоем они бегут к возчику Авменю и зовут его на помощь. Авмень идет в кладовку, и через минуту на пороге показывается безногая Ганна. Она держит на руках дитя, а Авмень ведет ее под руку. Юста расстилает какие-то тряпки на топчане, куда и переходит Ганна вместе с младенцем сыном. Тот же Авмень бежит за бабкой. Кое-как дело уладили.

Писарь и учитель едут в Пинск.

- Давай, Андрюшка, наладим хор, - говорит однажды писарь Лобановичу. - Я тебе помогу. Понимаешь ты, совсем другой коленкор, если в церкви хороший хор поет.

- И если "апостола" читает Матей Дулеба, - в тон писарю добавляет Лобанович.

- Что же, по-твоему, я плохо прочитал "апостола"? Ты не читаешь так, - обижается писарь. - И "апостола" прочитать надо уметь.

- Да я и не берусь читать. И вообще не понимаю: зачем это бушевание в церкви? Разве нельзя прочитать просто и естественно? А то ревет человек, как бугай весной, даже глаза на лоб лезут. Разве это уж так приятно богу? Или он глухой?

Писарь еще более обижается.

- Можно было бы сказать об этом и более деликатно, - замечает он. - Ты думаешь, что только ты один такой вольнодумец? И я, брат, был вольнодумцем, но глупость эта со временем прошла, пройдет она и у тебя.

Лобанович хотел ответить, что если человек с учительства переходит на писарство, то о вольнодумстве говорить не приходится. Но сказать так - значит сразу поссориться с человеком, и он только спрашивает:

- А в чем проявилось твое вольнодумство?

- Было, брат! - отвечает писарь. - И я должен сказать тебе, как старший, и ты меня должен послушать: хор наладить тебе надо.

- А ну его к черту! - злится Лобанович; упоминание о хоре почему-то особенно его задевает.

- Так ты не признаешь значения хора? - в тоне писаря слышится строгость. - Какой же ты после этого учитель?

Брови писаря грозно хмурятся, а глаза впиваются в лицо Лобановича.

- А если я не хочу этого твоего хора? - с еще большей злостью спрашивает Лобанович. - И на что тебе сдался этот хор? Поп молчит, не лезет с хором, так тебе надо свой нос сунуть. Строгость писаря вдруг улетучивается, и выражение его лица сразу становится добрее.

- Чего же ты злишься, чудак ты? Я хочу поговорить с тобой как с человеком, которого люблю и уважаю. Ты думаешь, если отец Николай ничего не говорит тебе, значит ему безразлично, есть хор или нет? Он к тебе, брат, очень хорошо относится и уважает тебя, но ему не нравится, что ты по вечерам какие-то беседы ведешь с людьми, к церкви не очень приверженными, а благодаря этому и тебя самого можно зачислить в раскольники, понимаешь?

Лобановичу становится ясно, что о его тайной работе ходят уже слухи. Это тревожит его, и он ощущает даже некоторый страх, но старается не выдать себя, хоть от зоркого ока писаря не ускользает ни одно движение его лица.

- Тьфу, проклятое дячковско-поповское болото! - возмущенно говорит Лобанович, стараясь запутать следы. - Если к тебе зайдет в свободную минуту человек, обыкновенный мужик, и если ты от него не бежишь, как от зачумленного, не сядешь за бутылку, а поговоришь с ним просто как с человеком, так сразу же какого-то черта это начинает уже беспокоить и наводить на всякие подозрения!

Огромный нос писаря издает короткий звук "хм", голова его ехидно покачивается из стороны в сторону, и смех, хитрый, многозначительный смех, раздвигает волосатые губы. Писарь как бы говорит этим смехом: "Ага! Вот как ты заговорил! Но я, брат, знаю, куда ты гнешь!"

Лобанович замечает, что его негодующая реплика не производит никакого впечатления на писаря. Внезапная, какая-то сумасшедшая злость охватывает учителя. У него теперь появляется сильное желание сказать что-нибудь резкое, оскорбительное, ему отвратительна казенно-мещанская "святость" писаря. И он еле-еле сдерживается, ждет, что скажет Дулеба.

А писарь гладит бороду, снова оскорбительно смеется, как человек, который стоит неизмеримо выше своего собеседника и знает значительно больше, чем это можно думать.

- Да... Человек... Обыкновенный мужик, - говорит писарь, делая ударение почти на каждом слове, и вдруг меняет тон: - Но он и не такой обыкновенный, как ты это хочешь показать! И этих свободных минут у него что-то слишком много. Об этом "обыкновенном" мужике ходит не совсем обыкновенная слава. О нем даже и кое-какие материалы имеются в волости...

- Ну, как же не быть таким материалам! - прерывает писаря Лобанович. - Он же судился с паном Скимунтом, возбуждал крестьян, поднимал их на явное "беззаконие". Как смеет он, мужицкое рыло, выступать против пана? Какое право имеет мужик допустить мысль, что с ним поступают несправедливо, если его так любовно опекают все, начиная с городского?

Писарь слушает, опустив глаза, и в свою очередь прерывает Лобановича неожиданным обращением:

- Андрюшка! По дружбе говорю тебе - брось! Брось ты эту темную работу! Любя тебя, говорю - брось!

- Какую темную работу? - нападает Лобанович на Дулебу.

Он знает, на что намекает писарь, но хочет поколебать уверенность, с которой тот говорит о "темной" работе, или хотя бы выяснить, на чем основывается эта уверенность.

- Кого ты хочешь в дураках оставить? - презрительно спрашивает писарь. - Скажи мне, с кем ты знаком, и я тебе скажу, кто ты, - приводит он известный афоризм.

- Я знаком с дьячком Ботяновским, с попом, и даже не с одним, а много их знаю, знаком с земским начальником, с писарем Дулебою - так кто же я?

- Это не факт, - отвечает писарь, сбитый с толку таким вопросом.

- А вот моя "темная" работа для тебя факт, может быть, потому только, что научить грамоте темного человека есть темная работа?

- А ты его учишь грамоте?

- Да, делаю эту "темную" работу... И скажи мне, Матей, какое тебе дело до всего этого? Матей как бы не слышит вопроса.

- И ты этого сукина сына учишь грамоте?! Для чего же делается такое одолжение?

- Для того чтобы "этого сукина сына" не обижали сотни сукиных сынов.

- Ах, вот как! Кто же эти "сотни сукиных сынов"? Должно быть, и я вхожу в их число?

- Нет, ты исключение.

- Ну что ж, и за это спасибо!

Писарь отвешивает Лобановичу поклон, чуть не упираясь носом в стол, а учитель, злой, ходит по комнате.

Некоторое время они молчат.

- Послушай ты меня, Андрей, - примирительным тоном говорит наконец Дулеба, - злиться тут нечего. Я, может, чем-нибудь и обидел тебя, тогда прости меня. Прости, братец! Но я тебе говорю как человеку, как своему брату - я все же больше учитель, чем писарь, плевать я Хочу на писарство и плюну, - не вмешивайся ты в это грязное дело!.. Постой, постой, дай мне сказать! Неужто ты думаешь, что ты один увидел правду, а все другие слепые, ничего не ведают, не знают и в голове у них солома? Неужели ты думаешь, что это правда в тех паршивых листках, которые начали плодиться и попадать и в крестьянские руки? Кто же им поверит? Кто за ними пойдет? Вор, лентяй, лодырь и вообще любитель легкого хлеба. А серьезный, солидный человек за ними не пойдет, не поверит, только плюнет на них с отвращением. Почему? Потому что солидный человек, не лодырь, найдет способ, как жить на свете, и если будет добиваться чего-нибудь, то своего добьется. И неужели начальство не думает, не заботится о народе? Оно же само связано с ним, зависит от него. В интересах самого начальства заботиться о народе, чтобы ему жилось хорошо.

- Чтобы кому жилось хорошо? - смеется Лобанович. - Народу или начальству?

- Народу!

- А я думал - начальству. Ты немного неясно выразил свою мысль. Ну, во всяком случае, очень благодарен тебе, что ты восстановил в моей памяти премудрость, которой кормили нас в семинарии на протяжении четырех лет.

- А ты думаешь, семинария плохому учила?

- С чего ты взял, что я так думаю? Меня только удивляет: к чему ты все это говоришь?

- Слушай, Андрей! Что ты корчишь какую-то невинность?

На лице у писаря отражается страдание, и нос его морщится от недовольства.

- Так чего ты от меня хочешь?

- Ну, хватит, не будем об этом говорить, - и писарь машет рукой.

- Нет, брат, об этом говорить ты будешь. Как будешь говорить, это другое дело. Может, совсем по-иному, но говорить будешь. Не сегодня, так завтра, не завтра, так на будущий год.

- Брось говорить глупости! И слушать этого не хочу!

- А зачем же ты начинал?

- Я же начал не с этого.

- В том-то, брат, и штука, что начнешь с неба, а перейдешь на землю: ведь земля к нам ближе, чем небо.

- Ну, это как для кого.

- Ну, а для тебя, например? Думаю, что земля милее, чем небо: ведь если бы наоборот было, ты пошел бы не в волостные писаря, а в монахи. Небо, брат Матей, для дураков отводят умные люди, чтобы самим привольнее жилось на земле. Но дело в том, что и дурни начинают искать счастья на земле. А если это так, то они непременно произведут на земле ревизию.

- Так в этих листовках написано? - спрашивает писарь.

- Так написано в ходе человеческой жизни. И горе тому, кто этого хода не понимает или не хочет понимать.

- Нет, брат Андрей, горе тому, кто понимает жизнь наизусть и поддается на удочку разных политических мошенников.

В результате этого спора писарь Дулеба пришел к убеждению, что учитель стал Жертвой "разных политических мошенников", а у Лобановича окончательно сложилось мнение о писаре как о человеке, который застыл в своих взглядах на вещи и которого надо остерегаться. Каждый из них пожалел другого, исходя из своих взглядов.

На прощание писарь сказал:

- Так заходи в свободное время. А что мы немного поспорили, так это, может быть, и хорошо. Во всяком случае, я буду утешать себя мыслью, что мои слова пойдут тебе на пользу.

- А я буду надеяться, что и мои слова найдут место в твоей голове.

- Нет, брат, - крутит головой писарь, - яйца курицу не учат.

- Но курица все же из яйца вышла.

- Но яйцо снесла курица!.. Нет, Андрей, шутики в сторону! Помни, что я тебе сказал. Со мной ты можешь говорить все, что хочешь: это все будет между нами. Лихо может прийти с другой стороны. Ты еще не знаешь людей. Тот, за кого ты распинаешься сегодня, продаст тебя завтра. И деньги возьмет, и магарыч выпьет. Вот тогда и поймешь ты "ход жизни"... Но этого пусть не случится.

После шумного и довольно нервного спора в комнатке Лобановича стало как-то необыкновенно тихо, и в этой тишине весь окружающий мир как бы преобразился, и даже стены, печь и дверь, немые свидетели горячего разговора, казалось, выглядели теперь по-иному.

Некоторое время Лобанович прислушивается к тишине, словно хочет постичь скрытый смысл ее, но слышит только шум и звон в своих собственных ушах. Начинает прислушиваться к самому себе и пытается взглянуть на себя со стороны, как на какого-то

постороннего человека. Он замечает, что у него есть сердце, и чувствует пульс его. А наступит же час, когда этот пульс замрет. Как-то холодно и неприятно становится от этой мысли, и думать об этом противно.

Учитель подходит к окну. За окном, возле самой стены, где стоит кругловерхий клен, теперь холодный и оголенный, густо-густо собирается мрак, словно темная ночь поставила здесь своего стража. Сквозь поредевшие деревья поповского сада бледно-зеленым пятном светится окно в квартире поповен. Еще глубже во дворе виднеется и окошечко дьячка, словно волчий глаз. И кажется, далеко-далеко от жизни, в заброшенном уголке ее, мигают эти окна. Неприветливо там и тоскливо.

Он отходит от окна и медленно шагает от стены к стене. Кухня давно успокоилась, и только сейчас начинает кугакать дитя. Это Кирила, сын Ганны, родившийся в кладовке, заявляет о каких-то своих правах. Ворочается Ганна и что-то ласково-ласково гнусавит своему маленькому сыну. Недовольная поведением брата, просыпается и Юста. Она сердито что-то говорит, - видно, злится на Кирилу, который мешает ей спать.

- Спи ты, лихо твоей матери! - придушенным голосом, чтобы не потревожить учителя, напускается Ганна на Юсту. И в кухне снова воцаряется тишина.

Лобанович вспоминает день, когда родился у Ганны сын, и удивляется, что она осталась в живых. Тогда он привез ей из Пинска полбутылки водки, чтоб было чем угостить бабу. Отец Николай, услышав об этом, одобрительно отозвался о поведении учителя и в свою очередь, чтобы не уступить ему в доброте, прислал Ганне большой каравай на родины.

Один только дьячок Ботяновский по-своему объясняет поступки своего соседа.

Поздняя ночь. Лобанович вспоминает спор с Матеем Дулебой. Учитель верит, что писарь и в самом деле плохого ему не сделает, - ведь он, хотя и смотрит на вещи иначе, человек добрый и довольно бесхитростный. Лобановича только удивляет, что тайная работа выходит наружу, о ней уже ходят слухи. Ну что ж, нужно принять это во внимание и держаться более осторожно.

И, уже лежа в постели, он обдумывает, как бы лучше проводить работу в дальнейшем, а для того чтобы отвести следы, может, не помешало бы и действительно, как говорит писарь, наладить с его помощью небольшой хор?

XXIV

В январе 1904 года началась война с Японией.

И сама Япония и причины, породившие войну, были не очень хорошо известны широким кругам населения, особенно сельского. Крестьянский язык обогатился двумя словами: "Апония" и "апонцы". Но содержание этих слов многие представляли себе смутно, как смутным, неясным был и самый смысл войны.

Правда, и в темных закоулках необъятной России находились "храбрые" и чересчур понимающие политики-вояки, для которых все здесь было просто и ясно. Вся их мудрость и прозорливость воплощалась в двух коротких пунктах: 1) японцы - это макаки, или желтомордые обезьяны, 2) белый царь, царь-батюшка, намнет им шею так, как они того и во сне не видели, - ведь кто же не чувствовал на себе мощь царского кулака? При этом отважный политик-вояка, сидя в теплой комнате и попивая чаек с коньяком, сжимал кулак и грозил "япошкам".

Царь Николай сразу же подписал манифест, сообщая, что дерзкий враг напал ни с того ни с сего на нашу эскадру в Порт-Артуре, напал тайно, как вор, не предупредив, не объявив войны, за что и надо покарать его, вступить за честь Андреевского стяга, а потому и объявляется японцам война. Выражая надежду на силу русского оружия, царь не забыл прихватить на свою сторону и господ бога. Он обращался к верным престолу дворянам и верноподданным крестьянам, призывая их выполнить свой долг и ожидая от них всяческого героизма, в котором у нас никогда недостатка не было.

Вслед за манифестом начались вспышки казенного патриотизма, но впечатление от них было весьма незначительное. Газетки казенного направления, находясь на содержании казны, старались раздуть патриотизм и посеять ненависть к японцам, не жалея красок, чтобы показать всю их азиатскую жестокость, все их ничтожество.

Героев и геройства, вопреки ожиданиям царя, было не так много. Настоящим героем оказался один только крейсер "Варяг". Где-то на море, возле Чемульпо, он столкнулся с японскими кораблями через несколько часов после того, как японцы напали на нашу эскадру в Порт-Артуре и сильно покалечили броненосцы "Цесаревич", "Ретвизан" и крейсер "Паллада". Сражался "Варяг" с превосходящими силами японской эскадры. Чтобы не сдаваться в руки врага, команда "Варяга" сама подорвала свой корабль и поддержала славу русского флота. Геройство "Варяга" всколыхнуло Россию. Замелькали имена генералов и адмиралов. Хотя они еще ничего геройского не совершили, но могли совершить, поэтому их и рассматривали как героев. Их было много: Алексеев, наместник царя на Дальнем Востоке, Безобразов (внешность этого генерала соответствовала его фамилии), Старк, Стессель, Ренненкампф, Грипенберг, Каульбарс, Бирдерлинг (он даже и героем оказался: упал с коня и вывихнул себе плечо), Мищенко (его считали сильным кандидатом в герои, но из этого ничего не вышло). А замыкал эту длинную цепь героев такой кит, как Куропаткин.

День клонится к вечеру. Начинает темнеть.

Лобанович проводит последний час в школе. За работой время проходит быстро. Не заметишь, как пробежит неделя. Учителю как-то весело и радостно, несмотря на целый день, проведенный в душном классе. Как-никак, время идет к весне. Большая половина школьного года осталась позади. И день заметно увеличился. Можно закончить занятия в школе не зажигая лампы.

Возле окна, что выходит в сторону железной дороги, учитель останавливается. По дороге мчится пароконный возок. В возке сидит писарь Дулеба. Это он едет из Пинска, везет почту.

Учитель думает, что ему надо сходить в волость - должна быть кое-какая корреспонденция, своя и школьная.

Возок сворачивает с дороги в сторону школы. Возле крыльца Авмень останавливает лошадей. Учитель отпускает учеников домой, а сам выходит на крыльцо.

- Ну, я к тебе на одну минутку, - говорит писарь. - Знаешь, брат, что?

- Ну? - ждет учитель какой-то важной новости.

- Одевайся лучше и поедem ко мне.

От писаря немного пахнет водкой.

- Что ты хотел сказать мне?

- Важная, брат, новость. Знаешь, война началась!

- Война? С Японией? Не может быть!

- Не "не может быть", а уже идет война... Ну, поедem!

Лобанович надевает пальто, и они едут в волость.

- Вот прохвосты, сукины сыны, - говорит возмущенно Дулеба, - не надеются на свою силу, так пустились на чисто азиатскую подлость: не объявив войны, напали на наши броненосцы. Ну, однако, им и дали чесу! И еще дадут. Так дадут, что только мокрое место останется от пик. Кого они трогают? На кого поднимают руку? На Россию, которая одна против всего мира может выступить!

- Но, пане писарь, и они знают про Россию и на что-то надеются, если не побоялись первыми затронуть нас, - замечает возчик Авмень.

- Если бог захочет покарать кого, то первым долгом отнимет у него разум, - строго говорит писарь.

Авмень замолкает и прячет несколько смущенный, виноватый смех под усами. То ли потому, что писарь сказал так удачно, то ли по другой причине...

Весть о войне быстро обходит крестьянские хаты, а возле возчика Авменя и деда Пилипа в "сборной" собирается кучка полешуков. Авмень - центр внимания. Все глаза устремлены на него. Такое внимание придает Авменю важности и гордости. Да если сказать правду, он стоит здесь выше всех: у него есть знакомые чиновники в Пинске - на почте и в казначействе, от них можно многое узнать.

- Напали на наши корабли! - удивляется дед Пилип, выкатывая глаза.

- И здорово побили! - важно подтверждает Авмень.

- Побили? - подхватывают слушатели. - Вот лихо их матери!

- И самые лучшие корабли. Там были такие пушки, что стреляли на двадцать верст. Такие пушки имеет только одна англичанка.

- И как они побили, чтоб их гром побил? - спрашивает дед Пилип и хлопает себя руками по бедрам.

Все смотрят на Авменя.

- Мину пустили, - говорит Авмень.

- Го, чтоб они кровью изошли! - злятся дед Пилип. - Ведь это кабы такие пушки поставить в Городище, так они бы и до Лунинца достали!

Дядьке Есыпу хочется узнать причины войны. Авмень знает и эти причины, но он пока что молчит: ведь все равно последнее и самое важное слово будет его, а теперь пусть поговорят они.

- И вот, скажи ты, не поладили за что-то!

- Да уж, если кто захочет подраться, то причину найдет.

Деда Пилипа причины войны мало интересуют, его воображение сильно задело пушки, которые стреляют на двадцать верст.

Среди полешуков поднимается шум. Каждому хочется как-нибудь откликнуться на услышанную новость, высказать свои соображения о причинах войны, но никому не удается попасть в точку, чтобы всех удовлетворить.

Авмень слушает и прячет смех под усами.

- Японцы вот чего хотят, - говорит он, - они потребовали от нашего царя не вмешиваться в дела Китая. "Мы и китайцы, - говорят они, - свои люди. А у тебя и так земли много. Наводи, говорят, порядки в своей России, а нашей Азии не трогай".

- А это кто же, полубовница их, что ли? - спрашивает дед Пилип.

- Какая тебе полубовница! Страна их так называется, - объясняет Авмень, а деда Пилипа поднимают на смех.

- А черт их батьку знает, - оправдывается дед Пилип, - и за бабу иногда бьются люди.

- А наш царь, значит, не захотел и дулю им показал, - слышится голос.

Михалка, которого дядька Есып просил, чтобы он побил его, все время молчал, потом почесал затылок и заметил:

- А все же нашему брату придется отдуваться своими боками.

И несколько рук чешут затылки.

В квартире писаря также идет разговор о войне.

- Эх, сгинь твоя доля! - говорит старшина, говорит таким тоном, будто все горести и трудности войны легли на его плечи. - Вот не было еще заботы!.. Это рунда, что там попортили немного корабли. Но пусть он вылезет на берег!..

- Ему и дадут вылезти на берег, нарочно дадут, чтоб потом потопить всех к чертовой матери! Это, брат, им не хаханьки!

Писарь произнес эти слова так энергично и так грозно сдвинул брови, что старшина совсем успокаивается за судьбу войны.

- И далеко же, должно быть, зараза эта - Апония?- спрашивает старшина.

- Далеко, брат, отсюда и не увидишь, - шутит писарь.

- Вот и нашего Романчика как бы не погнали на войну, - вспоминает Захар Лемеш о недавнем своем приятеле.

- Куда его погонят! - пренебрежительно машет рукой Дулеба. - Там своих войск хватит, сибиряков.

- Да, - говорит Лобанович, словно отвечая на свои мысли, - давно Россия не воевала.

Эта война производит на него сильное впечатление и захватывает неожиданностью событий. Ему приходилось много читать военной литературы, записок, романов, преимущественно из истории русских войн. Увлекало описание боев, - например, описание Бородинского боя в романе "Война и мир". С особенным интересом набрасывался он на те произведения, которые "были специально посвящены войнам. Под влиянием тенденциозного и одностороннего освещения этих войн, выпячивания их героической стороны и преднамеренного затушевывания темных сторон у Лобановича сложилось в корне неправильное представление о военных способностях царской России и о ее непобедимости в войне. Вот почему и теперь он крепко верил, что Япония в этой войне будет побита, как верили в это многие десятки, сотни тысяч одураченных фальшивым, однобоким воспитанием людей.

Лобанович внимательно следит за развертыванием военных событий на Дальнем Востоке, знакомится более подробно с Японией, с ее бытом и техникой, читает газеты, не пропускает ни одной заметки о войне самого ничтожного военного корреспондента.

Вскоре в школу приезжает инспектор народных школ для ревизии. Инспекторская ревизия - это своего рода страшный суд для сельского учителя. Инспектор может сделать с учителем все, что захочет, - лишить должности и вообще причинить множество всяких огорчений и неприятностей. Отношение к учителю у него официальное, строго начальническое. Инспектор чувствует свою власть над учителем, смотрит на него свысока, редко одаривает улыбкой. Ни на одну минуту не дает забыть о разнице между ним и учителем: "Ты - ничто, я - все". Громко говорить, ступать на всю ступню при инспекторе не полагается: каждое движение, каждое слово должны выражать почтительность и трепет. Когда инспектор входит в школу, учитель должен идти на два шага сзади, а в школе совсем ступешаться. Если ученик плохо отвечает на вопросы, инспектор бросает на учителя взгляд, полный грозного недовольства.

Сергей Петрович Булавин, новый инспектор, угрюмый, скупой на слова, особенно с учителями. Ученики Лобановича подготовлены хорошо, причин для недовольства нет. Экзаменуется ученик третьей группы Иван Занька. Он с указкой стоит возле карты.

- Покажи мне Азию.

Занька обводит указкой карту. Кусочек Азии на карте заходит в Америку. Занька не забывает и об этом кусочке.

- Хорошо! - хвалит его инспектор. - Покажи мне Японию.

Занька показывает.

- А что ты знаешь про Японию? В каких отношениях находится она к нам?

- Воюем с нею.

- Ну, а скажи: кто кого завоюет?

- Наш царь побьет, - отвечает уверенно Занька.

- А почему ты думаешь, что мы ее побьем?

- У нашего царя войска больше.

- Да, мой милый, Россия побьет Японию. Во-первых, и войска у нас больше, и войско наше лучше, и дело наше справедливое, и, во-вторых, мы должны ее побить и побьем.

Иван Занька репутацию школы поддержал, зато Алесик Грылюк портит все дело. Он все время не сводит с инспектора глаз. Внимание его привлекает огромный, здоровенный нос инспектора. Наконец Алесик не может сдержаться.

- А почему у тебя такой большой нос? - среди могильной тишины слышится его наивный вопрос.

- Тебе нет дела до моего носа.

Ну что же было взять с маленького Алесика?

Вообще же ревизия сошла довольно хорошо.

Телеграммы с театра военных действий, посылаемые на царское имя, неизменно сообщали, как наши изрубили то роту, то эскадрон японцев и что дух нашего войска "превосходный", а если иногда где-нибудь войска и отступали, то отступали в полном боевом порядке, как на параде.

Из этих телеграмм выходило, что "япошки" нигде не могут продвинуться; куда бы они ни сунулись, их везде клали и крошили. В то время, когда японцы оставляли на полях сражений целые горы трупов, наши потери были совсем незначительными - один-другой офицер да несколько нижних чинов. Между тем линия фронта все время менялась, передвигалась из Кореи и Ляодунского полуострова в Маньчжурию, проходя через такие пункты, как Яла, где генерала Засулича разбили в пух и прах, Тюренчен, Порт-Артур, Ляоян и сотни других мест на полях Маньчжурии, где копались могилы для погребения царского самодержавия.

Сперва глухо, потом громче, везде начали говорить о преступлениях, совершаемых разными царскими сатрапами в армии, о воровстве и на фронте и в тылу, о тяжелом материальном положении солдат, о полной неподготовленности государства к войне. Пошли гулять анекдоты и карикатуры, которые больше передавались устно, чем попадали на страницы печати. Была карикатура и на царя Николая. Стоит царь без штанов, в одной рубахе. Японцы розгами секут Николая, а он сам держит рубаху. Сбоку стоит немецкий кайзер Вильгельм. "Николка! - говорит он Николаю. - Дал бы ты поддержать свою рубаху кому-нибудь из придворных. Зачем тебе беспокоиться самому?" - "Ах, Виля! Ну что ты говоришь! Как могу дать держать рубаху другому! Я же самодержец!"

Жарко стало в Петербурге.

Замахали попы кадилами, вымаливая у бога победу над "макаками". Посыпались, как листья осенью, иконы на фронт, видимо, на силу оружия и на способность стратегов надежды было мало. Пришлось пустить в ход и Серафима Саровского, которого незадолго перед тем выдвинули кандидатом в святые. Хотя душа Серафима Саровского уже переселилась на небо, но это не помешало ему присниться кому нужно, чтобы порадовать царя, возвестив ему победу над японским микадо. Но, как известно, святые из пушек не стреляли, солдатской лямки не тянули, пороху не нюхали, военной техники не изучали, а потому и пользы от них было столько же, сколько от дырок в мосту. И хуже всего - Серафим Саровский приснился совсем некстати: как раз за несколько недель перед Мукденским сражением, в котором царская армия потерпела поражение. А месяца через три возле Цусимы была погребена и Балтийская эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского. Позорные военные поражения самодержавия привели к Портсмутскому мирному договору, заключенному в конце августа 1905 года.

Лобанович уже два года живет и работает в Выгонах. За это время он не только крепко свыкся, сжился со школой, но и стал по-настоящему своим человеком в деревне, близко узнал жизнь всех ее обитателей. Внешне, казалось, ничто вокруг не изменилось за это время, все шло своим обычным, издавна заведенным порядком. Но нет, Лобанович видит, как события, быстро следующие одно за другим, накладывают свой отпечаток на психику людей, на их думы и настроения. Встречаясь с крестьянами, учитель чувствует - каждый словно ждет чего-то. Вот-вот придет в жизнь что-то новое, большое и важное... Из городов все чаще доносятся вести о смелых революционных выступлениях рабочих.

Обложившись газетами, сидит Лобанович в своей комнатке. Он так углубился в чтение, что не слышит, как кто-то стучит в дверь, и только тогда отрывает глаза от газеты, когда стучать начинают в окно напротив.

"Кого там черти несут?" - думает он.

Никто в это окно ему никогда не стучал, и он от неожиданности даже вздрогнул. Выходит, открывает дверь.

- Ну и Андрей Петрович! - слышит знакомый обиженный голос. - Не хочет уже и пускать в квартиру...
- Как не хочу? - радостно говорит он. - С открытой душой!
- Seriously?
- Более чем серьезно, Ольга Викторовна, чтоб мне с этого места не сойти!
- Ну, тогда добрый вечер, если так.
- Добрый вечер! Ну и молодец же вы! Как славно сделали, что навестили меня! Пришли или приехали?
- Какое там приехала! На своих двоих качу.
- Ну, это все равно, шли вы или ехали, лишь бы сюда попали. Заходят в комнату.
- Газеты все читаете?
- Читаю, пусть они пропадут пропадом.
- А что такое? - спрашивает Ольга Викторовна, и глаза ее искрятся веселой насмешкой.
- Не повезло нам.
- И это вас печалит?
- Не только печалит, начинает разбирать злость.
- На кого?
- А черт его знает, на кого.
- Вам, как вижу я, хотелось бы запеть:

Гром победы, раздавайся,
Веселися, храбрый Росс!

Так не дождетесь, Андрей Петрович. Если у кого-нибудь и были надежды на победу в начале войны, то они быстро развеялись, как утренний летний туман. Разве же не ясно вам, что гнилая царская Россия не способна воевать? Война была давно проиграна. И начата она была для того, чтобы отвлечь внимание закабаленного населения в другую сторону, чтобы снизить волну революции, которая все нарастает и близится. Не победы надо было желать России, а полного поражения!

- Что же выиграете вы от этого поражения?

Лобанович чувствует правду в ее словах. Ему неловко за свое увлечение войной, за свои взгляды на результаты войны, за свою наивную веру в непобедимость царской России. Он чувствует ложность своего положения, но хочет поспорить с соседкой.

- А я спрашиваю вас: что выиграли бы вы от победы России в этой войне? - вопросом на вопрос отвечает Ольга Викторовна.

- Во-первых, была бы удовлетворена моя национальная гордость: я стал бы думать о себе как о сыне того народа, который победил в войне. Во-вторых, поражение в войне нанесет нам неисчислимые материальные потери. К тому же естественное стремление России, вытекающее из ее географического положения, найти себе свободный выход в океан будет парализовано. Ни Балтийское, ни Черное море этого выхода нам не дает. Сибирь находится слишком далеко, чтобы можно было надлежащим образом использовать ее богатства. И совсем другое дело, если выход у нас будет на Дальнем Востоке. Все равно, будет ли у нас царь или президент, а свободный выход в море мы должны иметь, без этого нам тесно и на наших необъятных просторах. Вот почему я и не хотел, чтобы нас побии японцы, и вот почему меня так больно задевает наше поражение в войне.

- Мысли, достойные самого заядлого патриота!

В голосе Ольги Викторовны слышится насмешка. И вдруг она резко меняет тон:

- Да вы просто смеетесь, шутите, Андрей Петрович, и мне нравятся ваши шутки!

- А если я говорю это серьезно?

Ольга Викторовна поднимает на него бойкие глаза.

- Seriously говорить так вы не можете.

- Почему?

- Если вы говорили это серьезно, то вы либо фальшивый человек, либо очень плохой революционер.

- Лучше быть плохим революционером, чем фальшивым человеком: ведь фальшивому человеку стать искренним гораздо труднее, чем плохому революционеру сделаться хорошим.

- Это правда, с этим я согласна, и вы мне нравитесь вашей искренностью.

- Неужели я вам нравлюсь? Впервые слышу это от девушки!

- Ах, какой несчастненький! Ну, и в последний раз слышите это, не надо придирайтесь к словам!

Лобанович придает лицу трагическое выражение, низко свешивает голову и печально качает ею.

- Неужели это правда? Неужели никогда не услышу я от девушки, что нравлюсь ей? Не услышу!..

- Не услышите, - подтверждает Ольга Викторовна.

В один миг трагическое выражение исчезает с его лица. Он быстро вскидывает голову.

- И наплевать!

Такой быстрый и неожиданный переход от отчаяния к беззаботности веселит учительницу, и она заливается веселым смехом.

- Лучшего в вашем положении и не скажешь, - говорит она, не переставая смеяться.

Какая-то новая мысль загорается в живых, выразительных глазах учительницы.

- А скажите, Андрей Петрович, - переменяя тон, спрашивает Ольга Викторовна, - любили вы кого-нибудь хоть раз?

Лобанович невольно опускает глаза, но быстро справляется с замешательством и в свою очередь спрашивает:

- А как вам кажется?

Ольга Викторовна вглядывается в Лобановича.

- Мне кажется, любили и теперь любите.

- Кого? - снова спрашивает Лобанович.

- Ну, это уж вам лучше знать.

Лобанович устремляет глаза куда-то в пространство и молчит.

- А вы мне все же не ответили на вопрос, - не отступает учительница.

- Если парень начинает рассказывать девушке о своей любви к другой девушке, это означает, что он переносит свою любовь на ту, которой рассказывает.

На лице Ольги Викторовны мелькает радость.

- Это правда?

- Думаю, что правда.

- Но это в том случае, когда рассказчика не тянут за язык?

Лобанович помолчал.

- И это правда.

Ольга Викторовна в свою очередь опускает глаза и задумывается.

- А если бы девушка рассказывала парню о своей любви к другому, то и тогда была бы правда?

- Правда осталась бы правдой.

- И такой вывод делаете вы из собственного опыта? - допытывается учительница с лукавой улыбкой.

- Нет, это только теория, и она, думаю, подтверждается практикой.

- А что послужило причиной создания такой теории?

- Жизнь. Молодая человеческая жизнь.

Ольга Викторовна заливается смехом.

- Ах вы психолог-сердцевед! - в ее словах слышится скептицизм.

Лобанович хитровато улыбается.

- У вас, Ольга Викторовна, был такой случай, когда один ваш знакомый поведал вам о своей любви к другой, а вы полюбили его раньше, чем он рассказал вам это. Я не буду спрашивать, было это или нет, так как знаю, что было.

Ольга Викторовна приходит в замешательство и слегка краснеет. Лобанович делает вид, что не замечает этого.

- Черт знает что вы плетете! Хватит об этом! - говорит она. - Не затем пришла я к вам, чтобы говорить о любви.

Она, кажется, разозлилась на свою слабость, ведь у нее к нему есть нечто более важное...

- Знаете, коллега, что я хотела вам сказать?

- Нет, не знаю.

- Так вот. Вошла я в одну революционную организацию, имею там знакомства. И вам непременно надо связаться с нею.

Лобанович молчит, о чем-то думает. Он и сам знает, что рано или поздно, а стать ближе к какой-нибудь революционной организации ему придется. Он чувствует, что надо сделать какой-то новый шаг в жизни, важный и небезопасный шаг. И теперь как раз наступает решающий момент.

- Разумеется, связаться с организацией надо, - наконец говорит он.

- Непременно надо! - подхватывает Ольга Викторовна. - Все, что есть здорового, честного, должно выступить на борьбу с самодержавием и вести ее организованно: ведь реальная сила только и может быть создана тогда, когда будет крепкая организация и когда работа будет вестись по строго определенному плану. Организация поможет вам и литературой, и деньгами, и живым советом. Организация поддержит вас, за ее спиной вы будете чувствовать себя увереннее и смелее. А теперь как раз идет собирание революционных сил, эти силы растут, крепнут, идет широкая подготовка к вооруженному восстанию, и недалеко время, когда вспыхнет революция. Хныкать в такое время над военными поражениями самодержавной России просто смешно. Чем больше этих поражений, тем шире будет расти недовольство, тем больше шансов на революцию, на ее победу.

- И вы верите в близкую победу революции?

- Я уверена в этом, - горячо отвечает Ольга Викторовна.

- Может, вы больше в курсе дела, если так глубоко верите в революцию и в ее победу. Я же, признаться, не разделяю полностью этой веры, ибо для меня неясны две силы в государстве, от которых и будет зависеть все, - крестьянство и армия. Меня глубоко взволновал один факт и заронил сомнение в мою душу. Летом довелось мне ехать по Полесской железной дороге. На одном небольшом разъезде я остановился, и мне пришлось остаться там дня на два. Проходил царский поезд. На протяжении всей железной дороги стояла охрана. Впереди стояла цепь войск, за ней тянулась линия полицейской охраны и третий ряд - охрана крестьянская. Никого и близко не подпускали к железной дороге. Задержали все движение. Царских поездов было два; в одном из них ехал царь, но в каком - никто не должен был знать. Представьте же себе, когда проходил царский поезд, крестьяне по добровольному почину высыпали из деревень и становились на колени за этими тремя линиями охраны. И заметьте - такие случаи имели место не только здесь, но и в других губерниях.

- Андрей Петрович! Стоит ли придавать этому значение? Начнется революция, и все изменится внезапно и стихийно. И тот, кто становится теперь на колени перед царским поездом, пойдет с дубиной на самого царя. Во время революции настроение изменится быстро. А войско, армия, вы думаете, целиком стоит на стороне царя?

- Этого я не знаю.

- В том-то и штука, что вы многого не знаете.

Понизив голос, Ольга Викторовна тихо добавляет:

- В армии ведется работа, и почва для этой работы имеется. Революция приближается, и она заявит о себе так громко и неожиданно, что земля задрожит и небу жарко станет.

Лобанович слушает и удивляется, как много революционного запала в этой смуглой девушке со стриженными волосами и как горят ее глаза. Ему неловко перед ней: ведь где-то там, на дне его души, шевелятся робость и сомнение, чего нот, как видно, у нее.

- Так, - говорит он. - Ну что ж, в добрый час!.. Так вы, Ольга Викторовна, помогите мне, познакомьте меня ближе с организацией, чтобы можно было попасть на собрание, кое-какие знакомства завести.

- С великой охотой! Я так и знала, что вы это сделаете, - говорит она, и удовлетворение отражается на ее лице.

Поздно вечером Ольга Викторовна идет в свою школу.

- Ну, я вас немного провожу.

Когда они отправляются в дорогу, на выгоне напротив окон квартиры учителя тихо проползает сутулая человеческая тень и скрывается в темном закоулке, оставаясь незаметной для них.

Далеко за переездом, возле самого села, учитель останавливается.

- Ну, Ольга Викторовна, теперь вы, можно сказать, и дома. Бывайте здоровы!

- Андрей Петрович! А вы ночуйте у меня. Зачем вам идти так поздно?

- Не так уж и поздно. Пока вы приготовитесь ложиться спать, я буду дома.

- А почему вы не хотите ночевать?

- Я люблю ходить ночью - это раз.

- И боитесь сплетен - это два.

- Ну, пусть будет два, - соглашается Лобанович.

- Ну, как знаете... Оно, может, и действительно не стоит давать пищу для сплетен. Только мне жалко, что вы будете из-за меня трепаться еще целый час.

- Э, Ольга Викторовна, все равно трепаться придется, так лучше начинать понемногу теперь.

Они простились.

Только сейчас, оставшись один, Лобанович почувствовал всю глушь и затаенную, глубокую тишину осенней ночи. Низко к земле склоняются черные кусты рядом с гатью. Сдавленные тяжелым, густым мраком, они напоминают какие-то странные большие кочки. А дальше ничего не видно. Земля закрыта черным плотным пологом. На небе ни звездочки. Седые тучи нависают низко-низко и еще увеличивают темноту. Видать, собирается дождь.

На переезде Лобанович останавливается. Слышится далекое грохотанье поезда. Учителю становится веселее, и этот грохот кажется ему близким и милым. Далеко-далеко выплывают из мрака два огонька, словно глаза доброго друга. Кажется, они стоят на одном месте, не двигаются, но железные колеса все отчетливее выстукивают свою однообразную песню.

Эти два огонька и это громыханье, оживляющие ночную глушь, невольно напоминают Лобановичу то неведомое, новое, приближение чего уже слышат чуткие уши этих загнанных в темные норы людей.

XXVI

С крутой излучины возле села Высокого, где Пина поворачивает в сторону заречных болот, очень хорошо видна южная часть Пинска. Огромный белый монастырь, построенный иезуитами в XVI веке, и монастырский дом, где прежде жили монахи, а теперь помещается духовное училище, возвышаются над гладью болот, составляя самый крайний южный выступ Пинска.

Чем-то грозным и угрюмым веет от этих старинных стен; монастырь имеет вид неподкупного стража отживших религиозных традиций старины. Как нерушимая скала над морем, стоит над болотами этот молчаливый великан, оглядывая необъятные просторы Пинского Полесья на далекие десятки верст. Холодная строгость стиля и гордая

мощь взлета монастырских башен приковывают к себе внимание и производят необычайно сильное впечатление. В ясные весенние либо летние утра и вечера, когда воздух, напоенный сыростью, так чист и прозрачен, монастырь виден особенно отчетливо. Тогда он кажется совсем близким, хотя до него отсюда будет верст пять. Его величественные порталы резко вырисовываются на фоне розовато-синего неба, и нельзя не заглядеться на него.

Всякий раз, когда Лобанович идет из волости по над Пиною, ему бросается в глаза этот монастырь, и какое-то странное впечатление производит он на учителя, воскрешая в памяти события исторического прошлого, борьбу двух вероисповеданий, из которых ни одно не сделало людей счастливыми. Прошли века со времени основания монастыря, много людских поколений сошло с арены жизни, а эта громадина стоит и стоит и долго еще будет стоять, станет свидетелем уже новой борьбы за новый порядок жизни, где на первом плане будут реальные интересы людей.

Лобанович не может забыть последний разговор с Ольгой Викторовной. Они условились встретиться вечером в субботу возле монастыря на пристани. Здесь неподалеку находится квартира, где изредка происходят тайные, подпольные собрания. В одном из таких собраний вскоре и он примет участие.

Сказать правду, Лобановичу немного страшновато. Происходит новый поворот в его жизни. Скоро он пойдет по дороге, где так много опасностей, где на каждом шагу его может подстергать беда. В его воображении рисуются аресты, остроги, ссылка. С того времени как начал учитель вести свою тайную работу, он постоянно ощущает беспокойство, тревогу. Если ему случалось видеть в селе какого-нибудь полицейского чиновника, невольно думалось, не по его ли делу появился сюда представитель власти. Нервы все время были немного напряжены, и он стал подозрительным и осторожным, особенно когда узнал, что о его поведении уже ходят в селе разные слухи. Но понемногу он привык к мысли, что может попасться, что его арестуют, и перестал этого бояться. Наоборот, временами арест казался ему привлекательным, не лишенным своеобразной прелести. Почему же и не потерпеть за правду? Почему не испытать судьбу "крамольника"? Почему не изведать тюремной жизни? Ведь тюрьма - это школа, где жизнь познается наиболее глубоко и быстро. Кроме того, во всем этом есть еще сладость борьбы, риска. Ты знаешь, что за каждым твоим шагом следят, что, если все откроется, тебя будут ловить, будут судить, но ты также можешь не поддаваться, выкручиваться, вести настоящую борьбу за свое право жить на воле.

Занимает мысли и предстоящая встреча с таинственными людьми, с которыми он никогда прежде не встречался. Он только читал о них, слышал издали и преимущественно из уст тех, кто их ненавидел, считал самыми большими преступниками на свете. Он чувствует глубокое уважение к ним, даже некоторый страх перед ними. Кто такие они, эти люди? Чем они живут? О чем думают? В его представлении все эти люди - герои, на которых можно смотреть только с великим уважением.

В субботу перед вечером, закончив работу в школе, он собирается в дорогу, на всякий случай припрятав в тайничок все, что при известных условиях могло бы стать уликой против него. Запирает квартиру на ключ и идет выгоном на дорогу.

Осенний мрак надвигается быстро, сужая горизонты и наваливаясь на онемелые дали. В крестьянских дворах снуют люди, делают свои хозяйственные дела, заканчивая заботы короткого дня.

Лобанович минует выгон, выходит в поле. Здесь он чувствует себя немного свободнее, спокойнее, - по крайней мере никого поблизости не видать. А Лобановичу не хотелось бы теперь встретиться с кем-нибудь из своих знакомых, вступать в разговор, выдумывать причины своего позднего путешествия в Пинск, хотя их можно легко придумать не один десяток. Но на дороге тихо и безлюдно. Вот он минует Альбрехтово, где раскинулось огромное поместье пана Скирмунта, где работают его сукновальня, литейная мастерская, винокуренный завод. Возле поместья, словно копны сена, разбросаны по полю довольно

высокие концы - земляные насыпи, где хранится картошка, заготовленная для производства водки. Неподалеку от дороги начинается огромное гумно, крытое камышом. Гумно тянется от дороги до самой Пины, его длина саженой двести. За Альбрехтовым, уже возле самого города, видна небольшая деревенька Леща, где есть церковка и поповская усадьба. Уже темно, но широкие кроны высоченных лип и вязов еще довольно отчетливо вырисовываются на сером небе.

Миновав арестный дом, - причем Лобанович оглядел его очень внимательным взглядом, - учитель вступил на территорию Пинска и пошел по мощенной булыжником Купеческой улице. Здесь было довольно пустынно и глухо. Время от времени застучат по мостовой сапоги прохожего, скрипнет калитка, и снова все умолкнет, словно скованное этим густым мраком. Пройдя несколько улиц и переулков, Лобанович направляется на пристань, стараясь обходить более оживленные и шумные улицы.

По дороге попалось ему несколько будок - пунктов полицейской стражи, возле которых обычно стояли либо ходили городовые в клеенчатых плащах.

"Что бы ты делал, братец, если бы знал, куда я иду? - думал Лобанович, минуя сонных, медлительных, привыкших к своей службе городских. - Наверно, зашевелился бы живей", - и еле приметная усмешка пробегает по его губам.

Не доходя до центра города, Лобанович поворачивает в глухой переулок, ведущий в сторону пристани. Присматривается к людям, которые обгоняют его. Не шпик ли это? Ему кажется, что эти люди-собаки нюхом чувствуют его крамольные намерения.

На пристани он снова чувствует себя свободнее. Широкая, длинная, ровная пристань аккуратно выложена гладкими каменными плитами и залита асфальтом, обсажена двумя рядами каштанов. Так же в два ряда выстроились здесь скамейки на ровном расстоянии одна от другой; есть где посидеть в хорошую погоду людям, когда они устанут, прогуливаясь. Пристань крепко сжимает левый берег глубокой и спокойной Пины. Холодные серые волны реки тихо всхлипывают, бьются о гладкий каменный берег, приглушенным голосом переговариваются о чем-то с камышами на другой стороне, слегка покачивают пароходы и пароходики, дубы и чайки, густо облепившие пристань.

Медленно движется Лобанович в сторону монастыря. Угрюмым и страшным кажется теперь древнее монастырское здание, окруженное мраком осеннего вечера. Его центральная часть то здесь, то там выступает из темноты белыми пятнами - это падает свет от окон и фонарей, - а порталы и башни расплываются во мраке.

Ольга Викторовна немного опоздала. Рядом с ней стоял незнакомый высокий парень.

- Познакомьтесь, - говорит она.

Лобанович и незнакомый парень молча здороваются.

- Вы давно здесь? - спрашивает учителя Ольга Викторовна.

Лобановичу показалось, что она старается говорить тихо. Должно быть, этого требует осторожность.

- Уже с полчаса. - Он хочет придать своему голосу бодрый, веселый тон.

- А вы не соскучились без меня? - так же весело говорит и Ольга Викторовна.

- Ой, как еще соскучился! Хотел уже бросаться в Пину, но побоялся, что будет холодно.

Она тихо шепчет ему на ухо:

- Болтайте всякие глупости. Чем глупее, тем лучше. Начали вы очень хорошо.

Их обгоняет какой-то человек. Может, это самый обыкновенный прохожий, а может, и шпик. Минуты через две снова проскользнула рядом фигура. Лобановичу показалось, что это тот самый человек, который недавно их обогнал.

- Пойдемте, господа, подзакусим в ресторане! - громко говорит незнакомый парень.

Они направляются на людную улицу, где светло и шумно, и проходят один квартал. Незнакомый парень круто поворачивает в переулок. Идут долго, минуют улицы и переулки и снова выходят к монастырю, теперь уже с другой стороны. Незнакомый парень останавливается, пропускает вперед Ольгу Викторовну и говорит:

- Заходите!

Лобанович с учительницей входят в тесный, слабо освещенный дворик. Прямо перед ними несколько древних, пришедших в упадок домиков жмутся друг к другу. Ольга Викторовна и Лобанович подходят к одному из этих домиков и останавливаются на крылечке.

Ольга Викторовна стучит.

- Кто? - раздается из-за двери.

- От Бориса, - отвечает учительница.

Дверь открывается. Они входят в комнату, довольно просторную, но обставленную бедно. Сбитый, облезший диванчик, голые стены, если не считать гитары на одной из них, несколько стульев, небольшой столик, на котором тускло горела простенькая лампа, - вот и вся обстановка.

В комнате сидели три человека.

Лобанович вслед за Ольгой Викторовной по очереди поздоровался с ними, причем никто своей фамилии не называл. Только Ольга Викторовна назвала незнакомых Лобановичу людей по именам: товарищ Глеб, Соломон, Гриша. Все они еще молодые парни, и определить их профессию было трудно, - видимо, рабочие.

Самым солидным и самым интеллигентным из них выглядел Глеб. Он носил пенсне, имел небольшую рыжеватую бородку, аккуратно подстриженную, и держался наиболее независимо и спокойно. По всему видно было, что он самое авторитетное здесь лицо.

Лобанович беглым взглядом окинул комнату с ее убогой обстановкой и сосредоточил все свое внимание на этих молодых, совсем незнакомых ему хлопцах.

Представление о действительности и сама действительность часто разные вещи. Образы "крамольников"-революционеров совсем не такими рисовались Лобановичу. Перед ним были обыкновенные люди, без романтики и демонизма, с виду хилые и слабые, одеты еще беднее, чем он сам. Ему показалось, что его новые знакомые чем-то обеспокоены. Неужели они боятся? Было как-то неловко, тесно и как бы душно, а вообще неприятно и излишне торжественно.

Гриша подходит к Глебу, они о чем-то разговаривают. Соломон подсаживается к Лобановичу.

- Вам, товарищ, впервые приходится быть на таких собраниях?

- Первый раз, - отвечает учитель.

- А вы уже давно работаете учителем?

- Третий год.

- Ну, а скажите, как настроено крестьянство?

- Разные у них бывают настроения. Дать огульную характеристику довольно трудно.

Через несколько минут из другой двери показывается высокий молодой парень, тот самый, который вел их сюда. Он пошептался о чем-то с Глебом.

Лобанович тем временем немного освоился и с интересом ждал, что будет дальше.

- Товарищи! - говорит Глеб.

Голос у него звонкий, глаза веселые и смелые. Он привычным движением руки поправляет пенсне и продолжает:

- Нам, думаю, интересно будет услышать небольшую информацию с места от нашего нового товарища.

Эти слова адресовались Лобановичу. Он почувствовал то же самое, что чувствует не совсем хорошо подготовленный ученик, когда его неожиданно вызовет учитель.

Четыре пары глаз поднимаются на Лобановича. Он приходит в некоторое замешательство, но его выручает Ольга Викторовна. С чисто женским тактом она выводит соседа из довольно неприятного для него положения.

- Я думаю, - говорит она, - моему коллеге интересно было бы сначала войти в курс дела.

Не лучше ли будет, если товарищ Глеб сам сделает информацию иного порядка?

- Наше сегодняшнее время, к сожалению, ограничено, и это сделать сейчас как раз неудобно. Нам нужно принять инструкции к моменту дня, ну, на ближайшие дни, - отвечает Глеб. Затем, как бы экономя время, он обращается к Лобановичу: - Нам известна

ваша работа, я с удовольствием приветствую вас, товарищ, как нашего единомышленника, хотя официально вы у нас не числитесь.

Глеб сказал несколько слов о той революционной деятельности, которую надо проводить теперь, похвалил Лобановича и дал высокую оценку его работе. Это придало учителю смелости, и он попросил слова.

Речь Лобановича была вначале немного путаная, слова не слушались его, и язык ворочался не так, как полагается. Но потом он оправился и даже оживился, когда высказывал свой взгляд на расширение пропаганды среди крестьян через сельских учителей.

- Как мне думается, до сих пор еще очень мало внимания обращалось на нашего брата учителя со стороны революционных организаций. Между тем сельский учитель - единственный человек среди крестьянства, который мог бы вести работу. А для этого нужно только расшевелить, объединить в свои учительские организации разбросанных по глухим уголкам учителей. Тогда можно подготовить в должной степени народ к революции.

Эти слова находят здесь сочувствие, что поднимает дух Лобановича. И Ольга Викторовна радуется за него: ведь это же ее кандидат!

На прощание ему дают листовки и брошюры, адреса квартир и приглашают в дальнейшем держать связь с Глебом.

Ольга Викторовна остается ночевать у своих знакомых, а Лобанович, щедро наделенный нелегальной литературой, плетется по опустевшим улицам и переулкам, боязливо приглядываясь и прислушиваясь к затаенной ночной тишине. Выйдя за пределы города, он вздыхает с облегчением и чувствует себя свободнее и увереннее.

XXVII

Ясно видно, что Иван Прокофьевич, казенный лесничий, не в духе. Не час, не день, даже не десять дней, а целые месяцы хмурится его крутой лоб, сердито свисают длинные усы, а из быстрых глаз сыплются искры. Даже ругань его, обычно дружеская, добродушная, веселая, брызжет теперь настоящей злостью, рассыпается круглыми, ядреными словами под высокими, широковерхими липами и вязами казенного парка.

Хоть уже и холодно, но Лобанович нарочно открывает форточку в окне напротив парка казенного лесничего, чтобы услышать эту брань. Это даже и не брань, а дискуссионная речь Ивана Прокофьевича на социально-политические темы. И тут не важно, возражает ли ему кто или нет, - важен только сам предлог для такой дискуссии. У лесничего давно накопилось на сердце, и ему необходимо излить свое возмущение неспособностью больших и малых чиновников, необходимо испепелить огнем своей ненависти это ничтожество, которое начинает добиваться каких-то своих прав, выползает из норы на видное место. Он не может примириться с тем печальным фактом, что на Руси перевелись "богатыри", что некому спасать ее. Не важно, как реагирует на его слова слушатель, соглашается с ними или нет, - ему просто нужен живой свидетель его возмущения. А если этот свидетель какой-нибудь полешук из Выгонов или из Высокого или кто-нибудь другой, даже из числа интеллигенции, иногда, не дождавшись конца излияний лесничего, потихоньку скроется, просто сбежит, лесничий еще некоторое время продолжает шуметь. А когда заметит, что его слушатели - липы и вязы, беспокойно глянет по сторонам, как потревоженный коршун. Порой он на этом и кончает. Все зависит от того, в какой степени излито возмущение. Если же возмущение слишком велико, он идет искать нового слушателя, чтобы закончить дискуссию. Пружинистой походкой срывается с места, решительно направляется в сторону школы, к плетню. Там есть перелаз. Иван Прокофьевич поднимает полы черного ярославского кожуха, забрасывает сначала одну, потом другую ногу - гоп! - и вот лесничий уже на территории школы.

Посреди школьного огорода он немного задерживается, раздумывая, куда направиться. Опять-таки дальнейшее поведение лесничего зависит от степени его возмущения. Иногда он минует школу и идет дальше: ведь учитель занят, хотя с ним поговорить удобнее всего. Во-первых, он умеет слушать, вставит слово, реплику подаст, ну, словом, помогает высказаться до дна; во-вторых, он такой человек, с которым приятно поговорить о войне: оба они в курсе военных дел, оба имели одинаковые взгляды на исход войны, хотя они здесь здорово обманулись; в-третьих, учитель такой человек, из которого может выйти толк, если его надлежащим образом направить в нужную точку. И лесничий много потрудился, давая соседу надлежащее направление: посылал ему "Новое время", Розанова, Лютостанского, а из художественной литературы - Мельникова-Печорского, которого лесничий ставил на самое первое место среди русских писателей, так как романы "На горах" и "В лесах", по его мнению, не имели равных себе.

Возмущение Ивана Прокофьевича на этот раз так велико, что он идет в школу. Сначала заходит в кухню.

- Здравствуй, Ганна! - как из пистолета выпаливает Иван Прокофьевич слова приветствия.

- Здоровеньки булы! - кланяется Ганна.

- Ну, как живут байстрюки твои?

Ганна что-то отвечает, но он не слушает, пользуется случаем, чтобы сорвать хоть на ком-нибудь свою злость.

- Ну, не сукин это сын? Разве это человек? И это отец? Хотя бы копейку прислал на сына, прохвост! Ну, он вырастет, - и показывает пальцем на маленького Кирилу, - что же из него будет? Куда он денется? Красть начнет либо возьмет новую моду - в революцию пойдет! Ведь теперь такие вот сморкачи, - палец лесничего направляется на Юсту, - начинают бунтовать, учиться не хотят, против директора выступают. Чаше их розгами лупцуй! Не жалей прутьев! Не дашь им лозы, когда лоза по ним плачет, - сама от них плакать будешь! Выпустив таким образом часть паров своей злости, лесничий заходит в квартиру учителя. Пока учитель не придет на перемену, Иван Прокофьевич, как тигр в клетке, ходит по комнате, смотрит вниз, заложив руки за спину. На его лице отражаются то ехидный смех, то злость, то ирония, то сарказм. Время от времени с губ срывается короткая брань. Как только лесничий увидит учителя, лицо его вдруг принимает спокойное, обычное свое выражение, но лишь на самое короткое время, необходимое для того, чтобы поздороваться с Лобановичем.

- Ну что, - спрашивает Иван Прокофьевич, - школа ваша еще не бастует?

- А зачем ей бастовать?

- А как же! Пошли забастовки среди детей. В Пинске вон реальное училище забастовало - давай им свободу! Приготовишки митинговать пошли. "Долой, говорят, директора и учителей!" Ходят и папиросы курят... Ну, что вы на это скажете?

После коротенькой паузы, набрав воздуха в легкие и вдруг переменив выражение лица, Иван Прокофьевич понесся, как испуганный норовистый конь, кроша и калеча все на своей дороге:

- А наши эти пентюхи, администрация, начальство это, с позволения сказать, и губы свесило!.. - Лесничий также оттопыривает свою нижнюю губу, чтобы показать, какой вид имеет перепуганное начальство.

Лобанович не может сдержаться и покатывается со смеху.

- Чего вы смеетесь?

- Очень уж вы картинно рассказываете, Иван Прокофьевич, - не переставая смеяться, отвечает Лобанович.

- Так ведь это же правда! Головы потеряли! В штаны напустили! А этот наш... полицмейстер! Жаба облезлая! Либерал! Вы знаете, прокламации ему в карман мазурики напихали! И это уездный начальник полиции! Стыд! Гнать таких в три шеи, чтоб воздух не портили! Над бочками начальником поставить! Тьфу!.. Дубовые головы!

Взбешенный Иван Прокофьевич едва из кожи не лезет. Он весь в движении, все его тело негодует, возмущается - язык, губы, нос, брови и лоб, глаза и уши, руки и ноги. Его слушатель не выдерживает и снова начинает смеяться. Лесничий сердито глядит на него.

- Да тут и смешного ничего нет!

- Ну как же не смешно, Иван Прокофьевич: такая шишка, полицмейстер, - и вдруг начальник над бочками!

- Сволочи, говорю вам! Шкуры продажные! В то время, когда государству нужны твердые люди, их нигде нет, они увядают, никнут, прячутся, притворяются, что ничего не знают и ничего не видят. Разве можно допустить, чтобы какие-то несчастные сопляки осмеливались добиваться каких-то там свобод, говорить об ограничении власти монарха!

- Ничего не поделаешь, Иван Прокофьевич, стихийно выливается возмущение угнетенного...

- Ерунда! - гремит лесничий. - Какая стихийность? Какое возмущение? Кто угнетен? У нас в России большая свобода, чем в любом конституционном или республиканском государстве. Вы околпачены крамольной печатью. Разве вы этого не знаете? Русскому человеку теперь нельзя слова сказать, ему зажимают рот, высмеивают, ретроградом называют.

Сев на этого своего конька, Иван Прокофьевич разливается бесконечным потоком слов. Возражать ему - все равно что в стену горохом стрелять; никаких аргументов он знать не хочет и не слушает, малейшая попытка вступить с ним в спор - это только подливание масла в огонь. Лобанович терпеливо выслушивает лесничего, хотя за стеклой дурачатся, шалют дети так, что школа ходуном ходит.

Замкнув круг своих аргументов и излив злость на евреев, в чьих руках вся пресса, Иван Прокофьевич снова набрасывается на полицмейстера, никак его забыть не может:

- И эта облезлая жаба говорит мне вчера: "А вы там, Иван Прокофьевич, агитацию ведете среди крестьян!" Это я веду агитацию? Ну, слыхали вы?

- Ну, это он, наверно, только шутил, - заступается за полицмейстера учитель.

- Да хотя бы и шутил! Как он осмеливается сказать мне это публично? Думал дать в зубы, да скандала не хотел поднимать. А стоило бы.

Лесничий немного успокаивается. Видимо, ему стало теперь легче, он высказал то, что сильнее всего грызло его.

- Ну, извините, - наконец говорит он, - у вас там эти сорванцы шеи себе ломают, а я вас задерживаю.

Лесничий подает руку и уходит, а учитель еще долго посмеивается, вспоминая, что полицмейстер обвинял лесничего в агитации среди крестьян.

"В случае чего лесничий закинет за меня словечко", - говорит сам себе Лобанович.

И не один Иван Прокофьевич выбит теперь из колеи, дыхание революции и ее грозный размах чувствуются всеми. Каждый новый день приносит вести, что революция растет и вширь и вглубь. И самое главное - бунты в войсках и крестьянское движение.

Дьячок Ботяновский ходит да прислушивается, но сам говорит мало. Он только трясет головой и вздыхает:

- Охо-хо! До чего дожили!

Иногда, встретив кого-нибудь из обедневших хозяев, усмехается и спрашивает:

- Может, вам уже и поп с дьячком не нужны?

Отец Николай человек дипломатичный. Он осторожненько и в завтрашний день заглядывает, а если встретит человека, чье сочувствие на стороне революции, тихонько пошепчется с ним:

- Хотят отобрать землю у духовных? Пускай берут! Пусть мне назначат жалованье. Зачем мне земля? Одни только заботы и неприятности с нею, а пользы нет. А мужику земля нужна. Зачем же этот лишний предлог для неприязни? Вот, посмотрите, - отец Николай показывает руки, - сам работаю, мозоли натер на этой земле... Пусть берут ее! Имеют право!

Хитрый человек отец Николай, угождает и богу и мамоне.

- Наибольший отклик на революционные события можно услышать в волости. Захар Лемеш революции не сочувствует, он возмущен ею. У него в голове не вмещается: как это можно пойти против начальства? И где это видано, чтобы люди могли жить без начальства?

- Хорошо! Ну вот, скажем, перестали слушать в волости старшину, подати не платят, недоимки не несут и новобранцев не дают. Так что бы тогда было? Рунда!

Посмотреть на дело более глубоко старшина никак не может. Он только чувствует, что добра от революции ему не будет. Вот писарь - тот, шельма, разбирается. И поговорить с ним приятно, ведь слова писаря по душе Захару Лемешу.

- Ну, как ты смотришь, писарь: скинут нас, брат, с тобой? - начинает старшина. Правда, он не верит, что их скинут, но ему хочется, чтобы писарь высказал свой взгляд на события.

Писарь сдвигает густые брови, глаза его грозно сверкают, насквозь, кажется, пронзят каждого, кто осмелится тронуть его и старшину.

- Кто скинет нас? - спрашивает писарь.

- Ну, кто же? Забастовщики, демократы!

- А холодная для чего? А зачем казаки? Прислали же в Пинск сотню казаков. Так, брат, всыпят, что неделю своим стулом не сядут. Пусть только заворожится кто!

На лице старшины расплывается довольная улыбка.

- Казаки - народ ловкий, умеют досады дать, - соглашается он.

А писарь приходит в раж:

- Да я сам возьму нож и пойду резать этих демократов. Резать буду направо и налево! Дай только мне нож!..

Писарь стискивает зубы и сжимает кулаки, а старшина весь светится от радости.

- Герой наш писарь, ей-богу, герой!

Позиция сельского старосты Бабица не такая определенная, он вообще больше молчит и слушает. Но оставаться совсем в тени он считает неудобным, и когда ему приходится бывать в обществе особ официальных, он в некоторых местах беседы качает головой, иногда с серьезным выражением лица, а иногда с улыбкой, в зависимости от обстоятельств. Вообще же Бабица и по служебному и по социальному своему положению как бы некая промежуточная планета, которая ощущает на себе влияние соседних планет.

В "сборной" разговоры немного иные.

Заядлыми политиками проявляют себя дед Пилип и возчик Авмень. Опять-таки и здесь первая роль принадлежит Авменю. Всякий раз, особенно возвратясь из Пинска, он поражает своих слушателей какой-нибудь неожиданной новостью.

- Ну, скоро будет конец брюхачам!

Под "брюхачами" Авмень понимает всех панов и чиновников. Объяснять это не нужно, все знают, кто такие брюхачи.

Дед Пилип вперяет в Авменя свои острые, колючие глаза. И глаза его, и нос, непомерно длинный и красный, изрытый мелкими дырочками, как ствол очищенной от коры березы-чечетки, и вся фигура деда Пилипа - воплощение жадного интереса, внимания. Он весь как бы превращается в вопросительный знак.

- Ну? - удивляется он.

- Кончается их панованье. Губернаторы и те хвосты поджали. Свобода, брат, пошла! Каким министрам!

- И министров не будет?

- Все будет отменено!

- Кому же тогда подати платить будем?

- И податей не будет. Сами будут люди на себя работать.

- А как же начальство? - спрашивают Авменя.

- Начальство остается без подначальных, никто его слушать теперь не хочет.

- Неужто начальства не будет?

- Будет, но другое. Прежнее начальство назначалось, а новое выбираться будет.
 - И земского будут выбирать?
 - Если нужно будет, выберут. Но их не любят что-то. Захочет ли кто земским быть?
 - Почему не захочет! - говорит дед Пилип. - В начальники, верно, каждый попрется. Ха! - взмахивает он руками. - Вот, ядри твою утку, какие времена приходят!
- Если во время таких рассуждений проходит поблизости писарь либо старшина, разговор обрывается - ведь начальство таких разговоров не любит.

XXVIII

Приходит в школу Аксен Каль. В руках у него бумажный свиток, обернутый газетой. И вид у Аксена радостный, светлый. Такой вид бывает у того, кто долго чего-то ищет, несмотря ни на какие преграды и на полную, казалось бы, безнадежность этих поисков, и наконец находит.

Аксен разворачивает свиток и показывает учителю план. На плане сняты крестьянские земли и смежные владения пана Скимунта.

- Это такая правда и справедливость на свете!..

Глаза Аксена загораются огнем ненависти.

- Вы видите, кому принадлежат заливы по плану и кто ими пользуется?

Злосчастные заливы, из-за которых Аксен Каль так много судился, ходил, добиваясь законного права на них, в плане значились на крестьянских землях.

- Привести его сюда, ткнуть носом в план, а потом утопить прохвоста в этих заливах!

- Ничего, Аксен, будет и на нашей улице праздник. Настает час расплаты за издевательства над народом. Дымом и огнем полетят в небо панские палаты. И уже начали лететь.

- Сжечь! Сжечь и сровнять с землей, чтобы и следа их не осталось!

Наконец Каль переходит к практическим вопросам - что и как делать теперь.

- А крестьяне знают про этот план? - спрашивает учитель.

- Завтра будут знать все.

- Собирайте тогда сход, решим на сходе. Выступать надо дружно и всем вместе.

Через два дня собрался сход.

Никогда еще школьные стены не видели такого многолюдного, бурного, тревожного схода. Все, что накопилось за долгие века унижений, обид, несправедливостей, теперь всплывало со дна крестьянской души и объединяло толпу в нечто целое, слитное, сплоченное единой волей, единым желанием.

Среди сотен белесых и темных голов, волосатых и лысых, видна и голова старосты Бабича. У этого тихого, ласкового человека, умеющего так хорошо слушать, теперь строгий, озабоченный вид. Видно, что-то тревожит его. Пристало ли ему приходить на этот сход, как особе официальной?.. Нехорошо занимать такую двойственную позицию, сидеть между двух стульев! Старшины здесь нет. О, старшина сюда не пойдет! И церковный староста Крещик также не пришел. Да и многих здесь нет. Но то все люди зажиточные, любящие потеряться возле начальства, а здесь как раз противоначальнические действия могут иметь место.

Грозный вал крестьянских восстаний прокатился по необъятным просторам царской России, скованной острогами и цепями неволи. Пламя пожаров, багровые клубы дыма окрасили в кроваво-красный цвет холодное осеннее небо. Извечная крестьянская жажда земли и неумирающее стремление к свободе слились в один глухой, могучий порыв, неудержимый вихрь, сметающий все на своем пути. Бросают паны имения, как крысы подожженную мельницу, удирают в города, крича о спасении и рассказывая об ужасах, чинимых "мужиком-зверем".

И вот сейчас такие "мужики-звери" собрались в школе. Между собой, дома, они не раз втихомолку обсуждали события последних дней, а теперь на сходе нужно все это оформить. А для законности они и старосту Бабича пристегнули сюда.

Гудит сход, как темная пуща под напором бури. Отдельных слов не разобрать, один сплошной, густой рокот наполняет школьный зал.

Учитель и Аксен Каль входят в школу.

Толпа смолкает: начинается акт большой общественной важности. Сотни глаз подняты на этих двух человек.

- Громада! Приступим к делу! - Голос у Аксена звонкий, необычно торжественный.

- А-ру-ду-ду-ду-д-ум! - катится неясный гул из толпы, изредка прерываясь отдельными словами. Сход выражает согласие приступить к делу.

- Мы пришли не в волость, где обычно собираются сходы, а в школу, потому что учитель - наш человек, он за нас, а за это дело не возьмется ни писарь, ни старшина, никто другой, ведь они нам не сочувствуют, они служат нашим врагам! - говорит Аксен.

- Босяки! Наживаться только умеют нашим трудом! - слышится голос.

- Мы будем просить учителя помочь нам, чтобы все это оформить и сделать, как нужно.

- Просим! Просим! - гудит сход.

Из толпы незаметно протискивается низенький, щуплый полешук средних лет, с бородкой, похожей на пучок мха, растущего на коре старой березы. Он подходит к учителю и тихо говорит:

- Вы думаете, мы не знаем, кто наш враг, а кто друг?.. Вы моему Алесику подарочек сделали, купили сироте рубашку. А поп, писарь, земский начальник - это грабители, шкуру готовы содрать с нас, но мы с ними расправимся!

Учителю некогда разговаривать с ним - сход ждет услышать его слово.

Дело, для решения которого созвано это собрание, всем известно: надо что-то предпринять с этим паном Скирмунтом, надо так или иначе рассчитаться с ним.

Лобанович чувствует всю необычность и напряженность обстановки, непримиримое, боевое настроение схода. Он чувствует также и свою ответственность, моральную ответственность перед этим взбудораженным народом, готовым сейчас на все: грабить, жечь, резать, - такие примеры ему известны. В то же время учителю надо выполнить свой революционный долг. И посоветоваться не с кем. А ведь осмотрительность особенно необходима теперь, когда притихшая было полицейщина начинает поднимать голову и чинит кровавую расправу с крестьянством, восставшим против панов.

Взволнованный и бледный, берет слово учитель:

- Граждане! Всем ясны и понятны ваш гнев и возмущение. Сотни лет жили мы под панским гнетом. Нас не считали за людей, мы терпели издевательства и бесконечные обиды. Крестьянин на земле, рабочий на фабрике работают на богачей. Паны и богачи живут в роскоши, а вы - в темных и тесных халупах, копаетесь, как черви, в земле, и нет вам ни жизни, ни доли. Разве это справедливо? Может ли так продолжаться? Кто же вступится за нас? Кто принесет нам избавление от этой тяжелой недоли? Если мы сами не поможем себе, никто нам не поможет. Вы только подумайте: маленькая горсточка дворян и богачей села вам на шею, захватила лучшие земли, живет вашим трудом - и вас же мучает, чинит несправедливости, загнала вас в норы, в щели, сделала вас невольниками. Почему? Потому что в их руках власть, суды, армия. Они дурманят вам головы при помощи церкви и школы, вдалбливают вам, что так и должно быть, пугают вас карами в пекле, чтобы вы были послушными и покорными, обещают вам рай на том свете, чтобы самим вольготнее жилось на этом. Надо понять, кто нами командует и почему, надо громко заявить о своих правах и поддержать эти права силой. Что же для этого нужно? Надо соединиться в один тесный союз, в один коллектив и выступать сообща, дружно, сплоченно. Только тогда вы будете непобедимыми, ибо кто же тогда выступит против вас? Войско? Но ведь оно составляется из ваших сыновей, и не для того нужно оно, чтобы бить своих отцов и братьев.

Эта немного окольная дорога-речь начинает, как замечает оратор, утомлять сход. Людям нужно услышать об имении пана Скимунта.

Лобанович берет со стола план.

- Вот вам, граждане, пример того, как несправедливо обходятся с вами. На этом плане заливы и прибрежный луг принадлежат вам, но почему-то они очутились в руках пана Скимунта. Вы за них судились, но ничего не высудили. Даже хотели царю подавать прошение, но и из этого ничего не вышло бы - ведь и царь за панов стоит, а не за вас.

- Голову оторвать толстопузому черту!

- Сжечь его поместье вместе с ним и со всем его семенем! - гудят злобные голоса.

Возмущение крестьян растет. Оно может привести к попытке разгромить и поджечь имение. А это даст начальству "законное право" жестоко покарать крестьян как грабителей и насильников.

- Граждане! С вами обошлись несправедливо. Но не поддавайтесь злобе и не делайте того, о чем впоследствии придется пожалеть. Надо все трезво, спокойно взвесить, рассчитать. Прежде всего я спрошу вас: будете ли стойкими и твердыми, если случится какое-нибудь лихо? Или будете сваливать с себя вину на кого-нибудь другого за свои поступки?

Вопрос, брошенный в толпу так прямо и неожиданно, заметно остудил жар крестьянской злости.

- Вас мы не выдадим! - слышится голос из толпы.

- Я за себя не боюсь, - отвечает оратор, задетый этим искренним заявлением. - Я только хочу предостеречь и напомнить вам, что нужно сначала спокойно обсудить это дело, а потом уже действовать, и действовать организованно и дружно, чтобы ваши поступки действительно были революционные и сознательные.

Староста Бабич смотрит на учителя, кивает головой: правда все это, надо подумать, обсудить.

- Правда, правда, - вслух говорит он.

- Давайте же сделаем так, чтобы было, как говорится, и здорово и сердито и чтобы нас не могли подковырнуть легко и просто.

Сход внимательно прислушивается к словам учителя.

- Я думаю, - продолжает он, - сначала послать Скимунту наше требование, оно у меня написано, и я прочитаю вам его.

Учитель берет заранее заготовленную петицию - эта форма обращений, протеста довольно часто применялась тогда - и читает:

"Гражданину Скимунту в Альбрехтове
от граждан сел Выгоны и Высокое

ПЕТИЦИЯ

Несправедливость, которую чинили веками крестьянству помещики и чиновники, и то тяжелое положение, в котором очутилось оно в результате этой несправедливости, вынудили крестьян самим взяться за дело уничтожения этой несправедливости! Повсюду в России поднялось движение крестьян на почве земельных отношений с помещиками. Это движение, как вам, вероятно, известно, часто принимает грозную, нежелательную для вас форму, так как доведенное до крайности крестьянство не имеет другого выхода. Воздерживаясь от применения таких крайних средств, мы, граждане сел Выгоны и Высокое, напоминаем вам, что затоны и сенокос на Пине, согласно плану, утвержденному Межевой комиссией 18.. года, значатся в нашем владении. Между тем этими нашими угодьями незаконно пользуетесь вы. Однако в нашей тяжбе с вами за эти угодья суд стал на вашу сторону.

На основании вышеизложенного мы требуем:

1. Отказаться от незаконного пользования нашими затонами и сенокосом.
2. Как вознаграждение за это пользование передать нам часть вашего имения, что примыкает с одной стороны от Пины к дороге и с другой - к имению Альбрехтово.
3. Если наше законное требование вами не будет принято во внимание, мы будем вынуждены употребить другие средства".

С большим вниманием выслушали крестьяне эту петицию.

- Граждане! Согласны вы предъявить эти требования Скимунту?

- Согласны! Подать! Подать! - гудит сход.

- Если так, то подписывайтесь.

Крестьяне двинулись к столу и мозолистыми, загрубевшими пальцами выводили свои фамилии или просто ставили крестики, а в конце бумагу скрепил печатью староста Бабич.

Выбрали трех делегатов, которым поручили передать петицию пану Скимунту.

- Если пан вернет нам затоны, мы принесем самой лучшей рыбы нашему учителю за хлопоты, - говорит дядька Есып.

Скимунт - влиятельный и богатый помещик. Это чувствуется во всей его преисполненной важности фигуре. Его имение одно из лучших в Пинщине. И среди помещиков и среди начальства он уважаемая персона. Он лично знаком с губернатором. Приглашенный и прилизанный, важно сидит он в своем пышном кабинете за богатым столом, курит дорогие сигары. На революцию смотрит свысока: не слишком ли много возомнили о себе эти хлопцы? Его золото хранится в надежных банках, поместье, строения и имущество - все застраховано. Он ничего не боится. Сидит, просматривает счета, составляет проекты, как расширить свои предприятия, вообще "работает". Труд крестьян и труд рабочих - это труд рабочей скотины, а он работает головой. В его хозяйстве живут и кормятся сотни людей, он "дает" им хлеб, и они за это должны быть ему благодарны.

В дверь кабинета осторожно и почтительно стучит чья-то рука.

- Проще! - бросает пан Скимунт.

Входит перепуганный главный эконо. В руках у него лист бумаги.

- Ясне пане! Какую мерзкую бумагу подали пану эти хамы из Выгонов и из Высокого!

Пан Скимунт берет петицию, вскидывает на нее глаза. На лице у него презрительная улыбка.

- Гм! На равную ногу со мной становятся: граждане пишут гражданину!

Пан Скимунт выше поднимает свои закрученные, пышные усы. Читает. Ироническая улыбка не сходит с панских губ. Время от времени он качает головой. Наконец улыбка исчезает, глаза становятся злыми.

- Заложить бричку и пару лошадей! - приказывает он.

Окончив чтение петиции, пан Скимунт сразу наметил план действий. Он знает, что нужно делать в таких случаях.

Пан Скимунт едет в Пинск. Надо же потешить маршалка. Надо поднять на ноги начальство.

И пан Скимунт завертел машину.

XXIX

По вечерам, окончив занятия в школе, Лобанович выходил порой на прогулку, чтобы побыть на свежем воздухе. Было у него излюбленное местечко, куда он обычно и отправлялся, когда хотелось ему остаться наедине с самим собой. Место это - проселок за Выгонами, который тянется рядом с железной дорогой, где стоят две ветряные мельницы. Здесь совсем тихо, особенно когда стемнеет. И что еще нравилось ему здесь - это скорый поезд, идущий из Лунинца в Пинск. Верстах в пяти отсюда, миновав Заозерье, железная дорога делает поворот, и с проселка очень хорошо видны огни поезда. В этих ярких, движущихся огнях было что-то необычайно привлекательное, волнующее. Сколько раз он

видел их, и всегда они казались ему символом торжествующей, вечной жизни, милой, чарующей улыбкой озаряющей угрюмый, молчаливый мрак Полесья.

На этот раз он пришел сюда, чтобы проверить сведения об одном очень важном событии. Днем пронесся слух, что началась гигантская всеобщая забастовка, что революция достигла наивысшего напряжения, что уступки, сделанные царем, не удовлетворили восставший народ.

Невольно какой-то страх охватывает душу перед величием, грандиозностью борьбы. Чем все это кончится? Каков будет результат этой борьбы?

Лобанович знает, в какое время проходит здесь поезд. Это время приближается. Учитель внимательно вглядывается в то место, где обычно появляются огни. Но их не видно. Может, потому, что слишком непроницаем густой мрак, смешанный с сырым туманом. В этом мраке растворяются земля и небо, никнут огни. Он смотрит на село: видны ли огни в окнах? Они почти не видны, только светло-желтые отсветы тускло мелькают вдалеке.

Он снова смотрит на железную дорогу и прислушивается. Вокруг могильная тишина, все словно онемело либо вымерло. Подходит еще ближе к железной дороге, снова вслушивается - та же тишина. Смотрит на часы, осветив их спичкой, - прошло полчаса после того времени, как обычно проходит скорый поезд. Значит, правда забастовка началась!

Прошло несколько дней напряженного ожидания. Обычная деревенская жизнь выбилась из колеи и остановилась, а если кое-где и двигалась, то двигалась, как повозка, в которой сломалось одно колесо.

Старшина Захар Лемеш теперь нигде не показывается, его авторитет как начальника упал на все сто процентов. И он больше занят своими хозяйственными делами, чем делами волостного правления. Надел серую свитку, подпоясался поясом потуже и ходит, немного пригнувшись, чтобы меньше бросаться людям в глаза. Его мысли порой идут в необычном направлении. Он думает, что ничего прочного нет на свете и что даже его старшинство имеет свое начало и свой конец. Без конца конец. Старшина мысленно говорит себе:

"Э, матери его барабан!"

Эта "барабанная мать" и есть тот мостик, который пролегает между старшиной и обыкновенным человеком, каковым в перспективе и придется стать Захару Лемешу.

Писарь Дулеба хоть немного и притих, но все еще храбрится. И не писарство дорого ему - плевать он хочет на него и плюет, - ему важен самый принцип: ну, что будет, если эти социалисты возьмут верх? Пропадет Россия! Он не поколебался в своих убеждениях, даже увидев бурливый поток манифестантов на улицах Пинска, когда полиция трусливо попряталась. А старшине сказал:

- Ничего, Захар, перемелется - мука будет.

- Либо мука, либо мука, - вздыхает старшина.

- Обожди немного: я слыхал, холод становится на ноги, сожмет он, брат! Да так сожмет, что от твоих забастовщиков и перьев не останется.

- Что ты говоришь? - радость отражается на лице старшины.

- А вот увидишь!

Не видать также Ивана Прокофьевича, и голоса его не слышно. Никуда не ходит, дома сидит, ему противно смотреть на всю эту "мерзость". "Шумят, кричат сами не знают что. Перевелись люди на русской земле. В либерализм играть начали. Сволочи!" И тут же он впервые выругал царя: "Идиот!.. Да и что с него возьмешь, если ему бог мозгов пожалел?" В поповском окружении также шушукаются, забившись в свои уголки. Здесь особенно возмущает всех тот факт, что в городе служанки забастовали и матушка, жена соборного попа, вынуждена сама мыть пол и ходить с корзинкой на рынок.

Только дьячок Ботяновский не потерял головы и первый высказал мысль, что это за грехи посылает бог такую кару.

В связи с тем, что поезда не ходили и газет не было, эти люди заменяли собой газеты: по их поведению и по их лицам можно было судить о том, как проходит революция. И

пришел такой день, когда Лобанович загрустил: он услышал веселый голос Ивана Прокофьевича:

- Гэ, сукины сыны! Восстание подняли? Да что ты против войска сделаешь... Нет, брат, выше пупа не прыгнешь!

И все, кто был придавлен и загнан в щели революцией, теперь ожили и высоко подняли головы.

Победившее царское правительство готовилось копать могилу революции, мобилизуя для этого карательные воинские части и суды. Полиция и соответствующие органы власти зашевелились.

В тот вечер, когда после десятидневного перерыва загромыхали на железной дороге колеса вагонов, зашла к Лобановичу Ольга Викторовна.

- Невеселые новости, Андрей Петрович. Забастовка окончилась, восстание задушено, города залиты кровью. Идут аресты.

Печаль и тревога охватили Лобановича.

- Ну что ж, надо считаться с фактами. Но следы этой революции никто не сотрет в истории, - отвечает он.

- О нет! - подхватывает Ольга Викторовна. - И вешать нос на квинту нечего!

Все эти вести, видимо, больно ранят ее, но она старается не поддаваться грустному настроению.

- И в Пинске аресты начались. Арестованы Глеб и Соломон, помните их?

- Арестованы? Жалко хлопцев!

- Я им завидую: пускай бы и меня арестовали.

- Ну, в этом радости не очень много.

- Знаете, а в Пинске слухи ходят, что школа ваша костер революции и будто вы собирались или собираетесь с крестьянами громить какого-то пана Скимунта?

- Ну, там из мухи слона сделали!

Лобанович рассказывает, как было дело. Ольга Викторовна с любопытством слушает, глаза ее веселеют.

- А знаете, - говорит она, - в случае чего у вас есть большой козырь: можно осветить дело так, что вы сдержали крестьян, предотвратили разгром поместья и пролитие крови. И вам нечего бояться.

- Я не боюсь. Почему? А вот почему: я давно подготовил себя к худшему, и если со мной случится, ну, то, что с Глебом и Соломоном, это для меня не будет неожиданностью, и арест меня не пугает. Наплевать!

- Ну, об аресте нечего думать.

- Может, так, а может, и нет. Все мы под полицией и жандармами ходим.

- Это верно... А я все эти дни была в Пинске, школу свою совсем забросила, ну ее к черту!

Вся моя учительская работа в последние дни состояла в том, что я собирала взрослых и читала им всякую нелегальщину.

- Теперь, Ольга Викторовна, надо вам немного поостеречься, а то и до вас доберутся.

- А черт их бери! Знаете, мне жалко будет, если нам придется разлучиться.

- Если меня заберут, буду утешать себя тем, что меня жалеет такая славная девушка, как вы.

- Ох, и злой же вы человек! Не хочу больше с вами оставаться!

Поднимается, собирается уходить.

- А я вас не пущу. Посидите еще.

Она меняет тон, вздыхает.

- Ох, Андрей Петрович! И не хочется идти, но нужно. Проводите меня, если не ленитесь.

Они выходят.

На железной дороге прощаются.

Ольга Викторовна идет быстро, ни разу не оглянувшись назад. Лобанович стоит, смотрит ей вслед. Хочется догнать, еще пройтись с нею.

На поле надвигается мрак, и фигура учительницы сливается с темнотой.

Лобанович идет назад. Размышляет о последних событиях.

В тот вечер, когда загрохотал первый поезд, Захар Лемеш шел из волости. Настроение у него было приподнятое - он услышал сегодня хорошие новости. Лемеш даже посмеивается про себя.

"Голова этот мой писарь! - думает старшина о Дулебе. - Все выходит так, как он говорил!"

Когда же до ушей старшины донесся с железной дороги грохот поезда и послышался гудок, Лемеш остановился, послушал, а затем заговорил громко, уже настоящим своим старшинским голосом:

- Дурни, дурни! И как они могли осмелиться пойти против царской власти?!

Этот прорыв глухой тишины на железной дороге послужил как бы отверстием, через которое и полезли разные события. Исподтишка они подготавливались и прежде, но теперь развитие их пошло более быстрым ходом.

Лобанович чаще замечает какие-то таинственные тени под окнами своей квартиры. Начинает присматриваться. Ясно, что он на подозрении и за ним следят. Следит понемногу полиция, следят люди из поместья пана Скимунта, присматривается к нему и дьячок по своей доброй воле. Эта слежка началась с того времени, когда пан Скимунт передал написанную Лобановичем петицию пану маршалку. В связи с этим созывается специальное совещание, с участием полицмейстера и казачьего офицера.

Маршалок, очень толстый, неповоротливый человек, вроде гиппопотама, негодует:

- Радуйтесь, господа! Под самым носом у нас замышляются события революционного порядка, вернее сказать - революционной категории.

Читает петицию.

- "Гражданин"... Обратите внимание: "Гражданин"! Нет, видите ли, больше мужика, а есть только "граждане", которых обижает, эксплуатирует... и... какая там еще у них терминология?.. "Гражданин" Скимунт! А? Как вам нравится? Такая наглость!

- Беспремерная наглость! Прохвосты! - раздаются голоса.

- Установлено, кто писал это милое послание? - спрашивает казачий офицер.

- Просветитель народа, он же педагог! - иронизирует маршалок. - Сергей Петрович, - обращается он к инспектору, - это ваше сокровище.

Инспектор Булавин конфузится за свое "сокровище".

- Я со своей стороны расследую степень его участия в этом беззаконии, - оправдывается он.

- За это, разумеется, мы его по головке не погладим, - говорит полицмейстер. - Но согласитесь, господа, что его вмешательство имело и свою положительную сторону: эта петиция спасла от разгрома пана Скимунта. И так представил мне это дело лесничий Иван Прокофьич. Он прямо сказал: "Да вы поблагодарите его за эту петицию".

Возмущение против автора петиции заметно утихает. Только один прокурор сохраняет строгость, свойственную его профессии.

- Кто б он ни был и чем бы ни руководствовался, все же он человек опасный, крамольник, это ясно, пройдоха, не лишенный дара юридического крюкотворства, правда наивного. Такие "ходатаи" правительству не нужны.

Тем временем, не дождавшись ответа на петицию, крестьяне созывают новый сход. Считая, что "закон" ими соблюден, они выносят новое постановление - приступить к пользованию затонами, которые по плану принадлежат им.

Человек двадцать крестьян, взвалив невод на сани, выходят к затонам. Медленно, не торопясь принимаются за дело. Прорубают лед и забрасывают невод. Работа идет весело, дружно. Вытаскивают первый невод - еще веселее становится у них на душе. Если дело и дальше так пойдет, они сегодня возвратятся домой с богатым уловом. После полудня у них уже было три бабьи рыбы. А рыба - как на заказ: лини и щуки, да все порядочные. Прямо охота берет ловить еще.

Приготовились забросить невод в новую тоню, размотали его, тянут. Дядька Есып последнюю льдину из проруби вытаскивает, глядь - из-за сухого высокого тростника человек тридцать казаков на конях вылетают! И как подкрались они так ловко, незаметно, дьявол их знает. Раз - и окружили!

- Крамольники! Бунтовщики! Для вас уже царские законы не законы? Своевольничать? Бунтовать?

Строг был казачий офицер.

У дядьки Есыпа с перепугу выпала трубка из зубов в полынью.

- Клади невод в сани! - командует рыбакам офицер.

Мокрый невод и три бадьи улова взвалили на сани. Мрачные, встревоженные и возмущенные такой несправедливостью, плетутся крестьяне под казачьим конвоем. Их ведут берегом Пины, возле Высокого, чтобы все видели их позор и поражение.

Тем временем в школе хозяйничает полиция. Налетела из парка Ивана Прокофьевича и окружила школу. Учеников отпустили, учителя приглашают в его же квартиру.

- Ничего не найдете, - говорит приставу Лобанович.

- Заранее все припрятали? - спрашивает пристав и усмехается.

Порылись немного, а потом приказали учителю одеваться.

- Так бы и говорили сразу!

Лобанович собирается. Сборы его невелики.

Арестованных крестьян вывели на выгон. Сюда сбежались люди, заполнили весь выгон.

- Расходитесь! Расходитесь! - командует полиция и расталкивает толпу.

Аксен Каль молотит на гумне. С цепа срывается било. Аксен поднимает било, выходит во двор, чтобы починить цеп. Услышав на выгоне необычный шум и крики, он бежит туда с цепом в руке. Подходит к "линии оцепления". Казачий офицер рекой разливается, произнося речь-назидание, пересыпая ее "сволочью", "крамольниками" и другими страшными словами.

- Если бы вы так храбро японцев брали в плен, то были бы молодцами, - говорит Аксен казакам.

Офицер поворачивает злое лицо в сторону Аксена.

- Что ты сказал?

Рассвирепел и Каль:

- Сказал, что вас японцы били и гнали, как собак, а вы приехали сюда на безоружных мужиках отыгрываться.

Мгновение - и офицер выхватывает саблю. Высоко взлетел блестящий клинок - и... трах. Офицерская сабля отлетает далеко в сторону, выбитая из рук мужицким цепом. Еще мгновение - и этот же цеп гладко пристает к деликатной офицерской фигуре. Свалился бы офицерик с коня, но казаки поддержали. Остальные начали в толпу с конями кидаться.

- Бери его! Бей! - кричит озверевший от злости офицер.

Аксена бросаются ловить, но он исчезает, словно какой-то злой дух. И никто не знает, как все это произошло. А кто и знает - не говорит.

Толпу разогнали. Несколько человек подмяли лошадьми.

Арестованных крестьян и учителя ведут выгоном, а затем поворачивают налево, на дорогу в Пинск.

Дьячок Ботяновский стоит сбоку. Провожает глазами эту процессию и говорит, обращая свои слова к учителю:

- Да, сосед, ничего нет тайного, что не стало бы явным. И всякую гордыню наказует господь.

Менск, 1926-1927

КНИГА ТРЕТЬЯ НА РОССТАНЯХ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ВЕРХАНЬ

I

Паровоз тронулся с места и поспешил дальше, набирая скорость и оставляя за собой густые клубы дыма. Лобанович постоял минуту, провожая глазами поезд, привезший его в этот тихий уголок, где начнется для него новая жизнь. Промелькнула мысль, что исчезнувший за поворотом железной дороги поезд положил собою рубеж между тем, что было прежде, и тем, что будет впереди.

Как только Лобанович взял свои чемоданчики, чтобы идти с ними на станцию, к нему подбежал подвижной крестьянин средних лет, в заплатанной сермяжке, из-под которой вылезал такой же поношенный колушок. Пытливые серые глаза крестьянина на мгновение остановились на Лобановиче. И выражение лица и вся фигура крестьянина свидетельствовали о том, что он готов оказать услугу хорошему человеку.

- Вам далеко? - спросил он Лобановича.

- В Верхань.

- В Верхань? Тогда пойдем со мной: я живо отвезу вас! - обрадовался крестьянин и, не ожидая согласия, решительно взял чемодан из рук учителя и собрался завладеть и другим.

- Возьмите один, а другой понесу я.

Лобанович был доволен, что все устроилось так быстро, мысль о подводе еще в поезде беспокоила его.

Прошли здание станции, очутились на небольшом дворике, где стояло несколько подвод. Крестьянин живо потрусил к своим саням, взбил солому, усадил учителя, а сам быстро подобрал сено из-под коня, поправил сбрую, взял вожжи, вскочил в сани, вытащил из соломы кнут, взмахнул им, чтобы придать резвости лошадке, и крикнул:

- Но, орел!

Все это он сделал так быстро, что трудно было проследить за его движениями. Видно, торопился он с умыслом, чтобы не дать своему седоку опомниться и не выпустить его из рук.

Лошадка не очень старалась оправдать почетный титул "орла". Она вздохнула по-лошадиному и, медленно ступая, потащила на косогор сани с седоком, его чемоданами в со своим хозяином.

- Вздурдай коня, а то, смотри, разнесет, - крикнул вдогонку другой подводчик, которому не удалось залучить пассажира.

Крестьянин хитро оглянулся.

- Вздурдай свою тещу, - ответил он насмешнику.

Всползая то на один, то на другой сугроб и ныряя в них, сани выехали на ровную и более укатанную дорогу. Худой мышастый конек прибодрился, весело фыркнул и побежал уже по своей охоте.

- И правда, конек - орел, - похвалил Лобанович лошадку.

Учителю хотелось разговаривать со своим подводчиком. Крестьянин быстро повернул голову к седоку. Глаза его прояснились, угрюмость и озабоченность исчезли с лица. Видимо, он также обрадовался случаю поговорить. Понравилось, что седок похвалил коня и удачно вызывает на разговор.

- Вы кто же будете? - приветливо спросил крестьянин.

- Учитель, - ответил Лобанович.

- Учитель? - словно удивился крестьянин и еще внимательнее посмотрел на Лобановича. - Знаете, - сказал он, - я так и подумал: "Наверно, это новый учитель".

- А почему вы так подумали? И -почему новый?
- Как заговорил с вами, так мне в голову и ткнуло. Едете в Верхань, а из Верхани одного учителя, я слышал, забирают. Ну, думаю, наверно, вы на его место.
- А что, разве в Верхани несколько учителей? - слегка удивился Лобанович.
- Два, два, пане учитель! Школа большая, в двух домах помещается, да еще есть квартира для учеников, что приходят из других деревень.
- Вот как? Это для меня новость.

Лобанович не знал, как отнестись к такой новости. Может, хорошо, а может, и нехорошо, что в одной школе два учителя.

Из дальнейшего разговора выяснилось и сколько верст до Верхани, - а их оказалось восемнадцать, - и сколько дядька Ничыпар Кудрик - так назвал себя крестьянин - возьмет за подводу. Дядька Ничыпар оказался человеком покладистым, настолько покладистым, что Лобанович решил накинуть ему еще один рубль сверх уговора, хотя этих рублей у него было не так много, - приятно доставить человеку хоть небольшую радость.

Дорога то поднималась на пригорки, то спускалась в ложбины, открывая перед учителем все новые в новые Картины. Местность эта резко отличалась от полесской равнины, с которой свyksся молодой учитель за годы своего пребывания в Полесье. Но короткий зимний день был хмурым. Неприветливое и холодное небо, сплошь застланное белесыми облаками, низко нависало над просторами земли, придавая им угрюмый вид, накладывая на них печать унылого однообразия. Все это отражалось на настроении учителя. Не радовали взор близкие и далекие крестьянские усадьбы, разбросанные на заснеженных просторах полей то хуторками, то небольшими деревеньками. Неприветливо выглядели заваленные снегом низкие крыши, почерневшие стены хат и окна, плотно выбеленные зимней стужей. Эта стужа, казалось, еще ниже пригибала к земле человеческие жилища. Над хатами кое-где поднимались деревья. Оголенные, лишенные листьев вершины их придавали пейзажу еще большую угрюмость. Лобанович ощущал в сердце тоску о Полесье, о тех образах, что остались далеко позади. Он вспоминал выгоновскую школу, учеников, знакомых крестьян, с которыми он сдружился и расставанье с которыми оказалось таким внезапным и даже трагичным. Счастливая случайность помогла Лобановичу выпутаться из неприятного дела, угрожавшего ему тюрьмой либо высылкой. Начальство само не знало, как отнестись к Лобановичу за написанную им петицию. Может, действительно эта петиция предотвратила разгром панского имения? И учителя отпустили на волю, прочитав ему соответствующую нотацию и ограничившись переводом в другую школу на противоположном краю Беларуси, сказав: "Иди и больше не греш". И вот в эту школу он теперь и едет. А все же интересно, что это за школа и каких людей встретит он на новом месте?

II

Миновав панский двор со старинным парком, с почерневшими от времени строениями, дорога в последний раз спустилась с горки в широкий овраг, заросший мелким ольшаником, пробежала через мостик, под которым протекала небольшая речушка, и снова поспешила вверх на противоположный склон оврага. Здесь на высокой и довольно широкой площадке и нашло себе тихое пристанище село Верхань.

Лобанович внимательно окинул его взглядом. Село растянулось в одну длинную линию, километра на полтора. В одном его конце, здесь же неподалеку, поднимались два школьных здания, а напротив, через улицу, красовался более внушительный и просторный дом волостного правления. Немного в стороне от него стояла простая, но довольно складная церковка в густом венке высоких белых берез.

"А здесь, наверно, весной красиво", - подумал Лобанович.

Дядька Ничыпар Кудрик повернул лошаденку влево и спустя минуту или две остановился перед высоким школьным крыльцом.

Не вылезая из саней, Лобанович достал из кармана четыре рубля - три по уговору и рубль, надбавленный за старание дядьки Ничыпара.

Подводчик снял шапку, поблагодарил учителя.

- Если понадобится подвода, то накажите мне. Живу я на том конце села, первая хата за домом батюшки.

На школьном крыльце они простились.

Дверь школы оказалась незапертой. Небольшой и довольно темный коридорчик отделял классную комнату от квартиры учителя. Лобанович немного удивился царившей здесь тишине. Он поставил чемоданы, а сам осторожно открыл дверь в классную комнату.

Класс был пустой и холодный. Давно не беленные стены носили на себе следы разных повреждений. Штукатурка во многих местах была отбита, из-под нее светились белые квадраты дранки. Географические карты висели где попало и как попало. Карта Европы, потеряв равновесие, наклонилась одним своим краем к самому полу, который напоминал лицо человека, безжалостно изрытое оспой. На полу лежал неровный слой засохшей грязи, принесенной сюда ученическими лаптями, как видно, еще осенью.

Лобанович укоризненно покачал головой и вышел из класса. Напротив классной двери была другая, также незапертая дверь - в учительскую квартиру. Лобанович открыл ее, внес свои чемоданчики и остановился возле порога. Дощатая перегородка разделяла квартиру на две довольно просторные комнатки. В противоположном конце первой из них, напротив двери, стоял стол без скатерти, такой же убогий и неприглядный, как и сама эта комната. На столе и под столом валялись крошки, огрызки селедок, корки хлеба и пробки от бутылок. Две пустые бутылки из-под водки сиротливо ютились в уголке за столом. Некрашенный, давно не мытый пол был весь в пятнах и носил на себе следы разной дряни.

"Куда же я попал?" - мысленно спросил себя Лобанович.

Он подошел к перегородке и толкнул дверь - она с шумом раскрылась. Лобанович увидел деревянную кровать, на которой лежал человек, накрытый с головой дерюгами. Стук распахнутой двери потревожил сон лежащего человека. Он зашевелился, из-под дерюги показалась взлохмаченная черноволосая голова. Лобанович сразу узнал, кому она принадлежит: на кровати лежал местный учитель с громкой фамилией на дворянский лад - Сретун-Сурчик! Он годом раньше Лобановича окончил учительскую семинарию.

Лобанович не думал и не гадал встретиться с ним здесь и быть назначенным на его место. Сретун-Сурчик открыл заспанные глаза, удивленно посмотрел на Лобановича и, узнав его, виновато улыбнулся.

- Ах ты лежебока! - весело крикнул Лобанович, схватил Сретун-Сурчика под мышки, стащил с кровати и поставил на длинные, тонкие ноги.

Хозяин не захотел спасовать перед своим гостем, и они схватились бороться - Сретун-Сурчик в одном белье, Лобанович в зимнем пальто. Гость ловко оторвал хозяина от пола, закружился с ним, потом подставил ему ножку и бухнул его на кровать.

- Ты что же это валяешься до такого часа? Пора вставать, да и школу пора освободить, не то она вся грязью зарастет, - проговорил Лобанович.

- Смотри какой ревизор нашелся! - отозвался Сретун-Сурчик.

- Ревизор не ревизор, а учитель этой школы теперь я.

- Ну, ты еще обожди, - возразил Сретун-Сурчик. - Сход заявление послал в дирекцию, чтобы меня оставили в Верхани.

Лобанович поглядел на него и засмеялся.

- Жди, тетка, Петра - будешь сыр есть! - И спросил: - За что переводят? В крамольники попал?

- Ну, не без этого! - гордо подтвердил Сретун-Сурчик.

- Ну, так вот что я тебе скажу: не тешь себя, хлопче, напрасными надеждами, а лучше потихоньку бери шапку в охапку и выбирайся. Или ты думаешь, мне мила твоя школа?

Если бы это от меня зависело, я тебя и твою школу за десять верст обошел бы. К сожалению, она сейчас моя.

Сретун-Сурчик почувствовал истину в словах Лобановича.

- Да, уж правду сказать, я и проводы вчера устроил. Но все же с нагретым уголком жалко расставаться.

- У кого из нас не было нагретого уголка? - сказал Лобанович. - Ну что ж, будем нагревать новые. Но скажи ты мне: почему у тебя школа такая запущенная? Что-то не видно, чтобы ты ее согрел.

- Революция, брат, - сказал Сретун-Сурчик и махнул рукой.

Он начал выбираться из своего логова и приводить себя в порядок. Лобанович смотрел на него и посмеивался.

- Революция, говоришь? - проговорил он. - Правда, революция сокрушает и сметает все на своем пути, но это не значит, что вокруг нас должны быть грязь и мусор.

Скрипнула дверь, и в квартиру вошел невысокий, слегка рябоватый молодой человек. На его губах, прикрытых рыжеватыми усиками и немного вздернутых к носу, засветилась улыбка. Это был Антипик, другой учитель верханской школы. Говорил он немного в нос. Во время разговора язык его как бы цеплялся за что-то во рту и порой прищелкивал. Если люди придумали, хоть и не точно, как передать на бумаге тот звук, которым человек останавливает лошадь, то гораздо труднее записать прищелкивание языка Ивана Антипика.

"Близкими друзьями с ним не будем", - подумал Лобанович после первого же знакомства с Антипиком. Из разговора с ним Лобанович узнал, что занятия с двумя младшими группами Антипик начал только после зимнего перерыва. Что же касается учеников старшей группы, с которыми занимался Сретун-Сурчик, все они, как сообщил Антипик, убеждены, что в этом году никто из них не будет представлен к выпускным экзаменам.

На другой день Сретун-Сурчик выехал в свою новую школу.

III

Лобановичу запали в память слова Антипика о разговорах, ходивших среди учеников по поводу экзаменов. Он решил приступить к занятиям на третий день. Его сердце болело за учеников, которых волновал вопрос об окончании школы. Он их не знал, и ему хотелось поскорее их увидеть. Но сперва нужно было привести в порядок школу, очистить ее от грязи.

Сторожиha, низенькая, сухонькая, подвижная старуха, познакомилась с новым учителем еще в первый день его приезда. Она вначале украдкой, исподтишка, но очень внимательно разглядывала его. Лобанович обратил внимание на ее озабоченное, невеселое лицо. Видимо, она жалела прежнего учителя, к которому привыкла за три года. Бабка Параска - круглая бобылка, не имела ни мужа, ни семьи, и называла себя "самосейкой". Она не знала, кто ее отец. А мать, родив Параску вне брака, оставила ее сиротой, когда девочке не исполнилось еще и пяти лет. Всю свою безрадостную жизнь прожила Параска у чужих людей. Единственное, что доставалось на ее долю, - это тяжелый труд на других. Работу она любила и работала честно, - иначе, казалось ей, и жить нельзя.

Едва только выехал Сретун-Сурчик, бабка Параска принялась за работу. Наложила дров в печку, подожгла их и завертелась с веником по хате, старательна подметая пол.

- Как засядут, так на всю ночь. Грязи понатаскают, набросают огрызков, а ты жди, пока вынесет их нелегкая из квартиры... - укоризненно ворчала бабка Параска. Видимо, она хотела оправдаться перед новым учителем.

- А мы, бабка, не будем таких свиней в дом пускать, - сказал Лобанович.

Бабка прервала работу, разогнулась. С ее сухого круглого лица сбежали морщинки. Она засмеялась.

- Нельзя, паничок, так говорить: ведь это все-таки люди высокие - паны, паничи, - заметила бабка, но, видно, и сама она склонялась к мысли, что это не люди, а свиньи.

Лобанович отодвинул стол на подметенное место и сел просматривать школьный журнал, те разделы его, где учитель делает записи, чем занимались ученики в каждый час учебного дня. Внимательно ознакомился со списком учеников. На некоторых фамилиях он останавливался. Они вызывали интерес учителя одним своим звучанием, и ему хотелось посмотреть, что же это за человек, носящий такую фамилию. Всего учеников в двух старших группах, с которыми предстояло вести занятия Лобановичу, насчитывалось около пятидесяти. Почти третью часть их составляли девочки. Это порадовало учителя; он хорошо помнил, что в одной его школе на Полесье девочек не было совсем, а в другой они составляли не более десятой части всей массы школьников. Знакомство с классным журналом показало, что школьные программы не выполнены и наполовину, тогда как большая половина года уже осталась позади.

- Вы, паничок, погрейтесь возле печки, а я помою пол, - сказала бабка Параска, придвигая к печке стул.

Лобанович сел напротив печной дверки. Дрова разгорелись и весело потрескивали. От огня шло ласковое тепло.

- Все хорошо, бабка, только как бы нам и в школе пол помыть?

- А вы скажите Пилипу, пускай сходит к старосте, чтобы женщин прислал. Это уже его забота.

- Что ни край, то свой обычай, - сказал учитель и попросил бабку позвать сторожа.

Пилип, человек средних лет, щуплый, вертлявый, говорил тоненьким голоском, часто смеялся суховатым смехом и при каждом удобном случае сводил разговор к одним и тем же словам о "кватэрке" [Кватэрка - мера вина] горелки. Лобановичу бросилось в глаза, что люди, с которыми он здесь встречался, мелкие, худые, заморенные. Как видно, местные крестьяне жили чрезвычайно бедно.

- Ну, Пилип, присядь, погрейся. Поговорим.

Сторож неловко помялся, а затем присел на чурбанчик, на который обычно становилась бабка Параска, чтобы закрыть вьюшку. "Недоростки лезут на подмости", - говорила она в таких случаях.

- Давно работаешь сторожем? - спросил Лобанович.

- Да уже, должно быть, четвертый год, - ответил сторож.

- А сколько платят?

- Э-э, какая там плата! - махнул рукой Пилип. - И на кватэрку горелки не выкроишь.

- Ну, а в чем состоит твоя работа?

- Работы, можно сказать, хватает: дров нарубить, воды натаскать, печки истопить да школу прибрать.

- Однако не видно, чтобы школа была прибрана.

- Верно, не прибрана, - подтвердил Пилип и добавил: - Учителя от нас забирали, так оно все и остановилось. И опять же - прибирай или не прибирай, а грязи натаскают.

- А вот давай попробуем прибрать и будем смотреть, чтобы в школе было чисто. Может, как-нибудь и справимся с этим делом. Как думаешь?

- Подумавши, может, что и придумаешь, - согласился сторож.

- Ну, так вот, первым делом надо снять паутину, в ней еще прошлогодние мухи болтаются. А потом вымыть класс. И сделать это нужно сегодня же. Почему класс не вымыт?

- Женщины очередь перепутали и теперь никак договориться не могут. Вот если бы дать им по чарке, живо зашевелились бы.

- Ты, как вижу, любишь чарки опрокидывать? - любопытствовал учитель.

- А кто их не любит? - вопросом на вопрос ответил Пилип и добавил: - Тот панич, что был перед вами... зайдет, бывало, к нему кто-нибудь, он и говорит мне: "Сходи, Пилип, в монопольку". Ну, раз говорят, значит, надо. А я человек старательный и послушный.

Принесу горелки. Выпивают и меня не обижают. Позовет меня панич и скажет: "Выпей, Пилип, чарку!.." Славный был человек, дай ему бог здоровья! - дипломатично закончил свой рассказ сторож.

- Это очень хорошо, - сказал Лобанович, - что ты человек старательный и послушный. Так давай за работу, а потом уже будем о чарках говорить.

В сенях. Пилип покачал головой и тихонько проговорил:

- Нет, брат, с этим пива не сварить!

Вздыхнув, он пошел выполнять приказ учителя.

Под вечер, когда начинало темнеть, школа была прибрана: пол вымыт, парты вычищены и вытерты, паутина снята, а географические карты приобрели соответствующий вид и заняли на стенах принадлежащее им место. Лобанович тайком послал бабку Параску в монопольку принести "крючок" или "мерзавчик", как называли тогда меру водки, равную сотой части ведра. Когда работа по приведению школы в порядок была окончена, учитель поблагодарил женщин, а сторожа Пилипа позвал к себе. Перелив "мерзавчик" в стакан, он поднес его сторожу. Тот кивнул учителю головой: "Будьте здоровеньки!" - и с наслаждением, не торопясь опорожнил стакан. А когда "мерзавчик" разошелся по его жилам, Пилип убежденно сказал:

- А вы, паничок, мудрей, чем тот учитель, ей-богу!

IV

Вечером того же дня, едва сгустились сумерки, стал пошумливать ветер. Посыпал маленький густой снежок. Белесые зимние тучи низко нависли над омертвелой землей. Ветер крепчал. И небо и земля слились в сплошном вихре снежной пыли. На все голоса гудела за окном вьюга. И нужно было напряженно вслушиваться, чтобы различить отдельные звуки, из которых складывалась эта нестройная музыка. Обнаженные деревья шумели глухо, надрывно. Бешено бились о стены ставни, тоскливо визжали железные петли, на которых они держались. С колокольни доносился слабый, приглушенный голос колоколов. Звонарь-ветер бил языками колоколов об их края, и этот звон, казалось, подавал весть о какой-то беде, о каком-то великом горе. Буря налетала, словно дикий зверь, выскочивший на волю из железной клетки, всей своей тяжестью обрушивалась на крыши строений, с шумом гоняя по ним потоки снега. Под ее напором скрипели стропила и глухо стонали стены. А за углами хат, в тесных закоулках, стоял свист и вой, словно кто-то могучий, страшный и неумолимый шел по земле и приводил в движение все ее струны. А какую жалостную, нескончаемую песню выводила печная труба! В такт этой песне барабанили вьюшки, срываясь со своих мест, а неплотно прилаженные дверцы возле них присоединяли к общему хору и свой многоголосый свист. Что-то жуткое, надрывное слышалось в этой песне, словно это был плач над дорогим покойником.

О ком же и о чем голосит вьюга? Может, о том всенародном взрыве гнева и возмущения против царского самодержавия, помещичьего гнета, о том взрыве, который заливают сейчас кровью восставших при помощи карательных экспедиций, виселиц, расстрелов, узаконенных царем и "святой" церковью?

Эта печальная песня в трубе накладывала свой отпечаток на настроение Лобановича, и мысли его невольно обращались к политическому положению в стране. Выше и выше поднимает голову черная реакция. Жестокая рука царского самодержавия с каждым днем все туже сжимает петлю на шее народа, стремясь уничтожить никогда не угасавший в нем дух свободы, волю к борьбе за свои человеческие права. Уже один тот факт, свидетелем которого был Лобанович еще на Полесье и который глубоко запал ему в память - появление поезда после длительной забастовки железнодорожников, - поколебал его веру в победу революции. Теперь же не подлежало сомнению, что в борьбе с народом брало верх самодержавие. Стоило хотя бы мельком взглянуть на хронику, которая помещалась на страницах тогдашних газет и журналов, на царские приказы, на разные циркуляры,

чтобы убедиться в этом. Все, что хоть в незначительной степени шло от свободы и прогресса, безжалостно уничтожалось царскими сатрапами. А наряду с этим возникали черносотенные монархические союзы. Всплывали такие имена, как Дубровин, Булацаль, Грингмут, Пуришкевич и другие представители человеческого отребья. Им была предоставлена полная свобода в их человеконенавистнической деятельности и агитации за царя, за престол и "исконные устои" царского самодержавия.

А на дворе с еще большей силой бушевала снежная буря. "Не придут завтра ученики", - подумал Лобанович. Он глянул в окно. На улице царил мрак. Еще плотнее стала непроницаемая завеса снега, где все кружилось, металось, ходило ходуном, словно в каком-то сумасшедшем диком танце.

"А что, если отправиться с визитом к писарю? - подумал Лобанович. - Ведь все равно сходить нужно, такая уж повелась традиция. А сейчас время пропадает напрасно. Но стоит ли в такую шальную погоду беспокоить своего соседа? Он, может, заперся так, что к нему и не достучишься. И кто вылезает из дому в такую завируху?"

И все же учитель решил навестить писаря. Интересно посмотреть, что делается на улице, а заодно и свалить одну заботу с плеч.

Бабка Параска руками замахала.

- Куда это вы, паничок, надумали идти в такую непогоду? Или вам надоело жить на свете?

- Я просто хочу посмотреть на метелицу, - ответил учитель.

Не послушался бабки Параски, пошел. Только открыл дверь, как на нее налетел ветер с такой силой, что учитель вынужден был упереться ногами в доски крыльца и натужиться, чтобы не выпустить из рук щеколды и не поехать вместе с дверью. Ветер наседали так упорно, что Лобанович насилу закрыл дверь. Стоять на крыльце было трудно - вот-вот столкнет ветер в сугроб, уже выросший с подветренной стороны крыльца.

Подняв воротник и пригнувшись, Лобанович спустился с крыльца. На улице снегу было мало. Ветер гнал его как по желобу, шлифуя улицу и делая ее скользкой. Не успел учитель опомниться, как ветер подхватил его и понес вдоль улицы. Лобанович присел на корточки, подставив ветру спину, и несколько шагов проехал как на санках. Квартира писаря осталась немного позади. Ветер загнал Лобановича в сугроб, где он нашел наконец опору и остановился. Учитель упрекнул себя за легкомыслие. Он повернул обратно, навстречу ветру, который затруднял дыхание, хлестал снегом по лицу, как веником.

"А я все-таки дойду!" - сказал себе Лобанович и направился в сторону квартиры писаря.

Осыпанный снегом, как мельник мукой, борясь с ветром, порой уступая ему, порой преодолевая его, учитель наконец взобрался на крыльцо волостного правления. Он долго стучал в дверь, но никто не отзывался.

"Либо не слышат, либо думают, что в дом лезет какой-то бродяга". Лобанович постучал еще раз - никаких признаков жизни. Он уже хотел идти обратно, как вдруг стукнула задвижка.

- Кто там? - послышался голос.

- Сосед ваш, учитель.

Сторож впустил учителя в дом, указав ему квартиру писаря. Лобанович снял пальто, стряхнул снег.

Писарь Василькевич сидел в своей заветной комнатке, где он любил оставаться в одиночестве, правда не в полном, - обычно с ним бывала бутылка горелки, которую писарь время от времени подносил к своим губам.

- Рад, рад! - проговорил хозяин, хотя выражение его лица не свидетельствовало о радости.

Писарь, невысокий, умеренно полный мужчина средних лет, имел профессорский вид - строгий, серьезный и даже сердитый. Такой сугубо интеллигентный вид придавала ему, в частности, аккуратно подстриженная борода-лопатка.

- Как же это вы в такую погоду? - спросил писарь, не проявляя никакого интереса к особе учителя.

- Для хорошего соседа разве может служить препятствием плохая погода? - подчеркнуто вежливо и со скрытой насмешкой спросил Лобанович.

Но и это не тронуло писаря. Он сидел мрачный и, казалось, чем-то недовольный.

- А почему вас прислали сюда? - неожиданно спросил писарь.

- Кого-нибудь надо же прислать, чтобы в школе шла работа.

- Работа, - повторил писарь и добавил: - Смотря какая работа. Что-то наши учителя не в меру к народу льнут, сбивают его с правильной дороги, - строго сказал писарь и поднял на учителя свои голубые, довольно красивые глаза.

Не успел Лобанович ответить на слова писаря, как тот вдруг поставил вопрос ребром:

- А вы не из таких?

Злые огоньки загорелись в глазах учителя, но он сдержался и с добродушной улыбкой сказал:

- Я был арестован за то, что льнул, как вы говорите, к народу. Но начальство разобралось и выпустило меня.

Писарь опустил глаза на стол, на котором еще виднелись следы разлитой горелки. Он даже не пригласил соседа на стакан чая. И только потом Лобанович узнал, что в лице каждого молодого человека писарь видел своего личного врага: писарь Василькевич не доверял своей жене.

V

Метель бушевала всю ночь и весь день. Казалось, не будет конца ее лютой силе, ее злобному завыванию. На улице, как и прежде, вихрился снег. Его белая завеса закрывала строения и деревья. Вокруг все гудело, дрожало, выло, визжало. В квартире учителя было холодно. Ветер проникал сквозь окна и стены и разгуливал по комнатам свободно, как хозяин. Под вечер метель стихла. Низкие облака, щедро осыпав землю снегом, поднялись выше. На улице стало светлей, хотя уже приближался вечер. И только теперь глазам открылась картина того, что натворила вьюга. На улице, во дворах возле строений и вдоль заборов лежали горы снега, украшенные самыми причудливыми башенками, карнизами, навесами, какие не смог бы вылепить самый искусный скульптор.

Сторож Пилип не скупясь натопил печки - школа давно не отапливалась, и в ней было холодно, особенно после такого ураганного ветра. Как только рассвело, начали понемногу собираться ученики, но далеко не все пришли в этот день. Никто не явился из соседних деревень и хуторов - дорогу после метели еще не успели проложить. Все же учитель почувствовал некоторое моральное облегчение: он любил свое школьное дело, и его тяготил вынужденный отрыв от школы. Хотя Лобанович обладал уже довольно значительным педагогическим опытом, первая встреча с учениками в новой школе и глубоко интересовала его и немного волновала.

Ученики сидели тихо, не бегали, не дурачились. Видимо, их также занимала и волновала встреча с новым учителем. Интересно, какой у него характер и как он будет к ним относиться?

Лобанович вошел в класс с некоторым опозданием, считая, что могут еще подойти ученики. При появлении учителя дети испуганно встали, не сводя с него глаз. Учитель поздоровался с ними как можно приветливее.

- Садитесь!

Обычно школьный день начинался молитвой. На этот раз учитель отступил от заведенного порядка.

- Ну что ж, прежде всего хочу познакомиться с вами, - сказал он, садясь за стол.

Во время первого знакомства с учениками незаменимую помощь оказывал учителю классный журнал с ученическими списками на каждый месяц. По этим спискам учителя ежедневно проверяли наличие учеников и степень аккуратности посещения школы.

Лобанович по списку читал фамилии учеников третьей группы. Если ученик отсутствовал, учитель ставил пометку "нб", что означало "не был". В этот день таких оказалось большинство. Если же ученик оказывался на месте, то, услышав свою фамилию, он вставал и говорил: "Я!" Учитель всматривался в него, чтобы лучше запомнить, затем коротко расспрашивал, сколько ему лет, которую зиму ходит в школу, сколько времени учился в той или иной группе, чем занимается дома, какой предмет он больше любит. Все эти вопросы имели одну цель - лучше познакомиться с учениками и немного расшевелить их, рассеять их робость. Среди учеников, с которыми занимался Лобанович, внимание учителя обратил на себя Гриша Минич. Услышав свою фамилию, он нерешительно и смущенно встал, пригнулся, держась за парту. Это был белобрысый, худой, высокий и тонкий мальчуган четырнадцати лет. На его лицо блуждала растерянная улыбка. Минич учился во второй группе, но ростом он был самый высокий в школе, и это, видимо, смущало его. К тому же еще Минич страдал недостатком речи - он шепелявил. После короткой беседы - ответов на вопросы учителя, ответов толковых и серьезных, - Минич немного помялся и несмело попросил перевести его в третью группу.

- Почему же не перевел тебя прежний учитель? - спросил Лобанович.

- Я неаккуратно посещал школу и много пропустил занятий.

- А почему пропустил? Почему неаккуратно ходил в школу?

Минич объяснил, что он единственный работник в доме. Отца у него нет, мать долгое время болела, и ему приходилось заниматься разными домашними делами. Теперь у него есть свободное время и можно целиком отдаться учению.

Лобановичу стало жалко этого нескладного, застенчивого и, видимо, способного хлопца. В тоне его просьбы звучала боль человеческой души.

- Ну хорошо, Минич, переведу тебя в третий класс. Будешь стараться, я помогу тебе. А дальше увидим.

Счастливый Минич сел и с видом победителя взглянул на своих товарищей.

Учитель вычеркнул фамилию Минича из списка второй группы и записал его в третью.

Знакомство с учениками и разговоры с ними заняли добрый час времени, после чего был объявлен перерыв.

В первый день Лобанович окончил занятия значительно раньше, чем полагалось. Этот день показал, что учителя ждет большая, напряженная работа, - ведь его ученики много учебных дней потеряли зря и школьную программу усвоили слабо. Но это не путало учителя, настроение его оставалось хорошим, бодрым. То обстоятельство, что он будет иметь дело только с двумя группами, а не с четырьмя, как прежде, поддерживало веру в успех и укрепляло стремление целиком отдаться работе.

За недолгое время своего пребывания на новом месте Лобанович успел довольно хорошо осмотреться, и ему начинало нравиться здесь. Он полюбил и школу и учеников. Теперь и само село Верхань и его окрестности, казалось, выглядели значительно веселее и уютнее.

Лобанович вышел на крыльцо школы. Возле волостного правления стояло несколько подвод. Временами в здание волости проходили люди, видимо по каким-то своим делам. Лобанович вспомнил недавний визит к писарю Василькевичу и оказанный учителю негостеприимный прием. Захотелось побродить где-нибудь в окрестностях села, побыть наедине с самим собой. Но уже вечерело и всюду было много снега. Он отложил прогулку до более удобного времени. Весь вечер он сидел дома, зарывшись в школьные дела.

Бабка Параска относилась к новому хозяину с ласковостью родной матери. Несколько раз заходила она к Лобановичу. Ей приятно было сообщить, как отнеслись к нему ученики, что говорили они об учителе. А затем бабка надумала угостить его особенным ужином. Она начистила чугунок картошки. Когда картошка сварилась, бабка истолкла ее, добавила к ней пшеничной муки и пару яичек. Из этой смеси она делала пирожки и поджаривала их на сковородке. Таких пирожков учителю никогда не приходилось пробовать, он ел их с

большой охотой и хвалил кулинарные способности бабки Параски. Баба вся цвела от удовольствия.

VI

Среди разных забот деревенского учителя, приехавшего в новую школу, немалое место занимал вопрос об отношениях с местной сельской так называемой интеллигенцией. Из опыта прошлых лет, из непосредственного общения с нею Лобанович знал ей цену и не видел в ней ничего привлекательного. Карты, пьяные вечеринки, сплетни, разговоры о женитьбе и разные тайные покушения на холостого человека, имеющие целью сделать его женатым, - все это известная и уже старая для Лобановича история. Посещение писаря Василькевича еще уменьшило в учителе охоту к дальнейшим визитам. Но обойтись без них очень трудно. Ломать установившиеся традиции, особенно в такое время, когда многие учителя зарекомендовали себя людьми с опасным, крамольным образом мыслей, нельзя без риска приобрести славу отщепенца и человека подозрительного.

В селе самой видной фигурой был поп. Обходить его не совсем удобно, тем более что учитель побывал уже у писаря. Это стало известно поповской фамилии, и окольными путями до Лобановича доходили вести, что в поповском доме ждут встречи с новым учителем. Вот почему хочешь не хочешь, а к попу заявиться надо.

В ближайший субботний вечер, после церковной службы, Лобанович направился в противоположный конец села, где среди просторного двора, с огородом и садом, стоял большой и довольно красивый дом здешнего священника Владимира Малевича. Перед домом возвышалось широкое крытое крыльцо с точеными круглыми столбами. Влево от него шла веранда. Здесь в теплые весенние и летние дни совершал свои трапезы отец Владимир. Вся его усадьба напоминала усадьбу землевладельца средней руки. Рассмотреть ее более подробно и оценить так, как она того заслуживала, мешали вечерние сумерки и снег, покрывавший толстым пластом крышу дома и хозяйственные постройки. Сквозь щели закрытых ставней пробивался яркий свет. Лобанович взошел на высокое крыльцо и постучал в дверь. Спустя некоторое время послышались легкие шаги, затем женский голос за дверью спросил:

- Кто там?

- Новый учитель. Я с визитом к бабушке.

Дверь открылась. Молодая, высокая, ладная женщина посторонилась, пропустила учителя и, приветливо улыбнувшись, сказала:

- Заходите.

Лобанович с недоумением взглянул на женщину. Кто она? Попова дочь или служанка? С потолка передней свисала лампа, на стенах виднелись вешалки, а на них полно женского и мужского платья, муфт и шапок.

- Я, кажется, не вовремя пришел? - растерянно проговорил Лобанович.

- Ничего, ничего, - сказала женщина, - снимайте пальто.

Она взяла из рук Лобановича пальто и втиснула его среди одежды, уже висевшей на вешалке.

Молодая женщина оказалась экономкой отца Владимира, и не только экономкой: отец Владимир был не в ладах со старой, толстой, вроде копны сена, матушкой, но все они жили вместе, распределив между собой домашние обязанности и функции.

Пока Лобанович приводил себя в порядок, экономка успела доложить о его приходе. Учитель неловко переступил порог и смущенно остановился: в столовой за длинным столом сидело человек двадцать незнакомых людей разного пола и возраста. Но Лобановичу не дали времени осмотреться. Перед его глазами смутно промелькнули только две фигуры - дебелого бородатого отца Владимира и писаря Василькевича. Растерянный визитер больше ничего не увидел - к нему живо подбежал старший сын отца Владимира, Виктор, низкорослый, коренастый парень лет двадцати. Как самого лучшего

друга, которого он не видел долгие годы, Виктор крепко обнял за шею нового гостя и начал его целовать. А в это время возле них уже появилась переросшая девичий век сестра Виктора Дуня. Она оттолкнула Виктора и тоже начала бурно выражать свои чувства, а затем взяла учителя под руку и повела знакомить с гостями. При этом она говорила:

- У нас попросту, по-приятельски.

- Сюда, сюда води его! - скомандовал отец Владимир.

Лобанович подошел к нему. И не успел открыть рта, как батюшка, покачнувшись, широко развел руки, обнял гостя и прилип к нему мягкими, волосатыми губами, целуясь с ним, как на пасху. От отца Владимира несло водкой, как из винного погреба. Обойти гостей отец Владимир учителю не дал.

- Садись тут, - указал он Лобановичу место возле себя и добавил, обращаясь к гостям: - Обнюхаетесь с ним потом.

У отца Владимира был свой излюбленный лексикон. Он часто употреблял слова, которые шли вразрез не только с уставом святой церкви, но и с самой элементарной цензурой. Богослужения он всегда справлял "под мухой".

- Пьешь горелку? - спросил он Лобановича.

- С духовными особами горелка пьется вкусно. Не знаю только, какой философ сказал это, - проговорил Лобанович.

- Молодец! - засмеялся отец Владимир. - Духовные особы по этой части маху не дают.

В подтверждение своих слов он затянул басом:

Отец наш благочинный
Пропил тулуп овчинный
И ножик перочинный, -
Омерзительно!

Пропев этот куплет, отец Владимир неожиданно обратился к Лобановичу:

- Покажи мне свои глаза!

Посмотрев учителю в глаза, батюшка заключил:

- Глаза как глаза! А вот писарь уверял, что в твоих глазах революция горит.

Писарь беспокойно задвигался на стуле и злобно взглянул на отца Владимира.

- Не подобает батюшке сплетнями заниматься, - заметил он.

Батюшка только засмеялся в свою густую бороду и тихо проговорил Лобановичу:

- Если у тебя есть нелегальная литература, носи ее мне. Спрячу под престол - никакой черт не доберется до нее.

Отец Владимир был уже изрядно пьян. Он вдруг замолчал, помрачнел и тотчас же поднялся с места. Не сказав больше ни слова, он, шатаясь, направился в свою опочивальню. Его широкая, медвежья спина неуклюже покачивалась. Проводить батюшку пошла экономка. На его уход никто не обратил внимания - так поступал он не впервые. Гости даже вздохнули с облегчением. Только писарь оставался надутым и угрюмым. Прямо перед ним за столом сидела его жена Анна Григорьевна, боясь поднять глаза на кого-нибудь из молодых людей. Это была красивая женщина, немного напоминавшая червонную даму. Все время писарь не спускал с нее глаз, и ни одно ее движение не ускользало от его внимания. Вскоре и он поднялся из-за стола, простился кое с кем из гостей, забрал свою жену, как ни упрашивала его Дуня оставить ее здесь, и пошел домой. За писарем поднялись и другие пожилые гости. Это были мелкие соседние землевладельцы, с которыми Лобановичу не довелось ни познакомиться, ни встретиться когда-либо в дальнейшем. Неловко и неудобно чувствовал он себя здесь. Собрался идти домой, но белобрыся, курносая Дуня, вылитая мать-попадья, категорически запротестовала. К ней присоединились Виктор и Савка, его младший брат, долговязый и долгоносый парень, не похожий ни на попа, ни на попадью, и сама попадья.

- Куда вам торопиться? - говорила матушка. - Дети плачут у вас дома, что ли? Погуляйте, повеселитесь. Вон какие девушки здесь, словно мак на грядках.

На части разрывалась Дуня, стараясь создать атмосферу веселья и втянуть в нее малознакомого нового учителя. На вечере осталась только молодежь. Среди барышень была даже одна из пришедшей в упадок дворянской семьи, довольно красивая девушка Вера Ижицкая. Лобанович украдкой наблюдал за ней. Она сидела тихо, сдержанно, внимательно присматривалась ко всему, что происходило вокруг. Слегка прищуренные темно-серые глаза ее порой становились задумчивыми, - казалось, она вспоминала что-то и мысленно переносилась в другую среду. "Каким образом очутилась она здесь?" - думал Лобанович. Он вспомнил одного слущкого извозчика, имевшего княжеский титул, и в критических случаях козырявшего им.

Дуня завела хриплый граммофон, затем заставила петь Виктора. У него был неплохой голос. Очень чувствительно спел он надрывный романс: "Отойди, не гляди, скройся с глаз ты моих..." Слова романса и исполнение производили гнетущее впечатление; причину этого Лобанович нашел не сразу. И слова и мелодия вызывали ощущение бесперспективности, распада жизни тогдашнего общества. "А тебя с красотой продадут, продадут!" Все, кто был здесь, особенно девушки, и в том числе Ижицкая, внимательно слушали пенис Виктора и порой тяжело вздыхали.

Лобанович сидел, словно связанный, и не испытывал никакого удовольствия. Его замкнутость и скованность бросались всем в глаза и говорили не в его пользу.

Вечер закончился играми. Сели играть в фанты. Было условлено, что тот, кто проштрафится, должен по своему выбору поцеловать кого-нибудь из присутствующих. Если проштрафится юноша, он должен выбрать девушку, и наоборот. Самым интересным в игре и был этот момент. Охотников проштрафиться нашлось немало. Проштрафилась и дворянка. С лукавой улыбкой вышла она в круг. Крадучись, как кошка, обвела взглядом парней и подошла к Лобановичу. Бедный учитель смутился, чем и вызвал дружный смех и аплодисменты всей компании. "Лучше было бы поцеловаться с глазу на глаз", - подумал Лобанович, но высказать этого не посмел.

С облегчением вздохнул он, выйдя наконец за порог дома отца Владимира. Веру Ижицкую вспоминал он часто, но встретиться с нею ему больше не пришлось.

VII

Работа в школе наладилась, вошла в свою колею.

После школ, в которых приходилось вести уроки с четырьмя группами, занятия с двумя показались Лобановичу чрезвычайно легкими. Вдвое больше внимания он мог сейчас отдавать каждой группе. Недели через две Лобанович отобрал из старшей группы четырнадцать учеников - девять мальчиков и пять девочек, которых решил представить к выпускным экзаменам. Среди представленных к экзаменам оказался и Минич. Какая это была для него радость и гордость! Он имел отличные способности и был необычайно старательным. Однажды во время занятий Лобанович заметил, что Минич нет-нет да и закроет глаза и клюнет носом в парту. Сон одолевал мальчика. Наконец Минич уснул. Учитель подошел и тронул его за плечо.

- Что это ты, Минич, спишь на уроке?

Минич испуганно встрепенулся. Виноватая улыбка скользнула по его губам. Ученики засмеялись.

- Я не спал всю ночь, - прошепелявил Минич.

- Почему же ты не спал? - заинтересовался учитель.

- Я учил историю, - ответил мальчик.

- И много же ты выучил за ночь?

- Всю прошел.

- И теперь ты ее знаешь? - допытывался учитель.

- Знаю, - уверенно подтвердил Минич.

Лобанович удивился, когда на многочисленные заданные им вопросы последовали точные и обстоятельные ответы.

- Молодец! - похвалил мальчугана учитель.

Минич стоял довольный и гордый. Ученикам стало неловко за свой пустой и необоснованный смех над товарищем.

- Теперь ты можешь посмеяться над ними, - сказал Лобанович мальчику и добавил: - После обеда не приходи в школу, отоспись.

- Мне уже не хочется спать, - проговорил счастливый Минич.

Целые дни, с утра до вечера, отдавал Лобанович школе. Он испытывал большое моральное удовлетворение - ученики занимались дружно, старательно и делали значительные успехи. Особенно много внимания уделял он четырнадцати выделенным из старшей группы ученикам, готовя их к экзаменам. Когда дни заметно увеличились, учитель стал созывать выпускников после уроков и заниматься с ними отдельно. Это были самые лучшие часы школьного обучения и для учителя и для его учеников. Здесь уже не соблюдался обычный строгий распорядок, обязательный, когда все дети были в сборе. Лобанович часто выходил за рамки программы. Ему хотелось пробудить пылкий ум своих воспитанников, шире открыть им глаза на мир и научить их критически относиться к жизни, к своим общественным обязанностям. Обычные задачи, диктовки, грамматика с головоломной буквой "ять" часто заменялись чтением художественных произведений русской классической литературы, знакомством с биографиями выдающихся людей, разбором тех или иных произведений. Учитель стремился вызвать у своих учеников искренний интерес к тому, о чем он говорил или читал. Если среди ребят выделялся своими способностями Минич, то среди девочек самой способной была Лида Муравская. Лида и ее младший брат Коля, также представленный к экзаменам, жили с матерью, крещеной еврейкой, на хуторе, километрах в шести от школы. Их отец, телеграфист, умер года три назад, когда Коле исполнилось девять, а Лиде одиннадцать лет. Брат и сестра жили дружно. Лида не спускала с брата глаз и не давала ему расшалиться в школе, и Коля слушался ее. Вообще Лида пользовалась уважением не только со стороны подруг, но и со стороны мальчишек. У нее были природный такт и умение держать себя. Ее авторитету в значительной степени способствовали успехи в учении, а также и красивое лицо, характер и весь ее облик. Старшие ученики начинали засматриваться на Лиду, а один из них, Думитрашка, любил ее первой, для него самого еще не ясной любовью. Лобановичу со стороны было виднее это робкое пробуждение мальчишеского чувства. Один раз он даже заметил:

- Думитрашка! Ты больше смотри в книгу, чем на Лиду.

Пойманный с поличным, Думитрашка смутился. Ученики засмеялись, а некоторые из них также опустили глаза. Лида покраснела. В тот день Лобанович долго раздумывал, правильно ли он поступил, сделав Думитрашке такое замечание. Казалось, ошибки он здесь не допустил, и в то же время его брало сомнение: ведь и сам он не относился безразлично к Лиде Муравской...

Налаженное течение школьных занятий неожиданным образом нарушил Иван Антипик. Встревоженный, беспокойный пришел он однажды к Лобановичу. Учителя обычно встречались редко. У каждого были своя жизнь и свой круг интересов. Антипик почти никогда не оставался дома после занятий. За широким оврагом, где рос ольшаник и протекала небольшая речушка, на горке раскинулась усадьба пана Вансовского. В имении жила экономка с дочерью Анной Карловной. К Анне Карловне и зачастил Иван Антипик. Сегодня он был так взволнован, что от волнения его язык прищелкивал значительно чаще, чем обычно, и слова срывались с него с большим трудом.

- Что случилось, Иван? - сочувственно спросил Лобанович.

Антипик немного успокоился.

- "Вихри враждебные веют над нами"! - трагическим тоном ответил он.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Анну Карловну имеет на примете и здешний становой пристав. Ему не нравится, что Антипик зачастил к Анне Карловне, и он хочет приписать учителю некоторую долю крамолы. Об этом Антипик узнал от Анны Карловны и ее матери. Угроза пристава легла тяжелым камнем на плечи Антипика. Единственный способ спастись от беды - исчезнуть на некоторое время отсюда. Но как и куда исчезнуть? Как найти причину исчезновения? А самое главное - как оставить школу?

- Но, может быть, все это сплетни? - успокаивал его Лобанович.

Язык Ивана Антипика снова защелкал. Антипик так был убежден в грозящей ему со стороны пристава беде, что ничего и слышать не хотел.

Лобанович посмотрел на учителя, - может, и правда, всякое бывает. Ему стало жалко коллегу.

- Так вот что, - посоветовал Лобанович. - Отправь тем или иным способом себе самому телеграмму такого содержания: "Немедленно приезжай, отец тяжело болен". Вот тебе и будет предлог выехать. А своих учеников передай мне, я позанимаюсь с ними до твоего возвращения.

Лицо Антипика прояснилось, совет и помощь Лобановича пришлись ему по сердцу.

На третий день он снова пришел к Лобановичу. Тот взглянул на гостя и встревожился - Антипик стоял угрюмый, потемневший. У него был вид человека, с которым стряслось несчастье.

- Вот пришла телеграмма, - упавшим голосом проговорил Антипик.

Лобанович взял листок и прочитал: "Приезжай скорее, отец тяжело болен".

- Почему же ты загоревал? - спросил он.

Язык Антипика прищелкнул.

- Как же не печалиться, если отец так болен?

- Так мы же сами эту телеграмму придумали, чудак ты!

Лицо Антипика продолжало оставаться печальным и растерянным.

- А может, и в самом деле отец при смерти? - ответил он.

Для Лобановича так и осталось загадкой - то ли Антипик разыгрывал комедию, то ли действительно испугался своей телеграммы?

В тот же день Антипик уехал, а его ученики со своими партами перебрались в класс Лобановича. Людно и тесно стало в переполненном классе. От спертого, тяжелого воздуха болела голова. Приходилось настежь открывать дверь. На дворе стояла весенняя погода. В открытую дверь залетела однажды в класс какая-то маленькая птичка. Она перелетела комнату и опустилась на подоконник. Дети бросились ловить ее. Лобанович прикрикнул на них. Когда он сам подошел к окну, птичка вдруг обвьяла и бочком легла на подоконник. Лобанович взял обомлевшую птичку и вынес на свежий воздух. Через минуту она очнулась, отдышалась, расправила крылышки и порхнула с ладони учителя в свежий весенний воздух.

VIII

В начале весны 1906 года по всей царской России шла подготовка к выборам в первую Государственную думу. Собственно, это была не первая, а вторая дума, - первая, булыгинская, так и не появилась на свет. Государственная дума, состряпанная по рецепту Витте, и явилась фактически первой, той думой, которая все же была выбрана. Царское правительство и вся его самодержавно-полицейская система пришли в движение. Писались и рассылались царские "повеления", сенатские разъяснения и разные предписания губернаторов и генерал-губернаторов. Все они преследовали одну цель - обеспечить избрание послушной думы, которая своей деятельностью укрепила бы поколебленный революцией царский строй. Все, что было живого и прогрессивного в стране, истреблялось, загонялось в подполье, высылалось в далекую Сибирь. Газеты изо дня в день сообщали о военно-полевых судах, расстрелах, арестах, ссылке на каторжные

работы, о запрещении газет и журналов. В связи со всеми этими репрессиями в то время широкое распространение получили такие стихи:

Наказана ты, Русь, всесильным роком,
Как некогда священный Валаам:
Заграждены уста твоим пророкам,
И слово вольное дано твоим ослам.

Но из той же газетной хроники явствовало, что народные, революционные силы не сложили оружия: то здесь, то там происходили восстания, даже в военных частях; не прекращались забастовки. То в одном, то в другом городе убивали представителей царской власти, начиная от губернаторов и кончая околоточными и городовыми. Производилась экспроприация банков и почт. И тем не менее революция шла на убыль. Верх брала черная реакция. В таких условиях происходили выборы в Государственную Думу.

Какой же будет дума? Чего можно ожидать от нее? Эти вопросы волновали многих. Ход выборов показывал, что верх берет в них так называемая конституционно-демократическая или кадетская партия, умеренно-оппозиционная партия помещиков и либеральной буржуазии. Большевики участия в выборах не принимали - они объявили бойкот Государственной думе.

Кадеты умели пустить пыль в глаза. Многие наивные, не искушенные в политике люди сочувствовали им, считали их большими оппозиционерами и много надежд возлагали на них. Этому в значительной мере способствовало и то обстоятельство, что царь и его окружение косо смотрели на кадетов, не понимая по своему умственному убожеству, что большого лиха кадеты причинить им не хотели, а укрепить их позиции могли бы. Не понимал этого и верханский писарь Василь Васильевич. В редкие минуты трезвого просветления читал он черносотенные листки князя Мещерского, который громил кадетов как врагов царя и России. Писарь читал и вместе с князем восставал против кадетов, сурово хмурил брови и сердито качал головой. Обычно он выходил в такие минуты на крыльцо, садился на скамеечку с газетой в руках. Весна в тот год выдалась ранняя и ласковая. Васильевичу приятно было видеть, что люди, проходя по улице, почтительно кланялись ему и, вероятно, думали, какой ученый человек их волостной писарь. И Васильевич придавал своему лицу самое серьезное выражение. Он не замечал, что его сосед Лобанович, притаившись в своей комнатке, внимательно присматривается к нему, следит за каждым его движением, за каждой переменной выражения его лица и тихонько посмеивается. Лобанович знает черносотенную душу писаря Васильевича, знает, как не любит он кадетов, - о ненависти писаря к социал-демократам и говорить не приходится. Однако пассивного наблюдения Лобановичу мало, ему хочется поговорить с писарем и подразнить его кадетами.

Однажды Лобанович тихонько выбрался во двор через кухню, чтобы писарь не догадался, что за ним наблюдали, зашел издали на улицу и тогда уже направился в сторону волости. А писарь сидел все в той же позе необычайно серьезного, озабоченного человека, словно он решал важнейшие, насущные вопросы своего времени. Не доходя до крыльца, Лобанович замедлил шаг, остановился, сделал вид, будто он случайно встретил здесь писаря, и как можно приветливее поздоровался с ним:

- Добрый вечер, Василий Миронович!

Васильевич оторвал глаза от листка князя Мещерского, взглянул на Лобановича. Во взгляде писаря не отразилось ни вежливого удивления, ни деланной радости: Васильевич глядел на своего соседа как на молокосога, с которым ему, писарю, водить компанию не к лицу. Тем временем Лобанович был уже на крыльце и протягивал писарю руку.

- Что хорошего слышно, Василий Миронович?

- Да что же тут слышать? Небось сами газеты читаете.

- Что газеты? - ответил Лобанович. - Каждая пишет на свой лад. А вот как вы смотрите на то, что кадеты берут верх на выборах?

В глазах писаря загорелись злые огоньки. Глянул вниз, на крыльцо, а затем на Лобановича и сердито сказал:

- Берут верх? Обождите, придет время - сядут верхом и на кадетов и погонят их пастись в Сибирь.

- А за что гнать их? - спросил Лобанович. - Ведь они против самодержавного строя в России не идут, признают монархию, святую церковь. Требуют, правда, кое-каких реформ. Но кто теперь не стоит за реформы? Министры за реформы, октябристы за реформы. Князь Мещерский тоже добивается реформ. А чего домогаются кадеты? Наделить безземельных и малоземельных крестьян землей, да и то за деньги, чтобы помещиков не обидеть; отменить смертную казнь, амнистировать высланных и осужденных за политику...

- Преступники, убийцы будут грабить, убивать честных, преданных государю людей - и их амнистировать, для них отменить смертную казнь?! - вскипел писарь и даже подскочил. - Да этих ваших кадетов вешать надо! В Сибирь их всех!

"Наступил писарю на мозоль", - весело подумал Лобанович, а вслух проговорил серьезно и даже немного обиженно:

- Откуда вы взяли, Василий Миронович, что кадеты "мои"? Социал-демократы и эсеры, - продолжал учитель, - также не любят кадетов, так что вы, Василий Миронович, в данном случае стоите на одной с ними почве.

Писарь с ненавистью глянул на Лобановича: шутит он, смеется над ним или говорит серьезно?

- У меня нет ничего общего с этими отщепенцами, раскольниками, слугами сатаны! И я прошу вас не говорить мне такого кощунства! - закричал он и снова вскочил со скамейки. Лобанович сделал вид, будто ему очень неприятно, что он довел соседа до такого состояния.

- Простите, Василий Миронович, что огорчил вас. Но из-за чего, собственно, здесь возмущаться, портить себе нервы? Вы же, Василий Миронович, если говорить правду, ей-богу, даже с виду похожи на кадета: такая же профессорская внешность, такая же борода. Ну, в самом деле можно подумать, что вы родной брат кадета Шингарева!

Писарь не мог больше слушать, резко сорвался с места, порывисто открыл дверь, со злостью хлопнул ею и исчез где-то в своих апартаментах. Лобанович с минуту посидел еще на скамейке один.

"Не переборщил ли я?" - спросил он себя и медленно направился в сторону леса, что начинался сразу за кладбищем.

IX

Очистилась от снега земля, прошумели ручьи и реки и снова вошли в свои берега. Свежей, пахучей травкой зазеленели дороги и стежки в поле. Помолодели рощи и леса. Тысячи разноголосых птишек наполнили воздух свистом, щебетом и пением. Везде гомонила обновленная, молодая жизнь. Новое и всякий раз неясное и чарующее чувство простора и свободы волновало сердца людей. Хотелось до конца слиться с этой обновленной жизнью и полной грудью пить ее сладость.

Совсем иной вид имели теперь верханские околицы. Они посветлели, повеселели и стали, казалось, шире, просторнее.

Между зданиями волостного правления и школы пролегала широкая дорога. Миновав церковь в зеленом венке пышных берез, она шла мимо верханского кладбища и сразу же исчезала в густом лесу. Эта дорога, кладбище и лес уже не раз притягивали внимание учителя и влекли его к себе. И вот однажды в свободную минуту собрался он в поход полюбоваться окрестностями Верхани.

Выйдя из школы, Лобанович повернул в сторону леса, сосредоточенно-молчаливого, задумчивого. Последние хаты и заборы возле них остались позади. Пустынная сельская околица, объятые тишиной и покоем просторы неба и земли приветливо приняли учителя в свое лоно. Пройдя еще несколько шагов, он остановился, окинул взглядом бедные верханские хаты. На фоне обновленной и помолодевшей земли они выглядели еще более убогими и заброшенными. Старые соломенные крыши сели, расползлись, выставляя напоказ свои прогнившие ребра, зияя темными провалами.

Чувство грусти и обиды за крестьянство поднялось в груди у молодого учителя. Он хорошо знал, почему такими убогими и жалкими были крестьянские жилища, такими узкими и запущенными полоски крестьянской земли, почему такими хилыми, изнуренными выглядели местные крестьяне. В волостном правлении он поинтересовался, сколько всего числится земли в Верханской волости и как распределена она среди населения. На долю крестьянских наделов приходилось пять тысяч семьсот сорок десятин, а владения помещиков и крупных кулаков составляли двадцать семь тысяч триста пятьдесят десятин. Эти цифры о многом говорили Лобановичу.

Учитель двинулся дальше, поравнялся с кладбищем, сделал еще несколько десятков шагов. От широкой, хорошо укатанной дороги, по которой он шел, отделялась еле приметная тропинка. Она вела на кладбище. По этой тропинке и пошел Лобанович. Вскоре он очутился на небольшой ровной площадке, заросшей кустарником, уставленной деревянными крестами, где новыми, а где совсем истлевшими от времени. Грустные мысли навевало это заброшенное и одинокое деревенское кладбище. Только неугомонные пташки нарушали немую тишину последнего печального пристанища вечно хлопотливых, беспокойных людей. Вместо ограды кладбище окружал когда-то ров с довольно высоким валом. Теперь этот вал осыпался, зарос травой, кустами ивняка и калины.

Но какая здесь тишина! Казалось, само кладбище - эти размытые водой холмики земли, эти каменные, грубо отесанные плиты с выцветшими надписями и печально склоненные кресты и крестики охраняли покой тех, кто похоронен здесь. Лобанович ходил по кладбищу, останавливался возле крестов, на которых еще можно было прочесть незамысловатые надписи: фамилии покойников, даты их рождения и смерти, либо просто сколько прожили они на свете. Встречались здесь и знакомые учителю фамилии, такие, как Думитрашка, Минич, Боровой, Казенич и другие. Не нужно теперь им ни земли, ни хлеба, ни Государственной думы, на которую простодушные люди возлагают надежды, не принесет ли она им какого-нибудь облегчения. Жалость к покойникам и к тем, кто остался еще жить до срока на земле, и в том числе к себе самому, охватила учителя. Он вспомнил прочитанное где-то в поповской газете стихотворение о кладбище и о смерти, которая всех уравнивает. В стихотворении были приблизительно такие строчки:

Сошлись здесь знатность с простотою.

Смешались рубища с парчою...

"Обман все это, - подумал Лобанович, - "знатность" и после смерти старается отмежеваться от "простоты" и, не желая удовлетвориться обычным кладбищем, строит себе фамильные склепы. Даже когда умрет поп и того хоронят на паперти, возле церкви либо где-нибудь на отшибе, лишь бы только не смешать с "простотою".

Медленно проходя среди могил, учитель приближался к концу кладбища, где пышно разрослись никем не сажанные кусты и бушевала молодая трава. Здесь было еще глуше и тише.

"Вот где можно скрыться от суеты и шума и поразмыслить о жизни, о всех ее правдах и неправдах", - подумал Лобанович и направился в заросли.

Вдруг до его слуха долетел приглушенный говор из глубины кустарника. Лобанович остановился и начал невольно прислушиваться. Отдельные слова разобрать было трудно. Неясный, тайный говор сменялся порой коротким, прерывистым молодым женским

смехом и не очень решительными протестами. В мужском голосе, также прерывистом, слышались волнение, мольба и настойчивость.

- Я же тебя люблю, люблю! - с глубоким жаром говорил сдавленный мужской голос.

- Все вы любите, пока не добьетесь своего, - серьезно ответил женский голос.

Спустя мгновение говор затих. Влюбленная пара обнималась и целовалась. До слуха учителя доносились только глубокие вздохи и поцелуи, долгие и хмельные, как крепкое вино. Лобанович не знал, как вести себя. Лучше всего, подумалось ему в первую минуту, тихонько уйти отсюда и ничем не показать влюбленным, что имеется свидетель их ласк. Но кто они такие? Кто он и кто она?.. А зачем ему знать это? Зачем становиться помехой на дороге жизни, молодости? Учителю припомнились заключительные строчки пушкинской элегии: "Брожу ли я вдоль улиц шумных":

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Казалось, ничего лучшего и придумать нельзя, что так соответствовало бы всей этой жизненной ситуации на кладбище.

Лобанович хотел уже потихоньку отступить, незаметно податься назад, чтобы не мешать людям. Но в момент самых пылких признаний в любви Лобанович, поддаваясь какому-то непростительному мальчишескому чувству, вдруг громко затянул: "Исайя, ликуй!" - слова из песни, которую поют в церкви при венчании. Почему Исайя должен здесь ликовать, учитель и сам не знал, но молодых влюбленных, - а может, они были и немолодые, - разглядеть ему не удалось: он сильно перепугал их. Лобанович только на один короткий миг увидел фигуру женщины. Она закрыла голову шарфом и ящерицей шмыгнула в кусты. Так же быстро исчез и кавалер, метнувшись в другую сторону.

Х

Вскоре после пасхи, на пасхальной неделе, Лобанович получил от инспектора народных училищ предписание - представить свидетельство от священника местной церкви о том, что учитель исповедовался и причащался "святых тайн". Такое предписание само по себе было оскорбительным: кому какое дело до того, грешный ты или святой? На кой черт она, эта начальническая опека? Начальство, как видно, не верит тебе, следит за тобой. Но хуже всего было то, что Лобанович к исповеди не ходил, "святых тайн" не причащался. Что же написать инспектору? Сделать вид, что никакого предписания он не получал, и ничего не ответить инспектору нельзя: инспекторская бумага занесена волею в журнал "исходящих". Об этом позаботился писарь Василькевич. Значит, отделаться молчанием не удастся. Как же быть? Сезон исповедания прошел.

В памяти Лобановича осталась последняя исповедь еще у отца Николая. Это была простая формальность. Тогда неловко чувствовали себя и поп и учитель - ведь они хорошо знали друг друга. Отец Николай накрыл Лобановича епитрахилью - поповским фартучком. На аналойчике лежал позолоченный крест. Несколько минут поп молчал, видимо только для того, чтобы продлить процесс исповеди.

- Грешен? - еще немного выждав, спросил поп.

- Грешен, отец Николай, - вздохнув, ответил Лобанович.

- Все мы грешные, один бог без греха, - заметил отец Николай и добавил: - Но покаяние снимает грех... Каешься в грехах?

- Каюсь.

Отец Николай еще немного помолчал.

- Прощаю и разрешаю... Целуй крест!

На этом и кончилась исповедь.

Как же выкрутиться из нынешнего положения? И почему инспектору вдруг потребовалось свидетельство как раз тогда, когда учитель на исповеди не был?.. Эге! Да это писарь Василькевич подложил ему такую свинью! Учитель не сомневался в справедливости своей догадки, хотя подтвердить ее ничем не мог. Мир не перевернулся и революция не произошла оттого, что он, Лобанович, к исповеди не пошел, а хлопот он себе нажил. "Оказывается, не приходится уклоняться от божеских и человеческих обязанностей", - иронизируя над самим собой, думал Лобанович. Остается одно - обратиться к отцу Владимиру, другого пути нет. Захватив предписание инспектора, Лобанович направился на другой конец села, к поповской усадьбе.

Отец Владимир, экономка, Виктор и Савка сидели за столом на веранде. Они только что пообедали. Экономка сразу же принялась убирать пустые тарелки. На столе оставалась одна только довольно вместительная чарка с невыпитой водкой.

- Опаздываешь, - заметил батюшка и приветливо поздоровался. Он уже был немного "под мухой".

- К вам я, отец Владимир, как грешник, которому раскаяние не дает покоя, - торжественно проговорил учитель. Отец Владимир порой уважал такой возвышенный стиль.

- А если грешник, то выпей эту чарку, - ответил батюшка и поднес учителю водку.

Лобанович почувствовал, что ему на руку веселое настроение батюшки.

- За ваше здоровье, отец Владимир! - сказал он, взяв чарку, и тут же выпил ее до дна.

На мгновение он остолбенел. У него захватило дыхание, едва не полезли на лоб глаза - в чарке был чистый спирт.

- Охо-хо! - наконец отдышался учитель.

А отец Владимир весело хохотал. От смеха слегка колыхался его живот под черной рясой.

- Ой, отец Владимир, чуть на тот свет не отправили меня без покаяния! - проговорил Лобанович, вытирая глаза.

- А в чем тебе каяться? - спросил батюшка.

Вместо ответа учитель вытащил из кармана бумажку и протянул ее отцу Владимиру. Тот молча, с серьезным видом начал читать инспекторское предписание о присылке свидетельства, которое подтверждало бы, что учитель исповедовался и причащался. Лобанович не без тревоги следил за выражением лица священника. Прочитав предписание, отец Владимир с неопределенной улыбкой взглянул на Лобановича.

- Дурак! - презрительно проговорил он.

По выражению лица батюшки и по тону его голоса учитель понял, что "дурака" отец Владимир адресует инспектору.

- Вишь, он какой, больше, чем я, заботится о спасении твоей души! - проговорил священник.

На веранде теперь, кроме учителя и отца Владимира, никого не было.

- Побудь здесь, а я сейчас, - сказал батя и. решительно направился в глубь своих апартаментов.

Спустя несколько минут он вернулся с увесистой книгой, напоминавшей с виду евангелие, с листом бумаги, чернильницей, ручкой и церковной печатью. Все это он молча положил и поставил на стол. Учитель с недоумением посматривал на батюшку, а тот некоторое время избегал глядеть на Лобановича. Наконец отец Владимир поднял глаза. Веселая и хитрая ухмылка пробежала по его мягким губам. Он молча пододвинул к учителю книгу с золотым тиснением, так похожую на евангелие.

- Вот смотри, - сказал отец Владимир. - Вероятно, ты подумал, что это евангелие? Между тем это том пушкинских произведений.

Батюшка минуту помолчал. В глазах у него блуждал веселый смех. Учитель смотрел на него и никак не мог догадаться, куда он гнет.

- В тысяча восемьсот девяносто четвертом году, - начал отец Владимир, - приводили народ к присяге новому царю, ныне не совсем счастливо царствующему Николаю

Второму. Несколько мужичков из моего прихода остались без присяги. Вот и приходят они ко мне на квартиру. Так и так, не управились, видите, присягнуть государю. По церковному чину к присяге можно приводить и дома - на кресте и на евангелии. Крест у попа всегда на груди, а вот евангелия на ту пору дома не оказалось. Нужно было идти в церковь, а церковь на другом конце села. Как тут быть? Выручил меня вот этот том Пушкина. Положил я на него крест и привел своих мужиков к присяге... Что, здорово?

Отец Владимир захохотал, а затем добавил:

- Все это одна формальность.

Он сел за стол, взял лист бумаги, положил его на "Русское слово" и настроил учителю свидетельство, которого добивался от него инспектор, подписал, а подпись скрепил церковной печатью.

- Ну вот и все готово! Посылай своему опекуну и успокой его совесть.

- Хороший вы и умный человек, отец Владимир! Дай боже больше таких!

Довольный и радостный, что удалось избежать неприятных хлопот и объяснений, возвращался Лобанович в школу. Поравнявшись с волостным правлением, он пренебрежительно глянул на окна квартиры писаря и мысленно произнес по его адресу:

"Эх ты, черносотенная жила!"

XI

Вскоре пришло из дирекции народных училищ Менской губернии предписание учителю прибыть с учениками в гребенскую школу на экзамены. Сообщалось, что председателем экзаменационной комиссии назначается один из преподавателей соседнего городского училища. Лобанович с удовлетворением принял весть об экзаменах: чем скорее он освободится от работы в школе, тем лучше. Особенно радовало его то обстоятельство, что экзаменатором назначен не инспектор народных училищ, сухой и бездушный чинуша, а преподаватель, работавший в свое время учителем начальной школы.

Рано утром того самого дня, на который были назначены экзамены, пароконная подвода подъехала к верханской школе. Просторная колымажка была щедро застлана соломой. Часть учеников, учителя Антипик и Лобанович уселись на подводе. К ним присоединился и сын отца Владимира Виктор, которому захотелось побывать на экзаменах, послушать и посмотреть, как подготовлены ученики. Лобанович чувствовал, что экзаменуются не только его ученики, но и он сам. За воспитанников своих он не боялся - они подготовлены более чем хорошо.

До Гребенки около двенадцати верст. Дорога вначале шла полем, а затем повернула на мостик через речку Усу; дальше, почти до самой Гребенки, ехали старым, дремучим лесом.

Утро выдалось тихое, ясное, теплое. Не доезжая до речки, все слезли с подводы, чтобы постоять на мостике, полюбоваться двухэтажной мельницей и струей воды, падавшей вниз с запруды, с высоты нескольких саженей. Под мостиком имелся шлюз, через который время от времени пропускали плоты. Лобанович потом часто ходил сюда на прогулку. Интересно было наблюдать, как плотогон, стоя в головной части плота, загонял в бревно бусак [Бусак - шест с насаженным на него металлическим острым крюком] и налегал на него всем телом, чтобы удержаться на плоте. Головная часть плота, сползая со шлюза, торчком спускалась в глубокий омут, выбитый течением, и тогда плотогон по самую грудь погружался в воду. Быстрое течение выбрасывало голову плота вместе с плотогоном на ровную и спокойную гладь реки.

- Можно было бы побыть здесь и дольше, если бы не экзамены, - сказал Лобанович. - Айда, хлопцы, в дорогу!

И весь кружок путешественников поспешил дальше. Подвода стояла за мостиком и ждала их.

Дорогу через лес проехали незаметно. Настроение учеников было приподнятое. Волновался немного и сам учитель, но не показывал этого и старался подбодрить своих воспитанников. Самым спокойным среди ребят и самым рассудительным был Минич. Теперь его не смущало то, что он на целую голову выше своих товарищей; парень весело улыбался, шутил. Ученики шли как попало. Девочки держались своей компании, а пареньки своей. Если кто начинал отставать, того сажали на подводу.

Густой, древний лес двумя могучими стенами обступал дорогу. Прохлада и легкий сумрак окутывали наших путников. Часа через два дорога вышла на светлую полянку, по краям которой также стоял густой лес. И полянка и само село Гребенка напоминали Лобановичу полесское местечко Хатовичи, куда он не раз ездил из своего глухого Тельшина.

Гребенская школа также стояла в конце села. Сюда и направилась подвода со всей процессией верханских учеников и учителей. Их встретила уже немолодая учительница гребенской школы, довольно сухая и не очень приветливая особа, "заматеревшая во днех своих", как говорили тогда о староватых незамужних женщинах. Ей не понравились независимость учителя верханской школы и отсутствие в его отношениях с учениками той строгости, которая устанавливает границу между воспитателями и воспитанниками. Еще более невзлюбила она Лобановича, когда ее ученики донесли ей, что верханский учитель, свернув трубкой, засунул за книжный шкаф немую географическую карту, откуда достать ее было не так легко. На такой незаконный поступок подбил Лобановича Минич. Учеников верханской школы испугала немая географическая карта - такой у них никогда не было. От имени своих товарищей и выступил Минич, заявив, что немая карта для них незнакома и она может повредить им на экзамене по географии. Учителя других школ одобрили поступок Лобановича, и на том дело с немой картой кончилось. Однако учительница гребенской школы на всю жизнь затаила в сердце неприязнь к своему верханскому соседу. Эта неприязнь увеличилась, когда начали экзаменоваться ученики Лобановича. Учительница была уверена, что на устных экзаменах эта школа оскандалится вместе с педагогом. Она заранее выбрала наиболее удобное местечко, с которого можно было бы следить за экзаменами. Ее ученики экзаменовались одни из первых. Нельзя сказать, чтобы их подготовка стояла на надлежащей высоте. Покладистый председатель экзаменационной комиссии, живой и веселый Щербачевич, изредка покачивал головой, усмехался и в конце концов ставил удовлетворительную отметку. Когда же пришла очередь экзаменоваться ученикам верханской школы, Лобанович занял место в комиссии. Щербачевич задал несколько вопросов и получил правильные в точные ответы. Затем экзаменовать начал Лобанович. Хорошо зная своих учеников и уровень их знаний, учитель забросал их вопросами, которые выходили далеко за рамки программы начальной школы. Экзамены проходили живо и интересно. Ученики отвечали бойко и уверенно. Председатель комиссии с интересом следил и за вопросами Лобановича и за ответами учеников. На его лице все время светилась довольная улыбка. Когда все ученики верханской школы были проэкзаменованы, Щербачевич при всех пожал руку Лобановичу и сказал:

- За всю мою экзаменационную практику я впервые встречаю такую совершенную подготовку учеников. Благодарю вас!

Учительница гребенской школы злобно шипела, слушая, как экзаменовал Лобанович своих учеников:

"Вот как рисуется! Хочет показать себя!"

Но факт оставался фактом.

Поздно вечером с триумфом возвращались домой ученики верханской школы. Лучше всех выдержали экзамены Минич и Лида Муравская. Теперь она спала на подводе, а ее сон охранял Иван Антипик.

Пришло письмо от Турсевича. Он жил и работал в своей прежней школе. У него также окончились занятия и состоялись экзамены. Впереди столько свободного времени - остаток весны, все лето и часть осени. Это были каникулы, когда учителя могли делать все, что им пожелается: оставаться в школе, ехать к своим родным, друзьям либо записаться на какие-нибудь курсы. Такой продолжительный отпуск имел большое значение для сельских учителей: они имели полную возможность заняться самообразованием, если у кого была на это охота, либо отправиться пешком или по железной дороге в путешествие, если учитель умудрился припрятать копейку. Турсевич писал, что он надумал подать заявление в учительский институт и, если Лобанович будет проводить лето в своей школе, он с охотой приедет к нему, чтобы готовиться в институт. Кроме того, ему, Турсевичу, интересно встретиться со своим старым другом и посмотреть на "крамольника". Турсевич знал, за что перевели Лобановича из Полесья в верханскую школу. В тот же день Лобанович ответил ему:

"Я не знаю, - писал между прочим Лобанович, - как отнестись к твоему намерению поступить в учительский институт. Меня лично он не очень привлекает. Я уже говорил тебе об этом: та же заскорузлая схоластика, та же казенщина, что и в учительской семинарии. Разница разве только в том, что в институте еще упорнее и в большем масштабе будут начинать тебя насквозь фальшивым казенным патриотизмом. За время обучения в институте тебя так замаринуют, что в тебе ничего не останется от живого человека. Другое дело - подготовиться и сдать экзамены на аттестат зрелости для поступления в университет. Там несравненно более широкое поле для всестороннего развития. А в конце концов каждый плачет по своему батьке как умеет. Не буду навязывать тебе своих мыслей и своего отношения к учительскому институту, - может, я и ошибаюсь, а найти истину и нащупать правильный путь в жизни не так легко и просто. Одно кажется мне верным, в одном я не сомневаюсь: наш постоянный святой долг - не отрываться от народа, жить его интересами и помогать ему освободиться от того зла, несправедливости, которые окружают его. Во всяком случае, буду рад видеть тебя своим дорогим гостем в моей школе. Кстати, я решил остаться здесь на все лето, хочется подготовить нескольких учеников для дальнейшего образования. Приезжай, дружище! Моя бабка Параска угостит тебя замечательными картофельными пирожками. Напиши, когда приедешь, - встречу.
Твой А.Л."

Лобанович был очень рад встретиться со своим давним приятелем, но в его желании поступить в учительский институт он почуял нечто такое, что заставило его насторожиться. Видимо, их дороги расходятся: Турсевича привлекает путь чиновника от просвещения, какими в подавляющем большинстве становились сельские учителя после окончания учительского института.

Закончив школьные занятия и очутившись на вольной воле, без каких бы то ни было обязанностей и определенного дела, учитель испытывал чувство легкой грусти, утраты чего-то близкого, с чем он давно и крепко свыкся. Чтобы развеять это грустное настроение, Лобанович собрался поблуждать по окрестностям Верхани, тем более что не все они были исследованы учителем. В таких скитаниях он всегда находил нечто новое для себя, волнующее и манящее куда-то в неясные дали. Приятно ходить по новым местам, всматриваться в картины, встречающиеся на пути, и размышлять наедине с собой о том, что происходит в мире.

На этот раз Лобанович пошел в другую сторону от села. Широкая наезженная дорога поднималась вверх, а затем шла по гладкой и просторной возвышенности, откуда открывалась широкая панорама Верхани, далеких полей, рощиц и одиноких деревьев, едва

видневшихся в синеватой тонкой дымке. Порой учитель останавливался, чтобы полюбоваться живописными группами берез, соснами среди поля и людскими поселениями. Какими красивыми казались они издали! Любуясь новыми картинами, Лобанович незаметно погружался в тихое раздумье. В голове мелькали разные мысли, легкие и спокойные, которых иногда даже не замечаешь. Почему-то вспомнилось письмо Турсевица. Теперь о нем думалось иначе. Турсевич, как видно, много размышлял, прежде чем решиться на поступление в учительский институт. Во всяком случае, он не стоит на одном месте. Правильно он поступает или неправильно, но одно бесспорно - человек движется вперед. А куда идет он, Лобанович? Этот вопрос внезапно взволновал его и вызвал в памяти целую вереницу событий, которые уже остались позади, и человеческих образов, к которым учитель имел то или иное касательство. А как жить дальше и на что решиться? Не век же вековать в Верхани! Надо что-то делать, а что? На эти вопросы у Лобановича ответа не было, и на душе у него стало беспокойно. Но оставаться долгое время в состоянии подавленности и неуверенности было не в характере учителя, и он, как мог, старался разогнать горькие мысли и верить в лучшее на свете. Ясно одно - нельзя сходить с позиций борьбы с царским строем. Правда, за время своего пребывания в верханской школе он ничего реального не сделал в этом направлении. Изменились обстоятельства - должны измениться и способы борьбы. Вот о них и нужно подумать. Сама жизнь подсказывала, что идти дальше по пути борьбы одиночкой-кустарем нельзя. Необходима дружная, направленная к единой цели, проводимая по заранее выработанному плану работа тысяч людей, а для этого нужна организация, в данном случае учительская организация. Лобанович живо ухватился за эту мысль. Ему казалось, что он стоит сейчас на верной дороге: да, необходимо создать учительскую революционную организацию и вести борьбу по определенной программе.

Взойдя на самую высокую точку возвышенности, по которой он прогуливался, Лобанович остановился, чтобы окинуть взглядом окрестности. И взор его вдруг загорелся - прямо перед ним неясно вырисовывались из тонкой синевы контуры красивого, величественного замка. Издали он напоминал собой несвижский замок князя Радзивилла. Какой же это замок? Чей? Лобанович стоял изумленный и зачарованный, затем быстро двинулся вперед, но не прошел он и десятка саженей, как замок начал расплываться, утрачивать свою чудесную форму. Вместо башни оказалась высокая, стройная елка, а остальное складывалось из кучки деревьев и пригорка, расположенных на весьма далеком расстоянии друг от друга.

"Какой совершенный художник даль!" - подумал Лобанович. Он несколько раз приходил сюда, становился на то самое место, с которого был виден "замок", и иллюзия всякий раз повторялась.

ХІІІ

Собралась и открылась первая Государственная дума. Произошло это в конце апреля 1906 года. Лобанович жадно набросился на газеты, в которых сообщалось об открытии думы. Интересно, что она скажет, как начнет свою работу и чего можно от нее ожидать?

Преобладающее большинство членов думы составляли кадеты. Они прямо-таки упивались своим триумфом и воображали себя чуть ли не спасителями России. Председателем думы был избран кадет, профессор Муромцев. Первые его слова, адресованные царским чиновникам, присутствовавшим на открытии думы, много дней с гордостью повторялись кадетскими газетами: вот, видите, как говорят народные избранники с представителями царского самодержавия! А Муромцев всего только и сделал, что на первом заседании думы приказал удалить из зала полицию. Он сказал: "Власть исполнительная пусть подчиняется власти законодательной!"

Большевистский бойкот выборов сделал свое дело. Население с каждым днем все больше убеждалось, что эта дума является новым сговором буржуазии и самодержавия.

Большевики говорили прямо: долой старую власть, только при этом условии можно добиться свободы.

Кадеты явно тянули за царя, но, несмотря на это, отношения между самодержавием и думой ухудшались. Правительство попало в неловкое положение: ему приходилось применять репрессии по отношению к той самой думе, которую оно само создало. Это явилось наглядной агитацией против самодержавия.

"Подразнить бы писаря", - подумал Лобанович. Но не пришлось - писарь эти дни пил запоем, а по ночам бушевал. Тяжелые времена переживала его жена. У Василькевича было три помощника: пожилой Хрипач, еще более горький пьяница, чем сам писарь, и двое молодых - Иваш и Лисицкий. Писарю казалось, что его жена тайно встречается с красивым Ивашом. Однажды поздно вечером учитель услышал шум и крик в волости. Он вышел на крыльцо. В квартире писаря и в волостном правлении было темно, но грохот, крик и шум не прекращались. Дикий, пронзительный голос, полный отчаяния, выкрикивал:

- Открой! Отопри! - И вслед за этим кто-то глухо, как в бубен, барабанил в дверь.

На улице никого не было. "Что бы это значило?" - встревожился Лобанович. Он сбежал со своего крыльца, пересек улицу и очутился на крыльце волости.

- Открой, гадина! - выкрикивал все тот же голос.

- Что там у вас? Кто кричит? - спросил Лобанович и начал трясти дверь.

На мгновение все стихло, и сразу же послышался плаксивый голос смертельно обиженного человека:

- Это я, Василькевич... Заходи, братец, свидетелем будешь.

Дверь открылась. На пороге стоял писарь в одном белье. Небольшая, двухкопеечная церковная свечка тускло освещала прихожую.

- Что тут происходит? - недоуменно спросил Лобанович.

Писарь взял учителя за руку и подвел к двери комнаты.

- Вот здесь! - сказал он тихо и вдруг снова забарабанил в дверь и заревел: - Выходи, стерва!

- Василий Миронович, в своем ли вы уме? Что с вами?

- Браток, с Ивашом заперлась! - завопил писарь. - Посторожи, братец, их, чтоб не убежали, а я пойду за топором - буду дверь ломать!

Писарь сделал движение, чтобы идти за топором, но закачался, потерял равновесие и упал. Спустя мгновение он забыл, что собирался делать и куда идти: он был совсем пьян. Лобанович помог ему встать. Он был не рад, что ввязался в эту семейную историю.

- Напился ты, извини, как свинья, - грубо сказал Лобанович, поднимая писаря. - Спать иди! - добавил он, сжимая Василькевичу плечи.

Писарь заплакал.

- И ты за них! - с укором сказал он Лобановичу.

За запертой дверью послышался голос Анны Григорьевны.

"Неужто писарь не выдумывает?" - мелькнуло в голове у Лобановича. И в тот же миг неподдельной болью хлестнули слова:

- Боже мой, боже! За что мне такое наказание? Лучше бы я маленькой умерла, чем жить с таким иродом, с таким пьяницей! Боженька милый, чем я тебя прогневила? Пошли ты мне смерть или его убей молнией, громом-перуном. За что он терзает меня?

Писарь хотя и был пьян, но и до него дошли проклятия жены. А писариха, услышав, что она не одна в доме, немного осмелела и начала жаловаться и проклинать мужа. Лобанович убедился, что никакого Иваша нет и не было с ней. Он легонько постучал в дверь.

- Анна Григорьевна, отоприте дверь и выходите. Не век же вам сидеть там.

- Да он же будет бить меня и мучить, тиран этот.

- Не бойтесь, он вам ничего не сделает.

Писарь не отходил от порога, стоял и слушал. Лобанович встал между ним и дверью и еще раз сказал:

- Выходите!

Ключ в замке заскрежетал раз и другой. Дверь открылась. Анна Григорьевна не сразу вышла из своей засады, и имела для этого основание: писарь подкрался, принял такую позу, чтобы удобней было броситься на жену. Он пригнулся, как кот, готовый прыгнуть на мышь. Лобанович схватил Василькевича за руки и вывернул их ему за спину.

- Не смей, а то выброшу на улицу! - пригрозил он писарю.

Писариха шмыгнула во мрак коридора и исчезла.

- Ну, писарь, пойдем искать Иваша!

Лобанович потащил писаря в комнату, где выдержала осаду Анна Григорьевна. Никаких следов пребывания Иваша там не было. Иваш в этот день ездил по волости со старшиной собирать недоимки.

XIV

Весна входила в полную силу. Каким красивым было в тот день раннее утро, до восхода и на восходе солнца! Ясное, лазурное небо все выше поднималось над обновленной землей. В чистом, свежем утреннем воздухе, словно невидимые струны, звенели песни жаворонков, далеко разносились щебет суетливых воробьев, гоготанье гусей и горластое "ку-ка-ре-ку" верханских петухов.

Сладко спал под утро утомленный хмелем писарь Василькевич. После происшествия перед запертой дверью писарь немного опомнился, он понял нелепость своего поведения и свою вину перед женой. Несколько дней он даже не пил. Жена с его согласия поехала к своим родителям, проживавшим на далеком, глухом хуторе. Писарь в скором времени заскучал в одиночестве и начал снова прикладываться к бутылке, запершись в своей заветной комнате. Он то сидел неподвижно, то ходил из угла в угол и время от времени опрокидывал чарку за чаркой. Далеко за полночь он ложился в постель, а засыпал только под утро, когда люди покидали уже свои постели и деревня понемногу начинала пробуждаться. Среди разнообразных звуков, наполнявших тихий утренний воздух, особенно выделялось шелканье кнута Лукаша Левченки.

Лукаш Левченко, дворянин по происхождению, забрел сюда с Украины и обосновался в Верхани в качестве общественного пастуха. Постоянного местожительства у него не было. Каждый день переходил он из хаты в хату. Где он ночевал, там его кормили, а наутро, когда он выходил собирать стадо - по одной, по две коровы со двора, - ему давали в торбу провизию. Каждая крестьянка старалась не отстать от других женщин, чтобы не осудил ее Лукаш за скупость. Вечером, пригнав стадо, пастух направлялся в другую хату. Месяца за полтора Лукаш обходил таким образом все село. Тогда он начинал новый круг своего бродяжничества из хаты в хату. В помощь ему село давало двух подпасков.

Лукаша в селе любили. Он был хорошим пастухом и веселого нрава человеком. Носил он длинную, порыжевшую от солнца суконную свитку, старательно залатанную. Утром, чуть свет, Лукаш снаряжался в поход, надевал свитку, вешал через плечо торбу с провизией, брал искусно сделанный длинный кнут на коротком увесистом кнутовище, кнут сажени три длиной. Прикрепленный к кнутовищу железным кольцом и петлями из сыромяти, этот кнут начинался с толстой, как уж, специально свитой веревки. Постепенно веревка становилась тоньше и заканчивалась тоненьким пеньковым хвостиком с десятками узелков. Лукаш Левченко в совершенстве владел этим своеобразным оружием. Он так мастерски шелкал своим кнутом, что издали казалось, будто кто-то стреляет из пистолета. При помощи этого оружия Лукаш держал в повиновении свою "рогатую паству", так называл он стадо.

Снарядившись надлежащим образом, Лукаш подходил к крайнему крестьянскому дворику, откуда и начинал собирать стадо. Он разматывал кнут, занимал такую позицию, с которой сподручней было шелкнуть, принимал наиболее удобную позу, набирал полную грудь воздуха и громко, протяжно кричал:

- Выгоня-я-я-йй!

Это был не просто крик, не обычный возглас, - нет, это была своего рода мелодия, музыка, которая прежде всего радовала и веселила, как артиста, самого Лукаша. И никто так, как Лукаш Левченко, не мог вывести это "выгоня-я-я-йй", хотя многие старались подражать ему. Услышав Лукашово "выгоняй", хозяйки торопливо выбегали из хат, открывали хлевы и выпускали коров. Лукаш распахивал калитку, корова выходила на улицу. А чтобы она не забывала, что над нею есть недреманное око, Лукаш щелкал кнутом. Корова, если она была молодая и резвая, весело взбрыкивала и бежала по улице, а к ней присоединялись другие коровы, бычки и телушки. Минут через десять вся Лукашова "рогатая паства" собиралась в шумное, разноголосое стадо, медленно и степенно шествовала по улице в поле. Пока Лукаш не выходил со стадом из села, он не переставал для острастки щелкать кнутом и время от времени выкрикивать "выгоня-я-я-йй", хотя нужды в том уже не было. Ему просто нравилась музыка этого пастушьего возгласа в его, Лукашовом, исполнении.

В это утро, собрав "рогатую паству", Лукаш, как всегда, проходил с нею мимо школы и волости. И здесь ему захотелось еще раз на прощание с селом крикнуть "выгоняй". Он остановился посреди улицы, между волостью и школой, запрокинул голову и гаркнул вдохновенно, протяжно, с музыкальными переливами: "Выгоня-я-я-йй!" Нужно сказать, что перед этим, когда Лукаш был еще довольно далеко от волости, его зычный голос нарушил сладкий утренний сон писаря.

- Вот горланит, гад! - проворчал разбуженный писарь. - Ну и горло! Чтоб оно у тебя опухло!

Но тотчас же все стихло. Писаря снова начал смаривать сон. И вот в этот самый момент Лукаш и гаркнул свое богатырское "выгоняй", стоя посреди улицы. Писарь даже подскочил на своей постели, словно его кольнули шилом. Какая наглость - так горланить под окнами квартиры писаря! Не раздумывая о том, что будет дальше, он сорвался с постели босиком, в одной сорочке. Накинув на плечи белое пикейное покрывало, писарь, как тигр, выскочил на крыльцо.

- Что дерешь тут горло? - грозно набросился он на Лукаша. - Кричи в поле, а не под окнами волостного правления, чтоб у тебя пуп треснул, сволочь ты!

Пока писарь выбегал на крыльцо, Лукаш отошел еще шагов на десять от волости, двигаясь за стадом. Увидав Василькевича на крыльце, без штанов, прикрытого одеялом, Лукаш только ухмыльнулся, довольный тем, что привел писаря в такую ярость, - вот что значит Лукашово "выгоняй"! На ругань писаря он добродушно отозвался:

- Дай боже пану писарю такой крепкий сон, как мой пуп. А что касательно сволочи, то сволочь - царю помочь.

Василькевич бросил на Лукаша искрометный взгляд и повернул в свою спальню, не снимая с плеч одеяла. Подпаски посмотрели на Лукаша, переглянулись и захохотали. Лукаш подмигнул им и с видом победителя щелкнул кнутом.

Лобанович проснулся еще тогда, когда Лукаш был на другом конце села. Он вслушивался в голос пастуха-дворянина. А тот медленно приближался со своим стадом, покрикивая "выгоняй" и пощелкивая кнутом. Когда послышался глухой топот коровьих копыт, учитель поднялся с постели и подошел к окну, чтобы посмотреть на веселого Лукаша. Лобанович однажды встречался с пастухом, и ему понравился этот беззаботный, веселый, добродушный человек. Лукаш любил выпить и за чарку горелки готов был служить верой и правдой. Он не видел учителя в тот момент, когда в последний раз выводил свое "выгоняй", не догадываясь, что за ним следит Лобанович, который был свидетелем ярости писаря. Как только Василькевич скрылся за дверью своей квартиры, учитель открыл окно и позвал Лукаша. Пастух подбежал. На его лице блуждала лукавая улыбка.

- Ну, брат Лукаш, и голос у тебя! Как труба иерихонская! Даже писаря с постели поднял.

- Не понравился писарю мой голос, - ответил Лукаш и засмеялся.

- А ты наплюй на это. Вот тебе двадцать копеек на чарку, а завтра утром ты снова тут покричи. За каждое твое "выгоняй" буду давать по двадцать копеек.

- Будет сделано! - весело ответил Лукаш, беря двугривенный.

На следующий день Лукаш снова остановился посреди улицы, на этот раз ближе к квартире учителя, и сколько было силы закричал:

- Выгоня-я-йй! Панич, выгоня-я-йй! - и несколько раз щелкнул, как из пистолета, кнутом.

Лобанович подбежал к окну и дал Лукашу обещанные двадцать копеек. Так повторялось несколько дней подряд. Писарь, как видно, догадался о заговоре и на крыльцо больше не выбегал.

Раз в году Лукаш имел одну привилегию: в день святых апостолов Петра и Павла он мог делать все, что захочет, - мог выгонять скотину, а мог и не выгонять. Таков был обычай в Верхани. Но если Лукаш выходил в этот день на работу, каждый двор одарял его хлебом, мясом, салом, яйцами, сыром, а кое-кто давал ему при этом еще немного медяков. Лукаш, конечно, обходил свою "парафию", собирал стадо и принимал добровольную дань. Выгнав из села скотину, Лукаш поручал стадо подпаскам, а сам продавал собранное добро, весь день угощался горелкой, угощал людей, ходил по селу и пел песни. И люди уступали ему дорогу. В этот день Лукаш был неприкосновенным лицом.

XV

Лобанович, хотя и не очень часто, все же встречался с Иваном Антипиком. Но не было еще случая, чтобы они открыто, по-приятельски поговорили друг с другом. Антипик - человек прозаический, практического склада характера. Вся его жизненная философия и мудрость заключалась в том, чтобы жить спокойно, тихо и сытно. Специального учительского образования у него не было, окончил он какую-то малоизвестную сельскохозяйственную школу, но это не мешало ему гордиться своим учительским званием и своим образованием. По существу же человек он был невредный. В жизни руководствовался он одним основным правилом: "Не трогай ты меня, и я тебя не трону". Лобановичу хотелось ближе познакомиться с ним и заглянуть в тайники его души, но все не было удобного случая. Антипик как бы предугадывал замыслы своего соседа в старался уклониться от какого бы то ни было открытого и откровенного разговора. Днем его почти никогда не было дома, а возвращался он поздно. Но однажды вечером Антипик зашел к Лобановичу. Каким-то образом он узнал, что мать Лиды Муравской собирается заехать к учителям и пригласить их в гости к себе по случаю того, что Лида и Коля окончили школу.

- Ну что, ж, позовет - поедем, - отозвался Лобанович. Признаться, ему самому хотелось навестить мать таких славных детей, как Лидочка и Коля.

Антипик, немного помолчав, прищелкнул языком и добавил:

- Надо и нам угостить Антонину Михайловну.

- Надо так надо, - согласился Лобанович. - Не знаю только, чем и как угощать, и вообще не знаю, что она за женщина.

Антипик оживился. Язык его на мгновение словно присох к гортани, но тут же снова и еще быстрее, чем обычно, защелкал.

- Антонина Михайловна - вдова и еще не старая, это во-первых. Во-вторых, она мать Лидочки, к которой, по моим наблюдениям, коллега мой не безразличен.

Антипик лукаво, многозначительно подмигнул, словно для него были совсем ясны мысли и сердце Лобановича. Тот невольно опустил глаза и тотчас же сказал:

- Вот не думал, что ты такой наблюдательный... А может, и ваша милость к ней не безразличны?

Антипик пропустил мимо ушей эти слова и продолжал:

- В-третьих, она выкрестка и, в-четвертых, любит чарку.

- Характеристика полная, портрет написан основательно. Видать, сидел ты с ней за чаркой не раз, - пошутил Лобанович.

- Сидел и еще посижу, вернее - посидим: угощение сделаем в складчину, - откликнулся Антипик.

- Ну что ж, согласен. Так еще лучше. Вопрос можно считать решенным, - закончил Лобанович и внимательно взглянул на Антипика. - Скажи, Иване, как думаешь провести лето и что предполагаешь делать дальше? На всю жизнь присягнул начальной школе или есть другие планы?

Антипик заморгал глазами в предчувствии какого-то серьезного разговора. Серьезных разговоров он не любил, считая, что они могут сбить человека с толку.

- А я об этом и не думаю, - ответил Антипик. - Да и зачем? Поработаю на лугу, на поле. А надоест и это - буду думать о чем-нибудь другом. А так, без нужды, зачем мозолить мозги и портить нервы! Мое правило такое: тихо, спокойно - так и не рыпайся, а начнут прижимать - соберись незаметно и беги в другое место.

- За что же и кто начнет тебя прижимать, если ты будешь сидеть тихо?

- И то правда, - щелкнул языком Антипик. - Но бывают разные люди, есть и такие, что могут без всякой причины привязаться к тебе. И все же самое лучшее правило: не трогай ничего и не бойся никого.

- А вот же ты сидел тихо, никого не трогал, а пристава испугался и задал стрекача, - поддел его Лобанович.

Антипик потупился, хотел что-то возразить, но Лобанович добавил:

- Впрочем, все-таки твоя правда: ты нарушил свое правило, затронул Анну Карловну, которую имел или имеет на примете грозный становой пристав.

Лобанович почувствовал, что Антипику неприятно напоминание об этом случае.

- Всякое бывает на свете между людьми, - нотка покорности слышалась в голосе и словах Антипика.

- И ты должен молчать, мириться со всей бессмысленностью и несправедливостью такого порядка?

- А что из того, что я буду кричать? Кто меня услышит? Вот ты попробовал крикнуть, и тебя переместили. Нет, брат, выше пупа не прыгнешь! - тоном победителя заключил Антипик.

Лобановичу стало ясно, что с Антипиком каши не сваришь, а вести с ним разговор о роли учителя в общественной жизни, пытаться пробудить в нем сознательность - не только бесполезная трата времени, но и небезопасная вещь. Где порука, что Антипик не проговорится вольно или невольно? Лобанович не пробовал больше заглядывать в душу своего коллеги, она была для него ясная и неинтересная, как стертый медяк. Он только сказал:

- Да, твоя правда.

Спустя несколько дней в школу действительно приехала Антонина Михайловна. Лобанович встретил ее на крыльце.

- Наверно, вы мать Лиды и Коли, Антонина Михайловна? - спросил хозяин.

Антонина Михайловна улыбнулась, и Лобанович увидел неровные, гнилые зубы.

- Я, я! - проговорила гостья.

Это была женщина с довольно красивым лицом, чернобровая, черноглазая. Правда, глаза ее немного выцвели, порыжели... "Неужто в ее годы и Лида будет такая?" - подумал Лобанович и повел гостью в комнату.

Пока она приводила себя в порядок, как это свойственно женщинам, Лобанович, попросив прощения, сбегал в кухню и послал бабку Параску за Антипиком. Но нужды в этом не было. Антипик тотчас же появился и сам. Он оказался более ловким кавалером, чем хозяин, пригласил гостью присесть, завертелся возле нее, защелкал языком на все лады. Лобанович смотрел на него и прямо-таки любовался его способностями в деле обхождения с женщинами. "Вот если бы ты был таким и в общественной деятельности!" - подумал Лобанович.

Пока ловкий и обходительный Антипик развлекал Антонину Михайловну, Лобанович с бабкой Параской готовили закуску. Нашлись колбаса, сыр, немного масла, кислая капуста. Бабка Параска нарезала сала - и для закуски и для яичницы. Сторож Пилип торжественно вытащил из-за пазухи бутылку горелки.

- Может, и в твой горлач, Пилипе, перепадет капля, - проговорил он, ни к кому не обращаясь.

Бабка Параска ради такого торжественного случая достала чистую скатерть и застлала стол. Расставила тарелки, положила ножи и вилки, - видно, где-то заняла. Она по хотела, чтобы ее хозяин "светил" глазами перед гостьей. Когда все было готово, сели за стол. Угощение получилось довольно богатое, к великому удовольствию бабки Параски. Лобанович, как хозяин, налил чарки и поднял тост за гостью. Выпили. После каждой чарки Антонина Михайловна брала хлеб и, прежде чем откусить, нюхала, а потом уже клала в рот и закусывала.

Сидели долго. Несколько раз бабка Параска добавляла закуски. Сторож Пилип дважды ходил за горелкой, причем и в его "горлач" перепадала "капля". Лобанович почувствовал, что в голове у него шумит. Ему хотелось, чтобы это угощение скорее кончилось, а гостья сидела как ни в чем не бывало, пила чарку в чарку с учителями, нюхала хлеб и закусывала. Антипик прищелкивал языком значительно чаще своей нормы. Улучив момент, он подмигнул Лобановичу, давая понять, что он, Антипик, подпоит гостью. Он позвал Пилипа и снова послал его за горелкой. Лобанович тихонько направился в свою боковушку. Не раздеваясь, прилег на кровать. Некоторое время до его слуха еще доносились шумные голоса и звон чарок, беззаботный смех Антонины Михайловны. Он проснулся, когда пастух Лукаш уже щелкал своим знаменитым кнутом и выкрикивал свое залихватское "выгоняй".

Лобанович поднялся с постели и вошел в столовую. За столом спокойно сидела Антонина Михайловна. Казалось, она и в рот не брала горелки. Зато Антипик лежал возле стола на полу в самой живописной позе совершенно пьяного человека. Развалившись и задрав кверху нос, он задавал храпака. Антонина Михайловна весело засмеялась и, показывая на Антипика, сказала:

- Хотел споить меня. Я видела, как он вам подмигивал, и угадала его намерения. Пили мы чарка в чарку... Нет, не ему споить меня! Сколько бы я ни пила, я пьяна не бываю.

Антонина Михайловна рассказала, как она выручала во время выпивок своего покойного мужа, как пила с самыми заядлыми пьяницами и никогда не пьянела.

"Может, ты оттого не пьянеешь, что нюхаешь хлеб, выпив чарку горелки", - подумал Лобанович.

XVI

В ясный весенний денек Антипик и Лобанович ехали в крестьянской колымажке на хутор, состоявший из трех или четырех дворов. Один из этих двориков достался Антонине Михайловне и ее детям после смерти мужа. К ней в гости и ехали верханские учителя.

От Верхани до хутора было верст шесть. Дорога, кое-где обсаженная березками, все время шла полем. По сторонам живописно раскинулись невысокие пригорки, небольшие рощи и перелески, узенькие зеленые долинки, уютные и манящие. В тени низких ольховых кустов то здесь, то там скрывался извилистый ручеек, порой выбегая на открытое место и сверкая, как серебро, на солнце. Богато и щедро украсила весна землю, одев ее зеленью, яриной и житом, начинавшими уже выпускать молоденькие колоски, рассыпала на ней миллионы разнообразных душистых цветов. Трудно было оторвать глаза от красоты земли, от ее пышного убранства. И только когда подвода свернула с широкого большака на узкую и малонаезженную хуторскую дорожку, Лобанович вспомнил Антонину Михайловну, ее добродушную улыбку и гнилые, щербатые зубы. И все же она человек

неплохой, а если вспомнить, как уложила она Антипика, то ее до некоторой степени можно считать выдающейся женщиной.

О своем провале Антипик старался не вспоминать, и Лобанович также не напоминал о нем, чтобы не задевать самолюбия коллеги.

Подвода подкатила к хуторку. Из запущенной крестьянской хаты с почерневшей соломенной крышей выбежал Коля, а за ним и Лида, немного стесняясь и смущаясь.

Коля широко открыл ворота на небольшой, но чистенький дворик. Мальчуган не так был рад приезду учителей, как появлению коня на их дворе. Он больше всего на свете любил лошадей.

Как только подвода остановилась, Коля тотчас же подбежал к коню и бросился распрягать его. Дядька Купрей видел ловкость Коли и его умение обращаться с лошадьми. Он не мешал хлопцу и только похваливал его. А Коля, хотя был и маленький, как узелок, ловко рассупонил коня и вынул изо рта удила. Он считал, что хомут и удила наиболее неприятные, докучливые для коня вещи. Освободив коня от упряжки, Коля подвел его к забору, сел верхом.

- Вы, дяденька, отдыхайте здесь, а коня я попасу, и накормлю, и напою.

- Вот молодец! - сказал дядька Купрей.

Больше Коля почти не появлялся во дворе, все ходил возле коня, собирал ему вкусную траву. Такое обхождение коню понравилось. Увидев сочную траву в руках своего шефа, он свешивал губу и добродушно отзывался: "Го-го-го!" А для Коли это была большая радость.

Лида поздоровалась с учителями и приветливо пригласила их в хату. Она была и довольна и немного смущена еще непривычной для нее ролью хозяйки. Щеки девушки порозовели от волнения, и это придавало ей особенную прелесть.

Почти одновременно с детьми на низеньком крылечке показалась и Антонина Михайловна. Она издали поздоровалась с гостями, как старая и добрая знакомая.

- Заходите, заходите в хату! Лида, води своих учителей, проси их!

Не очень привлекательный вид имела хата Антонины Михайловны. Неумолимое время наложило на нее печать старости и разрушения. Бревна в стенах кое-где выпирали из когда-то старательно сложенных и гладко пригнанных венцов. Снаружи и внутри стены почернели, закоптились, были источены шашелем. Небольшие, подслеповатые окна скупно пропускали свет, хотя на дворе вовсю светило весеннее солнце. Хата ничем не отличалась от старосветских крестьянских хат с их низкими потолками и огромными печами, занимавшими четверть всей площади. Довольно просторные сени отделяли хату от клетки, в которой стоял верстак с рубанками и скребками, лежали выстроганные доски и пахучие, смолистые стружки. По временам кто-нибудь из соседей, - а они все были родственниками Антонины Михайловны по мужу, - приходил сюда и столярничал по мере надобности.

Лобанович с любопытством разглядывал хату. Антонина Михайловна, как бы угадывая, о чем он думает, заметила:

- Приходит в упадок моя хата. Все собираюсь подновить ее немного, да трудно мне одной. Родственники обещают помочь, но, как говорится, игранье в обещанье - дураку радость.

- Да жить еще можно, - отозвался Антипик. - Чисто, тепло, уютно. А если еще Лидочка озарит своими глазками, то в хате совсем светло станет.

Лида смутилась, ее мать также опустила глаза, а у Антипика был такой вид, будто он сказал что-то очень удачное и остроумное.

Тем временем Антонина Михайловна засуетилась возле печи, а потом и возле стола.

- Решайте, гости, сами, - вдруг сказала она, - сядем ли мы здесь за стол или, может, лучше пойдем в садик, под грушу?

Решили, что в садике под грушей будет и приятнее и вольнее.

И действительно, лучшее местечко трудно было найти: затишек, солнце, чистый воздух и близко от хаты. Под грушей стоял простой стол на столбиках, вкопанных в землю. Во всю

длину стола с одной и с другой стороны стояли скамейки, также на столбиках, прочно.

- Ну вот, лучше дачи, пожалуй, и на свете нет! - Лобановичу очень понравилось это место. За столом времени даром не теряли. Антонина Михайловна оказалась замечательной хозяйкой. Разных закусок, преимущественно крестьянского производства, на столе появилось множество, и все было приготовлено со вкусом.

Прошел час-другой в веселой беседе. Лобанович окончательно договорился с хозяйкой, что будет через день приходить сюда и заниматься с Лидой, чтобы девушка могла поступить в какое-нибудь учебное заведение, где готовят учительниц, причем заниматься он будет бесплатно. Антипик слушал все это и, толкуя по-своему, мотал на ус. Теперь он остерегался пить с хозяйкой чарка в чарку. Зато не остерегался Лобанович. Он уже чувствовал, что в голове у него пошумливает. Как назло, Антонина Михайловна сделала ему замечание, что он не допивает чарок. Хозяйку поддержал Антипик, и они вдвоем надели на Лобановича.

- Вы, друзья, просто придираетесь ко мне либо смеетесь надо мной, что я слишком старательно осушаю чарку, - защищался Лобанович. - Ну, скажи ты, Лидочка, правду я говорю или нет?

Лидка засмеялась, ничего не ответила и только качнула головой, что можно было истолковать и так и этак.

- Ну вот, и Лидка говорит, что не допиваете, - смеясь, истолковала по-своему Антонина Михайловна неопределенный жест дочери.

- А если так, дайте мне стакан!

Антонина Михайловна не поскупилась и подала стакан.

- Прошу налить.

Антипик с удивлением смотрел, как Лобанович взял полный стакан и не отрываясь выпил до дна.

- Наливайте другой, - сказал он, - я покажу, как я не допиваю чарок!

Антонина Михайловна попыталась остановить его, но Лобанович с упрямством пьяного сам налил второй стакан и залпом осушил его.

И с этого момента для Лобановича наступила темная ночь, произошел полный провал памяти. Проснулся он в полночь на пахучих стружках. Голова была ясная, чувствовал он себя хорошо, как никогда. Все, что было до двух стаканов водки, он помнил отчетливо, а вот как очутился в клетке на стружках - это было загадкой. Лобанович лежал и размышлял. На другой половине хаты стоял шум и топот. Слышались звуки бубна и пиликанье скрипки. Видимо, гости и хозяйка перешли из садика в хату и там наладили вечеринку. Лобановичу стало досадно и стыдно за свой поступок. И не век же ему лежать на стружках... К счастью, в клетку вошла Антонина Михайловна со свечкой в руках. Лобанович обрадовался и пошутил:

- Антонина Михайловна, я совсем очухался и помирать не собираюсь. Свечки мне не нужно.

- Ну и хорошо, а то я беспокоилась.

Учитель попросил передать Антипику и подводчику, чтобы они собирались домой.

Через полчаса Лобанович сидел в колымажке и поддерживал Антипика, чтобы он не вывалился. Когда проезжали возле поместья, где жила Анна Карловна, Антипик вдруг забушевал, порываясь слезть с телеги. Лобанович не пускал его, а Антипик кричал во все горло:

- Пустите меня к Ганне!

Дядька Купрей погнал коня. Когда отъехали от имения, Антипик успокоился, а проспавшись, пришел к Лобановичу и поблагодарил за то, что он не пустил его к Анне Карловне.

- Ну, Иване, квиты, оба мы биты, - ответил Лобанович.

История с двумя стаканами водки не выходила у Лобановича из головы, как заноза, не давала ему покоя. Зачем он сделал так? Что он этим доказал? И чем он лучше пьяницы Хрипача и писаря Василькевича? Он стал прямо-таки противен самому себе. Но одного самобичевания ему было недостаточно, чувствовалась потребность поисповедоваться перед кем-нибудь, признаться в своем безволии и мальчишестве.

Во время его терзаний и покаянных раздумий в комнату к учителю вошла бабка Параска.

- Может, будете завтракать, паничок? - ласково спросила бабка. Она привыкла к новому учителю, полюбила его, как сына, и часто называла "монашком".

- Не стоит, бабка Параска, давать мне завтрак.

- Почему же это не стоит? - бабка с тревогой посмотрела на учителя.

- Никуда не годный я человек, бабка Параска, не знаю я моры: напился вчера в гостях, как Хрипач.

- На то ведь и в гости ходят, чтобы выпить и погулять. Какие же это гости, если человек не даст себе немного воли?.. И правда, монашек вы! - ласково заключила бабка Параска.

- Ты, бабка, не знаешь, как я пил.

Лобанович рассказал, ничего не утаивая, как выпил он один за другим два стакана горелки и что с ним было потом. Бабка Параска слушала учителя внимательно. Локоть одной руки она поставила на ладонь другой, подперла голову и сидела неподвижно. Лобановичу казалось, что бабка опечалилась. Но когда он окончил свою исповедь, бабка Параска весело проговорила:

- Ну, и что же? Очнулись, проспались, голова свежая, ну, и слава богу! Вот если часто так делать, то это плохо, и так делать не нужно. - Голос бабки зазвучал укоризненно и строго.

- Славный ты человек, бабка Параска! - проговорил учитель. - Сердце твое доброе и разум твой разумный! - скаламбурил он.

Бабка Параска хитро покачала головой.

- Вот сидит-сидит мой монашек, да что-нибудь и выдумает: "разум разумный"!

Мгновение помолчав, она другим тоном добавила:

- А может, оно и правда: ведь говорят же "глупый разум".

- Ну, разве же не моя правда? Да ты, бабка, философ!

Бабка Параска засмеялась.

- Боже мой, чего он не придумает! И не слыхала никогда слова такого - философ! Оно больше подходит к Пилипу.

Разговор с бабкой Параской развеселил учителя, к нему вернулось его прежнее хорошее настроение. История с двумя стаканами водки понемногу утрачивала свою остроту и отходила в прошлое, хотя и осталась в памяти на всю жизнь.

На следующий день утром, помня свой уговор с Антониной Михайловной относительно Лиды, Лобанович взял палку и уже знакомой дорогой зашагал на хутор.

Хорошо быть одному в дороге, особенно когда погода благоприятствует тебе, а на сердце спокойно и ничто не гнетет твоей души, ничто не мешает думать о чем хочешь. Либо дать полную волю самым удивительным и далеким от действительности мечтам. Идешь себе и радуешься, что живешь на свете, радуешься, что у тебя есть глаза, чтобы любоваться просторами, картинами земли, и уши, чтобы слушать разнообразные звуки, неумолкаемую музыку жизни. Радуешься небу и солнцу, кудрявым облакам, ласковому ветру и людям, что встречаются на пути.

Много дорог, никем не сосчитанных, тянется по земле. Много дорог в жизни, по которым блуждают люди, стремясь найти то, что считают они своим счастьем. Только не для всех открыты эти дороги, их надо завоевывать - для себя и горемычного люда.

И снова ожили мысли, которые все чаще и чаще навещали Лобановича, - мысли об учительской организации, необходимой для того, чтобы сообща и по единому плану вести революционно-просветительную работу в народе. В памяти всплывали картины не очень

далекого прошлого. Вспомнил учитель Пинск, Ольгу Андросову, первое тайное собрание, где он, Лобанович, говорил об организации сельских учителей. Вспомнил он и Алеся Садовича и Янку Тукалу. Не о том ли самом думали и они, когда заводили речь о триумвирате, о постоянной связи между собой? В силу непредвиденных обстоятельств и событий подойти вплотную к созданию тайной учительской организации не удалось, но мысль о ней живет не в одной только голове Лобановича, она занимает тысячи учительских голов; не все же учителя Антипики и Соханюки, избегающие революционной борьбы и почитающие за лучшее жить спокойно и сытно!

"Надо написать Садовичу", - решил Лобанович. И он стал обдумывать, как лучше составить письмо, чтобы никто не мог к нему придраться и чтобы оно вместе с тем было понятным для Садовича. Самое лучшее - не посылать письмо через волость, а просто опустить его в ящик почтового вагона. Да, этим летом обязательно нужно положить начало революционной учительской организации. Ее в Беларуси нет, она должна быть.

С такими мыслями шел Лобанович на хутор. И вдруг он ощутил в душе какую-то неуловимую и неясную тревогу. Что-то беспокоило его, неожиданно испортило ему настроение. И только тогда для него стало все ясно, когда он свернул с большака на малонаезженную, узкую дорогу, что вела на хутор: причиной беспокойства была Лида. Не поторопился ли он, обещая подготовить ее для поступления в городскую школу? Зачем он взял такое обязательство и связал себя? Кто просил его быть учителем Лиды, после того как она окончила начальную школу?

А на то были две причины. Лобановичу нравилась красивенькая, немного застенчивая, черноглазая Лидочка, хотя в этом он не хотел признаться даже самому себе, не только людям. Другая причина - лишняя чарка, выпитая под злосчастной грушей. Вся поэтическая обстановка устроенного на скорую руку крестьянского банкета, приятный шум в голове явились причиной того, что его сердце наполнилось чрезмерной добротой и он, не взвесив трезво своего порыва, поспешил взять на себя ответственное обязательство. А теперь, взглянув на все эти события другими глазами, учитель почувствовал, что случайное, мимолетное увлечение заставило его свернуть с правильной дороги. И действительно, что такое для него Лида? Какое он имеет право врываться в ее жизнь? И что, руководило им, когда он обещал заниматься с нею? Бескорыстное желание помочь ей, вывести в люди? Нет, нечего хитрить с самим собой! Вероятно, если бы Лида была такая же щербатая, как ее мать, вряд ли появились бы у него такие высокие порывы.

Лобанович мысленно перенесся в будущее, чтобы представить себе Лиду такой, какой она будет в возрасте своей матери. Но сегодняшняя Лида выбежала в это время со двора навстречу Лобановичу. Живая, веселая и радостная, она спутала все его мысли. Лобанович видел милую девочку-подростка и воспринимал ее такой, какой она была - молоденькая, готовая расцвести во всей своей красе. Сравнение с Антониной Михайловной вылетело из его головы.

Лида встретила учителя, поздоровалась, обняла его руку, прижалась к ней, как доверчивое дитя.

- Я вас вчера ждала, - сказала она.

Лобанович посмотрел ей в глаза.

- Лидочка, ты не смеешься надо мной и не презираешь меня за мой поступок?

Лида смутилась. Ей стало неловко: как это она будет смеяться над учителем? И никогда не слыхала она таких вопросов от него.

- Разве я могу смеяться над вами?

- Напился я тогда до потери сознания и поэтому не пришел вчера. Стыдно было показаться в вашем доме.

- Так никто же этого не видел, - ответила Лида.

Учитель засмеялся:

- Ты, Лидочка, рассуждаешь так же, как моя бабка Параска, и за это я вас люблю - тебя и бабку Параску. Ну, пойдем и сядем за работу.

И они направились в хату Антонины Михайловны.

XVIII

Приближалось лето.

Никаких значительных перемен не произошло в жизни Лобановича. В верханской школе теперь остался он один. Антипик, ничего не сказав, исчез. Куда он подался, Лобанович не знал. Лобановичу тоже нужно было бы отлучиться на короткое время. Он послал письмо Садовичу, написанное в шутовском тоне, полное неясных, туманных фраз и намеков. Использованы были такие слова, особый смысл которых хорошо известен Садовичу и близким друзьям. Ответ пришел довольно быстро. Садович писал, что его школа стала пристанищем учителей, что с ним живет Янка Тукала, Алесь Лушкевич из-под Щорсов и еще собирается приехать кое-кто. "В начале июля, не позднее пятого, - писал друг, - должен быть и ты, непременно, обязательно. Устраивается коллективная маевка. Надо же, черт возьми, гульнуть хоть раз в год". Лобанович понял, на что намекает его земляк и близкий друг. Потихоньку готовился он к важному событию в учительской жизни. Лобанович был уверен, что вступает на новый жизненный рубеж. Для "маевки", о которой сообщал Садович, Лобанович задумал написать доклад о просвещении в начальных школах. Он предполагал рассказать о том, какие задачи ставят царские чиновники перед учителями начальных школ, и вообще к чему направлена бюрократически-полицейская "наука" в царской России, и что надо противопоставить этому.

В то же время, через день, а иногда через два, ходил Лобанович на хутор Антонины Михайловны заниматься с Лидой. Особого старания в ученье Лида не проявляла. Зато чем дальше, тем заметнее пробуждалась в ней взрослая девушка.

Временами смотрела она на своего учителя не так, как подобает смотреть ученице. Учитель объясняет ей правила сложения дробей; Лида слушает, а дроби куда-то улетают от нее, никак не держатся в голове. А слушает, кажется, она очень внимательно, и не сводит глаз с учителя. В ее темных глазах появляется какой-то особый блеск, на губах внезапно начинает блуждать улыбка; Лида ловит себя на этой улыбке, смущается и быстро склоняет голову на учебник. Кудрявые темно-каштановые волосы падают ей на руки и рассыпаются по столу. Учитель прекращает объяснения. "Голова у нее заболела, что ли?"

- Что с тобой, Лида?

Лида поднимает голову, отбрасывает со лба темные локоны. Глаза ее угасают, на губах появляется виноватая улыбка.

- Сон меня сморил, - неуверенно отвечает девушка.

Учитель смотрит на нее с укоризной. Лиде становится не по себе. Тень грусти ложится на ее лицо. Она опускает глаза, уходит в себя.

- Значит, я так неинтересно объяснял правила сложения дробей, что нагнал на тебя сон, - с ноткой обиды замечает Лобанович.

Лида молчит и еще ниже опускает голову. Она думает какие-то свои думы, но какие - сказать трудно. Некоторое время молчит и Лобанович. Ему совершенно непонятна причина странного поведения Лиды.

- Может, тебе нездоровится? - после короткой паузы спрашивает Лобанович.

Лида молчит. Учитель недоуменно глядит на нее.

- Чего же ты молчишь, Лидочка? - сочувственно допытывается он.

Лида продолжает молчать. А затем срывается с места и бежит в свой уголок за полотняной занавеской.

"Что это еще за капризы?" - спрашивает себя Лобанович. И не знает, что делать дальше: бросить ли занятия вообще и идти домой или все-таки выяснить причину такого неровного поведения ученицы?

В хате, кроме него и Лиды, никого нет. Антонина Михайловна куда-то ушла со двора. Во время занятий она обычно выходила из хаты, чтобы не мешать урокам. А Лида, зарывшись в свое гнездышко за полотняной занавеской, не подавала никаких признаков жизни.

- Лида! - окликнул ее громко учитель.

Девушка не отзывалась.

"Может, ей дурно?" - встревожился Лобанович.

Он встал из-за стола и тихонько направился к занавеске. Мгновение постоял в нерешительности, а затем осторожненько приподнял ее. За занавеской было довольно темно. Лида лежала на постели, уткнувшись лицом в подушку и прикрывшись до пояса легкой дерюжкой.

Лобанович наклонился над нею, прислушался к ее дыханию. Девушка лежала тихо и неподвижно, как неживая.

- Лида! - еще раз окликнул ее учитель.

Лида не пошевелилась и не ответила. Учитель положил руку на ее головку, погладил волосы.

- Лидочка, что с тобой? Чего молчишь? Жива ты или нет?

И на этот раз Лида не отозвалась. Тогда учитель легонько подсунул руку под черную головку своей капризной ученицы, приподнял ее. Голова была теплая, - значит, жива. Учитель наклонился еще ниже, а голову поднял выше и поцеловал девушку в щечку, а затем и в губы. Только тогда Лида совсем ожила, взглянула на учителя, засмеялась, застыдилась, а затем строго сказала:

- Уйдите отсюда!

"Вот тебе и дробь!" - заметил про себя Лобанович, выходя из за занавески.

Он сел за стол, на свое обычное место, с таким видом, будто ничего особенного не произошло. Сразу он не мог разобраться в своем поступке и в своих чувствах. Но зачем было так делать? И как чувствовал бы он себя, если бы Антонина Михайловна застала его за занавеской? Что бы она могла подумать?

Целый рой мыслей замелькал у него в голове, а в глазах вставала Лида. И чем дальше, тем яснее он сознавал: поступать так, как поступил он, нехорошо. Ни к каким определенным практическим выводам учитель прийти не успел - вышла Лида. Ей было совестно. Стараясь не смотреть на учителя, чтобы глаза их не встретились, Лида села на свое место. Учитель также опустил глаза, но тотчас же взял себя в руки.

- Слушай, Лида, - сухо сказал он, чтобы сгладить впечатление от этого непредвиденного происшествия, - хочешь учиться, так учись, а свои капризы нужно оставить. А если не хочешь учиться, так и скажи: я больше ходить сюда не буду.

Лида растерялась, она не ожидала таких суровых слов. Печаль и боль отразились на ее лице. Она низко опустила голову и молчала. Лобановичу стало жалко ее, но он не сразу переменял взятый им сухой, учительский тон.

- Ну, ты подумай, Лида, до чего доводят твои капризы! - Учитель сам почувствовал, что мелет чепуху, но все же продолжал: - Что сказала бы твоя мать, если бы застала меня с тобой за занавеской?

"Совсем глупо", - заметил себе Лобанович.

Лида еще ниже опустила голову и ничего не ответила. Вероятно, она думала, что ее учитель сейчас недостоин такого звания.

- Ну, как ты думаешь, Лидочка, - уже ласковее заговорил учитель, - будем продолжать или окончим наши занятия?

Не поднимая головы, Лида тихо проговорила:

- Я хочу учиться.

- Ну, вот это другое дело! - Учитель был доволен, что к Лиде вернулся дар речи: тем самым как бы проводилась грань между тем, что произошло, и их теперешним положением. - Если учиться - так учиться, Лидочка. Больше капризничать не будешь?

- Не буду, - ответила Лида и взглянула на Лобановича.

- Ну, значит, все в порядке. Сегодня мы больше заниматься не будем. Иди погуляй, подумай обо всем и на меня не гневайся. Все, что я говорил о сложении дробей, постарайся сама разобрать по учебнику.

Они простились.

Учитель отправился домой.

Хорошая все же вещь дорога. Чего только не передумаешь в пути! Версты две незаметно промелькнули в мыслях о происшествии на хуторе. Обсудив его со всех сторон, учитель не осудил себя очень строго, но предостерег на дальнейшее.

И он все веселее подвигался вперед, держа направление на Верхань.

XIX

Путешествия на хутор не очень привлекали Лобановича. Это была неприятная обязанность. И самое худшее состояло в том, что виноват он сам: кто просил его ходить на эти занятия? Но отступать поздно. Взялся за гуж - не говори, что не дюж. Нужно сказать, что эти путешествия имели и свою положительную сторону: в пути очень хорошо обдумывался доклад. Мысли плыли легко и гладко. Много удачных, метких фраз, выражений накопилось в голове. Временами учитель даже останавливался, доставал из кармана записную книжку, оглядывался, чтобы не было лишних свидетелей, - ведь люди могли черт знает что подумать, - и записывал меткие, хлесткие выражения. В такие минуты казалось, что стоит только сесть за стол и все потечет на бумагу так же гладко, свободно, как текли его мысли в дороге. На деле же выходило иначе. Записанные замечательные фразы не могли воссоздать той полной и широкой картины, что рисовалась в его воображении, и, взятые в отдельности, выглядели беспомощно, как ошипанные воробы. Невольно вспоминался необычайный, чудесный замок, представший однажды взору Лобановича во время его скитаний по окрестностям Верхани: стоило только отдалиться на несколько шагов от того места, с которого рисовался замок, чтобы он распался, развеялся как дым.

Случались в дороге и другие удовольствия.

В конце июня прошли щедрые летние дожди, а затем снова установилась ясная погода. Проходя в тени стоявших вдоль дороги берез, натолкнулся Лобанович на ладный боровик, обрадовался ему, как другу детства, остановился и подрезал его корешок возле самой земли. Стал осматриваться - поблизости сидели еще два боровика, молодые, здоровые. Аккуратно очистив от песка, он положил грибы в платочек и с этими трофеями пошел дальше.

Впереди, возле самой дороги, зеленел лесок, преимущественно березовый. Изредка попадались и сосенки, и ели, и даже кусты можжевельника. Лобанович свернул с дороги и пошел обследовать лес. "Место для боровиков подходящее", - подумал он и с увлечением завязанного грибника стал осматривать наиболее удобные для боровиков лесные тайники.

Не прошел он и полсотни шагов, как вдруг остановился словно вкопанный. Ему редко случалось видеть такое множество боровиков на совсем небольшом клочке земли. Грибы сидели где по одному, где парами, а где и целыми группами. А самое любопытное, что это были не подберезовики, желтенькие, как яичница, а черноголовые, самые лучшие боровики, которые растут только в сосняке.

Налюбовавшись боровиками, Лобанович не спеша начал их собирать. Он приседал возле каждого гриба, подрезал ножиком корень, соскребал песок и разный мусор, прилипший к корню. А грибы - как на подбор, молодые, крепкие, тяжелые; шапки их сверху черные, а внизу белые как лен. Ну как не радоваться, глядя на них! Собранные и очищенные

боровики счастливый грибник складывал в кучку. Их набралось около сотни. На этом местечке грибов больше не было, и по соседству не попалось ни одного. Кузовка учитель не имел. Он срезал несколько березовых прутьев, связал их тонкими концами и нанизал целых три мониста грибов. С этой добычей он и вошел на хутор.

Встречные хуторяне с любопытством глядели на венки грибов. Порой кто-нибудь не мог удержаться и выражал вслух свое удивление:

- О-о! Вот это грибы! И так рано появились! Где это вы набрали их?

Учитель отвечал, ничего не утаивая. Пока он дошел до Антонины Михайловны, несколько хуторянок отправились осматривать грибные места. Удивилась также и Антонина Михайловна.

- Что же вы будете делать с ними? - поинтересовалась она.

- Отдаю их вам. Что хотите, то и делайте, Антонина Михайловна.

- Ну, так у нас сегодня будет фриштик...

Антонина Михайловна стала перебирать грибы, чтобы приготовить их по своему способу. Одна только Лида не проявляла никакого интереса к добыче своего учителя, и это немного обидело его.

- Лида, ты любишь собирать грибы? - спросил он.

Лида виновато улыбнулась.

- Я никогда не собирала их. Землянику я люблю собирать...

- Эх, Лида, Лида! - с укоризной сказал учитель, и глаза его загорелись.

Он вспомнил свое детство и свои грибные походы. Целая вереница разнообразных картинок, образов прошла перед его глазами. Он не мог сдержаться, чтобы не рассказать об этом.

- Нет для меня ничего лучшего на свете, как ходить одному по грибным местам и собирать боровики. Люблю я их. Они словно мои друзья, только говорить не умеют. Встанешь, бывало, раненько, пойдешь в лес, захватив кузовок, на облюбованные заранее места. В лесу еще темно, ждешь, пока рассветет, чтобы первому осмотреть грибные места. А в лесу так тихо, так хорошо - ну, просто хочется петь песни! Ты понимаешь это, Лида?

Лида не понимала этого. Она слушала учителя, но думала в эту минуту о чем-то другом. Вопрос учителя застал ее врасплох. Улыбнувшись виноватой улыбкой, опустила голову и тихо проговорила:

- Так рано я никогда не вставала, а ходить в лес одна боюсь.

Ее ответ охладил пыл воспоминаний учителя. Но он несколько не обиделся да Лиду: зачем было впадать в такой телячий восторг? На мгновение Лобанович замолчал.

- Вот в том-то и дело, Лида, что ты рано не встаешь и не была в лесу до восхода солнца... Ну, да ладно, - прервал себя учитель, - будем заниматься, если моя экскурсия в лес не удалась, - иронически закончил он.

Добрых два часа занимались они, хотя сидеть в хате за надоевшими учебниками и отмахиваться от мух, когда за окном светло, зелено, просторно, удовольствие небольшое. Но ведь нужно повторить все пройденное. Учитель собирался в скором времени поехать в Микутичи к своим друзьям и старался до отъезда как можно больше подучить Лиду. Повторяли грамматику, синтаксис, делали грамматический разбор, писали диктовки, решали задачи. Там, где в подготовке не все шло гладко, учитель не отступал, пока Лида полностью не усваивала того или иного вопроса. Порой она в таких случаях впадала в отчаяние.

- Ничего из моего поступления не выйдет, - говорила Лида. Недовольство и безнадежность слышались в ее голосе.

- Об этом, Лида, ты не думай. Ведь если ты начнешь вбивать себе это в голову, то и в действительности ничего не выйдет. Веселее смотри на вещи!

Учитель терпеливо объяснял девушке то, что было усвоено ею не совсем твердо. Когда ей становилось наконец все ясно, она веселела.

- Ну вот, видишь? Не нужно опускать руки перед трудностями, - подбадривал ее учитель.

Вообще же теперь Лида стала серьезнее и вела себя по отношению к учителю сдержанно и даже как бы немного холодно. После известного случая за полотняной занавеской она не выходила встречать Лобановича и не провожала его, когда он возвращался с хутора в Верхань.

- Ну, сделаем перерыв, - сказал Лобанович и поднялся.

Лида осталась сидеть за столом. Она думала о поездке Лобановича в Микутичи. Почему-то ей не хотелось, чтобы он туда ехал. Сказать же об этом учителю она не отваживалась.

- Чего задумалась, Лида?

Лида еще ниже наклонила голову.

- Так, ничего.

Помолчав немного, она подняла глаза на учителя и тихо сказала:

- Не надо вам ехать в Микутичи.

Лобанович удивился.

- Почему?

- Так, - ответила Лида, - не знаю. Но не ездите.

Учитель больше ничего не добился от Лиды. Она встала из-за стола и выбежала из хаты.

Тем временем Антонина Михайловна поджарила грибы, щедро заправила их сметаной.

- Давайте немного перекусим. Попробуйте моей стряпни и скажите, гождусь ли я в кухарки.

Она застлала стол чистой скатертью, принесла тарелки, крестьянскую закуску, поставила графинчик наливки и грибы.

Лобанович вынужден был признаться, что таких вкусных грибов он не ел никогда. Лида также хвалила грибы и ела их с удовольствием. А затем сказала:

- Пойду позову Колю, пусть и он попробует.

Когда она вышла из хаты, Антонина Михайловна, минуту помолчав, сказала:

- Закружили вы голову моей Лиде...

В этих словах учитель почувствовал и другие, невысказанные: "А если это так, то ты уж и не бросай ее".

Учитель чувствовал себя неловко, но все же сумел выдать несколько слов.

- Дитя она еще. Все это пройдет у нее.

Идя в Верхань, учитель много чего передумал. И мысли свои заключил он украинской песней:

Ой, не ходы, Грыцю,

Та й на вечорницю!

XX

На школьном крыльце Лобановича встретила бабка Параска. По ее озабоченному лицу и той хитровой улыбке, которая светилась на нем, учитель догадался - бабка знает какую-то новость. Но бабка не торопилась рассказывать, потому что не знала, как примет эту новость учитель.

- Ты, бабка, что-то скрываешь от меня? - заметил Лобанович.

- Этого, паничок, не скроешь, - ответила бабка и, понизив голос, проговорила: - Гость к вам приехал.

- Гость? Какой гость?

- Не сказал, кто такой, не назвался.

- А где он?

- Там, - показала бабка на дверь, что вела в квартиру учителя.

Пока шел этот разговор, неведомый гость подкрался к двери и запер ее на ключ. Лобанович заметил это лишь тогда, когда постучал в дверь, а затем и толкнул ее. Но дверь не открылась и никто не отозвался.

"Заснул он там, что ли? И кто это такой?" - подумал Лобанович, стоя возле двери. Он постучал сильнее. Незнакомый гость забарабанил изнутри пальцем по двери, выстукивая целую мелодию: "Тра-та-та! Тра-та-та! Тра-та-та!"

"Кто-то из близких друзей, - подумал Лобанович, - но кто?"

Он постучал еще раз и, стараясь говорить басом, спросил:

- Терем-теремок! Кто в тереме живет?

Писклявый голос из-за двери, также измененный, ответил:

- Я мышка-норушка! А ты кто?

- Я медведь, - ответил Лобанович, - и могу выломать дверь.

- Тельшинский? - спросил тем же писклявым голосом гость.

И в тот же миг почему-то в памяти Лобановича промелькнула картина встречи с Турсевичем на Полесье. Лобанович тогда точно таким же образом подшутил над приятелем, как теперь шутит гость над ним.

- А-а-а! - вскрикнул Лобанович. - Загадка разгадана. Открывай, Максим, дверь!

В замке лязгнул ключ. Дверь открылась. Действительно, это был Турсевич. Отступив на шаг, он пригнулся, одной рукой уперся в колено, а другой показывал на Лобановича а хохотал.

- Не ждал меня? - спросил он.

Вместо ответа Лобанович бросился к приятелю, крепко обнял его.

- Ждать-то я ждал, но только не сегодня. Почему не написал, когда приедешь? Я встретил бы тебя.

- А я решил преподнести тебе сюрприз, застать тебя врасплох, - ответил Турсевич, а затем спросил: - Ты где же это бродишь?

- Где я был, там теперь меня нет.

- Вишь ты какой конспиратор! Ну, покажись, что ты за человек.

Турсевич взял приятеля за плечи, повернул его направо, налево, поглядел в лицо.

- Ничего, можно смело принимать в солдаты, - заключил Турсевич свой осмотр.

- Лучше, брат, быть арестантом, чем слугою царя, - шутливо ответил Лобанович.

- Ну, это как на чей вкус, - заметил Турсевич. - Что касается меня, то я не хотел бы стать ни тем, ни другим.

- А если бы перед тобой поставили такую дилемму - солдат или арестант? Что ты выбрал бы?

Турсевич, видимо, счел, что этот вопрос не имеет под собой реальной почвы, и не ответил на него.

- Ни солдатом, ни арестантом не хочешь быть? - заметил Лобанович. - А я, брат, живу по поговорке: "От сумы да от тюрьмы не отрекайся". Ну, да ладно, - прервал он самого себя. - Рад, что ты приехал... Скажи, как находишь ты мое новое место?

Турсевич одобрительно мотнул головой.

- Гм! Хорошее местечко, ей-ей! Не то что паше бывшее Тельшино! Простора много, свет видать.

- А я с удовольствием вспоминаю Тельшино. И когда думаю о нем, - а думаю часто, - меня охватывает грусть, словно я утратил что-то дорогое. Может, потому, что там оставлена некоторая частица души, - с печалью в голосе проговорил Лобанович.

- Знаю, знаю, что ты утратил, вернее - кого утратил: Ядвисю, - пошутил Турсевич, внимательно глянув на приятеля.

Лобанович немного смутился. Само слово "Ядвися" больно отозвалось в его сердце, и наблюдательный Турсевич это заметил.

- Что, не правду сказал? - не оставляя шутливого топа, со смехом воскликнул Турсевич, но, чувствуя, что он затронул рану в сердце Лобановича, уже серьезно добавил: - Ты, Андрейка, не гневайся и не сердись на меня. Прости, если затронул твою больную струнку. Ядвися стоит того, чтобы о ней порой и вздохнуть.

Лобановичу хотелось сказать: "Пока буду жить, буду помнить ее. Но исчезла она с моего неба и следы замела за собою".

Вместо этого он подмигнул приятелю и, так же переходя на шутливый тон, сказал:

- Вижу, что ты по ней вздыхаешь.

- Ну, где уж мне вернуть то, что с возу упало! - махнул рукой Турсевиц. - Хочу еще поучиться, а потом жениться.

- Ладно, ладно, браток, воспоминания потом! - засуетился Лобанович. - И был бы я дурак, если бы спросил тебя: "Есть хочешь?"

Не давая приятелю опомниться, Лобанович крикнул:

- Бабка Параска!

Вошла бабка, окинула взглядом молодых учителей. Она увидела, что они рады друг другу, и на душе у нее стало легко.

- Вот что, бабулечка, - обратился к ней Лобанович, - напеки нам картофельных пирожков. Максим Юстинович, - Лобанович показал рукой на Турсевица, - никогда в жизни не только не ел, но и не видел таких пирожков.

Бабка Параска вся так и просияла, а Лобанович продолжал:

- Вот, бабка, три рубля. Пошли Пилипа в монопольку, пусть возьмет полквартиры. К нам приехал гость, надо угостить его так, чтобы ни нам, ни людям за нас совестно не было.

Бабка ласково улыбнулась и вышла из комнаты.

- Золотая бабка! - сказал Лобанович.

Турсевиц рассудительно заметил:

- Зачем такие хлопоты? Андрей, не глупи!

- Не каждый день такое бывает. Вспомни, сколько времени мы не виделись! Как же не отметить это событие?

- Ну, это я так себе сказал, для приличия, - засмеялся Турсевиц и потряс Лобановича за плечи.

Пока бабка Параска сутилась в кухне, хозяин и гость решали, как удобнее разместиться.

- Впереди все лето, - говорил Лобанович, - тебе нужно заняться зубристикой, так давай устраиваться, как лучше и удобнее для тебя. Вот одна комната, а вот другая. Есть диванчик и койка - выбирай что хочешь. Стол общий.

Турсевиц комически развел руками, словно удивляясь богатству своего друга.

- Такая роскошь, такое богатство! Не знаешь, на что смотреть и что выбирать, - смеялся он. И вспомнил по этому поводу один случай: - Некий бедный человек встретил учителя и обратился к нему с просьбой оказать денежную помощь. "И рад бы я вам помочь, но откуда деньги у бедного сельского учителя?" - "Вы сельский учитель? - удивился бедняк. - Извините, я этого не знал". Он полез в карман, достал троячку и протянул ее учителю.

- Смеяться здесь или плакать? - отозвался Лобанович и добавил: - Лучше посмеяться. Зато у сельского учителя совесть чистая, это не обдирала урядник, не пристав и не волостной писарь. По-моему, сельский учитель самый чистый и самый святой человек в царской России.

- Приятно слышать такие отзывы о нашем брате, - вставил слово Турсевиц. - Да оно, может, и правда. Но не надо забывать одного обстоятельства: посади ты его возле вкусного и жирного пирога - так не споткнется ли и наш брат, как ты думаешь?

В приятельской беседе, в воспоминаниях о прошлых днях, о товарищах и общих знакомых время шло незаметно. Бабка Параска приготовила закуску, накрыла стол белой как снег скатертью, поставила тарелки, положила ножи и вилки и затем принесла из кухни вместительную сковороду с душистыми шкварками и яичницей. Вскоре появились и знаменитые картофельные пирожки.

- Ну, что ты скажешь про бабку Параску? - спросил Лобанович.

- Молодец твоя бабка! - похвалил Турсевиц.

- И легенда об учительской бедности не совсем отвечает действительности, - сказал Лобанович, показывая на сковороду со шкварками, на полбутылки водки и на

картофельные пирожки. - Ну, так давай пропустим по чарке. За нашу встречу, за нашу учительскую бедность, за чистоту и святость!

- Принимаю! Аминь! - подтвердил Турсевич, берясь за чарку.

XXI

Старые друзья-приятели Турсевич и Лобанович разместились в квартире наилучшим образом. Все поделили, размежевали, и никто ни в чем не мешал другому. Может, этому способствовала учительская бедность, о которой рассказывал Турсевич, и учительская "святость и чистота", за которые поднимал чарку Лобанович.

Каждый из них в меру своих душевных сил и в соответствии с особенностями своего характера приносил дань на алтарь дружбы и товарищества, если говорить высоким стилем. В определенные часы они разбредались кто куда. У каждого была своя дорога. Турсевич брал учебник, шел куда-нибудь в тихий уголок и старательно занимался подготовкой в институт. По сердцу пришлось ему верханское кладбище, особенно после того как Лобанович рассказал о неизвестной влюбленной паре, нашедшей себе там тихое пристанище и убежище. Сам хозяин также имел свои излюбленные местечки для прогулок - отправлялся в лес по грибы, хоть напасть на такое нетронутое местечко и на такое множество боровиков, как довелось ему недавно, больше не случалось.

В определенные часы приятели сидели вместе, беседовали, спорили, не соглашались друг с другом, но не выходили за границы дружбы. Этому способствовало, видимо, и то обстоятельство, что друзья жили под одной крышей не очень долгое время. Они считали, что знают друг друга до самых что ни на есть мельчайших подробностей. Но в народе бытует простая и мудрая пословица: "Чтобы узнать человека, нужно съесть с ним пуд соли". Наши друзья не съели еще и одного фунта соли, а между ними уже начали возникать споры, которые чем дальше, тем больше разъединяли их и воздвигали между ними стену, разрушить которую было не так легко. Поводом для таких споров обычно была Государственная дума, вернее сказать - политическая обстановка в стране. Турсевич в своих политических устремлениях не шел дальше кадетской партии, она была для него политическим идеалом.

- О, если бы только в России добились того, что ставит своей политической программой конституционно-демократическая партия! - говорил Турсевич. - Уже один тот факт, что в кадетской партии собран лучший цвет русской интеллигенции - профессора, адвокаты, врачи, инженеры, - о многом говорит и выгодно рекомендует партию народной свободы.

- Предположим, что кадеты осуществили свою программу, - вставил слово Лобанович, - чего добился бы тогда народ?

- Во-первых, безземельное и малоземельное крестьянство получило бы землю. Во-вторых, самодержавный строй был бы ограничен, а к этому стремится преобладающее большинство населения. Министры и губернаторы отвечали бы перед Государственной думой. И мы, сельские учителя, были бы поставлены в несравненно лучшие условия. И все население имело бы широкие политические права. Ты знаешь, - продолжал с увлечением Турсевич, - как определяла задачи Государственной думы кадетская газета "Русь"? "Главное назначение думы, которая теперь выбирается, - писала эта газета во время выборов, - и партии народной свободы в ней - быть бичом народного гнева. Изгнав и отдав под суд преступных членов правительства, ей придется заниматься только неотложными мерами, а затем созвать подлинную думу, на более широких основаниях". Разве в наших условиях это малая программа? - с видом победителя спросил Турсевич и добавил: - Помоги им только, боже, добиться ее осуществления!

- Но пока что, - заметил Лобанович, - ни одного царского сатрапа дума под суд не отдала. А разве их не за что судить? На дело получается обратное - сатрапы сами начинают шипеть на думу. Скоро они не только будут шипеть, но и топтать ногами, а может, и по шапке ей дадут. Вот ты ссылался на газету "Русь", я тебе приведу слова другой кадетской

газеты. Она писала о том, что успех кадетов на выборах обратил на себя внимание "сфер" и даже обеспокоил эти "сферы", то есть сатрапов. Но потом "сферы" опомнились, осмотрелись и пришли к заключению, что успех кадетов на выборах и сама кадетская дума просто выгодны для царизма... А кадеты пусть себе пошумят, помашут кулаками - драться ведь они не полезут, - пусть покритикуют правительство и даже погрозыт кое-кому из министров. Ничего страшного в этом нет, потому что ни кадетская, ни другая какая-либо дума министров не назначает. Мне кажется, эта кадетская газета, - а называется она "Наша жизнь", - стоит гораздо ближе к истине, чем твоя "Русь".

- Так, по-твоему, самый факт существования Государственной думы не имеет никакого значения? - нахмурившись, спросил Турсевич.

Лобанович опустил глаза. В первое мгновение он не знал, что ответить на этот вопрос. Нужно было выиграть время, и он сказал, зайдя издалека:

- Одна хорошо знакомая мне учительница - не знаю, где она теперь и что с нею, - рассказывала о босяке, который просил денег на выпивку. Когда учительница спросила, сколько же ему нужно, босяк глубокомысленно приставил палец ко лбу и сказал: "Впервые наталкиваюсь на такой философский вопрос!" Так вот и мне остается повторить слова этого босяка в связи с твоим вопросом.

Турсевич пренебрежительно махнул рукой.

- Государственная дума есть действительность, - значит, ее существование - явление разумное.

- Залез ты, брат, в такие философские дебри, откуда и не выбраться. "Все действительное разумно!" - подчеркнуто иронически воскликнул Лобанович. - Самодержавный строй - также действительность и, значит, разумен? Зачем же тогда бороться против него? Ты начинаешь бросаться в софистику. Жизнь и природа и все явления жизни не находятся в состоянии покоя и неподвижности. Еще древний греческий философ сказал: "Все течет и все изменяется", причем движение, развитие жизни не обходилось и не обходится без борьбы. А все, что имеет начало, имеет и конец. Вот почему я так уверен, что и самодержавию с придурковатым Николкой придет конец не сам собой, а в результате революционного восстания всего народа. Но не кадетская Государственная дума приложит к этому свою руку. Кадетская дума - тормоз народного восстания против коронованного пугала на троне. Каждый, кто любит народ, идет с народом, должен стать на путь беспощадной, сознательной борьбы, борьбы по единому плану, во имя ниспровержения идола на троне и его помощников, слуг и защитников. Думаю, что эта моя оценка Государственной думы тебе понятна.

Удивленный, озадаченный Турсевич недоуменно развел руками, внимательно глядя на своего бывшего ученика, а нынешнего друга.

- Ого-го! - воскликнул он. - Не надеялся я услышать от тебя такую... ну, как тебе сказать... концепцию... Далеко же ты махнул! Давай будем откровенными: скажи, к какой партии ты принадлежишь?

- Если быть откровенным, как ты предлагаешь, то скажу тебе: ни к какой партии я не принадлежу.

- Почему же это так? - спросил Турсевич.

- А вот почему. Временами мне казалось, что правду несут кадеты. Ну, знаешь, "лучший цвет русской интеллигенции", как аттестуешь их ты. А потом, прислушавшись к эсерам, я подумал, что правда на их стороне, и готов был стать на их позиции. Но довелось и приходится мне, как и всякому из нас, кто ищет правды, слушать и социал-демократов. Веско основательно, правильно говорят они. Есть нечто общее и для эсеров и для социал-демократов - стремление свергнуть самодержавный строй. А на чьей стороне правда, я еще не знаю точно. Но я мыслю себе, что жизнь и дальнейшая борьба за народовластие покажут, кто стоит на верном пути, а кто ошибается. Тогда я присоединюсь к тем, кто говорит правду.

Турсевич укоризненно покачал головой.

- Эх, Андрей, Андрей! - сокрушенно заговорил он. - Тебе уже было предупреждение в революций, и довольно грозное. Поиграл - и хватит: ведь ты играешь с огнем! А есть поговорка: "Возле воды намокнешь, возле огня обожжешься". Я стою за эволюцию. Всякому явлению на свете свое время. Дитя не становится сразу взрослым человеком. Зачем насильственно врываться и вмешиваться в ход событий, которые от тебя совсем не зависят? Вот благодетели человечества подстрекали народ на забастовки, на восстания, на разгромы помещиков - что получилось? Ты знаешь рассказ из школьной хрестоматии, как мальчик раскрывал почки, бутоны цветов, чтобы они быстрее зацвели на клумбе? Раскрыл их не в пору, а цветы погибли.

- А я тебе напомним другой рассказ - как отец поучал сыновей, чтобы они жили в дружбе и согласии. Помнишь, про веник? Пока веник был связан, сыновья сломать его не могли, а развязали - по пруту сломали легко. Так вот, когда народ осознает свои интересы и свою силу и будет крепко сплочен, тогда он легко выметет грязь и мусор из своей хаты - царя, князей, графов и всякую другую погань. За это я и буду бороться. Кроме закона эволюции есть и закон революции. Одно связано с другим. И знаешь, мой дорогой, в учительском институте ничего тебе об этом не скажут.

XXII

После этих споров друзья почувствовали, что их дружба дала большую трещину, что их пути направлены в разные стороны и никакие разговоры их уже не соединят. Турсевиц искренне жалел своего друга, как человека, который ступил на опасный путь, сознательно обрек себя на страдания, тюрьму и неволю. "Чего же другого можно ожидать на таком пути? Зачем он это делает? - наедине с собой спрашивал себя Турсевиц. - И разве это верный путь?" Его, Турсевица, обязанность - предостеречь младшего и менее опытного в жизненных делах друга от той опасности, по краю которой он ходит.

И Турсевиц твердо решил всерьез поговорить с Лобановичем обо всем этом, только не сейчас, когда жар споров еще не остыл.

В свою очередь Лобанович хранил в душе теплое чувство к Турсевицу, хорошему другу своих детских и юношеских дней. Перед его глазами вставало Полесье, путешествие в Любашево, куда перебрался Турсевиц из тельшинской школы, их разговоры и споры. Тогда споры не разлучали их, а, наоборот, еще больше укрепляли их дружбу. Теперь положение изменилось, хотя Лобановичу жаль было Турсевица, как человека, которого заело мещанское стремление к спокойному и сытному куску хлеба, к мирной, беззаботной жизни. В этом стремлении Лобанович видел сходство между Антипином и Турсевицем.

Ни Лобанович, ни Турсевиц ничем не проявляли своих затаенных чувств, старались не говорить о них и о тех позициях, на которых теперь они стояли, будто ничего особенного между ними не произошло.

Турсевиц еще больше углубился в подготовку к поступлению в учительский институт. Лобанович бродил по верханским околицам. Еще раз побывал и на том месте, с которого можно было видеть призрачный замок.

Между тем приближался день поездки в Микутичи, где должны были нелегально собраться сельские учителя и обсудить программу своей политической деятельности. В стране назревали не очень радостные события. Все более нагнали сатрапы Николая II и выше поднимали голову. Не так уж велики были требования думы в лице ее кадетского большинства, но и самые мизерные требования тормозились и не выполнялись. Со всех концов России крестьяне слали в думу наказы о земле, направляли в Петербург своих ходоков, требуя безотлагательно решить вопрос о наделении земель безземельных и малоземельных. Часть думских депутатов, преимущественно крестьянских, предложила обратиться с думской трибуны ко всем крестьянам с призывом оказать помощь думе в борьбе с царизмом. Кадетское большинство на это не пошло, да и как оно могло пойти, если сами кадеты были те же помещики и представители буржуазной интеллигенции?

Они направляли "запросы" министрам, шумели. Министры либо совсем не отвечали, либо со своей стороны угрожали, их угрозы были несравненно более действенными. Упорно носились слухи о роспуске думы. К этому времени был назначен новый министр внутренних дел - Горемыкин. Еще не успел войти он в свою роль, а уже всю Россию облетело стихотворение:

Милый друг, не верь надежде,
Горемыкину не верь:
Горе мыкали мы прежде,
Горе мыкаем теперь.

Пока в Государственной думе намеревались написать обращение к народу, к крестьянам царской России обратился не кто иной, как сам Горемыкин.

Если у крестьян и были еще надежды получить через думу землю, то горемыкинское обращение, - а обращался он от имени правительства, - развеяло эти надежды в прах. Горемыкин предостерегал крестьянство от чрезмерной жажды земли, от поспешного стремления овладеть ею в самый короткий срок, потому что крестьяне, мол, как дети, часто не понимают, чего они хотят. Горемыкин внушал народу, что царь и его слуги всегда заботились и будут впредь заботиться о народе, что они не забывают его интересов. Разрешить же одним махом такой вопрос, как земельный, нельзя, потому что он очень и очень сложный. И не нужно верить тем крикунам, которые обещают народу золотые горы. Все придет в свое время.

"Вот это реальная и знакомая политика, - думал Лобанович, читая горемыкинское обращение. - Но как народ воспримет ее?" Остатки веры в Государственную думу, еще тлевшие в сознании учителя, теперь окончательно развеялись. Он еще больше убедился в том, что в споре с Турсевичем правда была на его стороне, на стороне Лобановича. И здесь он - уже в который раз - невольно вспоминал ту лужайку, где взору учителя рисовался вдалеке подернутый дымкой чудесный призрачный замок.

Разве надежда на Государственную думу не была такой же иллюзией, как тот несуществующий замок?

Горемыкинское обращение к народу произвело тяжелое впечатление на Лобановича. И надо же, чтобы оно появилось накануне поездки в Микутичи! Черная реакция налегает все сильнее. Как отразится она на собрании сельских учителей, на их настроении? Не нагонит ли страх и не остудит ли она горячих порывов неискушенных в борьбе товарищей? Хотелось перекинуться живым словом, поделиться мыслями с близким человеком.

Более близкого человека, чем Турсевич, у Лобановича здесь не было. Правда, они поспорили и резко разошлись во взглядах на Государственную думу и на политическую борьбу. Но ведь спор не ссора, и дружбы он не уничтожил, хотя и надломил ее. В определенное время дня друзья встречались: это были часы завтрака, обеда, ужина и поздние летние вечера.

- Может, ты имеешь охоту прогуляться со мной по дороге на Шабунь? - спросил однажды Лобанович Турсевича.

Это предложение Турсевич понял как попытку со стороны друга восстановить согласие и прежние чистосердечные, дружеские отношения между ними.

- А что это за дорога такая, да еще на Шабунь? - спросил Турсевич. Было очевидно, что он ничего не имеет против прогулки.

По какой-то странной ассоциации Лобановичу вспомнилась одна библейская легенда. На вопрос Турсевича он шутливо ответил:

- Перед тем как идти на проповедь, Христос постился сорок дней и сорок ночей. После этого он пошел в пустыню помолиться. Там встретил его дьявол. Он начал искушать Христа, возвел его на высокую гору, показал все царства земли и все их богатства "Все это я отдам тебе, - сказал дьявол, - если ты поклонись мне". Что ответил Христос дьяволу,

ты знаешь: "Кланяться можно только богу", - и прогнал искушителя прочь. Я, конечно, не дьявол, а ты не Христос, и ничего я тебе не обещаю, кроме одного: я покажу тебе чудо природы.

Турсевич насторожился. В необычном ответе приятеля он учуял какую-то хитрую недомолвку, намек на нечто загадочное, тайное.

- При чем же тут дьявол и Христос, проповедь и искушение? - поинтересовался он.

- Ну, знаешь, аналогия, правда, очень далекая: дьявол возвел Христа на высокую гору, а я тебя хочу повести на обыкновенный пригорок и показать нечто похожее на мираж.

- Ну ладно, давай пойдем, посмотрим, что там за мираж, чудо природы, - согласился Турсевич. Ему хотелось пройтись по верханской улице и посмотреть на село, которого он еще толком не видел.

Не успели они отойти и на сто шагов от школы, как встретился им помощник писаря Хрипач. Хрипача, так же как и сову, редко случалось видеть днем. Он почти никогда не бывал трезвым, а всегда либо сильно пьян, либо "просто под хмельком". Теперь он был "просто под хмельком". Приблизившись к учителям, Хрипач снял кепку и галантно раскланялся. Это был уже пожилой человек, невысокого роста; синевато-серые глазки его воровато бегали по сторонам. Поседевшая борода, аккуратно подстриженная, придавала ему вид местечкового адвоката, каким он по существу и был. Кроме своей работы в качестве помощника писаря Хрипач писал разные прошения, жалобы, что составляло значительную доходную статью в бюджете волостного пропойцы. Он также пописывал и в местных черносотенных листках, стоя на позициях "истинно русского человека".

- Просветителям народа мое нижайшее! - воскликнул Хрипач, подавая руку Лобановичу, а затем и Турсевичу. - Хрипач моя фамилия, - сказал он при этом. - Ну, так что? Крамольная дума доживает свои последние денечки, верьте мне! Читали обращение к народу министра Горемыкина? Голова, светлая голова! Правда?

- А по-моему, у вас, Никодим Полуэктович, голова светлее, чем у Горемыкина, - отозвался Лобанович.

Хрипач обеими руками пожал ему руку.

- Что вы, что вы! Я - бледная тень его. Разве можно равнять меня с таким высокопоставленным человеком!

Учителя пошли дальше. Хрипач направился в сторону волостного правления. Шел и вполголоса напевал:

Эх ты, Русь, ты Русь святая!

- Вот такая погань, такие паразиты - опора царского трона, - говорил Лобанович. - А нюх у него есть: думу разгонят.

- Тебя это не должно особенно задевать, - заметил Турсевич, - ведь ты ей никакого значения не придаешь.

- Дело не в думе, а в том, что царские палачи берут верх. Но я припоминаю одно стихотворение, которое очень люблю:

Как, февраль, ни злися,
Как ты, март, ни хмурься,
Будь хоть снег, хоть дождик, -
Все весною пахнет!

Разговаривая на темы дня, они подошли к той точке на пригорке, откуда видел учитель замок. Лобанович остановился:

- Стой!

То ли он остановился не на том месте, то ли прозрачность воздуха теперь была иной, или, может, волнение самого Лобановича явилось тому причиной, но только на этот раз

отдельные части "замка" не сливались в одно целое и не давали желанного эффекта. Обескураженный, Лобанович оглянулся по сторонам, сделал шага два вперед, потом попятился назад, не сводя глаз с того места, где прежде выступал "замок".

- Что с тобой? - спросил Турсевич. - Не надумал ли ты кадрили танцевать?

Лобанович, казалось, не слышал вопроса друга и все топтался по траве, то подвигаясь вперед, то отступая назад.

- Во-во! С этого места! - обрадованно вскрикнул Лобанович. - Иди-ка посмотри! - Он хорошо видел контуры "замка", башни и купол на одной из них.

Турсевич подошел и начал всматриваться в то место, куда показывал друг.

- Ничего не вижу, - проговорил он.

- Да ты присмотришь: вон там, там! Видишь, башни!

- Шутник ты, - засмеялся Турсевич, - Ну, вижу. Стоят деревья на разном расстоянии друг от друга, пригорочки между ними... Или глаза твои подкачали, или чересчур развито воображение.

- Значит, способность восприятия у нас разная, - разочарованно сказал Лобанович. - А я хотел сказать тебе: "Вот он, иллюзорный замок! Не является ли такой же иллюзией и Государственная дума?" Не вышло, эффект не получился. Прошу прощения... И как это ты не видишь того, что так ясно стоит в моих глазах?

XXIII

Турсевич долго не выпускал руки Лобановича.

- Смотри, Андрейка, не задерживайся там. А то, знаешь, одному в чужой школе... как тебе сказать... не по себе.

Говоря так, он внимательно всматривался в лицо, в глаза Лобановича, словно желая прочесть мысли и настроения приятеля. Турсевич догадывался, что учительская молодежь, увлеченная революционным потоком, собирается тайно для какого-то недозволенного дела. Прямо говорить об этом он не решался: боялся, как бы приятель не подумал о нем как о реакционере, человеке, который не сочувствует революции. Лобанович, соблюдая конспирацию, даже Турсевичу не говорил, для чего едет в Микутичи, - ему просто хочется узнать, как живут родные, мать, братья и сестры, и повидаться с друзьями.

- Ты на меня смотришь так, словно я спрятал под пиджаком топор и отправляюсь на разбой либо собираюсь ехать в Америку.

- Разве можно тебе верить? - шутливо ответил Турсевич. - Мало ли какие мысли могли овладеть тобой в полесской глухомани!

Он еще раз крепко пожал руку Лобановичу и серьезно сказал:

- Ты все же будь осторожен, Андрейка! Я тебя люблю... ну, и уважаю... Долго не засиживайся, мне одному без тебя скучно.

Бабка Параска, притаившись за дверью, прислушивалась к разговору гостя с хозяином. Услышав, что Лобанович выходит из комнаты, она юркнула в свою каморку и оттуда сквозь приоткрытую дверь смотрела в коридор, на своего "монашка". Лобанович зашел к ней.

- Ну, бабка, иду на станцию. Поеду не более чем на два-три дня. А ты здесь одна ухаживай за гостем. Всего доброго, бабка Параска!

Он подал ей руку. Бабка так расчувствовалась, что слезы покатались по ее сухим, морщинистым щекам.

- Ну, дай же вам боже счастливого пути и вернуться здоровым!

Она вышла на крыльцо и с материнской печалью смотрела на Лобановича, пока он не повернул направо и не исчез за строениями, где дорога спускалась в ложбину.

Бабка пошла в свою каморку, чтобы еще раз увидеть "монашка", когда он появится на другой стороне ложбины. Из окошка бабки хорошо видны пригорок и панская усадьба,

мимо которой проходила дорога. Фигура Лобановича выплыла из ложбинки и показалась на пригорке. Путник на мгновение остановился и оглянулся. Это очень обрадовало бабу Параску. Она загадала: если оглянется, то с ним ничего плохого не случится в дороге и он счастливо вернется домой. Бабка с облегчением вздохнула, перекрестила учителя и пошла кухарничать в кухню, вспомнив про гостя.

Дорога - большая она или малая - всякий раз волновала Лобановича и настраивала его мысли и чувства на сладостно-печальный лад. Место, с которым он уже свыкся и которое покидал, вставало перед ним в ином свете, и то, чего он прежде как бы не замечал, становилось дорогим и близким, и с ним жаль было разлучаться. Вот так и сейчас: вспомнилось верханское кладбище, узенькая дорожка-тропинка среди зеленых хлебов, которая вела в Тумель, где протекала Уса и стояла мельница. Вспомнился и тот пригорок, куда ходил учитель несколько раз любоваться призрачным замком. Хотя последняя прогулка с Турсевицем и не дала желанного эффекта, все же Лобанович испытывал приятное чувство, припоминая и призрачный замок и полянку, на которой выплывал этот замок из дымчатой дали.

С такими мыслями и чувствами подходил Лобанович к хутору Антонины Михайловны. Вот и знакомый поворот, отсюда до хутора не более полуверсты. Зайти или нет? Заходить сюда Лобанович, отправляясь в дорогу, не думал. Да и зачем? Все, что нужно было сказать Лиде-ученице, он сказал. Но у него было еще время. Чем сидеть на станции и ждать поезда, не лучше ли свернуть с дороги и еще раз напомнить Лиде, что она должна делать в его отсутствие? С другой стороны, хотя он едет и ненадолго, но всякое может случиться. Перед глазами у него встал образ Лидочки. Что плохого в том, если он по пути зайдет к ней, лишний раз поговорит о дальнейших занятиях? И тут же вспомнились слова Антонины Михайловны о том, что Лида не безразлична к своему учителю. Нет, пожалуй, и не стоит заходить.

Пока Лобанович таким образом колебался, раздумывал, навестить ли хутор, ноги его сами направились туда.

На дворике Антонины Михайловны было пусто. Подойдя к самому дому, Лобанович заметил увесистый замок на двери. Это было для него равнозначно тому, как если бы у входа висела специальная надпись: "Просим к нам не заходить".

"И зачем я пришел сюда?" - спросил себя Лобанович и задворками, чтобы не бросаться людям в глаза, как вор, направился на дорогу в сторону станции. Сам по себе малозначительный, этот случай испортил учителю настроение. Замок, повешенный на двери, он воспринял почему-то как недобрый знак. Но, отойдя несколько верст от хутора, учитель перестал думать о нем.

День выдался погожий, тихий. Солнце уже давно миновало полдень. Слегка парило. На далеком западе из-за зубчатых перелесков выплывали, как медные горы, клубы туч, окрашенные солнцем в красноватый цвет. Как красиво, величественно выступали они над краем земли, вздымаясь все выше и выше! В этих причудливых, извилистых клубах таилась могучая сила земли и солнца, готовая обрушиться на мирные нивы, леса и долины стрелы молний и потоки дождя. Легкий ветерок совсем успокоился. Настала великая тишина. Даже какой-то жутью веяло от этой необычной тишины.

Лобанович не мог отвести глаз от многоглавых громадин туч и весь отдался чарам земли и неба. Порой, когда попадалось удобное местечко, откуда открывался широкий горизонт, учитель останавливался и несколько минут любовался картинами, встававшими перед глазами.

За ближайшим пригорком, через который шла дорога, ютилась малозаметная, заброшенная железнодорожная станция. Несколько развесистых лип и кленов в одном конце ее и два-три захудалых товарных вагона в другом виднелись издалика. Миновав пригорок, Лобанович очутился почти на самой станции. Она такая же тихая и безлюдная, как те станции на Полесье, где он садился когда-то в поезд... Как быстро проходит время! Давно ли он, Лобанович, приехал сюда впервые, чтобы поселиться в неведомой ему

Верхани? И вот он снова здесь. Тогда была зима, а теперь лето. Тогда он не знал, что такое Верхань, и не думал, что через шесть месяцев снова придется ему быть на этой же станции, чтобы отсюда начинать какую-то новую для себя дорогу. Все эти мысли быстро промелькнули в сознании Лобановича.

На станции он узнал точно, когда проходит пассажирский поезд на Минск и когда откроется билетная касса. Ждать оставалось уже и не так долго. Лобанович занял местечко поудобнее, откуда можно было издали увидеть поезд, чтобы успеть купить билет, а в крайнем случае сесть без билета - с кондуктором легко договориться в вагоне и кое-что даже сэкономить. А самое главное - с этого места хорошо видны могучие грозные тучи.

А гроза надвигалась медленно, но основательно и упорно. Запад темнел. Черная стена туч становилась все более и более плотной. Все вокруг неузнаваемо изменилось. Солнце потускнело и все глубже уходило в облака. Мрак надвигался на землю. Далекий и глухой гром с каждым разом становился сильнее, ближе и грознее. И вдруг от темной, сплошной завесы туч отделился длинный седоватый вал; выгнувшись дугой и занимая половину неба, он быстро катился вперед. Середина дуги как раз надвигалась на станцию, гоня перед собой сжатый ком грозового облака. Блеснула молния, будто какая-то огромная огненная птица раскинула свои крылья и осветила всю тучу. Где-то совсем близко прокатился удар грома. Подул свежий ветер. Посыпались крупные капли дождя, упало несколько шариков града, словно какой-то шутник швырнул горсть белых камешков. А вслед за тем полил дождь как из ведра.

Пока Лобанович добежал до станции, его порядком вымочило. Билетная касса уже была открыта. Купив билет, учитель подошел к окну, любясь бушеванием грозы. Как раз прибыл и поезд, выплыл, словно из тумана, из густой сетки дождя. Лобанович выбежал на платформу и вскочил в первый пассажирский вагон. Хотя он сейчас и вымок, но был веселый и довольный. Даже припомнилась народная примета: если отправляешься в дорогу и тебя намочит дождь, то это к прибыли, к добру.

В вагоне пассажиров оказалось мало. Попадались даже совсем пустые купе. В одном из них обосновался Лобанович. Несколько станций он простоял возле окна, любясь мелькавшими перед ним картинами. Заводить знакомства с пассажирами и пускаться с ними в разговор Лобанович не хотел. Гораздо интереснее наблюдать из окна быструю смену все новых и новых дорожных картин. Грозовая туча поплыла дальше, расцветивая на ярком солнце свои огромные, побелевшие, словно вымытые дождем, клубчатые горы. Лобанович опустил окно и вдыхал прозрачный воздух, очищенный грозой.

Хорошо быть в дороге, которую ты сам себе выбираешь!

XXIV

Солнце зашло. Легкий вечерний сумрак застилал низины серовато-синим покровом, когда поезд замедлил ход перед последней станцией, куда ехал Лобанович. Еще задолго до остановки поезда чувства и мысли Лобановича невольно устремились к этой станции. Как оно все получится? Соберутся или не соберутся хлопцы? Проведут они свой первый тайный съезд или не проведут? Встретит его кто-нибудь или не встретит? Садовичу он писал, что вечером восьмого июля будет на станции Столбуны.

Как же удивился и обрадовался мой неутомимый путешественник, выйдя из вагона и увидев целый кружок молодых, в большинстве своем знакомых ему учителей! Шумной толпой окружили они Лобановича. С некоторыми из них он горячо обнимался, другим приятельски пожимал руки. Громко говорили, смеялись дружным смехом счастливой молодости, наполняя платформу гомоном, возгласами, чем обращали на себя внимание пассажиров и начальства станции. В центре молодой учительской толпы были Садович и смешливый, подвижной Янка Тукала, умевший сказать меткое слово и потешить друзей. Из толпы особенно выделялся Алексей Алешка, могучий, стройный, бывший на целую

голову выше своих друзей. В учительской семинарии Лобанович дал ему кличку "Дед Хрущ". Алешка был на один курс старше Лобановича, но это не мешало их дружбе. Еще в семинарии Алешка отпустил себе усики. Рыжеватые, закрученные вверх кончики делали их похожими на усики хруща. Это и дало повод Лобановичу окрестить приятеля "Дедом Хрущом". Алешка не обижался на свою кличку, его так и звали. Дед Хрущ еще не встречал в своей жизни - правда, прожил он на свете немного - такого человека, который мог бы свалить его с ног.

- В кого ты такой уродился? - спросили однажды Алешку.

То ли в шутку, то ли всерьез, Дед Хрущ рассказал, что его предком был какой-то неведомый драгун. А произошло это так. В той местности, где жили родичи Алешки, находилось имение графа Бутенева-Хребтовича. Давно это было, еще во времена крепостного права. Народ в имении был мелкий, хворый. Вот один из графов надумал завести новое, крепкое племя людей. Всех своих мужиков он перевел куда-то далеко и на долгое время. Остались одни только женщины. Бутенев-Хребтович обратился с просьбой к губернатору прислать на постой в имение эскадрон драгун. Один из них и явился основателем рода Алешки.

Так это было или не так, никто не знал, да и откуда знать такие интимно-секретные дела? Одно только можно сказать - Дед Хрущ был достойным потомком своего неведомого предка и по женской части маху не давал. А что касается микутичских мужчин, то они даже поощряли ухажерство Деда Хруща и говорили: "Такой гвардеец! Не жалко и не обидно, если он оставит здесь после себя кое-какую память: ведь в Микутичах народ начинает мельчать".

Поезд поспешил дальше. Веселый, радостный, возбужденный, Лобанович слился с толпой молодых учителей и затерялся в ней. Шумной, говорливой оравой, - а собралось их здесь человек пятнадцать, - направились они в сторону озера, на дорогу, ведущую в Микутичи. Добрые версты две не прекращались безудержные шутки, толкотня, суматоха. Учителя теперь сами были похожи на своих школьников, чьи дурачества им приходилось сдерживать во время занятий. В летнее время, когда учителя съезжались на каникулы, местным жителям не раз приходилось встречать их, но такого наплыва учительской братии никому здесь еще не случалось видеть. Учителя же, хмельные от своей молодости, здоровья и силы, не обращали ни на кого внимания. Хотя они не выпили, но сейчас им море казалось по колено.

- Эй, вы, слушайте! - крикнул Янка Тукала, обращаясь к друзьям и стараясь их перекричать. - Что вы ржете, как жеребцы! Давайте запоем песню, - знаете, как те местечковые бунтари. "Урядника нет? Стражников нету?" Узнав, что никого нет, они и грянули:

Как у нас на троне
Чучело в короне!
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь!

Янка Тукала, как регент, размахивал руками и орал во все горло, передразнивая местечковых бунтарей. Веселые, возбужденные учителя потешались словами песни и кривляньем Янки Тукалы.

- Давайте, хлопцы, потише, - предостерег Садович. - А ты, Янка, воли горлу не давай, ведь и в этих зарослях можжевельника могут быть уши.

С одной стороны дороги стоял редкий сосняк, с другой - кусты можжевельника, а дальше - ольшаник. На разумное предупреждение Садовича никто не обратил внимания. Только Янка Тукала, которого главным образом касалось замечание Садовича, отозвался:

- Что правда, то правда. Еще один из героев Ибсена сказал: "Если идешь в революцию, то не надевай новых кальсон".

Учителя дружно захохотали. Смеялся и сам Садович. Подойдя к Янке Тукале, он дружески толкнул его в загривок.

- А, чтоб ты сгорел!

А ночь все гуще надвигалась на землю. Даже на западе, где долгое время светилося небо после захода солнца, теперь оно стало тускнеть и окутываться легким летним мраком. В вышине кое-где замигали, как искорки, далекие звезды. Сколько раз каждый из нас наблюдал эту картину короткой летней ночи! С луга, где струился Неман, слегка веяло прохладной сыростью. Тишина, покой, сон царили вокруг. Лобанович невольно вспомнил, как много раз ходил он по этой дороге. Давно ли, встретившись на станции с Садовичем, они ходили в Панямонь, играли в карты! Но сейчас в говорливой учительской толпе трудно было отдаться воспоминаниям, чтобы из отдельных образов прошлого сложилась цельная картина. Хотелось поговорить с Садовичем и о том деле, ради которого собрались учителя. Но обстановка для такого разговора была совсем неподходящей.

Дед Хрущ, не доходя до шляхетского поселка, где находилось также и лесничество князя Радзивилла, зычным басом затянул песню:

Смело, товарищи, в ногу...

Хотя Садович и призывал товарищей соблюдать осторожность, но не мог и сам удержаться, чтобы не присоединить своего голоса к басу Алешки. Когда-то в семинарии он стоял на клиросе рядом с Дедом Хрущом и не хотел уступать ему в басовитости. Песню подхватили все учителя. Очень многие из них были хорошими хористами с хорошими голосами. С первых же звуков песня наладилась, полилась дружным потоком молодых, сочных голосов. Песня захватывала самих певцов, поднимала еще выше и без того приподнятое настроение. Она придавала силы и стойкости в борьбе против зла и социальной несправедливости.

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой,
Братский союз и свобода -
Вот наш девиз боевой!

Вдохновенно пели учителя. И разве это не правда, что они вышли из народа, что они дети забитой, угнетенной трудовой семьи?

Вместе с учителями приближалась песня к усадьбе лесничества магната пана Радзивилла. Отсюда направо и налево и далеко вглубь тянутся бесконечные пространства лесов, широкие полосы так называемой казенной земли. И всеми этими необозримыми просторами полей и лесов владеет один старинный род польского князя Радзивилла. Не слишком ли долго засиделся он в своем несвижском княжеском гнезде? Вот почему, поравнявшись с воротами, ведущими в парк лесничества, боевая песня зазвенела еще громче и суровее. Многим из учителей, в том числе и Лобановичу, казалось, что их вдохновенная, боевая, горячая песня прокладывает дорогу победе народа над кровавым царем, над его сатрапами и магнатами и над всей сворой грабителей и насильников.

Весь репертуар тогдашних революционных песен пропели учителя слаженным хором, проходя мимо лесничества и через шляхетский поселок, а потом и через лес. Тем временем дорога подошла к болотистой низине, через которую была проложена гать. По обеим сторонам болота густой стеной стоял лес. Если, бывало, тихой летней ночью остановишься возле гати и крикнешь, то эхо долго бежит краем болота, отражаясь от стены леса и, уже несколько измененное, снова возвращается сюда.

Сымон Чечик, Садович, Янка Тукала и все хлопцы из Микутич знали эту особенность лесного болота.

- Стойте, хлопцы! - остановился Тукала. - Покричим здесь, послушаем, что нам будет отвечать эхо!

Учителя остановились. Чечик, Садович и Тукала набрали в грудь воздуха и разом выкрикнули:

- У вас министры бы-ы-ыли?

Гулкое эхо побежало краем болота, повернуло назад, и все услышали:

- Би-и-или!

- Хлеба вам дава-а-али?

- Дра-а-али!

Несколько минут забавлялись учителя, слушая переключку своих друзей с болотом и лесом.

Поздно ночью они пришли в школу Садовича.

XXV

Несмотря на позднее время, в квартире Садовича горела лампа. Здесь ватагу учителей поджидали близкий приятель Лобановича Микола Райский и мало известный ему Иван Тадорик - он окончил другую семинарию. Райский остался за хозяина, чтобы приготовить ужин. Это был высокий, подвижной юноша, такой же тонкий, как и Садович, но по характеру добрый, сердечный парень. Он горячо обнял Лобановича и поцеловался с ним. Тадорик ходил по комнате босиком - так вольней ногам, говорил он, - и почти не обращал внимания на шумную учительскую ораву, заполнившую всю квартиру Садовича. Изредка перебрасываясь с кем-либо заковыристыми репликами, он снял со стены скрипку, присел на жесткую кушетку с ободранной обивкой и наигрывал какие-то мелодии.

Манера держать скрипку и смычок и сама игра свидетельствовали, что Иван Тадорик умелый скрипач. Лобанович с удовольствием слушал музыку, всматривался в лицо скрипача, немного угрюмое и слегка изрытое оспой, с насупленными бровями, с плотно сжатыми губами. Широкий лоб и лицо с довольно острым подбородком изобличали в Иване Тадорике, как казалось Лобановичу, человека с выдающимися способностями. Черты лица скрипача напоминала Лобановичу что-то знакомое. Где-то он видел такое лицо, но где? Наконец вспомнил: Иван Тадорик имел что-то общее с немецкий философом-пессимистом Шопенгауэром, только тот был старик, а Тадорик - ровесник Лобановича.

В школе, на квартире Садовича, обосновались Райский, Янка Тукала и Иван Тадорик. Школа Тукалы находилась верстах в пятнадцати от Микутич, а родители его жили не так далеко - за Неманом, в трех верстах отсюда. Но уж такова натура у Янки: полноценным человеком он ощущал себя только тогда, когда находился в кругу своих друзей, когда чувствовал рядом их плечо, на которое можно опереться, когда видел их руку, за которую можно ваяться и идти вперед, не сбиваясь с дороги.

Был уже поздний час. Садович, как хозяин школы я как человек, принявший на себя руководство съездом, хотя в лидеры его никто не выбирал, выступил с речью. При этом он принял соответствующую позу, выпятил немного грудь и придал лицу серьезное выражение.

- Товарищи! - начал он басом. - Мы сошлись и съехались для важного дела. Все честные, передовые люди России выступают на организованную борьбу со злом и несправедливостью...

- А называются они царским самодержавием, - подсказал Иван Тадорик и сбил оратора с толку.

- Не лезь в пекло поперед батьки! - шутливо и в то же время довольно строго заметил Садович. - Что надо сказать, я сам скажу. Не забывай, Иван, не для комедии собрались мы здесь.

- Я и не говорю, что для комедии, - не унимался Тадорик.

Садович не обратил внимания на его вторую реплику.

- Не надо, хлопцы, забывать и в том, что мы должны быть очень и очень осторожными. И это не есть трусость или страх перед полицейскими шнурами, этого требуют интересы дела. На всякий случай я поставил стражу. Товарищи, дело наше очень почетное и очень важное. Подробно о нем мы сегодня говорить не будем: мы обсудим и решим его завтра, в не в стенах школы, где может и шашель подслушать нас, а в открытом поле. Завтра в двенадцать часов все мы соберемся на Пристаньке, неподалеку от Лядин. Сходиться туда нужно небольшими группами, чтобы не бросаться людям в глаза, не вызывать подозрений.

- Правду говоришь, Бас! - поддержал Садовича Владик Сальвесев. Владик страдал недостатком в произношении буквы "р", а потому слово "правда" у него звучало как "прпавда".

- Значит, так, хлопцы, завтра! - продолжал Садович. - А сейчас расходитесь по каморкам да по сеновалам. Не запрещается и с девчатами погулять.

Сказав так, Садович взглянул на Деда Хруща. Тот только усмехнулся и хитро подмигнул Садовичу: знаем, мол, какой ты сам монах!

- В школе останутся бесприютные горемыки: Андрей, Микола Райский, Иван и Янка - по существу одно и то же, что Янка, что Иван, - заметил с некоторой претензией на юмор Алесь Садович.

- Боже, какую премудрость сказал ты, Алесь! - не удержался Тадорик.

Садович посмотрел на Тадорика, покачал головой и сказал:

- "Шел Тадор с Тадорою, нашел лапоть с оборою..."

- Ну, и что же? - спросил Тадорик.

Как видно, он был настроен весьма воинственно.

- Ну, так до завтра! - говорили учителя и понемногу разбредались кто куда.

В школе остались хозяин и его "бесприютные" гости: Лобанович, Райский, Тадорик и Тукала.

- Что же, хлопцы! Садитесь за стол. На большое угощение не рассчитывайте, - пригласил хозяин.

- А все же кое-что есть, - сказал Райский и крикнул: - Акуля!

Широкая, коренастая, румяная Акуля показалась в комнате, выплыв из кухни.

- Подавай, Акуля, что есть, - приказал ей Райский.

Акуля скрылась за дверью комнаты так же молча, как вошла. Иван Тадорик сложил губы трубкой, вытаращил глаза и, обращаясь к Райскому, выкрикнул с деланным изумлением:

- О-о-о! Посмотрим, что это за кое-что!

Тотчас же дебелая Акуля - она была сторожихой при школе и вместе с тем хозяйкой кухни

- принесла пять разнокалиберных тарелок, столько же сборных вилок и пару ножей-инвалидов. Все это она расставила и разложила на Древнем столе, ничем не застав его. У Садовича скатертей не было - он считал их ненужной буржуйской роскошью. Вскоре на столе появилась еще одна тарелка с нарезанными кусочками сала, затем деревянная, кустарного производства миска с хлебом, сковорода с яичницей и огромная глиняная миска с редькой, нарезанной небольшими ломтиками и заправленной кислым молоком. Редьки было не менее полведра.

Тадорик не мог удержаться от реплики.

- Умри, Микола, и больше не кухарничай, ничего лучшего не придумаешь, - сказал он Райскому.

А Райский, ни слова не говоря, подошел к книжному шкафу, вытащил из-за школьных папок кварту горелки и торжественно поставил ее на стол.

- Это дар от моих ничтожных доходов, - проговорил он. - Выпьем, как говорил Тарас Бульба, за то, чтобы храбро воевали.

Учителя так оживились, загомонили, что их голоса сливались в нестройный гул, в котором трудно было разобрать отдельные возгласы.

- Вот это "кое-что"! - весело сказал Тадорик.

- Слава Райскому, доброму сыну Бахуса!

- Дай тебе, боже, счастье, и долю, и рубаху на пуп!

- Живи, Райский, пока сам не скажешь: "Хватит!"

Все, как могли, хвалили Райского за редьку, а главным образом за кварту горелки. Когда же выпили по чарке за его здоровье, Райский сказал:

- Ну, ешьте, хлопцы, да смотрите, чтобы ничего не оставалось, потому что после вас и свиньи есть не будут.

- Здорово, - засмеялся Тадорик.

А Янка Тукала заверил:

- Не беспокойся, Микола, все сметем, и от твоей редьки останутся одни только воспоминания.

Ужин затянулся далеко за полночь. Много было молодого смеха, шуток, веселья. Зашел разговор и о том деле, ради которого съехались учителя с разных концов страны. На вопрос Лобановича Садович сообщил, что всего собралось восемнадцать сельских учителей и что завтра, вернее уже сегодня, приедут еще трое из-под Койданова. Можно надеяться, что из Панямони прибудут Тарас Иванович Широкий и Базыль Трайчанский. Но на этих последних особенно рассчитывать не следует - они люди семейные, хотя на словах и сочувствуют революции, во принять в ней участие вряд ли согласятся.

- Во всяком случае, хлопцы, - говорил Садович, - завтра мы положим начало организации народных учителей в Беларуси. Мы будем пионерами революционного организованного движения в борьбе против проклятого царизма, - немного риторично, но вдохновенно закончил Садович.

Уже давно рассвело. Начинала пробуждаться привычная жизнь деревни.

- Разве мы будем ложиться спать? - спросил Лобанович и внес предложение отправиться на Неман, "чтобы смыть грехи прошлого и облечься в одежду нового Адама", как говорят попы.

Так и не спали всю эту ночь. И запомнилась она Лобановичу на всю жизнь.

XXVI

Акуля на скорую руку приготовила учителям завтрак, правда, не такой богатый, как ужин. Едва уселись за стол, как дверь в комнату, где завтракали учителя, открылась. Порог перешагнул Ничыпар Янковец, а за ним вошли в комнату Пятрусь Гулик и Сымон Лопаткевич. Они только что пришли со станции.

- Приятного аппетита! - громко и торжественно приветствовал Янковец хозяина и его гостей.

Садович, а с ним и гости встали из-за стола, шумно поздоровались с вновь прибывшими, а затем усадили их за стол.

Среди учительской гольтыбы самым богатым был Ничыпар Янковец. Во время русско-японской войны он добровольцем поехал на Дальний Восток и попал в интендантство. Ему довелось быть свидетелем самого разнузданного взяточничества. Интендантские компанейские чиновники предложили и ему получить свою долю, но Янковец считал для себя зазорным обкрадывать свою армию и только в самом конце войны, когда все распалось по швам, взял немного "на дорогу". Вообще же Ничыпар был хлопец разудалый, живой и бойкий, любил временами и гульнуть. Вот почему сейчас, сев за стол и окинув его взглядом, он велел Садовичу позвать Акулю. Ничыпар дал ей рубль.

- Принеси полкварты и закусить - хоть хвост от тарани. Да на одной ноте... Ну, так как, потрясатели самодержавия? - обратился он к учителям.
- Тряхнем! - грозно вскинул кудрявую голову Тадорик.
- А ты, Ничыпар, не собираешься тряхнуть его? - поинтересовался Лобанович.
- Пустился Микита в волокиту, так иди и назад не оглядывайся, - решительно заявил Ничыпар.

Только тихий и боязливый Сымон Лопаткевич несмело отозвался:

- Самодержавие не груша. Смотри, чтобы нас самих не тряхнули. - Сказав это, Лопаткевич поправил на носу пенсне, придававшее ему довольно важный вид.

- А ты думал, тебе титулярного советника дадут за то, что против самодержавия пойдешь?
- поддел Лопаткевича Янка Тукала.

Учителя дружно захохотали. Они часто пели привезенную Ничыпаром песню про титулярного советника:

Он был титулярный советник,

Она - генеральская дочь.

Он томно в любви объяснился.

Она прогнала его прочь.

- Ну что ж, хлопцы, - сказал после завтрака Садович, - будем помаленьку двигаться.

- Давайте пойдем, - подхватил Тадорик. - На вольном воздухе ловчее.

- А ты простился с родителями? - спросил Лопаткевича Янка Тукала.

Всем бросалось в глаза, что Лопаткевич и Гулик волновались и, видимо, раскаивались в том, что приняли участие в нелегальном собрании сельских учителей, но отступить было поздно, а признаться в своей робости не хотелось.

Учителя разделились на две группы. Во главе одной стал Садович, другую повел Лобанович. Они хорошо знали местность и все самые малоприметные тропинки, по которым можно выйти на дорогу, ведущую к Пристаньке. Пошли разными дорогами. Садович решил выйти на берег Немана, миновать село, а затем повернуть влево и дальше в лес. Летом учителя часто гуляли возле реки, и никто на это не обращал внимания. Лобанович со своей группой сразу повернул в поле, чтобы межами дойти до леса. С ним пошли Тукала, Гулик и Лопаткевич.

Таскаемся неведомо где и зачем... - скулил, спотыкаясь на межах, Сымон Лопаткевич. - И вообще вся эта затея добром не кончится.

- Терпи, Гришка, корчма близко, - подбадривая его Тукала. - И не люблю я в такой веселый, радостный день, чтобы человек стонал, словно у него нестерпимо болит зуб. Не нравится - слазь с крыши и не порть гонта!

- Верно, Янка! - поддержал Тукалу Лобанович и уже совсем серьезно добавил: - Мы не таскаемся, а идем к определенной цели, чтобы вогнать в чахотку царя, понимаешь?

- Пока мы вгоним царя в чахотку, он сгноит нас в Сибири, - отозвался Пятрусь Гулик.

- В таком случае, хлопцы, - сказал Лобанович и остановился, - давайте поворачивать оглобли. Силой вас здесь никто не держит. Вон там Микутичи, а вот дорога на станцию. Идите, откуда пришли. Будьте "истинно русскими" людьми, пойте "Боже, царя храни", поздравляйте волостного писаря и пристава с именинами, читайте в церкви "апостола", целуйте попу руку, возьмите замуж поповен...

- Ну-ну! Ты уж слишком разошелся, - заговорил Пятрусь Гулик. - Мы просто испытываем вас... ну, наших... руководителей... Знаешь, братец Андрей, есть пословица: "Семь раз примерь и один раз отрежь". Так почему же мы не можем примерять? И неужто ты думаешь, что мы ни о чем не размышляем, что нас ничто не волнует? Но для того, чтобы не путаться, не делать ошибок, надо все как следует обдумать.

- Вот это человеческий голос! - воскликнул Лобанович. - Друг мой дорогой! Для этого мы и собираемся. Нам надо проверить: что мы и кто мы? Или мы - болотная вода, которой нет

ходу, или мы - криничная струя, живая, свежая, та струя, которая оставляет в стороне гнилую болотную воду и все стремится вперед и вперед по чистому желтому песочку.

- Стойте, хлопцы! Видите? - испуганным голосом тихо проговорил Лопаткевич и присел в борозду.

Лобанович взглянул в ту сторону, куда показывала дрожащая рука Лопаткевича. Среди ржи, на соседней меже, покачивались над колосьями две фуражки.

- Полиция! - еле пошевелил побледневшими губами Гулик.

Все немного растерялись и пригнули головы.

Раздвинув колосья, Лобанович начал всматриваться. Спустя некоторое время лицо его повеселело.

- Эй ты, богатырь! - насмешливо обратился Андрей к Лопаткевичу. - Перестань дрожать от страха, разогнись, протри глаза и посмотри.

Учителя подняли головы, осмотрелись.

- Фуражки-то не начальнические, кокарды не блестят. Значит, какая может быть полиция!

- продолжал Лобанович и засмеялся. - Пойдем навстречу. Это, вероятно, кто-то из Микутич, а может, и кто-нибудь из наших товарищей счел за лучшее податься в противоположную сторону от места собрания, - Андрей выразительно посмотрел на Лопаткевича.

- Я считаю, что надо идти к ним и выяснить, что они и кто они, - проговорил Тукала. - По крайней мере будем знать и сможем определить линию нашего поведения, а в случае чего предупредим товарищей.

Тем временем головы неизвестных людей снова замелькали среди ржи, но на этот раз видно было, что путники направились в другую сторону.

- Гэй! - крикнул Лобанович. - Гэй, кто там? Обождите!

Путники остановились.

- Что ты! - схватил его за руку Лопаткевич. - А вдруг это шпики?

- Тем лучше, - сказал Андрей. - Мы покажем, что никого не боимся, а просто гуляем в поле.

Учителя и неизвестные двинулись друг другу навстречу и скоро столкнулись лицом к лицу.

Лобанович узнал "неизвестных". Это были действительно микутичские крестьяне Мирон Шуська и Лявон Раткевич. Лобанович хорошо знал их обоих, как своих земляков. Садович часто вел с Шуськой и Раткевичем беседы, научил их немного разбираться в политике. "Это ваша опора, без народа в ваших делах не навоюешь", - говорил Садович Андрею.

- А зачем это дядьки гуляют по полю в такую пору?

Раткевич хитро усмехнулся.

- Да вот ходили посмотреть: может, где-нибудь княжеской травы удастся вечером косить.

- Мы же вольные, - горько проговорил Шуська. - Жать рановато, косить, если бы и хотел, нечего; весь луг княжеский. Жевать также нечего: хлеб кончился, Вот и ходим вольные - ни рукам, ни зубам работы нет.

Сколько раз Лобановичу приходилось выслушивать такие жалобы, и всегда они вызывала в нем чувство какой-то и своей вины в беде народа..

- Нечего, дядька, - Лобанович взял Шуську за руку и, волнуясь, даже запинаясь порой, продолжал: - Вы же знаете, не всегда так будет, надо только нам, трудящимся людям, ближе стать друг к другу, чтобы вместе защищать свои интересы, отстаивать свои права. А если так будет, то упадет с престола коронованный идол, разбегутся его прислужники. Тогда и поля и луга перейдут в крестьянские руки, которые сами сумеют обработать их, управиться с ними. Не будете крадучись выкашивать полянки в панском лесу, на свое собственное поле пойдете работать.

Лопаткевич незаметно дернул Лобановича за рукав.

- Пусть учитель не беспокоится, - открыто глянув ясными глазами на Лопаткевича, проговорил Шуська, - ничего плохого из нашего разговора не будет, в плохие уши он не попадет. А если скажу кому, то такому же горемыке, как я сам. Он меня поймет, потому что и сам хочет дожидаться лучшей доли.

На губах Раткевича снова появилась понимающая, хитроватая улыбка.

- Если учителя погулять собрались, то на доброе здоровье, - сказал он. - А может, гуляя, поговорить о чем-нибудь захочется - говорите смело. Мы тут поблизости ходим и, если что такое, дадим знать. Не так нам уже та панская трава нужна, - закончил Раткевич.

Учителя, взволнованные неожиданной встречей и поддержкой, поблагодарили свою добровольную стражу и двинулись дальше.

Лобановичу стало понятно, что разговоры, которые он и Садович вели с крестьянами, не пропали даром. "Молодец Бас! - мысленно похвалил он Садовича. - Действительно это ваша опора!"

Когда подходили к Пристаньке, увидели гуляющих возле реки знакомых учителей. Они громко приветствовали группу Лобановича. Тотчас же показался из лесу и Садович со своими друзьями. Все сошлись на высоком и живописном берегу Немана, где можно было присесть или просто поваляться на сочной зеленой травке.

Всего собралось двадцать один человек. Это были молодые хлопцы, до-двадцати пяти лет. Одному Ничыпару Янковцу было лет под тридцать. У некоторых только еле-еле пробивались усики. Зато попался в один бородач. Это был Милевский Адам. Он отпустил длинную, рыжую, выстриженную в середине бороду, какие носили министры при царе Александре II. Борода Милевского была предметом шуток со стороны учителей, но он не обращал на шутки внимания, сам смеялся над собой и объяснял, что бороду он носит для "фацеции". Одеты учителя были хоть и не очень богато, но все же на городской лад, а некоторые даже и щеголевато. Фуражки они носили черные и белые летние с бархатными околышами. Были, правда, учителя и без фуражек, без пиджаков, в одних только верхних рубашках.

Когда разговоры и шум немного стихли, Садович обратился к учителям:

- Товарищи! Давайте приступим к делу, ради которого, собственно говоря, мы и собрались здесь.

- Поскольку мы собрались для того, чтобы навсегда сбросить с себя одежду "ветхого Адама", - отозвался Иван Тадорик, - давайте сперва искупаемся в Немане, а наше собрание не медведь, в лес не убежит. Приступим к важному делу с чистой совестью и с чистым телом.

- Ты мне всегда портишь обедню! - напустился на Тадорика Садович. - Проведем собрание - оно будет недолгим - и тогда смоешь "ветхого Адама". Как народ считает? - спросил он учителей.

- Сначала собрание, купаться потом! - загудели все, в том числе и Лопаткевич и Гулик. Им, очевидно, хотелось поскорей развязаться с этим небезопасным делом.

- Если так, то перейдем к делу, - торжественно объявил Садович. - Товарищи! - продолжал он. - Как водится всюду на свете в таких случаях, нам надо выбрать председателя собрания и секретаря. Кого выберем председателем? Я предлагаю Ничыпара Янковца.

- Кто палку взял, тот и капрал, - откликнулся Ничыпар. - Будь ты председателем... Хлопцы! Я предлагаю выбрать Садовича, он в таких делах мастак.

Учителя зашумели. Одни называли Ничыпара, другие - Садовича. После недолгих пререканий председателем собрания был избран Садович, а секретарем - Райский.

Став председателем собрания, Садович сразу переменялся. Черты его лица сделались строгими, глаза грозными, грудь его еще более подалась вперед, и голос зазвучал по-новому.

- Товарищи! Сегодняшнее собрание - важнейшее событие в нашей учительской жизни, - начал он. - Мы живем в такое время, когда все лучшие люди России отдают свою волю и

энергию на борьбу с царизмом, за равноправие и свободу народа. Никакие кары царских прислужников не могут сломить революционных борцов. Царский трон зашатался...

- Но царь с трона не свалится, - заметил Тадорик.

- Вот мы и должны свалить его! - грозно сказал оратор. - Наша святая обязанность - открыть глаза народу. Наш долг перед народом - организовать в революционный учительский союз, присоединиться к Всероссийскому учительскому союзу и общими усилиями, по единой программе повести борьбу за освобождение народа из ярма царского самодержавия, за землю и волю.

Говорил Садович долго и довольно складно. Многие из слушателей, в том числе и Лобанович, подумали: "А хорошо говорит Бас!" - и втайне позавидовали его красноречию.

- Наш долг, - закончил свою речь Садович, - организовать сегодня же учительский союз борьбы с царизмом. Так обсудим это. Кто хочет сказать?

- А что здесь обсуждать и что говорить? - тряхнул длинными волосами Ничыпар Янковец.

- Дело ясное, такая организация нужна! - И он решительно махнул рукой.

- Конечно, нужна! - подхватили учителя. Даже Гулик и Лопаткевич проявили вдруг некоторую воинственность.

- Я так думал, и все мы так думаем, - сказал в заключение Садович. - Нам, друзья, надо оформить наше постановление.

- А какое постановление? - спросил Лопаткевич.

- Такое, - ответил Садович. - "Девятого июля тысяча девятьсот шестого года - то есть сегодня - мы, нижеподписавшиеся, постановили: первое - организовать учительский союз; второе - поставить своей задачей бороться с самодержавным строем..." Более подробно мы обсудим и запишем дома, потому что здесь у нас нет ни бумаги, ни чернил, - прервал сам себя Садович.

- Валяй! - махнул рукой Лопаткевич.

На этом учительское собрание на Пристаньке было окончено, и его участники, быстро сбросив с себя одежду, пошли в Неман смывать "ветхого Адама".

XXVII

Лобанович несколько по-иному представляя себе учительский съезд. В его воображении он рисовался весьма торжественным и важным событием. А на деле вышло все значительно проще. Не довелось ему даже выступить с докладом, над которым он так долго ломал голову. Короче говоря, не хватало надлежащей серьезности. А это объяснялось тем, что среди участников съезда не было людей, прошедших настоящую революционную школу на практике.

Возвратясь с Пристаньки, с соблюдением всех предосторожностей, учителя разошлись кто куда, с тем, однако, чтобы вечером собраться в школе для обсуждения постановления и подписать его. Садовичу, Райскому и Тукале поручили написать протокол учительского собрания и отредактировать постановление.

В постановлении значилось четыре пункта:

"1. Организовать союз учителей на основании постановления собрания от 9 июля 1906 года.

2. Союз ставит своей основной целью - вести борьбу с самодержавным строем путем пропаганды идей революции среди населения и распространения революционной литературы. Каждому члену организованного учительского союза ставится в обязанность - создание на местах революционных ячеек с целью привлечения наибольшего количества членов в союз.

3. Организованному учительскому союзу присоединиться к Всероссийскому союзу учителей и войти с ним в тесные сношения.

4. Для ведения дел союза выбирается бюро в составе трех лиц - Садовича, Райского и Тукалы".

Начинало смеркаться, когда в школе снова сошлись учителя для утверждения протокола. На этот раз Садович проявил еще более высокую бдительность - на улице и в конце села стояла стража, хотя все было тихо и спокойно. Протокол был принят с поправкой Ивана Тадорика ко второму пункту постановления: вместо "с самодержавным строем" было принято "с самодержавным режимом", что, по мнению Тадорика, снижало степень ответственности в случае провала.

- Ну, братцы, поздравляю! - проговорил взволнованный Садович. Он очень близко принимал к сердцу этот акт революционного настроения учителей, что весьма поднимало его в глазах Лобановича. - Разрешите мне, как председателю собрания и нашего бюро, подписаться первому, - добавил он.

И Садович первый подписался под протоколом.

Янка Тукала не мог сдержаться, чтобы не пошутить.

- Браво, Бас! - похвалил он Садовича. - Это хороший знак, что раньше батьки в пекло никто не полез... Ну, - обратился он к учителям, - кому надоело учительство и кто хочет казенной каши, подписывайся!

Шутка понравилась учителям. В ней таился вызов, перед которым никто не хотел спасовать. Возле стола, где лежал протокол, образовалась очередь: каждому хотелось показать, что казенной каши он не боится. Не хватало только трех подписей - Гулика, Лопаткевича и Деда Хруща. Их в этот момент не оказалось здесь, но на это никто и внимания не обратил: придут - подпишутся.

По поводу такого важного события в своей жизни учителя организовали дружеский банкет, выпили горелки и закусили традиционной редькой, заправленной кислым молоком. Спели две-три песни о том, как "царь испугался, издал манифест - мертвым свободу, живых под арест..." и "Титулярного советника".

Только около полуночи начали расходиться учителя. На квартире у Садовича остались сам хозяин, Райский, Тадорик, Янковец, Лобанович и Тукала. В комнате стало значительно тише. Райский положил на стол протокол собрания, просмотрел его, прочитал подписи, сделал кое-какие заметки на отдельном листке бумаги. Тукала, сняв ботинки, топтался около книжного шкафа, время от времени перебрасываясь шутками то с одним, то с другим. Садович и Янковец прогуливались по комнате и тихонько о чем-то разговаривали. Тадорик, присев возле открытого окна, импровизировал на скрипке, целиком отдаваясь игре.

Лобанович сидел на ободранной кушетке напротив Райского, слушал, как говорила скрипка в искусных руках Ивана Тадорика. Ее звуки плыли куда-то в простор не очень темной летней ночи. Слушал и думал. Ему казалось, давно-давно было то, когда он отправлялся в дорогу из Верхани. Утратилось ощущение времени, так как стерлись привычные грани, отделяющие одно мгновение от другого. Не так давно шел он из Верхани, заходил на хутор. Никто его там не встретил... И зачем было заходить?.. И только теперь вспомнил он, что уже вторую ночь не ложился спать. Вспомнил, что в кармане лежит доклад, не использованный на этом собрании. Может, прочитать его сейчас хлопцам, оставшимся на квартире у Садовича? Нет, время для него прошло! Почему же прошло?.. Эх, и сколько же понапрасну тратит человек своих усилий, энергии! И вдруг произошло нечто совсем неожиданное. Дверь комнаты открылась с необычайной силой и стукнула в стену так, что посыпалась штукатурка. Сухой, высоченный, седобородый, как бог Саваоф из темной тучи, панямонский урядник Кобяк ворвался в комнату. Крикнув: "Ни с места!" - молнией ринулся к столу. Одно мгновение - и протокол очутился в руках кошея-урядника. В раскрытую дверь важно, как воевода-победитель, вошел становой пристав, а за ним полицейские стражники. Все это произошло так неожиданно, что учителя остолбенели, словно пришибленные громом. Тадорик, опустив

скрипку и смычок, стоял бледный, как труп. Райский вскочил с места и застыл. Поехал протокол в поганые руки! Тукала прислонился спиной к шкафу. Лобанович как сидел на диванчике, так и остался сидеть. Провалились, засыпались - и так глупо! Садович через кухню бросился в окно. Под окном стоял полицейский стражник и прикладом повернул Садовича обратно. Садович, возбужденный, сердитый, набросился на пристава:

- Почему вы разрешаете своим стражникам драться?

Пристав спокойно, даже ласково ответил на вопрос вопросом:

- А кто вам велел бросаться в окно?

Самым выдержанным и спокойным оказался Ничыпар Янковец.

- Скажите, вас, наверно, повысят по службе? - обратился он к приставу.

Пристав, еще молодой и довольно простой человек, пожал плечами.

- Возможно, - сказал он и приказал уряднику: - Произвести обыск!

Урядник и два стражника подошли к шкафу со школьными книгами и разными бумагами. Садович не отличался аккуратностью, особенно в области делопроизводства, и это осложняло задачу урядника и стражников, делавших обыск.

Лобанович продолжал сидеть все на том же диванчике. Его занимала одна мысль: как уничтожить доклад, чтобы не попал он в руки полиции? Этот доклад - опасный свидетель не только против Лобановича, но и против всех участников учительского собрания. Тем временем первые минуты растерянности и оцепенения прошли, и учителя ожили. Тадорик взялся за скрипку и начал наигрывать мотив гимна "Коль славен наш господь в Сионе..." Янка Тукала, отойдя от шкафа, где рылись урядник и стражники, запел песню, сложенную неизвестным поэтом про обыски:

У курсистки под подушкой

Нашли пудры с пол-осьмушки.

У студента под конторкой

Пузырек нашли с касторкой

- Динамит не динамит,

А при случае палит.

Ничыпар Янковец, решительный и хмурый, ходил по комнате. Садович присел на диванчик рядом с Лобановичем. Пристав, прислонясь к дверному косяку, читал протокол собрания. Возле него стояли два полицейских стражника. Улучив удобный момент, Лобанович незаметно вытащил доклад из кармана, положил его на диванчик за спину и потихоньку щипал листок за листком на мелкие кусочки.

В комнату, как буря, ворвался Дед Хрущ. Отдышавшись и окинув взглядом всех присутствующих, полицию и своих друзей, он громко проговорил:

- Еле-еле протискался сквозь толпу. Ну и народу же собралось!

Глянув на пристава и увидев в его руках протокол, он решительно потребовал:

- Дайте мне протокол!

Пристав растерялся.

- А зачем вам?

Дед Хрущ браво заявил:

- Я еще не подписал!

Пристав протянул протокол учителю. Дед Хрущ присел за стол, взял ручку, обмакнул перо в чернила и разборчиво, хоть и с выкрутасами, вывел свою фамилию, после чего по-рыцарски вернул протокол приставу.

Со двора вбежал встревоженный стражник и что-то шепнул приставу на ухо. Пристав также встревожился, но выдержал паузу, затем окинул взглядом учителей и комнату и подал знак прекратить обыск. Янка Тукала быстро достал пустые бутылки из-под водки и выставил их на стол.

- Господин пристав, - обратился он к приставу, - захватили бы с собой и эти "вещественные" доказательства нашей крамолы.

Не желая обращать свой визит в комедию, пристав поклонился учителям, взял под козырек и вместе с урядником и стражниками покинул школу.

Дед Хрущ подмигнул друзьям:

- Пришлось приставу давать драпака...

Действительно, не прошло пяти минут после налета полиции, как возле школы начали собираться крестьяне. Собралось их уже больше сотни, а толпа все росла и росла.

Когда полицейские во главе с приставом появились на школьном крыльце, Раткевич выкрикнул из толпы:

- Что, закинули неводок?

А кто-то добавил:

- Гоняли гончие зайца, да не поймали.

XXVIII

Пристав торопился не зря. Его напугала толпа крестьян и их враждебное настроение по отношению к полиции. Пришлось выметаться, не закончив обыска и никого не арестовав.

- Пускай бы попробовали арестовать - мы показали бы им арест! - воинственно заявляли крестьяне.

- Хлопцы! - обратился Садович к учителям. - Надо выступить перед народом!

- Надо, непременно надо! - горячо поддержали это предложение Лобанович, Райский и другие учителя.

- Кто же будет выступать? - спросил Садович.

- Ты здесь хозяин, тебе и надо выступить! - слышались дружные голоса.

- Ты, братец, уже и руку набил на речах, - подбадривал Садовича Янка Тукала.

Приговорили выступить Садовичу. Учителя вышли на крыльцо. Крестьяне заняли весь дворик возле школы.

- Внимание, товарищи! - громко крикнул Садович.

Толпа замолчала, зашевелилась и плотнее сбилась перед крыльцом.

- Товарищи, братья, земляки! - сразу на высокой ноте начал Садович свою речь. - На ваших глазах произошло событие, для нас, учителей, не очень приятное. Оно могло бы стать еще более неприятным, если бы вы, дорогие братья, не поспели сюда вовремя. И если мы сейчас стоим перед вами на этом крыльце еще свободные, то только потому, что вы пришли на помощь к нам. Полиция испугалась и решила убраться восвояси. Правда, в руках пристава очутился протокол нашего учительского собрания, нами подписанный, что очень досадно и небезопасно.

- Почему же вы не дали нам знак? Мы бы у них из горла вырвали протокол! - слышался грозный голос Мирона Шуськи.

- Все произошло внезапно и неожиданно, - понизил голос Садович. - Мы и стражу поставили было, но сняли, не вовремя успокоились. Но, товарищи, пока мы живем, мы не сложим беспомощно свои крылья, будем продолжать борьбу за нашу свободу, за землю, за наши человеческие права. Есть на свете правда и справедливость - и они победят. Революционное движение не прекращается. К нам долетают, и с каждым разом все громче, голоса борцов-революционеров из подполья, из темных рудников сибирской каторги, от людей, вынужденных покинуть свою родину, но не порывающих с ней святой связи. Все сильнее разносится по земле голос свободы, призыв к борьбе с царским самодержавием. И этот голос говорит нам: "Бедняки! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Сплачивайте силы! Залог победы - в вашей сплоченности: все за одного, и один за всех!" Радует царское самодержавие, что придушило революцию. Мы же напомним ему: "Радовался старый пес, что пережил великий пост, а в мае несут его на погост".

Да здравствует и не затихает борьба за счастье трудового народа!
Да здравствует революция!
Учителя, а за ними и микутичские крестьяне запели:

Смело, товарищи, в ногу!...

Светало, когда крестьяне понемногу разошлись по хатам. Спустя некоторое время появились Лопаткевич с Гуликом. Они сделали вид, будто очень жалеют, что опоздали подписать протокол.

У всех учителей настроение было подавленное, особенно у Садовича и у тех, кто оставался на его квартире. И как они сделали такой промах - раньше времени сняли охрану, допустили, что протокол попал в руки полиции! Досталось Райскому и Лобановичу: почему они не порвали протокол, когда к нему бросился урядник? И еще больше сыпалось упреков на Деда Хруща. Ну что ему стоило, получив от пристава протокол, порвать этот важный документ на кусочки!...

- Жалко, что нас не было! - возмущенно сказал Лопаткевич.

Ничыпар Янковец сердито взглянул на него и на Гулика. Он чувствовал себя немного виноватым, что привез с собой таких "смельчаков", которые умудрились не расписаться в протоколе, а теперь еще задаются. Ничыпар пригрозил им:

- Напишу приставу, чтобы присоединил к протоколу и ваши подписи! - И, тряхнув чуприной, проговорил: - Эх ты черт! Почему я не догадался дать рублей двадцать пять приставу! Вернул бы протокол, ну, уничтожил бы. А написать новый не такое трудное дело.

На все нападки и на все запоздалые советы Лобанович заметил:

- Есть у евреев такая поговорка: "Дай, боже, моему дитяти тот разум сначала, который к мужику приходит потом".

Глянув на комнату, где сейчас все было разбросано, замусорено, на раскрытый шкаф, на груды книг и бумаг возле него, на батарею пустых бутылок от водки и на клочки своего доклада под столом и под диванчиком, Лобанович вспомнил знаменитую фразу, которую еще ребенком писал когда-то под диктовку в этой же школе, и вслух произнес ее:

- "Где стол был яств, там гроб стоит..." Эх, хлопцы, хлопцы! - грустно продолжал Лобанович. - Легче всего искать виноватых, но какая в том польза? Ты, Алесь, - обратился он к Садовичу, - не терзай себя! У коня четыре ноги, и то он спотыкается. Помнишь, как сказано у Гоголя: "Зацепил, потянул - сорвалось..." Ну что ж, слезами беде не поможешь, а дело делать надо. Жизнь вся впереди, хлопцы! Даже битый на войне Николай Второй отчеканил медаль для своих солдат и написал на ней, - правда, не сам, другие писали: "Пусть вознесет вас бог в свое время". А мы давайте вырежем медаль и напишем на ней: "Вознесемся и мы в свое время!" Так вот, хлопцы, вешать головы не нужно. Будем смотреть на вещи трезво - вытурят нас из школ, как крамольников. Да не в одних только школах работать можно. Засудят - ну и что же!

- Правильно, Старик, - поддержал Лобановича Владик Сальвесев и тотчас же затянул:

Вихри враждебные веют над нами...

Учителя дружно подхватили песню. Пели с чувством, вдохновенно. Упавшее настроение поднялось снова. И в самом деле - что это была бы за жизнь, если б она текла спокойно, размеренно, без каких-либо крутых поворотов?

Настало утро нового дня. Пришло время проститься с микутичской школой. Но нельзя было устоять перед соблазном искупаться в Немане. Чувствовалась потребность освежить обессиленное за бессонную ночь усталое тело, плеснуть водой в покрасневшие от усталости глаза.

Лобанович, Ничыпар, Гулик и Лопаткевич направились на станцию, чтобы разъехаться по домам. Садович, Тадорик, Тукала, Райский, Владик Сальвесев и Дед Хрущ проводили их. Солнце пробивалось уже сквозь вершины сосен, и начиналась чувствоваться жара летнего дня, когда учителя подошли к болоту, где совсем недавно они весело шумели, забавлялись и где так отчетливо вторило им эхо. Бессонная ночь и неприятное ночное происшествие наложили на учителей свою печать. Угнетала и весть, которую услышали они сегодня, - о разгоне Государственной думы. Непокойно было на сердце. На дне души шевелился и тайный страх, что полиция одумается и начнет арестовывать участников крамольного собрания. Вот почему не так шумно и весело приближались учителя к станции, как шли они позавчера оттуда в Микутичи. Оставалось еще много времени до отхода поезда. Вместо того чтобы слоняться по станции, что было даже и небезопасно, учителя остановились в лесу на высоком пригорке над болотом - отдохнуть и хотя бы немного обсудить свое положение. Ничыпар Янковец все время молчал, думал какую-то свою думу, но не считал нужным поделиться ею с друзьями.

- Как вы думаете, хлопцы, что будет с нами дальше? - спросил Владик Сальвесев.

Вопрос этот занимал всех. Только Дед Хрущ прилег на зеленый мох в тенечке и сразу же крепко уснул.

- Это известно одному только начальству, - ответил Райский.

- А может, нас в лучшие школы переведут, чтобы не бунтовали? - пошутил Янка Тукала.

- Если рассуждать трезво и смотреть смело правде в глаза, - сказал Лобанович, - то прежде всего, друзья мои милые, через неделю либо еще раньше всех подписавших протокол уволят с учительских должностей и, вероятно, отдадут под суд. Полиция и все начальство во главе с губернатором отнесутся к нашему собранию очень сурово. Разве можно, чтобы в Беларуси, на окраине царской империи, происходили такие дела! Наказать так, чтобы другим было неповадно.

- Оракул, не вещай так мрачно! - прервал Лобановича Тадорик.

- Он говорит правду, - согласился Садович. - Во всяком случае, мне, Миколу и Янке, как членам бюро, не миновать наказания. Особенно мне: ведь собрание происходило в моей школе. Полиция же давно поглядывает на меня неласковым оком.

- Если нас будут судить, то будут и допрашивать, - заметил практичный Владик. - А потому нам нужно договориться заранее, как держаться на допросе, что говорить, а о чем молчать, а что и вовсе отрицать, чтобы не было противоречивых показаний.

- Тебе надо адвокатом быть, - похвалил Владика Янка Тукала и добавил: - По моему глупому разумению, нам нужно напирать вот на что: никакой крамолы-забастовки затевать мы не думали, собрались для того, чтобы устроить маевку, а на маевке подвыпили. Об этом свидетельствует целая батарея пустых бутылок. А подвыпившим людям и море по колено. Вот и решили, отдавая дань времени, организовать учительский союз.

- Складно говоришь, - сказал Иван Тадорик. - А может, до этого и не дойдет, а если дойдет, то действительно у тебя неплохая мысль. И знаете, хлопцы, что? Мы очень хорошо сделали, что исправили "бороться с царским строем" на "бороться с царским режимом".

- Э-э! - махнул рукой Ничыпар. - Есть поговорка: "То ли умер Гаврила; то ли его болячка задавила". То же самое и здесь. Строй, режим - один черт.

- Ну, нет, брат, извини! - запротестовал Тадорик. - Строй - одно, режим - другое. Строй - это система, политическая направленность, нечто общее, а режим - только часть общего, частное.

- Я талмудистом никогда не был и в такие тонкости не вдаюсь. И следовательно не будет устанавливать границу между выражениями "царский строй" и "царский режим", - ответил Ничыпар.

- Все-таки "режим" в некоторой степени смягчает первый и самый опасный для нас пункт постановления, записанного в протоколе, - поддержал Тадорика Лобанович. - Но в целом

он рекомендует нас как "крамольников". Ну, да ладно! Вот что, хлопцы, - перевел Лобанович разговор на другую тему, - всем скопом идти на станцию не годится, давайте лучше разбредемся потихоньку. Мой поезд отходит на полчаса раньше, чем ваш, - обратился он к Янковцу, Лопаткевичу и Гулику, - вот я один и побреду. Возьму билет и поеду, а потом вы. Правда, Лопаткевичу и Гулику бояться нечего: ведь они невинны, как божьи агнцы, их подписи не стоят под протоколом.

"Божьим агнцам" не совсем приятно было слышать это, но в душе они радовались, что сухими вышли из воды.

Учителя согласились с Лобановичем. Разбудив Деда Хруща, они подошли со своим другом к самому озеру, откуда уже было недалеко до станции, и простились с ним. Ничыпар Янковец на станцию совсем не пошел. Он взял под руку Садовича.

- Знаешь, Бас, давай прогуляемся в Панямонь.

У Янковца сложился по дороге свой план. Когда они остались с Садовичем наедине, Ничыпар сказал:

- Добром вся эта история не кончится. Тебе же придется хуже, чем другим. Ты давно на подозрении у полиции, и начальство смотрит на тебя как мачеха. Полиция знает и о листовках, которые мы разбросали в окрестностях Микутич. А то, что нас накрыли в твоей школе, еще увеличивает твою ответственность. Так вот что я надумал - давай махнем в Америку. Денег у меня немного есть, сговорчивого агента мы найдем. Раздобудет нам паспорта, и мы двинем, пока не поздно, взяв всю вину за учительский съезд на себя, о чем и сообщим полиции.

Садович, несмотря на всю свою горячность, некоторое время колебался.

- Черт его, брат, знает... Никогда об этом не думал, - признался он.

- А ты подумай. Лучше ветру в чистом поле, чем за высокой оградой.

Садович немного помолчал, подумал, а затем решительно и с увлечением проговорил:

- Согласен! Чем черт не пахал, тем и сеять не стал. Хоть свету увидим!

Свой сговор держали они в строгом секрете и только месяца через два, уже из-за границы, прислали ближайшим друзьям весть о своей эмиграции.

XXIX

Лобанович остался один. В первые минуты его охватила печаль о друзьях, с которыми он недавно простился. Особенно жалко было Янку Тукалу и Алеся Садовича. Четыре года пробыли они в учительской семинарии, связанные самой тесной дружбой. Лобанович всегда с удовольствием вспоминал многие картины их совместной семинарской жизни и незапятнанные переживания той юношеской дружбы.

Янка Тукала проводил Лобановича до самой железной дороги. Здесь они остановились. Янка надумал пойти в свою школу, пересмотреть на всякий случай книги и брошюры. А затем он снова вернется в Микутичи к Садовичу либо пойдет к своим родителям.

- Ну, Андрейка, - торжественно проговорил Янка, держа руку друга в своей, - пусть будет над тобой благословение святой горы!

- Прощай, Янка! Не горюй, братец, и не подставляй спину ветру, когда он подует на тебя, а иди навстречу ему, - так говорит тебе верханский Заратустра. Пиши мне, а я тебя письмами не обижу.

Народу на вокзале было мало. Лобанович взял билет, окинул взглядом станцию. Ничего подозрительного ни здесь, ни на перроне он не заметил. Но поговорка гласит: "Кто поросенка украл, у того в ушах пищит". До прихода поезда оставалось минут двадцать. Лобанович подошел к буфету, взял бутылку пива и закуски. Выбрав укромный уголок, присел за столик. Выпил стакан и другой. Две бессонные ночи утомили его. За все это время он ни разу даже не прилег. Выпитая бутылка пива одурманила голову. Сладостно-печальное настроение овладело им. Он вспомнил свою мать, братьев, сестер, дядю Мартина. Отправляясь в Микутичи, он собирался провести их. Но собрание окончилось

так, что показываться на своем родном пепелище было тяжело. Что скажет он дома? Там наверняка уже известно, что их Андрей был в Микутичах, известно, чем все кончилось. Его поймут и хотя, может, немного обидятся, но сердиться не будут.

Входя в вагон, Лобанович вспомнил и Янку Тукалу, как последнюю нить, которая связывала его со здешними дорогами и друзьями. Где теперь Янка? Плетется где-нибудь один в свою Ячонку и, вероятно, ощущает одиночество, страх и тревогу перед неведомыми событиями грядущих дней... Как хотелось еще раз посмотреть на своего рассудительного друга, пожать ему руку и сказать: "Янка, держись! Не опускай голову! Иди смело навстречу завтрашнему дню!"

Без малого в полдень прибыл Лобанович на свою станцию. Попалась и подвода, но учитель пожалел денег, - ведь неизвестно, что будет дальше, - и зашагал домой. Он выбрал самую короткую дорогу до Верхани, которая оставляла в стороне хутор Антонины Михайловны. Хотелось скорее очутиться в своей школе и отдохнуть, - ведь уже третьи сутки учитель не спал, оставаясь все время на ногах. Чувствовалась такая усталость, что даже трудно было собраться с мыслями, обдумать все, что произошло за последние три дня.

Наконец дорога кончилась. Вот и школа, и волость напротив нее. Как обрадуется писарь Василькевич, когда узнает о провале своего несносного соседа!

- Вернулся мой странничек! - радостно встретила бабка Параска учителя. - Ну, как же вам ездилось?

- И ездилось, и ходилось, и вот вернулся.

- Ну и слава богу!

Бабка Параска пошла в кухню собирать обед.

Когда Лобанович вошел в свою квартиру, Турсевич сидел за столом, обложившись учебниками. Он порывисто вскочил, шумно встретил приятеля, крепко потряс ему руку.

- Явихся еси?- на церковнославянский лад спросил он путешественника и, посмотрев на него, добавил: - Что-то, братец, ты плохо выглядишь!

- Эх, друг ты мой сердечный, таракан запечный! Дай боже никогда не являться тебе домой так, как я!

Турсевич сразу увял, от его приподнято-восторженного настроения не осталось и следа. Он еще раз окинул взглядом Лобановича, словно желая прочесть его сокровенные мысли, и уже другим тоном спросил:

- А что случилось?

Лобанович без всяких хитростей, прямо и правдиво рассказал обо всем, что произошло в Микутичах.

Помрачневший Турсевич молча слушал приятеля. Тяжело было у него на душе. Мысленно он осуждал молодых учителей, но говорить об этом не хотел. Когда Лобанович окончил невеселый рассказ, Турсевич сокрушенно покачал головой.

- Та-ак! - протянул он. - Дело, брат... гм... не того!

Вошла бабка Параска, быстро накрыла стол. Хотя при ее появлении учителя замолчали, она сразу заметила, что "монашек" приехал с недобрыми вестями, однако расспрашивать его о чем-либо при госте считала неудобным. Бабка вышла из комнаты и тотчас же возвратилась, поставив на стол холодильник. Она знала, чем угодить учителю.

- Вот спасибо, бабка, за холодильник! - сказал Лобанович, подсаживаясь к тарелке.

Бабка Параска глянула на него, вздохнула.

- Ешьте на здоровье! - И вышла из комнаты.

Турсевич уже пообедал. Он сидел, молчал в о чем-то думал.

- Ну что же, брат, - сказал, пообедав, Лобанович, - пойду спать. Как вышел тогда из дому, с тех пор и не ложился. Отдохну, а завтра виднее будет. - Он глянул на Турсевича и добавил: - Погулял казак на воле, надо и отдохнуть.

Турсевич причмокнул губами, печально покачал головой.

- Гулял и догулялся! Эх, Андрей... Ну, да ничего не поделаешь.

Лобанович остановился на пороге боковушки и сказал:

- Перемелется - мука будет.

- Может, мука, а может, и мука, - заметил Турсевич.

- А что такое мука? - спросил Лобанович и сам ответил на свой вопрос: - Мука - это все то, что причиняет нам боль и неприятности. Вот нас выгонят из школы с волчьим билетом, отдадут под суд, посадят, может быть, и в тюрьму, либо вышлют, и мы будем мучиться. А разве таких мало? Разве миллионы простых людей не мучаются под пятой царских сатрапов, помещиков и тысяч других обдирал?.. Но для меня сейчас дороже всего на свете - сон.

Лобанович присел на кровать, снял ботинки, пиджак, положил голову на подушку и тотчас же уснул.

Турсевич остался один за столом. Покой его был нарушен, да и жалко стало приятеля. "А хуже всего то, что сам человек виноват в своем несчастье. Как поможешь ему? И что он этим доказал? Получил уже однажды предупреждение - так нет, ничему оно не научило его. А еще и гордится, словно совершил великий подвиг... Эх, брат, жизнь прожить - не поле перейти!"

Несколько раз Турсевич тихонько прошелся по комнате. Осторожно заглянул в боковушку. Лобанович лежал спокойно на правом боку, подперев плечом подушку. Он спал так крепко, что даже трудно было заметить его дыхание. Турсевич наклонился над другом.

- Вот теперь ты счастлив, потому что ни о чем не думаешь, - проговорил он, отходя.

Новая мысль мелькнула в сознании Турсевича и заслонила все остальные: удобно ли оставаться теперь в школе небезопасного в политическом отношении учителя? Не повредит ли это обстоятельство ему, Турсевичу? И, словно в подкрепление его рассуждений, на память пришли поговорки: "С кем поведешься, от того и наберешься", "Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты".

Еще большая тревога охватила Турсевича. Теперь мысли о судьбе Лобановича отошли на задний план. Захватив с собой учебник, Турсевич вышел из квартиры, чтобы на вольном воздухе обдумать все и принять какое-то определенное решение.

Сказать правду, рассуждал Турсевич, все, что положено программой, он давно проштудировал, ведь не сегодня же пришла ему мысль поступить в институт. А времени осталось не так уже и много. Пока он приедет в свою школу да приведет в порядок домашние и школьные дела, не за горами будет и то время, когда нужно отправляться в Вильну держать экзамены. И опять же - приехать туда нужно заранее.

Все мысли Турсевича сходились на одном - оставаться тут долго нет никакой нужды. Такое и было принято решение.

Под вечер Турсевич вернулся с прогулки. Он рассчитывал, что приятель, которого он, напуганный, собирался покинуть, уже проснулся и они откровенно поговорят о своих делах. Но Лобанович не просыпался, лежал все в той же позе. Но проснулся он и ночью и на следующий день утром. Только после полудня, примерно в то же время, когда он лег спать, Лобанович открыл глаза.

- А я, брат, думал, не летаргическим ли сном ты заснул, - сказал Турсевич.

- Зато и выспался, как никогда в жизни, - ответил Лобанович. Немного помолчав, он заметил: - Может, оно и неплохо было бы уснуть этак на годик и не просыпаться.

Турсевич посмотрел на него и сказал, тяжело вздохнув:

- На один год, может, и маловато.

XXX

Каждая перемена жизненных обстоятельств, хорошая она или плохая, выводит человека из обычного равновесия. Его охватывают новые чувства, мысли, настроения - в зависимости от того, на какой путь в силу тех или иных обстоятельств становится

человек. Так случилось сейчас и с Лобановичем. Правда, у него теперь не было никакого определенного пути, он просто очутился на расстанях, выбитый из колеи так или иначе установленной жизни. Такое положение не очень огорчило его. Наоборот, в этой неопределенности были какие-то свои привлекательные стороны: ведь интересно узнать, чем оно все кончится! Увольнение с должности учителя не пугало. Лобанович уже свыкся с мыслью об увольнении, и оно не будет для него неожиданностью. А вот как пойдет его жизнь дальше, что станет с ним в последующие дни, как отнесутся к нему знакомые и приятели, когда он останется без службы, в этом и заключается интерес. Но пока служат руки и ноги, пока у него есть сила и здоровье, он не погибнет. Никакой работы он не боится, ведь с детства привык к ней... Вообще впереди много таких событий, которые сейчас трудно предвидеть. Важно одно - быть живому, жить и бороться.

На следующий день после того, как проснулся Лобанович, возле школьного крыльца уже стояла подвода дядьки Ничыпара Кудрика, того самого, который впервые привез его в Верхань. Лобанович догадывался о причине такого поспешного отъезда своего приятеля и гостя, но молчал об этом: зачем доставлять человеку неприятность? Турсевиц же со своей стороны старался не показать настоящей причины отъезда, вел себя так, будто ему очень и очень хотелось побыть еще в Верхани, но ничего не поделаешь, надо ехать. Он довольно щедро расплатился с бабкой Параской за услуги. А бабка ходила хмурая, невеселая. Она уже знала о каких-то "неприятностях" у ее "монашка", и ей было жалко, что его оставляют в такое время одного.

- Ну, мой дорогой Андрей, - Турсевиц жал руку Лобановичу и обнимал его, - будь здоров, счастлив! Может, все еще обойдется... Не принимай близко к сердцу этот неприятный случай, держись! А в случае чего и я тебя не забуду.

- Спасибо, друже, за доброе слово! Пусть же будет светлой твоя дорога. Желаю полной удачи!

Друзья обнялись, поцеловались. У Турсевица на глазах даже показались слезы.

Лобанович проводил его до подводы. Уже стоя в колымажке, Турсевиц снял шапку, помахал ею приятелю. Подвода двинулась с места.

Писарь Василькевич, приподняв краешек занавески, украдкой смотрел из своей комнаты на прощание друзей. О происшествии с соседом он еще ничего не знал. Но писарь был рад и тому, что ненавистная ему Государственная дума окончила свое существование и это наверняка не очень радовало Лобановича.

Постояв на крыльце, пока подвода не исчезла за поворотом, Лобанович вернулся в свою комнату. Итак, он снова одинок, быть может более, чем когда-либо в жизни. На сердце у него было тоскливо. Отъезд Турсевица еще увеличивал эту тоску. Не скоро встретятся они, а если и встретятся, не будет уже той радости, которую обычно испытывали они при встречах. Расходятся их дороги в разные стороны - и в прямом и в переносном смысле.

- Опять мы, монашек, одни, - посочувствовала бабка, войдя в комнату, и прервала мысли Лобановича.

- Ничего, бабка Параска, одиноко мы приходим на свет, в одиночестве и покидаем его.

- Ну вот, уж и готово - покидаем свет! Пусть покидают его лихие люди, а вам жить еще да жить, и не одному, а с красивой женой! - Бабка лукаво посмотрела на Лобановича.

- Как раз и хорошо, что нет жены: лишняя была бы забота.

- Это почему же? - недоверчиво спросила бабка Параска, но задумалась, а затем спросила:

- Скажите, паничок, что с вами стряслось? Что-то я в толк не возьму. Тот панич, который уехал, сказал мне: "Неладное случилось с твоим учителем". А теперь я и сама это вижу.

- Ничего страшного не случилось. Обождем немного, и все станет ясно, - ответил Лобанович. - Вот того учителя, который был здесь до меня, перевели в другую школу. Могут перевести и меня, могут даже и совсем уволить.

На лице бабки, усеянном мелкими морщинами, отразилась печаль.

- И никуда не переведут, и не уволят! - запротестовала она. - И не надо так говорить!

- Надо рассчитывать, бабка Параска, и так и этак, да больше думать и про лихой конец, чтобы это лихо не было для нас неожиданным.

- Ай! Говорит неведомо что... Вот пойду на каргах поворожу, они скажут мне всю правду. Она пошла в свою каморку, вытащила из-под сенника колоду старых, как сама она, карт, присела на табуретку возле небольшого столика, стоявшего рядом с кроватью, перетасовала карты на свой особый манер и начала не спеша раскладывать их на восемь кучек, по три карты в каждой. Когда вся колода была разложена, бабка Параска начала переворачивать лежавшие вниз лицом карты в том же порядке, в каком раскладывала их. Каждые три карты имели свое назначение: "для дома", "для судьбы", "для счастья", "для дружбы" и т. д. Перевернув очередную карту, бабка Параска внимательно всматривалась в нее. В середине первой тройки оказался пиковый туз, а с краю бубновая девятка, с другого трефовый валет, это значит - Лобанович. Бабка недовольно покачала головой: такое сочетание карт не на руку учителю, оно предвещало невеселые мысли, неприятности и тяжелые хлопоты. Ничего хорошего для учителя не было и в другой, и в третьей, и в следующих кучках карт. То примешивался какой-то злой и хитрый мужчина, то неприятная женщина, то печальная дорога. Бабка совсем загрустила. Она смешала карты, старательно перетасовала и опять начала новую раскладку. Но и на этот раз ничего хорошего для Лобановича не предвещали карты. А бабка не хотела мириться с этим. Много раз раскладывала она карты и лишь тогда успокоилась, когда характер ворожбы изменился в лучшую для учителя сторону.

Повеселевшая бабка Параска показала на пороге комнаты учителя.

- Ну, что я вам говорила, все будет хорошо! - проговорила она. - Вот идите гляньте, что говорят карты.

- Однако ты, бабка, что-то очень долго ворожила, - заметил Лобанович.

Бабка хитро улыбнулась.

- Я хотела как можно лучше поворожить для вас.

Лобанович догадался, почему так долго ворожила бабка, но ничего не сказал ей об этом: ведь она так хотела, чтобы все окончилось счастливо для учителя!

- А что же там наворожили карты? - спросил он, чтобы не обидеть бабку.

- А вот зайдите - посмотрите.

- Но ведь я ничего не понимаю в картах.

- А я вам расскажу, что карты показывают.

Восемь троек карт бабка расположила в три ряда, в двух рядах по три тройки, а третьем - две.

- Вот сейчас видно все как на ладони, - показала бабка на первую тройку. - От высокого начальника к вам придут очень приятные вести, каких вы и не ждете.

- Это вот он высокий начальник? - спросил Лобанович, ткнув пальцем в бубнового короля, лежавшего в первой кучке карт.

Бабка Параска с укоризной посмотрела на учителя.

- Так показывают карты, - заметила она. - И не смейтесь, потому что можете испугать свое собственное счастье!

- Да я, бабка, не смеюсь, хоть мне и смешно, что такой балбес, как бубновый король, высокое начальство.

- А почему же не высокое? Каждый может быть высоким, если ему повезет и бог поможет. Смотря кто и что его высоко поднимает.

- Да ты, бабка, просто мудрец! Твоя правда, кого счастье не минует, тот и в лаптях танцует.

Бабка вначале хотела обидеться - ей показалось, что учитель насмехается над ней. Но она сдержалась и только с укоризной проговорила:

- Ну, если вы не верите картам, то нечего вам и ворожить.

- Милая бабка Параска! - горячо сказал учитель. - Верю я или не верю, это не важно. Главное в том, что мне интересно послушать такую славную и умную ворожею, как ты.

Бабка была совершенно обезоружена, а Лобанович еще добавил:

- А если я посмеялся над бубновым королем, ты на это махни рукой. Рыжий балбес мрачного вида! Я только подумал: кто же из высокого начальства мог принять вид бубнового короля? И сам себе ответил: это наш директор народных училищ, статский советник, бородатый Акаронка. И действительно, у него есть сходство с бубновым королем: оба бородатые, оба горбоносые, оба угрюмые и оба дураки.

Бабка Параска не могла удержаться, слушая веселые шутки учителя, а сама рассмеялась. А затем, резко переменив тон, серьезно сказала:

- Вот вы смеетесь и меня рассмешили, это и есть тот добрый знак, что с вами ничего плохого не случится.

И как бы в подтверждение этих слов и ворожбы бабки Параски на следующий день Лобановичу принесли довольно объемистый пакет. Лобанович вытащил из конверта бумагу, в которой за подписью директора народных школ Менской губернии Акаронки выражалась благодарность учителю верханской школы Лобановичу за образцовую подготовку учеников к экзаменам.

XXXI

Возвратись из Микутич, Лобанович не раз вспоминал знакомый хутор, Антонину Михайловну и свою ученицу Лидочку. Нужно все же зайти к ним и так или иначе закончить занятия, довести дело до конца. Ведь нельзя же не учитывать того обстоятельства, что не сегодня-завтра его, Лобановича, из школы уволят. В этом он несколько не сомневался. Не поможет и благодарность дирекции народных школ. Сообщение полиции о нелегальном собрании учителей в Микутичах, как видно, еще не дошло до высокого начальства. Это высокое начальство всякий раз, когда о нем думал Лобанович, вызывало в памяти ворожбу бабки Параски, а мрачный директор народных школ Акаронка напоминал сердитого бубнового короля. Интересно, как отнесутся к учителю мать с дочерью, когда узнают, что он без службы?

На третий день после возвращения из Микутич Лобанович направился на хутор по хорошо знакомой дороге. Поравнявшись с тем леском, где когда-то попались ему боровики, учитель свернул с дороги, побродил по лесу, а затем присел на гладко спиленный дубовый пенек. В лесу было так хорошо и так спокойно, что даже неприятное событие, занимавшее учителя все эти дни, отступило на задний план. Да с ним Лобанович уже свыкся, оно сейчас в прошлом. А жить надо сегодняшним и завтрашним. Что будет дальше? Ну, уволят из школы. Куда же он двинется и что будет делать?

Лобанович вышел из лесочка. "Что сказать Лидочке и ее матери и как сказать?" - спрашивал он себя.

Вот и поворот на хутор Антонины Михайловны. Лобанович шел среди полей, засеянных озимой рожью и яровыми. По сторонам узкой, малонаезженной дорожки среди разных трав и цветов буйно рос и уже вызревал пахучий тмин - приправа многих крестьянских кушаний. И сама узенькая дорожка, и придорожные травы и цветы, и этот душистый тмин напоминали Лобановичу теперь уже довольно далекое детство, когда он ходил по таким же тропинкам с матерью или один и не носил в сердце никаких забот... Эх, счастливая, невозвратная пора!

Лидочка почему-то была уверена, что сегодня к ним придет учитель. И тот сон, который приснился ей в Эту ночь, как объясняли деревенские женщины, означал гостя. А снилось ей, что какой-то страшный жук бился в стекло окна, намереваясь залететь в хату и укусить Лидочку. Если сон про жука действительно означает приход Лобановича, то Лидочка на жука совсем не злится. Кто же для нее может быть лучшим гостем, чем молодой учитель! Всех остальных она и за гостей не считает. В эти дни, сидя одна над учебниками, Лида часто думала о Лобановиче. Она и сама не могла бы сказать, что это были за думы. Он просто стоял перед глазами, то ласковый и добрый, то серьезный и, казалось, немного

сердитый. Не выходил из памяти и тот случай, когда он осторожно, крадучись подошел к полотняной занавеске, за которой лежала Лида, наклонился над ученицей, стоял и думал, жива она или умерла.

Несколько раз выбегала Лида во двор, выбирала удобное местечко, откуда хорошо был виден поворот на их хутор, и смотрела, не идет ли учитель. "И не потому, что очень хотела видеть его, - говорила она себе, - а просто так: должен же наконец он прийти!" Тем не менее, поглядывая на дорогу, Лида озиралась по сторонам: ей все казалось, что соседи догадываются, зачем она глядит на дорогу, кого выглядывает. А когда и действительно она увидела знакомую фигуру учителя, сердце Лидочки забилося сильнее. Хотелось, как прежде, побежать ему навстречу. Но нет, этого она не сделает! Ведь что подумает мать и что скажут люди? Как молодая козочка, юркнула она в хату. Хорошо, что там не было матеря, иначе она заметила бы волнение своей дочери. Самое лучшее - сесть за стол, углубиться в учебники и ни на кого не обращать внимания. Она вытащила из ящика учебники, развернула один и стала читать одними только глазами. Если бы кто-нибудь спросил, что она читает, девушка не смогла бы ответить. Она даже не видела букв, так как думала совсем о другом. К счастью, она быстро спохватилась и только теперь увидела, что развернула учебник географии. Ну, все равно, география тоже нужная вещь. Глядя в книжку, она думала, где сейчас должен быть учитель. Что-то долго его нет... Ну что ж, нет - пусть и совсем его здесь не будет.

Но вот стукнула дверь в сенях и Лида услышала знакомые, размеренно-неторопливые шаги. Еще мгновение - и порог хаты переступил тот, кого она ждала.

- О, какая молодчина моя Лидочка! - воскликнул Лобанович, остановившись возле двери. - Учебников из рук не выпускает! Ну, день добрый, Лидочка!

Учитель подошел к столу и поздоровался с Лидой.

- А я знала, что вы сегодня придете, - сказала Лида. Ей хотелось рассказать про жука, который приснился ей в эту ночь, но она сдержалась: ведь ставить в один ряд жука и учителя неудобно, учитель может обидеться.

- Откуда и как ты могла знать, что я приду сегодня?

Лида смутилась, опустила глазки, а затем взглянула на учителя.

- Знала - и все, - ответила она, не вдаваясь в дальнейшие объяснения.

- Ну, а вчера ты думала, что я приду? - допытывался Лобанович.

"Зачем я допрашиваю ее?" - промелькнула у него мысль.

Лида снова опустила глаза.

- Думать думала, а ждать не ждала, - призналась она и глянула учителю в глаза.

"А все же она славная", - подумал Лобанович.

В хату вошла Антонина Михайловна. Ласковая улыбка, заигравшая на ее губах и открывшая щербатый рот, свидетельствовала о том, что Антонина Михайловна рада видеть учителя, которого уже около недели не было здесь. Она приветливо пожала ему руку. Ее темные глаза загорелись дружелюбным огоньком. В эту минуту она была даже красивой. Антонина Михайловна присела на скамеечку возле стола.

- А мы уже и затосковали здесь без вас, - начала она.

Лида немного смутилась и опустила головку. Видимо, она боялась, как бы мать не сказала чего-нибудь лишнего об их интимных разговорах.

- Ну, как же вы съездили? - спросила Антонина Михайловна.

Вопрос был совсем простой, но не так легко было ответить на него.

- В том-то и вся сила, как съездил, - немного помолчав, отозвался Лобанович.

Ему надо было выиграть время. Хотя он, идя сюда, и обдумал разговор с Антониной Михайловной и Лидой, но в их присутствии подготовленные фразы были забракованы.

В словах учителя Антонина Михайловна почуяла намек на какую-то неприятность, которая произошла с ним в дороге.

- Да уж рассказывайте все! - забеспокоилась Антонина Михайловна.

Лида также ждала, что скажет учитель.

- Съездил я так, что, наверно, проездил и свою верханскую школу и свою учительскую службу.

Антонина Михайловна и Лида сразу притихли.

- Как вас понимать? - недоуменно спросила Антонина Михайловна. - Или вы просто шутите? Как же это можно проездить и школу и учительскую службу.

- Да вот так получилось, - ответил Лобанович. Хотелось сказать всю правду, но он сдержался, в таких делах осторожность никогда не мешает. - Мы, молодые учителя, - продолжал Лобанович, - давно хотели собраться, поговорить о наших делах, о том, что мы должны делать... ну, и просто чтобы повидаться и повеселиться.

- А разве до этого времени вы не знали, что должны делать учителя? - иронически спросила Антонина Михайловна.

- Знали, но не все.

- Ничего не понимаю, - пожала плечами Антонина Михайловна. - Ну, рассказывайте дальше.

- А дальше мало чего осталось рассказывать. Кто-то, видимо, донес в полицию, что в селе Микутичи собралось много учителей, а для чего? Всем теперь мерещится крамола. Вот ночью и заглянули к нам становой пристав с урядником и полицейскими стражниками. Переписали нас. Да, правду сказать, в этом и нужды не было, потому что сами мы подписались. По-настоящему нас должны были арестовать. Может, полиция так и поступила бы, если бы не сбежался народ. - Лобанович подумал, не сказал ли он что-нибудь такое, чего не стоило говорить. - Ну вот и все, - закончил он свой короткий рассказ.

Антонина Михайловна заметно помрачнела. Лида сидела потупившись. Мать и дочь некоторое время молчали. Молчал и их гость.

- И что же теперь будет с вами? - спросила Антонина Михайловна.

- Все может быть: со службы уволят, могут арестовать и под суд отдать.

Антонина Михайловна укоризненно покачала головой.

- И зачем нужно было искать себе лиха? - проговорила она.

- А я вам и говорила, чтоб не ездили, - тихо заметила Лида, не поднимая головы.

- Эх, - вздохнул Лобанович, - если бы знал, где упадешь, соломки подостлал бы. Живым в землю не полезу. И ничего страшного здесь не вижу. Мало ли народу сидит в острогах! А может, еще ничего и не будет.

Чтобы дать другое направление разговору, он достал и показал бумагу, полученную из дирекции народных школ, - благодарность за хорошую подготовку учеников к экзаменам.

- Было бы хорошо, кабы все хорошо кончилось, - недоверчиво проговорила Антонина Михайловна и тяжело вздохнула.

- Всегда надо надеяться на лучшее, а вместе с тем не следует быть и слишком беззаботным, - заметил учитель.

XXXII

Лобанович вздохнул с облегчением, очутившись за пределами хуторка. И все же у него было такое чувство, словно он что-то утратил и ему чего-то не хватает. Правду говоря, не очень приятно было рассказывать о неудачной поездке в Микутичи. Приходилось изворачиваться, хитрить - ведь он хотел рассказать все и в то же время кое о чем умолчать. Инстинкт самосохранения толкал его на такой путь - ведь учитель был уверен, что так или иначе ему придется иметь дело с начальством и давать объяснения по существу захваченного приставом протокола, а может быть, отвечать и на вопросы следователя. Снова и снова вспоминал он свой разговор с Антониной Михайловной и Лидой, их настроение, навеянное рассказом Лобановича. Ему было ясно, что теперь они не будут выражать особенной радости, увидев учителя в своей хате. А если его уволят из школы, то, может быть, на двери их дома будет висеть замок. Но как бы там ни было,

Лобанович твердо решил довести до конца подготовку Лиды в городское училище, разве только его ноги не будут свободно ходить по земле.

Кончалось лето. Отгремели июльские и августовские ночные грозы, громко пропев свои песни лету. День за днем пустели поля. Верханцы уже убирали поздние яровые. Поспевала гречиха. Просторы земли, казалось, теперь не были такими широкими, привольными и таили в себе какую-то неясную, невысказанную печаль. Смолкли разнообразные птичьи песни. Одни только дружные, веселые скворцы, вырастив птенцов, собирались в огромные стаи, летали над полями, то сбиваясь в густые, черные кучи, то рассыпаясь в воздухе прозрачными сетками. Старые скворцы, видимо, обучали молодых, укрепляли их крылья перед отлетом в дальние края. То же самое делали и аисты. Они то медленно, неторопливо похаживали целыми вереницами по буграм на лугу, то стояли неподвижно, словно о чем-то совещаюсь, то поднимались высоко в небо и долго-долго кружились под облаками, испытывая силу своих крыльев. Эх, вольные птицы, как не позавидовать вашим легким быстрым крыльям!..

Кончалось лето, замирала природа, угасали сверкающие огни ярких лучей солнца. Легкой, теплой дымкой, словно печалью, застилались тихие дали с их лесами и синеватыми кудряшками далеких рощиц и перелесков.

Затихали и Околицы Верхани. Даже писарь Василькевич, как заметил Лобанович, утомился и стал спокойнее. К нему вернулась жена. Писарь специально ездил к ней и упрашивал вернуться. Он перестал пить горелку и бушевать. Быть может, перемене в поведении писаря способствовало и то, что вскоре должна была состояться ревизия волостного правления, о чем узнал Василькевич от своих людей из канцелярии земского начальника.

Как бы там ни было, но писарь, казалось, стал совсем другим человеком. Когда к нему зашел Лобанович получить под расписку пакет, Василькевич важно сидел за длинным столом, покрытым синим сукном и заваленным разными папками с делами. Лицо Василия Мироновича казалось немного похудевшим, с него сошла та обрюзглость, которая бывает у людей после продолжительного и горячего поклонения богу Бахусу. Увидев учителя на пороге канцелярии, писарь приподнялся со стула, по-приятельски, как добрый знакомый, протянул соседу руку. Указав на стул возле стола, как раз напротив своей особы, он вежливо проговорил:

- Прошу садиться.

- Благодарю, Василий Миронович, - кивнул Лобанович головой писарю.

- Ну, как живете? Что хорошенького у вас? - приветливо расспрашивал писарь.

"Какой медведь в лесу подход, что ты рассыпаешься таким мелким бесом? Или, может, мне повезло?" - подумал Лобанович и наострил уши.

- Да так себе, помаленьку, Василий Миронович. Благодарю за внимание, - ответил он.

- Может, ваша школа имеет какие-нибудь претензии к волостному правлению? - в том же доброжелательном тоне продолжал расспрашивать писарь.

Лобанович пожал плечами, как бы желая сказать этим, что никаких особых претензий школа не имеет ни к писарю, ни к волости.

- Что полагается иметь школе от волости, то выполняется, - ответил учитель.

- Ну вот и хорошо, очень рад, что и вы и ваша школа не в обиде на волость, - проговорил писарь.

На этом он закончил несколько затянувшиеся предварительные церемонии и перешел к делу.

- Простите, Андрей Петрович, что побеспокоил вас, я должен вручить вам пакет, который мне предписано отдать вам под расписку. Вот он. Прошу расписаться в получении.

Писарь положил на стол пакет. Лобанович расписался в книге "входящих".

Как видно, писаря разбирало любопытство, что же это за пакет, который надо вручить под расписку. А может, ему уже было известно, что там написано, и Василькевич только прикидывался, что ничего не знает, чтобы поиздеваться над учителем?

- Верно, дирекция представляет вас к награде? - не утерпел писарь. В этом вопросе учителю послышалась насмешка.

- А за что меня награждать? Японского микадо я взял в плен, что ли?

- Как за что? - спокойно возразил писарь. - Была же вам благодарность за образцовую подготовку учеников к экзаменам.

- Ну, мало ли что... Тогда было одно время, теперь другое. Была, скажем, Государственная дума, а сейчас ее нет. В связи с этим и у начальства могут быть другие настроения... А впрочем, чтобы не ходить впотьмах, заглянем в пакет.

Не торопясь Лобанович вскрыл пакет, пробежал глазами по написанному на машинке. Текст был в несколько строчек.

"Учителю верханской школы такому-то.

Педагогический совет дирекции училищ Менской губернии постановил - уволить вас с должности учителя в верханском народном училище с первого сентября сего 1906 года".

Под уведомлением стояла собственноручная подпись директора, статского советника Акаронки, и затейливая подпись делопроизводителя Давидика. Пока учитель читал, писарь внимательно следил за выражением его лица. Но ни один мускул на лице Лобановича не шевельнулся. Учитель еще раз окинул глазами бланк. Все было на своем месте: три буквы "М.Н.П." - министерство народного просвещения, подписи Акаронки и Давидика и печать.

Лобанович передал бумагу писарю.

- Полюбопытствуйте.

Писарь прочитал уведомление, вскинул удивленный взгляд на учителя.

- Вас увольняют с должности учителя? - тихо, с расстановкой спросил он и еще раз перечитал бумагу.

- Ну, вот вам и представили к награде! - с ноткой обиды в голосе проговорил учитель.

- По послушайте - за что?

Быть может, у писаря были свои грехи перед начальством и потому его так поразило известие о том, что учитель увольняется из школы, во всяком случае притворства и издевки в голосе Василькевича не было: и для него эта новость была неожиданностью.

- Какая же причина? - допытывался писарь. - Причина здесь не указана.

- Видимо, припомнили мне мои прежние грехи, - ответил Лобанович. Рассказывать про учительский съезд он считал излишним.

Простившись с писарем, Лобанович направился в школу, которая теперь была уже не для него.

XXXIII

Еще раз, уже дома, в своей комнате, прочитал Лобанович невеселое сообщение дирекции. Теперь он убедился, что рисовать в своем воображении неотвратимое событие - одно дело, а само это событие, если оно становится совершившимся фактом, - нечто совсем другое... Итак, он без службы, он безработный. И никаких иллюзий больше не может быть! Проведен рубеж, отделяющий его от того, что было, и этот рубеж нельзя переступить.

Учитель оглянулся вокруг. Вот его квартира, вернее - его бывшая квартира, столовая и одновременно кабинет с тремя окнами и спальня за перегородкой с одним оконцем. Более полугода жил Лобанович в этой квартире и не замечал ее, а теперь она предстала перед ним в новом свете - убогая, но дорогая. Целый рой мыслей и образов пронесся в голове учителя. Почему-то вспомнился тот день, когда он впервые появился здесь и увидел запущенную, грязную школу, Сретун-Сурчика в постели, встречу с ним. Вспомнилась и первая дорога в Верхань со станции, и подводчик дядька Кудрик, и шальная вьюга, когда ветер злобно стучал ставнями в стены. Кажется, давно-давно это было, как далекий сон, успевший потускнеть в памяти. За несколько коротких мгновений промелькнуло в памяти

все, что было связано с учительской работой, все, что узнано, пережито за четыре года: Тельшино, Выгоны... Все это осталось позади, ушло в туманную даль.

Бабка Параска осторожно открыла дверь. Увидев Лобановича в глубокой задумчивости, она остановилась, не переступая порога, а затем тихонько попятилась назад, чтобы не мешать учителю думать. А он даже и не заметил, как бабка приходила и как исчезла за дверью.

Она вошла снова немного погодя, когда услышала шаги в комнате. Учитель приветливо встретил ее, согнав с лица следы печали.

- Заходи, бабка Параска! Давно мы не разговаривали и на картах не гадали. Садись, бабка. Лучшего друга, чем ты, у меня здесь нет.

Бабка Параска тяжело вздохнула и присела на деревянную кушетку возле стола.

- Что ты, бабка, зажурилась?

- Когда вам невесело, то и мне невесело, - ответила бабка.

- А почему ты думаешь, что мне невесело?

- По вашему лицу вижу, голубок. Знаю, что тяжело у вас на душе, но вы об этом не говорите. Не такой вы были прежде, - вздыхала бабка. - Теперь вы и шутите и смеетесь, а сердце ваше не смеется и не шутит. Разве же я не вижу!

- Эх, бабка, ты многое видишь, но многого не знаешь.

Бабка, казалось, не слышала слов учителя. Она сидела, низко опустив голову, углубившись в свои мысли. А затем вскинула глаза на учителя и поставила вопрос ребром:

- Скажите, паничок, правду, какая беда приключилась с вами?

Для учителя этот вопрос оказался неожиданным. Некоторое время он молча всматривался в опечаленное лицо бабки, изрытое морщинами.

- Доброе у тебя сердце, бабка Параска. Вижу, ты меня жалеешь, как родная мать. А жалеть меня нечего. Вся моя беда, как ты говоришь, помещается вот в этой небольшой бумажке, - Лобанович показал уведомление, полученное из дирекции народных школ. - Разлучает меня с тобой и с этой школой "высокое начальство", бабка Параска. Помнишь, как ты гадала мне на картах? "Высокое начальство" сначала прислало мне благодарность, что хорошо учил детей в школе, а теперь говорит: "Убирайся вон!"

Бабка словно онемелая смотрела на учителя. Казалось, смысл слов учителя никак не мог дойти до ее сознания. Но она почувствовала в них горькую правду.

- Как же это так? - разволновалась бабка. - За что такая немилость, такое наказание? Что плохого вы сделали?

- Вот в том-то, бабка, и вся сила, что это плохое разные люди понимают по-разному. Одни дармоеды плохим считают то, что простые, бедные люди, замученные податями, голодом, бесправием, не хотят мириться с этим и добиваются правды, готовые бунтовать против несправедливого строя.

- Ох, паничок, не они заводили этот строй, и не им разрушить его, - безнадежно проговорила бабка. - Да и не мне учить вас. Вы, наверно, больше знаете, чем я, но вот вы пошли против несправедливого строя, а вас взяли да уволили со службы. - Она опустила низко голову и стала фартуком вытирать слезы.

Лобанович подошел к бабке Параске и тихонько похлопал ее по плечу.

- Не плачь и не горюй, бабка. Посмотрим еще, чей верх будет. Мы еще повоюем, а ты, бабка, как жила, так и будешь жить.

Бабка вытерла фартуком заплаканные глаза и молча поплелась в боковушку, чтобы там поплакать о своем "монашке". А может, она хотела в одиночестве погадать на картах, чтобы узнать о дальнейшей судьбе учителя...

Лобанович, оставшись один, решил сходить к попу.

Отец Владимир и Виктор сидели в саду в беседке. С ними был незнакомый молодой человек, смуглый, мускулистый, словно высеченный из камня. Возле беседки стоял круглый стол, а вокруг него тянулись широкие скамейки. Лобанович окинул их взглядом.

Ему пришла в голову дурашливая мысль перепрыгнуть через стол и скамейки. "Попробую", - сказал он себе и, ни с кем не поздоровавшись, разогнулся и прыгнул.

- Глядите, что из него получается! - одобрительно воскликнул отец Владимир и добавил: - Да в тебя дух сатанинский вселился!

- Браво, браво, учитель! Больше сажени в воздухе летел, - похвалил учителя и Виктор.

Смуглый молодой человек только усмехнулся и откликнулся одним словом:

- Здорово!

Лобанович познакомился с ним. Его фамилия была Дьяченко. Приехал он к Виктору, своему приятелю, погостить. Но имелась и еще одна причина его приезда. Дьяченко был начальником боевой эсеровской дружины в одном из украинских городов на Днестре. Полиция напала на его след. Чтобы сбить ее с толку, Дьяченко, сговорившись со своими друзьями, разыграл комедию самоубийства. В одной тогдашней газете появилась заметка приблизительно такого содержания:

"На днестровской круче в районе г. К. найдена записка неизвестного человека, назвавшего себя Евгением Дьяченко: "Все надоело. Не вижу никакого смысла дальше тянуть лямку, которая называется жизнью. В моей смерти никого не виню. Прими же, родной Днестр, в свою бездну твоего незадачливого сына".

Написав такую записку, Дьяченко приехал в Верхань к Виктору и кормился от даров отца Владимира.

Отец Владимир, когда пришел к нему Лобанович, был в меру пьян и в хорошем настроении.

- Ты что же это так распрыгался? Откуда у тебя такое телячье настроение? - спросил он Лобановича.

- Эх, отец Владимир, прыгают не только от радости, но и с горя, - заметил учитель.

- Слыхал, слыхал, друже... Эх вы, мало себе под ноги смотрите, вот и спотыкаетесь, - пожурил батюшка Лобановича, а в его лице и всех неосторожных молодых людей. - Что же теперь делать будешь?

- Подумаю, осмотрюсь.

- Не пропадет! - уверенно буркнул Дьяченко.

- Знаешь, что я тебе скажу, - продолжал батюшка не то серьезно, не то шутливо, - подавайся в попы. Вот здесь, в моем приходе, и оставайся. Будем вдвоем бога хвалить и копейку загонять, и никакой нам черт не брат.

- Плохой из меня божий служка, - шутливо ответил Лобанович.

- Очень хорошим и не надо быть. Не слишком ударяйся в святость, ведь лишнего и свиньи не едят, но и плутом чрезмерным не надо быть, а так себе, серединка на половинку. А впрочем, как себе хочешь, - заключил батюшка, махнул рукой, поднялся и побрел в свои поповские хоромы.

- Вам ладо связаться с партией настоящих революционеров, - сказал Лобановичу Дьяченко, - и стать членом партии. Партия поможет вам во многом. У нее есть связи, с ее помощью можно и работу найти.

- А в какую партию вы мне советуете пойти? - спросил Лобанович.

- В партию социалистов-революционеров. Она, как никакая другая партия, выражает интересы крестьянства.

Лобанович усмехнулся.

- Плохой был бы тот сват, который не похвалил бы свою невесту. Ну что ж, посмотрим да послушаем, как оно и что. А за добрые слова благодарю.

XXXIV

Лобанович уже свыкся с мыслью, что он отрезанный ломоть в школе, что средства к жизни нужно добывать каким-то другим способом. Но голову он не вешал. Неужто в этом большом и широком мире не найдется пристанища для одинокого человека, свободного,

ничем не связанного? Обнадежил его и Дьяченко, когда советовал теснее связаться с партией революционеров, где можно найти поддержку. Дело только в том, какую выбрать партию, чтобы она соответствовала всем твоим чаяниям. Прежде чем связать себя с той или иной партией, надо внимательно присмотреться к ней, правильно выбрать дорогу. А пока что важно одно - не застаиваться на месте, ни в коем случае не опускаться, а идти вперед, навстречу жизни, и не потеряться в ней. Жизнь таит в себе неисчерпаемые возможности, она богата разными событиями, которые откроют перед учителем еще неведомый ему мир.

В эти дни Лобанович любил бродить в окрестностях Верхани без какой-либо определенной, конкретной цели. Страсть к скитаниям заметно подогрел приятель Лобановича Янка Тукала. Сегодня Лобанович получил от него письмо. Янку также уволили с должности учителя. Но и он не горевал и бодро смотрел вперед. В письме он прислал такое стихотворение:

Глупец! Где посох твой дорожный?
Бери его, пускайся в путь!
Пойдешь ли ты через пустыни
Иль в город пышный и большой,
Не оскверняй ничьей святыни,
Нигде приют себе не строй.

Стихотворение это отвечало настроениям молодых учителей, увлекало их своей романтической туманностью.

Тем временем приближалась осень. Не за горами был и сентябрь, когда учителя после каникул собирались в свои школы, как птицы в отлет на юг. Только ему, Лобановичу, закрыты пути в теплые края. Время подумать о сдаче школы волостному правлению либо непосредственно своему преемнику, который мог здесь появиться каждый день, а самому убираться подобру-поздорову.

Возвратившись однажды из своих скитаний по окрестностям Верхани, Лобанович встретился с Иваном Антипиком. Тот за лето порозовел, загорел и нагулял себе немного жирку. Его небольшие рыжеватые усики подросли, в он часто разглаживал их пальцами. Это украшение делало Антипика в глазах Лобановича похожим на гоголевского винокура: усы были такие, что казалось, будто владелец их держал в зубах мышь. Антипик имел вид человека, довольного собой, своей жизнью и своими дальнейшими планами. Он уже знал, какая беда приключилась с его коллегой.

"Вот кстати приехал, не будет хлопот со сдачей школы!" - обрадовался Лобанович.

С грустной физиономией, как и подобало в таком случае, Антипик сочувственно произнес:

- Невеселые новости, плохие дела, Андрей, - Антипик имел в виду увольнение Лобановича.

- А что случилось, Иване? - притворился непонимающим Лобанович.

- Со мною ничего не случилось, - зашелкал языком Антипик. - Наоборот, я получил назначение в лучшую школу, в Клинки. А вот ты... подгулял, братец. Ай-яй-яй! - укоризненно и вместе с тем сокрушенно покачал головой Антипик. - Ну, чья правда? - с видом победителя спросил он и добавил: - Лезть на рожон никому не рекомендуется. Не трогай ничего и не бойся никого. Сиди тихо, не трогай лиха.

- Знаешь, Иване, разочаровал ты меня окончательно: я думал, ты останешься здесь и я сдам тебе школу, чтобы не возиться с разными людьми... Ну, а если так, пусть будет так. Желаю тебе не вступать в конфликты на новом месте со становым приставом. Что же касается правды, то сперва выведем цыплят, а сосчитаем их осенью.

Антипик шмыгнул носом и прищелкнул языком.

- Не знаю, брат, что ты будешь считать! - насмешливо проговорил он.

Самодовольный Антипик явно чувствовал сейчас свое превосходство над изгнанным из школы Лобановичем.

Они разошлись, и никогда в дальнейшем Лобанович ничего не слышал о нем.

Пока школа не была еще сдана, Лобанович чувствовал под ногами какую-то юридическую почву, имел законные основания оставаться в ней. А сдай он школу - и этого основания, пусть иллюзорного, не будет. Вот почему он откладывал сдачу до последнего часа. Немного удерживала его здесь и Лида: ведь нужно было закончить дело с ее поступлением в новую школу. Да и не хотелось разлучаться с девушкой, к которой он привык, а может, и более чем привык, хотя в этом он и сам не хотел признаться. Лобанович не обманывал себя и не тешил никакими иллюзиями, будучи уверен, что если он уедет, то больше с Лидой никогда не встретится. Да и зачем? Она еще только-только начинает расцветать, из милого, невинного подростка превращается в молодую девушку, которая впоследствии на него, бездомного, может быть, и смотреть не захочет. Не очень приятно думать об этом, но Лида все же стояла в его глазах.

Уже несколько дней не ходил он к своей ученице. Вероятно, они там еще не знают, что Лобанович уже не учитель верханской школы и вообще не учитель. Но этого не скроешь. И какой смысл скрывать?

Учитель, взяв палку, товарища своих скитаний, направился на хутор Антонины Михайловны. Быть может, в последний раз пройдет он по знакомой дороге.

Веселая, беззаботная Лида играла на своем дворике, гонялась за котенком, ловила его, прижимала к щеке, целовала, что-то ласково говорила ему. Котенок, как только Лида опускала его на землю, задира хвостик и бросался бежать. Лида снова гонялась за ним. Подбежав к забору, котенок скрывался под жердями и убегал по ту сторону забора. Легко, как дикая козочка, Лида перескакивала через забор, чтобы поймать хитрого котенка.

Лобанович притаился в укромном уголке, где его не видно было, и потешался игрой Лиды с шаловливым котенком. Никогда не видел он ее такой живой, такой веселой, быстрой и ловкой и по-детски беззаботной, и никогда по казалась она ему такой милой и очаровательной. Несколько минут наблюдал он за Лидочкой, стоял не шевелясь, чтобы она не заметила, что на нее смотрят и любят ее. Котенку, видимо, надоело играть, и он, изогнув спину дугой и задрав хвостик, стрелой помчался к хате и спрятался под крыльцом. И Лида также сочла, что довольно ей этой забавы, ведь есть у нее более важные дела. Ее лицо утратило недавнее беззаботное, шаловливое выражение. Лида сразу переменялась, стала серьезной, словно взрослая женщина. Отбросив со лба темно-каштановые локоны густых, волнистых волос, она оглянулась в сторону дорожки, ведущей от большака к хутору. По этой дорожке обычно ходил Лобанович. Солнце било прямо в лицо Лиде, и она сделала себе щиток ладонью, чтобы заслонить глаза. Это очень взволновало Лобановича: не его ли высматривает Лида? Но Лобановича не было на дороге; он стоял здесь, неподалеку, и все это видел, сам оставаясь незамеченным.

Лида степенно, медленно, как взрослая женщина, направилась к хате, на крыльцо, под которым спрятался котенок. Лобанович постоял еще несколько минут, обошел сарай, возле которого скрывался, и не торопясь вошел во двор.

Антонина Михайловна и Лида были в хате. Они приветливо и гостеприимно встретили учителя.

- Рассказывайте, что слышно хорошего, - обратилась к нему Антонина Михайловна.

- Как вам сказать... Хорошего ничего, - ответил он. - Но все это пустяки. Не было бы только худшего.

- Ну, рассказывайте все, - не отставала Антонина Михайловна.

- Особенно и рассказывать нечего: выгнали меня из школы, вот и все. И теперь я могу сказать: "Чист кругом я, легок и никому не нужен", - вспомнил он фразу, когда-то продиктованную в начальной школе его бывшим учителем.

- Вас уволили с должности? - удивленно переспросила Антонина Михайловна. В ее голосе слышались нотки грусти и сочувствия. - Ну, и что же с вами будет?

- Что будет? Возьму шапку в охапку - имущество мое небольшое - и пойду искать счастья по свету. Где-нибудь найду пристанище. Есть такая поговорка: "Один Степан - всегда пан, а если у него недостача, то дитя не плачет", - бойко ответил учитель.

Несколько минут в хате было так тихо, словно она была пустая. Что чувствовала Лида, Лобанович не знал. Казалось, все это ее мало трогало. Тишину нарушила Антонина Михайловна.

- Ну, а что же будет с моей Лидой? - спросила она и добавила: - Сбили вы ее с толку.

Слова Антонины Михайловны больно отозвались в сердце Лобановича. Чем же он сбил Лидочку с толку? Неужто тем, что хотел вывести ее в люди? Не обманывал се, золотых гор не обещал.

- С Лидой вот что будет, - сказал Лобанович. - Сегодня напишем прошение начальнице менской городской школы. Недели через две там начнутся экзамены. Лида поедет и будет экзаменоваться. Для этой школы она подготовлена больше чем достаточно.

- Не поеду я держать экзамены! - забунтовала Лида.

- Почему? - спросил Лобанович.

- Не хочу поступать туда. Я буду лучше телеграфисткой.

Как видно, Лида уже говорила об этом с матерью, а может, мать и натолкнула ее на такую мысль. Но прошение она все же написала.

На прощанье, покидая дом и хутор Антонины Михайловны, Лобанович спросил Лиду:

- Милая Лидочка, если я пришлю тебе письмо, будешь ли ты писать мне?

Лида опустила глазки.

- Может быть, и напишу, - тихо проговорила она и, помолчав немного, в свою очередь спросила: - А что я буду писать? Да и зачем это?

Простились они довольно сухо.

"Не был бы я уволен, она так не ответила бы мне, - подумал Лобанович, идя в Верхань. - Сегодня же сдам писарю школу. Нет больше никакой нужды оставаться здесь".

XXXV

"Ну что ж, - думал Лобанович, - последние мои часы здесь. Школу сдал, и сейчас я чужой в ней. Черта проведена. Теперь я вольный казак, пока еще не подрезаны крылья". На память пришли строчки стихотворения Мельшина (Якубовича):

В колосьях желтеющих нив утопая,
По узкой меже, сквозь редющий мрак,
В убогой сермяге, кряхтя и вздыхая,
Проходит свободный батрак.

Таким "свободным батраком" чувствовал себя отставной учитель верханской школы.

Бабка Параска все эти дни ходила невеселая и часто плакала. Когда же она узнала о сдаче школы, горю ее не было конца: ведь больше не оставалось никакой надежды, что учитель останется.

- Ты, бабка, так плачешь по мне, будто я покойник, а я живой и живучий.

- Ох, голубок мой! - Бабка Параска вытерла слезы. - Жалко мне вас. Сдается, и родного сына не жалела бы так, как вас.

- Добрая ты, славная, бабка Параска, и я буду помнить тебя, как сын. Развеселись же и не плачь по живому человеку!

Но бабка заплакала еще сильнее и, вытирая слезы, спросила:

- Когда же думаете покинуть нас?

- Долго оставаться здесь мне теперь не приходится. Тот же писарь, которому я сдал школу, может сказать: "Из школы уволен, школу сдал, так будь добр убираться". Значит, нужно готовиться и отправляться в белый свет. А свет велик, и простора в нем много.

Бабка Параска тяжело вздохнула и вышла из комнаты учителя. Не сиделось в ней и Лобановичу. Перед тем как покинуть свою третью и последнюю школу, ему захотелось еще раз обойти знакомые дороги и тропинки, где столько раз бродил он в свободные минуты. Такие прогулки приносили ему немало радости, и многие местечки в окрестностях Верхани стали близкими и дорогими для учителя. Не раз вставали и не раз встанут они перед его глазами, маня к себе, как самые дорогие друзья. Так как же не проститься с ними?

Лобанович взял палку, вышел на высокое крыльцо. Не раздумывая, без какого-либо определенного плана, вышел он на широкую дорогу, возле которой стояли волость и церковь в зеленом венке берез, и в тихой задумчивости направился в сторону леса. Если бы кто-нибудь спросил в эту минуту Лобановича, о чем он думает, он, вероятно, не смог бы ответить. Опомнился он только тогда, когда очутился на кладбище. Выходя из дому, чтобы проститься с верханскими околицами, Лобанович совсем не думал заходить туда.

"Как же я попал сюда и зачем? - удивился Лобанович. - Что привело меня на кладбище? Кладбище - символ конца человеческого существования. Конец - простое слово, а заключает в себе богатое содержание: порой человек рад ему, а порой конец приобретает трагический характер".

Вот и для него, Лобановича, настал конец учительства и пребывания в Верхани. Неожиданно для себя Лобанович припомнил тот давний случай на кладбище, когда он встретил здесь влюбленную пару. Как выяснилось потом, это были помощник писаря Лисицкий и свояченица писаря, которая вскоре после этого уехала отсюда.

На кладбище было тихо, глухо и тоскливо. Лобанович медленно подвигался по знакомой дорожке к знакомому уже валу. Кусты, запавшие учителю в память, утратили свою сочную зелень, красу своей молодости. Лишь кое-где трепетали на них пожелтевшие листья, и в увядшей траве валялось их немало. Предосенняя пора накладывала печать грусти на все вокруг. Даже беспокойный ветер и тот гомонил на печальный лад, припадая к земле, будто для того чтобы подслушать ее неумолчные песни. Эх, песни, извечные песни земли! Когда зазвучите вы радостно, весело?

Лобанович остановился и окинул глазами кладбище, будто для того, чтобы запомнить его навсегда. Полусгнившие деревянные кресты, склоненные над землей, серые пятна мха на них, надмогильные плиты, вросшие в землю, - как все здесь заброшено, запущено, как все это убого и печально! Учителю сделалось так грустно, тоскливо, что оставаться здесь дольше он не мог. Уходя с кладбища, он еще раз оглянулся.

"Наверно, не увижу вас больше никогда. Ну, прощайте!" - мысленно произнес он.

Выйдя на большак, Лобанович повернул в сторону леса. Медленно побрел опушкой на Тумель, где была запруда и старинная двухэтажная мельница. Это было самое любимое местечко Лобановича, куда он часто ходил в свободные минуты на прогулку.

Едва учитель остановился возле запруды, целая череда воспоминаний прошла перед ним. Вспомнилось раннее весеннее утро, когда ехал он через плотину возле мельницы со своими учениками на экзамены. Дорога сразу же за плотиной входила в лес. По краям лесных прогалин стояли молодые березки, только-только начинавшие выпускать молоденькие, пахучие листочки и придававшие лесу особенное очарование. Казалось, старый угрюмый лес нарочно развесил тонкое, прозрачное покрывало, сотканное солнцем и землей из миллионов молодых, нежных бледно-зеленых березовых листочков, чтобы украсить себя этими дарами весны и прикрыть свою угрюмость. Иное настроение, иные мысли владели тогда молодым учителем, который снова пришел сюда сейчас уже на пороге осени, чтобы в последний раз взглянуть на все эти места, так глубоко запавшие ему в память, и сказать им: "Прощай!"

Старая мельница стояла тихо, недвижимо. Не было возле нее ни людей, ни подвод. Не двигалось и огромное, многоступенчатое колесо, оживлявшее мельницу, и весь ее несложный механизм. Лишь одна небольшая струйка воды, что пробивалась где-то из не приметной щели, своим однообразным журчанием нарушала покой омертвелой

мельницы. Из-под плотины спокойно текла речка, неся дальше ту порцию воды, которую предназначили ей строители. Сразу же за мельницей она описывала красивую дугу, поворачивая сначала вправо, а потом, забирая в сторону поля, пряталась под навесом старых верб, что склонились над водой, и затем совсем исчезала из глаз. И речка и кривые вербы над нею еще сильнее подчеркивали покой и тишину одного из заброшенных и малоизвестных уютных уголков старой Беларуси.

Лобанович долго смотрел на речку. В памяти всплывали другие такие же близкие и милые сердцу картины родного края, которые приходилось ему встречать не один раз. А сколько есть чудесных уголков, еще неведомых ему! И сколько в них манящей, успокаивающей душу красоты! Так вперед, брат, вперед! Прокладывай себе дорогу в жизнь, не взирая ни на какие невзгоды, дорогу просторную, ясную, с бескрайними горизонтами и далями, и призывай народ на эту просторную дорогу!

Унылое настроение, владевшее недавно Лобановичем, развеялось, как утренний туман под лучами горячего летнего солнца. Он ощутил прилив бодрости и новых сил, неодолимое желание бороться за свое место в жизни и за всех добрых людей, придавленных неурядиц и всяческими бедами, которые преграждают им путь к счастью. "Чего же грустить? На кого надеяться?.. Прощайте же, будьте счастливы, мои милые вербочки, и ты, неутомимая речка! В другом месте встречусь с такими же дорогими, как вы".

В последний раз окинул Лобанович взглядом знакомые места. Взглянул и на тот пригорок, где впервые привиделся ему призрачный замок, на село, что вытянулось в одну длинную пеструю ленту, с убогими заборами возле запущенных, старых хат, на двор отца Владимира, на церковь в противоположном конце села и расположенные неподалеку от нее здания волостного правления и школы. Вот она, вся Верхань, перед ним и все ее окрестности...

Тот же самый дядька Ничыпар Кудрик, который зимой привез Лобановича в Верхань, теперь отвозил его на станцию, с теми же двумя небольшими чемоданами, где был сложен весь незамысловатый скарб учителя. В глазах Лобановича еще стояла с заплаканным лицом бабка Параска, такая приветливая и добрая, низенькая, сухонькая, морщинистая. Невольно вспомнил он отъезд из Тельшина, Ядвисю, из-за которой он и покинул свое первое учительское место, широкоплечего дядьку Романа и его рассказ о Яшуковой горе. "Одна глава книги прочитана и закрывается", - думал Лобанович, покидая Тельшино. А сейчас прочитана и другая глава еще далеко не дочитанной книги.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ

Когда-то, еще в дни юности, меня заворожили просторы земли с их бесчисленными говорливыми дорогами, широкими и узкими, ровными и кривыми, по обеим сторонам которых то здесь, то там вставали густолиственные липы, стройные тополя либо старые, кудрявые сосны. Меня манили неясные дали, молчаливые и задумчивые, с их пригорками, долинами и криницами, с тонкими полосками лесов на горизонте, где земля словно сходится с небом и где все прикрыто легкой, прозрачной завесой синеватой дымки.

Что скрывается за этой завесой? Какие события, какие люди встретятся на пути моих странствий? Через какие края пройдут тропинки и куда они приведут?

Ничего более интересного на свете не было тогда для меня, как приподнять завесу синей дали и заглянуть за ее рубежи. Там, думалось мне, я найду ответы на все вопросы, узнаю тайны жизни. А жизнь так сложна и так много в ней неожиданностей, крутых поворотов, что неискушенному юноше тяжело было разобраться во всех разнообразных ее проявлениях и оценить их так, как они того заслуживали. Вот почему так радостно было идти все дальше и дальше, чтобы изведать неведомое, увидеть невиданное.

С того времени прошло много лет. Много дорог перемеряли мои ноги. Разные люди встречались мне в моих странствиях. Многие из них стали мне близкими и дорогими, и многих из них сегодня я недосчитываюсь. И сам я устал за это время и все чаще и сильнее чувствую извечную и неодолимую силу притяжения земли.

Но шумят говорливые, неудержимые волны жизни, и все такие же бескрайние, еще более привлекательные дали раскрываются перед глазами.

Новые, просторные дороги открылись перед нашими народами. И не угасает неутомимое желание заглянуть за чудесную, пленительную завесу завтрашних дней.

Будьте же вы светлыми и радостными, грядущие дни человечества!

I

Возле железной дороги, соединяющей Минск и Берасте, неподалеку от станции, в малоприметном уголке среди высокого темного леса, ютилась усадьба лесника. Принадлежала она лесничеству князя Радзивилла. За долгое время строения почернели, постарели, покосились. Да и что это были за строения! Низкая, подслеповатая хата с закопченными окнами и полусгнившим крыльцом глядела в сторону железной дороги. Хотя железная дорога проходила здесь и близко, но ее не видно было - высокий вал, заросший сосняком и кустами орешника, закрывал ее. Древнее гуменцо с вогнутой соломенной крышей притулилось возле самого леса, - казалось, для того, чтобы спрятаться от холода и ветров, которые были для него уже небезопасны. Маленький хлевок, также почерневший от времени, сиротливо жался к земле. По одну и по другую сторону усадьбы раскинулась небольшая полянка. Когда-то здесь была смолокурня. От нее остались только глыбы глиняных печей, где выпаривалась смола, да мелкие остатки пропитанных смолой пней. Еще и теперь чувствовался здесь легкий запах дегтя и скипидара. Название "Смолярня" по наследству перешло к усадьбе лесника. В ней с некоторого времени жил брат Андрея Лобановича Владимир, работавший здесь лесником. Еще с детства братья жили дружно, согласно. Встречались изредка и тогда, когда возмужали, а дороги их разошлись, встречались приветливо и сердечно. Узнав, что Андрея уволили с должности учителя и он теперь без работы, Владимир посочувствовал ему, а затем спросил:

- Так что же ты, брат, думаешь делать?

- А вот осматрюсь немного, кое с кем посоветуюсь, как оно и что, - может, что-нибудь и подвернется.

Братья помолчали.

- Да уж, наверно, не в школе свет клином сошелся, - заметил Владимир. - А таких, как ты, сейчас много. Время такое - люди за правду стоять начали, а начальство правды не любит.

- Это верно, - отозвался Андрей.

Владимир круто повернул разговор в другую сторону.

- Пока найдешь себе приют и работу, перебирайся ко мне. Уголок спокойный, укромный. Ты один, мешать не будешь мне. Большой роскоши, правда, нет, но перебиваться кое-как можно.

Андрей искренне поблагодарил брата и согласился остановиться у него.

После того как Лобанович выбрался из Верхани и приехал к своим родным, ему все казалось, что люди смотрят на него по-иному и в душе даже радуются, что он без места, без работы, - одним словом, босяк!

Лобанович обосновался в Смолярне, у брата.

Прошло не более недели с того времени, как появился он в своих родных местах. Первые дни его сердце сжимала такая тоска, словно он носил траур по тяжелой утрате. В прошлые годы в это время все учителя, в том числе и он сам, уже были в своих школах и начинали занятия. Младшие школьники, свободные от домашних работ, наполняли классы своими звонкими голосами. Какое славное это время! Учитель впервые встречается, знакомится с

малышами, которые потом вырастут, пойдут в жизнь - то ли путями-дорогами своих отцов, то ли новыми, более просторными и счастливыми. Разве это не радость - познакомить их со школой, со школьными порядками, научить читать и писать, познавать книжную мудрость и говорить с ними так, чтобы каждое твое слово дошло до сердца и ума детворы!

Перед глазами Лобановича отчетливо, как живые, всплывали картины школьной жизни и те школы, в которых ему довелось побывать. Тельшино, его околицы, люди и все то, что там пережито. И бесконечно милый образ Ядвиси снова ожил в памяти, как чудесный цветок полесской глуши, как невозвратимая утрата. Припомнились и выгоновская школа, и широкая низина Пинского заречья, заросшая высоким, густым тростником, и Пинск, который так хорошо виден, если спуститься со школьного двора вниз, к реке Пине. Словно остров, возвышался среди бесконечных тростниковых болот старинный город, важнейший центр необъятного Полесья.

Еще живее и ярче рисовалась в его мыслях Верхань - ведь только несколько дней прошло со времени прощания с ней. Вспомнились и хуторок Антонины Михайловны и Лидочка. Славная девушка, способная, веселая, по-детски шаловливая... Поедет ли она сдавать экзамены в городскую школу? Какова будет ее дальнейшая судьба? Напишет ли она ему? Лобанович дал ей свой адрес. Кстати, до почты отсюда гораздо ближе, чем от Микутич. Наверно, есть на почте письмо и от кого-нибудь из друзей, таких же выброшенных из школ бесприютных горемык, как Лобанович.

Так вот он каков, новый поворот в его жизни! В какой жизни? В бесприютном блуждании между небом и землей. Надеяться не на кого. Полагайся только на самого себя, ниоткуда не жди помощи... Нет, не правда, брат Владимир уже помог, поправил себя Лобанович. А другие? Разве свет без добрых людей? Пока ты еще свободен, пока служат ноги - иди! Иди вперед по бездорожью, по целине, прокладывая новый след. Одно только помни: не сворачивай с верной дороги. Но где она, верная дорога? Это дорога обездоленного, угнетенного народа, который мечтает о правде, о справедливости и в меру своих сил и возможностей борется за них, народа, который живет мыслями о своем человеческом праве и о земле, захваченной панам, казной, церквями и монастырями. Много на этой дороге ям и ухабов, разных препятствий, испытаний. Но если ты честный и сознательный человек и перед тобой встают трудности, уразумей их своим разумом и почувствуй сердцем, не бойся, не отступайся от правды и никогда, ни при каких условиях не вступай в сделку с теми, кто унижает народ и надругается над ним. Не поддавайся ни на какие приманки и обещания угнетателей и обидчиков народа.

Таковыми мыслями и такими добрыми намерениями жил сейчас бездомный Лобанович. Они укрепляли его бодрость и решимость всегда быть вместе с простыми людьми, стонущими в ярме беспросветного гнета. Но в жизни часто события идут не теми дорогами и не так, как нам хотелось бы. Зачиналось весеннее половодье новой жизни, да не вылилось из берегов - сковали его холода. И все же придет желанная пора всенародной весны.

II

Возле Смолярни, между усадьбой лесника и железнодорожным полотном, проходила широкая лесная дорога. Миновав усадьбу и не доходя до переезда, она разветвлялась, делилась на две: одна пересекала железную дорогу, а другая забирала влево, некоторое расстояние шла под густым навесом старых елей, по желтоватым смолистым корням. Тут всегда царили полумрак и сырость, дорогу покрывали многочисленные рытвины и лужи черной, как деготь, воды, которая редко когда просыхала. Выбравшись из леса, дорога выходила в Темные Ляды, а затем забирала вправо, держа направление на лесничество князя Радзивилла. На нынешних Темных Лядах не так давно стоял густой, высокий, сумрачный лес. Время от времени огромные лесные пространства вырубались дочиستا. Отборный лес сплавлялся купцами за границу, а деньги переходили в княжескую казну и

в карманы лесопромышленников. Оголенные лесные делянки очищали крестьяне окрестных деревень. Остатки древесины складывали в штабеля и поленницы, а сучья и хворост просто сжигали. Делянку раскорчевывали и на ней сеяли рожь, ячмень, овес. Третья часть урожая поступала в лесничество, все тому же князю Радзивиллу.

Сейчас вырубленные места снова запущены и зарастают лесом. Никто его не сеял здесь, кроме ветра. На огромной вырубленной площади, окруженной могучей стеной старого леса, выступали из травы широченные пни старых, вековых деревьев, кое-где высились стройные ели и сосны. Их оставили нарочно - обсеменять оголенные делянки и разводить новый лес. Они так и назывались "семенники". Запущенные рубки медленно засевались молодыми деревцами - осинником, березняком, сосняком, ельником, орешником. Густая трава, дикие цветы затопляли молодое поколение нового леса, но он поднимался вверх, глуша более слабые растения.

Безлюдно и тихо в Темных Лядах. И особенно уныло выглядят запущенные, малодоступные низины-лужи, заваленные сучьями и трухлявыми верхушками срубленных старых деревьев. Наполовину сгнившие пни и порыжевшая, сухая трава еще сильнее подчеркивают унылость этой пустоши в соседстве с зеленой пышной стеной старого леса, широким кольцом окружившего Темные Ляды.

Совсем другой характер имела местность, по которой проходил проселок, пересекавший железную дорогу.

С двух сторон расстилались тихие, светлые поля, песчаные пригорки, на которых зеленели низкие, но довольно пышные кусты можжевельника и развесистые, приземистые сосенки. Узкие долины среди пригорков ласкали глаз. Небольшие перелески и далекие рощи, подернутые тонкой осенней дымкой, - все это было для Лобановича новым, еще не виданным.

Возле самой дороги, за высокой каменной оградой, раскинулась усадьба с богатым садом какого-то малоизвестного землевладельца Степанова, царского военного - не то полковника, не то генерала. Ни сам Степанов, ни его потомки никогда здесь не жили, но поместье это содержалось так, что обращало на себя внимание. Особенно бросался в глаза сад, выглядевший каким-то красивым, чудесным островом. Высокие, стройные тополя, как часовые, выстроились ровными рядами вдоль всей ограды. И удивительным казалось, как могли эти могучие тополя и этот чудесный сад разрастись и войти в такую силу на здешней убогой песчаной земле? Глядя на этот пышный сад, Лобанович вспомнил родные Микутичи, летние учительские каникулы и свои мечты о преобразовании почвы.

"Может, это были и верные мысли, - раздумывал Лобанович, - черное, жирное болото перенести на песчаные земли крестьянских полей, чтобы поднять урожайность. Но что это даст, если более половины всей земли, и притом наиболее урожайной, находится в руках помещиков? Не проще ли выгнать помещиков, отнять у них землю и передать ее тому, кто работает на ней? Была такая попытка, да окончилась она неудачно. Оказалось, что коронованное пугало Николай II еще прочно сидит на троне, хотя трон этот сильно пошатнулся. Сколько пролито крови! Сколько людей пошло на каторгу, в ссылку и сколько сидит в тюрьмах! И может, сам я, Лобанович, кандидат на одно из этих "мест отдыха" царского самодержавия. "Но что не удалось теперь, то удастся в четверг", - повторил Лобанович поговорку дяди Мартина. - Верит народ, что придут лучшие дни. Вот и надо жить этой верой, невзирая на то, что "пока солнце взойдет, роса очи выест".

Он еще раз окинул взглядом помещичью усадьбу, величественный ряд стройных тополей, богатый сад. Белый дворец светился в глубине сада, сквозь ветки обступавших его яблонь и других деревьев. И сад и помещичий дом заслонялись с севера и востока пригорками и подставляли все свои уголки теплым лучам полуденного солнца.

Пройдя еще несколько шагов, Лобанович поравнялся с железными, наглухо закрытыми воротами, расположенными как раз напротив помещичьего дома, который отсюда виден был хорошо. Ворота по всем признакам давно не открывались, и никакие панские брички

не въезжали в них. Узенькая стежка вела от маленькой калитки в сад. Видно, сюда заходили люди купить либо попросить яблок.

Лобанович слегка толкнул калитку. Она послушно открылась. Неподалеку от нее среди яблонь стоял простенький шалашик - главный штаб караульщика панского сада. С большинства деревьев плоды уже были сняты, и только на поздних сортах соблазнительно красовались крупные красные яблоки, - казалось, для того, чтобы заманить сюда путника. Лобанович, постояв немного возле калитки, медленно направился к шалашу. Там никого не было. В одном уголке желтела примятая солома, едва прикрытая дерюжкой, - видимо, это была постель сторожа. В другой половине шалаша на соломе, разливая немыслимый аромат, лежали яблоки, отобранные чьей-то старательной рукой и разложенные на три кучки - лучшие, средние и худшие. Сразу бросалось в глаза, что человек, живущий здесь, любит порядок и не даром ест панский хлеб.

Не успел Лобанович как следует разглядеть это убогое жилище сторожа, как тотчас же показался из-за деревьев и он сам. Это был коротко подстриженный, поседевший человек с пышными белыми усами, в старом, заношенном солдатском мундире прошлого века. В руках он нес тоже старую солдатскую шапку, наполненную яблоками. За плечами сторожа висело ружье. С его лица не сходило выражение какой-то особой значительности и даже важности.

Лобанович почтительно снял фуражку и приветливо поклонился. Захотелось подшутить над бывалым воякой, не задевая его самолюбия.

- Простите, но вы ли владелец этого имения?

Старый солдат суровым взглядом смерил Лобановича с ног до головы. "Брешет или действительно принял за хозяина?"

- А почему тебе пришло в голову, что я здесь хозяин? - спросил солдат.

- Вид у вас господский, такой, что можно принять за хозяина, тем более что владелец этого имения, как мне сказали, из военных.

Старый солдат явно смягчился.

- Нет, дружок, ошибаешься, их высокоблагородие полковник Степанов в Петербурге живут, а я только доверенная особа их высокоблагородия... Вместе против турка воевали, вместе всю военную службу прошли. С той поры мы так и не разлучаемся. Достойный человек, - заключил старый солдат. Он хотел что-то добавить, но, видимо, счел неудобным пускаться в разговор с незнакомым человеком, к тому же еще, может быть, каким-нибудь забастовщиком.

- А сколько вам полковник за службу платит?

- Сколько он мне платит, того мне на мой век хватит, - уклонился солдат от прямого ответа и в свою очередь спросил Лобановича: - А ты сам кто такой будешь?

- Просто прохожий. Увидел сад и подумал: дай зайду, может, яблоками разживусь. И вот встретил вас, человека преданного и, по всему видно, разумного.

- Как разжиться - за деньги или так? - поинтересовался солдат.

- Да хотя бы и купить.

- Это другое дело!

Бравый солдат повел Лобановича к яблоне, на которой висели крупные красные яблоки, сорвал самое спелое и самое крупное.

- Вот тебе, дружок, возьми. И помни, что я доверенное лицо их высокоблагородия.

Лобанович поблагодарил. Такого большого яблока ему еще не случалось видеть. Он простился с солдатом и пошел дальше своей дорогой.

III

Быть может, многим из вас, дорогие друзья, неинтересно останавливаться такое долгое время на странствиях Лобановича и разглядывать вместе с ним те картины и те места, которые давно примелькались вашим глазам: ведь все это старые дороги и не новые

картины! Если бы сегодня довелось мне еще раз пройти по ним, то я не узнал бы ни тех заветных мест, ни дорог, ни картин, которые разворачивались перед глазами молодого учителя полвека назад. Все коренным образом изменилось, многое навсегда ушло в прошлое и сохранилось только в памяти, в воспоминаниях о далеких днях юности. А мне ведь так приятно оживить и хотя бы мысленно еще раз окинуть их взглядом. А прошлое и настоящее крепко связаны между собой.

Усадьба полковника Степанова, тополя и сад остались позади. Лобанович медленно взбирался на пригорок, самый высокий на пути из Смоллярни в Столбуны. По правую руку раскинулся небольшой лесок, светлый и прозрачный, как тонкая, легкая ткань. Дорога круто и тяжело поднималась в гору по желтому сыпучему песку. Доедая крупное, необычайно вкусное малиновое яблоко - дар старого сторожа, Лобанович взошел на гребень пригорка. Широкая, многокрасочная панорама, ограниченная только голубым небом, открылась перед путником. Это было так неожиданно, так красиво и в то же время так знакомо, что путник невольно остановился.

Новые картины!.. Нет, не новые; новое только то, что любовался ими Лобанович с такого пункта, с какого никогда прежде не видел их. Так бывает и с человеком, когда он вдруг откроется тебе с новой для тебя стороны.

Окинув взглядом всю местность, Лобанович начал присматриваться к отдельным, наиболее знакомым ее уголкам. Вот станция со всеми своими строениями - вокзал, депо, озеро за вокзалом, заросшее по краям густым, высоким камышом и аиром. Правее - мельница, а вот и дорога на Микутичи. Как шумела, гомонила она, когда не так давно, летом, веселая ватага учителей шла в школу Садовича обсуждать вопросы политики и положить начало революционной учительской организации! И как все это неудачно окончилось...

Нет, дорога на Микутичи не радует сейчас взор. Густой сосняк и можжевельник с одной стороны и ольховые кусты - с другой заслоняют ее. Дорога исчезает из глаз, не дойдя до большака, по обеим сторонам которого стоят, как старенькие бабульки, поредевшие березы. Лобанович взглянул правее вокзала. На высокой горке стояла приземистая, хорошо построенная, с претензией на красоту ветряная мельница, одинокая и словцо забытая. Ему редко приходилось видеть, чтобы эта мельница махала крыльями, и потому она казалась ему заброшенной, осиротевшей и производила грустное впечатление. Взглянув прямо перед собой, Лобанович увидел высокие башни белой церкви местечка Столбуны. Само местечко и еще одна желтая церковь заслонялись другим пригорком. Зато как хорошо видны были Панямонь и ее окрестности, хотя это местечко расположено версты на полторы дальше отсюда, чем Столбуны, по другую сторону Немана. Синявский гай, вытянутый тонкой полоской, с приподнятым одним концом, как залихватский ус молодого щеголя, прикрывал Панямонь с северо-запада. Левее и ближе к местечку сурово высилась известковая гора. Называли ее Дроздовой - по имени панямонского жителя Дроздовского, который арендовал гору и добывал известь.

Самыми высокими зданиями в Панямони были церковь, костел и синагога. Церковь и костел стояли в центре местечка, на самом высоком месте, синагога ютилась на задворках. Когда Лобанович еще в детстве впервые увидел панямонский костел издали, то своей формой это здание напомнило маленькому Андрею большого сидящего кота с задранной кверху носом. Это первое впечатление навсегда осталось в памяти. Запомнилась также и маленькая речушка, вытекавшая из-под известковой горы, развесистые вербы над нею, кузница Хаима над речушкой и сам Хаим, ловкий и умелый кузнец с черной бородой. Вспомнилась и старая мельница, гнилое озеро возле нее, ольшаник над озером, густоусеянный гнездами грачей, и неумолчный их крик.

Лобанович смотрит в сторону озера. Вот он, знакомый ольшаник, кусочек общипанной грачами рощицы! А дальше, немного левее, широкий старинный большак спешит уйти с панямонской равнины на соседнюю возвышенность, беря направление на Несвиж. Древние березы, исчезнувшие на некотором расстоянии от местечка, минуя Панямонь,

снова тянутся вдоль большака, неясно вырисовываясь в синеватой дали. Как хорошо знакомы эти картины и как крепко связаны они с детством, счастливым и неповторимым! "Может быть, придет такое время, - подумал Лобанович, - когда я и эти дни своих бездомных скитаний вспомню с удовольствием и вздохну о них".

Он двинулся дальше, спустился в глубокую и узкую долинку между двумя пригорками. И стройные башни белой церкви, и ветряная мельница, и Панямонь постепенно скрылись из виду. Когда Лобанович миновал вставший на его пути второй пригорок, перед глазами сразу возникло все местечко Столбуны с его церквями, с каменными зданиями и площадью, на которой обычно происходили шумные, многолюдные ярмарки. В центр местечка вела узкая песчаная улочка. По обеим сторонам ее убого ютились ветхие халупы местечковой бедноты. В самом начале улочки чернела закоптелыми стенами кузница, где всегда стояло несколько крестьянских подвод и слышался раскатистый звон молота. Ближе к центру чаще попадались аккуратные и со вкусом построенные домики зажиточных жителей, с крашеными ставнями, с резьбой над окнами и с красиво отделанными высокими крылечками. Затем шли лавки разных сортов и с разными товарами, начиная от дегтя и керосина и кончая иголками и нитками.

Малоприметная вначале, улочка постепенно принимала вид настоящей улицы. Выводила она на просторную, мощенную булыжником площадь в центре местечка, проходя неподалеку от белой церкви и оставляя ее слева от себя. День был не базарный, и площадь почти пустовала, если не считать одиночных крестьянских колымажек, двух-трех торговых, терпеливо сидевших возле простеньких столиков под такими же простенькими, убогими навесами, да коз, бродивших по площади в поисках поживы. Наиболее ловкие из них задерживались возле возов и, став на задние ноги, выбирали сено из телег, а иные пристраивались возле лошадей и помогали им хрупать вкусную вику либо клевер.

Миновав площадь и волостное правление, Лобанович взошел на крыльцо почты. Она помещалась как раз по соседству с волостью. Довольно просторная комната разделялась невысокой деревянной перегородкой и проволоочной сеткой над нею на две неравные части - собственно почту и переднюю для посетителей. За перегородкой, возле стола, сидел начальник почты, средних лет человек с коротким и широким носом, похожим на долото. Здесь же вертелся помощник начальника, знакомый Лобановичу белокрысы парень, которого за глаза называли Цвилым [Цвилый - заплесневелый]. Это был малообразованный чиновник с претензиями на интеллигентность и остроумие, - правда, остроты и шутки плохо удавались ему. За перегородкой стояло несколько шкафов с почтовыми делами и бумагами, с разного рода корреспонденцией. В проволоочной сетке были проделаны небольшие оконца, через которые принимались заказные письма, продавались марки, выдавались письма и посылки.

В передней толклось несколько посетителей, Лобановичу бросилась в глаза одна старуха. С растерянным видом она обращалась то к одному, то к другому из посетителей, но от нее отмахивались, как от надоедливой мухи. А ей только нужно было, чтобы кто-нибудь прочитал письмо, которое она получила здесь, на почте. Она обратилась и к Лобановичу. Пришлось удовлетворить бабкину просьбу. Отыскав поспокойнее уголок, Лобанович тихо, чтобы слышала только старушка, прочитал ей письмо. Та слушала и плакала, хотя причин для плача в письме не было.

Улучив минуту, Лобанович окликнул Цвилого:

- Иван Павлович, день добрый!

Иван Павлович поднял глаза из-под толстых, припухших век, - видимо, ночь он провел в веселой компании.

- А-а! - оживился он, увидев Лобановича. - День добрый, день добрый, педагог без педагогики!

Иван Павлович веселым смехом сам воздал должное своему остроумию.

- Посмотрите, пожалуйста, нет ли мне писем до востребования?

- Посмотрим!

Иван Павлович перелистал стопку писем.

- Нету! - сказал он и насмешливо добавил: - Пишут... Верно, от крали, если до востребования?

Лобанович был разочарован, словно его обидели тем, что не оказалось писем, особенно одного - от Лиды.

"Куда же теперь пойти?" - мысленно спросил он себя, снова очутившись на малолюдной базарной площади. Взглянув в сторону улицы, ведущей к Неману, он увидел фигуру человека, который очень напоминал Янку Тукалу. Человек шел, уныло опустив голову, в глубокой задумчивости. Лобанович всмотрелся внимательнее - да это Янка Тукала! Тихонько подкрался и пошел за Янкой в нескольких шагах от него. Занятый своими мыслями. Тукала ничего не заметил.

- А-кхе! А-кхе! - кашлянул Лобанович.

Янка оглянулся. В глазах у него сначала отразился испуг, а затем его лицо засветилось, как солнце.

- Андрей! А, чтоб ты скис! - радостно воскликнул Янка.

Друзья бросились друг другу в объятия.

- Дай, брат, поцелую твой чайник! - нос Янки напоминал носик чайника.

- Пойдем туда! - кивнул Янка в сторону Немана.

Они вышли на пустырь, где никого не было, и остановились возле яруса аккуратно сложенных бревен.

IV

- Давай сядем здесь, - проговорил Янка, показывая рукой на сосновые кругляки.

Прежде чем сесть, он подозрительно оглянулся вокруг.

- Эге, брат Янка, ты стал что-то боязливый и подозрительный, - заметил Лобанович и одной рукой крепко привлек к себе приятеля.

Янка Тукала еле заметно, одними глазами, улыбнулся.

- Блюдите, како опасно ходите! - в евангельском тоне ответил он. Затем, приняв серьезный вид и понизив голос, продолжал: - Надо, братец, быть осторожным: все мы, уволенные учителя, собиравшиеся воевать с царем, находимся на большом подозрении у начальства и отданы под тайный надзор полиции. Понимаешь, васпане?

- Тут и понимать нечего, - спокойно отозвался Лобанович, хотя то, что сообщил Янка, его сильно встревожило. - Этого и следовало ожидать, но это лишь вступление к дальнейшим репрессиям. Так нас не оставят, - добавил Лобанович. - Но откуда ты знаешь, что мы под надзором полиции?

Янка хитро посмотрел на Андрея, поднял палец кверху и проговорил:

- О, это, братец, тонкая политика! Оказывается, в лагере наших врагов есть и наши сторонники.

- Что ты говоришь? - удивился Лобанович.

- Ты только молчи... Эту новость узнал я в доме урядника, того самого долговязого, седого кощера, который первым бросился на наш протокол во время налета пристава со стражниками.

- Ну, это уже совсем интересно! Неужто этот кощей наш сторонник?

- Не он, а его дочь Аксана!

- Удивил ты меня, Янка! И как же я теперь поверю, что к тебе не льнут девчата! - пошутил Лобанович.

- Ну, это еще ничего не значит. Дело тут не во мне, а в том, что дочь урядника сочувствует нам, сочувствует тому делу, за которое нас выгнали из школ.

- Вот оно что! Дивные дела, братец Янка! И новости какие! - отозвался немного удивленный и заинтересованный Лобанович. - Какова же она собой, эта Аксана? Красивая?

- Как на чей вкус, - подчеркнуто безразличным тоном проговорил Янка. Видимо, он хотел разжечь любопытство приятеля и не отвечал прямо на его вопросы.

- А все-таки? - не отставал Лобанович.

- Кому нравится поп, кому - попадья, а кому - попова дочка, - все так же безразлично ответил Янка.

- А кому - урядникова, - поддразнил приятеля Лобанович.

Янка весело засмеялся.

- Ну и надоедливый ты, Андрей! - сказал он. - И пусть себе. Сам увидишь. А если очень хочешь знать, скажу: ничего девчина, русая, тонкая, высокая, белое лицо, носик длинноват, но лица не портит. На щеках чахоточный румянец. Ну что, теперь ты удовлетворен?

- Будь я художник, я написал бы ее портрет с твоих слов: так хорошо и подробно описал ты Аксану, - шутливо заметил Лобанович и подмигнул приятелю.

- Эх, брат! - махнул рукой Янка. - Неважные мы с тобой теперь кавалеры-женихи: кто позарится на нас, бездомных бродяг?

- Ну, этого ты не говори, - запротестовал Лобанович, - кое-какую цену имеем и мы. Во-первых, у нас молодость, мы здоровы, любим жизнь и крепко цепляемся за нее. Во-вторых, новые пути открываются перед нами, пусть еще не ясные, трудные и неверные. А посему - да здравствуют наши странствия по свету!

- Я всегда чувствую себя хорошо, когда у меня есть опора и есть друг, с которым можно отвести душу, у которого можно найти поддержку в минуты упадка. Вот и сейчас я рад, что встретил тебя: ведь я уже начал киснуть немного.

- Где же ты сейчас живешь? Чем и как кормишься?

- Живу я, можно сказать, между небом и землей. Путешествую из Ячонки в Столбуны. Определенного местожительства пока не имею. Хожу и гляжу на землю, вернее - себе под ноги: мне все кажется, что я найду тысячу семьсот сорок рублей и пятьдесят четыре копейки. Не более и не менее!

Лобанович засмеялся и хлопнул приятеля по плечу.

- Ты не смейся, ей-богу, думаю, что найду тысячу семьсот сорок рублей.

- Почему же еще и пятьдесят четыре копейки?

- Черт их знает, стоят перед глазами серебряный полтинник с "Николкой - две палочки", медный трояк и одна копейка! Так и стоят перед моими глазами... А может, я с ума сходить начинаю? - спросил себя Янка и добавил: - Так нет, с ума мне трудно спятить: ведь его у меня не так уж много.

- Эй, Янка, не уважаешь ты самого себя. Ума у тебя больше, чем на одного человека.

- Ничего я не знаю, - ответил Янка, - тебе со стороны виднее. Есть чем думать, ну и слава богу!

- Что же мы сидим здесь, на этих бревнах? - спохватился Лобанович. - Давай побредем куда-нибудь да потолкуем, как того требует наше положение.

Янка вскочил с бревна, готовый отправиться хоть на край света, и продекламировал:

Казак, люби меня,
Куда хочешь води меня!

- Го! Вишь, какой ты ловкий, - води его! А может, ваша милость поведет меня? Ты же хозяин и местный житель, - заметил Лобанович.

- Был конь, да изъездился, - грустно признался Янка, но вдруг приободрился, поднял вверх правую руку и воскликнул: - Есть еще порох в пороховницах! Айда к Шварцу! Гулять так гулять: давай на копейку квасу!

К друзьям вернулось хорошее настроение и чувство юмора. Они забыли даже, что находятся под тайным надзором полиции, и про Аксану, от которой узнал Янка об этом.

Идя глухими закоулками в шинок к Шварцу, Янка вспомнил семинарскую великопостную песню:

Покаяния отверзи ми двери, Жизнедавче,
Утренюет бо дух мой ко храму святому твоему...

Дурачась, они начали переделывать церковный текст применительно к предстоящему посещению шинка Шварца. Получилось так:

Заведения отверзи ми двери, отче Шварче,
Утренюет бо дух мой к шинку святому твоему.
Живот носяй поджарый, весь опустошен,
Но яко щедр, напой мя благоутробной твоею гнилостью.

- Хорошо, право слово, хорошо! - восхищенно воскликнул Янка.

Приятели остались довольны результатами своего творчества. На ходу они вполголоса пели переиначенную песню. Жители местечка, которые попадались им навстречу, услышав мотив святой песни, одобрительно поглядывали на них, как на молодых набожных хлопцев.

- Ну вот и обрели мы новую профессию! - смеялся Янка Тукала.

- А что ж, сложим целый репертуар таких песен и пойдем по ярмаркам. Сядем на паперти и будем давать концерты, а люди не поскупятся на медяки певцам.

Веселые и смешливые переступили они порог убежища Шварца. Убежище это не было для них новым. Шварц, расторопный человек зрелых лет, всегда рад гостям, особенно таким, как молодые учителя. Он кое-что слышал о происшествии с ними, но что ему до того! Пришли - значит дадут немного заработать.

В шинке пахло водкой, селедкой, дегтем и чувствовался еще такой запах, которого не определит самый опытный нос. Пол был весь в пятнах, заслежен мокрыми лаптями и сапогами.

- День добрый, отче Шварче! - приветствовали гости хозяина.

Шварц вскинул на них черные глаза, улыбнулся.

- День добрый! Но что такое "отче Шварче"? - поинтересовался он.

- Это значит: день добрый, батька Шварц!

- Го, это хорошо!

Хозяин, как видно, остался доволен таким обращением. Он повел гостей в глубину своего дома, в чистую комнатку, хотя и непроветренную. Но гости были люди нетребовательные, комнатка вполне им понравилась, как понравилось и гостеприимство самого хозяина.

- Ну, чего же прикажете подать, каких напитков и какой закуски?

Гости посмотрели друг на друга. Им почудилась какая-то ирония в словах Шварца, хотя он и не имел этого в мыслях.

- Ну, чего же? - переспросил Янка. - Дайте для начала по бутылочке пива на брата, селедочку маринованную. Хозяйка пана Шварца большая мастерица мариновать селедку. По лицу Шварца расплылась довольная улыбка.

- Ну хорошо! - сказал он и вышел.

Бывшие учителя многозначительно переглянулись.

- Видишь, Янка, - сказал Лобанович, - а ты недавно говорил, что никудышные мы люди. А вот Шварц относится к нам с полным уважением. А это, дружок, значит, что мы имеем какой-то вес.

- Не знает Шварц, что в нашем кармане вошь на аркане, - заметил Янка.

- Разве наши карманы так уж опустошились? - возразил Лобанович. - А кто недавно говорил: "Есть еще порох в пороховницах"? А твои тысяча семьсот рублей пятьдесят четыре копейки?

- Знал бы - не говорил о своем богатстве...

Их разговор на этом прервался. В дверях показалась служанка Шварца с подносом в руках, на котором стояли две бутылки пива и тарелка с селедкой. За служанкой вошел и сам Шварц.

- Будьте ласковы, вот пиво, а вот селедочка и хлеб. За хлеб Шварц денег не берет, - сказал хозяин и торжественно вышел из боковушки.

Гости сидели, угощались. Вскоре от маринованной селедки остались только голова и хвостик. Заказали снова пару пива и пару селедок. Учителям стало еще веселее. Их не пугали сейчас никакие беды неведомых грядущих дней. Со Шварцем расплатились довольно щедро и крепко пожали ему руку на прощанье.

Идя с приятелем в Смолярню, Янка рассказывал о еврейской интеллигенции, с которой он познакомился и представителей которой было довольно много в Столбунах. Ему обещали подыскать неплохой заработок по специальности. Из числа этой интеллигенции можно в первую очередь назвать Мирру Савельевну, дантистку. Неплохо развит и молодой парикмахер Мительзон. Есть и студенты, у которых можно раздобыть хорошие книги. Вся эта интеллигенция искренне сочувствует уволенным учителям и готова поддерживать их, чем только может.

V

Смолярня стала на некоторое время главным штабом двух закадычных приятелей - Лобановича и Тукалы. Небольшие, узенькие сени разделяли хату лесника на две половины. Одну половину, почище, Владимир отвел Андрею.

Более глухой и тихий уголок, чем здесь, трудно было найти. Но глухомань и тишина не гарантировали того, что сюда не заглянет глаз ненужного человека, особенно теперь, когда учителя находятся под тайным надзором полиции. Друзья не забывали об этом и ничего крамольного, не дозволенного полицейскими предписаниями, но держали и не прятали в лесной сторожке. Разную запрещенную литературу - брошюры, листовки, воззвания - они прятали в глухом лесу. Литературу приносил тайком Янка из местечка, в котором он с помощью революционно настроенной молодежи нашел себе пристанище и небольшой заработок.

Друзья встречались часто - или в местечке, в тесной каморке Янки, или здесь, в Смолярне. Вдвоем было веселее, к тому же возникало много вопросов, которые требовали разрешения. Для таких дел больше подходила Смолярня, а потому друзья здесь и чаще встречались. О чем только не говорили они в длинные осенние вечера и ночи в тихой, уютной сторожке! Прежде всего нужно было договориться, как держаться на допросе не только им, но и всем уволенным учителям. В том, что допроса не миновать, друзья не сомневались.

Еще в ту ночь, когда протокол учительского собрания попал в руки полиции, кто-то из участников сходки подал такую мысль: в случае неприятного разговора с начальством нужно стоять на том, что собрание было случайным и не ставило себе никаких революционных целей. Этот вариант и приняли за основу в своих показаниях новоиспеченные юристы Янка и Андрей. Но его нужно было обсудить со всех сторон, чтобы все было похоже на правду.

Друзья приступают к репетиции допроса. То один, то другой из них берет на себя роль следователя. Начинает Янка. "Следствие" он ведет по всем правилам юридической науки. После некоторых формальных вопросов - имя, отчество, фамилия, сколько лет, находился ли под судом - "следователь" переходит к вопросам по существу дела. "Допрашиваемый" Лобанович отвечает так, как они заранее договорились. "Следователь" спрашивает:

- Вы утверждаете, что не имели намерения созвать недозволенный съезд учителей и не ставили перед собой крамольных, преступных целей. Но как же согласовать ваши

утверждения с тем, что записано вот в этом богомерзком протоколе, под которым стоит и ваша подпись? - "Следователь" сурово глядит на "допрашиваемого".

Лобанович напускает на себя вид невинного человека.

- Я не знал, что было записано в протоколе, господин следователь, - отвечает он.

"Следователь" пожимает плечами, "злая" усмешка кривит его губы.

- Как же вы подписывали то, что вам не известно? - интересуется "следователь" и добавляет: - А если бы в протоколе было написано: "Настоящим я обязуюсь всунуть голову в петлю, чтобы меня повесили", - разве вы и в этом случае подписались бы под протоколом? - наседает "следователь".

"Допрашиваемый" отвечает грустно:

- Конечно, если бы я не читал протокола и не знал, что в нем написано, то и под таким протоколом подписался бы.

- Вот это мило! - восклицает "следователь". Он снова ехидно, как настоящий следователь, усмехается. - Разъясните, я вас не понимаю, - обращается он к Лобановичу.

"Допрашиваемый" виновато опускает глаза, на мгновение задумывается.

- Пьяному, господин следователь, и море по колено, - печально признается он и добавляет:

- А за компанию, как говорят, цыган повесился.

Янка не выдержал роли следователя и весело захохотал.

- А знаешь, - сказал "следователь", - неплохо получается, ей-богу!

- Ты же, надо отдать тебе справедливость, вопросы ставил казуистические, - хвалит следовательский талант Янки Андрей.

Так друзья похвалили друг друга за удачно проведенные роли. Но это только начало. Хорошее же начало - половина дела. Нужно продолжить "следствие". На этот раз "следователем" становится Лобанович, и роли меняются.

Сначала тот же "предварительный допрос", а затем уж разговор по существу самого дела.

- Из ваших слов выходит, что вы подписали протокол, не зная, что в нем написано, только потому, что вы были пьяны и не понимали, что делали. Так я вас понимаю? - спрашивает "следователь" Лобанович "допрашиваемого" Янку Тукалу.

- Да, - смело подтверждает Янка.

- А где вы напились и по какому поводу?

Янка придает своему лицу постное выражение, старается справиться с мыслями.

- Выпили на товарищеской маевке, сначала, как говорится, на лоне природы, за селом, а потом добавили еще и в микутичской школе, на квартире своего коллеги Садовича.

- Стало быть, имелась какая-то реальная причина для такой выпивки? Вот вы и скажите, что это была за причина.

"Допрашиваемый" вначале мнетя, а потом говорит:

- Основная причина, господин следователь, была в том, что и нашему брату, сельскому учителю, порой хочется выпить, тем более в компании.

- Это правда, компания большая, слишком даже большая для товарищеской маевки, как утверждаете вы, - иронически замечает "следователь".

"Допрашиваемый" не обижается на это замечание и продолжает свои объяснения:

- Село Микутичи, господин следователь, славится тем, что из него выходит много учителей. Нет ничего удивительного в том, что летом, во время каникул, они в большом числе съезжаются в свое село, к родителям.

- Но здесь были учителя и из других мест, - гнет свою линию "следователь".

- Их было мало, господин следователь, к тому же это все близкие приятели, однокашники учителей, вышедших из Микутич.

- Ну, а вы тоже из Микутич? - спрашивает "следователь".

- Я здесь по соседству, моя деревня верстах в двух отсюда. Летом я все время проводил с друзьями в Микутичах.

- Так здесь весело? - иронически подает реплику "следователь".

- Мы создали там, на квартире Садовича при школе, кружок учителей и занимались подготовкой к экзаменам на аттестат зрелости, - объясняет Янка.

- Вашу "зрелость" вы засвидетельствовали в своей крамольной резолюции, - говорит безжалостно "следователь", потом резко меняет тон разговора. - Давайте бросим играть в прятки, - сурово продолжает он. - Факт есть факт, а документ остается документом! - "Следователь" поднимает лист бумаги, который должен означать "документ", и уже более спокойно говорит: - Признавайтесь, кто писал текст этого мерзкого протокола?

После короткой паузы он добавил:

- Помните, что искреннее осознание преступности и правдивое признание своей вины только уменьшает степень справедливого наказания.

"Допрашиваемый" сначала молчит, а потом вежливо заявляет:

- Мне не в чем признаваться, потому что я не только не знаю, кто писал протокол, но и не знаю, что в нем написано.

- Бросьте дурака валять! - гремит "следователь". - Говорите правду: кто составлял протокол?

- Если хотите знать правду, я скажу: протокол написал бог Бахус! - отвечает рассерженный "допрашиваемый".

Приятеля не выдерживают дальнейшей комедии и весело хохочут.

- А, чтоб тебе пусто было! Замучил меня, даже в пот ударило! - говорит Янка и вытирает платочком лоб.

- Что скажешь, Яне? По-моему, неплохо. Если мы все разыграем такую "божественную комедию", то, право же, будет хорошо!

- Путь проложен! - весело отзывается Янка. - Остается только отшлифовать некоторые мелочи. Может быть, "следователь" - ты или я - не так порой задавал вопросы, а "подсудимые" не так отвечали?

- А как ты думаешь, может быть, о Бахусе не нужно говорить, а ту же мысль высказать немного иначе? - осторожно замечает Лобанович.

- Дело, братец мой, не в точной терминологии, была бы только верно и без противоречий определена линия общего поведения, остальное, конечно, нужно доработать.

- Я в принципе не против Бахуса, Янка, быть может, это наша находка. Тысячи людей возлагали вину на бедного Бахуса, и это часто помогало им. А вдруг и нам он сослужит службу?

Приятеля приступают к окончательной отделке "допроса". Остается только ознакомить всех участников учительского съезда в Микутичах с планом, выработанным в Смолярне, чтобы все уволенные учителя играли в одну дуду - никаких заранее обдуманных намерений у них не было. Встал другой вопрос: каким способом осведомить друзей о принятой линии поведения? Ответ был один - только устно и тайно.

В заключение Лобанович сказал:

- Держись, Янка! "Нас еще судьбы безвестные ждут". Падать духом не будем!

- Не будем! - подхватил Янка. - Мы еще покажем, что такое санкюлоты! "Берегись, богачи, беднота гуляет!"

VI

Спустя несколько дней после репетиции допроса к Лобановичу зашел брат.

- Для тебя, брате, наклеивается школа, - весело проговорил Владимир.

На его губах играла хитроватая усмешка. Лобановичу казалось, что брат хочет поиздеваться над ним, - вероятно, подъезжает с какой-нибудь штучкой.

- Ты на что намекаешь, Владик? Какая может быть для меня школа? - недоверчиво отозвался Андрей.

- Маленькая школка, здесь в Смолярне!

- Не понимаю, что ты хочешь сказать, - признался Андрей.

А Владимир продолжал:

- Дело зависит от тебя: согласишься учить - и ученики будут, по три рубля в месяц с носа!
- Было бы хорошо, если бы они были, но где их взять?

Здесь Владимир раскрыл карты.

Некоторые крестьяне из соседних деревень, услышав, что здесь, под боком, есть учитель, просили Владимира переговорить с братом, не возьмется ли он учить их хлопцев. Везти ребят в Столбуны далеко, да еще квартиру надо найти, платить за нее, харчи посылать. А так было бы удобнее: легче пройти две-три версты до Смолярни, чем ехать верст десять до местечка.

- Как ты смотришь на это? - спросил Владимир.
- Охотно взялся бы учить, ведь мне делать нечего. Сколько наберется учеников?
- Семь-восемь хлопцев, а может быть, и больше.
- Что ж, это хорошо. Не знаю только, где разместить их.
- Об этом ты не думай, - сказал Владимир.

Через два дня "школа" была вполне готова принять новых учеников. Смастерили простой длинный стол, поставили две скамейки по одну и по другую сторону стола, а в одном конце его табуретку - "профессорскую кафедру".

Такова история открытия школы в Смолярне, к великой радости Лобановича и к удовольствию крестьян, родителей девяти учеников смолярнинской школы.

Хотя Лобанович сейчас был далеко не полноправным учителем, хотя он и не был поставлен на эту должность начальством, все же он ощутил великое удовлетворение, когда в хату лесника пришло девять парнишек разного возраста и различной подготовки. Самому старшему из них, Тодору Бервенскому, было уже около шестнадцати лет. Это был рослый парень. Несколько зим ходил он в школу, но с большими перерывами. Из школьной программы он кое-что знал, а вообще был малограмотным. Его уже более интересовали девочки, чем книги. Но жизнь вынуждала взяться за учебу, хотя бы сдать экзамен за курс начальной школы. В настоящей школе, среди шумной оравы школьников-малышей, Бервенский чувствовал себя не очень ловко. К тому же Тодор страдал недостатком речи. В глагольных словах окончания на "ал" он выговаривал "ол": брал - брол, пахал - пахол, бороновал - бороновол и т. д. Вот почему с большой охотой пошел он в тихую, глухую Смолярню к Лобановичу.

Остальным ученикам было от одиннадцати до тринадцати лет. Они также учились урывками, пропускали занятия, слабо знали школьную программу. После ознакомления с ними Лобанович разделил их на три группы, по три ученика в каждой: старшую, в которую входили Тодор Бервенский, Яким Прокопик и Павлюк Глушка, среднюю и группу наиболее отсталых.

Со всем рвением и энтузиазмом любящего свое дело учителя приступил Лобанович к занятиям с немногочисленными учениками. Прежде всего их нужно было обеспечить письменными принадлежностями, учебниками и другими пособиями. Все это было раздобыто стараниями самого учителя и на деньги учеников, которые загорелись искренним желанием учиться.

С утра до вечера, не разгибаясь, сидели ученики за столом, то уткнувшись в книги и тетради, то глубокомысленно поднимая глаза кверху, когда решали задачи. Здесь не было распорядка дня, обычно принятого в школах. Перерывы делали по мере надобности, не считаясь с тем, сколько времени отводилось тому или иному предмету.

Кустарная школа в Смолярне отнимала немало времени у Лобановича, и это нисколько не волновало его: ведь это было живое и привычное для него дело. Янка Тукала искренне порадовался за приятеля.

- Хо, брат! - смеясь говорил Янка. - Нашего брата голыми руками не возьмешь, он живуч, как полынь-трава, и жить будет, пока корни из земли не вырвешь!

Чтобы не мешать приятелю заниматься с учениками, он стал реже посещать Смолярню. Но не проходило недели, чтобы они не встретились, не поговорили о разных делах. Это

уже стало их потребностью, долго оставаться друг без друга они не могли. Поговорить же им всегда было о чем. Живя в местечке и встречаясь с местечковой интеллигенцией, Янка был до некоторой степени осведомлен о различных политических течениях, но ни одним из них не увлекался, стоял в стороне от них, присматривался и прислушивался ко всему, о чем говорилось. Порой он даже посмеивался над местечковыми лидерами мелкобуржуазных партий, над их "бесстрашием": "Стражников нету? Казаков не видать?" - и затягивал песню:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног.

Затем Янка продолжал:

- Каждый такой цыган свою кобылу хвалит. Все они хотят залучить меня на свою сторону. Я слушаю, и мне приходят на память местечковые лавочники, которые стараются затащить в свою лавку покупателя. Каждый из кожи лезет, стараясь доказать, что самая правильная партия есть та, к которой он сам принадлежит. Но кто видел эту правду? Где она и какая она? Я, признаться, не вижу ее. Еще Пилат спрашивал Христа: "Что есть истина?" - и ответа не услышал.

- Вон куда ты повернул, Янка! - немного удивился Лобанович. - Заберешься, братец, в такие дебри, что и не выберешься из них.

- А все-таки что такое правда? - уперся Янка.

- Если Христос не сумел ответить Пилату на вопрос, что есть истина, так что я тебе скажу? Правда - это, брат, то, во что ты веришь так, что и других заставишь поверить в это.

- Гм! - покачал головой Янка. - Замысловато и неопределенно. "Це діло треба розжувати", как говорят украинцы.

- Беда наша, Янка, в том, что мы недостаточно образованны, чтобы критически отнестись к программам различных политических партий.

- В них сам черт ногу сломит, - заметил Янка. - Слушаешь одного оратора - и кажется, что он говорит правду. А послушаешь другого, более красноречивого, который начнет опровергать первого и доказывать правоту своих взглядов, - и выходит, что правда на стороне этого другого... Может быть, и правда, что такие колебания есть результат небольшого образования, - согласился Янка, но тут же перебил себя: - Нет, братец, не в образовании дело! Вот кадеты очень образованные люди, это все профессора, адвокаты, редакторы газет и журналов, так неужто идти за ними и признать, что они говорят правду?

- Не стоят кадеты того, чтобы говорить о них даже в моей Смолярне, - сказал Лобанович. - Дело в том, что кадеты - монархисты, хотя окраска у них несколько иная, чем, скажем, у октябристов или других подобных партий. Раз они стоят за монархию, какую бы там ни было, то цена им ломаный грош!

- Что правда, то правда, - согласился с другом Янка. - Все же большинство партий сходится в одном: они стоят за то, чтобы скинуть царя. Если же это так, то я согласен идти с ними в ногу и беру от них все, что способствует гибели царя и самодержавного строя. В данном случае я похож на пчелу, которая собирает мед с разных цветов, лишь бы только полнее был улей. Вот они, эти цветики!

Янка вынимает из-за пазухи пачку прокламаций, свернутых в трубку.

- Прежде всего, - говорит Янка, - надо отнести их в лес и спрятать в нашем тайнике.

Лобанович взял прокламации.

- И ты не боишься носить их? - спросил он, подмигивая Янке.

Янка засмеялся.

- Бог не выдаст, свинья не съест! А если бы меня остановили и обыскали, я сказал бы: "А я как раз иду в полицию - недозволенную литературу нашел!"

- Так бы они тебе и поверили!

- Ну что ж, купил не купил, а поторговаться можно, - в том же тоне ответил Янка.
- Это тоже правильно. Но думал ли ты, собирая вот эти "цветочки", что среди них могут быть и отравленные?
- Пока что об этом не думал. Я, брат, исхожу из принципа: что бог дал, то клади в торбу. Будет удобная минутка - переберем их и тогда отделим плевелы от пшеницы. Плевелы сожжем, а чистую пшеницу положим в житницу, как учит Христос.
- Здорово усвоил ты евангельскую науку, - пошутил Лобанович.
- Без бога ни до порога.
- А с богом хоть под пень-колоду, - в тон приятелю добавил Лобанович, намекая на потайной склад запрещенной литературы в лесу, под корнями вывернутой старой ели. Приятели хорошо поняли друг друга и направились в лес, к заветному тайнику.

VII

Почти каждую субботу перед вечером, когда Лобанович отпускал своих учеников домой, Янка Тукала приходил к приятелю в Смолярню. Янка любил тишину и покой, царившие в глухом лесном уголке, где проводил занятия Лобанович. Встречи друзей всегда были желанными, радостными и веселыми. Янка то и дело восхищался пристанищем своего приятеля:

- Здесь, брат, словно у Христа за пазухой и не видишь ни одной полицейской рожи. Прямо рай!

Обычно Янка приносил какие-нибудь новости, интересные книжки, раздобытые в местечке, слухи, связанные с политическим положением в России, вести о намерениях прогрессивных людей - имена их не назывались - издавать новые газеты, журналы. Рассказывали - небывалое дело, - будто готовится выпуск белорусской газеты. Все эти новости приятно волновали друзей и служили богатой пищей для разговоров. Беседы часто тянулись за полночь, когда приятели уже лежали в жесткой крестьянской постели под одним одеялом. Разговор нередко превращался в обычное фантазерство, в придумывание смешных, невероятных историй, ситуаций. Приятели искренне заливались молодым, беззаботным смехом. По этому поводу Янка однажды заметил:

- Я никогда так весело не смеялся, как теперь, когда потерял школу и скитаюсь один, как волк, по, глухим дорогам.

- Вот это и хорошо, Янка, - поддержал его Лобанович. - Смех не грех, а голову не вешай.

- Но, смотри, брат, чтоб не пришлось нам плакать.

- Если наступит такое время, так что же, и поплачем. Слезы, говорят, очищают человека.

- Пусть лучше наши враги плачут, - отозвался Янка.

Когда после таких вечеров и ночлегов приятелям приходила пора расставаться, Янка постепенно становился молчаливее, замыкался в себе и вся его веселость исчезала.

- Что зажурился, дружок? - спрашивал Лобанович.

Янка словно пробуждался от сна, поднимал на приятеля серые задумчивые глаза.

- А чего мне журиться? - говорил он. - Женки нет, дети дома не плачут, да и дома нет. Я свободен, как ветер в поле. Так чего журиться?

- Нет, брат, не хитри! Признавайся, говори правду!

Янка принимал театральную позу и трагическим голосом восклицал:

- Правда может убить человека, если она не вовремя открывается!

- Кто тебе сказал это?

- Такую фразу я вычитал у Артура Шницлера! - ответил Янка и уже своим обычным голосом добавил: - Умеют же люди выражать такие интересные мысли! Почему они не приходят в мою голову!

- Если бы ты поставил перед собой задачу выдумывать такие изречения-афоризмы, то, может, они у тебя получились бы не хуже, чем у Шницлера.

- Черт его знает! Разве попробовать? - согласился повеселевший Янка.

Он еще более повеселел, когда Лобанович вдруг выразил желание прогуляться вместе с ним в Столбуны.

- Вот это голос! Почему не сходить? - подхватил Янка. - Я, может, потому и зажурился, как ты говоришь, что пришло время расставаться с тобой. Может, на почте и письма будут для тебя, - соблазнял он друга.

А Лобанович и сам думал о письмах, но приятелю сказал:

- Без тебя и мне одному тоскливо.

Они собрались и вышли из усадьбы лесника.

- Я поведу тебя новой дорогой, по которой ты еще никогда не ходил. Правда, будет немного дальше, зато новые картины развернутся перед тобой, - сказал Лобанович, поворачивая влево от переезда.

- Ну что же, давай! - отозвался Янка. - Я люблю все новое, невиданное и все, что удлинит дорогу.

Вышли в Темные Ляды, с версту шли вдоль старого елового леса, круто повернув направо. Лобанович часто останавливался, обращал внимание Янки на интересные места.

- Взгляни, Янка, видишь - клочок леса среди вырубленной огромной лесной прогалины, словно зеленый островок в пустыне. Правда, красивая рощица?

- Действительно красивая, - подтвердил Янка. - Знаешь, этот кусочек оставленного леса даже вызывает жалость, словно он одинокая сирота.

- А посмотри, сколько на этих вырубках переспелой травы, да какой травы! И все это гибнет зря. Да отдать бы эту траву крестьянам, у которых нет сенокоса! Серпами повыжили бы ее. Так нет, нельзя, - казенная, княжеская! - возмущался Лобанович.

- А что князю мужик, безземельное крестьянство! Было бы набито свое брюхо... Вешать надо таких гадов! - злобно заключил Янка.

Осенний день, серое небо, застланное ровной, однообразной пеленой сплошных облаков, и сами Темные Ляды с пожелтевшей высокой травой, где разгуливал беспокойный ветер и шептал ей никому не ведомые сказки, - все говорило об упадке, об умирании и нагоняло неясную печаль на сердца двух путников. Вокруг было глухо, тихо, тоскливо.

Вырубки кончились. Путники вышли на пустое, запущенное поле - несколько лет назад хозяева перестали его засеивать, так как с посева едва-едва собирали семена. Молоденький соснычок со всех сторон наступал на заброшенные полосы. С правой стороны выглядывала маленькая деревенька, левее виднелись станция и уже известная нам ветряная мельница на горке.

Вскоре притихшие путники вышли на хорошо знакомую микутичскую дорогу.

- Стой, Янка, остановимся и поклонимся дороге, которая привела нас к страданию. Помнишь, у Достоевского: "Я не тебе поклонился, а твоему страданию"?

Янка посмотрел на дорогу и вздохнул

- Чего вздыхаешь, братец?

- У меня родился афоризм

- Ну, говори!

- Идучи на серьезное дело, не забывай взять с собой ум, если он у тебя есть.

Лобанович громко захохотал.

- Ну вот, видишь, Янка, афоризм не хуже, чем у Шницлера. Только не совсем оригинальный, нечто подобное сказано у Ибсена.

- Ну что ж, - сказал спокойно Янка, - нищий нищего узнает по посоху.

Друзья развеселились и живее зашагали в местечко. Никуда не заходя, направились на почту, но она оказалась закрытой. Янка видел, как неприятно было это Лобановичу: ведь Андрей и провожал его потому, что хотел побывать на почте.

- Что за свинство! - возмущился Янка. - Закрывать почту в праздничный день, когда бедным людям всего удобнее заглянуть сюда!.. Сходим на квартиру Ивана Павловича, этого заплесневелого балбеса.

Иван Павлович только что вылез из своего логова, умылся, оделся. Посетителей встретил приветливо. Ему вчера повезло - он выиграл в карты семь рублей тридцать копеек. Охотно пошел на почту - ведь она была закрыта по его вине.

- До востребования? - спросил Иван Павлович, стоя за перегородкой и лукаво подмигнув Лобановичу. Он перебрал несколько писем и подал одно Лобановичу. - Вероятно, этого ждали? - усмехнулся почтарь.

Быстро взглянув на письмо, Лобанович сунул его в карман, не подавая виду, что оно его взволновало.

Друзья простились с Иваном Павловичем. На этот раз Лобанович пригласил Янку к Шварцу. Посидев около часа и выпив по бутылке пива, приятели разошлись.

- Приходи же в свободное время ко мне, дорогой мой Янка, да приноси афоризмы.

- Приду и афоризмы принесу. На меня теперь нахлынула афористическая волна, - пошутил на прощание Янка.

Очутившись один, Лобанович вытащил из кармана письмо.

"Дорогой Андрей Петрович! - так начиналось оно. - Я долго не писала Вам: не было чем похвалиться, да и сейчас хорошего ничего нет. В городскую женскую школу меня не приняли, хотя экзамены сдала гораздо лучше многих принятых в школу: не было кому закинуть за меня слово. Может, мне не стоило говорить заведующей школой, что к экзаменам готовили меня Вы. Что буду делать дальше, пока не знаю. Скорее всего пойду по отцовской дорожке. У мамы есть знакомые, коллеги моего отца. Поступлю на работу и буду учиться на телеграфистку. Мы с мамой часто вспоминаем Вас. Мама посылает Вам поклон.

Пишите, как Вы живете, что у Вас слышно?

Будьте здоровы! Ваша ученица Лида".

Целый клубок мыслей и чувств вызвало это коротенькое, аккуратно и грамотно написанное письмо. Больно отозвались в сердце слова: "Может, мне не стоило говорить заведующей школой, что к экзаменам готовили меня Вы". Что это, упрек? Горькое сожаление и печаль о Лидочке охватили Лобановича. Он несколько раз перечитал письмо, и образ Лиды, которую постигла первая жизненная неудача, и может быть, из-за учителя, как живой встал перед его глазами. Теперь стало ясно, что дороги их не сойдутся.

Хмурый, одинокий возвращался Лобанович в Смоллярню.

VIII

Занятия в кустарной школе шли своим чередом. Они помогали Лобановичу избавляться от лишних мыслей и ненужных настроений. Спустя некоторое время выяснилось, что ученики старшей группы настолько продвинулись вперед в ученье, что уже можно было говорить и о сдаче ими экзаменов за курс начальной школы. Это обстоятельство особенно обрадовало Тодора Бервенского. Ребята стали заниматься еще старательнее. Вставал вопрос: от какой школы посылать их на экзамены? Случай с Лидочкой свидетельствовал о необходимости быть в этом отношении предусмотрительным и осторожным. Наилучший выход - переговорить с местным учителем и заручиться его согласием представить к экзаменам хлопцев Лобановича как своих, как учеников столбуновской школы. Не было оснований думать, что столбуновский учитель не пойдет на это. Но впереди еще вся зима, хватит времени решить этот вопрос, лишь бы только ничто не нарушило налаженной работы и намеченных планов.

По вечерам, оставаясь один, Лобанович выходил из дому проветриться и в одиночестве обо всем поразмыслить, все обдумать. Образ Лидочки и связанные с ней события и картины снова вставали в памяти. Сейчас его бывшая ученица казалась ему особенно милой, привлекательной, дорогой, как все то, что уходит от нас и не возвращается. Нужно

обязательно написать ей, написать дружески, искренне, правдиво. Вечером он сядет за стол при свете простенькой крестьянской лампы и будет писать письмо. Оно уже складывалось у него в мыслях.

Возвратясь однажды с прогулки и переступив порог своей "школы", Лобанович увидел за ученическим столом человека. В хате уже плотно сгустился сумрак, и узнать гостя было трудно. И как же удивился Андрей, услышав знакомый голос и слова шуточного приветия:

- Пусть не падет на тебя тень березы, под которой сидел грек!

- Янка! - воскликнул Лобанович и на приветствие приятеля ответил: - Пусть не очутишься ты в положении собаки, которая сидит на заборе.

Таковы были их "огарковские" приветствия ["Огарками" в шутку называют себя Лобанович и Янка Тукала по аналогии с героями довольно известной в то время повести Скитальца "Огарки" (1905)].

- Не ждал меня? - спросил Янка, выходя из темноты навстречу Лобановичу.

- Признаться, не ожидал, - с ноткой удивления сказал Андрей.

- А я, видишь, тут как тут.

- Молодец, что пришел. Всегда рад видеть тебя. Наверно, не с пустыми руками, а с афоризмами пришел?

- Нет, брат, не с афоризмами, а с чем-то более важным.

Лобанович слегка встревожился. Янка достал из бокового кармана лист бумаги, сел поближе к тускло горевшей лампе. К нему подсел и Лобанович. На развернутом листе бумаги, сверху, он увидел написанные от руки, а затем отпечатанные на шапирографе два слова: "Товарищи учителя!" А дальше шел текст обращения:

"Группа наших товарищей учителей, собравшихся летом этого года в селе Микутичи для обсуждения своих профессиональных интересов, личных и школьных, уволена с учительских должностей бездушными чиновниками-бюрократами. Ни расследования, ни суда над ними не производили, усмотрев, как видно, в собрании учителей бунтарство и крамолу. Мы самым категорическим образом протестуем против такой полицейско-бюрократической расправы над нашими товарищами и коллегами. Мы обращаемся ко всем учителям Менской губернии с призывом - выразить самый решительный протест по поводу расправы с нашими коллегами. Должности уволенных учителей объявляются под бойкотом. Из чувства товарищеской солидарности никто из учителей не должен занимать места уволенных товарищей, чтобы не переходить в лагерь их врагов".

Под воззванием стояла подпись:

"От группы учителей Менской губернии".

Окончив читать, Янка спросил:

- Что, видел, кум, солнце?

Лобанович кивнул головой, и трудно было понять, рад он или не рад.

- Не знаю, братец, какое это солнце.

- Как все же расцениваешь ты этот документ?

- Положительно, - немного подумав, ответил Лобанович. - Дело, братец, в том, что не перевелись еще, как говорится, богатыри на нашей земле. Нас уволили, а вот нашлись среди нашей братии люди, о которых мы ничего не знаем, но которые не хотят примириться с нашим увольнением, заступаются за нас, протестуют. И наше дело, таким образом, приобретает определенный отзвук. Вот в чем положительная сторона обращения, написанного неведомой рукой. Для нас же лично... как тебе сказать... быть может, этот документ ухудшает наше положение.

- Все, что "и делается, к лучшему, - заметил Янка. - Но ты говоришь правду, нам это воззвание может повредить. Мне уже сказал заплесневелый почтовик: "А не ваша ли,

васпане, это работка? Не вы ли сами написали листовочку?" Так могут посмотреть на это дело и наши следователи. Все это нам нужно учесть и внести некоторые добавления в наш "допрос".

- Во всяком случае воззвание нужно отнести в наш тайник, нехорошо будет, если оно попадет от нас в руки полиции.

Друзья тотчас же оделись и поспешили в лес, чтобы опустить в "копилку" то, "что бог дал". "Копилкой" называли они деревянный небольшой ящичек, залитый сверху смолой, чтобы не гнил.

Как только свернули они с дороги в лес, Лобанович внезапно остановился.

- Постой, - сказал он тихо, - скажи, каким образом попало к тебе воззвание? Где ты его взял?

- Хотел сказать тебе об этом и сказал бы, но все ждал удобного момента. Был я сегодня на почте. Этот самый почтарь Власик отвел меня в сторону и передал мне его. Спрашиваю, где взял. Он только поднял палец вверх и прошептал: "Молчи!" А затем начал посмеиваться: не сами ли, дескать, уволенные написали обращение к учителям?

- Гм!.. Интересно! - проговорил Лобанович. - А не думаешь ли ты, что этот почтовик полицейский агент? Может, нарочно дали ему воззвание, чтобы он подсунил нам?

- А зачем им так делать? Какой смысл в этом?

- А смысл может быть такой: если полиция узнает, что он передал обращение тебе и нам оно стало известно, то сделает обыск, чтобы иметь против нас улику.

- Черт их знает, - озадаченно проговорил Янка, - все возможно. А может, просто этот почтовик правнук гоголевского почтмейстера, который любил свежие новости?

- Одним словом, друг, так или этак, ухо будем держать остро, а глаза зорко. А если следователь заведет разговор о воззвании, говори: "Воззвание видел и читал". А спросит, где взял, говори: "На почте чиновник дал".

- Чиновника, братец, замешивать сюда не надо: может, он хлопец искренний, честный и только прикидывается дурачком.

- Ты правду говоришь, - согласился Лобанович, - лучше сказать, что воззвание прислали по почте, в конверте, как письмо! А к чиновнику будем присматриваться и в разговоре с ним лишнего не говорить. Если же он полицейский агент и провокатор, тогда можно будет заявить, что воззвание дал он.

В лесу было уже совсем темно, когда приятели пришли к вывернутому грозой дереву. Лобанович хорошо знал тайный уголок, где хранился ящик. Янка стоял здесь же, хотел высказать какую-то мысль, но сдержался. Силуэт Лобановича еле-еле вырисовывался из мрака. Несколько минут возился он под корнями вывернутого дерева, пока не нащупал ящик. Он слегка подтянул его к себе, открыл крышку. Наконец воззвание запрятано в "копилку". Лобанович в темноте, наугад, пригладил песок и вылез из-под дерева.

- Готово!

- Знаешь, Андрей, - нарушил глухую лесную тишь Янка, - немного даже романтично. - Затем он переменял тон: - А что, если бы в эту минуту наскочила полиция и гаркнула: "Руки вверх! Так вот где вы, голубчики!" - и осветила бы нас фонариками?

- Так бывает в приключенческих романах, а жизнь создает такие ситуации, что и придумать нельзя, - ответил Лобанович.

- А все же, Андрей, интересный у тебя здесь уголок, ей-богу.

Не торопясь, осторожно пробирались друзья густым лесом на дорогу.

- Завтра на рассвете приду сюда навести порядок под ветровалом, чтобы придать ему первоначальный вид, - сказал Лобанович и добавил: - Все же, Янка, интересно жить на свете.

- По этому случаю я придумаю афоризм.

На следующий день утром, перед тем как отправиться в Столбуны, пожимая на прощание приятелю руку, Янка проговорил:

- Смерть - начало новой жизни.

Спустя некоторое время, накануне двух праздничных дней, снова пришел Янка Тукала. Хотя Лобанович воспринимал "афоризмы" своего друга как более или менее удачные шутки, но над последним: "Смерть - начало новой жизни" - он невольно задумался. Что имел в виду Янка? И пришел к выводу, что под смертью, вероятно, подразумеваются остатки поваленной ветром ели, где они прятали запрещенную литературу, сама же эта литература несла в себе семена нового социального строя.

Верно ли разгадал "афоризм", Лобанович так и не спросил Янку, потому что тот, навестив через неделю друга, принес довольно важные новости. На один праздничный день в Менске назначалось конспиративное собрание представителей разных революционных подпольных организаций. Приглашались и уволенные учителя. За два праздничных дня вполне можно было съездить в Минск и возвратиться назад. Друзья не знали, стоит или не стоит охать, хотя послушать людей из подполья очень хотелось. Более всего учителей беспокоило то, что они под надзором полиции и своей поездкой могут "засыпать" собрание. Но их брался отвезти один подпольщик, с партийной кличкой "Шэра-Сенька", имевший опыт в делах конспирации. Решили ехать. Янка для храбрости, чтобы подбодрить самого себя, воскликнул:

- "Пустился Микита в волокиту, так иди не оглядывайся", - как хорошо сказал Ничыпар Янковец.

С некоторым волнением сели друзья в вагон менского поезда. Шэра-Сенька посоветовал держаться в поезде, среди незнакомой публики, по возможности просто, естественно, не напускать на себя серьезной озабоченности и не пускаться в разговоры с разными пронирами, любителями поговорить.

В полдень наши путешественники приехали в Минск. Шэра-Сенька дал им адрес того дома, в котором должно было проходить собрание. Он посоветовал добираться поодиночке, сначала конкой, а затем пешком. Нужный приятелям дом находился на Комаровке. Тогда это была далекая окраина города, его околица, где высился старый сосновый бор, а из-за деревьев выглядывали то здесь, то там ладные простые домики, построенные на городской лад. Хозяева сдавали их дачникам. В одном из таких домиков и должно было состояться тайное совещание. Шэра-Сенька сообщил и пароль для входа в конспиративный дом: "Поклон от Шэра-Сеньки".

Первый сел на конку Янка Тукала. Андрей дождался следующей. Друзья уговорились встретиться возле дома, чтобы войти туда вместе. Еще издали заметил Лобанович друга. Янка с безработным видом прогуливался по улице, отдалившись на значительное расстояние от заветного домика, который он заранее высмотрел. Хотя друзья немного побаивались и бросали украдкой подозрительные взгляды на людей в котелках, но Лобанович не мог удержаться, чтобы не пошутить.

- Поклон от Шэра-Сеньки, - сказал он тихо другу.

- Смотри, чтобы не было поклона от "котелка", - еще тише ответил Янка: тогдашние шпики царской охранки обычно ходили в котелках.

Друзья немного побродили, а потом, озираясь украдкой по сторонам, шмыгнули во двор. Встретил их сам Шэра-Сенька.

- Надо передавать поклон или нет? - пошутил Янка, чтобы придать себе немного смелости.

- Можно и без поклона, - усмехнулся Шэра-Сенька.

На вешалке в передней висели две "буржуйские" шляпы, чье-то добротное пальто из дорогой материи, женская шляпка и несколько кепок. Гости также сняли свои убогие пальто и фуражки. Шэра-Сенька повел друзей в комнату, предварительно постучав в

дверь. Дверь тотчас же слегка приоткрылась. В щели показались довольно длинный, тонкий нос и черные глаза Увидя Шэра-Сеньку, длинноносый открыл дверь шире.

- А, пожалуйста! - сказал молодой парень, обладатель тонкого носа, черных бровей и глаз. За столом в комнате на самом видном месте сидел старый человек лет семидесяти, с пышной седой бородой. Он более чем кто-либо другой бросился в глаза вошедшим друзьям. Борода и обличье этого человека в какой-то степени делали его похожим на Льва Толстого. Об этом знал и сам бородатый старик и очень гордился таким сходством. Это был известный в то время народоволец. Вся семья его принадлежала к разным революционным течениям. Старый народоволец организовал нелегальный кружок из крестьян ближайших деревень. Кроме самого народовольца в комнате находились его сын, болезненный с виду человек, молчаливый, словно чем-то недовольный, и дочь. Сын безучастно смотрел куда-то в пространство, а дочь с любопытством поглядывала на новых людей. Она была уже не первой молодости, работала врачом в одной из земских больниц. Неподалеку от нее сидел довольно молодой человек с жгучими темными глазами и живым, подвижным лицом. Во время разговора, - а говорить он любил и говорил громко и уверенно, - весело посмеивался, а когда он смеялся, то смеялось все его лицо, глаза и губы, причем верхняя губа поднималась вверх и открывала десны с крупными, крепкими зубами. Фамилия его была Кондакович. Если народоволец гордился сходством со Львом Толстым, то Кондакович славился личным знакомством с Короленко.

Тон беседе, видимо, задавал старый народоволец. Создавалось впечатление, что здесь шел оживленный разговор и прекратился он только с приходом Янки и Андрея, новых в этой компании людей. Шэра-Сенька познакомил их с народовольцем и с другими лицами, находившимися в комнате. Старик поднял глаза из-под нависших седых бровей, окинул учителей беглым взглядом.

- Прошу садиться, - проговорил он и показал на диван.

- Да, учительство - сила, - заметил Кондакович. - Немецкие учителя устроили французам Седан, они победили Францию.

Замечание было совсем некстати, и высказанную Кондаковичем мысль никто не поддержал. Народоволец помешал ложечкой чай, отпил глоток, причмокнул два раза губами, лизнул языком уголки губ.

- Это верно, - отозвался он. - Всякая разрозненная сила, собранная воедино, связанная крепким обручем и направленная к единой цели, творит чудеса. Это всегда надо иметь в виду.

Для Кондаковича слова народовольца были той соломинкой, которая сразу же превращается в целый мост к большому разговору. Он считал себя высокоинтеллигентным человеком и выдающимся оратором. Кондакович как-то сказал о самом себе, что когда он выступает с речью, то говорит взволнованно и горячо и его иногда нужно сдерживать.

- Святая правда! - подхватил он слова народовольца. - И беда только в том, что не так легко сплотить разрозненные, как вы справедливо говорите, силы. Вот, к примеру, нас, революционно настроенных людей, собралось здесь не так много, а такой бесспорной, для всех ясной и приемлемой основы, платформы, на которой мы остановились бы все как один человек, нет. Один понимает дела и события общественной жизни так, другой - иначе. Отсюда и разных течений у нас много. Более того. Вот, скажем, я принадлежу к Беларускай социалистической грамаде. В нашей организации своя специфика - сюда присоединяется национальный момент. Но и мы, грамадовцы, не во всех взглядах сходимся. Да это, может, и не беда: чем больше в букете цветов разных оттенков, тем богаче букет.

- Ну, а если в букете будут одни только красные розы, то, как, по-вашему, такой букет будет бедным? - перебила оратора дочь народовольца.

Кондакович весело засмеялся всем своим лицом, показав крупные желтоватые зубы.

- Вопрос, Вера Анатольевна, и дамский и в то же время философский, - ответил он и хотел было снова пуститься в какие-то длинные рассуждения, но в эту минуту в комнату вошли еще два человека.

Оба они были здоровяки, широкие, громоздкие. Первый - брюнет, плечистый, с пышными черными усами, немного косоглазый: один глаз смотрел, как говорится, на Москву, другой - на Варшаву. На вид ему было лет за тридцать. Другой - еще шире в плечах и выше ростом, с добродушным лицом, с большой головой, светловолосый. Оба они собирались редактировать разные издания. Чернявый намечался если не в редакторы, то в заместители редактора первой белорусской газеты, которая должна была начать выходить в ближайшие дни. Фамилия его Власюк. Ни к какой партии он не принадлежал, называл себя "независимым хуторянином", хотя целиком разделял программу Белорусской социалистической грамады. Другой, также будущий редактор нового журнала, но уже иного направления, был социал-демократ Кастогин. В менской прогрессивной газете он поместил свою аллегорическую сказку под названием "Пень". Люди объединились и выкорчевали из земли пень, который очень мешал им. Под пнем подразумевался царь. Царские чиновники докопались до смысла сказки. Газету закрыли, издавать новую не разрешили, а сам Кастогин на время куда-то исчез.

С приходом редакторов двух новых изданий, которые, правда, еще только наклевывались, все притихли. Редакторы поздоровались с присутствующими, как с хорошими знакомыми, а на бывших учителей, узнав, кто они такие, посмотрели сочувственно.

- Что ж, господа, - сказал старый народоволец, снова пожевав губами и облизнув их кончиком языка, - больше мы никого не ждем, поэтому давайте поговорим. Прошу ближе к столу! Кто хотел бы взять слово? - обвел он взглядом присутствующих.

- Вы, Анатолий Иосифович, как самый старший среди нас, должны начать собрание, - ответил Кондакович. Его поддержали.

- Ну хорошо, - согласился народоволец. - О чем нам говорить сегодня? - обратился он к присутствующим. Помолчав немного, продолжал: - Дело сегодня не в том, что мы не имеем такой общей основы, на которую могли бы стать мы все, как говорил уважаемый Игорь Сергеевич, - народоволец кивнул головой в сторону Кондаковича. - Дело, друзья мои, в том, что пламя революции никнет и гаснет. К сожалению, верх взял общий наш враг - самодержавный царский строй. Наша задача - не дать погаснуть огню революции.

Старому народовольцу похлопали.

- Отсюда, друзья мои, возникает вопрос и о способах, методах борьбы прогрессивных людей России за народ, за его права и интересы в новой обстановке. Какие же способы-пути можем наметить мы? Прошу высказаться.

- Для меня ясно одно, - взял слово Кастогин, - нам надо занять одну, наиболее правильную позицию и с этой позиции посылать свой огонь в одну точку. Эта позиция рабочего класса, пролетариата. На этой позиции стоим мы, марксисты. А потому наша ставка - на рабочий класс, как на единственный последовательно революционный класс в государстве, способный стать во главе революционного движения и руководить им...

- А крестьянство вы сбрасываете со счетов? - взволнованно прервал оратора Шэра-Сенька.

- Это самый многочисленный класс в России. Крестьянство пополняет ряды рабочих на фабриках и заводах, оно дает солдат в царскую армию. И пока мы не оторвем ее от царско-полицейского режима, до тех пор не возьмет верх революция. А потому все внимание надо направить на крестьянство.

Споры разгорелись. Каждый из присутствующих отстаивал свою точку зрения. Молчали только два друга, и не потому, что им нечего было сказать: они просто не осмеливались выступать перед такими бойкими ораторами. Взял слово и Власюк.

- По моему мнению, сегодня у нас может быть один верный путь - это путь культурно-просветительной работы как среди крестьянства, так и среди рабочих в городах.

- А какую цель ставите вы перед ними? Какую перспективу даете им? - спросил Кастогин.

- Не будем сейчас забегать вперед. Время и обстановка покажут, что делать дальше, - ничего лучшего не нашел ответить Власюк. - Наши разногласия напоминают мне один рассказ, - сказал он в заключение. - Вез мужик в город продавать капусту. На дороге был крутой пригорок. С пригорка воз покатился вниз и перевернулся. Капуста вывалилась, и кочаны покатились куда попало. В это время шел прохожий. Он остановился и глубокомысленно проговорил: "Посмотрите на нее - в каждой головке капусты, оказывается, есть свой разум, одна катится туда, другая сюда". Разве не то же самое наблюдается у нас? Так вот почему необходима культурно-просветительная работа среди широких пластов народа, чтобы все головы катились в одну сторону.

Нельзя сказать, чтобы этот рассказ очень понравился присутствующим.

- Друзья мои! - сказал народоволец, закрывая собрание. - Мнения у нас разные, а цель одна - не дать заглухнуть революционному движению в народе. Все, что можем делать для него, будем делать. И наши усилия не пропадут. Желаю всем нам успеха! Завтра наше совещание продолжим в другом месте.

Х

Очутившись за стенами дачного дома, друзья вздохнули с облегчением. На первых порах они чувствовали себя в этом доме как бы связанными, пока не присмотрелись к новым, незнакомым им людям и не перекинулись кое с кем из них несколькими словами. Участники тайного совещания произвели на них хорошее впечатление, в особенности Кастогин. В нем самом и в его словах чувствовалась внутренняя сила и правда. Наиболее противоречивым казался старый народоволец: крупный землевладелец, революционер, а почему не отдает земли крестьянам?

В целом же выступления представителей разных революционных течений немного разочаровывали, в головах не искушенных в общественных делах бывших учителей возникала еще большая путаница.

Было уже совсем темно, когда друзья вышли на улицу. Слабо светили фонари. На окраине города движение было совсем маленькое. Изредка проходила парочка, занятая своими делами, далекими от всего, что услышали и о чем думали сейчас друзья. Время от времени медленно проезжала колыхага, гроыхая колесами по неровной мостовой, цокали подкованные конские копыта.

- "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых", - сказал Янка, словно подводя этим церковно-славянским изречением итог тайному совещанию.

- А я не раскаиваюсь, что побывал там, - ответил Лобанович. - Правда, ожидал большего, но все же интересно. Много новых мыслей разбужено в голове. Но об этом, Янка, поговорим после.

- А как завтра? - спросил Янка. - Пойдем или нет?

- Я не пойду, поеду домой, "школа" ждет меня.

Миновав мост через Свислочь, друзья простились. Янка направился к знакомому, где и думал заночевать. Лобанович хотел сесть на конку и поехать к товарищу по семинарии, с которым они дружили и переписывались. Высматривая конку, Лобанович не заметил, как рядом с ним очутился высокий человек и положил ему на плечо руку.

От неожиданности Лобанович вздрогнул.

- Что, перепугал? - спросил высокий человек и дружелюбно улыбнулся.

Лобанович взглянул - перед ним стоял чернявый редактор.

- Познакомимся. Моя фамилия Власюк.

- Да мы почти знакомы, - ответил Лобанович, подавая руку.

- То было знакомство на расстоянии, можно сказать, безыменное, а я хочу познакомиться с вами ближе. Что?

Власюк имел привычку часто употреблять слово "что" в форме вопроса, на который можно и не отвечать.

- Мне очень приятно, - вежливо ответил Лобанович, немного смущаясь и в то же время настораживаясь.

- Вот и хорошо. Тогда пойдем ко мне, я остановился здесь неподалеку.

- Благодарю и не возражаю... Простите, как ваше имя и отчество?

- Никита Александрович, - ответил Власюк и добавил: - Я, признаться, искал вас, чтобы поговорить и привлечь к работе в нашей первой белорусской газете. Что?

Дом, в который Власюк привел Лобановича, действительно находился неподалеку. Здесь снимал квартиру какой-то адвокат-либерал. Уезжая в командировку, он временно уступил квартиру своему хорошему знакомому Власюку.

Все ставни в квартире почему-то были плотно закрыты. Власюк зажег лампу. Лобанович незаметно разглядывал просторный адвокатский кабинет, в котором стояло несколько шкафов с книгами, главным образом по адвокатской специальности.

- Садитесь, дядька Андрей! - показал Власюк на мягкое кресло возле стола. - Я быстро приготовлю чай, или гарбату [Гарбата - чай]. Как лучше сказать по-беларусски - чай или гарбата?

- Как ни назовешь, все будет хорошо, лишь бы вкусно, - ответил шуткой Лобанович.

- Да не единым чаем жив будет человек. Поищу кое-чего и к чаю на потребу человеку. Что?

Власюк то исчезал, то появлялся, готовя ужин. Всякий раз он говорил что-нибудь, отпускал шутки, сам смеялся густым басом.

- Дом этот как раз помещается на Полицейской улице, под носом, можно сказать, у полиции, а ближе к полиции - оно смелее и спокойнее.

Наконец ужин был приготовлен. Хозяин поставил на стол чайник и накрыл его старой адвокатской шляпой, чтобы чай лучше настоялся. Затем достал из шкафа тарелку с черствыми ломтиками хлеба, вытащил кусок колбасы немалой давности, и тоненько порезал ее.

- Всякая еда куда вкуснее, если со вкусом подана. Что? - говорил Власюк, не очень торопясь с ужином. Уже в самом конце поставил "крючок" горелки, разлил ее поровну в чарки.

- Ужин небогатый, зато демократический. Что? Так выпьем и за наше знакомство и за новую белорусскую газету! - Власюк торжественно поднял чарку.

Выпили. Взяли по кусочку хлеба и по ломтику колбасы.

- Как смотрите вы, дядька Андрей, на выход в свет первой белорусской газеты? - спросил Власюк.

- Для меня это такая радость, такое счастье, что я боюсь даже верить в то, что такая газета может выйти, - взволнованно проговорил Лобанович.

- Выйдет, выйдет! - уверенно сказал Власюк. - Уже и материала собрано столько, что и в номер не вместишь.

- Рад, очень рад и от всего сердца приветствую рождение нового издания, первой газеты, которая будет выходить на белорусском языке! Я не раз думал, что для белорусского народа давно нужен такой орган печати, который на языке народа, на материнском языке, обращался бы к нему со словом правды. Но какое слово правды скажете вы ему, если за правду в тюрьмы сажают? - спросил Лобанович, и в тоне его вопроса слышались страх и тревога за судьбу родного слова.

Власюк разгладил свои пышные черные усы, взглянул на Лобановича косыми глазами.

- Ничего, дядька Андрей, не беспокойтесь и не бойтесь. Мы, беларусы, хитрые, черта обманем. Каждую статью, предназначенную для печати, мы будем согласовывать с юристами: можно ее помещать или нельзя, чтобы сохранить газету? Будем писать так, чтобы комар носа не подточил. Мы собираем и объединяем вокруг нашей будущей газеты сознательных беларусов, лучшие силы народа. Вот я и вас приглашаю в нашу артель.

- Я от всей души готов работать, сколько хватит сил, на благо общего дела, - ответил Лобанович. Ему было очень приятно, что его приглашают на такую важную работу,

только брало сомнение, нет ли здесь какой ошибки, недоразумения. - Но чем я заслужил то, что вы приглашаете меня на работу в газете? И почему вы ищете именно меня, - вы так сказали? - спросил он.

Власюк закурил папиросу, покосился на темный уголок комнаты.

- Кое-что мы слышали и знаем про вас. Мы знаем и некоторые ваши произведения. Они не напечатаны, но ходят в народе, будто сложенные самим народом. Вот хотя бы это:

Давялося раз Гаўрыле
З вескі ў горад завітаць.
Чхаў пяхотай версты, мілі,
Каб той праўды пашукаць.

Вы это писали? Что?

- Если б такой вопрос я услышал от следователя, то сказал бы, что не я, - усмехнулся Лобанович. - Действительно, нечто подобное когда-то я сложил. От вас же я услышал новый вариант.

- Такова уж судьба коллективного народного творчества, - заметил Власюк. - Важно, что народ принимает основу, а делать изменения в тексте - его право. Никакой юрист под это не подкопается. Что?

- Против этого я ничего не имею, - сказал обрадованный Лобанович. А затем искренне и простодушно признался: - Знаете, Никита Александрович, я пробовал писать и по-русски и по-беларусски. Есть такое сильное желание, но сам я чувствую, что по-русски писать мне труднее и написанное выходит нескладно. Кроме того, русская художественная литература такая богатая, что проложить себе дорогу на этом поприще трудно. И как сильно надо написать, чтобы написанное тобою читали с интересом после Пушкина, Лермонтова, Крылова, Гоголя! Писать по-беларусски мне значительно легче и проще - ведь свое, родное, материнское слово сильнее затрагивает струны сердца, простите мне такое книжное выражение. Но все дороги для написанного на беларусском языке закрыты. В результате всего этого я ощущал горькую печаль. И в самом деле - зачем писать, если написанное тобой не дойдет до сердца человеческого?

Лобанович говорил искренне, волнуясь, а потому и речь его была путаная, неровная, словно походка пьяного или хромого человека.

- А сейчас, дядька Андрей, вы можете выйти на дорогу, - заметил Власюк. - И я не ошибался, когда говорил, что ищу вас.

- Я очень и очень благодарен вам, Никита Александрович. У меня сейчас такое чувство, будто я заново на свет народился... Скажите, если это не секрет, какие взгляды, ну, программу имеет в виду проводить ваша газета и как она будет называться?

- Мы еще не окрестили ее. Мы ставим себе задачу - служить беларусскому народу, бороться за его общественные и национальные права, пробуждать его сознание. А остальное я говорил на собрании. Вы слышали меня?

- Я слушал вас внимательно. Удачный пример привели относительно капусты.

- Что, здорово? - спросил Власюк и засмеялся.

- Очень метко! Только не знаю, как понравились капустные головы слушателям.

Власюк снова засмеялся.

- Это им не повредит.

Далеко за полночь Лобанович и Власюк легли спать.

Долгое время не мог уснуть Лобанович. Он вспоминал все события дня. Мысли о беларусской газете разгоняли его сон. В голове слагалась сказка о том, что живое слово, живую мысль - народа не убить, не сковать никакими цепями.

XI

Отшумели свой срок беспокойные осенние ветры. Низкие, рваные, мятущиеся тучи выплакали холодные слезы.

Короткие, сумрачные дни наводили уныние и грусть, угнетающе действовали на самочувствие и настроение. Была та пора, когда люди просили: "Приходила бы скорей зима! Пусть подсушили бы морозцы землю, чтобы она не утопала в грязи и в лужах".

И вот в один из дней беспорядочные, неугомонные тучи, словно испуганные птицы, поднялись выше, сделались более тугими. Подуло с севера здоровым холодком. Земля подсыхала, покрывалась твердой коркой. А к полуночи посыпал снежок, частый, спорый, сухой. Снег шел всю ночь и весь следующий день. К вечеру снегопад прекратился. На западе блеснула печальная, ласковая улыбка солнца и погасла. В небе загорелись первые звезды. Прижал мороз.

Наутро, едва только рассвело и сквозь густые ветви высоких елей, убранных снегом, начали пробиваться холодные лучи солнца, Лобанович вышел из хаты. Упругий морозный воздух обдал его своим дыханием. Совсем другая картина открылась глазам повеселевшего Лобановича. Кругом было так чисто, все сверкало такой немислимой белизной, что слепило и резало глаза. Лес стал светлее, побелел и утратил свой хмурый, унылый вид. Косматые лапы елей гнулись под холодным пластом снега, а маленькие елочки на опушке леса и старые, корявые пни надели пышные, белые, круглые шапки и башлыки и прятались под ними. И нельзя было удержаться, чтобы не померить своими ногами глубину снежного покрова, как не один раз делал это Лобанович еще в детстве. Снег доходил почти до колен.

"Можно будет и на лыжах походить", - подумал Лобанович. У брата Владимира как раз и лыжи были.

Шло время. Установилась зима с морозами и метелями. В жизни наших друзей ничего особенного не произошло, и пока что их никто не трогал и не беспокоил. Занятия с ребятами проходили своим чередом. Лобанович заручился согласием учителя столбуновской школы представить учеников "кустарной" школы к выпускным экзаменам как своих. Великую радость пережил Лобанович, когда ему прислали первый номер первой белорусской газеты. Он читал и перечитывал каждую статью и заметку, каждое стихотворение. Все это было так ново, так необычно. Наиболее сердечный отклик на появление белорусской газеты услышал он от крестьян своего села Микутичи, куда нарочно ходил почитать людям написанное их простым, родным мужицким словом. И сам Лобанович стал горячим и преданным сторонником и пропагандистом родного языка, на котором печаталась газета. Но каждый номер газеты подвергался репрессиям со стороны царских чиновников и цензуры. Газету задерживали, штрафовали, конфисковывали и, наконец, совсем запретили, а редактора осудили на год заключения в крепость. Вместо запрещенной начала выходить газета более умеренная, с либерально-буржуазным уклоном. Однако и эту смиренную газету царские чиновники донимали разными придирадками, душили штрафами и белыми пятнами.

Несколько писем написал Лобанович Лидочке. Два или три она ответила на письма и даже прислала свою фотокарточку. Лобанович каждый день любовно разглядывал фотографию. Потом Лида перестала отвечать на письма, и ее дальнейшая судьба стала для него неведомой. Только фотография и осталась на память о днях пребывания в верханской школе, о прогулках на хутор Антонины Михайловны. Лобанович молча переживал и эту свою утрату. "Жизнь, и события, и люди в ней проходят, словно речные волны", - думал он в одиночестве.

Однажды, когда в Смолярню пришел Янка Тукала, друзья уговорились сходить в Панямонь к знакомым учителям. Им давно хотелось показаться среди бывших коллег, увидеть, как отнесутся они к бездомным скитальцам и изгнанникам. Отправились под вечер в субботу, с тем чтобы заночевать в Панямони. Их мало волновал вопрос, у кого заночевать. По этому случаю Янка даже продекламировал широко известное из школьной хрестоматии того времени стихотворение:

Бог и птичку в поле кормит,
И кропит росой цветок..

Следующие две строчки стихотворения: "Бесприютного сиротку не оставит также бог" он переделал на свой лад:

Бесприютного "огарка"
Не оставит Базылек, -

имея в виду Базыля Трайчанского, владельца знаменитого в Панямони каменного дома. Правилom поведения друзей было не вешать нос на квинту. Вот почему они всегда, особенно на людях, были веселы, шутили, дурачились, забавлялись сами и забавляли других. У них были песни, сочиненные ими самими. Они придумали даже один балетный номер и назвали его "танец зеленого осла". Друзья становились спиной друг к другу и одновременно сгибали и поднимали правую либо левую ногу. Янка брал рукой согнутую ногу Лобановича, а Лобанович ногу Янки, а на другой ноге они прыгали как сумасшедшие, присвистывая либо подпевая в такт прыжкам. Потом они менялись местами и соответственно с этим меняли и ноги по команде: "С другой!"

И песни, и шутки, и "танец зеленого осла" имели целью высмеять местечковый мещанский быт со всеми его церемониями. Публика, перед которой время от времени выступали доморощенные артисты, воспринимала их выступления по-разному: одни морщились, другие одаряли их громкими аплодисментами. А в общем, их считали самыми веселыми и желанными людьми, которые никому ничего плохого, кроме как самим себе, не сделали.

Уже в сумерках друзья пришли в Панямонь. Миновали здание волостного правления, фельдшерский пункт, где фельдшером был все тот же Найдус, и направились в двухклассную школу к Тарасу Ивановичу Широкому. Он так же прочно сидел на своем месте.

- Добрый вечер вам! Рады ли вы нам? - дружно, в один голос, приветствовали друзья хозяина, переступив порог его квартиры.

Хозяин стоял перед ними. На его лице отразилось удивление и еще одно еле уловимое чувство, которое можно было бы назвать беспокойством, страхом при виде таких неожиданно нагрянувших гостей. Но это продолжалось только одно мгновение. Тарас Иванович овладел собой и пришел в состояние обычного для него приподнято-бурного настроения.

- А, браточки мои! А, страдальцы вы наши! Заходите, заходите! Раздевайтесь! Давненько я не видел вас, а как хотелось повидаться, поговорить! - шумно выражал он свою радость, крепко пожимая руки гостям. - И как же я рад, что вижу вас, голубчики, соколики мои! - сыпал, как из мешка, Тарас Иванович.

- Но не боитесь ли вы, Тарас Иванович, принимать нас, отщепенцев, крамольников, да еще с таким энтузиазмом? - снимая пальто, спросил Лобанович.

В глазах Тараса Ивановича мелькнули на мгновение испуг, неуверенность, но он тотчас же превозмог их.

- Кто запретит мне принимать в моем доме лучших из лучших учителей? Преступники вы, что ли? Казнокрады или конокрады? Да такой отщепенец и крамольник я сам и сотни тысяч таких же крамольников.

Не давая остыть чувству дружбы и солидарности, он громко крикнул:

- Ольга! Женка, стань передо мной, как лист перед травой! Иди встречать моих приятелей! Не успела показаться в комнате Ольга Степановна, как Тарас Иванович скомандовал:

- Жарь яичницу!

- Дай же поздороваться с людьми! - весело проговорила Ольга Степановна.

На ее лице светились подлинная радость и дружелюбие. Она помнила, как Лобанович забавлял ее маленького сына Леню и рассказывал ему такие интересные сказки, что мальчик часто вспоминал и спрашивал про дядю Андрея.

- Ну, как вы живете? - спрашивала она гостей. В ее голосе слышались искреннее сочувствие и тревога.

- Да живем так, что дай боже: то скоком, то боком, часом с квасом, а порой с водой, - ответил Лобанович.

Янка добавил:

- Мы люди беззаботные, для добрых дел пригодные, хлопцы веселые, хоть пятки наши голые. Ни о чем не тужим и царю не служим.

Тарас Иванович замахал руками: так говорить небезопасно, - но громко засмеялся.

- Раешник, настоящий раешник! - похвалил он Янку, а тот признался:

- Мы с Андреем поделили роли, он начинает, а я подбреживаю, и у нас выходит складно.

- То, что вы веселые и ни о чем не тужите, очень хорошо, но всего говорить вслух не стоит, - добродушно заметила Ольга Степановна.

- Иди, иди, жена, возле сковороды да возле буфета походи, - повторил свою команду Тарас Иванович.

Ольга Степановна вышла. Хозяин и гости перешли в кабинет.

- Ах, голубчики мои! Так вот оно как! - продолжал бурно выражать свою радость Тарас Иванович, однако заметно было, что он чувствовал себя как бы связанным и настоящей бури, свойственной его характеру, но получалось.

- А скажите, Тарас Иванович, что говорят про нас в вашей среде, как расценивают самый факт нашего неудачного собрания? - спросил Лобанович.

- Какая тут среда! - возмутился Тарас Иванович. - Умные люди сочувствуют вам, дураки, прохвосты охаивают, а более хитрые и подлые молчат. Да знаете ли вы... - вдруг перешел он на новую позицию. - Только, хлопцы, молчок! - понизил он голос. - На вас донес наш гад, волостной старшина Язеп Брыль! Сам лично ходил к становому приставу с доносом! А как он узнал? Многие из молодых учителей, участников собрания, не считали нужным держать язык за зубами... Только, братцы, ша! Никому ни гугу, ни звука о том, что я вам сказал!

Друзья переглянулись.

- Тарас Иванович, мы - могила! - заверил Широкого Лобанович.

В кабинет просунула голову Ольга Степановна.

- Прошу к столу! - проговорила она.

- Пойдем!

Тарас Иванович торжественно повел гостей в столовую. На аккуратно накрытом столе лежали приборы, стояли чарки, бутылка наливки, ветчина и объемистая сковорода с яичницей и крупными сочными шкварками.

- Да не оскудевает рука дающего! - проговорил Янка.

Выпили по чарке, по другой, повеселели. Завязался разговор о Панямони, о панямонских людях, о новостях. Выяснилось, что Тамара Алексеевна вышла замуж за Найдуса, и таким образом на горизонте "неба Италии" погасла одна звезда. Зато появились три новые. В местечко приехал ветеринарный фельдшер Адам Игнатьевич, а с ним две взрослые дочери. За старшей увивается Базыль Трайчанский. Есть и третья, Аксана. Ничего девушка, хоть и дочь урядника. Выяснилось также, что сегодня у Адама Игнатьевича день рождения и что Тарас Иванович с Ольгой Степановной приглашены на ужин. Тарас Иванович в предчувствии "банчка" после наливки пришел в экстаз.

- Пойдем к Адаму Игнатьевичу! - загорелся он, обращаясь к гостям. - Там будут не только рады вам, вас на руках носить будут!

В доказательство этих слов на пороге появился Есель с письмом - Адам Игнатьевич приглашал еще раз Тараса Ивановича с женой и с гостями.

По малолюдной улице Панямони степенно шествовали Тарас Иванович с Ольгой Степановной и наши приятели. Запорошенная свежим снегом улица была уже утоптана и укатана ногами пешеходов, полозьями саней и конскими копытами. Окна вдоль улицы были плотно закрыты ставнями.

Компания шла не торопясь, изредка перебрасываясь короткими фразами. Лобанович молчал и думал свою думу. Много уплыло дней с той весенней поры, когда он с Садовичем заходил в Панямонь. Не так давно пришло от него письмо из Балтиморы. Как он там живет, Садович не пишет; видно, не очень сладко. Об одном только сообщает - ходят вместе с Ничыпаром на какие-то курсы, чтобы изучить английский язык.

Мало что изменилось в Панямони за это время. Тот же шумный и еще более толстый Тарас Иванович, те же вечера местечковой так называемой интеллигенции с бесконечной картежной игрой, тот же Есель с его прежними обязанностями. Чем живут здесь люди? О чем они мечтают?

Глядя на еле заметные пучки света, проникавшие сквозь щели ставней, Лобанович думал, как тускло и скупо пробиваются на свет из непроглядного мрака мысли здешних людей. В чем же их радость и счастье? В затхлой тишине, в неподвижном покое, напоминающем стоячую воду тихих заводов, покрытую тоненькой пленкой плесени. Какие же нужны грозы и громы, чтобы всколыхнуть эту тишину и пробудить человеческие мысли, чувства, стремления! Пытался пробудить местечковых обывателей доморощенный редактор Бухберг, но его запрятали в сумасшедший дом, хотя он сумасшедшим, может, и не был. А вот шкурники, паразиты, доносчики вроде этого Язепа Брыля процветают. Вспомнились Лобановичу такие же пустые вечеринки в Хатовичах, в Верхани. Как же они похожи одна на другую! Старая знакомая песня на тот же заплесневелый лад. Противна вся эта музыка!..

Появление гостей во главе с Тарасом Ивановичем в доме Адама Игнатьевича особого впечатления не произвело. Правда, некоторые из присутствующих с удивлением и даже недоумением окинули взглядом бывших учителей, словно они пришли с того света, но тут же принялись за свои дела, как очень занятые люди: одни играли в преферанс, другие - в "шестьдесят шесть", а третьи просто сидели и болтали. Среди игравших в преферанс Лобанович увидел и того старого, длинного, как жердь, урядника, который схватил протокол со стола во время неожиданного налета на школу в Микутичах. Урядник сделал вид, что не заметил учителей.

Хозяин дома увлекся игрой в "шестьдесят шесть" и напряженно обдумывал свой ход. Это был черноволосый человек лет пятидесяти, интеллигентный с виду, напоминавший провинциального адвоката. На мгновение он оторвался от игры, чтобы выслушать от Тараса Ивановича поздравления, поздоровался с бывшими учителями, после чего снова сел на свое место. Тарас Иванович скорчил презрительную гримасу, остановившись возле игроков.

- Играть в "шестьдесят шесть" - все равно что блох ловить.

- На все будет свое время, - наставительно заметил уже известный нам сиделец Кузьма Скоромный.

Женщины - правда, их было не так много - занимали позицию в другой комнате, а некоторые из них помогали хозяйке накрывать стол.

Лобанович окинул взглядом присутствующих. Почти все они ему были уже известны. Из старых знакомых не хватало только Язепа Брыля и Миколы Зязульского. Базыль Трайчанский тотчас же вынырнул из той комнаты, где сидели женщины. Он был такой же добродушный, обходительный, как и прежде, приятная улыбка не сходила с его лица; по-прежнему склонял он голову то на одну, то на другую сторону, вскидывал то один глаз, то другой. Новое заключалось только в том, что на этот раз лицо Базыля сияло радостью. Он

очень приветливо поздоровался с Лобановичем и с Янкой Тукалой. О том, как живут изгнанные из школ учителя, он счел тактичным не расспрашивать.

- Ну что же, Базыль, каменный дом есть, а души этого дома нет.

Базыль Трайчанский понял, на что намекает Янка Тукала. Он просветлел еще больше и еще ласковее и приветливее улыбнулся. Ему приятно было услышать напоминание о необходимости сделать в своей жизни тот важный шаг, без которого жизнь человека не является полной, при этом перед его глазами встал образ Надежды Адамовны, которая была здесь, за дверью. Но признаваться в своих сердечных делах Базыль не хотел. Он только взял Янку под руку, кивнул головой Лобановичу и сказал:

- Пожалуйста, пойдемте! Познакомлю с девушками, а заодно поздороваетесь с женщинами.

Соблюдая этикет, Базыль подвел друзей сначала к жене Кузьмы Скоромного, как самой старшей. Это была с виду неинтересная и сердитая женщина. Может, настроение ей портило то обстоятельство, что у нее было много дочерей, таких же белобрысых и курносых, как сама она, и ни одна из них еще не вышла замуж. Павлина Семеновна свысока взглянула на Янку и его приятеля - пользы с них для нее нет, - но подала руку. Жена дьячка Помахайлика также поздоровалась с молодыми учителями сухо; внимательно посмотрела на них, чтобы лучше разглядеть "забастовщиков", а затем шепнула Павлине Семеновне:

- А они ничего себе хлопцы!

Павлина Семеновна так же тихо ответила:

- Голодранцы, да еще, может, острожниками будут!

- Ну, это еще как бог кому определит, - заметила покорно жена дьячка.

Чуткое ухо Янки Тукалы подслушало разговор женщин. Он галантно поклонился жене дьячка.

- Вашими устами говорит премудрость. Пусть будет по вашему слову!

Женщины немного растерялись и не знали, что ответить.

Базыль же направился с бывшими коллегами дальше. Девушки - их было три - сидели тесным кружком за столиком. То одна, то другая, то третья поднимали украдкой свои глазки на хлопцев.

Базыль подошел с Лобановичем сперва к Надежде Адамовне, причем лицо его осветилось приятнейшей улыбкой. Янка как старый знакомый здоровался с Аксаной.

- Надежда Адамовна, Мария Адамовна Смолянские, - называл Базыль сестер, представляя им по очереди Лобановича. - Будьте знакомы и не чурайтесь друг друга, - сказал в заключение Трайчанский, переходя на веселый, шуточный тон, но остроумные шутки ему не удавались.

Аксана познакомила Янку с сестрами Смолянскими и сама познакомилась с Лобановичем. Это была белесая высокая девушка. Лобанович окинул ее коротким взглядом: ее портрет, нарисованный Янкой, вполне соответствовал действительности.

- Садитесь, посидите, пожалуйста, с нами, - проговорила Надежда Адамовна густоватым, немного даже сиплым голосом.

Из трех девушек она показалась Лобановичу самой миловидной. Черты лица довольно крупные, глаза карие, добрые. Маня была не похожа на сестру; в ее серых глазах блуждал веселый, шаловливый огонек. Вообще же все три девушки производили хорошее впечатление, и каждая из них по-своему была привлекательной. Бросая изредка взгляд на Аксану, Лобанович вспоминал ее отца, старого долговязого урядника, который коршуном налетел на протокол. Не верилось, что она дочь этого злого кощея.

- Почему вы так редко бываете в нашем местечке? - спросила учителей Надя.

- Часто бывать здесь нам небезопасно, - ответил Лобанович, придав своему лицу сугубо серьезное выражение.

- Почему? - заинтересовались девчата.

Аксана, как показалось ему, с некоторой тревогой ждала ответа.

- Быть в Панямони и не увидеть вас, трех граций, панямонских красавиц, было бы преступлением с нашей стороны, - пошутил Лобанович.
- А увидеть вас два-три раза - значит и сердце оставить в Панямони, - подхватил Янка Тукала.

Девушки немного смутились, а затем рассмеялись.

- Ну и что же такого? - лукаво блеснула серыми глазами Маня.

- Вам, конечно, все равно, наши страдания не тронут вас, а каково будет нам, бедным "огаркам"? - с напускной печалью проговорил Янка.

- А вам откуда известно, как отнесемся мы к вашим страданиям, если бы они действительно были? - спросила Аксана, и на ее щеках выступил болезненный румянец.

- Случайно я услышал, - заговорил Янка, - как здесь одна женщина сказала по нашему адресу: "Голодранцы, да еще, может, острожниками будут".

Аксана опустила глаза. Румянец еще ярче вспыхнул на ее щеках.

- Так могла сказать глупая и злая женщина. Плюньте на нее, - сказала она.

Дальнейший разговор прервала хозяйка. Лобанович подумал, что если Надя доживет до ее лет, то словно капля воды на каплю будет похожа на мать.

- Прошу к столу, - пригласила она гостей.

Для хозяев, к которым приходят гости, немалая забота усадить их за стол. Гости обычно толкуются некоторое время, не торопятся, стараясь соблюсти приличие, пока хозяин либо хозяйка не возьмут под руку гостя или гостью и не посадят на более почетное место. Тогда уже остальные, соблюдая этикет, размещаются сами.

По соседству с хозяином сели Тарас Иванович, Найдус - Тамара Алексеевна не могла прийти, - Кузьма Скоромный, урядник. Базыль Трайчанский сел в уголке с девушками и бывшими учителями.

Тарас Иванович поднял тост за здоровье хозяина.

- Господа, внимание! - зычным голосом воскликнул он, поднявшись с места и высоко держа чарку. - Наша дружная семья панямонской интеллигенции пополнилась новым выдающимся членом - Адамом Игнатьевичем, человеком высокоинтеллигентным, можно сказать профессором от ветеринарии, высокогуманным, ибо еще в святом писании сказано: "Блажен муж, иже скоты милует". Это первый человек, который возглавляет у нас ветеринарию. Так выпьем же до дна за Адама Игнатьевича и пожелаем ему успеха, здоровья и многих лет жизни.

Дружно выпили за хозяина, потом за хозяйку, за хозяйских "ясных звездочек" - дочерей. Выпили и за Базыля Трайчанского, за увеличение населения в его каменном доме. С каждой чаркой гости веселились, а разговор становился все более и более шумным. От первоначальной степенности, с которой гости садились за стол, не осталось и следа. Все шумели, кричали, хохотали, отпускали не совсем пристойные шутки, поднимались со своих мест, подходили к тем, кто сидел дальше, чокались, выпивали, высказывали друг другу самые горячие чувства.

Первым подошел к девушкам, с которыми сидели Базыль и наши приятели, Тарас Иванович. Здесь было особенно оживленно и весело. Шутки и самый искренний смех не умолкали ни на минуту. Особенно разошелся Янка Тукала и совершенно затмил Базыля, словно того здесь и не было.

Тарас Иванович чокнулся.

- За наших красавиц! - сказал он. - Судьба не обижает нашу Панямонь и посылает таких краль, как Надежда и Мария Адамовны, как дорогая Аксана Анисимовна. Так пусть же здравствует красота, пусть цветет молодость! - Широкий сделал оговорку: - Правда, Базыль Антонович уже вышел из круга молодости, но дать жару еще может.

Тарас Иванович долго не задержался, его больше интересовал "банчок", который уже готовился. Когда гости встали из-за стола, к Лобановичу подошел урядник и сел рядом с ним, приветливо поздоровавшись.

- Вы, вероятно, думаете обо мне как о злом полицейском служаке? Что поделаешь, такова наша служба, на свете жить надо. И не мы сами, надо вам сказать, надумали накрыть вас в Микутичах: со стороны нам подсказали, а наша обязанность - выполнять. Вы думаете, - продолжал старый урядник, - я не видел, как вы, сидя на диванчике, щипали какую-то недозволенную рукопись? Она, может, хуже, чем ваш протокол. А я и пальцем не пошевелил, чтобы вам помешать.

- Значит, у вас зоркий глаз, а ваше сердце не совсем одеревенело, - заметил Лобанович. Урядник счел, что человеческий долг им выполнен, и присоединился к группе картежников.

Девушки на прощание долго пожимали руки "огаркам".

- Если бы все были такие, как вы! - с некоторой грустью сказала Надежда. - Не забывайте нас.

ХІІІ

Наступало время весеннего бездорожья. Глубокий снег оседал и чернел, а под снегом прибывала вода. В небе, словно серебряные колокольчики, звенели жаворонки. Немного запоздалая, но дружная весна все быстрее входила в силу.

Лобанович узнал от учителя столбуновской школы, что экзамены назначены на пятое апреля, - для подготовки осталось всего три недели. Эта весть взволновала и в то же время обрадовала трех учеников Лобановича, которые собирались сдавать экзамены за курс начальной школы. Недели две они старательно повторяли пройденное за зиму, писали диктовки, упражнялись в грамматическом разборе, решали задачи. Наконец учитель дал им передышку и время разобраться самим в тех вопросах, которые казались им наиболее трудными.

Незаметно пролетело время, и настал день экзаменов. Лобанович заранее прибыл с учениками в столбуновскую школу, чтобы они освоились в новой для них обстановке и чувствовали себя более уверенно и смело. На этот раз Лобанович, как бесправный учитель, сидел далеко от стола экзаменаторов в качестве постороннего и пассивного наблюдателя. Его учительское сердце ощущало какую-то неясную обиду. Зато его ученики счастливыми возвращались под вечер домой. На радостях они выпили пива, и Тодор Бервенский, идя, пел песни хриловатым, словно у молодого петушка, голосом.

Родители учеников добросовестно расплатились с учителем, а сам он поделился своим заработком с Владимиром, чьим хлебом он все это время кормился. Несколько десятков заработанных рублей казались сейчас Лобановичу значительным капиталом, обладая которым можно веселее заглядывать в будущее. И все же сердце точила тревога: а что будет дальше? Остаться в этой глухой Смолярне, где заработки кончились, сидеть на хлебах у брата, который сам не имел вволю хлеба, Лобанович не мог. Нужно было собирать пожитки и перебираться в другое место. Вот только бы подсохли дороги.

Но в дорогу пришлось двинуться раньше, чем просохла земля. В Смолярню неожиданно пришел Янка.

- Сам бог посылает тебя ко мне! - радостно встретил приятеля Лобанович. - И как это ты отважился в бездорожье пуститься в путешествие?

- Для смелых людей нет бездорожья! - гордо заявил Янка. - Но зачем это богу вдруг потребовалось посылать меня к тебе?

- Стою, брат, я на росстанях. Один этап моей жизни закончился, нужно куда-то двинуться, а куда - не знаю. Вот почему я и рад посоветоваться с тобой, - признался Лобанович.

- А что здесь долго думать, куда двинуться! Иди - и все. Для того я пришел к тебе, чтобы отправить тебя в дорогу, - в словах Янки зазвучали серьезные нотки.

- О какой дороге говоришь, Янка?

Вместо ответа Янка достал из кармана письмо, присланное Владиком Сальвесевым через одного надежного человека. В письме говорилось о засульской учительнице Фидрус. Она

сообщила инспектору народных училищ, что ее приглашали в Микутичи на учительское собрание. Владик настойчиво просил переговорить с этой учительницей и как можно скорей, чтобы она отказалась от своих слов, а нет - то и пострадать. И эта обязанность возлагалась на Янку и Андрея.

- Ну, так что скажешь? - спросил Янка.

- Какому же дурню пришло в голову приглашать на собрание эту глупую сову? - возмутился Лобанович. - Уже одна ее фамилия чего стоит.

Янка виновато опустил глаза.

- Да, в этом деле есть и моей глупости частица, - признался он.

Лобанович немного смягчился:

- А ты знаешь ее?

- Встречался однажды. Она показалась мне прогрессивной женщиной.

- Молодая или старая?

- Староватая, - несмело ответил Янка.

- Да ты говори прямо: гриб старый. И, вероятно, из духовного звания?

- А черт ее знает! Совой же ты назвал ее правильно.

- Ну, так иди и целуйся с нею.

- Нет, брат, дело общественное, пойдем вместе.

Лобанович еще немного позлился, наконец сдался:

- Ну что же, если идти, так с музыкой!

- Вот это голос! - повеселел Янка. - Под музыку, под барабан и солдатам веселее ходить. А с какой музыкой мы пойдем?

- Наша музыка безголосая, а слышна будет далеко.

- И ты начал говорить афоризмами? - немного удивился Янка. - Что же это за музыка такая?

- Музыка наша начнется от вывороченной ели.

- Во! Теперь я понимаю, о какой музыке идет речь. Пора, пора, братец, музыкантам нашим по свету походить да поиграть добрым людям.

Друзья уговорились захватить с собой листовки и брошюрки, лежавшие в лесном тайнике, и разбросать их кое-где, чтобы люди читали. Но сперва эти брошюрки и листовки нужно было пересмотреть, отобрать, - ведь многие из них уже отжили свой век и утратили свою злободневность.

Заветное вывороченное бурей дерево верно и честно выполняло свои обязанности хранителя литературы: ни одна капля воды не просочилась в засмоленный ящик, все было цело. То, что уже устарело либо просто не отвечало политическим взглядам двух друзей, было здесь же сожжено, а наиболее ценное взято в дорогу. Остальное снова спрятали под дерево.

Захватив с собой на всякий случай маленьких гвоздиков и молоток, друзья двинулись в дорогу. В поле на низинах и по краям лесов еще белел снег. По дороге бежали ручейки, а под ногами хлюпала жидкая грязь, и только на высоких песчаных пригорках земля подсохла, там идти было легко и приятно.

- Как хорошо в поле на приволье, когда с земли сходит снег! - восхищался Лобанович весенним простором земли.

- Вот видишь, а ты не хотел идти...

Версты через три путники вышли на скрещение дорог, где стоял высокий крест, огороженный деревянным штакетом, полусгнившим и покосившимся. К кресту была прибита деревянная фигурка Христа работы неизвестного резчика. Голова фигурки скорбно склонилась вниз, ее украшал венок, также вырезанный из дерева. Выцветший, истрепанный ветрами и непогодами передничек закрывал нижнюю часть фигуры Христа.

- Остановимся здесь, - сказал Лобанович и оглянулся вокруг.

- Знаю, что ты хочешь делать, - догадался Янка.

- А что?

- Прибить к кресту прокламацию.
- Угадал, брат Янка.
- Это будет ново и оригинально! - загорелся Янка. - И знаешь что! Напишем печатными буквами вверху на прокламации несколько слов.
- Каких? - спросил Лобанович.
- А вот таких: "И говорит вам Христос: "Читайте и поступайте так, как написано здесь".
- А это, пожалуй, будет неплохо, - согласился Лобанович.

Они достали прокламацию, обращение к крестьянам В ней говорилось, чтобы крестьяне не слушались попов, ксендзов и царских чиновников, потому что все они лгут, обманывают простых людей. А потому не нужно платить податей для содержания дармоедов. Крестьяне не должны давать своих детей в солдаты, должны устраивать забастовки, требовать от землевладельцев справедливой оплаты труда батраков и батрачек. Не нужен царь, власть должна принадлежать народу.

Янка сел на камень, взял газету, положил на нее прокламацию и стал выводить печатными буквами предисловие от имени Христа. Когда все было готово, Лобанович начал прибавлять прокламацию к кресту под фигуркой.

- Да, брат, смотри, чтобы не натолкнулся на нас кто-нибудь. Ведь, с точки зрения полиции, мы делаем двойное преступление: распространяем прокламации и совершаем богохульство, - говорил Лобанович, прикрепляя продолговатый листок.
- Ничего, - ответил смеясь Янка, - в это преступление замешан и сын божий.
- А все-таки давай, братец, заметем следы и свернем с этой дороги, пойдем вон по той слепой стежке, обогнем деревеньку и выйдем на свою дорогу с другой стороны.
- Твоими устами говорит мудрость, - согласился Янка.

Проходя мимо деревеньки, друзья тихонько подкрались к большому амбару, где хранилось общественное зерно, и прибили к стене несколько листовок и брошюр. Не заходя в деревеньку, сделали еще один круг, а затем уже направились своим путем.

Они снова вышли на Засульскую дорогу. Изредка навстречу им попадались пешеходы. С одним встречным крестьянином путники наши приветливо поздоровались.

- Остановитесь, дядька, на минутку, - обратился к нему Лобанович.
- Крестьянин остановился. Это был человек средних лет, в суконном хорошем пиджаке домашнего производства, в сапогах. Видать, не бедный хозяин. Он спокойно и внимательно глянул на друзей.
- Скажите, пожалуйста, далеко ли до Ячонки? - спросил его Лобанович.
 - Ячонка осталась слева, сзади, - ответил немного удивленный крестьянин и еще более внимательно посмотрел на путников.

- А-а, как же это мы прозевали! - почесал затылок Янка.
- А вы идите вон той стежкой, - показал крестьянин на малоприметную тропинку в поле. - Прождете с полверсты, выйдете на проезжую дорогу и Тогда повернете влево - там уже недалеко и Ячонка.

- Спасибо за хороший совет, - сказал Лобанович. - Возьмите от нас подарок - вот эту книжечку и пару листовок. Прочитайте сами и другим дайте прочитать. Да читайте их внимательно, как святую молитву.

Крестьянин немного замялся, еще раз недоверчиво глянул на друзей, взял книжечку и прокламации. Он пошел своей дорогой, время от времени оглядываясь. Друзья свернули на стежку, хотя в этом нужды не было.

- Знаешь, Андрей, а не влипли мы с этим дядькой? Что-то он не очень дружелюбно поглядывал на нас, - заметил Янка.
- И мне он кажется ненадежным.

Как только дядька исчез из глаз, друзья свернули с глухой тропинки и пошли зарослями, направляясь на сухой, заросший можжевельником пригорок. В ложбине дороги преграждала неглубокая, но довольно быстрая речушка, на дне которой лежал лед. Друзья остановились. Возвращаться назад небезопасно.

- Вперед, Янка!

Друзья разулись, сняли штаны и зашагали по скользкому льду на другую сторону. Вода обжигала ноги, по льду идти было трудно, но они благополучно перешли речку, выскочили на берег. Оделись, обулись. Потом, углубившись в можжевельник, выбрали такое местечко, с которого можно было видеть всю окружающую местность.

- Давай немного обождем, - предложил Лобанович.

- Музыка безголосая, а слышна будет далеко, - с некоторой тревогой и насмешкой проговорил Янка.

Идти сейчас к Мальвине Фидрус было не с руки. Друзья обсудили новый план. И вдруг видят - по дороге мчится кто-то верхом на лошади. Подскакал к тропинке, которую показывал друзьям крестьянин, и повернул на нее.

- Урядник, столбуновский урядник, - тихо проговорил Янка.

- Пускай ловит ветра в поле. Умно сделали, Янка, что переправились через речку.

Только вечером пришли друзья в Панямонь, отмерив десятки лишних верст, чтобы замести свои следы.

Встретиться и поговорить с учительницей Фидрус Янке и Андрею довелось уже в другой раз.

XIV

Есть своя положительная сторона в определенной ограниченности твоего богатства, когда ты можешь упаковать его в сундучок либо в чемодан, закинуть за плечо и идти, взяв палку в руки, куда тебе нужно. Такое положение было сейчас и у Лобановича.

Как только установилась теплая погода и подсохла земля, собрал он свое имущество, а все лишнее и не очень нужное оставил у брата, простился с ним и двинулся в путь. На опушке леса Лобанович остановился и окинул взглядом Смолярню, двор и хату, небольшой садик, где уже собиралась зацвести молодая дикая груша. "Может, не придется мне больше увидеть этот временный приют мой", - подумал он.

Миновав глухие Темные Ляды, Лобанович повернул влево, держа направление на Микутичи. Малоприметными лесными дорожками и тропинками обошел он поселок, где находилось лесничество и где почти все жители знали его. Дорога шла через лес - чистый, высокий, стройный бор, носивший название Сустрэновка. "Почему его называли так? Видимо, здесь произошла какая-то встреча" [По-беларусски встреча - сустрэча], - размышлял Андрей и вдруг увидел - впереди, немного в стороне от дороги, стоит огромный старый лось с темной Шерстью на спине, с здоровенными ветвистыми рогами. От неожиданности Лобанович остановился. Лось также стоял и смотрел на него.

"Дай-ка напугаю его!" - подумал Лобанович и ринулся на лося. Когда между ними оставалось шагов сорок, лось принял боевую позу, не трогаясь с места. Лобанович испугался и от наступления перешел к обороне, спрятался за толстой сосной и давай стучать по ней палкой. Лось начал проявлять некоторое беспокойство, но достоинства своего не уронил, принял свой обычный вид и не торопясь направился в глубину леса.

"Вот тебе и Сустрэновка", - сказал себе Лобанович, не на шутку напуганный. Он пошел дальше, то и дело поглядывая по сторонам. Но лося нигде не было видно. Лес окончился, и глазам путника предстало песчаное бугристое поле микутичских крестьян.

Мать и дядя Мартин скорее с печалью, чем с радостью, встретили бездомного и безработного скитальца. Но, видя его хорошее настроение, они также повеселели. Дядя Мартин сказал даже, беззаботно махнув рукой:

- Не удалось теперь, может, удастся в четверг. Только не загнали бы куда-нибудь на край света.

Ни мать, ни дядя ни в чем не упрекнули Андрея и даже избегали напоминать о неприятном происшествии на собрании учителей. А Якуб искренне обрадовался приходу

брата. Когда же он узнал, что Андрей собирается жить у них все лето, радость Якуба еще увеличилась. За последнее время он заметно подрос и был правой рукой дядьки Мартина.

- Без Якуба я прямо как без рук, - сказал дядька. - Он и на гумне помогает мне, и в поле, и в лесу. То пойдет украдкой вырубит еловый шест для рукоятки граблей либо для косовища, то заскочит в дубняк, и если выберет било для цепы, то только поднимай цеп: било само будет молотить.

Знал дядя Мартин, чем и как угодить племяннику. А Якуб слушал и весь расцветал от удовольствия. Чтобы не выдать своего волнения, счастливый Якуб сказал, обернувшись к брату:

- Я покажу тебе, Андрей, одно местечко на Немане, в Бервянке. Вот где рыбы! Нигде нет столько! Иной раз как плеснет сом или щука - только пузыри пойдут по воде. А язей сколько! А голавлей! Так и ходят вереницами.

- А тебе не приходилось подцепить на удочку язя? - поинтересовался Андрей.

- Трудно взять его там, - безнадежно признался Якуб. - Коряги, корни... Не один крючок мой остался там.

- А может, мы с тобой вдвоем справились бы? - спросил Андрей.

Якуб заверил, что и вдвоем ничего не сделают. Дядя Мартин слушал и усмехался в усы.

- Уж если Якуб сказал, значит так оно и есть, - поддержал он маленького племянника. Дядя Мартин и Якуб были большими приятелями.

- Вот когда потеплеет, они с дядей сетками, топтухами наловят с пуд рыбы, - заметила мать и пошла к печке: ведь Андрей с дороги, должно быть, голоден.

Дядя Мартин, Андрей, Якуб вышли во двор осмотреть хозяйство.

Чем-то близким, родным повеяло на Лобановича, когда он осматривал двор, постройки, убогий скarb несложного крестьянского хозяйства, где все напоминало далекое, беззаботное детство. И вместе с тем еще с большей силой поднимался в груди протест против несправедливого устройства жизни, при котором бедному человеку достается такой жалкий, тесный уголок. Одно только радовало сердце: народ не хочет примириться с такими порядками, и в этом залог победы.

Андрей никогда не чурался крестьянской работы и при случае охотно помогал дяде Мартину. Когда он был учителем, часто посылал своим домашним деньги. А теперь он такой помощи оказать не может, хотя она очень нужна. Промелькнула неведомо откуда возникшая мысль о том, как много разных мест приходится переменить человеку на своем веку. Не более четверти века прожил на свете Лобанович, а побывать ему пришлось во многих местах. И сколько еще новых мест ждет его впереди! Но сейчас не было возможности долго предаваться таким размышлениям - живой, разговорчивый Якуб звенел, словно звоночек, стараясь как можно больше рассказать брату о разных вещах и событиях. На гумне он подвел Андрея к толстому дубовому столбу. В столбе торчал большой гвоздь, на котором важно отдыхали цепи. Якубу хотелось показать цеп с тем крепким билем, о котором рассказывал дядя Мартин: било вырублено в дубняке самим Якубом!

- Действительно било ладное, - похвалил Андрей, снял с гвоздя цеп и два-три раза взмахнул им.

Из хаты вышла мать, хлопотливая, трудолюбивая, вечно озабоченная, позвала Андрея завтракать. Дядя Мартин и Якуб в хату не пошли, сославшись на то, что они недавно здорово наелись.

Мать положила на стол деревянный кружок и поставила на него сковороду с яичницей и жирными, сочными шкварками.

- Знаешь, мама, - обратился к ней Андрей, - и дым из кадила, который пускает поп в церкви, не пахнет так приятно, как эта сковорода со шкварками.

- Не надо, сынок, говорить лишнего, - грустно улыбнулась мать.

Отведав яичницы, Андрей продолжал:

- Такой яичницы не только губернатор, но и наш дурень-царь Николка Второй не ел.

- Ешь, сынок, и глупостей говорить не нужно, - запротестовала мать. - Вот вы пошли против начальства, оскорбили царя, а сейчас сидите без места. Забыли вы поговорку: "Не трогай дерьма, не то смердеть будет!"

Лобанович громко захохотал.

- Вот это, мама, правда! Но если это навоз, что совершенно справедливо, то нужно его в землю закопать, чтобы удобрял ее.

Андрей подошел к матери, поцеловал ей руку.

- Спасибо, мама, за угощение. Прости меня за неприятности, за огорчения, которые я причинял вам. Горевать же и плакать нечего. Вот если бы я совершил преступление против людей, простых людей, тогда нужно было бы отвернуться от меня и в хату не пустить, хотя я и родной ваш сын. Я же хочу и многие, многие сотни тысяч таких, как я, хотят, чтобы простым людям жилось хорошо, чтобы сами они были хозяевами своей судьбы и чтобы не издевались над ними паны, чиновники, начиная от урядника и губернатора и кончая царем. Ведь во имя царя и от имени царя творятся все эти несправедливости, от которых приходится страдать мужикам на земле, рабочим на фабриках и заводах. Имеем ли мы право сидеть сложа руки и спокойно смотреть на всю эту мерзость? Если бы лучи солнца не уничтожали весной снега и льда, земля не избавилась бы от холода и не было бы весны. Пусть меня выгнали, пусть я сижу без работы, - хотя, правда, работу кое-какую нахожу, - пусть меня судят и засудят, я никогда не сдамся, так как знаю, во имя чего борюсь.

Мать слушала и плакала.

- Ох, сынок, если уж так надо, то надо! - И вытерла фартуком слезы.

XV

За Микутичами вверх по Неману, в полуверсте от села, есть высокий красивый пригорок, где росли пышные, ветвистые сосенки. Местность, в которой расположен этот пригорок, называлась Клещицы. Молодой еще лесок и живописные, тихие долинки привлекали сюда летом микутичских учителей, любивших ловить здесь рыбу и устраивать товарищеские маевки. Глубоко внизу, под обрывистым песчаным берегом, струился быстрый Неман, пронося по чистому руслу весенние воды и подмывая высокий берег. В песчаных осыпях, как рассказывали старые люди, попадались человеческие черепа и кости. Старики утверждали, что здесь был когда-то курган - могила убитых на войне со шведами солдат.

Неман не вошел еще в свои берега. Довольно широкая равнина была залита вешней водой. Там, где вода спадала, пробивалась и желтела крупная, широколистная калужница. На противоположной стороне равнины раскинулись поля, узкие полоски бугристой земли занеманских крестьян, где ютились защищенные пригорками небольшие деревеньки, имевшие общее название - Села. Как раз напротив Клещиц, на той стороне равнины, поднимался довольно высокий курган. На самой вершине кургана красовался выступ, словно круглая шапка. В Микутичах его называли Демьяновым Гузом.

Лобанович стоял на самом высоком пункте берега, откуда очень хорошо видны Демьянов Гуз, Микутичи, местечки Панямонь и Столбуны и синяя полоска Синявского гая - картина, которой нельзя не залюбоваться. Но глаза Андрея Лобановича были прикованы к вершине Демьянова Гуза - там скоро должна появиться фигура человека, имя которому Янка Тукала.

Прежде чем оставить Смолярню и перебраться в Микутичи, Лобанович сообщил об этом Янке.

- Без тебя, Янка, мне горько на свете жить, давай не будем разлучаться и в дальнейшем. Так вот что, мой ДРУГ, устрой и ты себе каникулы, тем более что не за горами пасха, и перебирайся к родителям в Нейгертово, за Неман, в ваши знаменитые Села.

Янка торжественно поднял правую руку.

- Твоя радость - моя радость, твое горе - мое горе, твой бог - мой бог, пусть будет благословенно имя его! И пусть будет по слову твоему!
- Чувствую, Янка, и знаю, что ты мой настоящий друг. А если так, давай наладим нашу следующую встречу в страстную пятницу и наладим ее... в просторах!
- До этого я все понимал, а вот встреча "в просторах" не дошла, - заметил Янка.
- Растолкую тебе. Знаешь Демьянов Гуз? - спросил приятеля Андрей.

- Знаю, хорошо знаю.

- А про Клещицы ты слышал?

- И Клещицы знаю. И горелку там пил, и вкусную уху ел.

- Ну, так вот, мой братец, в двенадцать часов в страстную пятницу ты взойди на гору высокую, сиречь на Демьянов Гуз. А я в это время буду стоять над Неманом, на высоком берегу в Клещицах. С этого берега хорошо виден Демьянов Гуз, а с Демьянова Гуза еще лучше видны Клещицы. Когда ты взойдешь на Демьянов Гуз, я два раза махну тебе сосновой веткой. А это будет означать: "Здравствуй, Янка!" А поскольку леса в районе Демьянова Гуза нет, то прикреплю к палке дерюжку, платок или просто онучу и таким самодельным флагом помаши мне. Я буду знать, что ты увидел и понял мой сигнал и в ответ посылаешь мне свое приветствие.

Янке Тукале в высшей степени свойственно было увлекаться. Ему очень понравилась выдумка Андрея.

- Интереснейшая мысль! - весело отозвался Янка. - Да ты знаешь, брат, мы создадим целую систему сигналов, чтобы разговаривать на расстоянии, или, как удачно ты сказал, устроим встречу в просторах.

Вспоминая этот разговор с приятелем, Лобанович внимательно вглядывался в Демьянов Гуз. Пяти минут не хватало до двенадцати. И вдруг из-за склона кургана показалась человеческая фигура. Не было никакого сомнения, что это Янка. Взбираясь на самую макушку Демьянова Гуза, он держал в руках самодельный флаг, который был хорошо виден, хотя расстояние между друзьями составляло не менее версты. На фоне неба фигура Янки отчетливо вырисовывалась в прозрачном воздухе. Обрадованный Лобанович поднял вверх довольно большую сосновую ветку и медленно махнул ею два раза. Тотчас же над Демьяновым Гузом взвился флаг Янки. Друзья обменялись приветствиями, как было условлено, затем Лобанович снова подал сигнал, сделав веткой круг над головой. То же самое проделал и Янка на Демьяновом Гузе. А это означало: "Здоров, нового пока ничего не слышно". Следующий сигнал был такой: Лобанович одной рукой поднял над головой ветку, а другую руку вытянул в сторону. Янка ответил такими же движениями. Это означало: "Хочу повидать тебя вблизи". И ответ: "Я тоже хочу". После этого Лобанович двумя руками поднял ветку вверх и стал махать ею в свою сторону, давая этим знать, чтобы Янка сошел с кургана и направился к гати, которая начиналась сразу же за Неманом напротив Микутич и тянулась через всю неманскую долину. Другим своим концом гать вплотную подходила к занеманскому полю; сейчас она была залита водой. Увидев сигнал, Янка поднял свой флаг и несколько раз махнул им в сторону Андрея: "Понял, иду и буду ждать переправы".

Лобанович быстро зашагал в село, чтобы взять лодку и плыть к Янке. На все Микутичи приходилось не более трех лодок, хотя в селе насчитывалось около двухсот дворов. Были, правда, челноки, но чтобы плыть на челноке, нужна большая ловкость, по такой воде переправляться на нем небезопасно. Как раз напротив гати, над самым Неманом, на пригорке, стояла хата старого Базыля, у которого была лодка. К нему и обратился Лобанович. Правда, сам Базыль уже не мог управляться с лодкой, ею распоряжался старший сын Базыля Павлюк. Но из уважения к старости следовало обратиться сначала к Базылю. Старик сидел на завалинке в кожухе и посасывал свою трубку, которую он никогда не выпускал изо рта, разве только когда садился за стол поесть либо когда спал.

Лобанович приветливо поздоровался со стариком, преподнес ему пачку махорки. Базыль долго всматривался в Лобановича. Глаза не очень хорошо служили ему.

- Чей же ты будешь? - спросил Базыль.

Лобанович объяснил, чей он и кто такой. Старый Базыль его хорошо знал, а сейчас не узнал, потому что плохо видел.

- Ну что ж, возьми. Вон там Павлюк в дровяном сарае. Иди к нему, детка, пусть даст ключ от лодки.

С Павлюком дело уладилось быстро, и минуты через две Лобанович сидел в лодке. Много пришлось ему помахать веслом и потратить сил, пока он приспособился править лодкой. Быстрая вода, широко разлившись из берегов, несла лодку вниз по течению. Временами на перевалах, где половодье бушевало с неудержимой силой и швыряло лодку, как щепку, приходилось налегать во всю мочь на весло, чтобы выбраться из небезопасных водоворотов. Переезд на ту сторону долины оказался не таким легким и простым, как казалось вначале. Наконец большая часть водного пути была преодолена. Ближе к полю вода текла спокойнее, а потом и совсем не двигалась. Лобанович вздохнул с облегчением. Взглянув перед собой, он увидел Янку. Друг стоял возле самой воды, выбрав наиболее удобное место для "пристани". Когда Андрей подплыл к ней, Янка снял шапку и замахал ею в воздухе.

- Ура! Победа! - кричал он, видимо имея в виду удачную встречу в "просторах".

- Не одна, а две, - отозвался из лодки Лобанович, вытирая рукавом потный лоб.

Лодка совсем близко подошла к берегу и носовой частью коснулась земли. Янка ухватился за нос и подтянул ее к себе, чтобы удобнее было вскочить в нее. Друзья радостно поздоровались. Несколько мгновений они молча вглядывались друг в друга, и на лицах у них светилась веселая улыбка.

- Ну, что скажешь, мой живой афоризм?

- Нет на свете такого невеселого положения, в котором веселые люди не могли бы найти для себя веселья! - сразу ответил Янка.

XVI

Не менее двенадцати молодых учителей, уволенных из школ, съехались в Микутичи праздновать пасху, а заодно поговорить о своих делах и главным образом о том, как держаться на допросе. То обстоятельство, что никого из учителей до сих пор не трогали, успокаивало многих из них. Если бы здесь было серьезное дело, рассуждали они, их давно взяли бы в оборот. Тем не менее уверенности в том, что все обойдется, не было. Вот почему та репетиция допроса, которую провели в Смоллярне Лобанович и Янка, произвела впечатление на их друзей, заставила их призадуматься и целиком принять метод защиты, разработанный приятелями.

Кое-кто из уволенных учителей нашел работу не по своей специальности. В этом отношении особенно выделялся Милевский. Он сшил себе синий долгополый сюртук, отпустил еще больше бороду, разделенную надвое, и бакенбарды, а подбородок для большей важности брил. Словно клещ, вцепился он в должность помощника волостного писаря, ставя своей целью сделаться писарем. Вся его причастность к "крамоле" выражалась в том, что он подписал протокол учительского съезда, в чем он теперь раскаивался, хотя об этом никому не говорил. Ходили даже слухи, что Милевский тайком послал просьбу земскому начальнику. Он писал покаянную, просил замолвить за него словечко перед соответствующим начальством. С друзьями же он держался так, что трудно было догадаться о его тайных хлопотах.

В первый день пасхи учителя шумной толпой двинулись из Микутич в Панямонь отдавать пасхальные визиты местным интеллигентам. Вместе со всеми шествовал и Адам Милевский в синем сюртуке и с живописной бородой.

- Пропали мы с тобой, брат Янка, - шутил Лобанович, - затмит нас Милевский своим сюртуком и бородой!

- Его бородой припечек подметать, - ответил Янка Тукала.

Все захохотали.

Учителя шутили, смеялись, им было весело. Забавляла их и сама мысль о том, какой страх нагонят они на хозяев и хозяек и какой ущерб причинят их пасхальным столам, если ввалятся в дом такой оравой.

- Стойте, волочебники, замолчите! Послушайте песню, что мы сложили с Андреем! - воскликнул Янка Тукала.

- Ну, давайте песню!

- Начинай, Андрей, твоя первая скрипка. Так уж мы уговорились: ты начинаешь, я подбредиваю. А вы, волочебники, присоединяйтесь к нам: припев поем все, хором! - не унимался Янка.

- Что ж, давай, - согласился Лобанович. - Как раз паша песня и есть волочебная.

Андрей откашлялся и начал:

Ходят волочебники без дорог.

Янка подхватил:

Они не жалеют ни горла, ни ног.

- Припев! - обратился ко всем запевала.

Помоги, боже,
Пошли нам, боже, -
Христос воскрес -
Сын божий.

Лобанович:

Ходят волочебники из дома в дом!

Янка:

А кто их не примет, того убей гром!

Все:

Помоги, боже,
Пошли нам, боже, -
Христос воскрес -
Сын божий.

Лобанович:

Сбросьте, девчата, стеснения ярмо!

Янка:

Сегодня целовать вас нам право дано!

Все:

Помоги, боже,

Пошли нам, боже, -
Христос воскрес -
Сын божий.

Песня наладилась, и теперь уже все пели ее с увлечением.

Привет вашей хате, дядька Тарас!
Не жалеи горелки нам и колбас!

Под Тарасом подразумевался Тарас Иванович Широкий. С него ватага учителей решила начать свои визиты. Последний куплет имел и такой вариант - на случай, если придется зайти с поздравлением к Базылю Трайчанскому:

Живи и красуйся, Трайчанский Базылек!
Вейся возле Наденьки, как мотылек!

Для сидельца Кузьмы Скоромного был сложен особый куплет:

У Кузьмы Скоромного дом как сад.
Как цветов весенних, в том саду девчат.

Составители песен не обошли также и урядника, схватившего протокол во время налета на квартиру Садовича:

Есть в Панямони урядник-кощей,
Но мы не откроем его дверей.

Не забыли волочebníки и волостного старшину Язепу Брыля, донесшего на учителей земскому начальнику:

Есть в Панямони Брыль-старшина,
У него щенок есть - честь им одна!

Заканчивалась волочებная песня так:

Что ж? Кончаем песню, ведь кончать пора.
Добрым панямонцам возгласим "ура"!

Песня еще больше подняла веселое настроение волочებников. Некоторые куплеты ее вызвали дружный смех. Составителей песни - Андрея Лобановича и Янку Тукалу - не один раз по-дружески награждали словами одобрения:

- А, чтоб вам пусто было!

Были, правда, и критические замечания. В роли критика выступил Милевский Адам:

- Ну, какие там у Кузьмы Скоромного весенние цветы! Да его дочери просто чучела!

Против такого оскорбления известных панямонских барышень восстал Янка Тукала:

- Пускай себе дочери сидельца не очень красивы, так разве нужно говорить им об этом в глаза, голова твоя капустаная? А если мы похвалим их в песне, то и сами они и родители их будут на седьмом небе и угостят тебя так, что и сюртука на пупе не застегнешь.

- Браво, Янка!

- Чтобы критиковать нашу песню, - сказал поощренный похвалой Янка, - тебе нужно подмести своей бородой не припечек, а целый двор.

Янку снова поддержали громким смехом.

Волочებникам было весело в пути не столько от шутиливой песни, сколько от тепла и света погожего весеннего дня, когда все, что попадалось на глаза, выглядело так ласково, молодо, уютно и влекло к себе. Особенно приятно было взглянуть с деревянного моста вверх по Неману, на широкую наднеманскую долину. Река уже почти вошла в берега. На низинных лугах кое-где еще стояла вода, а над нею желтели заросли калужницы, расстилавшей по воде свои широкие листья. С луга веяло весенней сыростью. Берега Немана, щедро напоенные половодьем, еще не просохли. Повсюду на них пробивалась густая желтовато-зеленая, еще слабенькая мурава, свидетельствуя о возрождении и обновлении земли. Над заливными, низинными лугами возвышалось поле с глубокими рвами, проложенными снеговой и дождевой водой, с высокими пригорками, заросшими кустарником. Далеко на юге выступала голубая колокольня микутической церкви.

Несколько минут стояли на мосту учителя-волочებники, любовались Неманом, еще многоводным и быстрым, лугами, полем и лесом. Много раз видел их Лобанович, но никогда не надоедали они, потому что пробуждали в груди неодолимую жажду жизни и так много говорили сердцу, хотя без слов, о свободе, о великих просторах земли, о молодой жизни.

- Эх, хлопцы! - проговорил он. - Как хорошо было бы жить на свете, если бы человека не гнали, не обижали, не лишали свободы, не связывали ему крылья!

XVII

Почти полвека прошло с того времени, когда мои волочებники, а с ними и я, ходили в Панямонь с пасхальными визитами и поздравлениями. Многих из тех, о ком рассказывается здесь, уже нет на свете. И когда я сегодня тревожу их память, мне становится грустно: быть может, не так сказал о них, как это было в действительности, порой, может, некстати посмеялся либо не в меру принизил кого-нибудь. Они не напишут мне и не придут ко мне, чтобы сказать: "Ты отступил от правды, мы не такие, какими ты нас показываешь". Если бы они были живы, мы объяснились бы и пришли к согласию. А так я могу только сказать: "Простите! Я же хотел и хочу одного - правды".

Придя в Панямонь, волочებники сразу же направились к Широкому. Так было удобнее: дом, в котором жил Тарас Иванович, стоял первым на их пути. Волочებники вошли во двор школы и остановились возле окна. Лобанович и Янка вышли вперед, остальные выстроились за ними в два ряда.

Лобанович что было силы затянул:

Привет вашей хате, дядька Тарас!

Янка также во весь голос подхватил:

Не жалеи горелки нам и колбас!

И все вместе грянули известный припев, да грянули так, что стекла в окнах задрожали. Тотчас же открылось окно, показались две головы - женская и мужская. Ольга Степановна улыбнулась, увидя толпу волочებников, большинство которых были ей знакомы. Тарас Иванович также просветлел. Со свойственной ему стремительностью он бросился на крыльцо.

- Браточки мои! Христос воскрес! - воскликнул Тарас Иванович и ринулся к волочებникам.

Каждого он приветливо обнимал и со словами "Христос воскрес!" целовал три раза в губы - волочებник на мгновение почти совсем исчезал в могучих объятиях Тараса Ивановича.

Только когда очередь дошла до Адама Милевского, гостеприимный хозяин поцеловал его всего один раз и заметил:

- Борода твоя, брат, как помело!

Волочebники захохотали. Смеялся и сам обладатель бороды. Он в душе гордился тем, что имел такую жесткую бороду: ведь это признак твердого характера.

Тарас Иванович тотчас же пригласил друзей в квартиру. Самая большая комната, смежная с передней, была специально приспособлена для пасхальных визитов. На пасху обычно в гости не приглашали, кто хотел, приходил сам. Таков был обычай, заведенный дедами.

Посреди комнаты стоял длинный стол, застланный белой скатертью и сплошь заставленный богатой и разнообразной снедью, выпивкой, посудой. Ножи и вилки лежали в нескольких кучах. Гости сами по мере надобности брали посуду, нож и вилку и, выпив добрую чарку, нацеливались на закуску, более всего отвечавшую их вкусам. Самое почетное и видное место на столе занимал копченый окорок, запеченный в хлебном тесте. По величине он напоминал большую подушку и лежал на специально сделанном деревянном кружке, убранном стеблями брусничника и венком из дерезы. Этот окорок был украшением стола и гордостью Ольги Степановны и Тараса Ивановича.

Янка Тукала сразу же заметил:

- Вот это окорок! Не окорок, а Демьянов Гуз!

На столе красовались зажаренные поросята, кольца колбас, мясо разных видов, пара индеек, мазурки и целая горка окрашенных яиц.

- Вот как буржуи живут! - добродушно сказал кто-то из волочebников, окинув взглядом стол.

- Хватит работы нам, безработным, на долгое время, - шутил Янка.

- Садитесь, садитесь же за стол! - приглашала гостей Ольга Степановна.

Тарас Иванович принес несколько стульев.

Волочebники расселись. Горелку наливал каждый сам себе, ее было много. Выпили по чарке, по другой, пропустили по третьей. Копченый окорок больше всего пришелся по вкусу волочebникам и на глазах уменьшался в своих размерах. За столом было шумно и весело.

Лобанович тихонько подошел к Янке.

- Знаешь, Янка, надо в нашу волочebную песню добавить посвящение Ольге Степановне.

- Это было бы кстати, - поддержал приятеля Янка.

Они немного пошептались, подбирая лучшие варианты куплетов, а затем Янка крикнул:

- Внимание! Хлопцы! Восславим волочebной песней нашу милую хозяйшку Ольгу Степановну.

- Восславим! Восславим! - дружно отозвались волочebники.

Все поднялись со своих мест. В комнате сделалось тихо. Лобанович принял позу регента и запевалы. Рядом с ним стоял Янка Тукала.

Песня загремела с большим подъемом:

Милейшей супруге гаспадара [Гаспадар - хозяин]

Ольге Степановне желаем добра!

Помоги, боже,

Пошли нам, боже, -

Христос воскрес -

Сын божий.

Живите на свете сорок тысяч ден,

Если мы не любы, гоните нас вон.

Ольга Степановна зацвела, как роза. Она подошла к запевале и подпевале и поцеловалась с ними, остальным низко поклонилась. Тарас Иванович вскочил со стула.

- Браточки мои, волочебники! Выпьем и будем петь всю вашу волочебную песню! Они ведь и про меня не забыли, - сказал он жене. - Я хочу петь с вами!

- Спойте, спойте! - с радостным возбуждением присоединилась к мужу Ольга Степановна.

- Слышишь, Янка, и вы, вахлаки, какой большой успех имеет наша песня! - обратился Лобанович ко всей компании.

Дружно выпили, закусили. Лобанович вытер губы.

- Ну, Янка, начнем.

Волочебники сбились в кучу. Впереди снова стали Андрей и Янка, начали песню. Куплеты, в которых говорилось про девчат, чтобы они "сбросили стеснения ярмо", про сидельца Кузьму Скоромного и про старшину, вызвали бурное восхищение Тараса Ивановича. Он смеялся, хлопал в ладоши и весь был в движении. По счастливой случайности в тот момент, когда собирались запеть про Базыля, вошел сам Трайчанский. Это вызвало особенно веселое оживление за столом. Лобанович сделал Трайчанскому знак остановиться, молчать и слушать. Для Тараса Ивановича, для Ольги Степановны и для самого Базыля этот куплет был неизвестен. Вот почему, когда запевала и подпевала исполнили строчки, посвященные Трайчанскому, Тарас Иванович сорвался с места и, как регент, замахал руками, чтобы все подхватили припев.

Базыль также стоял веселый и счастливый, а лицо его светилось, как пасхальный пирог, помазанный яичным желтком.

Когда кончили пение, в котором принял участие и Базыль, он похристосовался с хозяевами и с волочебниками по всем правилам пасхального этикета. Базыль сел за стол, и хотя он до этого немного выпил, но выпил и здесь. На пасху разрешалось пить сколько кто может. Если же кто и выпьет лишнего, того не судили. Немного посидев, поговорив, посмеявшись, Базыль обратился к хозяину, к волочебникам с приглашением посетить его "хижину". Ольга Степановна, как хозяйка, осталась дома принимать посетителей. Тарас же Иванович даже был рад покинуть свой дом и вывести из него "саранчу" - так называл он мысленно волочебников, - чтобы спасти хоть остаток окорока.

На улице возле каменного дома Базыля лежало около десятка больших камней. Они предназначались для фундамента и остались неиспользованными во время постройки дома. По какой-то необъяснимой причине Лобанович обратил на них внимание, - может, потому что еще в детстве он любил сидеть на кучах камней в поле - такие кучи назывались крушнями - и наблюдать за тем, что происходит вокруг. Вот и теперь ему захотелось остановиться возле камней и посидеть на них, но хозяин и Тарас Иванович взяли твердый курс на пасхальный стол Базыля, также обещавший быть обильным и разнообразным.

За этим столом уже сидели какой-то приезжий чиновник родом из Панямони, по фамилии Булах, мать Базыля, низенькая и толстая, как кадушка, две сестры Смолянские и "кощеева" дочь Аксана. Появление оравы учителей произвело в доме целый переполох. Старая мать Базыля важно двинулась к Широкому. Чиновник Булах, стараясь ничем не уронить своего достоинства, медленно приподнялся. Девушки же вскочили и, как мотыльки на огонь, бросились встречать гостей.

Лобанович дал знак учителям остановиться, чтобы спеть свою волочебную. Когда дошли до куплета, в котором говорилось, чтобы девушки "сбросили стеснения ярмо", Базыль бросился к Наде. Но девушка отстранила его и сама подошла к Янке Тукале, с тем чтобы потом, уже на законном основании, похристосоваться с Андреем, которого она просто, по-девичьи полюбила. Выждав немного, Надя и Лобанович вышли из-за стола и присели в более или менее укромном уголке. Гости подвыпили, шумели и не обращали на них внимания, только Базыль изредка бросал в их сторону беспокойные взгляды. Он не очень был уверен, что Надя не откажется от него, хотя он и владелец знаменитого каменного дома.

- Когда же вы замуж выходите? - спросил Лобанович Надю.
- За кого?
- Еще спрашиваете! Известно, за кого. За Базыля! Об этом вся Панямонь говорит. Человек он добрый и не противный, имеет такой славный дом. Вот видите, буду вашим сватом. Надя посмотрела на Андрея, лукаво улыбнулась.
- Если бы за свата, то пошла бы, а за Трайчанского не пойду.
В эту минуту к ним подошел Базыль.
- Как видите, сон в руку, - заметил Лобанович, - но простите, меня мучит жажда. Лобанович подошел к столу, на котором стоял огромный жбан, ведра на полтора, с квасом. Жбан и квас были домашней гордостью матери Базыля.
Больше всех шумел за столом Янка Тукала, шутил и выкидывал разные штуки, что не совсем нравилось немного чопорной старухе Трайчанской. Лобанович вывел друга из дома.
- Посидим на камешках, - сказал он другу.
- Я сейчас в таком состоянии, что, кажется, перевернул бы каменный дом Базыля.
- Вижу, брат, что энергии у тебя очень много. Так пойдя и принеси жбан с квасом, умираю от жажды.
Янка, не задумываясь, притащил жбан. Лобанович напился, в голове у него также чрезмерно шумело.
- Ты помнишь про Стеньку Разина, как бросил он в Волгу персидскую княжну? - спросил Андрей Янку.
Повернувшись к камню, он запел, держа в руке жбан:

Камень, камень, батяня родный,
Ты красавчика прими!

Размахнулся и трахнул жбан о камень. Янка хохотал:

- Уничтожили буржуйскую собственность!

Когда мать Базыля огляделась и нашла черепки от жбана, она всю вину за его гибель возложила на Янку. Но друзей в это время уже не было в каменном доме Базыля.

XVIII

Удачная погода в начале весны сменилась холодами. Ветры подули с северо-запада, а затем переместились на восток и задержались там на долгое время. Днем по небу плыли клочья рваных облаков, холодных, пустых. К вечеру ветер затихал. Над землей повисало яркое, звездное небо, а под утро на землю оседала изморозь. Земля высыхала, трава не росла, и всходы никак не могли оторваться от земли. Люди горевали и с неприязнью смотрели на глухое, бесплодное небо. Не обходилось и без того, чтобы немного не позлились на бога: что для него значит послать погоду и вообще помочь людям! А микутичский Семка Демидов, теперь уже покойник, говорил:

- Поймать бы этого бога да огреть кнутом по ушам, так он знал бы, как делать досаду людям и скотине!

Микутичские женщины пошли по другому пути. Нашлась среди них одна, Тареся, которая знала верный способ открыть в небе дверь для теплых дождей. А для этого нужно было до восхода солнца перепахать поперек Неман, его дно, да чтобы соху не конь и не волю тащили, а сами женщины. Они так и сделали в одно холодное майское утро. И все-таки дождь не пошел. А чтобы он пошел наверняка, нужно было еще разрушить забор Миколы Стырника, который ставил этот забор между двумя Юриями - католическим и православным. Разбросали и забор, хотя это стоило нескольких прядей волос на головах двух женщин, тетки Тареси и Стырниковой Текли: они подрались во время уничтожения

забора. Обиднее всего было то, что и это мероприятие не помогло, а авторитет тетки Тареси, инициатора этого дела, совсем упал. Так и не было дождя и тепла до самого июня. В эту сухую неприятную погоду, когда вокруг слышались одни только жалобы и упреки, к Лобановичу пришло письмо из Вильны. Писал ему Власюк.

"Уважаемый дядька Андрей!

Если Вы не имеете очень прибыльных заработков, приезжайте к нам: работа для Вас найдется. Довольно Вам сидеть в щели, надо выходить в люди. В этом мы Вам можем оказать помощь и со временем сделать из Вас образованного человека - послать Вас туда, где учится Тетка-Пашкевич. Держитесь, дядька, и держите хвост трубой.

С уважением к Вам Н.В."

Небольшое и немного чудаковатое письмо направило мысли Лобановича по новому руслу. Прежде всего было приятно, что его приглашают в редакцию. Редакция казалась ему тогда самым высоким и самым разумным учреждением на свете, где сидят самые разумные люди. А главное - в письме был намек на то, что его пошлют учиться в университет, а это была давняя мечта Лобановича. Сидеть же дома, не имея определенных занятий, было неинтересно. Вот почему письмо так приятно взволновало его. Ему хотелось сейчас же показать кому-нибудь это письмо, поговорить о его содержании. С кем же, как не с Янкой, поделиться мыслями и чувствами! В эти дни Янка прозябал у родителей. Будь хорошая весна, к этому времени вырос бы лук в огороде, щавель на лугу и разные съедобные коренья в лесу. Сейчас же ничего этого не было, разве только изредка перепадало яичко - все же он был сыном у матери. Назревала потребность отправиться в Столбуны, там наклеивалась кое-какая работа.

К Янке и направился Андрей Лобанович, взяв небольшой кусочек сала и "крючок" горелки.

Вода в Немане шла на убыль. Микутичские крестьяне говорили, что сейчас и курица перейдет реку вброд. Лобанович перебрел Неман и минут через сорок подходил к Нейгертову, где жил Янка. В нем была только одна улочка. Сам житель деревни, Янка так определял длину своей улицы: в определенный час, на рассвете, в одном и другом конце деревеньки выходили во двор, встав с постели, дед Матвей и дед Авсей. Они делали свое дело, смотрели на звезды, на небо, гадали о погоде. И каждый звук, издаваемый одним дедом, был хорошо слышен другому.

Лобанович переступил высокий, почти полуметровый порог и остановился возле двери. В хате, кроме Янки, никого не было.

- Здравствуй, Янка! Пусть не падет на тебя тень березы, под которой сидел грек!

Янка не ждал прихода приятеля. Он сидел за простеньким крестьянским столиком и читал книжку "Так говорил Заратустра". В углу над столом висели образа в примитивной, самодельной оправе, но под стеклом, чтобы мухи не загрязняли лица святых угодников. На одном конце столика лежала завернутая в домотканую скатерть краюшка хлеба. Хлеб, как бы его ни было мало, не должен сходить со стола.

Янка удивился и обрадовался.

- Кого я вижу! Не обманывают ли меня мои глаза?! - воскликнул он и выскочил из-за стола. - Приветствую человека, ищущего себе погибели, чтобы стать человеком! - добавил Янка и горячо поздоровался с приятелем.

- Вот этого я от тебя еще не слыхал. Не у Ницше ли заимствовал? - спросил Лобанович.

- У него, собачьего сына! - признался Янка.

Усадив Андрея на лавку, он выразил сожаление, что в хате никого нет, все в поле, а потому угостить друга нечем и некому.

- Не единым хлебом жив человек, - отозвался Лобанович. Он знал, что семья Янки жила бедно. - Я пришел не для того, чтобы ты меня угощал.

Помолчав немного, Лобанович добавил:

- Может быть, действительно ты недалек от истины, когда говоришь о человеке, который ищет себе погибели, чтобы стать человеком.

Лобанович достал из кармана письмо Власюка.

- Вот, прочитай!

Взяв письмо, Янка впился в него глазами, а Лобанович наблюдал, какое впечатление производит письмо на приятеля.

Кончив читать, Янка молча и долго глядел на Андрея. По лицу видно было, что он обрадован.

- Вот это новость! Я же тебе говорил, что нашего брата бездомного бродягу голыми руками не возьмешь и от земли не оторвешь: ведь его корни глубоко сидят... Валяй, братец, обеими руками благословляю тебя в дорогу. Пусть будет она посыпана желтеньким песочком!

Янка крепко пожал руку Андрею.

- Так ты советуешь ехать?

- От всего сердца!

- Ну, если так, давай пить магарыч!

Лобанович вытащил "крючок" горелки, поставил на стол и положил сало, завернутое в бумагу. Янка с восхищением смотрел на это добро.

- А, братец ты мой! Пусть будет благословен тот ветер, который занес тебя в мою хоромину!

Янка живо метнулся к деревянному шкафчику и достал оттуда вместительную крестьянскую чарку, быстро развернул скатерть, отрезал два ломтя хлеба. Лобанович тем временем откупорил "мерзавчик" и налил чарку.

- Давай, Янка, выпьем за тех, у кого, как причастие, лежит на столе краюшка хлеба, с такой любовью и уважением завернутая в простенькую, домотканую скатерть. Пусть этого хлеба будет больше, и пусть не добавляют в него мякины либо толченой картошки. Пусть свободно, счастливо и богато живут трудовые люди!

- Смотри ты, какой из тебя оратор! - заметил Янка, а Лобанович опрокинул чарку, налил в нее горелки и передал приятелю.

Янка взял чарку.

- Хоть и велико мое желание выпить эту чарку, но еще сильнее желание также сказать что-нибудь перед тем, как выпить. Лети же, мое слово, далеко в свет! Вырвись из этой низкой хаты, где даже нет пола, пробейся сквозь соломенную крышу, бомбой взорвись в панских дворцах, в кабинетах царских сатрапов и в самой царской резиденции и крикни им: "Подохните вы все, окаянные обдиралы, обидчики, палачи, на радость простым трудовым людям!" - Одним духом Янка опорожнил чарку.

- А здорово ты сказал! Затмил ты меня, Янка. Молодец!

Янка взял кусочек хлеба и сала.

- Перед тобой, Андрей, я могу произнести речь, а вот если бы я выступал перед толпой людей, ничего не вышло бы, - признался Янка.

- Ведь тебе и не приходилось выступать перед народом. Практика, брат, нужна! - поддержал приятеля Андрей.

Хоть "крючок" и не очень большая мера, но все же друзья заметно повеселели, когда осушили его.

- Что же, Янка, - сказал Лобанович, - не пойти ли нам искать своей погибели? Что мы будем сидеть так?

- А куда думаешь пойти? - спросил Янка.

- Среди микутических окрестностей для меня малоизвестным осталось одно место: я никогда не ходил еще в Панямонь занеманскими полевыми дорогами. Давай прогуляемся!

- С тобой я готов идти какими угодно тропинками, какими угодно дорогами на самый край света.

- А знаешь, почему я хочу заглянуть в Панямонь?

- Может, и знаю, но не знаю, - ответил Янка.
- Совесть, братец, не дает мне покоя с того дня, когда я разбил жбан старой матери Базыля Трайчанского. Меня немного, а может быть и очень, волнует то, что вину она возложила на тебя. И ты мне скажи: зачем обижать старую и добрую женщину, которая годится нам в бабки? Этот жбан, быть может, ее друг, старый спутник ее жизни, а мы учинили такое свинство! Если я не искуплю своего греха перед доброй теткой Соломеей, бог покарает меня самого! - шутливо-трагическим тоном произнес Лобанович.
- Бог? - спросил Янка.
- Ну, пусть не бог, а судьба. Знаешь, Янка, никакой глупости, никакого свинства со стороны человека по отношению к другим людям жизнь не прощает... Это мелочь, но все это верно.
- Мне нравится, Андрей, все, что ты сказал сейчас. Но как мыслишь ты себе искупить свой "грех"? - спросил Янка.
- А вот как. Сегодня базарный день в Панямони. На ярмарке нас более всего должны интересовать гончары, купим самый большой муравлений жбан, какой только найдется у них. На этом жбане я наклею этикетку с такой надписью: "Дорогая тетка Соломея! Не гневайтесь вы на нас и особенно на Янку: жбан разбил не он, это наша общая с ним вина". И подпишусь. Она поверит, так как знает меня с малых лет.
- А если мы не найдем такого жбана? - спросил Янка.
- Тогда мы закажем гончару вылепить еще больший жбан и с двумя утками, - ответил Лобанович.

XIX

Пассажиров в вагоне было не так много. Лобанович примостился на скамейке возле окна и любовался все новыми и новыми картинами, написанными щедрой природой на каждом кусочке земли, а также и созданными трудом человека. Какая глубокая, невыразимая красота скрыта в этом совместном творчестве человека и природы!

Одно только не радует: наступившие вдруг холода и засуха задержали рост хлебов на полях и травы на лугах. Особенно бросаются в глаза своим убожеством яровые на узких полосках, что поднимаются на песчаные пригорки и, достигнув середины, скрываются на их противоположных склонах. Совершенно иначе выглядят помещичьи поля, составленные из лучших кусков земли и собранные в широкие массивы, окружающие панские усадьбы и фольварки. Вовремя посеянные, богато унавоженные, пышно растут здесь озимые и яровые и стойко переносят невзгоды весны.

Лобанович внимательно присматривался ко всему, что попадалось на глаза во время быстрого бега поезда, с каждой минутой уносящего его все дальше и дальше от Микутич, от Нейгертова, откуда еще позавчера брели они с Янкой неведомой ему прежде полевой дорогой. Возле дороги стояла пышная, старая сосна, вершину которой давно видел Лобанович, проходя по одному пригорку, неподалеку от Микутич. Не раз останавливался он там, чтобы полюбоваться сосной. Он смотрел на нее в подзорную трубу, купленную когда-то в Пинске. До одинокой сосны было шесть верст от того пригорка. И вот недавно Лобанович вместе с Янкой вплотную подходил к очаровавшему его дереву. И сейчас оно стоит в глазах Андрея.

Чем больше отдалялся Лобанович от Микутич и его окрестностей, тем меньше думал о них. Иные мысли занимали сейчас путника: о том городе, в котором еще не приходилось ему бывать, о газете и ее редакции, куда приглашали его приехать. Что увидит он там? Как примут его? Какую работу дадут в редакции? Не забывал он и о том, что находится под тайным надзором полиции. Вот почему он считал рискованным обратиться за разрешением поехать в Вильну. Его могут спросить в полиции: а почему он просит разрешения? Может выясниться, что поднадзорному известно его положение. Так лучше поехать втихомолку, а там что будет, то будет, лишь бы не киснуть на одном месте.

Уже совсем рассвело, когда Лобанович подъезжал к Вильне. Из-за высокого живописного холма, которыми так богаты окрестности Вильны, взлетали в ясное и холодное небо, словцо золотые стрелы, лучи солнца.

С каждой минутой поезд приближался к вокзалу и наконец остановился. Лобанович с небольшим чемоданчиком в руке одним из первых вышел из вагона и двинулся вслед за толпой, с восхищением разглядывая подземные туннели, которые вели на вокзал и в город. Здесь было такое множество поворотов, что если бы не надписи, новый человек мог бы легко заблудиться. Наконец Лобанович вышел в город, пересек довольно просторную площадь и сразу же вышел к Острой Бrame, где находилась святыня католического населения, икона остробрамской божьей матери.

Вступая под арку Бrame, горожане, пешие и конные, даже важные чиновники и околоточные, неизменно снимали фуражки и шляпы и шли либо ехали медленным шагом. По краям улицы, несмотря на ранний час, стояли на коленях богомольные люди, мужчины и женщины, неистово били себя в грудь кулаками и припадали лбами к холодной торцовой мостовой. Было здесь много нищих, молившихся с особым рвением и нарочито громко. Лобанович также вынужден был снять фуражку, причем ему вспомнился один полешук, которого силой загоняли в церковь. По дороге он говорил: "Хоть и пойду, но ни рукой, ни губой не пошевелию!"

Миновав Острую Бrame, Лобанович начал отыскивать и украдкой читать надписи на перекрестках, надеясь встретить название улицы, на которой помещалась редакция газеты. Было еще рано, город только-только пробуждался, и на улицах людей было мало. Лишь изредка попадались одинокие фигуры мужчин и женщин, которым некогда было нежиться в постелях, а может, и не все они имели свои постели. Это были преимущественно крестьяне из окрестных деревень и обитатели глухих городских закоулков, ремесленники и люди неизвестных профессий. Худые, оборванные, озабоченные, они куда-то спешили ради куска насущного хлеба. Лобанович внимательно и сочувственно присматривался к ним и думал: "Как много есть на свете людей, которым живется гораздо хуже, чем выгнанным из школ учителям!" Не спеша заходил он в глухие, тесные переулки, которыми был богат город, чтобы лучше ознакомиться с ними. Переулки порой заводили путника в тупики. Он возвращался обратно и терял ориентацию в городе, которого не знал, шел в другом направлении и снова упирался в тупики. Наконец он выбрался на более просторные улицы. На каждом шагу бросались в глаза монастыри, костелы, церкви, кирки и часовни, богато украшенные скульптурами католических святых. Они являлись своеобразной летописью, рассказывавшей о многовековой жизни города, о его исторических судьбах.

Блуждая по улицам и переулкам, Лобанович забрался в такие районы, где уже потерял надежду без посторонней помощи найти нужную ему Завальную улицу. А Вильна тем временем пробудилась и начала свою обычную жизнь полицейско-чиновничьего губернского города царской империи. Прошло еще полчаса, когда Лобанович наконец остановился возле редакции. Рядом помещалась довольно большая, богатая лавка с пышно размалеванной вывеской, на которой было написано по-русски: "Торговая фирма Амстердама". Можно было подумать - люди так и думали вначале, - что это торговый дом, открытый здесь каким-нибудь богатым купцом из Амстердама. В действительности же лавка принадлежала местному торговцу по фамилии Амстердам, торговавшему цикорием и кофе.

Несмело, с некоторым волнением и даже страхом, переступил Лобанович порог дома, где помещалась редакция.

В тесной каморке, за простенькой деревянной перегородкой с небольшим оконцем без стекла, сидел человек, молодой, худощавый. Перед ним стояла жестянка с клейстером и кисточкой. Он складывал номера газеты то по одному, то целыми пачками и наклеивал на них ярлычки с тем или иным адресом.

Молодой человек поднял глаза на незнакомого посетителя. Лобанович почтительно приветствовал его по-беларусски: "День добрый!" - и спросил:

- Это здесь редакция?

- Здесь, - ответил молодой человек и в свою очередь полубопытствовал: - Вам, собственно говоря, кого нужно? По какому вы делу?

Молодой человек говорил по-беларусски, но с сильным польским акцентом. Это был экспедитор газеты, секретарь по хозяйственной части, бухгалтер и делопроизводитель. Звали его Стасем, а фамилия его была Гуляшек. Лобанович рассказал, что редактор прислал ему приглашение приехать на работу в редакцию.

- Так будьте любезны, раздевайтесь. Редактор обычно приходит в двенадцать.

Стась Гуляшек стал теперь значительно гостеприимнее и любезнее со своим новым знакомым. Он даже высказал предположение, что здесь, в редакции, Лобановичу будет предоставлена и комната, - Стась показал рукой на комнатку, находившуюся напротив перегородки.

- А сами вы где живете? - спросил Лобанович.

- На квартире в городе. Со мной живет и моя мать, - ответил Стась и добавил: - У нее кое-кто столуется.

Стась оказался разговорчивым и готовым на разные услуги человеком. С разрешения Стася Лобанович зашел в ту комнатку, которая должна была стать его квартирой. Комнатка была запущенная, давно не беленная, мрачная и неуютная. Номер газеты, наклеенный на стеклах так, чтобы можно было читать его с улицы, заслонял свет и делал комнатку еще более темной. Возле одной стены в глубине комнаты стояла койка, похожая на санитарные носилки. Дерюжка крестьянского производства, прикрепленная к двум боковым деревянным брускам, была продавлена, и вся постель напоминала собой корыто. Так потом и называл ее Лобанович.

Вскоре в редакцию пришел и сам редактор, высокий, плечистый, с пышными черными усами. Видно было, что, перед тем как выйти из дому, редактор цеплял на усы наусники, а концы их, туго натянув, завязывал на затылке и так ходил около часа, чтобы придать усам желательный для их обладателя вид. Вся фигура редактора, манера держаться, шляпа и платье свидетельствовали о стремлении произвести впечатление, пустить пыль в глаза. Своему внешнему виду редактор придавал большое значение. В разговоре с малознакомыми людьми он держался независимо, любил употреблять такие словечки и выражения, которые характеризовали бы его как человека самобытного, не похожего на других и в то же время шутника и оптимиста. После каждой меткой фразы или поговорки он смеялся солидным, басовитым смехом.

- Го! - приветливо сказал редактор, увидя Лобановича. - С приездом вас, дядька Андрей! Работать будем. Что?

- Благодарю за доброе слово, - почтительно ответил Лобанович. - Не знаю только, справлюсь ли с работой.

- Не святые горшки лепят, - сказал редактор и махнул рукой. - Закрутим, пане мой, дело так, что пыль столбом пойдет. Что?

Редактор положил на плечо Лобановичу свою тяжелую руку, давая этим понять, что он, редактор, человек простой и деловой, а редакционное и газетное дело поставлено как нельзя лучше. Редакторский оптимизм увлекал и радовал Лобановича: ведь ему хотелось, чтобы так оно и было.

- А скажите, пожалуйста, как расходуется газета в народе? - поинтересовался Лобанович.

Редактор на мгновение отвел в сторону глаза, словно немного смутился, но твердо ответил:

- Хорошо, очень хорошо, дядька Андрей. А будет расходиться еще лучше, если начнем печатать ее - есть у нас такое предположение - кириллицей и латинкой: ведь много есть беларусов-католиков.

Эту новость Лобанович встретил без особого восторга: ведь тогда уже ходили разговоры о том, что к белорусской газете примазываются польские клерикалы. Но он счел за лучшее пока что промолчать.

Долго еще говорил редактор, переходя от одной темы к другой. Он не забыл даже упомянуть о возможной посылке Лобановича в Краковский университет. На прощание редактор дал Лобановичу гривенник на обед.

- Подкрепитесь и отдохните с дороги.

Редактор показал рукой на комнатку, в которой стояла похожая на корыто продавленная койка.

XX

Неподалеку от редакции работала столовая-чайная, открытая "Союзом истинно русских людей". Там можно было за пять копеек съесть тарелку борща и соответствующую порцию каши. Обо всем этом сообщил Лобановичу услужливый Стась.

- Хоть столовка и черносотенная, но почему не попользоваться ею тому, у кого мало денег! - хитро подмигнул Стась и добавил: - Не сделают же человека черносотенцем черносотенский борщ и каша. Как вы смотрите на это?

- Согласен с вами, Станислав Зигмундович, - подхватил Лобанович. В глазах у него блеснул веселый огонек. - Это даже будет интересно: "истинно русские люди" по дешевке подкармливают крамольников!

Стась засмеялся.

- И не только крамольников, но и прямо... бог его знает кого, - сказал он.

Вскоре они уже сидели в столовой, довольно просторной, но грязноватой и примитивно обставленной. Столы были топорной работы и без скатертей. Вместо стульев возле них стояли деревянные табуретки и просто длинные, узкие скамейки. За столами сидело несколько посетителей неопределенной профессии. Лобановичу даже показалось, что среди них есть обычные карманники. В этой компании Стась и Лобанович выглядели элегантными молодыми людьми. Вот почему на них подозрительно посмотрел человек средних лет, с широкой русой бородой, сидевший возле буфета, где стояли вместительные чайники, стаканы и тарелки незамысловатого производства.

Возле буфета и между столами не торопясь ходила курносая, розовощекая, еще молодая женщина. Она разносила чай и подавала борщ и кашу. Один из посетителей нежно назвал ее "перепелочкой", когда она подошла к нему.

По соседству с тем столом, за который сели Стась и Андрей, примостились два человека, по виду мещанин и крестьянин. Они вели разговор о своих делах, о заработках, кому, как и где повезло.

- И много же ты заработал? - услышал Лобанович.

Крестьянин вздохнул, провел рукой по усам, глянул на мещанина и серьезно ответил:

- Рупь и две ноздри круп.

Лобанович не раскaiвался, что зашел сюда: здесь можно и утолить голод и спокойно понаблюдать людей, услышать меткое словечко или выражение. Можно также увидеть и интересные сцены. Он вспомнил Янку Тукалу. Жалко, что его нет здесь. Наверно, выдумал бы афоризм, - например, такой: "И в черносотенной грязи можно найти крупички золота" (Лобанович имел в виду слова крестьянина о его заработке).

Начинало вечереть, когда Лобанович, обойдя многие уголки города, порой чрезвычайно живописные, очутился снова в редакции.

Стась окончил свой рабочий день и ушел домой. Лобанович остался один и также отправился в свою "опочивальню", где стояла известная уже койка-корыто. Пожилая женщина, убиравшая в редакции, принесла дерюжку и ворох каких-то лоскутьев вместо подушки. Андрей постелил постель, лег и усмехнулся: ни один царь, вероятно, не чувствовал себя так хорошо в своей постели, как чувствует себя в этом корыте Лобанович.

Долгое время ему не удавалось заснуть. Он вспоминал разные события, впечатления прожитого на новом месте дня, гадал, думал, что нового принесет ему завтрашний день. Возникало много вопросов в связи с изданием газеты: на какие средства она издается, каковы перспективы ее в будущем?

А неугомонный город шумел. За окном тарахтели колеса тяжелых повозок. Ритмично цокали по мостовой подкованные конские копыта, слышались голоса людей и заливиная музыка рельсов и колес старомодной, конки на крутых поворотах. Все это сливалось в глухой, неумолкаемый шум. Под этот приглушенный шум Лобанович уснул наконец крепким сном. Но как только рассвело и запела конка, он проснулся и несколько часов лежал - торопиться было некуда. Начинался новый день с его заботами и хлопотами. В первую очередь следовало так или иначе решить вопрос о том, как и на какие деньги жить в редакции. На редакторских копейках и пятачках далеко не уедешь. Стась вчера сообщил, что для издания газеты специальных денег нет, что сотрудники газеты, - правда, их не так много, - работают больше из-за идеи, чем из-за гонорара, и сам Стась получает всего три рубля в месяц да небольшой процент от продажи газет, но он любит белорусскую газету, сочувствует и помогает ей как может.

Часов в десять утра Стась первым явился в редакцию. Он дружески поздоровался с Лобановичем.

- Как отдыхали? - спросил Стась.

- Благодарю. Отдыхал, можно сказать, не хуже губернатора. Губернатор дрожит за свою жизнь, он боится террористов. А мне чего бояться? Дальше ссылки и тюрьмы дорог для меня нет, - пошутил Лобанович.

- Пускай лучше в ссылку и в тюрьмы идут губернаторы, - заметил Стась.

Они разговорились. Видно было, что Стась более или менее знаком с делами газеты и ее внутренним механизмом, но не все выкладывает, - может, он и не все знал, а может, просто не хотел обо всем рассказывать. От Стася Лобанович узнал, что редактор Власюк играет в газете второстепенную роль, является официальным лицом, представителем редакции, юридическим редактором. Подлинными же руководителями и заправилы газеты - братья Лисковские, Стефан и Ясь. Фактическим редактором является Стефан Лисковский. Старший брат Ясь - казначей газеты. Большую часть времени он проводит далеко за пределами редакции, главным образом в разъездах. Что это за разъезды, Лобанович узнал потом: Ясь Лисковский поставил себе целью собрать как можно больше белорусских экспонатов и открыть краевой музей. Не последнюю роль в этих планах играли и соображения определенной экономической выгоды. Некоторые ранее добытые экспонаты Ясь Лисковский выменивал на такие, которых у него не было, и при этом с прибылью для себя. Разъезжая по разным уголкам Беларуси, по старинным городам и местечкам, он не пропускал католических монастырей, костелов и старых церквей, заглядывал в помещичьи усадьбы, шляхетские фольварки, обделывал свои дела и собирал подписку на белорусскую газету. Ксендзы, арендаторы и владельцы фольварков видели в газете средство для распространения "польскости" в белорусском крае. А может, на эту мысль наталкивал их сам собиратель белорусской старины. Ксендзы и панки в тех случаях, если они не подписывались на газету, все же вносили определенную дань на ее издание. Отсюда стало ясно, почему газету печатали некоторое время кириллицей и латинкой.

В свое строго определенное время пришел редактор. Как всегда пышные редакторские усы красовались в своей боевой позиции, не выходя за пределы той формы, которую придали им наусники. И сам редактор был, как всегда, спокойный, уравновешенный, с тем же видом независимого веселого человека, любящего пошутить и посмеяться.

- Ну, как чувствуете себя на новой квартире и в новой, пане мой, обстановке? - спросил редактор Лобановича, поздоровавшись с ним и со Стасем.

- Благодарю, Никита Александрович, чувствовал бы себя по-губернаторски, если бы в животе кишки не играли марш.

Редактор захохотал добродушно и раскатисто.

- Люблю беларусов за то, что они никогда не теряют чувства юмора и обладают аппетитом запорожских казаков! Что? Я вам, пане мой, найду заработок. Есть у меня в управлении Полесской железной дороги знакомый инженер, Блок по фамилии. Я с ним переговорю. Он даст вам переписку с хорошей оплатой.

- За это благодарю, - искренне ответил Лобанович.

- Мы вас, пане мой, на ноги поставим и свет откроем перед вами, - не унимался редактор, - а чтобы кишки марш не трубили, мы сейчас закатим бал на всю Завальную улицу.

Редактор дал Стасю несколько медяков и послал его купить пару булочек и баранок. Сам же вытащил из угла примус и с увлечением начал возиться с ним.

- А тем временем, пока я буду готовить губернаторское угощение, вы просмотрите корреспонденцию "Мартина из-за речки" и, где нужно, поправьте. Человек способный, только язык у него хромает.

Редактор сунул в руки Лобановичу несколько продолговатых листочков, а сам засуетился возле примуса.

Лобанович присел за столик, чтобы основательно ознакомиться с корреспонденцией.

"Делают мне экзамен, - подумал он. - Ну что ж, или пан, или пропал. И не святые же горшки лепят", - размышлял Лобанович под густой шум примуса.

XXI

Утром на следующий день после разговора с редактором Лобанович надумал зайти к нему и к братьям Лисковским. Все они были неженатые, или, как тогда говорили, "кавалеры", и жили на одной квартире. Ранний приход незнакомого и неожиданного гостя удивил Стефана Лисковского. В этот день из всех троих квартирантов он встал первым и присел за письменный стол. В ответ на несмелый стук Стефан подошел к двери и спросил:

- Кто там?

Лобанович, как умел, объяснил, кто он такой и зачем пришел. Дверь открылась. На пороге стоял сам действительный редактор белорусской газеты, молодой невысокий человек с белым, довольно красивым лицом, с темно-серыми глазами. Он пожал руку Лобановичу и с приятной улыбкой повел его в кабинет.

- Ну, садитесь, пожалуйста, - Стефан показал на стул, стоявший перед столом, а сам сел в кресло за стол.

На столе лежали несколько номеров газеты, рукописи, разные статьи и корреспонденции. Стефан обрабатывал их для очередного номера газеты. Среди этих рукописей была и корреспонденция "Мартина из-за речки", выправленная вчера Лобановичем. На столе царил полный порядок, рукописи и газеты были аккуратно сложены, и каждая вещь лежала на своем месте. Лобанович окинул взглядом кабинет. Ни в какое сравнение не шел он с конурой в редакции, где обосновался Лобанович и где стояло его "корыто". Двумя дверями кабинет соединялся с другими комнатами квартиры.

Стефан Лисковский взял со стола "Мартина из-за речки", ласково кивнул головой налево и направо, как бы кладя этим начало разговору.

- Совершенно согласен с вашими поправками.

- Очень рад слышать это, - ответил обнадеженный Лобанович.

- А как вам нравится наша газета? - спросил Стефан.

- Обо мне и говорить нечего. Люблю ее. Люблю уже потому, что это первая белорусская газета. А самое главное - ее охотно читают простые люди, для которых она предназначена.

Слова Лобановича вызвали новую улыбку на губах Стефана.

- Очень, очень приятно слышать это, и особенно от вас, - проговорил Стефан. В его тоне Лобанович почувствовал фальшивую нотку, но смолчал.

В эту минуту дверь, что была напротив, медленно открылась и оттуда вышел Ясь Лисковский. Лобанович успел увидеть на стене комнатки несколько старинных сабель и пистолетов. Но они только мелькнули в его глазах- дверь тотчас же закрылась.

Ясь Лисковский был совсем не похож на брата и на целую голову выше его. На лице Яся все время блуждала улыбка, порой очень сладкая, лстивая.

- Познакомься: новый сотрудник нашей газеты, талантливый, - представил Стефан Лобановича.

Ласковая улыбка на лице Яся расплылась еще шире.

- Очень, очень рад видеть вас в нашей среде, - сладко проговорил он. - Фактически я знаком с вами, заочно. Знаете, профессия моя - путешествия. Я путешествую из одного уголка Беларуси в другой, присматриваюсь ко всему, прислушиваюсь, о чем говорят люди, - одним словом, ищу всего того, что составляет особенность беларусов. И о вас я также многое слышал, разумеется, хорошее. А сейчас очень рад, что вижу вас перед собой.

Лобанович молча слушал этого ловкого дипломата. А Ясь продолжал:

- Растет наша Беларуская грамада, ширится и собирается вокруг нашей газеты группа сознательных беларусов. Скоро мы объединим все наши лучшие силы.

Говорил Ясь с увлечением. На губах у него появлялась попеременно то сладкая, то настороженно-хитрая улыбка. В самый разгар возвышенного красноречия Яся из соседней комнаты, приоткрыв дверь, высунулся Никита Александрович, босиком, в одной только нижней коротенькой сорочке. Вся его почти голая фигура напоминала дебелую чугунную тумбу. Нельзя было без смеха смотреть на него. Под носом у Власюка красовались наусники, концы которых были завязаны на затылке. Такой "торжественный" выход редактора оскорбил эстетическое чувство Яся Лисковского. Ничего не говоря, он быстро вышел в свою комнату, снял со стены одну из старинных сабель, не вынимая клинка, шлепнул раза два ножами по редакторскому задку. Редактор нисколько не обиделся и только сказал:

- Не паненки же здесь сидят!

Повернулся и пошел в свою комнату. Там у него были гири и штанга, и он приступил к гимнастическим упражнениям, а затем занялся туалетом.

Братья же Лисковские говорили много, с большой горячностью, говорили так, словно только у них открыты глаза на все явления современной жизни. И все, что касалось работы газеты, рисовали они в розовых тонах. Не обошли также и Краковского университета, где учится не одна только Элоиза Пашкевич (Тетка), но и много других беларусов. Им помогает Беларуская грамада, беларусское землячество. Лобановичу также не заказан путь в Краковский университет.

- Вы знаете, уважаемый друг Андрей, - не унимался Ясь Лисковский, - культура идет к нам и дальше на восток с запада. - На последнем слове Лисковский сделал ударение.

- А как определить границы этого запада? - спросил Лобанович.

Ясь Лисковский снисходительно улыбнулся: "Какой же ты, братец, неуч, если ставишь такой вопрос!"

- Запад - это Италия...

- С римским папой или без папы? - кинул реплику "неуч" Андрей.

Ясь Лисковский пропустил ее мимо ушей и продолжал:

- Неметчина, Франция и, если хотите, Польша. Главным образом культура с запада шла и идет к нам через Польшу.

- Но Польши теперь, как таковой, нет. И если через нее шел шляхетский "не позволяй" и реакционный католицизм и если это вы называете культурой, то такую "культуру" собаке под хвост, - отрезал Лобанович.

- Мы это и не считаем культурой, - вставил слово Стефан, а Ясь, немного смущенный, положил руку на плечо Лобановичу.

- Вы, почтенный друг, не совсем разбираетесь в том, что идет к нам с запада. Не из азиатской же России идет культура! Сразу заметно на вас влияние русской школы и русификаторства, и в этом ваша ошибка.

- Вы мне простите, уважаемый дядька Ян, - мягко заметил Лобанович, - вы валите в одну кучу русскую школу и русификаторство. Русификаторство - это самодержавная, царская национальная политика. Не признаю ее, борюсь против нее, как умею. А русская школа - для меня это Пушкин, Белинский, Грибоедов, Гоголь, Лермонтов, неповторимый Иван Андреевич Крылов, которого я очень люблю. Вот моя русская школа.

Братья Лисковские еще долго говорили о культуре с запада, говорили как политики-дипломаты.

Вышел от них Лобанович с чувством не вполне осознанной тревоги, с не приведенной в порядок мешаниной в голове.

У него слегка приоткрылись глаза на роль братьев Лисковских. Рубеж, отделявший от них Лобановича, остался непрейденным.

Единственным реальным результатом этой встречи была записка от редактора Власюка на имя инженера Блока. Пойти к нему Лобановичу удалось только во вторую половину дня, и впустили его в кабинет инженера не сразу. Наконец он все-таки переступил порог светлого, просторного, богато обставленного кабинета. В мягком, широком кресле величественно, как царь на троне, сидел инженер Блок. Он только хлопнул глазами на посетителя, ничего не сказал и снова опустил свой взгляд в бумаги.

Лобанович, вежливо поклонившись, стоял возле двери, ожидая, когда Блок обратится к нему, и разглядывал важного инженера. Это был пожилой человек интеллигентного вида, спокойный и солидный. Редактор говорил, что Блок либерал, кадет по своим политическим взглядам.

На стене кабинета висел портрет министра путей сообщения, но Блок, казалось, затмевал его своей персоной, своей лысиной, занимавшей три четверти головы, и пышной, короткой, но широкой бородой, в которой пробивались серебряные нити седины.

Спустя несколько минут инженер оторвался от бумаг, поднял голову, взглянул на Лобановича таким взглядом, будто мысленно взвешивал его.

- Вы ко мне? - спросил Блок.

- Да, господин инженер, у меня есть письмо к вам, - ответил Лобанович, подошел к столу и передал конверт, в котором лежала записка от редактора.

Блок прочитал записку и уже более внимательно, с любопытством посмотрел на Лобановича.

- М-да... - неопределенно промычал инженер и еще раз взглянул на посетителя. - Подходящей для вас работы найти мне... м-да... трудно.

Инженер замолчал, а Лобанович с волнением ждал, что будет дальше.

- А впрочем, пожалуй, кое-что могу вам предложить, - сказал Блок.

Он открыл ящик стола, вытащил оттуда пачку бумаг, перебрал несколько листов, выбрал один, размером не менее квадратного аршина, и другой, с набросанными на скорую руку цифрами.

- Вот, молодой человек, - сказал инженер Блок, - здесь два листа - черновой и чистый. На чистый лист вы перенесете исправленные цифры. Это так, на первых порах. Перенесите аккуратно цифры с чернового листа на чистый и тогда приходите. К тому времени, может быть, найдется для вас что-нибудь более подходящее... Ну, всего доброго!

Инженер Блок довольно демократично подал руку Лобановичу.

Вышел Лобанович из семиэтажного дома управления железных дорог с довольно хорошим настроением. Жить на свете можно и безработному изгнаннику-"огарку". В тот же вечер он твердо решил написать большое письмо своему другу Янке Тукале. Впечатлений так много, что писать есть о чем и написать можно очень интересно.

С такими мыслями шел Лобанович в свой приют, где его ожидало известное "корыто". Эту квартиру он окрестит и письме приятелю "вертепом Венеры похоронной".

То, что вначале представлялось Лобановичу большой удачей, впоследствии стало для него источником забот и огорчений.

Лобанович сидел в своей конуре, склонившись над огромными листами разлинованной бумаги. На каждом из них было не менее чем по сто клеточек, похожих одна на другую как две капли воды. На черновом листе стояли цифры, иногда перечеркнутые и исправленные. Их нужно было перенести на чистый лист. Как ни всматривался Лобанович в клетки, какие только вычисления и сверки он ни делал, при написании цифр в чистовике они нет-нет да и попадали не в ту клетку. Когда ошибка обнаруживалась, Лобанович испытывал неприятное чувство. Написанное пером приходилось соскабливать ножиком, так как резинка не помогала. На месте выскобленных цифр оставалось пятнышко, бумага просвечивала. Несколько дней мучился незадачливый переписчик над простой, чисто механической работой и часто сбивался с пути. Одна ошибка вызывала другую. Как же он будет смотреть в глаза редактору? И как будет сдавать такую работу инженеру? Пришлось, как посоветовал Стась, искать в аптеках такие кислоты, которые вытравляли следы чернил. Эти кислоты Стась называл "чернильной смертью". Когда через неделю Лобанович закончил переписку цифр в чистый лист, то этот чистовик выглядел хуже, чем черновик. Теперь только Лобанович упрекнул себя в том, что не попросил у Блока запасного чистого листа бумаги. Но тогда все это дело казалось ему легким. Или еще лучше - нужно было сперва легонько вписывать цифры карандашом, а затем, если они попадали не туда, куда нужно, просто стереть их и написать правильно. Тут Лобановичу вспомнилась польская поговорка: "Мондры поляк, ды па шкодзе" [Умен поляк, когда уже наделал беды]. Взглянув на пестрый лист с выскобленными пятнами, он сказал сам себе: "Это тебе, братец, не "Мартин из-за речки".

С пониженным настроением шел Лобанович в управление Полесской железной дороги, чтобы сдать переписку, так небрежно выполненную. Инженер Блок сидел в том же кресле, такой же важный и спокойный. Лобанович поклонился. Блок ответил на поклон легким, едва заметным кивком головы.

- Ну что, переписали? - спросил Блок.

- Переписал, господин инженер, да только первый блин вышел комом. Если вы будете любезны и дадите мне лист чистой бумаги, я сделаю это хорошо.

Инженер ничего не ответил, взял свернутые в трубку листы. Едва заметная улыбка мелькнула на его лице.

- М-да, - проговорил он, - переписчик-бухгалтер из вас неважный.

- Дайте мне чистый лист, я перепишу наново. Я теперь знаю, в чем была моя ошибка.

Блок ничего на это не сказал, положил в ящик стола листы, затем вынул из кармана бумажник, дал Лобановичу десятирублевку и молча кивнул головой, давая этим понять, что больше говорить не о чем и что работы больше не будет.

"Унизил меня кадет, - размышлял Лобанович, выходя из управления железных дорог, а на улице сказал себе: - Десять рублей не в яйце пицат". И направился в свое логово.

Выход свежего номера газеты вносил оживление в жизнь редакции. Обычно в такой день под вечер Стась брал извозчика и ехал в типографию забирать отпечатанный номер газеты. К этому времени приходил и сам редактор. А в редакции уже было много учащейся молодежи: гимназисты, студенты технического училища и просто молодые люди, которых трудно было отнести к какой-либо категории. Все они помогали фальцевать готовые газетные листы. Работа порой затягивалась за полночь. Было шумно и весело. Редактор рассказывал разные смешные истории, сам смеялся и других смешил. А примус шумел не умолкая, подогревая один за другим закопченные чайники.

В такие вечера изредка показывался в редакции и Стефан Лисковский. Он окидывал помещение и присутствующих взглядом строгого хозяина, держался подчеркнуто важно и

независимо. В его присутствии Никита Александрович становился сразу более серьезным и не пускался в разговоры. Стефан с ласковой улыбкой кивал кое-кому головой. Он бегло просматривал несколько номеров газеты, а затем заходил за перегородку, где сидел Стась Гуляшек, и имел с ним секретный разговор, давал инструкции и забирал деньги, поступающие от продажи газет. Потом с тем же важным и величественным видом выходил из редакции. Таким образом наглядно подтверждались слова Стася о том, что фактический редактор газеты Стефан Лисковский.

На одном из таких вечеров познакомился Лобанович с панямонцем Михаилом Бовдеем, со своим "почти земляком". Встречаться с ним в Панямони Лобановичу не приходилось. Сейчас Михаил Бовдей также был безработным: его уволили со службы за участие в забастовке железнодорожников. Как "почти земляки", они нашли много материала для разговора.

Бовдей был года на два старше Лобановича. Он очень гордился тем, что тоже принимал участие в революции и потерял в связи с этим работу. Но в отчаяние он не впадал: рано или поздно снова примут обратно, ведь работник он способный. Уже многих железнодорожников, уволенных вместе с ним, возвратили сейчас на старые места.

Михаил Бовдей, скептик по натуре, ко всему новому относился недоверчиво. Почти всех он высмеивал и в искренность человеческой природы не верил. Редактора Власюка называл он ограниченным простаком, но куда более честным, чем братья Лисковские, - ведь они просто иезуиты со шляхетской окраской. Их надо остерегаться. Они, как говорил Бовдей, умеют залезть человеку в душу, с тем чтобы опоганить в ней что-нибудь. Бовдей отрицательно относился к изданию белорусской газеты: нужна ли она, если есть совершенный, высокоразвитый русский язык, который белорусы хорошо понимают? На этой почве между ним и Лобановичем возникали споры. Никаких разумных доводов против существования белорусской газеты Бовдей не приводил, он только высмеивал белорусские слова и тексты, написанные этими словами, что очень оскорбляло в Лобановиче национальное чувство.

- По-моему, Михаил Кириллович, вы просто раскольник, отщепенец, если так относитесь к своему народу, к его языку, к его праву на развитие своей культуры, - со злостью говорил Лобанович.

Бовдей презрительно улыбался.

- Что же, и школу вы хотите строить белорусскую? - спрашивал он насмешливо.

- И школу, и театр, и все, что необходимо народу для культурной жизни.

Бовдей недоверчиво хихикал и окончательно выводил Лобановича из терпения.

- Таким отношением к своему народу, забитому, темному, униженному, вы, простите меня, проявляете свое панямонское бовдейство! - уже совсем зло говорил Лобанович. - Недаром же земляк ваш Маргун откусил палец одному из ваших однофамильцев, Сымону Бовдею.

И эта ссылка на действительный случай не вывела из равновесия Бовдея.

- Пятрусь Маргун человек решительный, но это ничего не доказывает. Нет, - Бовдей круто повернул разговор в другую сторону, - ничего из ваших потуг не выйдет, не на той почве вы стоите. Вот вы, энтузиаст возрождения белорусского народа, работаете в газете, а что вы зарабатываете? Пятак да три копейки в день, а деньги кладут в карман Лисковские, вы даже не знаете сколько. Вам же с редактором - подставным, надо сказать, - фига с маслом. Михаила Бовдея трудно было сбить с занятой им позиции. На колкие слова своего оппонента он не обращал никакого внимания и нисколько на него не обижался. Наоборот, он очень сочувствовал ему.

- Вот вам напевают песенки про Краков, - говорил Бовдей, - но вы увидите этот Краков тогда, когда укусите себя за локоть. Вас просто, извините, водят за нос, чтобы удержать при себе - вы для них нужный человек. А вот вы лучше послушайте меня, вашего не совсем близкого земляка. Здесь, в Вильне, на Новом Свете, это за железной дорогой, есть обер-кондуктор. Человек он ловкий, собирает дань с "зайцев". У него есть хороший

домик, приобретенный за деньги, заработанные на "зайцах", огород, домовитая жена и два сына, которых нужно подготовить к поступлению в гимназию. Я могу закинуть слово за вас, потому что вы, мне кажется, хороший учитель и будете иметь хороший заработок. И если вам суждено милостью Лисковских поехать в Краков, - иронически заметил Бовдей, - то у вас будут деньги на дорогу. Согласны?

Бовдей лукаво глянул на Лобановича, а Лобанович подумал: "На свете поживешь - и Бовдея другом назовешь".

XXIII

С запиской от Бовдея пошел Лобанович на Новый Свет, где преимущественно жили железнодорожники, искать того ловкого обер-кондуктора, который жил на деньги от провоза безбилетных пассажиров, или "зайцев", как тогда их называли. Обер-кондуктор Эдуард Рымашевский собирался в очередной рейс по Полесской железной дороге. Это был человек лет сорока, деликатный и обходительный. Ничто в нем не бросалось в глаза, все было в меру и на своем месте. Он прочитал записку и внимательно взглянул на Лобановича.

- Вы знакомы с паном Бовдеем? - спросил обер-кондуктор, чтобы начать разговор.

- Он почти земляк мой, но познакомился я с ним здесь, в Вильне.

- Вы были учителем в школе? - продолжал расспрашивать Рымашевский.

- Был, но сейчас уволен.

- Не буду спрашивать, за что вас уволили. Мне важно, чтобы у моих детей был хороший учитель.

Обер-кондуктор позвал сыновей - Эдика и Юзефа.

- Вот вам директор, а вы слушайте и учитесь старательно, - сказал он. - Особенно ты, Эдик.

Мальчики взглянули на "директора" и тотчас же опустили глазки в землю. Они производили впечатление воспитанных и дисциплинированных мальчиков. Эдику было девять лет, а Юзеф на год моложе.

- Если с вашей стороны препятствий не будет, я прошу начать обучение сегодня же, - обратился обер-кондуктор к Лобановичу. - Время занятий определите сами, как вам удобнее. - А затем он снова глянул на сыновей. - Учитесь, детки, слушайте пана директора. А с вами, пане директор, мы поладим. Я буду платить вам пятнадцать рублей в месяц, а там будет видно. Сейчас я отправлюсь в свою дорогу.

Он пожал руку Лобановичу, поцеловал сыновей и, взяв дорожный чемоданчик, направился в кухню проститься с женой и сказать ей несколько слов. Во время разговора мужа с "директором" она в комнату не заходила.

Лобанович тем временем присматривался к своим ученикам. Они показались ему симпатичными мальчиками.

- Так что же, орлята мои, будем учиться? - спросил он.

Мальчики молчали, а затем Юзеф тихо проговорил:

- Будем!

Он несмело взглянул на учителя. Так же взглянул на него и Эдик, и это означало, что он согласен с братом.

- А где мы будем заниматься? - обратился к ним Лобанович.

В эту минуту вошла хозяйка. Еще с порога она приветливо поздоровалась, неся на пухлых губах приятную улыбку, свойственную только женщинам. Лобанович встал, поклонился.

- Мы вот здесь договариваемся, где заниматься, - сказал Лобанович, подойдя к хозяйке.

Мальвина Казимировна ласково взглянула на своих мальчиков. Ей понравилось, что учитель договаривается с сыновьями, которых она очень любила.

- Если пан директор не имеет ничего против, можно заниматься и в этой комнате, - любезно заметила обер-кондукторша, преданная мать своих детей, хорошая мужняя жена и заботливая хозяйка.

- Лучшей комнаты для занятий и не нужно, - согласился Лобанович.

Действительно, комната была светлая, чистая, просторная и уютная.

- С вашего разрешения мы и приступим к занятиям.

- Пожалуйста! - Хозяйка одобрительно кивнула головой и с той же доброй улыбкой вышла из комнаты.

Лобанович приказал мальчикам принести книги, тетради, какие у них есть, и все, что необходимо для занятий.

Для начала хоть в общих чертах нужно было ознакомиться с учениками, с тем, как они подготовлены.

- Вот, Эдик, - обратился Лобанович к старшему ученику, - скажи, до скольких ты можешь считать?

- До тысячи и больше, - уверенно ответил Эдик.

- Хорошо. Вот ты насчитал, скажем, пятьсот девяносто восемь. Как ты будешь считать дальше?

- Пятьсот девяносто девять, шестьсот...

- Молодец, Эдик! А теперь попробуй считать пятерками. Пять прибавить еще пять...

- Десять, пятнадцать, двадцать.

Выяснилось, что Эдик может считать пятерками и десятками. Юзеф, хотя его учитель не спрашивал, также отвечал вместе с Эдиком, порой опережал его. Больше часа беседовал Лобанович с мальчиками. Они оказались способными к учению, умели считать и читать, могли написать отдельные слова и простенькие фразы.

Учитель и ученики не замечали, как быстро летело время. В дверях снова показалась Мальвина Казимировна. Она несла на подносике стакан кофе, а на тарелочке несколько пирожков с мясом, толстеньких, пухленьких, еще горячих.

- Вот пожалуйста, подкрепитесь немного, а дети пусть поиграют несколько минуток, - ласково сказала хозяйка.

- У нас действительно немного затянулся урок, хотя это еще не настоящие занятия. Я просто знакомился с вашими детками, насколько они подготовлены.

- И какое же впечатление у пана директора? - с некоторой тревогой спросила Мальвина Казимировна.

- Первое, что можно сказать, - мальчики способные, с ними можно заниматься с успехом. А что касается Юзефа, мне кажется, он может обогнать Эдика.

Мальвина Казимировна расцвела, как роза: Юзеф был ее любимым сыном.

- Ну, тогда я не буду вам мешать. - С любезной улыбкой Мальвина Казимировна вышла из комнаты.

Лобанович сразу же начал "подкрепляться". Кофе был сладким, ароматным, а пирожки сами таяли во рту.

"Эх, Янка, - вспомнил Андрей друга, - попробовал бы ты такого пирожка! Хорошо живут обер-кондукторы".

После короткого перерыва Лобанович дал задание ученикам для самостоятельных занятий и условился, в какое время он будет ходить заниматься с ними.

Не раз вспоминал Лобанович своего "почти земляка" Михаила Бовдея: никто лучше, чем он, не позаботился о безработном учителе. Занятия с маленькими Рымашевскими доставляли одно удовольствие. Учились они старательно, были послушными, внимательными учениками. Всякий раз, когда Лобанович приходил на занятия, мальчики выбегали ему навстречу. Один брал учителя за одну руку, другой за другую, и так, все вместе, входили они в свою комнату. Мальвина Казимировна взяла за правило каждый день угощать "директора" душистым кофе и вкусными пирожками. После такого

угощения и на сердце становилось веселее. Сам же Рымашевский, проэкзаменовав тайком своих сыновей, остался очень доволен.

- Вы не только учите, но и воспитываете их, - дружелюбно сказал он Лобановичу и уже сам, по своей доброй воле, набавил еще три рубля за уроки.

Одним словом, материальные дела Лобановича кое-как наладились. Правда, и работы хватало. Редакторы приказали ему вести в газете отдел, посвященный Государственной думе. Из всех речей депутатов думы он выбирал все наиболее интересное и наиболее прогрессивное и лишь мимоходом упоминал о выступлениях правых и реакционных депутатов, чтобы не бросалась в глаза царским чиновникам тенденциозность газеты. Время от времени можно было также дать и свою оценку речей разных Марковых и подобных им черносотенных зубров. С работой своей Лобанович справлялся. За это редакторы оплачивали его обеды у матери Стася Гуляшека. В веселую минуту Лобанович слагал песни о том, как бесприютная голытьба разрушит царский трон, сбросит царя, а из его позолоченной порфиры сошьет себе штаны.

Но ничто не вечно под ясным месяцем. Не думал Лобанович, что его виленскому благополучию придет неожиданный конец. Однажды ночью, когда город утомился, а Лобанович сладко спал в своем "корыте" и видел сны, вдруг раздался стук в дверь редакции. Лобанович проснулся, прислушался - в дверь застучали еще сильнее. Не было сомнения, что кулак был здоровенный, а его обладатель человек опытный по части стука в дверь поздней ночной порой.

Лобанович натянул штаны, набросил на плечи пиджак и под барабанный бой кулака босиком подошел к двери.

- Кто там? - упавшим голосом спросил он.

- Открывай! - послышался властный окрик.

- Я не знаю, кому открывать, - может, вы какие-нибудь грабители.

- Открывай, говорят тебе! Не грабители, а полиция!

В голове Лобановича мелькнула мысль: "Что лучше, грабители или полиция?" Он отпер дверь, а сам отступил в сторонку. В редакцию вошли жандармский вахмистр с фонарем в руках, за ним три городских, человек в штатском и жандармский ротмистр. Он осветил фонариком лицо Лобановича.

- Ты что здесь делаешь? - грозно спросил ротмистр.

- Служу, - ответил Лобанович.

- Паспорт есть?

- Вот он.

Ротмистр перелистал паспорт, а затем взглянул на Лобановича и уже более человеческим тоном проговорил:

- Где ваши вещи?

Лобанович открыл свой убогий чемоданчик, в котором лежали запасная пара белья, легонькие носки, несколько писем и исписанных листов бумаги. Жандармский ротмистр все это пересмотрел, вахмистр с городскими пошныряли по углам редакции, - ничего не нашли. Ротмистр забрал письма и несколько переписанных от руки стихотворений. Все это он записал в протокол. Когда обыск был окончен, ротмистр строго сказал Лобановичу:

- Если вы в трехдневный срок не выедете сами, то я вас арестую и отправлю этапом к месту вашего жительства.

Ротмистр повернулся и направился к двери. За ним вышла и вся его капелла.

XXIV

Пришли, понюхали, побрехали и исчезли... Хорошо, что хоть так обошлось. И все же хлопот наделали много.

Спать Лобанович уже не мог. Неожиданный визит жандармов и городских разрушил все его планы. Три дня! За это время нужно ликвидировать все дела. Во-первых, сообщить

обер-кондуктору, чтобы он искал для своих сыновей другого "директора", и проститься с его домом. Во-вторых, зайти к редакторам, - может, они чем-нибудь помогут. Хотя надеяться на их поддержку - пустое дело. Прав был Бовдей, когда говорил, что в Краков земляк его поедет, когда укусит свой локоть. Так пусть хоть поклон передадут своему Кракову. Но что предпринять, как расчистить себе путь к возвращению в Вильну? И тут неожиданно решил - использовать орган виленского генерал-губернатора "Виленский вестник" и с помощью этой газеты устранить препятствия, вставшие на его пути. А для этого надо навестить редакцию, да не с пустыми руками. Лобанович сел за стол и начал писать небольшой рассказ, очень умеренный, не было в нем революционности, но он не имел и ничего общего с творчеством реакционно-шовинистических писак. К десяти часам утра работа была окончена. Рассказ понравился автору, он подписался "Иван Торба".

Захватив рукопись, Лобанович направился в редакцию "Виленского вестника", которая помещалась в шикарном доме, в просторных и богато обставленных комнатах.

Редактора еще не было. Лобановича принял секретарь редакции, молодой, белесый, прилизанный человек.

- Садитесь! - показал он на кресло и вопросительно взглянул на посетителя.

- Прошу простить меня за ранний визит, - почтительно обратился к нему Лобанович. - Я еду в провинцию. Мне хочется быть корреспондентом и вообще сотрудником вашей газеты. Для начала принес вам небольшой рассказ.

Секретарь просмотрел рукопись, взглянул на подпись.

- Это ваша настоящая фамилия? - спросил он.

- Нет, это мой псевдоним.

- Здорово звучит, - усмехнулся секретарь и добавил: - Ваш рассказ мне нравится. В очередном номере газеты будет помещен, только напишите вашу настоящую фамилию и адрес. Еще чем могу служить?

- Мне хотелось бы, - проговорил обрадованный Лобанович, - иметь какой-нибудь документ, скажем, корреспондентский билет, в котором значилось бы, что я сотрудник или корреспондент "Виленского вестника". Это помогло бы мне стать более полезным для газеты сотрудником.

- Это можно, - согласился секретарь.

Минут через пять Лобанович держал в руках аккуратно написанный на хорошей, твердой бумаге, с отчетливой печатью корреспондентский билет от "Виленского вестника". Эта удача окрылила Лобановича, но он сам еще не осознал в должной степени ее значения.

Редакторы сделали вид, будто огорчены вынужденным отъездом Лобановича. Они сочувственно покачивали головами, выражали сожаление.

- А если бы вместо выезда на местожительство взять да махнуть в Краков? - со скрытой насмешкой спросил Лобанович Стефана и Власюка.

Стефан виновато опустил глаза, а Власюк отвел их в сторону.

- Время еще не пришло, - проговорил Стефан.

Помолчав, он добавил, положив руку на плечо Лобановичу:

- Не теряйте надежды!

Власюк повернул лицо к Лобановичу и дал такой совет:

- Вот что, дядька Андрей, зайдите в Менске к адвокату Семипалову. Он свой человек и может посоветовать вам что-нибудь хорошее. На то он и адвокат... Что?

Власюка поддержал и Стефан. Они дали Лобановичу письмо на имя адвоката.

- Когда же вы рассчитываете выехать из Вильны? - поинтересовался Стефан.

- Чем скорей, тем лучше. Может, даже сегодня вечером. Допустить, чтобы жандармы повезли как арестанта, не очень приятная вещь... А впрочем, может, таким способом добираться домой выгоднее: дорога ничего не будет стоить, - сказал Лобанович с горькой усмешкой.

- На дорогу мы вам кое-что подбросим, - успокоил Лобановича Стефан.

Лобанович даже не поделился с редакторами своей удачей. Зачем? Он твердо решил выехать из Вильны в тот же день. Сборы небольшие. Зайти же к своим ученикам, сообщить обо всем и проститься времени хватит.

Обер-кондуктор и доброжелательная Мальвина Казимировна искренне пожалели, что их дети остаются без "директора". Да и сами ученики опечалились - они привыкли к своему учителю. Обер-кондуктор добросовестно рассчитался с Лобановичем с надбавкой трех рублей к пятнадцати. А на прощание сказал:

- Если бы вы поехали по Полесской железной дороге, то до Баранович я довез бы вас бесплатно. - Лобанович поблагодарил, ехать на Барановичи ему не с руки.

Простился он также и со Стасем Гуляшеком. Затем зашел в свой курятник, где стояло "корыто", остановился возле него. "Эх, корыто мое, корыто! - мысленно сказал Лобанович. - Лелеяло ты мои мечты о Кракове, но им не суждено осуществиться". Он взял свой чемоданчик и пешком двинулся на вокзал.

Поезд из Вильны в Минск шел не более шести часов. На восходе солнца Лобанович выходил из вагона в Минске. Сухая и не по времени холодная погода сменилась теплыми ночами и жаркими днями. С вокзала, по пути в город, Лобанович зашел к бывшему своему другу Болотичу, с которым он дружил в семинарии и который работал теперь учителем в школе слепых. Болотич держался старых правил поведения, с пути "благонадежного" человека не сосступал и революции не сочувствовал, но старого приятеля встретил приветливо, гостеприимно, хотя и шутил по поводу его неудачного участия в революции.

- Ты, братец, погоди смеяться, - сказал Лобанович. - А вот что ты скажешь на это? - Он достал из кармана корреспондентский билет и показал другу.

Болотич внимательно рассмотрел билет, а затем перевел глаза на приятеля.

- Значит, одумался и над крамолрой поставил крест? - спросил баском немного удивленный Болотич.

- Нет, братец, крест думаю поставить над дураками, но об этом еще рано говорить, - заметил Лобанович.

Болотич словно бы немного растерялся: на что намекает приятель?

- Как понимать твои слова?

- Если бы с нами был Янка Тукала, он ответил бы тебе каким-нибудь афоризмом.

Болотич недоумевал еще больше.

- Ничего не понимаю. Какой афоризм сказал бы он?

Лобанович развел руками.

- Ход его мыслей отгадать не так-то легко. Он мог бы сказать нечто вроде загадки библейского Самсона, например: "От поедающего получилось то, что можно есть, и от сильного получилось сладкое".

Теперь Болотич развел руками.

- Напускаешь ты на все какого-то туману. Чем дальше в лес, тем больше дров. Одно можно сказать, - усмехнулся Болотич, - ты тот заяц, за которым гонятся гончие, и ты закручиваешь петли, чтобы сбить их с толку.

- Вот, вот! - подхватил Лобанович. - Наконец и ты можешь напасть на след.

Они немного посмеялись.

- А что думаешь делать сейчас?

- Сказать тебе правду - и сам не знаю. Жандармы выгнали меня из Вильны, потому что я под надзором полиции. Разрешения на право жить в Вильне у меня нет. А там я имел кое-какой заработок.

- Так ты сейчас из Вильны?

- Оттуда, братец.

- А отсюда куда отправишься?

Лобанович вскинул глаза на Болотича.

- А что, если ты приютишь меня на своей квартире?

Болотич замялся:

- Что же, день-два поживи у меня...
 - А вот скажи ты мне правду. Если бы я был не бродягой-изгнанником, а важным чиновником, с окладом в тысячу рублей, тогда на сколько дней ты предоставил бы мне приют?
 - Получи тысячный оклад и тогда спрашивай... Знаешь, Андрей, я приютил бы тебя и больше, но известно ли тебе, что пишут о вас, о таких, как ты, в "Менском голосе"?
 - Это в той газете, где редактором черносотенец и изменник родины Шмидт?
 - Я не знаю, кто он такой, знаю только, что он редактор "Менского голоса" и написал в газете вот что.
- Болотич взял со стола, где все бумажечки лежали каждая на своем месте и царил образцовый порядок, номер газеты "Менский голос" и показал заметку, в которой участники учительского собрания в Микутичах шельмовались на все лады.
- Лобанович наскоро просмотрел заметку и сказал приятелю:
- Можешь дать мне этот номер?
 - Для тебя я и берег его, - ответил Болотич.

XXV

Позавтракав у приятеля, Лобанович отправился на поиски адвоката Семипалова, чтобы передать ему письмо от редакторов. Адвоката дома не оказалось - он выехал на неопределенное время на юг Украины. Таким образом, надежды на Семипалова отпали. Да и что он мог сказать и какой дать совет? Вероятно, посоветовал бы ехать домой и у местного полицейского начальства просить разрешения жить и работать в Вильне. "Но я и без попа знаю, что в воскресенье праздник", - вспомнил Лобанович старую поговорку.

В скверике напротив архиерейского дома он выбрал спокойное местечко, присел на скамейку и достал из кармана "Менский голос", в котором была помещена злая заметка о народных учителях под названием "Без ума и совести". Прочитал и задумался. И здесь пришла ему в голову мысль зайти к редактору "Менского голоса", к черносотенцу Шмидту, и в связи с этой заметкой поговорить с ним в том плане, в котором они с Янкой Тукалой проводили репетицию допроса. Сначала мысль эта показалась нелепой, но чем больше размышлял он, тем сильнее она захватывала его. И в самом деле, что он теряет? Если редактор даже не захочет разговаривать с ним, так что за беда! О Шмидте ходили разговоры, что прежде он был флотским офицером, украл планы Кронштадтской крепости и передал их немецкой разведке. Ему дали за это десять лет каторжных работ, но царь Николай II отменил наказание и вернул редактору гражданские права. А сейчас Шмидт самый преданный "истинно русский" человек. Лобанович окончательно укрепился в своем намерении сходить к Шмидту. Хоть посмотрит, что это за человек, и попробует завести разговор об уволенных учителях, которых шельмовала газета.

В приемной редактора "Менского голоса" сидели два человека - поп и какой-то захудалый чиновник. Попа сейчас же пригласили в кабинет. Через несколько минут он вернулся оттуда, веселый, довольный, и кивнул чиновнику, чтобы тот вышел с ним вместе. Лобанович услышал слова попа, сказанные им уже у двери:

- Скажу тебе, человеке: голова!

Они исчезли.

- Как доложить о вас господину редактору? - обратился к Лобановичу служитель с рыжеватой бородкой, неинтересный с виду.

- Скажите: корреспондент "Виленского вестника", газеты виленского генерал-губернатора, - важно проговорил Лобанович.

Служитель с уважением взглянул на посетителя и даже поклонился. Лобанович сам себе заметил: "Клюет!"

Человек с рыжеватой бородкой тихонько юркнул в дверь редакторского кабинета и тотчас же вернулся.

- Пожалуйста! - показал он головой на дверь.

В просторном кресле за столом, застланном зеленым сукном, сидел редактор, без пиджака. Это был невысокий, коренастый человек, с широким лицом, с круглыми выцветшими глазами, с копной поседевших волос. На нем была русская рубашка с расстегнутым воротом, из которого выступала толстая, как у вола, шея. В ответ на приветствие Лобановича он только слегка пошевелинулся в своем кресле.

- Чем могу быть полезным? - довольно сурово спросил он.

- Я хочу поговорить с вами, господин редактор, не только о своем деле, но и о деле своих коллег - учителей.

Редактор немного шире раскрыл глаза, но молчал, приготовившись слушать дальше. Лобанович сделал небольшую паузу.

- Я вас слушаю, - уже нетерпеливо проговорил редактор.

Лобанович вытащил из бокового кармана аккуратно сложенный номер "Менского голоса", развернул его, нашел заметку "Без ума и совести" и указал на нее редактору.

- Я, господин редактор, и есть один из тех, которые в заметке значатся под таким титулом. Редактор взял из рук Лобановича газету, взглянул на заметку. Лицо его сразу переменялось. В выцветших глазах блеснул злой огонек.

- Так что вам нужно? - спросил редактор так сердито, словно перед ним был не молодой человек, а какой-то вредный гад.

- Если человека незаслуженно обливают помоями, - спокойно, хотя и с горечью в голосе ответил Лобанович, - то совершенно естественно, господин редактор, что этот человек хочет очиститься от такой грязи.

Редактора, показалось Лобановичу, тронули эти слова.

- Я не понимаю вас, - сказал он.

- Дело вот в чем, господин редактор: то, что написано про нас в вашей газете, ни в какой мере не отвечает действительности.

Редактор недоуменно взглянул на посетителя.

- Как же так? Но было же у вас недозволенное, запрещенное законом собрание? Даже и постановление вы написали! - запротестовал редактор.

Лобанович глянул редактору в глаза.

- Жалко, что пристав, которому, конечно, хотелось выслужиться, взял одно только так называемое постановление. Но почему он не позаботился присоединить к нему полтора десятка пустых бутылок из-под водки? Тогда было бы понятно, откуда и как могло появиться это постановление.

Редактор недоверчиво покачал головой.

- Чем же объяснить тот факт, что в одном селе собралось свыше двух десятков учителей?

- В этом селе, господин редактор, их более трех десятков. Такое уж наше село Микутичи - окончил учительскую семинарию один и показал дорогу десяти.

Как ни старался редактор поймать Лобановича, ему это не удавалось. Все, что говорил Лобанович, казалось правдивым и естественным. Тогда редактор попытался повести атаку с другой стороны.

- Скажите, вы специально зашли ко мне, чтобы опровергнуть выставленные против вас обвинения? - поставил он вопрос ребром.

- Поверьте, господин редактор, я зашел к вам совершенно случайно. Скажу вам правду: я еду - и не по своей воле - из Вильны. Там я имел кое-какой заработок - занимался с детьми одного железнодорожника. Но позавчера мне жандармский ротмистр категорически заявил, чтобы я покинул город, если не хочу быть высланным по этапу. Изредка давал я также кое-какие материалы и в орган виленского генерал-губернатора, в газету "Виленский вестник".

Лобанович заметил, что на столе редактора как раз и лежала эта газета. В подтверждение сказанного он достал свой "талисман" - аккуратно и красиво заполненный корреспондентский билет. На глазах у Лобановича с редактором произошла перемена - из

сурового он сделался ласковым. Совсем иным тоном он сказал, подняв на Лобановича выцветшие глаза:

- Вот что. Обо всем, что вы рассказали мне относительно учительского собрания, напишите в "Менский голос", напишите так, как было в действительности. Я помещу это в газете. Думаю, молодой человек, что это послужит вам на пользу и на пользу вашим коллегам. Я... - не без гордости заметил редактор, но перестроил свою фразу без "я": - К "Менскому голосу" прислушиваются и считаются с ним и его превосходительство менский губернатор, и его преосвященство епископ Менский и Туровский, и все высшие чиновники губернии.

Лобанович заметил склонность редактора к самохвальству и решил использовать это.

- Господин редактор! Мне довелось читать малоизвестного писателя Лейкина. Один из его героев на банкете сказал: "Любили правду мы сызмальства и награждены за это от начальства". Я хочу сказать, что и ваша любовь к правде начальством замечена.

Редактор сладко улыбнулся. Видно было, что эти слова пришлись ему по вкусу. А когда Лобанович поблагодарил его за гуманный прием, редактор встал со своего широкого кресла и крепко пожал руку посетителю.

- Так вот, жду вашей статейки.

Когда Лобанович возвращался из "Менского голоса", ему казалось, что за плечами у него выросли крылья. Без помощи Лисковского и Власюка, без адвоката Семипалова он сам сумел сделать кое-что на пользу себе и товарищам. Не задерживаясь нигде, он быстро шел на квартиру Болотича - там он решил написать "статейку".

К этому времени, закончив свои дела, Болотич сидел в кабинете и наводил порядок на письменном столе, хотя этот порядок и без того был на должной высоте. Болотич сразу заметил веселое, возбужденное настроение своего друга.

- Ну как, Андрей? "С победой, Гришка, поздравляю и расцарапанной щекой"? - спросил он.

- Вот что, Болотимус-Болото, дай мне пару-другую листов бумаги, и ты посмотришь, что я на них напишу, куда и для кого.

Болотич искренне и весело смеялся, выслушав рассказ Лобановича о разговоре с редактором и о результатах встречи.

- Это называется провести попа в решете, - шутливо заметил Болотич. Он вынул из стола с десяток листов хорошей, гладкой бумаги: - Пиши сколько влезет!

Лобанович выбрал спокойный уголок в квартире и сел за работу.

XXVI

Статья Лобановича под названием "Как оно было" появилась через день в "Менском голосе" за подписью "Кудесник". Прочитав ее, Болотич широко раскрыл глаза и некоторое время молча смотрел на приятеля.

- Вот попробуй разобраться, где правда, а где хитрая выдумка! - восхищенно сказал он.

- Между правдой и выдумкой, похожей на правду, трудно, мой друже, провести границу, - заметил Лобанович. - Канву для них дает сама жизнь.

- Замысловато говоришь, мой братец. Не выпив чарки доброй настойки, ничего не разберешь.

Сказав так, Болотич направился к своему довольно красивому и даже уютному буфетику, достал вместительную бутылку и поставил ее на стол.

- Это, братец мой, вроде польской старки. Долгов время я хранил ее на торжественный случай.

- Тем самым, дорогой мой Болотимус, ты доказываешь, что ты мой настоящий друг, каким был и в семинарии.

Наливая настойку в чарки, Болотич серьезным тоном заметил:

- А знаешь, Лобуня, эта статья произведет если не переворот, то полное замешательство в головах судебных чиновников, а также и полицейских: ведь "Менский голос" - это их "Символ веры".

- Что ж! - весело отозвался Лобанович, подняв чарку. - Дай боже нашему теляти волка поймать!

Вечером, сердечно простившись с Болотичем, Лобанович отправился на вокзал. Он захватил с собой несколько экземпляров "Менского голоса" со своей статьей. Сидя в вагоне, Лобанович думал о том, как будут удивлены друзья, уволенные с учительских должностей, когда вдруг услышат про "Кудесника". Никому и в голову не придет, что это написал он, Лобанович. Ему было весело и вместе с тем смешно. Он думал в первую очередь о своем приятеле Янке Тукале, думал, как половчее рассказать ему о своих приключениях.

В Столбуны поезд прибывал около одиннадцати часов утра. Чтобы не разминуться с Янкой, Лобанович решил зайти к нему на его прежнюю квартиру. От вокзала до местечка с полверсты. Как же удивились и обрадовались приятели, когда по счастливой случайности встретились на дороге, там, где она поворачивала на вокзал! Они бросились друг к другу:

- Янка!

- Андрей!

Друзья крепко пожали друг другу руки, поцеловались.

- Каким образом так неожиданно очутился здесь? Откуда ты взялся? - спрашивал с радостным недоумением Янка.

- Время моего странствия никем не считано, а дороги мои только богом да жандармами меряны, - торжественно ответил Андрей.

- Ты говоришь словно какой-то стародавний пророк, - засмеялся Янка в предчувствии важных новостей, о которых должен сообщить приятель.

- А ты куда странствуешь? - спросил его Андрей.

- Не сам я странствую, моими ногами завладели черти, - в тон приятелю ответил Янка. - Собирался в Минск, но когда увидел тебя, черти от меня отступились - побочку Минск!

- Хорошо сказано!.. Знаешь, Янка, я все время думал, как бы не разминуться нам, а мы взяли да встретились!

- Если кому везет, тот и в лаптях танцевать пойдет, - поговоркой ответил Янка. - Выкладывай, братец, о твоём никем не считанном времени.

Лобанович оглянулся вокруг и тихо сказал:

- Каждому овощу свое время. Свое время ягоде и свое время боровику... Слушай, Янка, давай пойдем в местечко, возьмем на дорогу того, что веселит сердце человеку. Отдалимся от улиц и от стен домов и там, в укромном месте, откроем наши души и дадим волю нашим словам.

- Вот что значит побыть в редакции! Сразу видно, что человек набрался ума! И дурак будет тот, кто станет против этого возражать.

Приятели направились в шинок к тетке Гене за подкреплением. В первом уютном местечке над Неманом они остановились.

- Вот здесь мы и откроем уста наши! - воскликнул Лобанович. - Садись, брат Янка!

Они уселись на зеленой траве за пышным лозовым кустом, раскинувшим тонкие, гибкие прутья над самым Неманом. Потревоженная луговая мята разливала вокруг острый аромат. Внизу, под обрывистым берегом, неудержимо мчала река прозрачные волны, словно живое серебро.

- Что скажешь, Янка? Хорошо, уютно, покойно здесь! - сказал, озираясь вокруг, Лобанович.

- Что хорошо, то хорошо, но не это я надеялся услышать от тебя, - заметил Янка. - Выходит, с большого грома малый дождь!

Андрей засмеялся.

- Знаешь, брат, я все думал, как начать рассказывать при встрече с тобой обо всем, что произошло за это время. И как будто не нахожу такого начала, которое удовлетворило бы тебя и меня.

- Тогда откупоривай бутылку, - может, она развяжет тебе язык, - решительно сказал Янка и добавил: - Чует мое сердце, что скажешь что-то интересное.

Лобанович вытащил из кармана "крючок", кусок колбасы, завернутый в бумагу, и хлеб. Янка в ожидании новостей не сводил глаз с приятеля.

- Пока я буду накрывать на стол, ты прочитай вот эту заметку, - безразличным тоном сказал Андрей.

В руках у Янки очутился "Менский голос". Он так и впился глазами в статейку. Лобанович резал колбасу и украдкой следил за приятелем. А Янка, по мере того как читал, менялся в лице, несколько раз озадаченно возвращался к началу статьи, глядел на подпись, на название. Наконец протер глаза и долгим взглядом посмотрел на Андрея.

- Ну, что скажешь, Янка, на это?

- Братцы мои! Матушки и батюшки! - не мог прийти в себя Янка. - Не обманывают ли меня мои глаза? Не ослеп ли я? Не водит ли меня черт по болоту? - Янка весело перекрестился. - Что же это значит? - развел он руками и вдруг схватился за бутылку. - Выпить за того доброго человека, который подал за бездомных "огарков" голос в "Менском голосе"!

- Выпить! - поддержал приятеля Андрей. - А вот о чарке мы забыли. Из чего будем пить?

- Как из чего? Обойдемся без веревки, была бы коровка!

Янка передал бутылку Андрею.

- Горелка твоя и твоя новость! Благословись, отче Андрей! Хлебни! Из горла в горло!

Андрей выбил из бутылки пробку.

- Так вот, братец Янка, возрадуемся и возвеселимся. Пусть отступится от нас лихо, а хорошо начатое пусть хорошо и кончится. Будь здоров!

Горелка забулькала во рту у Лобановича за частоколом зубов. Добрую чарку влил он в рот.

- Столько же, брате, возьми и ты, - передал он бутылку Янке и отметил ногтем на стекле, сколько тому полагалось выпить.

Янка взял бутылку, глянул в сторону Панямони и Столбунов, затем повернулся лицом к Микутичам, поднял глаза на Демьянов Гуз.

- Слышите вы, местечки и села, и ты, Демьянов Гуз, и вы, дороги, по которым мы ходили, ходим и будем ходить! Будьте здоровы! Будь здоров и ты, добрый человек, закинувший за нас доброе слово в "Менском голосе"! Пусть тебе легко икнется в эту минуту! И ты, Нейгертово, будь здорово!

Лобанович усмехнулся. Янка глотнул в два приема свою порцию, крикнул, вытер губы, почесал нос и заметил:

- Должно быть, еще выпьем!

- Горелка еще есть, - потряс Лобанович бутылкой. - Давай закусим!

Янка посмотрел на бутылку, прикинул на глаз, столько ли он выпил, сколько было отмерено, и заявил:

- Немного перебрал! Знаешь, натура уж моя такая - на работе не дотягиваю до нормы, а во время выпивки перетягиваю!

- Ну, ты немного клеветашь на себя, Янка!

- Клеветашу потому, что мне весело, а водка начинает дурманить.

Друзья сидели над рекой под кустом, закусывали, шутили, прикладывались к бутылке. А когда опорожнили ее, Янка дал полную волю своим чувствам:

- Есть ли на свете такой вельможа, которому я позавидовал бы сегодня? Есть ли такой замок или дворец, на который я променял бы этот куст над Неманом? Ничего подобного нет!

Янка энергично махнул рукой.

- Откуда же у тебя такое счастье?
 - Из двух источников: один - статья, а другой - вот эта бутылка, к сожалению пустая.
 - Из пустой бутылки можно сделать полную. Но как же ты относишься к "Кудеснику"? Каково, на твой взгляд, его значение для нас?
 - Да ведь это, братец, дождь в великую засуху! - воскликнул Янка. - Ты вот посмотри на луг, на пригорки: выжгло их солнце с весны, а прошли дожди - они начали оживать. Видимо, произошел и для нас какой-то благоприятный поворот.
 - Так приблизительно рассуждает и Костя Болотич. Он сказал даже: "Менский голос" для полицейских, для попов и чиновников то же самое, что "Символ веры" для правоверных христиан".
 - Браво! - крикнул Янка.
 - Знаешь, дружище, если на то пошло, сбегай к Моне - он сразу же здесь, за мостом, - и возьми еще "крючок", тогда я расскажу тебе, как появился "Кудесник" в черносотенной газете и кто он такой.
 - На край света побегу ради этого!
- Лобанович хотел дать деньги.
- Моя копейка также не щербатая, - отвел руку приятеля Янка и помчался к Моне.
- Под тем же лозовым кустом рассказал Лобанович приятелю о всех своих приключениях - об изгнании из Вильны, о визите к редактору "Менского голоса" и о результатах этого посещения.
- Знаю, мой друже Янка, - сказал в заключение Андрей, - правда, прикрытая дерюжкой, интереснее, чем голая правда. И мне кажется, что ты даже разочарован историей "Кудесника". Наша репетиция не пропала даром.
- Янка сказал в восхищении:
- "Кудесник", ты хитрый старик!

XXVII

Андрей и Янка обосновались на некоторое время на просторном гумне дяди Мартина. Если бы заполнить это гумно доверху хлебом и сеном, добра хватило бы на три таких хозяйства. В одном из углов лежала довольно большая куча прошлогодней соломы, изгрызенной мышами. Там, разостлав дерюгу и накрывшись домотканым одеялом, друзья спали крепким крестьянским сном.

Гумна нарочно строились так, чтобы в них имел свободный доступ наружный воздух, поэтому в стенах гумен и над широкими воротами вдоль всей стрехи обычно было много щелей. С двух сторон под крышей были даже парные оконца без стекла, через которые влетали и вылетали ласточки - они очень любят гнездиться на гумнах. Надо заметить, однако, что щели на гумнах оставлялись с таким расчетом, чтобы в них не засекал дождь, а зимой ветер не нагонял снега.

Всходило солнце. Пробуждалось ясное летнее утро. Тысячи щелей и дырочек загорались на солнце, и все гумно наливалось сверкающими потоками света, блестело, жило и сияло в золотых лучах.

- Убей меня гром, если что-нибудь подобное видел когда-нибудь царь, - сказал, пробудившись, Янка и залюбовался лентами ярких лучей, в которых носились мириады пылинок. - Ты слышишь, что я тебе говорю? - спросил он, не услышав ответа приятеля.

Андрей наблюдал, как над гнездами трепетали легонькими крылышками юркие ласточки и мирно щебетали.

- Знаешь ли, Янка, я никогда не видел, чтобы ласточки дрались между собой, - заметил он, пропустив мимо ушей слова друга - он просто не слышал их.

- Славные птушенции! - подхватил Янка. - Когда они начнут щебетать над гнездом, я вспоминаю молодич, которые соберутся порой с ведрами возле колодца и на все голоса разливаются.

На гумно долетали привычные отзвуки трудового крестьянского дня. Несколько раз стукнула дверь в хате, скрипнули ворота в хлеве - это мать пошла доить корову. Вот заскрипел журавль над колодцем. Немного спустя застучал секач в корыте - готовился завтрак свиньям. Затем послышался недовольный голос Юзика, другого брата Андрея, - он выгонял на пастбище скотину, недоспал, был сердит и свою злость вымещал на коровах. Дядька Мартин остановил Юзика также сердитым окриком:

- Что ты хлещешь кнутом корову? Что она тебе сделала? Вот возьми этот кнут да хлестну по твоей спине.

Юзик молчал, пока двор не остался позади, а потом огрызнулся:

- Не достанешь, руки коротки! А кнут - вот он, в моих руках.

- Гляди, Дюбок, чтоб он не очутился в моих руках!

Дядька Мартин сидел на толстом полене и отбивал косу. Однообразный стук молотка по железной бабке, вбитой в колодку, вторил утренним звукам, разносившимся по двору. Ко всем прежним звукам сейчас присоединялось пение горластого петуха.

Лобанович вспомнил, какая сейчас горячая пора: дядя Мартин ладил косу, приближалось время косьбы. Нужно было торопиться: ведь если русиновцы скосят свои полосы, то они сразу же и лошадей пустят на скошенный луг, и если останутся там две полоски луга дяди Мартина, их потравят, потопчут кони. Совесть Лобановича говорила - надо помочь Мартину.

Друзья лежали молча. Каждый думал свое. И вдруг Лобанович прервал молчание.

- Знаешь, Янка, какой афоризм скажу я тебе?

- А ну! - оживился Янка, словно очнувшись.

- Всеу на свете есть конец, - торжественно промолвил Андрей.

- Это правда, как правда и то, что если человек голоден, то он хочет есть, - подпустил "жука" Янка.

- А если правда, то довольно нам лежать, давай подниматься.

- Вставание не стоит такого "афоризма", - все еще шутил Янка, но вылез из-под одеяла и сел на соломе. - И хорошо же спать здесь! Не спишь, а божественный напиток пьешь!

- Гумно - это дача на даче, рай, который не снился Адаму и Еве.

Друзья быстро оделись и пошли умываться на Неман. На тропинке, протоптанной возле гумна и ведущей к реке, они остановились и поздоровались с дядей Мартином, лихо сдвинувшим на затылок "варшавскую" фуражку. Когда-то Мартин носил ее только по праздникам, теперь она состарилась, утратила свой прежний шикарный вид, форму и цвет, но даже и в таком виде напоминала фуражки, которые носили фольварковцы.

- Ну, как отдыхали? - спросил дядя приятелей и высморкался направо и налево, сначала из одной, а потом из другой ноздри.

- Спали, как пшеницу продавши, - отозвался Янка.

Андрей спросил:

- Есть у дядьки запасные косы?

- Почему же нет! Есть, и не одна.

- Так наладь их хорошенько, пойдем вместе косить. А русиновцы пусть намотают себе на ус: если слишком налягут на косьбу, то как бы не были у них пятки подрезаны, - сказал шутливо Андрей.

Дядя Мартин засмеялся. Он знал, что Андрей замечательный косарь и что с таким помощником в хвосте не останешься.

На рассвете следующего дня дядя Мартин и Андрей, взяв косы и захватив молоток и бабку, пошли на косьбу в Елово. Янка с Якубом должны были прийти туда с граблями - работы хватит на всех - и принести косарям завтрак.

Андрей с раннего детства любил Елово. Там росло много таких могучих дубов, что четыре человека едва могли обнять комель. На вершинах дубов, важно стоявших над рекой, чернели гнезда аистов. В глубине луга рос густой орешник, а Неман так красиво изгибался, образовывал такие луки, что ими нельзя было не залюбоваться.

В Елове был очень хороший луг, особенно ближе к Неману. Луг и земля, на которой находилась усадьба дяди Мартина, принадлежали князю Радзивиллу. Их прежде арендовал Мовша Перец, который держал в Микутичах корчму. После того как Витте ввел монополию на водку, Мовша ликвидировал свои дела и перебрался в Панямонь, а княжескую землю заарендовал дядя Мартин.

От хуторка дяди Мартина до Елова считалось четыре версты. Солнце еле-еле показывалось из-за леса, когда наши косцы пришли на луг. Дядя Мартин не терял даром времени. Он воткнул в землю косу, повесил на связку торбу, в которой лежали молоток и бабка, а сам пошел проверять границы своей полоски луга. Осмотрел, на месте ли стоят вешки, а затем мелкими шажками пошел от вешки к вешке - делать "брод", чтобы во время косьбы не сделать перекоса. У людей было так мало луга, что они держались за каждую пядь.

Дядя Мартин и Андрей решили начать косьбу со стороны леса, с низины, где луг был истоптан коровьими ногами, следы которых оставались на долгое время. В ложбине кое-где было мокро, но зато и трава росла мягкая, хоть и неинтересная. Дядя Мартин провел "брод" до половины длинной и узкой полоски. Этот кусок разделили на две части. Мартин взял себе худшую делянку. Наточили косы. Прежде чем взмахнуть косой, дядя, не снимая шапки, перекрестился и сказал: "Господи, благослови!" Андрей за это время успел махнуть косой раза два.

Утренняя роса делала молодую, сочную траву сырой и мягкой. Хорошо отбитые и наточенные косы только посвистывали. Трава легко поддавалась и покорно ложилась в ровные прокосы.

Косари хоть и шли далековато друг от друга, но старались вовсю. Солнце поднялось и стало припекать. Поснимали шапки. На лбу выступал пот. Сняли и рубахи. Оба были мокрые от пота, но ни один не поддавался другому. Уже оставались только клочки нескошенного луга, когда Андрей, остановившись поточить косу, заметил Янку, а за ним и Якуба. Долго разглядывать их не было времени - дядя Мартин уже докашивал свою делянку. Однако Андрей успел увидеть над головою Янки сетку-топтуху, словно шлем стародавнего богатыря, и жбан в руке, вероятно с кислым молоком, - дядя Мартин любил его. Якуб нес на плечах пару граблей, а в руке порядочную торбу с "лигоминой", как называли плотогоны еду. Андрей и сам не знал, почему ему вдруг стало весело.

Минут через десять гребцы подошли к дяде Мартину.

- Как раз вовремя пришли. Молодцы, хлопцы!

Мартин направился вместе с хлопцами к Андрею, который добивал последний прокос. Дядя весело сказал:

- Коси, коса, пока роса! Роса долой - косец домой!

Все вместе, косцы и Янка с Якубом, направились под дуб на берег Немана.

- Вот хорошо, что взяли с собой сетку! Дай, боже, здоровья тому, в чью голову пришла такая отличная мысль! - воскликнул Андрей.

- Это Якуб распорядился, - заметил Янка.

- Якуб золото, а не хлопец! - похвалил брата Андрей.

Дядя Мартин добавил:

- Вы еще не знаете, что за голова на Якубовых плечах!

Мартин и сам был рад, что Якуб догадался захватить сетку.

XXVIII

Для Якуба самой веселой и радостной порой года была пора сенокоса. Да и где столько простора для твоей резвости, для твоей ловкости, для твоих забав, как не на косьбе! И, сказать же, работа на лугу не тяжелая. А чего стоят пахучие волны скошенной и подвянувшей травы! Да не одними забавами увлекался маленький Якуб - каких только зрелищ не встретишь на сенокосе! Работа захватывает тебя всего, с головы до пят.

Якуб внимательно присматривался, как ловко владеет косой дядя Мартин. Для мальчугана это был лучший в мире косец. Целыми часами сидел он возле Мартина, когда тот отбивал косу, и не пропускал ни одного дядиного движения. Мартин не всегда догадывался, что за ним следит так внимательно око племянника. Неожиданно Якуб иногда давал такие хозяйственные советы, что дядя только диву давался. Иногда в таких случаях он обнимал племянника, целовал и говорил:

- Ты, брат Якуб, золотой человек, и голова твоя светлая.

Пока дядя Мартин и Андрей завтракали под дубом, стоявшим как раз на их полоске, Якуб не ждал приказа, что надо делать. Он дал Янке грабли, а другие взял сам.

- Пойдем выгребать сено из ложбины и перетащим его на бугор, там оно к вечеру почти совсем высохнет.

Янка не возражал Якубу, ведь тот говорил правду. Выбрав несколько охапок травы посуше, они принесли ее под дуб - после завтрака захочется полежать на сене в тенечке. Сам Янка не догадался бы сделать этого, в чем потом и признался.

Косцы долго не лежали, хотя и тянуло вздремнуть. Причиной тому была сетка-топтуха, стоявшая тут же, под дубом, вверх мотней. Дядя Мартин вообще очень любил ловить рыбу, а здесь и место хорошее и никто из рыбаков еще не потревожил прибрежных заводей. О рыбе думали также Андрей и Якуб. Но в первую очередь нужно подогнать работу. Один только Янка оставался безразличным по отношению к рыбе, он не познал еще наслаждения в ловле сеткой-топтухой.

Оставалось еще с полчаса до захода - солнца, а сено уже было все собрано и сложено в копны, чтобы не рыжело от росы. Вторая полоска также была скошена, к великому удовлетворению дяди Мартина. Еще день-другой хорошей погоды - и сено будет убрано с луга и свезено в гумно.

- Ну как, хлопцы, пройдемся возле бережков с сеткой? - весело спросил Мартин свою рабочую артель.

- Теперь самое время поплескаться, - солидно проговорил Якуб.

- Давно пора, - поддержал его Андрей.

- Ну, тогда давайте начнем! Ты, Якубок, будешь носить табак и вертеть нам сигарки. Когдаловишь рыбу, в особенности хочется курить.

- И особенно тогда, когда она хорошо ловится, - заметил Андрей.

- А ты, брат Янка, стереги одежду - ведь придется снять все, кроме шапок. Не обязательно стоять над нею крюком, - сделал оговорку Мартин, - но с глаз спускать не нужно.

- Рад служить общему делу! - как солдат, ответил Янка.

Дядя Мартин взял сетку и первым спустился в Неман. За ним полез в воду и Андрей. Оба голые, только в одних шапках. Лазить голому в воде среди жесткой травы и водорослей - не очень приятная вещь. Совсем иное дело, если надеть рыбацкую одежду. Но ее не взяли - не совсем удобно было нести все разом.

- Вот давай, брат, потрясем эту завоинку, - предложил Мартин.

Завоиной называлась полоса стоячей воды возле берега. Обычно она зарастала разной травой, кувшинками, мокрицей, камышом. С самого дна поднималась длинная, во всю глубину реки, трава, словно тонкие нити. Выбравшись на поверхность, она расстилала по воде овальные беловатые листики. Попадались местами возле берега тростник и аир. В этих водяных зарослях пряталась рыба, отдыхала после жирования или просто спасалась от своих заклятых врагов - щук и окуней.

В рыбацком деле верховодил дядя Мартин, как самый опытный и ловкий по части ловли рыбы. Он взялся за один край обруча, на котором была натянута сетка, а помощник его - за другой, и оба тихонько-тихонько начали пробираться к берегу. Сетку легонько вели в воде. Бывали такие случаи, когда какой-нибудь неразумный язь либо лещ, удирая "на воду", попадал в сетку.

Ведя сетку, дядя выбирал такие местечки, где, по его мнению, могло что-нибудь попасться, и команду своему помощнику отдавал шепотом.

- Осторожней, осторожней! Ну, спускай сетку на дно, тихонько, тихонько, да смотри, чтоб она не повисла на коряге либо на кочке, не то рыба низом пройдет. Ну, ставь!

Сетку плотно ставили на дно в соответствующем месте. Андрей стоял неподвижно возле края сетки, пока дядя Мартин, держась за обруч с противоположной стороны, не заносил как можно дальше ногу и не загребал - "топтал" ею, медленно гоня рыбу. Вслед за ним также заносил ногу и болтал ею Андрей, чтобы рыба не оставалась возле берега. Затем вдвоем они поднимали сетку, причем поднимать нужно было быстро.

Когда подняли сетку в первый раз, из мотни бухнула здоровенная щука, высоко подскочила вверх, описала в воздухе дугу и вот-вот готова была шлепнуться в воду. Дядя Мартин рванулся, как тигр, и подставил сетку, чтобы подхватить ее. Прибежали Якуб, сторож Янка. И какова же была общая радость, когда щука фунтов на пять начала биться в сетке!

- Нет, брат, дудки! - торжественно проговорил Мартин.

Вдвоем с Андреем несли они сетку на берег, держа ее устьем вверх, и, только отойдя подальше от воды, перевернули. Ладная щука, еще, может, более крупная, чем показалось вначале, долго трепетала, подскакивала на траве, пока не ослабела.

- Ну и ловкач вы, дядя Мартин! Если бы не вы, плавала бы щука в Немане! - с искренним восхищением говорил Янка.

- Это, брат, редкий случай, просто повезло, - заметил Мартин. - Но если кому суждено попасть в горшок или на сковородку, тут уж ничего не попишешь.

Дядя Мартин редко когда позволял себе выхваляться ловкостью, хотя и был человек умелый и ловкий. И все же пышный ус Мартина еще долго шевелился от счастливой улыбки.

- Так, брат, и я скоро сделаюсь рыбаком, - сказал Янка.

Случай со щукой вызвал много шуток и веселых разговоров. Дядя Мартин и Андрей сразу же снова полезли в Неман. Солнце еще не зашло, но его огромный красный шар уже приближался к поверхности земли. Завоина же была почти вся впереди. Рыбаки еще более осторожно подвигались вдоль берега. Шептались, ставили сетку и поднимали ее. Дядя Мартин тихо говорил:

- Если почувствуешь - сетку толкнет что-то, так хватай сразу вверх: это наверняка будет щука.

Почти в каждый заход попадалась кое-какая мелкая рыбка. Попадались и порядочная. Много волнений рыбакам и наблюдателям стоил язь. Правда, он оказался фунта на два, но возни и шума в сетке наделал фунта на четыре. И, однако, все были довольны, тем более что, кроме язя в сетке плескались порядочные лещи. Часто попадались плотички, окуни, ельцы. Вкатился в сетку и неповоротливый налим и один очень важный и ленивый линь. Он лежал в сетке так спокойно, что дядя Мартин вначале его не заметил и чуть было не выкинул в воду.

Наступал вечер, смеркалось. Пришла пора вылезать из воды, но Мартин во что бы то ни стало захотел еще раз поставить сетку возле кустиков аира. Прилаживались долго, осторожно. Наконец дядя болтнул ногой. Потоптались немного. Мартин с большой надеждой поднял сетку. Рыбы по было, зато важно сидела толстая зеленая лягушка и удивленно смотрела на незнакомую обстановку. Якуб так и покатылся со смеху.

- Поймали плотку, что не лезет в глотку! - хохотал он.

Дядя Мартин вытряс сетку, затем выполоскал из нее грязь и тину на чистой, быстрой воде. Рыбаки старательно вымылись и полезли на берег одеваться и подсчитывать трофеи. Ловля оказалась более чем удачной. Дяде Мартину пришла мысль - наиболее крупную рыбу отнести завтра утром или, еще лучше, сегодня в Панямонь. А завтра как раз пятница, вечером наступает еврейский праздник - шабес. В такое время на рыбу необычно большой спрос. План дяди Мартина поддержали. Дома рыбу перебрали. Помельче оставили себе, отборную же Андрей и Янка потащили в Панямонь. За порогом Янка сказал:

- Плакал-рыдал - бог не помогал, а стал танцевать - начал бог помогать.

- Мы попали в хорошую полосу, - согласился Лобанович. - А то, что принесет завтрашний день, пусть будет также радостным.
- Хорошо на лугу во время сенокоса, - признался Янка.

XXIX

Порой, как говорится, человек попадает в счастливое течение, и оно так ласково носит его по волнам жизни. И ты сильно желаешь, чтобы это течение как можно дольше колыхало и нежило, покачивало тебя, нигде не тряхнув, не подбросив на перекате. Но так бывает очень редко и очень недолго. Счастливое течение твое вдруг кончается, улетучивается, как легкий утренний туман, и ты остаешься возле того же старого, разбитого корыта.

Андрей и Янка увлеклись рыбной ловлей. Им вначале везло. На рыбе они немного подкормились. Янка говорил порой:

- Черт ее побери, учительскую службу! Переведу стрелки на рыболовство!

Янка даже мечтал приобрести вторую топтуху: ведь если они одной сеткой в среднем ловили по десяти фунтов, то в две поймают полпуда.

Андрей по этому поводу сказал Янке:

- Однажды я шел через мост в Панямонь. Под мостом лежало старое русло Немана - Немчище, заросшее кувшинками и разной травой. В мелком и грязном озерке топталась с бреднем вереница женщин. Когда им удавалось поймать рыбу, они шумели, кричали, причитали. Одна, уже немолодая панямонская мещанка, держа в зубах и посасывая, как соску, большую папиросу, с увлечением говорила: "Вот наловлю рыбы и, ей-богу, куплю коня!" Не похож ли ты на эту женщину?

- И зачем ты разрушаешь мои, может, самые лучшие мечты? Неужто человек не имеет права хоть в мыслях почувствовать себя счастливым?! - воскликнул Янка.

- И та женщина была счастлива в своих мыслях, а вот купила ли она коня за пойманную рыбу - не знаю. Вероятно, нет.

Косьба, счастливая пора, тем временем кончилась. Дядя Мартин однажды сказал Андрею:

- В этом году с сеном у нас будет туговато. Придется телушечку продать. А жалко! Хорошая телушка...

- Знаешь, дядя, а что, если вспахать кусок луга возле огорода, где капуста, да засеять овсом с викой, удобрив немного навозом?

Мартин задумался.

- А что ты думаешь? - проговорил он.

Мысль эта ему понравилась.

На следующий день Андрей с Янкой, возвратясь с рыбной ловли, увидели вспаханный лужок, старательно взбороненный и даже приглаженный валиком. Андрей тайком носил на засеянное место золу и, не жалея, рассеивал ее, пока не увидел, как густо и зелено всходят овес и вика.

Еще во время косовицы Лобанович получил письмо от Райского, секретаря несуществующего учительского бюро. "Знаешь ли, старина, - взволнованно писал тот, - какая важная новость! И кто бы мог поверить! Шмидт, редактор "Менского голоса", отвел место в своей газете для статьи о нашем неудачном собрании, берет нас под защиту! Какой зверь в лесу подход? Вот тебе и Шмидт! Выходит, если не родной, то крестный батька!"

Андрей и Янка весело смеялись, читая это письмо, но раскрывать тайну появления статьи считали ненужным и даже вредным. В ответном письме они выразили радость свою, говорили о своих надеждах на счастливый конец и набрасывались на бессмысленность всей чиновничьей возни вокруг учительского собрания. И все-таки добавили евангельские слова, уверенные в том, что их письмо чиновничьих рук не минует: "Бойся всевышнего и не говори лишнего".

И вот здесь счастливое течение перестало покачивать и носить приятелей на ласковых волнах.

Новый панямонский урядник - кощей, видимо, отправился в отставку - приехал на добром коне и в щеголеватой бричке на хуторок, где жили Янка и Андрей. Урядник соскочил с брички, привязал коня, а сам направился во двор. Друзья встретили его возле калитки.

- Заходите, пожалуйста, - сказал Андрей.

Урядник поздоровался, даже взял под козырек и пожал приятелям руки.

- Стоволич, - назвал он себя. - Вы меня извините, но служба есть служба... Кто Андрей Лобанович? - спросил он, быстро окинув взглядом друзей.

- Я! - ответил Лобанович.

Стоволич вытащил из портфеля, такого же щеголеватого, как и сам урядник, пакет с важной печатью менского жандармского управления.

- Прошу вас расписаться, - сказал Стоволич, показывая в списке место для подписи.

Лобанович расписался. Урядник простился, снова взяв под козырек, сел в бричку и уехал. Когда бричка скрылась на повороте дороги за пышными кустами можжевельника, Лобанович аккуратно оборвал узенькую полоску на краю пакета. Янка стоял и недоуменно смотрел на Андрея. Ему на мгновение почудилось, что между ними кто-то проводит границу, рубеж.

- Что пишет ротмистр?

Вместо ответа Андрей передал Янке бумагу.

"Настоящим предписывается вам 12 августа 1907 года явиться в г.Менск, Подгорная, 16, для дачи показаний по делу учительского собрания, которое состоялось в с. Микутичи 9 июля 1906 года. В случае неявки вы будете арестованы и доставлены по этапу".

На одной линии с весьма неразборчивой подписью ротмистра, которую можно было прочитать и "Салтанов" и "Салтысанов", красовалась печать.

Друзья молча переглянулись.

- А почему не привезли пакета и мне? - немного растерянно спросил Янка, и вид у него был такой, словно его обидели.

Андрей вскинул плечи и развел руками, что означало: "Не знаю".

- Я только бегло заметил в списке, где расписываются в получении пакетов, свою фамилию, фамилию Владика Сальвесева и какого-то незнакомого мне Тургая. Больше там не было никого.

Янка в свою очередь пожал плечами и в полном недоумении проговорил:

- Так что же это значит?

Лобановичу лезли в голову разные мысли, догадки, предположения. Но прежде чем высказать их, нужно было подумать, взвесить все и тогда уже говорить.

Чтобы развеселить Янку, Андрей рассказал об одном случае, который якобы имел место в университетской практике. Профессор во время лекции производил какой-то опыт. Уверенный, что аппарат все показывает как полагается, профессор торжественно спросил: "И что же мы видим?" В аппарате ничего не было видно. Тогда профессор сказал: "Мы видим, что мы ничего не видим, а почему ничего не видим, мы сейчас увидим".

- Так и я могу сказать, - добавил Андрей, - ничего не известно. А почему не известно? Потому, что ничего не известно. После допроса буду знать. - А затем Андрей принял позу артиста, выступающего с эстрады, и продекламировал, по-актерски подняв руку:

Кто снидет в глубину морскую,
Покрытую недвижно льдом?
Кто испытующим умом
Проникнет в бездну роковую
Души... жандармской?

"Жандармской" Андрей употребил вместо "коварной".

- Никакой загадочной тайны нет в жандармской душе, потому что она голая, как колено, без единого волоска. Вся сущность жандармской души заключается в словах: "Тащить и не пущать", - сказал Янка.

Андрей положил руку на плечо Янки и проговорил евангельски-церковным тоном:

- Нет ничего тайного, что не стало бы явным, как говорил когда-то дьячок Ботяновский. Обожду немного, до двенадцатого августа не так уж далеко. А может, еще и раньше что-нибудь прояснится.

- Эх, пропади они пропадом! И пожить спокойно не дают. А жили мы с тобой, как рыба с водой. А еще можно было бы половить - погода, смотри, какая хорошая!

- Так что же, давай наденем рыбацкую одежду и пойдем потрясем заводи.

Разговор оборвался - подходила мать Андрея.

- Скажи, сынок, зачем приезжал урядник? - спросила она. - Какой пакет он привез тебе?

- Да ты, мама, не беспокойся, - просто нужно через неделю приблизительно явиться к приставу - я ведь под надзором полиции. Боится, как бы не сбежал куда-нибудь.

Мать вздохнула и, ничего не сказав, пошла заниматься своим делом. Она совсем успокоилась, когда хлопцы надели рыбацкую одежду и направились в сторону Немана.

- Знаешь что? - сказал Янка. - Если будет богатым наш улов, значит, ничего плохого с тобой не случится у жандармского ротмистра.

- В некоторые минуты мы любим тешить себя всякими глупостями, - ответил Андрей.

XXX

Незаметно проходило время.

Почти все дни Андрей проводил в поле, вязал ячмень, овес, помогал дяде Мартину возить снопы и складывать их в гумно. Ежедневно, утром или в другое свободное время, заглядывал он и на вспаханный лужок. Овес и вика росли так буйно, что смотреть было любо. Даже прохожие, идя берегом Немана, сворачивали с дороги, чтобы полюбоваться, как пышно и дружно поднимаются всходы, и сами себе говорили, покачивая головами:

- Вот тебе и синюшник! Такого овса с викой и в панских имениях не найдешь.

- А что, говорят, Андрей посоветовал Мартину посеять здесь овес с викой. И унавозили посев, да еще золой посыпали, - не без зависти говорили микутичские крестьяне. - На все умельство и практика надобны, - добавляли они глубокомысленно.

Сам дядя Мартин также время от времени наведывался на лужок. Когда он смотрел на буйный рост своего посева, лицо его светилось, как луна в полнолуние, а пышные усы не могли скрыть довольную улыбку.

Почти каждый день, когда начали расти боровики, Андрей, захватив кузовок, бежал на рассвете в сосняки за грибами. Для него не существовало более приятного занятия, как ходить по лесу и искать боровики. Нигде не было их так много, как в микутичских лесах. Да что за боровики! А какой чистый и звонкий воздух в летнее утро! Крикнешь - и кажется: сосенки перекликаются друг с другом и каждая подает свой голос. А какая радость для настоящего грибника, когда натолкнешься на многочисленную семью разного возраста черных, с серебристым налетом на молодых, упругих шапках, ладных, ни с чем не сравнимых боровиков! Все тогда забываешь на свете, даже жандармского ротмистра.

У Янки не было охоты таскаться с корзинкой по соснякам, он слабо ориентировался в лесу, да и глаза имел близорукие. А потому он считал за лучшее поспать либо просто полежать на свежем, пахучем сене, подумать да помечтать. Когда же Янка переселялся в мир своих мечтаний, своих заветных мыслей, он становился глух и нем ко всему. О чем он только не думал, не мечтал! Но это была его святая святых, об этом он никому не рассказывал, даже Андрею. Да и рассказывать было трудно. Разве можно выразить словами неуловимые мечты-видения и чувства, наполнявшие его сердце и разум? Янке

казалось, если начнет он обо всем этом рассказывать кому бы то ни было, все его самые яркие ощущения слинянут и ничего от них не останется.

Однажды Андрей, набрав полную, до самой ручки, корзинку замечательных боровиков, зашел по дороге в гумно проверить, там Янка или потащился куда-нибудь. Приятель лежал на свежем, пахучем сене.

- Янка, ты здесь?

- Здесь, братец, - отозвался Янка.

- Что же ты валяешься, лежебока! - дружески упрекнул его Андрей. - Поднимайся, купаться пойдем!

Янка быстро натянул брюки и верхнюю рубашу, ботинки взял в руки и спустился на ток.

- Хоть бы ты пошел половил рыбу удочкой.

- Дай очухаться! - махнул рукой Янка. - Тьфу, тьфу! - плюнул он два раза.

- Что с тобой случилось? - спросил Андрей.

- Тьфу! - плюнул еще раз Янка. - Знаешь, брат, такая приснилась гадость, что и теперь еще противно во рту.

- Что же тебе снилось?

- Снилось, братец, что ходил по лугу, собирал горький чемер и ел.

Нельзя было без смеха смотреть на сморщенное, перекошенное лицо Янки. Лобанович покатывался со смеху, слушая о происшествии, которое приснилось его приятелю.

- Можно сказать, сон библейский.

Раздевшись, Янка бросился в Неман, плыл, набирал в рот воды, полоскал рот и отплевывался.

- Богатый будешь, Янка, раз приснился такой сон.

- Если бы это была правда, я готов еще раз увидеть свой сон, - шутил Янка. А затем повернулся к Андрею и сказал: - А может, и в самом деле разбогатею. Знаешь, мой дядя Симон, учитель якишской школы, прислал письмо, чтобы я приехал к нему. Говорит, хороший заработок есть.

- Вот видишь, сон тебе в руку. А когда получил ты письмо?

- Недавно Якуб принес, переслали из Микутич. Как ты мне советуешь, ехать или не ехать?

- Почему же не поехать! Возьми только разрешение от полиции.

Спустя день Янка собрался в дорогу, а еще через день мать, дядя Мартин, Якуб с сестрами проводили и Андрея за ворота дома. Дядя хотел отвезти его на станцию на подводе. Андрей категорически отказался.

- Не все еще убрано с поля, зачем терять время?

Мать долго стояла возле калитки и смотрела вслед сыну. В ее сердце была обида: Янка поехал в деревню к дядьке на какие-то заработки, а зачем же Андрея тащат в Менск? Не к добру это. Она стояла, пока Андрей не перешел Среднюю гору и не скрылся из глаз.

Не радостно было и на сердце у Лобановича. Во-первых, ему жалко было покидать дом и родных. Он знал, как тоскуют о нем мать и все близкие. Во-вторых, тревожила также и мысль: почему только его и Владика из всей учительской группы вызывают к жандармскому ротмистру? Эта тревога еще усилилась, когда Андрей узнал на станции Столбуны от одного знакомого о том, что Владика Сальвесева посадили в бобруйскую тюрьму. Арестовали будто бы за распространение прокламаций и нелегальной литературы. А каковы же причины того, что вызывают его, Лобановича? Может, сотрудничество в белорусской газете?

Дорога немного успокоила Лобановича. Он постепенно свыкся и с мыслью о допросе у жандармского ротмистра. Его радовало то, что дядя Мартин и семья не будут сидеть голодными, так как с поля все собрали. Даже и телушечки не придется продавать. С такими мыслями ехал Андрей в Менск.

На Подгорной улице тогдашнего Менска было больше деревянных домов, чем кирпичных. Домик, в котором находились канцелярия и квартира жандармского ротмистра, стоял в глубине двора. Крытое, просторное крыльцо-веранда почти терялось в

густой зеленой листве дикого винограда. На стене, на видном месте, блестела свежей краской жестяная табличка с обозначенным на ней номером дома. Оглядываясь, Андрей тихо взошел на обвитое зеленью крыльцо. На стене, сбоку от входа в жандармское логовище, висела на толстой проволоке ручка звонка. Лобанович постоял немного, подумал, взглянул на часы. Было половина одиннадцатого, время, когда чиновники уже сидят за своими столами. Лобанович потянул за ручку и начал прислушиваться. Вскоре послышались медленные, тяжелые шаги. Дверь открыл здоровенный жандармский вахмистр. Он окинул Лобановича пронзительным, сердитым взглядом и сурово спросил:

- Вам что нужно?

Лобанович молча подал ему вызов к ротмистру с таким видом, будто и сам он важная персона. Вахмистр взял пакет, посмотрел на конверт, потом на Лобановича и еще более сурово буркнул:

- Заходите!

Он провел Лобановича в приемную и показал на жесткий деревянный диван:

- Ждите здесь! - а сам направился куда-то в глубину дома.

"Видимо, спит либо завтракает", - подумал Лобанович. Но минут через пять издали послышался звон шпор, и тотчас же вошел ротмистр. Не поздоровавшись, он открыл свой кабинет и, кивнув головой в сторону двери, спокойно сказал:

- Ступайте за мной!

Ротмистр пошел впереди, за ним Лобанович, а вахмистр замыкал процессию.

Войдя в кабинет, ротмистр сразу же сел в стоявшее за столом кресло. Теперь Лобанович разглядел его вблизи. Это был одетый в аккуратно пригнанную форму офицера царской армии еще молодой, широкоплечий человек среднего роста, с красивым и даже симпатичным лицом. В каждом его движении чувствовалась военная выправка. Он показал Лобановичу рукой на стул возле стола, а сам отпер ящик, достал довольно объемистую папку с разными бумагами и документами. Отыскав нужный ему исписанный лист бумаги, он положил его перед Лобановичем.

- Здесь записано показание одного из ваших коллег. Можете ознакомиться с ним. - Затем ротмистр достал из стола лист чистой бумаги. - Напишите коротко о вашем участии в учительском собрании. Что это было за собрание. Постарайтесь уложиться в один час. Сможете?

- Постараюсь.

Ротмистр запер стол и твердой, быстрой походкой вышел из кабинета в другую дверь, завешенную шторой.

Прежде чем приняться за дело, Лобанович взял "показание одного из коллег". Владик Сальвесев писал по выработанному Лобановичем и Янкой плану.

Поведение ротмистра очень удивило Андрея. Жандармский вахмистр также вышел из кабинета, и Андрей остался совсем один. "Что это - хитрость какая-то, западня? - спрашивал он сам себя. - Вероятно, за мной следят из тайного угла. Надо быть осторожным".

Назначенный срок еще далеко не кончился, а свои показания Андрей написал, и написал аккуратно. После этого он стал разглядывать кабинет, не сходя с места. На переднем плане висели портреты Николая II и царицы. И больше ничего не было на стенах.

Оставалось уже мало времени до конца срока. "Что же будет дальше?" - с беспокойством ждал Андрей.

Ровно через час пришел ротмистр; видимо, он "подкрепился" - от него пахло коньячком.

- Ну что? - спросил он, усевшись в кресло.

Лобанович молча подал бумагу. "Чем меньше говорить, тем лучше", - мысленно заметил он себе.

Ротмистр внимательно присматривался к написанному. Казалось, его больше интересовал почерк, чем содержание показаний.

- А красивый у вас почерк, - наконец проговорил он.

- Учителю уж так положено.

Ротмистр открыл ящик стола, взял какой-то исписанный лист, взгляделся в него, перевел глаза на написанное Лобановичем, а затем и на него самого. Усмехнулся.

- Я не пророк, но могу вам сказать, что ваш почерк сыграет роль в вашей жизни... Можете быть свободным. - И ротмистр кивнул головой, давая знать, что Лобанович может идти.

XXXI

Очутившись на улице и убедившись, что сзади жандармов не видно, Лобанович почувствовал себя так, будто с его плеч свалился тяжелый камень и сам он вторично родился на свет. Все его страхи развеялись и растаяли, как тучки в засушливую погоду. Но теперь перед ним встал вопрос: почему жандармский ротмистр так присматривался к его почерку? Правда, это могла быть простая случайность, тем более что Лобанович и от друзей слышал про свой красивый почерк. И все же точного ответа на интересующий его вопрос Лобанович не находил. Но хорошо уже и то, что он свободно ходит по улицам, сливается с толпой людей, снующих туда и сюда по тротуарам. Как хорошо было бы поговорить сейчас с Янкой! Но Янка далеко, живет где-то на реке Березине, у дяди.

Более близкого знакомого, чем Болотич, у Андрея в Менске не было. Минут через десять он переступил порог чистенькой квартиры бывшего друга.

- А, это ты, крамольник! Ну, рад видеть тебя, - такими словами, сдобренными шуткой, встретил Болотич Андрея. - Садись! - сказал он гостю. - Скоро ли вас будут судить?

В словах Болотича слышались какие-то снисходительно-барские нотки, и это не понравилось Андрею. Не понравились ему прилизанность квартиры и самого хозяина ее и подчеркнутый порядок во всем.

- О суде нам станет известно тогда, когда вручат повестки. Или, может быть, ты что-нибудь слышал? Ты же имеешь доступ в "высшие сферы", а нам туда двери закрыты, - довольно сухо ответил Лобанович.

- А ты уже и надулся! - заметил Болотич. - В "высших сферах", как ты говоришь, я не бываю. Да и само понятие "высшие сферы" неопределенное. А вот от одного писаришки - не знаю, из каких он "сфер", - я слышал, что все ваше дело, кстати сказать бессмысленное, будет прекращено.

- Что ты говоришь?

- То, что ты слышишь.

- Если бы это дело прекратили, было бы неплохо. Но почему же меня вызывали к жандармскому ротмистру для дачи показаний? Вот только что вырвался оттуда.

Болотич пожал плечами.

- О чем же тебя допрашивали?

- По существу, и допроса никакого не было. Велел жандармский ротмистр написать, как проходило учительское собрание и что там было. И даже разрешил полюбопытствовать, что показали мои друзья, дал мне целую кипу бумаг.

Лобанович рассказал, как ротмистр хвалил почерк допрашиваемого.

- Что ж, может, собирается взять тебя в делопроизводители, - заметил Болотич.

- Эх, брат Болотич! Тебе смешки да шуточки. Будь ты на моем месте, я так легко не отнесся бы к тебе. И скажи, почему наше собрание ты называешь нелепостью?

- Да очень просто: в нем нет никакого смысла.

- Почему?

Болотич иронически улыбнулся, а затем уже серьезно, даже со злостью, ответил:

- Государственный строй пытались разрушить, царя скинуть и вместо одного поставить тысячи царей в лице разных комитетов, муниципалитетов, коммун, товариществ... И это ваше народоправство? Моськи вы, лающие на слона!

Лобанович удивленно посмотрел на Болотича, словно не веря, что перед ним бывший товарищ. Сдерживая острую вспышку негодования, он спокойно и с оттенком грусти сказал:

- Эх, Костя! Как крепко засели в тебе князь Мещерский и вся закваска чиновничье-поповской семинарии! Как все смешалось в твоей голове!

- Не знаю, у кого больше смешалось! - огрызнулся Болотич. Видимо, он был не в духе.

- Не будем спорить, в чьей голове большая путаница, - спокойно ответил Андрей, - по чему говорить о том, чего ты не знаешь и не понимаешь? Действительно легче, удобнее и выгоднее петь "Боже, царя храни", чем заступаться за обездоленных, голодных людей и получать за это пинки жандармов и полиции да косые взгляды черносотенцев всех мастей.

- Довольно я наслушался всяких агитаторов и начитался разных прокламаций, и ты мне таких песен не пой! - прервал Андрея Болотич.

Лобанович посмотрел на него, помолчал. А потом тихо проговорил:

- Прости! Песни у нас разные, и наши дороги направлены в противоположные стороны. Но кто знает, жизнь не стоит на одном месте... Одно могу сказать: по дороге князей Мещерских, Дубровиных и гамзеев гамзеевичей я не пойду!

- Это твое дело. Скажу тебе, как говорят твои беларусы: человек ест хлеб троякий - белый, черный и ниякий.

Лобанович улыбнулся.

- Мне кажется, что ты любишь более всего белый.

- Это уже мое дело. Тебе же вот что скажу: та дорога, по которой ты идешь, заведет тебя не туда, куда ты хочешь.

Лобанович поднялся, чтобы покинуть квартиру бывшего друга. Много раз он слышал такие разговоры. На память пришел писарь Дулеба, с которым велись такие же споры.

- Вот ты уже и надулся, как мышь на крупу, - примирительно сказал Болотич. - Посиди, пообедаем!

- Благодарю! Мне надо ехать домой, сейчас отходит поезд, - отказался Андрей от угощения.

Болотич с недоумением смотрел на бывшего друга, но не упрасивал его остаться. Уже стоя на пороге, Лобанович укоризненно улыбнулся и неожиданно для самого себя сказал:

- Ни один царь не ездил короноваться верхом на свинье. Прощай!

С этими словами, не подав руки, Андрей вышел за дверь. Болотич, оставшись один, покачал головой.

- Ума решился, что ли? Или ум за разум зашел?

XXXII

Андрей шел на станцию. Из головы не выходили события минувшего дня: и нелепый допрос в кабинете жандармского ротмистра, и разговор с Болотичем, ставший по существу ссорой.

Болотич же в это время сидел за рабочим столиком, подперев голову руками. Он думал о том, что несправедливо обидел Андрея. И как-то невольно вспомнились дни, когда зародилась их дружба. Во время семинарских каникул, будучи уже на последнем курсе, Болотич познакомился с дочерью железнодорожного инженера, кончавшей гимназию. Болотич крепко полюбил Валю, а Валя его. Эта первая, чистая, несмелая любовь захватила юношу. Ему тяжело было скрывать ее от всех, таить в глубине сердца, нужно было найти друга, с которым он мог бы поделиться своими чувствами. И лучшего хранителя сердечной тайны, чем Лобанович, он не мог найти. Целую ночь, прилеги на одну кровать с Андреем, рассказывал Болотич о Вале: какая она милая, красивая и как любит его. А на следующий день показал фотографию девушки, читал ее письма. Лобанович свято хранил доверенную ему юношескую тайну и принял живое участие в сердечных делах товарища. Они часто говорили о ней, порой вместе составляли письма к

Вале. Все это сблизило их и породило между ними искреннюю дружбу. Около года переписывался Болотич с Валей. И вот однажды прислал Лобановичу письмо, полное отчаяния и сердечной печали: Валя нашла себе более выгодного и знатного жениха и вышла замуж. Лобанович, как мог и как умел, утешал Болотича и не очень осуждал Валью. Что ей за пара бедный и безвестный сельский учитель!

Все это вспомнил сейчас Болотич. Его доверенное лицо Лобанович свято хранил тайну друга и никогда ничем не оскорблял ее. Но все отошло уже в прошлое и забылось, как первая весенняя гроза...

Лобанович также почувствовал и понял, что Болотич был случайным явлением в его жизни, приятелем до поры до времени. Девушка ушла, Болотич пошел к иной цели. И сейчас их пути направлены в противоположные стороны. И нет основания горевать о потере друга - друга до первого крутого поворота.

В Столбунах Лобанович сошел с поезда. Он забежал на почту, опустил в ящик письмо Янке, написанное в дороге. Андрей сообщал о допросе у жандармского ротмистра. Не забыл и о том, что больше всего интересовало ротмистра в показаниях и что явилось для Андрея неразгаданной загадкой. На почте Лобановича ожидало письмо от Янки.

"Дорогой мой, бесприютный скиталец Андрей! Каждый час думаю о тебе, молюсь ветру, солнцу и тучам, чтобы они отогнали от тебя напасти, которыми усеяны наши дороги. Сам же я живу, как вол на винокурне: есть что есть и есть что пить. Имею кое-какие заработки. Катятся ко мне рублики, а порой тройки и пятерки. Школа моего дяди Сымона стоит неподалеку от Березы, в селе Якшицы. Славная эта река, хоть, может, и не такая красивая, как наш Неман. Возле берегов попадаются целые заросли разных лопухов, водяной травы. А в траве так и шныряют окуни, язи, голавли. Жалко, что нет здесь тебя: мы раздобыли бы топтуху и наловили бы тьму рыбы. Я же без тебя сам как рыба, выброшенная на песок: ни богу свечка, ни черту кочерга. Пиши мне, как и что с тобой. Укрепи мою душу крылатым словом. Своему же дяде я не пара. Он все работает, жалуется, сам сухой, напоминает тарань, которую наши родители покупают на коляды для постной верещаки. Обнимаю тебя, целую.
Твой Янка".

Андрей еще раз прочитал небольшое полушутливое послание друга. Хотелось ответить сразу же, но, подумав, он решил обождать: пусть придет ответ на письмо, которое послал он, приехав в Столбуны из Менска.

Дня через три Андрей, пока что свободный в своих поступках и поведении, снова пошел на почту в надежде получить весть от Янки. И действительно, письмо пришло. Как только Андрей очутился один, он распечатал конверт. Янка писал:

"Друг мой сердечный, таракан запечный! Ты и радость моя, ты и печаль моя. То, что ты сообщил, меня немного обеспокоило. Писать тебе об этом нет нужды, - ведь то, что легло тебе на сердце, лежит камнем и на моем. Я долго по спал - все думал да гадал. Наконец стрельнуло в голову... Помнишь ли ты, как однажды пришел я в твою "школу"? Тогда же я сказал один "афоризм": "Смерть есть начало новой жизни". Может, я не совсем буквально повторяю его, но смысл такой. Нам почему-то не довелось поговорить об этом: то ли афоризм был неудачный, то ли нас отвлекли другие мысли. Скажу прямо: вспомни нашу "копилку" и поклонись пню - он скажет то, что я тебе сказать хочу. Будем простые и ласковые, как голуби, и мудрые, как змеи, но пальца нам в рот не клади. Есть язык, понятный для всех, и есть язык, доступный для немногих... "

С глаз Андрея будто спала пелена, он вспомнил, как Янка принес воззвание, выпущенное от имени группы учителей; оно начиналось словами: "Товарищи учителя!" Потолковав об этом воззвании, друзья отнесли его в потайной ящик под вывороченное дерево. Теперь

Лобановичу стало понятно, почему жандармский ротмистр так внимательно присматривался к его почерку и сравнивал, сверял украдкой его показания с каким-то исписанным листком! Это и было, видимо, то учительское воззвание, один экземпляр которого спрятали друзья. Значит, на Лобановича падает подозрение, что воззвание написал он!

Миновав озеро и мельницу, Андрей вдруг остановился. А что, если свернуть с дороги и наведаться в Смолярню? Из головы не выходили вывороченное дерево, "копилка" и воззвание в засмоленном ящике. Это воззвание приобретало сейчас для Лобановича особый интерес. Хотелось самому посмотреть на него и сравнить свой почерк с почерком человека, написавшего воззвание. Действительно ли есть сходство?

Чтобы не встречаться с людьми, Лобанович шел кустарником и зарослями. Наконец он очутился в Темных Лядах, миновал хату лесника - с братом ему также не хотелось встречаться. Смолярня и угрюмый лес вокруг нее выглядели сейчас еще более неприветливо, чем зимой, когда белая одежда немного украшала и делала более веселой эту глухую, тихую местность.

Ни тропинки, ни даже следа, ведущего к заветному тайнику, здесь не было, но Андрей обладал хорошей зрительной памятью и вскоре очутился в нужном ему месте.

Лобанович сразу же нашел концы, за которые нужно взяться, чтобы добраться до "копилки". Она стояла все в том же месте, как и полгода назад. Андрей вытащил ее из-под корневища и невольно попятился: на "копилке" сидела пухлая, противная, на коротеньких лапках, вся в бородавках, желтовато-серая жаба!

- Ну, ты, тетка, слазь отсюда! - проговорил Лобанович, наклонил "копилку" и стряхнул жабу на землю.

К шершавой крышке ящика прилип песок и разный мусор. В самой "копилке" все оставалось на своем месте, хотя немного и полиняло от времени. Тоненькие брошюрки и прокламации сохранились хорошо. Среди них лежало и учительское воззвание, более всего интересовавшее сейчас Андрея. Он быстро окинул его глазами. С первого взгляда казалось, что между почерком человека, написавшего воззвание, и почерком Лобановича существовало опасное сходство. Он свернул воззвание в четыре доли, спрятал в карман, чтобы затем основательно заняться сравнением и сверкой почерков.

Все остальное, что хранилось в "копилке", и сам ящик теперь были уже не нужны. Лобанович вынул из него листовки и брошюрки и подложил под них спичку. Бумага загорелась. Андрей поворошил ее палочкой, чтобы, кроме черного пепла, ничего не осталось. Неуклюжая жаба смешно зашевелила коротенькими лапками, удирая подальше от огня. "Копилку" Андрей не сжег, боясь наделать много дыма, а поломал ее на кусочки и разбросал по лесу. Отправляясь в обратный путь, он в последний раз посмотрел на вывороченное дерево, словно прощаясь с ним навсегда.

Не один раз, забравшись в укромный уголок, разглядывал Андрей каждую строчку и каждую букву возвания. В результате таких обследований он не однажды говорил себе: "Но где же здесь сходство? Какому дурню могла прийти в башку такая мысль?"

Лобанович был еще недостаточно опытным, недостаточно искушенным в житейских делах человеком, но все же ему приходили на память рассказы старых людей о том, как одна вещь превращалась иногда в другую, белое становилось черным. Наконец Лобанович махнул на все рукой. Нечего гадать и забегать вперед. Может, это одни только страхи. В результате таких размышлений Андрей сел за стол писать Янке.

"Где ты, милый белобрысый? Где ты? Отзовися! - Андрей начал письмо переиначенными словами украинской песни, как некогда в Тельшине. - Слушай, друже, я поклонился вывороченному пню, и он мне дал то, чего мы не искали. Но не мы ищем беду, а беда ищет нас. Так было, например, с одним крестьянином, который продавал сметану. К нему подошел околоточный. "Что продаешь?" - "Сметану". Околоточный обмакнул палец в сметану и облизал его. "Что же ты врешь?" - набросился он на крестьянина. - Это не

сметана, а маслянка!" У околоточного нашлись свидетели, подтвердившие, что крестьянин продает маслянку. Поторговавшись еще немного, околоточный показал рукою на полицию и сказал: "Если ты будешь стоять на своем, то заведу тебя в околоток!" И крестьянин вынужден был согласиться, что он в самом деле продает чистую маслянку, и в связи с этим сметана была конфискована. Все это я говорю для того, чтобы ты знал, что в некоторых случаях одни вещи превращаются в другие. Можно, скажем, доказать, что Пятрусь Маргун похож лицом, на архангела Михаила, что я - не я и хата не моя. Жалко, братец, что ты на Березе, а не здесь со мной. Будем жить надеждой, что встретимся и станцуем танец "зеленого осла".

Будь здоров!

Р. С. Под вывороченным деревом осталась одна корявая жаба! "Копилка" растрясла свои косточки по лесу.

Твой Андрей".

XXXIII

У человека есть две жизни: одну жизнь творит он сам, а другая не зависит от него и часто выходит за пределы его воли. Другими словами - у человека есть жизнь явная и жизнь скрытая, когда за него стараются посторонние люди, преимущественно начальство. Примерно такое ощущение было у Лобановича, но выразить его более точно он не мог. Знал только, что вокруг него что-то накручивается, как нитки на веретено, чтобы потом с веретена перейти в клубок, а с клубка в основу кросен. И кросна обычно заканчивают дело, и этот конец - нечто вроде четвертого акта драмы или комедии.

В середине лета тысяча девятьсот восьмого года в местных газетах появилось сообщение, интересное не только для одного Лобановича, а и для целого ряда его товарищей:

"Административно-распорядительное заседание выездной сессии Виленской судебной палаты постановило:

1. Дело об учительском собрании в селе Микутичи прекратить и отменить.
2. Учителя, подписавшие так называемый протокол, - в постановлении они перечислялись - освобождаются от суда и следствия. Они имеют право занять учительские должности по соглашению с дирекцией народных училищ Менской губернии.
3. Что же касается Лявоника Владимира Сальвесева, Лобановича Андрея Петрова и Тургая Сымона Якубова, то поименованных выше лиц привлечь к судебной ответственности по 126 ст. уголовного кодекса".

Сообщение глубоко взволновало Андрея. Прежде всего он чувствовал моральное удовлетворение: его статья, помещенная в "Менском голосе", бесспорно произвела перелом в их учительском деле. Вместе с тем его охватила и какая-то мягкая, тихая грусть: товарищам помог, а сам остался перед неведомым и, быть может, трагическим поворотом своей судьбы...

В чем же причина того, что Лобановича привлекают к суду, да еще по статье, предусматривающей наказание каторгой за свержение государственного строя? Обвинительного акта Андрею еще не вручили. Оставалось думать, что ему ставится в вину написание листовки "Товарищи учителя!". Лобановичу вспомнились слова жандармского ротмистра: "Ваш почерк сыграет роль в вашей жизни".

Андрей ждал дальнейшего развития событий. Станным и непонятным казалось то, что в деле был замешан какой-то Тургай. Андрей никогда не слышал о нем и не видел его в глаза. Как могло статься, что в одну тележку впрягли такую тройку? Владика арестовали и посадили до суда в бобруйский острог за распространение прокламаций, запрещенной литературы и за агитацию против существующего самодержавного строя. Тургая, как

вскоре узнал Лобанович, поймали в Кареличах на почте и загнали в новогрудский острог. Кроме всей прочей "крамольной деятельности", Тургаю ставили в вину и агитацию среди батраков и крестьян, чтобы они не ходили на работу в помещичьи имения, потому что все имения должны принадлежать народу... Много было неясного в той паутине, которую соткали для них троих царские юристы-пауки.

В ожидании суда Андрей жил у своих родных на Немане. Отлучаться куда-нибудь из дому было сейчас неудобно. Он только ходил собирать грибы, а их в тот год уродилось много. В лесу было так тихо, и ничто не мешало думать и рисовать мысленно такие картины, от которых становилось веселее на душе, но которые редко когда осуществляются. Каждый день ждал он писем от своих бывших друзей. Но они молчали. Даже Янка, такой искренний, преданный друг, и тот не подавал голоса. Разве это не обидно? Нет, обижаться нечего! Бывшие друзья и самый близкий из них Янка сейчас думают, как бы закрепиться в какой-нибудь школе - осень не за горами. Что им он, Андрей! Они теперь чистые, политически благонадежные. Так зачем поддерживать связь с крамольником, которого впереди ждет суд?.. Андрей ощущал глубокое одиночество, но не поддавался унынию. Просто было немного грустно на сердце.

В эту ночь Андрею не спалось. Сырая земля и ночная тишина доносили разнообразные звуки неутомимой жизни. Вот по дороге мягко прошумели в песке колеса крестьянской тележки. Кто-то, запоздав, медленно ехал в свой двор. За Неманом мелодично свистнула какая-то бессонная птичка. В низине по эту сторону Немана упрямо, не умолкая, однотонно квакали лягушки, и это кваканье сливалось в одну бесконечную, тоскливую песню. Как все это близко, знакомо с детских лет!

Уснул Андрей только под утро, когда солнце уже пробивалось сквозь блестящие оконца недалекого леса. Первые же солнечные лучи, проникшие на гумно, где обычно проводил ночь Андрей, разбудили его. Уснуть больше он уже не мог, а ворочаться с боку на бок не хотелось. Лучше дольше побыть на просторной земле, на которой, однако, людям тесно, под ясным небом, которое также застилается тучами и шумит грозами. Не будет ли и сегодня грозы? Андрей заметил, что перед грозовыми дождями его навещает бессонница. Но он любил грозы, лучше недоспать, лишь бы только была шумная гроза. Он поднялся со своей пахучей постели на мягком сене, быстро оделся и пошел на Неман, чтобы в свежей, чистой, прозрачной воде прогнать следы усталости после бессонной ночи. И действительно, после купанья Андрею стало легко, тело словно налилось новой силой, и мускулы стали упругими. Одевшись, Андрей присел на берегу. Он любил побыть здесь в хорошую погоду. Размеренное течение неманской воды успокаивало, навевало такие светлые мечты... Над землей широко раскинулся ясный купол бездонного неба. Только немного левее Микутич, на юго-западе, показалась тонкая продолговатая тучка, словно некий художник, собираясь написать картину, провел уверенно и смело первую темную полоску. На полоске начали возникать причудливые белые клубочки, башни, разные завитушки. Они то росли, то снова таяли, и вместо них появлялись более причудливые. Лобанович сидел и любовался. Из своих наблюдений он знал, что такие облачка появляются на небе перед грозой. Вскоре полоска исчезла. Солнце поднялось выше. Дохнул ветерок, густой, теплый. "Юго-западный, дождевой", - подумал Лобанович. Он пошел в хату. Мать поставила на стол завтрак.

- Ячмень лежит несвязанный, уже и высох. Как бы дождь не пошел: что-то припаривает, - сказала мимоходом она.

Андрей вспомнил, что дядя с Якубом уехали утром на далекую болотистую пожню - там осталось с полвоза сена.

Позавтракав, Андрей взял большую охапку заранее заготовленных свясел для снопов и пошел вязать ячмень, скошенный на противоположном конце той полоски земли, на которой стояла их усадьба, неподалеку от сосняка. Часа через полтора ячмень был связан в снопы. Андрей аккуратно сложил их в копну, на всякий случай укрепил жердями, чтобы не разметал ее ветер во время грозы. Сверху положил оставшиеся свясла, а на них - сноп-

шапку, расправленный в виде зонта. Но эта работа оказалась лишней. Со двора выезжала телега - дядя Мартин привез сено и теперь ехал вместе с Якубом забирать ячмень. Андрей помог наложить воз, а сам поспешил на Среднюю гору, которую любил с юношеских дней.

Там было тихо, спокойно, уютно. Один склон горы был покрыт желтым глубоким песком; кое-где попадались чахлые кустики можжевельника, убогие пучки чабреца и островки белого борового мха. Более всего нравилась Андрею гора за то, что с самой высокой точки ее открывался на редкость красивый вид. Особенно любил он смотреть в сторону большака, проходившего через Панямонь на Несвиж. В поле возле большака стояла и та чудесная сосна, неподалеку от которой незадолго до поездки в Вильну проходили Андрей с Янкой. Она поднимала из-за гребня занеманских пригорков кудрявую шапку-вершину и две могучие ветви, симметрично расположенные по обеим сторонам ствола. Казалось, какая-то сказочная женщина вошла по самую грудь в глубокую реку, вытянув в стороны руки, и вот-вот опустится в воду и поплывет.

Тем временем с юго-запада поднималась зловещая туча, она все шире и плотнее застилала небо. Из-за Немана доносилось глухое урчание далекого грома. Лобанович невольно повернул домой. Гроза приближалась. Вдруг рванулся ветер и перешел в такую бурю, что земля закурилась пылью. Кусты припадали к самой земле. Огненными стрелами вспыхивали молнии, и хлынул такой дождь, что вода сквозь стены затекала в хату.

Под натиском ветра хата дрожала и, казалось, вот-вот перевернется. Буря выкатила из-под навеса неокованное деревянное колесо, каким-то образом поставила его на обод и покатила в поле.

Когда гроза пропела до конца свою грозную песню и поплыла дальше, Андрей вышел посмотреть следы, которые она оставила. Двор весь был залит дождем. В огромных лужах плавала солома, выдранная из крыш. Колесо далеко откатилось от двора и, попав в борозду, беспомощно лежало на боку. Поднимая его с мокрой земли, Андрей огляделся вокруг, чтобы не подслушали его думку, и сказал самому себе:

- Не погонит ли в поле, как и это колесо, меня враждебная сила?

XXXIV

Лобанович шел из лесу и нес корзинку боровиков. Не доходя с полверсты до хаты, он услышал за собой мягкий стук колес. Андрей оглянулся. В легкой, довольно щегольской бричке ехал урядник Стоволич. Сомнений не было, этот гость ехал к нему, Лобановичу. Андрей сошел немного с дороги и остановился. Догнав пешехода, урядник сдержал коня.

- День добрый! - приветствовал он Лобановича. - Садитесь, подвезу, хотя, правда, тут недалеко.

- Вы, верно, с каким-то сообщением ко мне? - спросил Лобанович, садясь в бричку.

- Угадали, есть такое дело, - ответил урядник и замолчал.

Молчал и Лобанович: до хаты совсем близко, там все станет известно, выказывать же нетерпение перед урядником он не хотел.

Заехать во двор урядник отказался: не имел времени. Он остановил коня возле частокола, забросил вожжи на столб, взял портфель и вместе с Лобановичем пошел в хату. Андрея очень тронуло поведение Якуба - он сбегал в гумно и принес охапку лучшего сена для коня урядника. Этим, видимо, хлопец думал задобрить урядника, словно от него зависело дать Андрею облегчение. Обеспокоена была и мать: она знала, что такие посещения ничего доброго не приносят.

В хате урядник снял фуражку, что немного удивило Андрея, и сел за стол. Не торопясь достал из портфеля бумажку.

- Вот, распишитесь в получении. - Урядник развернул разлинованный журнал.

Лобанович взглянул на бумажку. Это была повестка от Виленской судебной палаты с вызовом явиться на суд 15 сентября 1908 года в одиннадцать часов дня. В повестке

подчеркивалось, что в случае неявки в указанное время подсудимый будет арестован и доставлен в суд под конвоем. Лобанович расписался и взял повестку. Прочитав ее еще раз, он проговорил, ни к кому не обращаясь:

- Катись, мое колесо, пока катишься!

Урядник не понял, на что намекает Лобанович, да и самому Андрею фраза эта была не совсем ясна, хотя в ней был какой-то смысл. Видимо, он вспомнил колесо, которое недавно выкатила буря со двора в поле.

- Знаете что, - сказал урядник, - давайте поедем в Панямонь. Зачем вам оставаться здесь одному? Проветриться надо.

Андрей удивился: урядник ему сочувствует и хочет отвлечь от грустных мыслей... Вот тебе и урядник, полицейский чин!.. А может, здесь какая-нибудь хитрость? Лобанович поблагодарил.

- Боюсь, что задержу вас, я не завтракал еще, - отказывался он.

- Какая же это задержка - завтрак! Можете потерпеть полчаса? А за это время мы будем на хуторке, там и позавтракаем. Поедем?

И действительно, почему не поехать?

Они сели в бричку, миновали Микутичи, а затем через Неман, вброд, выбрались на дорогу, проехав мимо Нейгертова, где жил Янка Тукала. Андрею стало грустно. "Эх, Янка! Думал ли ты, что я поеду с урядником возле твоей хаты и не зайду в нее? Но тебя здесь нет. И ты молчишь, не промолвишь мне ни одного слова! Неужто ты умер для меня?"

Его мысли прервал урядник:

- В чем же вас обвиняют? - спросил он. - За что судят? Почему всех освободили от суда, а вас нет?

Лобанович усмехнулся и сказал:

- В народной сказке рассказывается так. Шел кот лесом, встретил его волк. "Куда идешь, кот?" - "Иду судиться". - "А в чем твоя обида?" - спрашивает волк. "Как же не обида, - отвечает кот, - нашкодит кошка, а вину возлагают на кота". Вот и со мной так - кто-то написал воззвание к учителям, а меня за него судить будут.

- Как же так? - удивился урядник.

Лобанович объяснил, как обстоит дело и почему так вышло.

Урядник верил и не верил.

- Если не вы писали, так за что судить вас? Может, здесь еще что-нибудь примешано?

- Этого я не знаю, а если примешано, то не по моей вине и не с моей стороны, - ответил Лобанович и подумал:

"А впрочем, черт его знает, может, подсмотрели, как я с Янкой прибывал к кресту прокламацию? Нет, тогда и Янку взяли бы в оборот".

Из-за пригорка выплыл хуторок, усадьба мелкого арендатора. Урядник повернул коня к высоким воротам, над архитектурой которых, видно, ломали головы местные архитекторы, а может, и сам хозяин. Ворота состояли из двух толстых дубовых столбов, ровных, старательно выстроганных, с дубовой перекладиной на них. Отступив от одного и от другого конца перекладины на аршин, на ней прикрепили еще четыре бревнышка; каждое следующее симметрично укорачивалось и было с концов затесано наискось. В верхнее, самое коротенькое бревнышко был воткнут шпиль, заостренный вверху, как иголка.

- Вот выдумал себе ворота Язеп Глынский, - проговорил урядник, останавливая копя.

Андрей выскочил из брички, через калитку вошел во двор, чтобы открыть ворота, но в эту минуту из хаты показался сам хозяин, лысый, средних лет человек, в расстегнутой жилетке. Глынский был шляхтич и стремился хоть чем-нибудь отличаться от простого мужика.

- Пожалуйста! Пожалуйста! - быстро говорил Глынский, открыв ворота.

Едва бричка остановилась, он подбежал к уряднику и потряс его руку обеими руками.

- День добрый! День добрый! Как же вы вовремя приехали! Как раз к завтраку! Пойдем же в хату!

Лобановича он совсем не замечал, хотя и знал его, и даже руки не подал. Глынский не любил Лобановича за то, что тот "забастовщик" и готов отбирать землю у панов и арендаторов. А такие люди босяки и бездельники, по мнению Глынского. Лобанович отстал от арендатора и от урядника и уже думал, где бы ему скрыться, но урядник оглянулся и воскликнул:

- А вы что ж, Андрей Петрович?! Идем в дом!

Тогда уже и хозяин изменил свое поведение по отношению к "забастовщику". Он подбежал к Андрею, взял его под руку и повел к двери.

- Пожалуйста! Пожалуйста, заходите! Когда-то мы с вашим покойным отцом были добрыми знакомыми...

Глынский повел гостей в чистую половину хаты. В довольно просторной комнате всюду стояли вазоны с цветами, очень распространенными в крестьянском обиходе; воздух был чистый, прохладный. Среди фикусов уютно пристроился стол, застланный белой скатертью.

Глынский попросил гостей садиться, а сам отпер буфетик и достал объемистую бутылку вишневой настойки на чистом спирте. Затем, попросив прощения, отлучился в другую половину хаты. Вернулся он вместе с хозяйкой, еще молодой и очень привлекательной женщиной. Она приветливо поздоровалась с гостями, рассыпая самые приятные улыбки. В дверь на мгновение всунули головы сын и дочь хозяев. Лобанович только мог заметить, что дочь похожа на мать, а сын на отца. Глынский тотчас же приказал им пойти в сад, где было много вишен, и набрать коробку "для пана урядника".

Тем временем на столе появились вилки, ножи и тарелки и следом поплыли сочные колбасы, целая тарелка искусно нарезанных ломтиков полендвичи, красных как лепестки георгинов, заправленный сметаной свежий сыр с черненькими точками тмина и сыр, немного подсушенный. Одним словом, богатое угощение.

Урядник, внимательный, деликатный кавалер, обратился к красивой хозяйке, пани Анеле:

- Садитесь, пани, за стол, без вас не будет порядка.

Хозяин налил вместительные чарки настойки и произнес целый тост. А хозяйка переводила взгляд то с мужа на урядника, то наоборот, Лобановича обходила. Глынский говорил:

- Выпьем за дорогого нашего гостя Герасима Павловича. Пускай бог поможет ему ловить воров, конокрадов и всяких забастовщиков, которые становятся поперек дороги начальству.

- Хорошо сказали, пане Юзеф, - похвалил Андрей, - только надо было добавить: "и казнокрадов".

- Это само собой разумеется, - отозвался Глынский.

Улучив удобную минуту, Андрей поблагодарил хозяев, попросил прощения и вышел из-за стола.

- Пане Лобанович, - сказал Язеп Глынский, - прошу вас зайти в мой садик и пощипать вишен сколько вашей душе будет угодно.

Таких спелых, крупных вишен Лобанович никогда в жизни не видел.

Когда "банкет" кончился и бричка выехала из хутора, урядник спросил Лобановича:

- Не раскаиваетесь, что поехали со мной?

- Нет, не раскаиваюсь! Наоборот, очень благодарю.

Бричка взяла направление на Панямонь.

Предстоящий уже в недалеком будущем суд заставил Лобановича поехать в Минск. Он вспомнил адвоката Семипалова, к которому направляли его в свое время редакторы Власюк и Стефан Лисковский.

Семипалов как раз был дома. Молодой человек, только что начинавший делать свою адвокатскую карьеру, он выказал живое участие в деле Лобановича и в его судьбе.

- По какой же статье закона вас привлекают к судебной ответственности? - спросил Семипалов и блестящими серыми глазами взглянул на Лобановича.

- По сто двадцать шестой, по первой части, - ответил Лобанович.

- И что конкретно ставится вам в вину? - продолжал интересоваться адвокат, теребя пальцами свою аккуратную темно-русую бородку, подстриженную в виде острого клинышка.

- Обвинительного акта я не имею, он где-то путешествует по полицейским инстанциям, но по всему видно, что мне приписывают авторство в составлении воззвания к учителям.

- Но это ваши догадки? - не отступал адвокат.

- Да, догадки, но они имеют под собой почву.

Лобанович рассказал Семипалову о допросе у жандармского ротмистра. Адвокат помолчал, подумал, а потом, хитро улыбнувшись, спросил:

- А вы же имеете кое-какое отношение к авторству, как сказали вы? - Затем он добавил: - Мне вы можете говорить правду, в ваших интересах, чтобы я это знал. Прокурору и следователю можно соврать, лишь бы только гладко, - совсем дружески улыбнулся адвокат.

Визит закончился тем, что Семипалов пообещал в этот же день ознакомиться с материалами следствия и уже тогда дать какой-либо определенный совет.

- В пять-шесть часов вечера зайдите ко мне, - сказал адвокат и подал руку Лобановичу.

Медленно тянулось время до вечера, а хороших знакомых, к которым можно было бы пойти, чтобы провести время, Лобанович теперь не имел. Дружба с Болотичем кончилась, да и заходить к нему при таких обстоятельствах Лобанович считал неудобным. Он долго бродил по улицам старого, преимущественно деревянного Минска. Наконец зашел в дешевенький ресторанчик закусить. Приближалось заветное время - было пять часов вечера.

С чувством некоторого волнения Лобанович пошел к Семипалову. Адвокат уже был дома. Он весело глянул на своего клиента и повел его в кабинет.

- Садитесь! - Семипалов показал на кресло возле стола и сам сел, - Ваши предположения оказались справедливыми, - проговорил адвокат, - вам действительно ставят в вину написание воззвания к учителям. Такое заключение дали эксперты.

- Таким экспертам не экспертизы делать, а носом землю рыть! - возмутился Лобанович.

Адвокат засмеялся.

- Может, ваша и правда, - заметил он, - однако факт остается фактом, и с ним приходится считаться. Но поскольку вы воззвания не писали, защита ваша имеет законное право потребовать от суда назначения новой экспертизы. Но это обстоятельство пусть вас не очень радует. Если даже вторая экспертиза опровергнет первую, это еще не значит, что вы чисты перед судом. У суда имеются свои расчеты, и он часто руководствуется политикой, а не законом. Кроме того, у суда может быть и так называемое свое внутреннее убеждение.

Семипалов говорил убедительно, веско, и трудно было возражать ему.

- Ну что ж, - отозвался Лобанович, - засудят - так засудят за чужой грех!

- Так пессимистически смотреть на вещи не следует, - сказал адвокат, но тут же добавил: - С другой стороны, не мешает подготовить себя психологически и к худшему. А относительно защиты вам надо подумать. Кого бы вы хотели иметь своим адвокатом?

Лобанович немного помолчал.

- Правду сказать, я и сам не знаю. Просил присяжного поверенного господина Врублевского. А если он не согласится, может, вы были бы любезны взять на себя мою защиту? - несмело обратился Лобанович к Семипалову.

Адвокат сразу посерьезнел.

- Я очень благодарен вам за доверие, но все же я в полной мере поддерживаю ваш выбор, обратитесь к Врублевскому. Он известен среди всех юристов России, и с ним прокурор вынужден будет серьезно считаться. Прокуроры же обычно, особенно прокуроры по политическим делам, подбираются злые, придирчивые, языкастые, - одним словом, проходимцы.

- А если Врублевский по каким-либо причинам не сможет взять защиту меня и моих друзей, с одним из которых я совершенно незнаком?

- Даже так? - слегка удивился Семипалов.

Адвокат и его клиент помолчали.

- Вот что, давайте сделаем так: поручите мне вести переговоры от корпорации присяжных поверенных города Менска с господином Врублевским. Вы в этих делах неопытны.

Лобанович поднялся.

- Я очень и очень благодарен за помощь, которую вы обещаете мне.

- Ну вот и хорошо. Так или иначе, ваша защита в суде будет обеспечена.

Адвокат записал адрес Лобановича, обещал вскоре сделать все, что надо и что можно сделать, и обо всем сообщить своему клиенту. Лобанович горячо пожал руку Семипалову и простился с ним. Идя на вокзал, Андрей вспоминал услужливого юриста, который освободил его от хлопот и забот, от лишних издержек на поездки к адвокатам. Казалось, все идет хорошо. Однако, поразмыслив глубже, Андрей вынужден был признать - не все идет так хорошо, как казалось в первые минуты. Поперек дороги становились эксперты и их заключение. Оказывается, еще мало опровергнуть выводы первой экспертизы. Андрей вспомнил слова Семипалова: суд - основной эксперт, и все решает "психологическая убежденность" самих судей. Мало радости в такой убежденности нарочито подобранных приверженцев царского самодержавия.

Но беспокойные и невеселые мысли в пути постепенно развеялись. Оптимизм, свойственный натуре Лобановича, вера в лучшее в жизни взяли верх над неприятными мыслями, и он в весьма хорошем настроении вернулся домой.

Семипалов оказался добросовестным и правдивым человеком. Ровно через неделю Лобанович получил письмо. Семипалов сообщал, что суд удовлетворил ходатайство адвоката Казимира Адамовича Петруневича назначить новых экспертов для проверки первой экспертизы. Врублевский, писал Семипалов, охотно принял бы участие в защите на суде Лобановича и его друзей, если бы не оказался занят на другом процессе. Вот почему он договорился с присяжным поверенным Петруневичем и поручил защиту ему. Лобанович слышал, что Петруневич считался одним из лучших адвокатов Менска.

"Чего же лучшего желать? - размышлял Андрей. - Экспертиза обеспечена, адвокат есть. Но ведь бывает, что больного человека лечит самый хороший доктор, а он возьмет и умрет. Так может случиться и здесь: захотят судьи засудить, так и засудят. Лучше не думать об этом. Через какую-нибудь неделю все станет известно".

До суда оставалось несколько дней. Мать, дядя Мартин, Якуб, Андреевы сестры - все угождали Андрею, как великому, хотя еще и неведомому людям страдальцу.

Дня за три до суда Лобанович взял корзинку, с которой обычно ходил за грибами. Хотелось посмотреть на свои грибные владения и проститься - кто знает, быть может, надолго - с теми местами, которые доставляли ему столько утех и радости. Грибов, правда, было уже маловато, но те боровики, которые попадают реже и отыскиваются с трудом, производят большее впечатление.

Андрей взошел на Среднюю гору и остановился, прощальным взглядом обводя дорогие просторы земли. Вот перед ним Микутичи. Шумно было здесь летом. Теперь же учителя

разъехались по школам. Вероятно, и Янка Тукала вошел уже в обычную учительскую колею. И все же до сей поры он не подал голоса.

Правее Микутич, далеко за Неманом, выступает из прозрачной сентябрьской синевы узкая полоска леса, словно пила, положенная на землю зубьями вверх. Еще правее высится Демьянов Гуз и расстилаются занеманские поля, среди которых ютятся небольшие поселки, деревеньки и хуторки. Не обминул Андреев глаз и пышной сосны, возносившей свою вершину над пригорками...

Много знакомых картин развевывалось перед глазами зачарованного Андрея. Налюбовавшись ими, он медленно двинулся в сторону молодого сосняка. Среди сыпучего желтого песка попадались иногда заброшенные пригорки, зараставшие молодым сосняком, низкорослыми кустами колючего можжевельника и белым мхом.

До вечера сновал Андрей по своим любимым грибным местам, поднял десятка два упругих, крепких боровиков. Затем пошел на луг. Хотелось посмотреть на одинокую сосну неподалеку от Немана, на плотный, приземистый дубок - они так хорошо были знакомы Андрею с самого раннего детства. На склоненной вершине сосны красовалось стародавнее гнездо аиста.

"Ну что ж, прощайте, милые, дорогие друзья!" - мысленно проговорил Андрей и лугом поспешил домой.

XXXVI

Долгое-долгое время в глазах Андрея стоял горестный образ матери. Она вышла со двора и остановилась поодаль от хаты, чтобы проводить сына в невеселую дорогу. Андрей с дядей Мартином отъехали уже далеко, а мать все стояла и смотрела в ту сторону, где дорога, поднявшись на горку, скрылась за выступом земли, чтобы уже больше не показаться. Тогда мать глубоко вздохнула, вытерла платком слезы и пошла в хату.

Дядя Мартин отвез Андрея на вокзал. Возле самой станции подвода остановилась. Седок и подводчик слезли с телеги. Дядя Мартин долго не выпускал руки Андрея из своих, твердых и шершавых от тяжелой крестьянской работы, рук. Затем пристально посмотрел племяннику в глаза. В маленьких серых глазах дяди стояли слезы.

- Ну, мой родной, дорогой, будь здоров! Пусть бог тебя сохранит. Возвращайся быстро и счастливо.

Они крепко обнялись, поцеловались. Андрей изо всех сил старался сдержать себя, но и в его глазах блеснула слезинка.

Утром в день суда Андрей уже был в Менске. Он сидел на скамейке в скверике, напротив здания земской управы, где происходили заседания суда. Слушание дела было назначено на одиннадцать утра, оставалось ждать еще полтора часа.

"И почему так притягивает меня к себе это здание? - думал Лобанович. - Чего мне ждать от него - горя или радости? Вот есть же какая-то лихая и властная сила, что привязала меня к нему".

Зал суда был довольно просторный и не очень привлекательный, особенно для таких лиц, как Лобанович, которым приходилось здесь выступать в качестве подсудимых. В конце зала возвышался помост, наподобие театральной сцены, отгороженный от публики крепким, хотя и нескладным, барьером. В барьере имелось несколько проходов - для подсудимых, для свидетелей и для разных лиц судебного персонала. Комната для судей находилась за сценой.

Когда Андрей Лобанович вошел в зал, там почти никого не было. Понемногу начали собираться люди - мужчины, женщины, для которых суд, особенно над политическими, был таким же зрелищем, каким для театральных зрителей является спектакль.

Чтобы лучше видеть, Лобанович сел поближе к барьеру, откуда можно было наблюдать за всем, что происходило в зале.

Наибольшее внимание Лобановича привлекал помост, который он мысленно назвал Галгофой - местом страдания. Посреди помоста красовался большой стол, застланный зеленым сукном. Здесь же стояли кресла для адвоката и прокурора. Адвокаты Петруневич и Метелкин сидели среди публики неподалеку от барьера.

В зале стоял сдержанный шумок. И вдруг послышался зычный голос:

- Встать! Суд идет! - Это выкрикивал судебный пристав.

Все, кто был в зале, поднялись. Из черневших за помостом открытых дверей показалась вереница судей и сословных представителей. Впереди важно выступал председатель суда, член Виленской судебной палаты, седобородый, громоздкий человек. Борода его была разделена на две половины и производила такое впечатление, будто под челюстями у председателя прикреплены два коротких веника, связанные из белого курчавого борового мха, в котором любят расти черные боровики. Это был известный в то время среди политических заключенных действительный статский советник Бабека, человек безжалостный к своим жертвам. Недаром среди осужденных им ходила такая поговорка: "За столом сидит Бабека, тот, что губит человека".

За Бабекой с таким же важным видом шествовали судьи - Бужинский, Кисловский, Верховодов. Все они были в парадных синих сюртуках, в накрахмаленных белых манишках, строгие, неприступные, словно несли в себе частицу "божьего помазанника" - царя, которому присягали служить верно. За судьями, соблюдая сословное старшинство, шли: надутый, спесивый представитель дворянства, менский губернский маршалок Ромава-Рымша-Сабур, член управы Янцевиц, прибывший сюда вместо городского головы. Замыкал процессию представитель от крестьян, волостной старшина Пахальчик, в армяке из простого, домотканого сукна, в громадных сапогах, давно не бритый и, видимо, успевший хорошенько "подкрепиться". Бабека занял самое видное место в центре стола и сел в самое высокое кресло. Пахальчик примостился с краю стола, в группе сословных представителей. Особое место занял на помосте прокурор, человек уже немолодой, с небольшой сединой, среднего роста, хмурого вида, довольно плотного телосложения. Кончики его ушей немного выступали вперед, словно завитки бараньих рожек. Из личных наблюдений Лобанович установил, что люди с такими ушами обладают способностью к красноречию.

Прокурор ни на кого не смотрел, сидел молча, словно заглядывал внутрь самого себя, и едва приметно пожевывал передними зубами.

Адвокаты сели ближе к скамье подсудимых. Петруневич, еще молодой, видный мужчина, с добрым лицом, был во фраке, украшавшем его фигуру; Метелкин, выглядевший значительно старше твоего коллеги, - в скромном, но строгом сюртуке.

В зале стало тихо. Председатель суда величественно поднялся с кресла. Два веника его бороды плавно покачнулись из стороны в сторону. Он объявил, что рассмотрению палаты подлежит дело о крестьянах Андрее Лобановиче, Владимире Лявонике, Симоне Тургае и Матвее Островце. Фамилию четвертого подсудимого Лобанович услышал впервые из обвинительного акта. Бабека перечислил все статьи и пункты, на основании которых палата будет судить поименованных лиц. После этого он спокойно и важно отдал приказ судебному приставу привести в зал суда подсудимых, находившихся под стражей.

Из малоприметной боковушки тотчас же показались солдаты-конвоиры, а в их строгом окружении - Владик и Тургай, которого Лобанович только теперь впервые увидел. Оба подсудимых были бледные, долгое пребывание в остроге до суда наложило на них свой отпечаток. Конвоиры сурово хмурили лица, ступали твердо, громко стуча по деревянному помосту тяжелыми солдатскими сапогами. Посадив арестованных на скамью подсудимых, они стали сзади и по краям скамьи, держа наготове ружья и сабли. Подсудимые спокойно и даже весело поглядывали на публику. Андрей не сводил с них глаз, словно прося взглядом посмотреть в его сторону. Владик заметил Андрея, еле приметно усмехнулся и украдкой подмигнул ему.

Как требовал судебный порядок, председатель спросил подсудимых, вручены ли им копии обвинительного акта, списки судей и сословных представителей. Затем суд учинил поверку свидетелей. Показания свидетелей, отсутствовавших по уважительным причинам, суд постановил огласить в свое время. После этого Бабека объявил, что согласно постановлению палаты суд будет происходить при закрытых дверях.

"Значит, дело швах", - подумал Лобанович.

Судебный пристав удалил публику из зала, а свидетелей отвел в особую комнату. Когда все было сделано, Бабека, сидя на своем троне, приступил к чтению обвинительного акта. Читал он монотонно и нудно, и сам акт был нудный и чересчур длинный. Ничего нового не услышал в нем Андрей. Судьи и сословные представители, незаметно прикрывая рты, зевали так, что, казалось, треснут челюсти.

Представитель от крестьян Пахальчик уснул крепким сном. Лобанович и подсудимые вдруг заметили, как представители иных сословий закрутили носами и потихоньку начали отодвигаться от Пахальчика. Вскоре невольнику стало и Бабеке, но тому нужно было сохранять важность и выдержку. Лобанович и его друзья еле сдерживали смех, наблюдая это происшествие в суде, который велся по приказу его императорского величества. Бабека только быстрее стал читать.

Когда чтение акта было окончено, Пахальчик проснулся. Ему показалось, что, уснув, он неловко отодвинулся от своих коллег, и волостной старшина начал понемногу подвигаться к ним.

Бабека тем временем спросил сперва Лобановича, а затем и остальных, признают ли они себя виновными в тех "преступлениях", о которых говорилось в акте.

Лобанович ответил уверенно и отчетливо:

- Нет!

Владик, волнуясь, признал себя виновным в том, что давал своему знакомому, некоему Петрушу, литературу, в том числе повести Гоголя "Шинель", "Пропавшая грамота" и другие. Он категорически отрицал свое участие во Всероссийском союзе учителей, говоря, что только имел намерение вступить в него.

Сымон Тургай признался, что входил во Всероссийский союз учителей и написал воззвание о бойкоте. Другие же воззвания писал не он. Писал их и не Андрей Лобанович, все другие воззвания были написаны третьим лицом. Говорил Тургай смело, уверенно и убедительно.

- Кто же это третье лицо? - спросил прокурор.

- Я не свидетель на этом суде, а подсудимый, - с достоинством ответил Тургай и добавил:

- Если бы я и знал "третье лицо", то закон дает мне право на некоторые вопросы не отвечать.

- Других вопросов не имею, - сказал председателю, немного осекшись, прокурор.

Андрей удивился смелости Тургая, который все более нравился ему.

По предложению председателя суда прокурор и адвокаты ознакомились с "доказательствами" по делу. Этих "доказательств" оказалось не так много: учительский протокол, захваченный в Микутичах, устав Всероссийского союза учителей и деятелей народного просвещения, воззвание "Ко всем учителям и учительницам", составление которого приписывалось Лобановичу, обращение к учителям о бойкоте и другая мелочь.

Начался допрос свидетелей, которых привел к присяге какой-то неведомый попик. Наиболее интересными были показания новых экспертов. С напряженным вниманием слушал их Лобанович.

Новый эксперт, Гоман, вызванный судом по ходатайству защиты, категорически заявил:

- Господин председатель! Господа судьи! Я удивляюсь, как могла прежняя экспертиза на основании сличения почерков утверждать, что воззвание "Ко всем учителям и учительницам" написал Андрей Лобанович. Никакого сходства в характере письма абсолютно нет!

И Гоман начал подробно, буква за буквой, опровергать заключение прежней экспертизы.

Прокурор еще сильнее нахмурился: сук, на котором сидел он, чтобы бросать шишки в подсудимого Лобановича, оказался подрубленным. И хуже всего было то, что и прежний эксперт, Ярмин, отрекся от написанного им заключения.

- Как же это так, вы же подписывали экспертизу? - сурово заметил прокурор.

- Экспертизу делал покойный Осмольский. Он подсунул ее мне, я поверил ему и подписал. Теперь же, когда я своими глазами увидел, какие там почерки, моя совесть не позволяет мне возводить поклеп на невинного человека. Не хочу брать греха на душу! - решительно закончил Ярмин.

Казалось, заключение новых экспертов и особенно слова Ярмина произвели впечатление на прокурора и на суд. Совсем безразлично отнесся ко всему этому Бабека. Он обратился к прокурору и адвокатам:

- Имеете ли вы вопросы к свидетелям или, может быть, хотите добавить что-нибудь?

Прокурор и адвокаты вопросов не имели. Для обвинительной речи председатель дал слово прокурору. Тот неторопливо повернулся к суду. Говорил он вначале тихо, но четко, а затем начал постепенно повышать тон.

- Вы слышали обвинительный акт, в котором основательно, логично, объективно представлена, господа судьи и господа сословные представители, вся мерзостная деятельность преступной группы, поставившей перед собой цель - разрушить, низвергнуть освященный веками государственный строй. Преступники, часть которых сидит на скамье подсудимых, а часть еще пребывает в этом зале на положении свободных людей, не брезговали никакими средствами для осуществления своих преступных целей. Они утратили совесть, забыли о своем долге, о своей роли, которая отведена им: "сеять разумное, доброе, вечное".

Чем дальше, тем сильнее распалялся прокурор, хотя его горячность явно была искусственная, актерская. Говорил он долго, не упустил ни одной черточки из того, что отмечалось в обвинительном акте, представляя все в самом мрачном, убийственном свете. Каждому подсудимому он дал отдельную характеристику. Особенно досталось Тургаю и Владику. Относительно Лобановича прокурор заметил, что этот подсудимый хоть и мало фигурирует в обвинении, но, как гласит народная поговорка, в тихом омуте черти водятся. Правда, заключения экспертов расходятся, но самым авторитетным экспертом является суд.

- Все мы люди грамотные, - сказал прокурор, - нам приходилось видеть разные почерки. Пусть суд скажет здесь свое слово.

В заключение прокурор потребовал высшей меры наказания, предусмотренной статьями, по которым происходил суд.

С основательной речью, без выкрутасов, но и не без шпилек, выступил адвокат Петруневич. Он защищал Тургая и Лобановича. Петруневич начал с похвалы "вдохновенному" выступлению прокурора.

- Это образец красноречия, - сказал адвокат. - К сожалению только, прокурор сгустил краски. Вы посмотрите, господа судьи и господа сословные представители, на подсудимых: это все зеленая юность, весеннее половодье, которое не вмещается в своих берегах. Не нужно иметь преступную душу и преступное сердце, чтобы подпасть под влияние тех или иных лиц, тех или иных событий и совершить ошибку. Прокурор в своей речи ссылаясь на золотые слова поэта-народника - "сеять разумное, доброе, вечное". Разрешите мне сослаться на гения русской поэзии, на бессмертного Пушкина:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Последнюю строчку Петруневич продекламировал, как артист, старательно выговаривая каждое слово в отдельности и делая на нем логическое ударение.

- Юности свойственно кипение, бурление, - продолжал защитник. - Сколько юношей студентов принимало участие в демонстрациях, в бунтах против того или иного общественного строя, против закона! Разве можно назвать их преступниками? Половодье входило в берега, и бунтари кончали университеты, поступали на государственную службу, становились усердными чиновниками в разных областях жизни. Они были преданными судьями, талантливыми следователями и даже прокурорами, особенно в политических делах.

Бабека беспокойно задвигался в своем кресле.

- Придерживайтесь границ кодекса и материалов суда, - заметил он Петруневичу.

- Принимаю к сведению, господин председатель, но не могу не отметить того, что и в утверждении прокурора по адресу подсудимого Лобановича - "в тихом омуте черти водятся" - заключена некая юридическая функция.

Прокурор погладил седовато-рыжий ус, но смолчал. А Петруневич делал свое адвокатское дело и закончил речь обращением к суду с просьбой принять во внимание молодость подсудимого Сымона Тургая и понесенное им уже наказание - полтора года заключения в остроге.

- Что же касается подсудимого Лобановича, то единственное обвинение, выставленное против него, построено на шаткой основе и, как показали эксперты, рассыпалось, а потому подсудимый Лобанович должен быть оправдан.

Метелкин произнес короткую, ласковую речь и, по примеру Петруневича, просил суд уважить и молодость подсудимого Владика и его наказание до суда - заключение на год с четвертью. Островца Метелкин просил оправдать - подсудимый ни в чем не выявил незаконной деятельности.

Бабека спросил каждого из подсудимых, хотят ли они сказать свое слово суду. Подсудимые отказались. Тогда председатель зачитал судьям несколько вопросов, на которые суд должен был ответить - виновны или не виновны. После этого Бабека объявил перерыв на два часа. Суд пошел в специальную комнату на совещание, проще говоря - на обед, так как опытный в своем деле председатель уже имел в портфеле готовый приговор.

XXXVII

Лобанович вышел из зала суда с таким ощущением, будто у него в голове лежала целая куча намолоченного, но непровеянного зерна. Он весь был полон противоречивых мыслей, чувств, образов, впечатлений.

Было уже около шести часов вечера. С утра Лобанович ничего не ел, и сейчас он первым делом направился в ресторан. Его привлекла вывеска "Кавказ". Но ничего кавказского в том ресторане не было, и даже хозяин его мало чем по виду отличался от Бабеки - такая же раздвоенная борода, только не седая, а темно-русая.

Андрей заказал себе чарку горелки и котлеты. Все равно, засудят - пить не доведется, а оправдают - заработает и на выпивку и на закуску. Мысль о том, засудят его или оправдают, не покидала Лобановича. Правду сказать, он был уверен, что его оправдают. Эту уверенность поддержал в нем и адвокат Петруневич, когда в перерыве подошел к Андрею и сказал: "Можете не беспокоиться, нас должны оправдать".

Выпив чарку горелки и закусывая котлетой, не в меру соленой, Андрей вспомнил немного раскисшего Владика и сильного духом Сымона Тургая. "Засудят хлопцев", - думал Андрей. И горячее сочувствие им родилось в его сердце. И действительно, как же так? Он, Андрей, будет оправдан, перед ним откроется широкий мир, а их из зала суда снова поведут в острог, лишат свободы на неизвестное время. Пусть уж лучше и его, Андрея, засудят вместе с ними. И на сердце было бы спокойнее, и имел бы верное представление о тюрьме, о том, как живут в ссылке. Одно дело - знать об этом из рассказов других, из

художественной литературы, а другое дело - пережить, испытать на себе всю царскую "милость" к забитому, угнетенному народу. Только бы не на долгое время осудили и не разлучили бы с друзьями...

У Лобановича было правило - не опаздывать. Пообедав и расплатившись с официантом, он медленно побрел в суд.

Самого главного суд еще не сказал. И Бабека, видимо, был уверен, что оставленный на свободе подсудимый Лобанович никуда не денется, придет выслушать приговор. Даже обидно было от таких мыслей. А что, если взять да повернуть оглобли в другую сторону, дальше от этого зловещего здания? Выйти глухими переулками за пределы города, в поле, и направить свои стопы куда-нибудь на Заславье, на Борисов либо на Игумен? Начали бы читать приговор, прочитали, - Бабека почувствовал бы себя в дурацком положении. Так мечтал Андрей, а ноги несли его все ближе к зданию земской управы.

Возле двери стоял городской.

- Рано еще! - начальническим тоном проговорил он.

Лобанович окинул городского коротким, строгим взглядом.

- Может, кому и рано, а мне как раз в пору, - и решительно двинулся в дверь.

Городской растерялся: "Может, сыщик либо начальство какое?.." - и пропустил Лобановича. Через полчаса начала собираться публика. Теперь вход в зал суда был свободен для всех.

Бабека не зря считался человеком пунктуальным. Ровно в семь часов сорок минут вечера снова раздался громкий голос:

- Встать! Суд идет!

Из той же комнаты и в том же порядке, как и прежде, шли судьи и сословные представители во главе с Бабекой и маршалком Ромава-Рымша-Сабуром. Бабека выглядел еще более важным, чем днем. Владик и Тургай уже были приведены и сидели на скамье подсудимых. Лобанович сидел на прежнем месте.

В зале сразу же воцарилась тишина. Не торопясь, важно поднялся со своего трона Бабека и, держа в руках лист бумаги, приступил к чтению резолюции суда - то же самое, что и приговор, только в более короткой форме. Вначале глуховато, а затем все громче читал Бабека:

- "Тысяча девятьсот восьмого года, сентября пятнадцатого дня.

По указу его императорского величества Виленская судебная палата, по уголовному департаменту, в публичном судебном заседании в составе (перечислялись судьи, сословные представители, прокурор и секретарь), выслушав дело о крестьянах (перечислялись подсудимые, кроме Островца), приговорила - крестьян Лобановича, Лявоника и Тургая заключить в крепость на три года каждого. Судебные издержки по этому делу возложить на осужденных поровну и за круговой их ответственностью, а при несостоятельности всех их принять на счет казны. Вещественные по делу доказательства оставить в делах. Крестьянина Матвея Островца считать оправданным по суду".

Как только чтение резолюции было окончено, Бабека окинул зал взглядом победителя и трубным голосом отдал приказ:

- Осужденного Лобановича Андрея Петрова сейчас же взять под стражу!

Лобанович и опомниться не успел, как к нему подбежал совсем еще молодой и плюгавенький с виду околоточный и схватил его за руку.

- Чего ты прыгаешь, как петух, и хватаешь меня? Я же не убегаю. - Лобанович спокойно, но с силой освободил руку. - Арестовать не умеешь, служака! - насмешливо проговорил он.

В это время к ним подошел дебелий, плечистый городской. Он слегка толкнул Лобановича.

- Ну, иди! - начальническискомандовал он.

- Вот это слово! - проговорил Лобанович и в сопровождении городского покинул зал.

Конвойные вывели Тургая и Владика. Лобановича присоединили к ним, но городской от него не отступал. Поодаль торчал околоточный, более солидный, чем тот, который арестовал Андрея.

Вся процессия направилась в сторону острога, который стоял как раз напротив земской управы. Разговаривать друг с другом арестованным запрещалось, они только обменивались короткими взглядами и дружескими улыбками.

Андрею казалось, его друзья остались довольны приговором суда. Теперь уже не приходилось гадать, заглядывать в будущее, какая постигнет судьба. Отбыть три года, а там начнется новая жизнь.

Минут через десять процессия остановилась, подошли к острогу. Высоченные железные ворота снизу метра на два с половиной были сделаны из сплошного железа, а дальше шли толстые металлические штакетины с узкими просветами. Они отгораживали здание острога и контору от внешнего мира. Перебраться через ворота без соответствующих приспособлений было невозможно.

Старший конвойной команды постучал кулаком. В железной стене ворот открылись дверцы, также железные. Оттуда выглянуло усатое угрюмое лицо тюремного привратника. Взглянув на конвой и на арестованных, он молча приоткрыл ворота и молча пропустил всех в контору. Там сидел Рагоза, дежурный помощник начальника тюрьмы. Он принял арестованных, расписался. Конвойные вышли.

Теперь приведенные в острог осужденные назывались просто арестантами.

- Обыскать! - приказал рыжеусый Рагоза с красным от водки лицом.

Два надзирателя привычными, натренированными пальцами обшарили все карманы и одежду от головы до пят. У Лобановича забрали перочинный нож, неизменный спутник грибных походов, бумажник, в котором хранилось рублей пятнадцать денег. Залезли и в кошелек, где было копеек пятьдесят мелочи. Бумажник и кошелек вытрясли, деньги положили на стол. Все отобранные вещи записали в особую книгу.

- Отсидишь свой срок - при освобождении получишь, - объяснил Рагоза Лобановичу.

- Отвести всех в первую камеру на втором этаже, - отдал приказ старший надзиратель Дождик, внешне похожий на известного генерал-губернатора Муравьева.

- Ну, пошли! - скомандовал надзиратель, которому было приказано вести арестантов.

Переступив порог конторы и протиснувшись сквозь другую узкую калитку в воротах, друзья очутились на тюремном дворе и почувствовали себя свободнее.

- Что, не ожидал? - спросил Андрея Симон Тургай и крепко пожал ему руку.

- И ожидал и не ожидал. Ну, да черт их бери! Лишь бы вместе с вами и на один срок, - ответил Лобанович.

- Правильно говоришь, Андрей, - весело отозвался Симон.

Уже было темно. Мрачный острог тускло освещался керосиновыми лампочками, от этого окна казались слепыми. На железных прутьях висели торбы, сумочки с арестантским скарбом. Мелькали в окнах и лица обитателей этого жуткого дома, однако казалось, будто это снуют не люди, а их тени. Обитатели темного острога узнали прибывших.

- Симон! Владик! - доносились голоса из окон, заделанных железными решетками. - Сколько дали?

- Драй! - ответил почему-то по-еврейски Симон.

Чтобы попасть на второй этаж, нужно было пройти еще одну железную дверь. Она открылась с резким лязгом. По железным ступенькам, скупо освещенным ночниками, поднялись на первый, а потом и на второй этаж, повернули налево. Навстречу шел коридорный надзиратель в черной шинели. Все здесь было черное - и железные ворота, и двери, и одежда надзирателей, и коридор.

- Открывай первую камеру, - сказал надзиратель, сопровождавший осужденных.

Коридорный надзиратель не торопясь вложил большой ключ в замок камеры, посмотрел на пришедших.

- С прибылью пришли! - насмешливо проговорил он, окинув взглядом Лобановича.

- Не скаль зубы, Бакиновский, впускай в камеру, - строго сказал Тургай.
- Что, разве скоро покидаешь ее? - не унимался Бакиновский.
Он широко открыл крепкую, окованную железом дверь, и хлопцы вошли в камеру.
- Ну вот мы и дома, слава богу, - пошутил Владик. Из этой камеры его и Сымона повели конвойные на суд.

XXXVIII

Картина, представшая глазам Лобановича, ошеломила его. Камера была битком набита людьми, бледными, худыми, как скелеты. При тусклом свете убогой лампы камера казалась грязной трущобой, куда собираются на ночь темные люди, любители глухих закоулков и дорог. Давно беленные стены грязно-рыжевато-го цвета выглядели ужасно, угнетали. Обитатели камеры, которых за долгое время перебивало здесь множество, вбивали в стены гвозди, чтобы повесить свои пожитки. В дырах возле гвоздей гнездились кучи клопов со своим многочисленным потомством. Вдоль стены возле двери тянулись сбитые из грубых досок полки. На них лежали хлеб, арестантские "пайки", ложки и разные дозволенные вещи тюремного обихода. Вверху, над дверью, чернел "календарь" - нарисованный углем четырехугольник, разделенный на семь клеток. В каждую клетку вписывалось число, а когда день кончался, цифру перечеркивали. Так делали, пока не проходила неделя, а затем писали новый календарь. На другой стене во всю ее длину красовался также нацарапанный углем лозунг: "В борьбе обрешь ты право свое!" "Интересно, как это эсеры обретаю́т здесь право?" - усмехнулся Лобанович.

В камере сидели люди разных возрастов, национальностей и социального положения. Здесь были представлены все категории арестантов - уголовники и политические, или, как называли их в тюрьме, "политики". Были осужденные на каторгу, в ссылку, в арестантские роты, в крепость, как Лобанович и его друзья. Были и такие, что ждали еще суда. Осужденные на каторгу были одеты в арестантскую одежду и закованы в кандалы, соединенные длинной, тяжелой железной цепью. Чтобы удобнее было ходить, цепь, свернув пополам, обычно подвязывали к кожаному поясу.

Все разномастное население камеры гомонило, гудело, временами кое-где слышался раскатистый смех. Многие в упорном молчании сновали в проходе между двумя нарами - от двери к окну и обратно. Некоторые стояли возле двери и смотрели в тюремный коридор сквозь железные крепкие прутья, расположенные один от другого на таком расстоянии, что можно было просунуть между ними руку. Немного ниже прутьев в двери был проделан "волчок" - круглая дырка, чтобы можно было видеть, что делается в камере. Приглушенный шум, звон и лязг цепей-кандалов доносились через коридор из других камер. Все камеры были заперты на замок, так как уже произошла поверка, и параша занимали почетное место возле дверей.

Поздно вечером острог утомился. Расстелив свои тощие казенные сенники, один за другим начинали укладываться люди - плечом к плечу, на твердых и грязных нарах. Кто ложился молча, угрюмо, а кто, устроившись в своем логовище, говорил что-нибудь шутивное:

- Эх, брат, вот где рай так рай! Ложись спать, когда хочешь, вставай, когда пожелается или когда позовет параша, а то и вовсе не вставай. И охраняют тебя, как генерал-губернатора...

Перед Лобановичем встал вопрос: как устроиться на ночь? Сымон и Владик пришли на помощь, они сдвинули свои - пустые сенники вплотную, и все трое улеглись на них.

- Не дрейфь, Андрей, завтра устроимся лучше, - подбадривал его Сымон Тургай.

Втиснувшись между друзей, Лобанович лежал на кусочке сенника. Скатиться было некуда - и справа и слева плотно лежали люди. В голове все смешалось. Какой долгий был день! Сколько впечатлений! Временами казалось, что все это тяжелый, кошмарный сон, стоит пробудиться - и кошмар исчезнет. Он вспомнил мгновение, когда Бабека читал приговор.

Тогда три года заключения в крепости большого впечатления не произвели. Андрей помнит, как он взглянул на друзей и улыбнулся. А теперь, лежа на жестких нарах, сдавленный живыми человеческими телами, он представил себе этот срок - три года, тысяча девяносто пять дней и ночей! Он почувствовал их живо, реально. Три года сидеть в этих грязных стенах, три года носить на себе клеймо лишенного свободы арестанта! Три года быть оторванным от жизни, от народа, от всего, с чем сжился и что тебе мило и дорого!

На мгновение Андрею стало тяжело-тяжело, будто упало сердце. Но он вспомнил, что в этой камере есть люди, лишенные всяких человеческих прав, закованные в кандалы и осужденные на долгие годы каторги. С какой радостью они поменялись бы с ним судьбой! Эта мысль принесла некоторое успокоение Андрею. Но уснуть он не мог, - как на беду, клопы почуяли свежего человека и стали кусать часто и сильно.

Постепенно камера успокоилась. Затих обычно шумный острог. По-прежнему тускло горели лампы. Изредка по коридору проходил тюремный надзиратель, останавливался возле "волчка" камеры, вглядываясь, что делается в ней. Чаще всего ему приходилось видеть, как какой-нибудь арестант, сняв рубашку, садился возле лампы и начинал расправляться с паразитами.

Тяжело ворочались на нарах каторжники, позванивая кандалами.

"Зачем эти издевательства, эта дикость и насилие над человеком? - думал, не в силах уснуть, Лобанович. - Да нет! - возражал он сам себе. - Кому-то это нужно. Вот и меня упекли в тюрьму, даже не позаботившись подпереть приговор доказательствами. Недаром говорил Семипалов, что все диктует политика. Так оно и есть - сейчас потребовалось убрать с царской дороги опасных людей, а заодно с ними и таких, которые в определенный момент могут стать опасными".

Лобанович попытался пошевелинуться, но это было трудно сделать, не потревожив друзей. Сон охватил всю камеру, можно было продолжать свои размышления.

"Значит, самодержавие боится, - думал Лобанович. - Чиновники, солдаты, закон, на страже которого стоит суд, жандармы, полицейские крючки и шпики. Казалось бы, огромная махина, однако и ей можно задать страху. Испугались, что где-то ходит на свободе безработный "огарок"! Выходит, что и "огарок" сила!" От этой мысли Лобанович почувствовал себя сильнее, увереннее и улыбнулся. "В чем же сила таких, как я? - спросил он сам себя. На это он ответил, немного подумав: - Если ты сам увидел, что строй жизни несправедливый, и открыл кое-кому глаза, то постепенно и все люди станут зрячими. А это и есть живая угроза царизму".

Лобанович вспомнил Аксена Каля из Высокого, который так старательно учился грамоте, потом Шуську и Раткевича, охранявших учительское собрание в Микутичах. Вспомнилось, как ожидал он Ольгу Викторовну в Пинске, как познакомился с товарищами Глебом и Гришей. Что с ними теперь?

Лобанович обвел глазами заключенных, что вповалку лежали на нарах, тяжело храпя и вскрикивая сквозь сон. "Верно, и здесь есть люди, которые знают глубины и дали революции. Найдется с кем подружиться и у кого поучиться".

В его воображении всплыла фигура социал-демократа Кастогина, встреченного им в доме на менской окраине. "Вот если бы довелось еще встретиться..."

Перед Лобановичем встал величественный образ грозной, хотя и залитой кровью, недавней революции. Воздух дышал грозой, пламя могло разгореться...

"Значит, борьба будет. Надо быть крепче связанным с народом, тогда..."

Что будет тогда, Лобанович отчетливо себе не представлял, но чувствовал, что направит всю свою жизнь по какому-то иному пути. Это чувство решимости подняло его дух.

Только под утро крепко уснул Андрей, и сон укрепил его. Однако проснулся он рано, когда Владик и Тургай еще спали. При дневном свете и камера и ее обитатели выглядели, казалось, веселее. Лобанович лежал молча, наблюдая за всем, что происходило вокруг: интересно присмотреться к жизни, к людям в новой обстановке! Тем временем то один, то

другой заключенный ворочался на нарах, пробуждался. Многие из обитателей камеры начинали день замысловатой бранью, никому не адресованной, после чего приводили в порядок свое ложе и шли умываться. Умывались над парашей, так как умывальники находились в уборной и нужно было ждать, пока отопрут камеру. Обычно к этому времени вставали все, кроме самых заядлых лежебок.

- Ну как, старина, выспался? - добродушно и лукаво спросил Андрея Владик.

- Где тут выспишься, если ты ночью скрежещешь зубами так, словно тебе на них попал Бабека! - шутливо ответил за Андрея Сымон Тургай, лежавший с другой стороны.

- Ничего, Владик, немного поспал, жить можно, - махнул рукой Лобанович.

- Будем подниматься, черт им батька! - проговорил Тургай и присел на нары.

Как требовал камерный порядок, заведенный самими заключенными, друзья подвернули свои сенники ближе к стене и накрыли их грубыми, казенными одеялами, сделанными неизвестно из какого материала.

Тем временем надзиратель отпер камеру и выпустил всех "на opravку". В камере были свои дежурные - они должны были вынести на день и принести на ночь парашу. Особый дежурный подметал камеру и наблюдал за общим порядком в ней. Дежурили по очереди, причем дежурный обладал определенной властью. Например, подметая проход между нарами, он мог приказать заключенным сесть на нары, чтобы не метали, и каждый повиновался ему, кто бы он там ни был.

Вместе со всеми обитателями камеры Лобанович вышел в коридор, тянувшийся через все здание острога. Все остальные камеры были заперты, заключенных выпускали по очереди. Небольшие оконца в одном и в другом конце коридора пропускали мало света. Оттого, что стены были окрашены наполовину в черный цвет, казалось еще темнее.

Владик и Сымон, как "старые арестанты", взяли на себя роль консультантов и рассказали приятелю много интересного из острожного быта, - например, о камерах в башнях. На тюремном языке они назывались "дворянскими". Туда обычно сажали людей важных - чиновников, начиная с коллежских асессоров, панов, когда им случалось угодить в острог. Попадали туда также и "политики", если они имели вес и не пустые карманы. В "дворянских" камерах было светлее и веселей. И режим там иной - весь день двери открыты. Вместо твердых нар стояли удобные топчаны, топились печи, в которых можно было готовить себе вкусную пищу, греть чай и вообще нежить свою особу. Попасть в такую камеру обыкновенному смертному трудно, для этого нужно было иметь протекцию за стенами тюрьмы, чтоб хорошо угодить администрации, либо такие средства, которые открыли бы дверь в "дворянскую" камеру. На этой почве, как рассказывали "старые арестанты", возникали иногда смешные истории.

Как-то в одну из "дворянских" камер, где оказалось свободное место, стремились попасть два претендента - эсер и анархист. Между ними началась борьба. Администрация не торопилась отдать кому-нибудь предпочтение. Она решила брать "дань" с одного и с другого до тех пор, пока кто-нибудь не перекроет в значительной степени своего конкурента. В первой камере, где все это было известно, с интересом следили за борьбой кандидатов в "дворяне". По камере проносились вести:

- Борис (эсер) сегодня доставил в контору три фунта масла.

На это отвечали:

- Что там три фунта масла! Анатолий (анархист) послал туда с полпуда меда.

Масло и мед попали на острые язычки и служили темой для шуток и смеха. Украинскую песню "Взял бы я бандуру" переиначили и пели:

Взял бы кадку меда

Да в контору дал,

Скажут арестанты:

"Дворянином стал... "

Верх взял Борис. Спустя некоторое время он перетаскивал свои пожитки на новое место, а из других камер выкрикивали:

- Дворянин! Дворянин!

- Борис, сколько стоило тебе дворянство?

XXXIX

За две-три недели Лобанович ознакомился с острожной жизнью в общих чертах. Отгороженная от всего мира высокими стенами, вдоль которых днем и ночью ходила стража, загнанная в тесный, смрадный острог, окованный железом, эта жизнь была неинтересной, однообразной. Заведенный однажды порядок не нарушался в своей основе. Утром, в определенное время, происходила поверка. Дежурный надзиратель с шумом открывал дверь камеры и командовал:

- Смирно! Встать на поверку!

В камеру входил дежурный помощник начальника тюрьмы, старший надзиратель Дождик, тот самый, который показался Лобановичу с первого взгляда похожим на Муравьева-вешателя.

На поверку поднимались не сразу. Сначала команду дежурного вообще не слушали. Только кое-кто из самых отпетых подхалимов, желая выслужиться перед начальством, становился навтыжку, как солдат, посреди камеры. По мере того как проходила поверка, камеры по очереди отпирались, арестанты выходили в коридор, шли умываться, привести себя в порядок. Вечером, сделав поверку, надзиратели запирали камеры до следующего утра.

В определенное время приносили из пекарни хлеб. Пекарня была своя, арестантская. Хлеб заранее резали на "пайки" в присутствии другого старшего надзирателя, Алейки, - он сам бросал "пайки" на весы. Кусок хлеба, ударившись о тарелку Весов, тянул ее вниз, словно "пайка" весила больше нормы - двух с половиной фунтов. Алейка, ловкий мошенник, наживался на арестантском хлебе, горохе, капусте и сале.

В тюрьме существовал штат арестантов - разносчиков хлеба, кипятка и горячей пищи в обед. Хлебопеками, поварами, коридорными, подметалами были только уголовники, преимущественно краткосрочные. Каждый уголовник считал большой радостью и честью попасть в этот штат. Одна только должность подметалы не пользовалась особым уважением у арестантов, хотя подметале было значительно веселее иметь дело с веником и метлой, с очисткой уборных, чем сидеть день в камере. Кроме того, подметала имел более широкую связь с людьми, с теми же арестантами, мог оказать им кое-какую услугу и раздобыть кое-что для себя.

Каким тяжелым ни был тюремный порядок, как сурово ни ограничена была свобода арестантов, загнанных, подобно зверям, в тесные клетки, все же и здесь жизнь, человеческие чувства и стремления порой вырывались на свет, на простор.

Среди уголовников выделялся молодой, крепкий, как дуб, человек, полновластный хозяин своей камеры. Впереди его ожидали скитания по пересыльным тюрьмам и долгие годы каторги. И все же на лице у него никогда не отражалось даже тени страдания, горького раздумья. Порой на него находила такая минута, когда человеку хочется развернуться во всю ширь своей натуры. Не выдержит душа, какой-то вихрь подхватит ее, и человек, расчистив себе место в камере, пускается в пляс. Ноги закованы в тяжелые кандалы, а он пляшет легко, красиво, выделявая ловкие, лихие коленца. В этом было для него особое наслаждение. Он так умел подзванивать себе самому цепями, подбирать тона, что этот звон заменял ему музыку, соответствуя его собственному настроению. И когда человек плясал, его движения захватывали всех. Ритмичный и даже музыкальный звон и лязг цепей разносился по коридору, залетал в другие камеры. К "волчку" подходили дежурные надзиратели, смотрели, любовались бурными, неудержимыми движениями каторжника

Ивана Гудилы. Быть может, он выражал этим свой протест против неволи и несправедливости общественного строя, который сделал из человека преступника.

По вечерам, когда камеры запирались на всю ночь, заключенные затевали разные интересные штуки, - например, поднимание человека кончиками пальцев либо поднимание самого себя на нары. Для этого нужно было податься всем телом под нары, а руками держаться за их край. Этот номер был довольно трудный, и редко кому удавалось проделать его. Поднимали человека кончиками пальцев так. Посреди камеры становился кто-нибудь из заключенных, желательнее человек грузный. К нему подходили пять человек: двое подкладывали пальцы под ступни ног, двое - под локти и пятый - под подбородок. По команде "поднимай" все разом поднимали человека довольно высоко и носили его по камере.

Чтобы насмеяться над неискушенным новоприбывшим, которого на арестантском языке называли "лабуком", один человек ложился лицом вниз на сеник, другой - на него спиной. Наверх укладывали третьего, того, над кем и хотели поиздеваться. Тот, что лежал в середине, хватал жертву за руки, а ногами зажимал ей ноги. Тогда подходил какой-нибудь специалист ставить "банки", обнажал верхнему живот и ставил "банки" - бил деревянной ложкой по оттянутой коже.

Забавлялись люди как умели, как могли и как позволяли обстоятельства. Год, когда Лобанович пришел в тюрьму, особенно последние месяцы, был годом усиления реакции. Все привилегии, которыми на первых порах пользовались заключенные, постепенно отменялись. Тюремная администрация начинала вводить жестокий режим, часто производила обыски, отбирала разные вещи, нужные в повседневном обиходе. Отнимали и книги, если они имели хоть в какой-либо степени прогрессивный характер. Заключенных разделяли по категориям и размещали по особым камерам.

Вместе с группой других осужденных в крепость попали в отдельную камеру и наши друзья. Заключенных там было немного, человек семь-восемь. Но этот счет менялся - одни прибывали, другие выходили на свободу, отбыв свой срок. На общий тюремный котел "крепостников", как их называли, не зачисляли и харчей им не выдавали. Вместо этого на каждого отпускали по десять копеек в сутки.

Перебравшись на новое место, Владик окинул камеру хозяйским взглядом.

- Здесь, братцы, и занятие себе найти можно - подучиться и, выйдя на свободу, сдать экзамен на аттестат зрелости.

- Молодец, Владик, что не дрейфишь и смотришь далеко вперед! - похвалил его Сымон Тургай и с лукавой улыбкой обратился к Лобановичу: - Правда, Андрей, Владик трезво смотрит на вещи?

- Владик был и остался человеком дела и мудрой жизненной практичности, - с подчеркнуто серьезным видом ответил Лобанович. - И мне хочется в связи с этим рассказать об одном происшествии. Некие путешественники подошли к глубокой реке. Ни брода, ни моста не было. Плавать они не умели и воды боялись. На берегу лежали круглые бревна. Один из путников, наиболее сообразительный, скатил бревно в речку, снял ботинки, сел верхом на бревно, а ноги привязал к бревну, чтобы не сползти в воду. Посреди реки бревно перевернулось, пловец бухнулся головой в воду, а ноги задрались вверх. Путники стояли на берегу, смотрели и говорили: "Смотри ты, какой смысленный наш Янка: речки не переплыл, а носки уже сушит".

Владик заметил:

- Я, брат, с бревна не сползу! А там, смотришь, день прожил, - и свобода ближе. Вот кончается, слава богу, месяц, - значит, одну тридцать шестую часть неволи и сбросили с плеч. Так или не так?

- Так, так, Владик! - подтвердили Сымон и Андрей.

- А если так, давайте подумаем, как лучше организовать нашу жизнь в остроге.

Владик предложил создать коммуну, чтобы все гривенники были в одних руках и чтобы один человек имел право с согласия всех остальных распоряжаться этими деньгами.

Обитатели новой камеры обсудили предложение Владика и постановили - избрать Владика экономом, чтобы он вел хозяйство, выписывал через Дождика продукты. Оставалось выбрать и своего повара. По тюремному уставу "повару" от осужденных в крепость разрешалось ходить на тюремную кухню и готовить обеды. "Поваром" назначили Сымона Тургая; он был коридорным старостой, но охотно согласился взять на себя и новую роль, приобретя таким образом и другую должность.

Так началась новая жизнь осужденных в крепость, отбывавших свое наказание в менском остроге.

XL

Однообразие тюремного быта немного нарушалось, когда в камеру прибывали новые осужденные. Попадали сюда люди разных профессий и социального положения - мелкие чиновники, писаря, железнодорожники и другие так называемые интеллигенты. Однажды привели даже конокрада из-под Ракова, некоего Касперича, молодого, малограмотного, но хитрого лодыря. Отправляясь на промысел по части конокрадства, Касперич брал с собой прокламации. Когда он попадался, его сперва крепко били, а затем вели в полицию. Во время обыска выяснялось, что Касперич не конокрад, а "политик". Конокрада судили за прокламации, как политического преступника, а ему этого только и нужно было. Последний раз Касперич вместо долгосрочной каторги получил девять месяцев крепости. Касперич изложил свою программу действий перед обитателями камеры, весело посмеиваясь и радуясь собственной хитрой выдумке.

- К какой же политической партии принадлежишь ты? - спросил его с серьезным видом Сымон Тургай, еле сдерживая смех.

- Моя партия - спасай сам себя, - ответил Касперич, глядя на Тургая маленькими, свинными глазками.

- Значит, ты односторонний анархист-индивидуалист? - заметил Владик.

- А мне все равно какой, хотя бы и односторонний, - отозвался Касперич.

В коммуны его не приняли, да и сам он не стремился попасть в нее и жил "на свой гривенник". Немного осмотревшись и сориентировавшись в непривычной обстановке, Касперич однажды спросил Владика:

- Сколько человек может съесть сырого сала?

Владик подозрительно посмотрел на Касперича, опасаясь, нет ли здесь какого подвоха, а для "старого" арестанта дать одурачить себя считалось позором.

- Голодной куме хлеб на уме? - хитро усмехнулся Владик.

- Может, и так, - безразлично проговорил Касперич и повторил вопрос: - Нет, серьезно, сколько человек сможет съесть сырого сала?

- Смотря какой человек и какого сала, - ответил Владик. - Я, например, проголодавшись, съел бы фунта два.

- Два фунта! - презрительно отозвался Касперич. - А я могу съесть семь фунтов!

- А не разорвет тебя? - не поверил Лобанович и сказал Сымону Тургаю: - "Политик" берется съесть семь фунтов сырого сала!

Сымон, о чем-то задумавшись, молча ходил по камере. Услыхав обращенные к нему слова Лобановича, он остановился.

- А черт его знает, какое у "политика" пузо.

Касперич решительно стоял на своем и готов был держать пари.

Владика и Касперича окружили заключенные. Даже Александр Голубович, почти всегда серьезный, молчаливый, замкнутый человек, питерский рабочий, большевик по своим политическим убеждениям, присоединился к группе товарищей по камере.

- Если даже и съест, то его вырвет, - сказал Голубович.

Спор все больше разгорался.

- Так что, хлопцы, рискнем разве? Как, Владик, рискнем? - обратился Тургай к друзьям и к "эконому".

Владик выдал кусок сала из общих запасов. Сымон Тургай отвесил на кухне семь фунтов и отдал Касперичу. Тот взял с полки небольшой кусок хлеба, сел на нары и начал есть.

Он ел жадно, отрывал, как волк, зубами большие куски сала. Вместе с кусочками хлеба они исчезали в пасти Касперича. Он двигал челюстями, как жерновами, молот сало и хлеб, а затем также по-волчьи глотал их. И глаза его блестели, словно у волка. С каждым разом сала оставалось все меньше и меньше.

- Все смелет! - разочарованно проговорил Владик.

И действительно, Касперич положил в рот остатки хлеба и сала, не торопясь пожевал, проглотил с видом победителя и даже засмеялся.

- О, - сказал он, - теперь аж до завтра можно терпеть!

Тургай громко захохотал.

- Вот обжора так обжора!

А Касперич как ни в чем не бывало погуливал по камере и улыбался.

Отсидев свои девять месяцев, Касперич вышел на свободу. В памяти о нем только и осталось, что съеденные в один присест семь фунтов сала да свиные глазки и челюсти, которые двигались, как жернова.

Среди краткосрочных заключенных порой попадались любители много говорить и напелсти с три короба разных небылиц. Свои выдумки для возвеличения самих себя они выдавали за действительность. Их слушали, даже поощряли, поддакивали, чтобы дать разойтись еще больше. По-тюремному таких людей называли "заливалами", от выражения "заливать пули", что значит врать.

К "заливалам" принадлежал недавно приведенный в камеру Зыгмусь Зайковский. Это был простой человек лет тридцати, столяр по профессии. Усевшись возле стола на нары, Зайковский свертывал большую сигарку из общественной махорки, лежавшей в довольно вместительном ящике, со смаком затягивался и рассказывал о своих приключениях.

Один такой рассказ запомнился Лобановичу.

Однажды Зыгмусь, так рассказывал он, задержали неосознательные крестьяне за агитацию против царских порядков и посадили в пустой амбар. Сидеть там Зайковский не хотел. Вот и начал он шнырять из угла в угол. Вначале его окружала крошечная тьма, но затем глаза присмотрелись и кое-что можно было разобрать. Ощупал Зыгмусь все доски в полу. Они были толстые, и концы их плотно прикрыты плинтусами. Не за что было зацепиться даже кончиками пальцев. План отодрать половицы и сделать подкоп отпадал. Но Зыгмусь твердо решил выбраться на волю. Он смастерил подмости, влез на них, осмотрел потолок. Подмости получились непрочные, упереться в них, чтобы плечом оторвать доску, было невозможно. К счастью, в амбаре стояла большая дубовая бочка. Зыгмусь перевернул бочку вверх дном, взобрался на нее, сделал пробу - вогнул голову, а спиной и плечом налег на доску. Доска подалась и заскрипела. Зыгмусю даже страшно стало: а что, если услышат? Но вокруг было тихо. Зыгмусь поднял доску еще выше. С чердака за шиворот посыпались опилки и разная дрянь. Ну, да лихо с ними! Через минуту Зайковский был уже на чердаке. Прислушался - тихо. Тогда он выдрал из крыши охапку соломы и сквозь дыру метнулся на землю, а там его только и видели.

Кончив рассказывать, Зыгмусь сам первый громко захохотал.

- И убежал? - с деланным изумлением и восхищением воскликнул Сымон Тургай.

- Ну и ловкач! - отозвался Владик.

- Да ты же силач: оторвал хребтиной доску! - удивился и Лобанович.

- А ты что думал! - гордо проговорил Зыгмусь и еще с большим пылом добавил: - Но это еще не все!

- Что ты говорить?! - воскликнули все вместе.

- А вот слушайте. Очутился я на земле, оглянулся, пригнулся - шмыг в коноплю. Огородами, загуменьями выбрался из деревни - и напрямик в кустарник! И - на дорогу.

Впереди, вижу, лес, но далековато. Бежать на всю скорость нельзя: увидят - сразу догадаются. Надо же и соображать. И что вы думаете? Оглянулся я - шпарит за мной верхом на лошади кудлатый мужик без шапки, только космы на голове трясутся. Догонит, не успею добежать до лесу! Дух захватывает, бегу, а погоня все ближе. Сзади за верховым пять-шесть пеших мужиков! Чешут наперегонки! Что делать?

- Ой, это прямо трагично! - сочувственно вздохнул Тургай. - Говори, что дальше было!

Зыгмусь провел пальцами по усам.

- Вижу, густой лозовый куст при дороге. Я в куст! И не знаю, что будет дальше. Мужик, думаю, в куст с конем не въедет. В один миг осмотрелся - от куста канавка идет в сторону от дороги. А вдоль дороги она и шире, и глубже, и вся заросла травой. Я из куста в канаву! Ползу. Дополз до дороги. Кудлатый мужик остановил коня, закинул ему на шею поводья, а сам на землю! Спешился, махнул мужикам рукою: тут, мол, преступник! А я в двух шагах от кудлатого мужика. Он осторожно обходит куст. Конь хрустит траву на обочине дороги, совсем рядом со мной. Поводья съехали с шеи чуть не на голову мне! Я хват за поводья! Конь испугался, а я прыг на него да вскачь по дороге в лес. Только меня и видели!

- Ну, Зыгмусь, герой ты, ей-богу, герой! - не выдержал Сымон и подмигнул друзьям. А это был знак - разоблачить и высмеять самохвальство Зайковского.

Разоблачение и высмеивание производились тем же методом, каким пользовались сами "заливалы": нужно рассказывать самые невероятные вещи, да еще в больших размерах.

- Такие приключения редко с кем случаются, - словно бы с завистью начал Владик. - Но не в приключениях дело, самое главное, как будет держаться человек. Сообразительность, находчивость - вот что спасло Зыгмуся. Мне также хочется рассказать об одном случае. Пошел я однажды под осень собирать грибы. Забрался в лесную чащу. Вижу - старая сосна, а в сосне дупло. Влез на сосну: что там, в дупле, делается? Засунул руку, а меня за палец цап какой-то зверек. Даже кровь пошла. Я обмотал руку торбочкой и снова в дупло! Схватил за загривок какого-то зверька и тащу. Вытащил - куница! Я ее мордочкой о сосну - стук, стук да на землю. Засунул руку снова - другая куница! Я и ее таким же манером хват о сосну и вниз. И знаете, шесть куниц вытащил из дупла! Связал я их за хвосты, перебрал через плечо и потащил домой. По три с половиной рубля шкурку продал! Что скажешь, Зыгмусь?

Зыгмусь старательно затащился махоркой и опустил глаза, гадая, что ответить на вопрос и как вообще отнестись к рассказу Владика. Но Лобанович опередил Зыгмуся.

- Ты экономай, и приключения твои экономические, - сказал он Владике. - Со мной почище случай произошел, вернее - со мной и с моим батькой. Батька мой был пчеловод, на лето отвез он пять ульев поближе к лесу, чтобы удобнее было пчелам таскать мед. И вот однажды, перед вечером, слышу, ревет что-то, да так, что аж земля гудит. Взглянул я - смотрю, батя держит за хвост огромного зверя и тащит к себе. Я догадался, что это медведь пришел полакомиться медом. Батька тащит медведя назад, а он рвется вперед. И слышу я, кричит батя: "Андрей! Бери вожжи и беги сюда!" Я вскочил в сени, схватил вожжи и на пчельник. Прибежал - батька тащит медведя за хвост. Медведь упирается и пашет лапами землю, как сохой. "Забрасывай под брюхо вожжи!" - кричит батька. Я ловко забросил вожжи, сделал петлю, чтобы не соскочили. "Тащи!" - командует батя. Он тащит медведя за хвост, а я за вожжи. Почувствовал это медведь - да как рванется. Оторвал хвост! Батя с хвостом на спину повалился и ноги задрал. Я один держу зверюгу. А он еще сильнее рванулся. Я до колен в землю ногами ушел. И вдруг вожжи хрясь, только кончики в руках остались. Сорвался медведь и подрапал в лес. Вместо хвоста вожжи потащил с собой. Поднялся батька с земли, покачал головой: жалко, что медведя выпустили. А потом и говорит мне: "Ну, сынок, теперь медведь за медом ходить не будет".

Белоусый семидесятилетний дед Юзефович, настоящий экономай, осужденный в крепость на один год, лежал на нарах, заложив руки за голову, слушал да посмеивался.

Иван Сорока, ловкий мужичок из-под Астрашицкого городка, но обращал внимания на все эти небылицы, сидел возле подоконника и сапожным ножом - нож одолжил ему сапожник Лазарь Мордухович, молодой хлопец, осужденный в крепость на полтора года, - резал корочки хлеба на мелкие кусочки, чтобы покормить голубей. Они слетались на подоконник целыми стаями.

- Вот черти полосатые! - отозвался Тургай на рассказы друзей. - Что же мне рассказать после этого? Разве про своего деда? Мой дед весил один пуд и один фунт... Что вы смеетесь? Ей-богу, правда! Один пуд и фунт! Бабушка моя, бывало, возьмет его под мышку и несет, как обмолоченный овсяный сноп. А когда-то дед был человек плотный, здоровый. Если бы Андреев отец позвал не Андрея, а моего деда, то они медведя не выпустили бы из рук. Да вот какое лихо приключилось с дедом. Позавтракал он на Семуху и пошел под вишню в холодок отдохнуть. А когда поднялся, почувствовал - что-то вроде как шевелится в ухе. И начал он с того дня сохнуть. Сох, сох, пока от него не остался один пуд и один фунт. На голову жаловался дед - болит и шумит в голове. Повезли деда в больницу. Осмотрели его доктора, выслушали, а затем говорят: "Операцию надо делать, в мозгах что-то завелось". Сделали деду операцию - подрезали покрывку на голове, череп, ну, как на арбузе корку. Как только подняли покрывку, из дедовых мозгов прыг жаба! Не верите? - Тургай стукнул себя кулаком в грудь и с самым серьезным видом побожился, что это правда. - Что же оказалось? - продолжал он. - Когда дед лежал в холодке, ему в ухо залез маленький лягушонок, из уха перебрался в мозги, сосал их и вырастал.

Александр Голубович, шагая из одного конца камеры в другой, с затаенной улыбкой прислушивался к рассказам о невероятных событиях. А когда Сымон Тургай начал рассказ про своего деда, Голубович остановился возле слушателей и присел рядом с ними. После неожиданного финала, которым завершил Тургай свой рассказ, Голубович громко захохотал. Да и нельзя было не смеяться, глядя на серьезное лицо Сымона, с которым выдавал он чепуху за правду.

- Не перевелись еще чудеса на нашей земле, - говорил смеясь Голубович.

- Затмил ты, брат Сымон, всех нас, и Зыгмуса, и Владика, и меня, - проговорил Лобанович, также будучи не в силах удержаться от смеха.

Друзья весело смеялись. К общему веселью присоединился сам Зыгмус Зайковский и многие из товарищей.

Обитатели камеры остерегались потом ходить дорожками Зыгмуса Зайковского.

XLI

Александр Голубович редко принимал участие в забавах друзей по камере. Иногда целыми часами лежал на нарах с книжкой в руках. Книги он буквально глотал, доставал их множество. По всему видно было, что у него есть крепкие связи за стенами тюрьмы. Когда к Голубовичу обращался кто-нибудь из друзей с вопросом, он охотно и дружески внимательно отвечал, объяснял непонятное, а на шутку отвечал остроумной, добродушной шуткой.

Поднявшись с нар, Голубович принимался за свое привычное занятие - мерил шагами камеру, должно быть размышляя над прочитанным. На лице его видна была печать напряженной, беспокойной мысли. Затем лицо его прояснялось. Александр становился веселее, подходил к Владике, Сымону или к Андрею - это была четверка самых сплоченных людей в камере.

- Ну что, дружок, пустим дымок? - говорил Голубович, ласково улыбнувшись.

Друзья присаживались возле ящика с табаком и закуривали. Они не расспрашивали Голубовича, почему он временами бывает таким молчаливым и серьезным. А Голубович, покулив немного, пошутив, садился на нары и долго записывал что-то в объемистую тетрадь.

Однажды заметил Андрей, что Александр Голубович вырвал написанное из тетради и вложил в переплет книги, которую передал затем во время прогулки одному из уголовников.

Андрея тянуло к этому человеку. Голубович также относился к нему более внимательно, чем к другим, хотя внешне этого не показывал, а чаще обращался к Владiku и добродушно посмеивался над ним.

Владик же строго придерживался им самим заведенного порядка. Ежедневно утром он занимался гимнастикой "по Мюллеру". Гимнастика эта удобна тем, что ею можно было заниматься и в тюрьме. Складывалась она из целого ряда различных упражнений. Гимнаст становился посреди камеры, широко расставляя ноги, а руки клал на пояс. Сначала он наклонялся вперед, туго пружиня поясницу, затем откидывался назад, затем наклонялся влево и вправо. Второе упражнение состояло в том, что, не снимая рук с пояса, Владик поворачивался вокруг своей оси то в правую, то в левую сторону, насколько мог. Далее в ход пускались руки и ноги. Кульминационный пункт упражнений заключался в том, что гимнаст ложился на пол, вытянувшись во весь рост, опирался на пальцы рук и на носки. На кончиках пальцев нужно было подняться и опуститься двенадцать раз. Это считалось рекордом. Выполняя это упражнение, Владик сильно вдыхал и выдыхал воздух носом. Продолав весь комплекс упражнений, он заметно уставал.

- А теперь попить кипяточку, - говорил он.

Сырой воды Владик, оберегая здоровье, не пил, у него всегда была в запасе кипяченая.

Старик Юзефович, лежа на нарах, наблюдал, как мучился Владик. Порой он не выдерживал и ласково, по-отцовски говорил:

- Эх, сынок, имеешь каплю здоровья и силы, так береги их - ведь так долго не надышишь!

После утренней зарядки и завтрака Владик, примостившись возле стола, брал учебники латинского языка и алгебры. Позанимавшись старательно около часа, Владик заучивал несколько латинских слов, фраз, склонений, затем делал перерыв и спрашивал деда Юзефовича:

- Скажи, дед, что значит "Dentibus crepitavit"?

Дед отрицательно мотал головой.

- А бог его знает, сынок! Может, ксендз и ответил бы на это.

- А это, дед, значит, - с профессорским видом объяснял Владик, - зубами скрежещет!

- Вот я и то гляжу, что ты, сынок, скрежещешь по ночам зубами! - отвечает дед Юзефович. - Брось, детка, и это свое мученье - гимнастику и эту науку, здоровее будешь!

Владик действительно часто по ночам скрежетал зубами.

В скором времени увлечение латынью прошло. Осталось от нее в памяти Владика всего несколько слов и фраз, которыми он пользовался в некоторых случаях. Когда, например, нужно было сказать, что все на свете непрочное, что все проходит или забывается, то употреблялась фраза: "Sic transit gloria mundi" - "Так проходит земная слава".

Вместе с Симоном Тургаем Владик стал больше увлекаться математическими науками. К ним на некоторое время присоединился и Андрей Лобанович. Относительно латыни Симон и Андрей придерживались слов Пушкина: "Латынь из моды вышла ныне", хотя от Владика и сами непосредственно из учебника переняли несколько латинских изречений.

Каждый из обитателей камеры имел свое излюбленное занятие и проводил время так, как считал для себя наиболее целесообразным.

Иван Сорока не только целыми часами просиживал возле закованного в железо окна и крошил для голубей черствый арестантский хлеб, Сорока был мастером на все руки. Дома он считался хорошим хозяином и даже агрономом. Всем интересовался, до всего доходил сам, своей головой. Когда голуби были накормлены так, что уже больше не прилетали на подоконник, Сорока находил себе иное занятие. От других заключенных перенял он искусство вылепливать из хлеба художественные фигурки и пешки для игры в шахматы, очень прочные и долговечные. Сломать их было трудно, разве только разбить, положив на наковальню и ударяя крепким, большим молотком. Секрет крепости заключался в том,

что перед лепкой хлеб нужно было пережевать и вымесить специальным способом, после чего он становился гибким и клейким. Вылепив и отделав фигуры, Иван Сорока окрашивал их в соответствующие цвета, и тогда уже продукция получала путевку в жизнь. Спрос на шахматы был большой. От осторожных мастеров они порой попадали на волю, в город, а в камеру почти не сходили со стола. Возле пары шахматистов, которые изредка менялись, всегда стоял небольшой кружок любителей шахматной игры. Наиграются, бывало, до того, что когда улягутся вечером спать, то и шахматная доска, и фигуры, и заматованный король Долго стоят в глазах.

Один только Лазарь Мордухович не принимал участия в шахматной игре и не интересовался ею. Он считал, что это недостойно рабочего человека. С утра после поверки Лазарь шел под конвоем в тюремную сапожную мастерскую шить и ремонтировать обувь. Ходил туда по своей воле, так как не было такого права, чтобы принуждать осужденного в крепость к той или иной работе. Перед вечерней поверкой его приводили в камеру. Лазарь, закончив рабочий день, старательно умывался, надевал свой лучший костюм, закусывал хлебом и колбасой. С полчаса ходил он по камере взад и вперед, затем ложился на свое место на нарах и пел песни. Голос у него был чрезвычайно тонкий, да и песни подбирал он жалостные, преимущественно осторожные:

Говорила сыну мать:
"Не водись с ворами:
В Сибирь-каторгу сошлют,
Скуют кандалами".

С вдохновением настоящего певца заливался Лазарь, придавая своему голосу самую тонкую лиричность. Пел он исключительно для самого себя и в пении находил высшее наслаждение. Как относились обитатели камеры к его песням, Лазаря мало интересовало. На деда Юзефовича, так же как на многих из коренных жителей камеры, пение Лазаря производило самое неприятное впечатление. Но зачем портить человеку настроение, если в песнях забывал он тюремную неволю?

- А, чтоб ты захлебнулся этой своей песней! - тихо ворчал дед Юзефович, но так, чтобы услышал его один Владик.

Дед любил Владика и водил с ним компанию больше, чем с кем-либо другим. Когда порой Владика нездоровилось, дед накрывал его на ночь своей свиткой. На следующий день Владик вставал здоровым.

- Ну, дед, в вашей свитке скрыта лечебная сила, - говорил Владик, отдавая Юзефовичу одежду. - Пропотел - и как рукой сняло!

Дед радовался, что его пациент чувствует себя хорошо и что свитка сыграла в этом важную роль.

В ответ на возмущение деда песнями Лазаря Владик говорил:

- Действительно, это не пение, а вытье собаки, которая еще не привыкла к цепи. Но пусть поет. Утешайся, лиска: свадьба близко - колбаски съешь.

Но порой возмущался и Владик:

- Брось ты, Лазарь, тянуть "лазаря"! Слушать тошно!

- Так ты не слушай, - отвечал спокойно Лазарь. - И что это за жизнь? За что же я боролся на воле? Здесь, брат, тюрьма, и я делаю, что хочу.

- Дуй, дуй, брат Лазарь! - то ли всерьез, то ли в шутку заступался за Лазаря Симон Тургай.

- Твое пение и твой голос такие, что слушаешь - и сердце замирает, и глаза на лоб лезут.

Возразить что-нибудь на это было трудно. Немного помолчав, казалось, только для того, чтобы перебороть свою обиду на людскую несправедливость, Лазарь с еще большим чувством пел:

О, ночь темна!
О, ночь глуха!
О, ночь последняя моя!
Я отдал все и кровью смыл
Позор, позор страны родной!

Лобанович не вмешивался в конфликт. Он сидел возле нар на казенном сеннике и писал письмо Сымону Тургаю.

С некоторого времени, находясь в одной камере, они начали писать друг другу письма, словно их разделяли целые сотни верст. Начало этой переписке положил Лобанович. Однажды он заметил - летом в жаркий день падает снег! Это цвели тополи, и их белый пух плавал по ветру. Андрей, чтобы позабавить друга, писал:

"Дорогой мой Симоне! Перемыкали мы и другую зиму. Вот сейчас выпустят нас на прогулку. Я покажу тебе интересное явление. В ясный летний день ты увидишь, как в воздухе кружатся снежинки. Упав где-нибудь возле стены на землю, они не растают на горячем солнце... Как живешь ты, мой дружок? О чем более всего думаешь? Напиши мне, будь добр. Крепко обнимаю тебя, целую. Мой адрес: седьмая камера, почтовый ящик - чемоданчик под нарами.
Навеки твой Андрей".

Закончив письмо, Андрей вложил его в конверт, надписал адрес и тайком подбросил письмо в чемодан Сымона, также стоявший под нарами.

В тот же день Симон, вытащив из-под нар чемоданчик, увидел письмо, прочитал его, ничего не сказал Андрею и сел отвечать неожиданному-негаданному корреспонденту. Так и завязалась переписка.

- Надо на почту заглянуть. - И то один, то другой лез под нары и находил в чемоданчике письмо.

Однажды Симон признался Андрею, кто писал воззвание к учителям: это был хорошо знакомый ему учитель по фамилии Жук. И вот что придумали друзья - написать Жуку такое письмо, чтобы никто, кроме автора воззвания, не понял его смысла.

Одного тюремного рисовальщика друзья попросили нарисовать обычного черного жука, дать ему в лапку ручку с пером. Жук выводит слова: "Товарищи учителя!" В центре рисунка был изображен молодой человек, одетый так, как одевались летом сельские учителя. На плечах у него лежал огромный деревянный крест. Под бременем его человек согнулся, - сразу видно, что ему тяжело. Внизу, под рисунком, были написаны слова из пророка Исайи: "Той грехи наши понесе, и язвою его мы исцелихомся".

Рисунок друзьям понравился. Они положили его в конверт и отправили письмо Жуку нелегально. Получил ли его адресат и как отнесся он к рисунку, друзьям осталось неизвестно.

XLII

И радостно и грустно приближение конца.

Грустно, когда конец кладет собою рубеж, отделяющий нас от всего, чем мы жили, в чем находили смысл жизни, радость, вдохновение, и, наоборот, мы радуемся, если приближаемся к черте, за которой остается беспросветный, тяжелый и мучительный кусок жизни, и вступаем в другой ее круг - ясный, манящий, желанный.

На грани такого конца, накануне освобождения, стояли сейчас Лобанович, Тургай, Лявоник и Голубович. Наступало третье лето острожного страдания. И удивительное дело - когда наши невольники окидывали внутренним взглядом без малого три прожитых в тюрьме года, то эти годы сливались в одно неясное, туманное пятно, где дни и ночи,

месяцы, весны и зимы мало чем отличались одни от других - сплошное однообразие, словно перед глазами пролегла мертвая пустыня. И нужно было напрягать память, чтобы оживить то или иное событие либо картину из острожной жизни.

- Два месяца и полмесяца! Ты понимаешь это, Владик? - тряс Лявоника за плечи Сымон Тургай.

- Понимаю и чувствую, - отвечал Владик, глядя сквозь клетки железных прутьев в окно, на зелень садов, откуда доносились молодые песни, веселые голоса и смех беззаботной юности - парней и девушек.

- "Простор, простор и воля там, но не для нас они, не нам!" - подразнил Владика Андрей.

- Хотел бы ты, Владик, побывать там? - Сымон показал рукой на сад, откуда доносились голоса.

- Думаю, что и ты не отказался бы от этого.

- Не дрейфь, Курочкин, будешь на воле! - такая поговорка бытовала тогда в тюрьме.

Тем временем население камеры понемногу уменьшалось. Выпустили Ивана Сороку, Мордуховича. За ними на очереди был дед Юзефович. Спустя некоторое время и его вызвали в контору, сказав, чтобы он забирал пожитки. Хотя дед и ждал этого часа, но все же очень разволновался. Несложные дедовы пожитки уже лежали на нарах. Надзиратель отпер дверь камеры и торжественно произнес:

- Иди на волю, дед!

Юзефович взволновался еще больше. Он схватил с нар сумку, а затем положил ее обратно. С быстротой, на какую он только был способен в свои семьдесят лет, Юзефович бросился к Тургаю, к Лобановичу, крепко и долго пожимал им руки.

- Спасибо, спасибо вам за вашу доброту, за внимание ко мне, старику!

Прощаясь с Владиком, дед обнял его и горячо поцеловал.

- Пускай тебе, сынок, пошлет бог счастья!

Больше он говорить не мог - на седые усы, как серебро, скатились крупные капли слез.

- Держись, дед, в твоей свитке скрыто много целебной силы! - пошутил Владик.

В дверях дед обратился к жителям камеры:

- Будьте, детки, здоровы! Дай боже и вам счастливо дожидаться часа освобождения!

Немного взгрустнулось, когда дед Юзефович старческой походкой спускался со второго этажа тюрьмы вниз и скрылся за железными воротами.

- Просторнее стало в камере, будто в лесу, когда в нем срубят старое дерево, - с грустью в голосе заметил Лобанович.

Сымон Тургай, чтобы поднять несколько настроение, пошутил:

- Ты не смотри на то, что он - старое дерево! Он еще подкатится к своей бабке! Пошел на волю наш дед!

- А за дедом и я следом, - отозвался Александр Голубович, молча наблюдавший всю эту сцену.

Ему оставалось всего дней десять побыть с товарищами, с которыми его сблизило трехлетнее пребывание в тюрьме.

Лобановичу хотелось порассуждать о жизни, о человеческой судьбе:

- Люди - как волны в реке: плывут и плывут одна за другой, пока не убаюкает их тишина.

- Если люди - волны речные, то пускай не убаюкивает их человеческая тишина, - многозначительно заметил Голубович.

На слове "человеческая" он сделал ударение и взял Андрея под руку. Они долго ходили по камере, а затем присели на нары, тихонько продолжая разговор, который глубоко захватил их. Во время очередной прогулки они снова были вместе.

- Такое положение вещей не может тянуться десятилетиями, - говорил Андрей Голубовичу, шагая по тюремному двору. - Революционное движение придавлено, но не остановлено, оно живет. И разве можно воздвигнуть такую стену, через которую не проникли бы человеческие мысли! Революционное движение - живая вода, скрытая в

недрах земли, в сердце и чувствах народа. Она пробьется на поверхность, проложит себе дорогу и снесет все, что сковывает неисчислимые силы народные.

- Иначе и быть не может, - убежденно подтвердил Голубович. - А для этого не нужно, чтобы человеческая тишина убаюкивала речные волны... Кстати, к какой политической партии лежит твое сердце?

Александр затронул как раз тот вопрос, который давно занимал Андрея. Лобанович подумал, покачал головой.

- Эх, мой милый! - сказал он. - Если бы мы имели такие весы, на которых можно взвешивать хорошее и плохое! Тогда поставили бы на дорогах столбы с надписями: "Налево - правда, направо - ложь". И так легко бы стало ходить по свету, но зато, вероятно, было бы скучно и неинтересно.

- Готовой правды захотелось? - проговорил Голубович. - Нет, брат, правду надо добывать с боем. А это не так просто, как рисуют болтуны-анархисты: шах-мат - сбросили царя, и каждый сам себе сила и право. Может, тебе это по вкусу?

Лобанович решительно запротестовал.

- Откровенно говоря, я - на расстанях, - проговорил он, - не решил, куда присоединиться...

- Пора, брат, переступить этот порог, - сказал Голубович. - Надеюсь, что ты сделаешь верный шаг. Действительно, сейчас такое время, когда революционное движение притихло. Но ты сам недавно справедливо сказал, что это движение - живая вода, которая таится в сердцах людей. Жизнь не останавливается и на месте не стоит - такова диалектика.

- А как принимаешь ты социалистов-революционеров? Спрашиваю об этом потому, что мне чаще всего приходилось сталкиваться с ними.

- И они тебе по душе? - спросил Голубович.

- Нет, этого я не сказал бы. Я не вижу в них той живой, глубокой струи, которая выводит реку на широкие просторы.

- Хоть это немного и туманно, но в основном верно, - ответил Голубович. - Эсеры привлекают интеллигентов - выходцев из крестьян. И вы тоже ведь хотели войти во Всероссийский учительский союз, а на эту организацию влияли эсеры. Они козыряют своей аграрной программой. Однако это не программа, а тупик, ибо эсеры, заигрывая с крестьянством, преувеличивают его возможности. Необходим крепкий союз сил пролетариата и крестьянства. Тогда революция победит. На такой точке зрения и стоят социал-демократы.

- Но ведь партия эсеров не является единой, строго сплоченной организацией, - заметил Лобанович, - в ее рядах есть разные течения.

- Тем хуже, - отрубил Голубович. - Это только свидетельствует о том, что эсеры - мелкобуржуазная партия, не имеющая под собой надежной основы.

Лобанович улыбнулся.

- Такой аргумент говорит и не в пользу социал-демократов: ведь и среди них есть два течения, ты сам говорил мне об этом.

- Когда я говорю - социал-демократы, то имею в виду большевиков, - проговорил Голубович.

Александр на мгновение задумался, а затем с ласковой, тихой улыбкой и вместе с тем почти торжественно продолжал:

- Единственно верное и правильное учение о революции и о законах, по которым развивается общество, - это марксизм, марксистское мировоззрение. От всего сердца советую тебе ближе узнать, глубоко усвоить эту науку - она будет для тебя не верстовым столбом, а маяком, который указывает дорогу. Сила большевиков в том, что они твердо держатся марксизма.

Голубович вскинул глаза на Андрея.

- Не сочти это за какую-то проповедь, я обращаюсь к тебе как к человеку, в которого верю. Большевики отбрасывают красивые слова, мы не чураемся самой черной работы во

имя революции. Надо пробудить народ, воспитать, сплотить и повести на решительный и уже последний штурм царизма. Ты не должен остаться в стороне от этого штурма.

Голубович взял Андрея за плечи и внимательно посмотрел ему в глаза.

- Разреши мне верить, Андрей, что ты никогда не отступишься от народа. Я не сомневаюсь в этом: ведь ты и так крепко с ним связан. А потому перед тобой один путь - с марксистами, с большевиками. На этом пути, надеюсь, мы с тобой встретимся. Если ты не найдешь меня, я отыщу способ напомнить тебе о нашем разговоре.

Время прогулки кончилось. Надзиратели загоняли заключенных в камеры. Идя по лестнице рядом с Андреем, Голубович снова заговорил:

- Хотелось бы мне сказать несколько слов и о наших товарищах - о Тургае и Лявонике. На Тургая я также крепко полагаюсь, он не свернет со своей дороги. А вот Лявоник - в нем я не уверен. Первое испытание, первая буря, смявшая временно его жизнь, отпугнула его от революции, от народа. Он будет искать в дальнейшем покоя и обывательского уюта.

Все, что говорил Голубович, западало в душу Андрея. Человек этот лишь немногим был старше Лобановича, но уже много пережил, много передумал и твердо шел по пути революционной деятельности, был убежденным большевиком.

Сердечный разговор затянулся на весь вечер и занял добрую половину тюремной ночи.

XLIII

В свое время, сердечно простившись с друзьями, Голубович вышел из тюрьмы. Андрей немного проводил его по коридору.

- До встречи! - еще раз пожал ему руку Голубович.

Вернулся в камеру Андрей с неопределенным чувством. Он радовался, что друг вышел на волю, и в то же время жалел, что прервалась дружба. И камера показалась пустой. Но образ скромного, вдумчивого, рассудительного друга не выходил из памяти.

Время шло своим чередом. С каждым днем приближался срок освобождения.

- Ну, хлопцы, - сказал однажды Симон Тургай Владику и Андрею, - недели через две и я соберусь в отлет - отправляюсь по этапу в свою новгородскую тюрьму для освобождения.

- Хоть и жалко разлучаться с тобой, но мы порадуемся и твоей и нашими радостями, - ответил Лобанович.

Он еще хотел что-то сказать, но дверь в камеру открылась, вошел суровый Дождик. Он лукаво взглянул на Андрея.

- Идите в контору, к вам пришли на свидание.

Почти каждую неделю Лобановича навещал кто-нибудь из родственников либо старых знакомых. Товарищи по неволе временами даже завидовали ему. Но сегодняшний день не был днем посещений. Кто же это мог быть?

Лобановича привели в контору, где обычно происходили свидания. Там было довольно темно. Кроме того, людей, приходивших с воли, отгораживала от заключенных двойная проволочная сетка. От одного ее крыла до другого было не менее аршина. Свидания обычно происходили в присутствии тюремной стражи.

Лобанович занял место по одну сторону сетки. По другую ее сторону стояла женщина. Андрей вгляделся в черты ее лица и смутился. Напротив него стояла Лида, да не та школьница-подросток, а расцветшая, во всей красе, ладная, стройная, свежая, как майский цветок, девушка! Андрей не сводил с нее глаз и молчал, словно онемелый.

Лида улыбнулась.

- Не узнаете меня?

- Лида! Лидочка! - вырвалось из груди Андрея.

- А вы так изменились, стали таким бледным да еще бороду отпустили... Если бы я встретила вас в городе, то и не узнала бы.

- Бледный, Лидочка, потому, что сижу под замком, без свежего воздуха. А своей бороде я не хозяин.

- Разве вас заставляют отпускать бороду? - удивилась Лида.

- Нет, - засмеялся Андрей и взглянул на надзирателя Рутовича, которому Дождик приказал присутствовать при свидании. Надзиратель отошел подальше. - Моя борода принадлежит коммуне, товарищам по камере. В бороде я прячу деньги и перочинный ножик во время обысков, все это нам не разрешается иметь при себе.

- В бороде? Деньги и нож?! - снова удивилась Лида.

Она еще внимательнее взглянула на бывшего учителя темными глазами и весело засмеялась, а потом на ее лице отразилась печаль.

- И много вас... таких несчастных, в камере?

- А почему "несчастных"? Порой нам бывает и очень весело. Времени много, на службу ходить не нужно. Живем воспоминаниями о прошлом, гадаем о своем будущем, мечтаем о свободе, а она уже близко. Всюду, Лидочка, жить можно, даже и в тюрьме. А вы как живете, Лидочка?.. Я очень рад, что ты вспомнила обо мне, навестила. Ведь я думал, что вы навеки потеряны для меня.

Лицо Лиды помрачнело. Веселая и такая чарующая улыбка погасла. Лида опустила голову, потупила на мгновение глаза, потом подняла их на Андрея.

- Может, оно так и есть, - тихо и грустно проговорила она.

Слова Лиды больно отозвались в сердце Лобановича. Он понял смысл их и не расспрашивал девушку, что они означают. Но Лида сама объяснила:

- Я выхожу замуж.

Лобанович овладел собой и своим волнением.

- Ну что ж, желаю вам быть счастливой в замужестве... За кого же выходишь, Лида?

Лобанович обращался к ней то на "вы", то на "ты". Лида выходила замуж за помощника начальника станции, на которой она сама служила телеграфисткой. Горькая обида, быть может неоправданная, сжала сердце. Андрей сейчас не интересовался, кто этот помощник и на какой станции служат они. А когда вошел Дождик и велел кончать свидание, Андрей не пожалел, что оно кончилось. На прощанье он кивнул головой. Лида долгим взглядом проводила Лобановича, и ему показалось, что в этом взгляде было много страдания и печали. А может, ему это просто почудилось.

Он не спал почти всю ночь и все думал, лежа на тюремном матрасе, о Лиде, о ее прелестной фигуре, о последнем, прощальном взгляде, обо всем, что говорила она во время этого нелепого свидания. Зачем приходила она? Неужто для того только, чтобы пробудить в сердце то, что давно пережито, пережито? Зачем было причинять ему новую, еще более острую боль? А может, и иные мысли и чувства руководили ею? Может, он, Андрей, не чутко отнесся к ней? И почему он не взял ее адреса? Но для чего? Образ Лиды неотступно стоял в его глазах. И что глубже всего запало в сердце - это последний ее взгляд.

"Ну что ж, если бы у человека не было горьких раздумий и причин, вызывающих эти раздумья, то пропала бы острота восприятия жизни и ее явлений", - подвел итог Андрей своим бессонным мыслям.

С радостью и в то же время с печалью простился Андрей с Симоном Тургаем, лучшим другом, которого приобрел он в тюрьме. Симон Тургай отправлялся в свой Новогрудок, чтобы там выйти на волю.

- Разлетелась наша троица, - грустно сказал Лобанович, обнимая на прощание Симона.

- Ничего, Андрей, не будет троицы, так будет двоица, - шутливо ответил Симон. - Пиши, не забывай!

Андрей с Владиком проводили Симона до порога камеры. Дверь закрылась; из осторожных старожилов их осталось теперь только двое.

- "Ах, братцы, мало нас! Голубчики, немножко!" - вспомнил Владик изречение, вычитанное еще в начальной школе, и вдруг спросил: - Ну, что ты думаешь про Янку Тукалу? Ведь он был такой искренний, преданный, а вот письма так ни разу и не прислал.

- И я о нем думаю. И, знаешь, хочу найти Янку! Не может быть, чтобы он так и пропал!

- А как ты его найдешь?

- По памятным книжкам Менской губернии. В них есть все школы. Нападу где-нибудь на след и непременно отыщу и поеду к нему, погляжу, что за человек он теперь.

Чем ближе становился час освобождения, тем сильнее волновались Владик и Андрей. Но это волнение было радостным, желанным. Беспокоило сейчас одно: как устроятся они в новой жизни, на воле?

Наконец настал день, которого жадно ждали три года. Ничем особенным не выделялся он, этот день. Незадолго до полудня пятнадцатого сентября тысяча девятьсот одиннадцатого года открылась дверь в камеру. Вошел тот самый надзиратель Рутович, который сторожил Лобановича во время свидания с Лидой. В руках у него был лист бумаги с фамилиями Андрея и Владика.

- Ну, собирайтесь! В добрый час!

В тюремной конторе Лобанович получил вещи, отнятые у него три года назад, - складной ножик, неразлучный спутник грибных походов, и деньги. Всего денег, с теми, которые передавали с воли на имя Андрея, набралось без малого сотня. Их по-товарищески поделили.

Владика и Андрея повел за ворота острога Рутович. Чтобы получить полную свободу, нужно было еще явиться в сыскной отдел. Из деликатности и из чувства человечности, а главным образом в надежде получить на полкварты Рутович шел рядом с освобожденными, но по другой стороне улицы, чтобы прохожие не догадывались, что Владик и Андрей - арестанты, выпущенные из острога. Отведя друзей в сыскной отдел, Рутович простился с ними и, веселый, с рублем в кармане, поспешил в ближайший шинок. А друзей еще долго держали в сыском отделе. Чиновник, от которого зависело отпустить их, также ждал взятки. Владик уже готов был и ему дать рубль.

- Не смей, Владик, делать этого! Сидели три года - посидим и три часа.

Так и сделали. Потеряв надежду на взятку, чиновник записал их в книгу преступников, дав строгий наказ явиться к уездному исправнику. Исправник, человек немолодой, с синеватым носом, прочитал друзьям наставление, как должны они вести себя в жизни: не забывать батюшки царя, веры и отечества. Закончив нотацию, он кивнул головой, давая этим знать друзьям, что они теперь свободные люди и могут идти куда хотят.

Очутившись на улице "свободным человеком", Владик воскликнул:

- Не верится, Андрей, что мы на свободе, что за нами нет надзора, конвойных!.. Поздравляю, брат!

Друзья пожали друг другу руки.

- Ну, куда теперь, Владик?

- Сначала поеду в Микутичи, к родителям, поживу немного, осмотрюсь, а там - бог батька. А ты куда направишь "стопы своя"?

- Навстречу жизни и ее приключениям, - ответил Андрей.

Он вспомнил Сымона Тургая и завет Голубовича. Этот завет и стал основой жизни и деятельности Андрея Лобановича в его дальнейших странствиях по новым дорогам.

1948-1954

Переклад: Евгений Мозольков